



## Дом, где я умер

*В поте – пишуций, в поте – пишуций!  
Нам знакомо иное рвение:  
Легкий огонь, над кудрями пляшущий, –  
Дуновение вдохновения!*

М. Цветаева

*Сочинитель сочинял,  
А в углу сундук стоял.  
Сочинитель не видал,  
Спотыкнулся и упал.*

Л. Толстой (?)  
Фольклор (?)

### Глава 1 Свидетель крещения Руси

Сознание возвращалось урывками. Ему будто бы позволяли глянуть на свет Божий из наглухо зашторенной незнакомой комнаты поочередно через разные дырки в бесцветной шершавой гардине. Место, где ткань расплзлась от ветхости и обнадеживающе просвечивала серым, вдруг само наплывало на его испуганные глаза – и тогда можно было на мгновение почти четко увидеть застывшую картинку, сначала похожую на неудачную случайную фотографию. Но сразу становилось ясно, что это никакая не фотография, а некрасиво застывший кадр любительского фильма, – и его запускали вновь безо всяких просьб до поры до времени молчаливого зрительного зала. Так мелькнули стертые за полтора века до опасной гладкости ступени родного дома – только не внизу, под привычно шагавшими ногами в серых кроссовках, а прямо перед глазами, будто лестница, на секунду вообразив себя стеной, по чьей-то чудовищной воле поднялась вертикально. По ступеням почему-то бойко топали вверх, вместо обутых ног, заскорузло окровавленные руки – его собственные, потому что серебряный перстень-печатка с упрямо вставшим на дыбы черным Пегасом ритмично мелькал на левом безымян-



ном пальце. Когда руки благополучно, хотя и с мучительными перерывами, добрались до пункта назначения, а именно – обитой вагонкой двери, гардина вдруг без предупреждения бесшумно поехала вбок. Наплыло другое рваное отверстие, в котором оказалось сперва плоское и бледное, но быстро ожившее и выпучившее блеклые глаза хорошо знакомое лицо доброй соседки-старушечки, немедленно захлопавшее беззубым рыбьим ртом. Хотя кино крутили явно немое, с нелепыми подпрыгиваниями героев, он отчетливо услышал старушкин парадоксально оперный голос, сразу густо запевший, будто начало трагической арии: «Василь Саныч... Господи... Что ж это...» – но тут опять вступила в дело рваная штора, пыльно бухнувшаяся между ними, как театральный занавес в конце четвертого акта трагедии, и он вновь оказался в душном плену не то одиночной камеры, не то... Самого себя! Один смутный толчок крови в голову – и он осознал, что заперт всего лишь в собственном теле, и уж два-то окна наружу у него совершенно точно имеются! Поэт открыл глаза и увидел традиционный белый потолок.

«Больница», – бесстрастно и бессловесно, каким-то гораздо более быстрым и доходчивым способом констатировал кто-то извне. И Поэт в то же мгновение расколдовался. Повезло все-таки, подумалось ему: ведь, когда полз по ступенькам вверх, то ускользающим, как детские санки с горки, сознанием понимал, что сил дотянуться до звонка двери на первом этаже уже не хватит. Бесконечно длинные минуты преодолевая до тех пор и вовсе ни разу по-настоящему не замеченную куцую лесенку, успел смириться с тем, что это – смерть. Знал, что и ползет-то чудом, потому что голова, скорей всего, проломлена, и там уже осколки костей, наверное, смешались с его еще теплой кровью – ведь били-то отморозки, кажется, монтировкой. Не больно вовсе: вошел в свой родной питерский подъезд, за всю жизнь единственный, и даже дверь, не глядя, кому-то за собой придержал по привычке; потом – мгновенный яркий всполох не в глазах, а где-то внутри, во тьме черепа, – и все. Очнулся лицом в побитые метлахские плитки, свернувшаяся кровь стянула кожу, запаяла глаза. Кое-как разодрал их, с корнем вырывая присохшие ресницы, и – воспоминание в воспоминании, как желток в яйце: в детстве болел гнойным конъюнктивитом, и вот точно так же по утрам нельзя было раскрыть намертво, как створки ракушки на заливе, склеенные веки... Что умрет, не сомневался, поэтому, когда полз, если и думал о чем, так



об одном: достал, значит, все-таки, кого-то из них стихами своими, в самую точку попал – не снесли; не зря погибал, с честью... И, кстати, в тридцать семь, как по профессии положено.

Но ничего – выходит, еще поборемся? Залатали, значит, доктора череп-то пробитый? Поэт дерзнул немного повернуть голову на подушке, и предположения сразу с поспешной готовностью подтвердились: он увидел изящную бездействующую капельницу и металлическое изножье казенной кровати. Поскольку нигде пока не заболело, он деликатно поерзал на ложе, смутно предчувствуя угрожающе-ржавый скрип древней, как кольчуга витязя, панцирной сетки, и уже представил себе, что вот сейчас она бурно заколется под ним, будто резиновый матрац, испустивший дух прямо на глади морской, – тоже одно из страшных детских воспоминаний, восходящих аж к самому Артеку, – но ничего подобного не случилось. Больничная койка оказалась спокойной, прямой, в меру мягкой и гораздо более удобной, чем их с Валею по нынешним миллениумным временам уже антикварная, вся в жестких ямах, супружеская кровать, на которой в свое время родители его и зачали в самую первую свою брачную ночь... Валя! Поэт непроизвольно схватился за голову обеими руками, мимоходом обнаружив, что голова плотно забинтована, – но это, как нечто само собой разумеющееся, проплыло сбоку вполне проснувшегося сознания, а главным стало внезапное острое воспоминание о семье. Валя и Доля (семь лет назад он сдуру не воспротивился затейливому желанию жены назвать новорожденную дочку испанским именем Долорес в честь героини какого-то не замеченного им, но важного в ее жизни телесериала) сейчас, должно быть, сидят, игнорируемые бело-зеленым персоналом, в длинном негостеприимном коридоре – потому что девочку, разумеется, не с кем оставить в трудный час. Он отчетливо представил, как Валя, всегда молчаливая в минуты волнения, неудержимо трепещет всем своим гибким осиновым телом, а человеческого в ней осталось – только два огромных, светло-карих и мокрых, как аквариумные рыбки, глаза, словно бы без лица, а на тонких дрожащих ниточках. Был бы не поэт, а художник-импрессионист, – «портрет жены художника» он бы написал именно так, пикассисто. Только таким он внутренне видел подлинный образ жены, иначе он свою Валею в ее отсутствие и представить не мог.

Нет, голова все-таки побаливала. Вернее, в ней ощущалось





что-то похожее на ленивое перекачивание тяжелых железных шаров, поэтому подымался Поэт со всеми необходимыми предосторожностями. На полпути заметил прямо над собой в прямом смысле палочку-выручалочку, то есть, надежную перекладину, специально предназначенную, чтобы ослабленному больному удобно было хвататься при вставании. Он и схватился, привычно подтянулся, вновь испытал дежа-вю (ну да, конечно, ничего страшного: турник в школьном спортзале), только тогда огляделся как следует – и ошеломленно присвистнул.

Вместо ожидаемой облезлой мужской восьми-шестнадцатиместной палаты с облупленными зелеными стенами, увечными тумбочками, голыми, как лишенные ресниц глаза, окнами, и небритыми мужиками в дешевых спортивных костюмах, он увидел уютный одноместный номер вовсе не последнего разряда гостиницы. То, что это все-таки не гостиница, а больница, можно было понять только по вполне дружелюбной, знакомой уже капельнице и огромной чистой медицинской кровати, назвать которую неприятным казематным словом «койка» не поворачивался даже тот невидимый, но очень внятный язык, расположенный не во рту, а в сознании. Сквозь полупрозрачные успокаивающе зеленые занавески мягко тек рассеянный дневной свет. Пол перед кроватью застилал зеленый же, но темный, пригласительно мягкий коврик, два пустых кресла коричневой кожи выглядели так заманчиво, что хотелось немедленно опробовать их своим непривычным к буржуазной роскоши седалищем. «Вот именно – буржуазной! – обидчиво пронеслось у него. – Буржуйская палата, вот что. Как для куркуля какого-нибудь... И как только меня сюда угораздило? Что за дела такие?». Но думал он не более минуты, и решение пришло быстрое и исчерпывающее, в одном слове: покупают. Когда узнали, что недобили, откупились от Вали – сунули в какую-нибудь платную клинику, чтоб задобрить наперед, рот ему заткнуть... Не дождутся, вражья сила... У него уже и сейчас там где-то, на задворках мысли, бурлят, ищут выхода еще не оперившиеся строчки... *Гляди, P-россия на... та-та... ублюдков...* Тут где-то крутятся – и очень подходят – лизоблюды, но тогда ублюдки уже автоматически превращаются в верблюдов каких-то, а это явно не вяжется... Может, пусть будут лизоблюдки – в смысле, бабы? Их сейчас и в политике, и в бизнесе тем более, развелось, как мух в солдатском сортире... Так, ладно, об этом подумаем позже, когда голова станет пояснее, может, и верблюды подойдут. А





пока – срочно вызвать Валю и сказать ей, чтобы немедленно прекращала этот цирк с отдельной палатой, кто бы ей ни посулил золотые горы! – и везла бы его домой поскорее, там уж и сам как-нибудь долечится. Поэты – настоящие, имеется в виду – не продаются и не покупаются. Знала десять лет назад, за кого выходит. Предупреждал.

Он кое-как выбрался из-под легкого, соблазнительного, как девушка, одеяла, свесил голые ноги в мятом густом меху, подивился их тощей жалкости и, экономя силы и дыхание, все еще боясь каких-нибудь болезненных неожиданностей, в несколько приемов сполз ступнями на ковер, обуви не обнаружил, вовсе этим обстоятельством не смутился – и заковылял к туманному зеркалу в раме, как у музейной картины: надо же было проверить, какой общий ущерб понес он вчера вечером в старинном гулком подъезде.

Ущерб оказался катастрофическим. Сначала Поэт себя как бы и вовсе не узнал – показалось, что из зеркала глядит его безжалостная карикатура, которую и с натяжкой дружеским шаржем не назовешь. Лицо одутловато-отечное, будто пил неделю и не закусывал, под глазами дряблые сизые мешки, как под клювом голодного пеликана, все лицо, казалось, сначала расширилось, а потом размякло и потекло, подалось вниз... Вновь облившись варом ложной памяти, он понял, на кого убийственно похож: это же отец в конце своего шестого десятка, закруглить который достойным юбилеем ему так и не пришлось! А выглядел он этак плачевно не где-нибудь, а в дешевом, холодном и жестком, кумачом обтянутом гробу. Собственно, себя Поэт теперь узнал именно по этому семейному сходству...

Все выходило гораздо сложнее, чем сперва подсказал врожденный оптимизм. И, строго говоря, маячила не оперная, а всамделишная трагедия. Сердце неприятно, по-бабьи затрепетало, словно целиком превратившись в Валю. Ведь получалось, что, раз на лице отразились такие разрушительные изменения, значит, травма оказалась отнюдь не пустяковой, и не со вчерашнего вечера валялся он тут в расслаблении. А болел долго и нешуточно, месяц – самое малое, подвергся за время беспамятства не одной сложной, в святая святых – драгоценный мозг его – вторгшейся операции, неизвестно кем оплаченной и в какие пожизненные долги его, бесчувственного, ввергнувшей... Скорей инстинктом, чем догадкой и намерением, Поэт перенесся к высокому, зеленому подернутому окну. Никакой зелени, кроме шторной, ему не по-





лагалось сегодня: когда в свой подъезд последний раз входил, с удовольствием, помнится, бодро стопал с серых кроссовок первый долгожданный снежок. Теперь снег должен был уже густо лежать, сваявшимся покрывальцем... Да, там и в самом деле снег валил за окном: в широкой щели между занавесками на фоне какого-то слепого коричневого здания косо неслись, всюю завихряясь и играючи, крупные новогодние снежинки. Действительно – выходило, что прошло около месяца. «Не так страшно, не так страшно, бывало с людьми и похуже, надо радоваться, что этим кончилось», – наскоро проведя этот нехитрый сеанс аутотренинга, Поэт натужно улыбнулся Судьбе и отодвинул послушную штору.

Первым звуком, донесшимся до него с момента возвращения, стал странный писк. Или, скорее, тонкий сип. И это, конечно, был не его красивый низкий раскатистый голос, словно специально предназначенный для чтения стихов со сцены, когда враги назло ему отключали микрофон. Потому что, если бы даже он захотел малодушно крикнуть «А-а-а!!!», то звук был бы подобен если и не трубе Иерихонской, то уж стекло в окне том задрожало бы обязательно. А тут точно хомяку дочкиному кормушка на лапу упала. Но звук упрямо рос и крепчал, заполнял собой всю его несчастную голову, вырывался за ее пределы, летел через приоткрытое окно прямо во двор института травматологии, мешался с яростно и весело мчавшимся в млечном воздухе тополиным пухом, застревал и терялся в густой, тяжелой, словно пудрой присыпанной листве древних, хрупких, но из гуманности не спиленных, а вместо этого профессионально подстриженных «а ля пирамидальные» больничных тополей.

Позади открывалась дверь, возникали дородные женские фигуры, слышались заученно-ласковые голоса («А-а что это мы кричим? А-а теперь кричать уже не надо. А-а все уже позади. А-а вот и доктор уже идет»), его нежной и мертвой хваткой сжимали умелые стальные руки, влекли к покинутому страшно белевшему ложу, неотвратимо заваливали туда, как жертвенного тельца на древнеиудейский алтарь, вроде бы заботливо укрывали, а на самом деле туго пеленали легким одеялом, так что и биться оказалось бесполезно, – а он все тоньше и пронзительней визжал, как под секирой, захлебывался невесть откуда взявшимися вовсе не скупыми мужскими, а беспольными проливными слезами беспробудного ужаса.





Настоящий, несомненно, мужчине принадлежавший голос положил конец возмутительному беспорядку:

- Ну, и что у нас здесь происходит?

Мелкий и щуплый, но даже на вид твердый, как дерево, туго-жилистый и оттого почти неподвластный времени мужчина средних лет, обладатель еще более низкого и звучного баса, чем тот, который помнил за собой Поэт в самом недалеком прошлом, непринужденно разметав смутные зеленые тени, предстал в традиционном белом халате перед страдальческим ложем. Все стихло кругом на миг, а затем послышался внятный ответ одной из медичек:

- Вот видите, не только проснулся, но уже ходит всюю и буйнит, еле унять смогли.

- Ладно, идите, сам разберусь, – и доктор сразу же был оставлен с больным тет-а-тет.

Первым делом он взял совсем сомлевшего после истерики Поэта жесткими холодными ладонями за щеки и деловито оттянул ему большими пальцами нижние веки. Заглянул под них странно выпуклыми бесцветными глазами с таким вниманием, будто там заключалась вся тайна жизни и смерти.

- Чего орали-то? – в его темно-голубой от сплошных крученых вен руке возник сияющий молоточек, тотчас заходивший вправо-влево. – Сюда смотрим. Теперь сюда. Еще раз. Так, – молоточек исчез, остались только гипнотизирующие непрозрачные глаза с обильными сливочными белками. – Жалуетесь на что? Болит где-нибудь, спрашиваю?

Поэт промычал отрицательно, что абсолютно соответствовало истине.

- Действительность полностью осознаете?

Пациент печально гукнул в положительном смысле, но на этот раз доктору показалось мало:

- Так не пойдет. Имя-отчество свое не забыли? Дату рождения? Профессию?

- Стрижев... Василий Александрович... – голос свой он на сей раз узнал и сразу этим отрадным обстоятельством ободрился. – Года – девятьсот шестьдесят четвертого... Восьмого октября... Поэт я... – («Может, больше и не спросит, тогда про котельную не придется»).

- Все точно. Только – одна тысяча, – пришел непонятный ответ.

- А? – тоскливо переспросил Поэт.





- *Одна тысяча* девятьсот... и так далее. А то ишь – еще один свидетель крещения Руси объявился, – буркнул доктор безо всякой улыбки, и пациент не решился угодливо хмыкнуть на предполагаемую шутку, а вместо этого торопливо кивнул.

- Обстоятельства, при которых травму получили, помните? – уже мягче спросил врач.

- И рад бы забыть, – как мог мужественно, усмехнулся больной, поддавшись на более участливый тон. – Кровищи было... Глаза еле открыл... Думал, мозги наружу... Полз – уж ни на что не надеялся... – голос все-таки предательски дрогнул.

- Ну, ну, ну, – врач успокоительно похлопал Поэта по руке. – Мозги на своем месте остались. И работают нормально, как видите. Хуже было б, если б вы ничего не помнили. С амнезией ведь никогда не знаешь, чего ждать, а вы молодцом – после такого ударища-то! Швы, конечно, наложили – да это ж не смертельно. Теперь главное для вас лежать и отдыхать, о плохом не думать. Телевизора пока, извините, не могу позволить. Книг-газет – тоже. Спать, в основном, будете, уколы поделаем. С сотрясением мозга не шутят, даже когда так благополучно все выглядит.

«Ага, сейчас, сотрясение мозга... Провалился бы я с ним полгода без памяти, как же... Заливаешь, Гиппократ лупоглазый, тяжелого пациента расстраивать не хочешь... Благополучно – не фига ж себе так врать... Ну да ладно, тебе по штату положено», – подумал, легко ухмыльнувшись, Поэт.

- И вставать не рвитесь, – продолжал Лупоглазый. – Только когда за большое приспичит – это на судно нелегко делать, согласен. А малое пока – в «утку». Спасибо скажите, что мужик, памперсов не надо. Кнопка тут вот у вас, нажмете – подадут. Ну, и все остальное, само собой...

- А... жена... когда... Можно?... – робко вклинился в поток вольной докторской речи обманываемый пациент.

Врач глянул на часы:

- Теперь завтра. Домой я ее отправил, спать. Измучилась она тут у вас дежурить. Потерпите, все равно вечер уже.

Поэт прикрыл глаза, соглашаясь, – устал он, хотелось спать, а не задавать вопросы этому уверенному в своем превосходстве над ним (и в данный момент времени его, определенно, имеющему – вот что печально) двужильному мужичку. Подумал, гнездясь поуютнее, что завтра все и разъяснится наилучшим образом: Валя соврать не сумеет, даже если враги Отечества спросят у нее







в лесной чаще дорогу на Москву, так что сразу выложит как миленькая – и что там за ушиб такой странный, с которым полгода бревном лежат в полном изумлении, да и про палату эту буржуинскую, кстати... Жену он давно не любил и не уважал, но умом понимал, что никакая другая с ним на свете не ужилась бы.

...В конце лета девяносто первого на площади за Казанским Собором, где с незапамятных времен исправно и незаметно функционировало троллейбусное кольцо семнадцатого маршрута, проходил еще один возбужденный митинг, отличавшийся от многих предыдущих тем, что именно на этом никому не грозили: очумевшие люди просто радовались и братались. «Победа!» – это слово реяло над толпой, как одно огромное знамя, затмевая мелкие триколоры местного значения, бойко плескавшиеся тут и там. В той странной толпе не крали кошельков, не лапали зазевавшихся бабёх и не употребляли ядерных тюркских заимствований. На пике своей обычно *страшной* пассионарности, народ в тот день выглядел вполне достойно и великодушно – впрочем, пассионарность победителя, получившего здесь, в Питере, победу абсолютно даром, и капли крови за нее не отдав, вероятно, коренным образом отличалась от таковой московской, оплаченной там молодой горячей кровью... А тут обошлось. Глухо говорили о какой-то танковой колонне, призванной раздавить все живое, но «остановленной» – кем и как? – под Гатчиной, с удовольствием вспоминали о двух бивуачных ночах у баррикад – с пламенными стихами, крепким кофе, бодрящими песнями, общемировым братством – и пугающе белым «Мерседесом», пожертвованным революционным краснопиджичником в одну из игрушечных баррикад. Все это здесь, в родном его городе, выглядело не более чем бездарной театральной постановкой, грустно размышлял молодой еще Поэт, протискиваясь к ступенькам, игравшим роль положенной любому спектаклю сцены. Но, во всяком случае, «держат и не пуцать» его больше не удастся – это он понимал очень ясно, и в дополнение к мощному колоколу общей Победы звучал в нем еще и маленький частный колокольчик торжествующе-уверенного тона...

Позади осталось приключившееся за восемь лет до того скандальное исключение из комсомола в Университете, повлекшее немедленное изгнание уже и из самой почтенной и многообещающей *alma mater*, что мгновенно перекрыло ему все дальнейшие





дороги, кроме той, которую сразу предложил обрадованный отец.

Тот с самого начала не одобрял странные причуды сына-подростка, но до поры до времени сквозь черные от машинного масла трудовые пальцы смотрел на то, что тот кропает стишата в опрятный тайный блокнот. Думал – перебесится; не по подворотням шляется, где «три семерки» сызмальства хлещут, а по кружкам каким-то мудреным, – и то хорошо. А Васька его взял, да и подал, никого не спросясь, после школы документы в университет на филологический – туда, где лишь никчемным малеванным девкам-белоручкам место. Вынул было родитель армейский ремень с бронзовой пряжкой, чтоб по старой памяти мозги заблажившему чаду вправить через зад, да тот вдруг проявил дотеле не виданный норов: руку отцовскую перехватить посмел и глазами зазыркал.

- Ты вот что, батя, – сказал неожиданным баском. – Ты ремень свой по назначению с сегодняшнего дня используй. Не то, не ровен час, и против тебя повернется...

Отец окинул нерешительным взглядом коренастую, крепко сшитую фигуру юноши, безошибочно определил, что силы неравны – и плюнул:

- Ладно, мне-то что. Я как лучше хотел, чтоб разом, чтоб ты зазря не мучился. Теперь жизнь сама тебе зубенки повышибет – ишь, ощерился. Но только учти, студент гребаный: на шее у нас с матерью тебе сидеть не дам... – дух перевел и закончил просто: – Эх, ты, сын, называется... Матери на одни лекарства ползарплаты моей уходит, да еще продукты на рынке покупай... Рак – это, Вась, не насморк... Пенсия-то ее инвалидная – так, смехота одна... Думал, школу закончишь – на завод наш тебя устрою, кормильцем станешь, защитником... А ты... Иди с глаз, смотришь противно...

- Бать, а, бать... – застыдился новоиспеченный филолог. – Я – это... Что ж я – не понимаю, что ли? Я работать пойду... ночами... Деньги – все до копеечки... Тут ты не сомневайся... Просто учиться мне надо – мечта есть одна. Силу я в себе чувствую...

- Силу чувствуешь – так па-хать надо! – внушительно сказал отец.

- Да не ту... То есть, да, и пахать – тоже... Да только больше та сила, о которой говорю... Значительней, что ли... Как объяснить тебе – не знаю. В общем, поэт я, батя. Вышло так уже. И тут никто мне помешать не сумеет.





- Как Рождественский? – недоверчиво и напряженно спросил «бать».

Вздыхнул Василий:

- Ну, хотя бы... Примерно...

- Тогда дурак ты, и никто больше, – подведен был быстрый итог. – Ну что ж, полетай, сокол, полетай, что делать. Пока не сверзишься...

Сверзился он ровно через полгода, аккуратно после зимней сессии, обеспечившей ему было повышенную стипендию, – да так, что и опомниться не успел. И всего-то стихотворение его, умеренно обличительное, опубликовали в студенческой стенгазете: уломал Сашку-редактора, задурил ему мозги передовым соображением, что, дескать, генсек Андропов взял курс на разоблачение разожравшихся при покойном бескровном правителе сатрапов, и вот-вот полетят они вверх тормашками из своих уютных, красным плюшем завешенных кабинетов. *Обтянув животы пиджаками,/Говорите обиняками,/Гнездышки теплые свили,/Властью тупость прикрыли,/Освоились вы на беду,/Дудите в свою дуду,/Гениев признать не хотите,/Что ж, попробуйте, поэта раздавите!*

На бюро комсомола Сашка, попавший под расправу первым, будто настоящий, а не стенгазетный редактор, каялся, разоружался и отмежевывался прямо по учебнику истории ВКП(б) образца тридцать восьмого года. А белый, как высокая «бабетта» деканши, Василий стоял молча, перекосив рот в презрительной, как ему казалось, и испуганной, как виделось всем остальным, усмешке. И, когда очередь дошла до него – а кого это, студент Стрижев, имели вы в виду, когда писали про тупость власти? – он скупым и верным движением расстегнул верхнюю пуговицу парадного пиджака, добротного пошитого на швейном объединении «Рассвет». Не торопясь, вынул бордовые корочки, хотел швырнуть, но в последний момент почувствовал – несолидно – и тихо положил билет на край стола.

- Вас, – ответил твердо и сдержанно (тут и голос его, не по летам значительный, поспособствовал), и тотчас с небывалым наслаждением услышал в прозрачной тишине яркое девичье: «Ах!».

Повернулся и вышел, сам не понимая, что педантично разыгрывает сколь героическую, столь и заезженную мизансцену. Когда спохватился, запоздало осознав, что все происходило непосредственно с ним и именно по-настоящему, было, конечно,



поздно... Родители торжествовали открыто, даже мать сумела победно улыбнуться из своей шаткой ремиссии, откуда обычно в мир здоровых и счастливых головы не поворачивала. Но он опять их огорчил до невозможности: на батин родной электромеханический учеником идти отказался, а вместо этого поступил на трехмесячные курсы машинистов газовой котельной, где ни комсомольского билета, ни политической лояльности не спрашивали – да, собственно, в те годы там и то, и другое могло встретиться разве что случайно. Он оказался в своей среде – среде гонимых и униженных поэтов, музыкантов и художников. Большинство из них уже впечатляюще получило от власти по мордам, но такого дивного подвига, как претерпевший муку Василий, не сподобился совершить никто. Ну, писали стихи, заведомо ни в один вмняемый журнал не пригодные, – разве что клуба самоубийц; ну, картины там мазали с вполне узнаваемыми свинскими харями – так ведь что позволено Глазунову, то у серой команды не проскочит; ну, обличали суровой песней душителей свободы в узком кругу доверенных лиц, из которых одно вдруг по непонятной никому причине прямо из круга бежало в Большой дом; но чтоб вот так – красными корочками – да прямо в поганую рожу председателя райкома комсомола (молодая легенда, понятное дело, выйдя в свет, вздохнула полной грудью и зажила новой, вполне самостоятельной жизнью)... Словом, Поэт постепенно обретал уверенную известность в нижних кругах творческого ада.

И вот, все это осталось позади, взволнованно думал он в агусте девяносто первого, энергично проталкиваясь к ступенькам Казанского и на ходу бесплатно раздавая из продуктовой сумки многочисленным желающим свой первый, на кровные изданный, поэтический сборник «Сердце свободы». На сцену пускали всех. Дождавшись, пока пропищит вдохновенный очкарик с мятыми листочками в руках, Поэт ловко оттеснил его плечом и, подняв руку ладонью вперед, громовым голосом начал: *Христиане и фашисты/Сионисты и божжи/Комсомольцы и артисты/Оказались во лжи...* – слова его предсказуемо потонули в шквале аплодисментов; переждав этот краткий приступ, он продолжил, зная, что вот сейчас подбавит перцу: – *Шовинизм, нацизм, фашизм/Лезут на поверхность/Их словесный онанизм/Опорочил честность...* – в передних, сплошь мужских рядах послышалось короткое одобрительное ржанье, сразу заглушенное бешеными хлопками...



Он давно уже научился чувствовать и держать аудиторию, давая ей время где надо – задуматься, где надо – хохотнуть... Сегодня, определенно, был его день... Нет, не его – поправился мысленно – всей России.

И потому он совсем не удивился, спускаясь с каменной «трибуны», когда у нижней ступеньки оказалась застенчивая девушка с двумя толстыми светло-русыми косами и огромными, на грани красоты и шаржа, золотистыми глазищами в густой шерстке не длинных и не черных, но пушистых ресниц. Девушка смущенно улыбалась и трепетала так, что хотелось взять ее за локти обеими руками и попридержать, чтоб из нее что-нибудь не посыпалось. Тонкие розовые пальцы сжимали уже изрядно помятое «Сердце свободы», голосок очаровательно срывался:

- А можно мне... Можно ваш... автограф...

Он знал, что краснеет от удовольствия, и потому сразу же придал себе суровый вид, задиристо мотнув головой, чтоб красиво метнулась на лбу его темная, под Пастернака, прядь. Намеренно помедлив, взял ее изрядно обгрызенную авторучку, открыл книгу:

- Зовут вас как? Валя? Ну, вот... – И стремительно черкнул: «Вале – от Поэта».

Они расписались все на той же высокой волне новых всеобщих чайний, не успевшей еще с шумом разбиться о скалистый берег неотвратимой Истории, как всегда, предпочитавшей собственные проторенные пути. Никакой особенной любви к Вале Поэт с самого начала не испытывал, вполне отдавая себе в этом строгий мужской отчет. Он даже не был ею – ни романтически, ни физиологически – увлечен. Но девушка подарила ему уникальную, единственную в жизни возможность через призму Валиного немного сумасшедшего взгляда увидеть себя именно таким, каким мечтал всегда. Мечтал – и не смел, потому что естественные сомнения в исключительности своего таланта все-таки кишели в его своевольном подсознании, как личинки паразитов в анализах уличного подростка. Валя уничтожила их с самого начала – поженски решительно и беспощадно:

- Вася, чем человек гениальнее, тем свойственней ему скромность и самокритичность. В этом ты полностью прав, так дальше и живи, милый, – по самому высокому счету. А уж мне со стороны видней, какой ты на самом деле... – тут ее необычайные глаза теплели и увлажнялись, сияя некой внутренней лукавинкой, ясно





давая понять без слов, *какой* именно.

И надо полагать, убеждал себя смущенно-радостный Поэт, она имела полное профессиональное право на свое мнение, потому что, выпускница института Культуры, работала библиотекарем в школе и, стало быть, в стихах, уж наверное, хорошо разбиралась.

- Кормильца из меня не получится, – счел он нужным внушительно предупредить невесту перед свадьбой. – Предназначение мое – иное. Я – поэт, и путь мне предстоит не обывательский, сама понимаешь. Тернистый, скорей всего, путь... Я почему это сейчас, заранее, говорю? Просто, чтобы ты никогда потом не прекнула меня бедностью, неустроенностью, неожиданностями, может быть, какими-то с моей стороны... – это последнее он специально вернул – к тому, что фанатичной верности от него ожидать не стоило: не было еще такого в истории мировой литературы, чтобы поэт раз и навсегда оказался привязанным к одной юбке. – Словом, не по розам пойдем. Так что подумай еще раз, не торопись... Судьба жены моряка раем показаться может! Но, если ты готова к трудностям и встаешь на этот путь с открытыми глазами...

Ее глаза были уже заранее широко открыты, почти разинуты, как и нежный бледный ротик, и Валя изо всех сил кивала на каждое его слово:

- Господи, Вася... Тебе и говорить мне всего этого не нужно!

Отцу (мамы к тому времени давно уже не стало) молодая сноха тоже пришлось по душе, только смотрел он с другой, неожиданной для сына стороны:

- Главное, не намазанная она. В смысле – лицо всякой дрянью не красит.

- Уж и главное... – усомнился Поэт, раньше и вовсе этим вопросом не задававшийся.

Но отец был уверен:

- А как же! Которая мажется, та себя, как на продажу, выставляет, даже если о том и не думает. И покупатель всегда найдется – вопрос только времени. А которая не мажется, та для мужа живет, ей другого не надо. Я вот своей, – (имелась в виду не почившая супруга, а новая отцова пассия, к которой он стыдливо, но целеустремленно бегал уже два года), – так и сказал еще в самом начале: увижу, что рожа размалевана, – возьму мазилку и враз тебе на голову вылью.





Он прожил еще четыре года, успел даже потешно повозиться с внучкой Долюшкой, и скоропостижно умер от обширного инфаркта – как выяснилось на вскрытии, от третьего, что удивило искренне горевавшего Поэта несказанно: к врачам отец никогда ни за чем не обращался, а из лекарств после смерти жены признавал лишь салол от живота, аспирин от головы и валидол от сердца... Ни тем, ни другим, ни третьим не увлекался, таблетки годами сохли и желтели в кухонной аптечке вместе с зеленкой и серым от времени бинтом...

А жить становилось все невыносимей. Сиротских зарплат библиотекаря и оператора котельной на пропитание семьи из трех человек не хватало уже просто категорически. Короткое время держались продажей надежного советского золота, оставшегося от двух покойных матушек; по полгода жили трудным подножным кормом, благо летний сарайчик на шести сотках в дальнем, за лесами-за болотами, садоводстве, Валя давно унаследовала от матери (отца не помнила); одевались в обноски троих покойных родителей, отчего долго походили на призраков победившего социализма, – но о подобных пустяках и вовсе совестились задумываться...

И все-таки он издал за это время шесть небольших книжиц – за свой счет, конечно: после того, как волна, так обнадеживающе вынесшая его когда-то на твердый берег надежды, схлынула, оставив на том берегу лишь грязную пену, сор да дохлых медуз, поэзия надолго перестала интересовать оголодавших и быстро дичающих бывших читателей. Чтобы издать свои, он продавал чужие – ценные книги из библиотеки Валиных предков – в прямом смысле воровал их оттуда во время родственных визитов, потому что квартирой тещи давно завладели хищные старшие сестры. Он посещал сразу два самоуверенных ЛИТО, где иногда издавали тощенькие коллективные сборники на спонсорские подачки. Мечтая о битком набитых слушателями залах, где молодежь с горящими глазами гроздьями висит на балконах, бурливо толпится в проходах и сажает низкорослых юношей на плечи в распахнутых дверях, он выступал теперь перед дюжиной шепчущихся крашенных старух в каких-то сомнительных собраниях, перед пылавшими открытой ненавистью полуярками-школьниками, насильственно сгоняемыми Валею в актовый зал на уроки внеклассного чтения, перед такими же, как он, неиздаваемыми поэтами и, что еще мерзей, заносчивыми, разодетыми в пух и





прах поэтессами, слушавшими его лишь потому, что сами ждали очереди выступить...

Он классически попал из огня да в полымя, в чем убедился очень скоро, как и в том, что в новых политических условиях можно спокойно читать публике старые клеймящие различные неправды стихи вперемешку с только что написанными – и они звучат в новейшее время точно так же убедительно и уместно, как и в предыдущей проклятой формации. *Куклы бездарей болтливых,/В политику играющих*, – надрывался Поэт, тряся фирменной прядью, на поэтических собраниях, где разрешалось курить, отчего отрешенные слушатели выглядели сквозь дым, как кикиморы среди болотных испарений, – *Бюрократов тьму сонливых/От нас оберегающих.../Веку ядерных аварий,/Веку сумасшедших,/Обнаглевших хитрых тварей,/К власти путь нашедших...* – но обидно много поэтов получило возможность невозбранно высказываться в таком же духе, и его одинокий пророческий голос тонул в квакающем болоте...

Дома жилось не лучше. Валя надоела ему необратимо. (Застенчиво грезя о бурных связях с экстатически твердящими «Ты пророк! Я тебя недостойна!» поклонницами, он изменил ей за все время только один раз, с возрастной поэтической дамой, имевшей слишком поздно рассмотренный завитой парик на коротко стриженной седой голове – а больше ни одна не захотела.) Дочку Долю Поэт любил, разумеется, – но несколько отвлеченно, потому что инстинктивно ждал и искал в ребенке продолжателя и выразителя своих пошатнувшихся чаяний, но было сомнительно, что девочка однажды в должный час подхватит родительское знамя: не для слабых девичьих рук его тяжелое древко, смутно чувствовал ошутимо разочарованный отец. Он, конечно, безотказно водил дочь в недалекий детский садик, покупал ей мороженое на сэкономленные копейки, атавистически волновался, когда она вдруг заболела старинной и оттого страшной scarlatinой, от которой умерла в детстве сестра его смутно помнившейся бабушки; впрочем, когда выяснилось, что современная scarlatina совсем не опасна, сразу успокоился. И, в конце концов, он легко мог представить себе такую же кипучую жизнь – но без дочери Долорес... Нелюбимая же Валя была необходима – и это Поэт безжалостно осознавал. Пусть он презирал ее за то, что под многозначительной тихостью и чистотой юности, поманившей его когда-то обещанием свежего и сильного обожания, оказалась обыкновенная безлика никчем-







ность. Пусть ему претило в ней ее жалкое самоуничижение, отсутствие любого самостоятельного смысла, пустота, которую он когда-то мечтал наполнить – собой. Пусть наполнить не удалось, потому что наполнять было нечего, слишком уж скудельным оказался сей сосуд... Но, пока она была у него, была вместе с девочкой Долечкой, он знал, что не сдастся. Не сдастся хотя бы ради той огромной и грозной надежды, которая когда-то столкнула их – случайные листики, мотаемые вихрем Истории, у Казанского собора в прохладный августовский денек...

И поэтому, когда наутро Лупоглазый, неубедительно растягивая губы в скупой песьей улыбке, вошел в мешковатой бирюзовой форме и на затылок сдвинутой шапочке к нему в палату, Поэт обрадовался: улыбка явно предназначалась кому-то, кто уже догонял доктора, – а в коридоре робко постукивали женские каблуки...

– Вот и супруга ваша, – бодро доложил врач, не поздоровавшись. – Раньше обхода пришла, оцените... – Обернувшись, он хрипловато бросил назад: – Только недолго на первый раз, хорошо? – и отстранился, давая дорогу.

На миг притиснув врача к стенке, в палату почти ворвалась высокая длинноволосая женщина в темно-синем платье до колен и с короткими бусами из ровных серых жемчужин.

– Вася... – срывающимся голосом прошептала она, прежде чем броситься к постели. – Слава Богу... – и подавила рыдание.

Женщина эта была ему абсолютно незнакома. Поэт мог поклясться, что никогда раньше ее не видел.

## Глава 2

### Old MacDonald Had a Farm<sup>1</sup>

Частных учителей приглашают к двум видам учеников: более или менее способным, но нуждающимся в твердой руке для поддержания на спокойном пятерочном уровне, и тем, которым пожизненно вызывают «скорую помощь», как инвалидам детства, подверженным постоянным смертельно опасным приступам. В этой категории встречается немало потенциальных гениев, у которых одна половина мозга, отвечающая за техническую или же гуманитарную сторону человеческой жизни, словно обесточена, как половина квартиры, когда в электропакетнике один из

<sup>1</sup>У старика Макдональда была ферма (англ.). Здесь и далее – прим. автора.





в норме торчащих вверх рычажков с тугим щелчком падает – и это означает, что пробки вылетели. На одной половине дома как ни в чем ни бывало болбочет у сына телевизор и подвывает у хлопчущей мамы посудомойка на кухне, – а на другой в сумрачном папином кабинете навечно погас экран компьютера с только что вдохновенно начертанной, но еще не сохраненной формулой нового топлива для межпланетных кораблей... Другими словами, если человек по-русски читает по слогам, а английский алфавит в выпускном классе видится ему не более ясным, чем арабская вязь, то нет никакой гарантии, что на первом курсе физтеха он не изобретет машину времени; а если его математические познания трагически оборвались на так и не освоенном квадратном корне, то общество вовсе не ограждено в будущем от двухтомного продолжения «Евгения Онегина»... Впрочем, существует и третий, аварийный вариант. Это отягощенный родительскими грехами всех видов ребенок, который лет двадцать назад специальной медико-педагогической комиссией был бы навеки причислен к беззаботному племени дебилов и после окончания условной школы, дипломатично называемой «вспомогательная», обречен до смерти клеить белые коробочки (что, в общем-то было бы по отношению к нему и справедливей и гуманней, тем более, что и коробочки государству тоже нужны). Но восторжествовавшая в девяностых агрессивная демократия решительно воспротивилась такому тоталитарному произволу, и начала требовать на упомянутом заключении, кроме подписей врачей и педагогов, еще и подпись родителей – ну, а чтобы поставить таковую, они и сами должны сначала рехнуться. Ведь если ребенок не мычит, а разговаривает, пусть даже параллельно и пережевывая одному ему известную куснятину, и самостоятельно находит туалет, где ухитряется спустить за собой воду, то ни один в своем уме родитель не вычеркнет его собственной рукой из списка небезнадежных. Оставит хоть один шанс на почти человеческое (ведь и в поведении официально здоровых людей часто приходится на что-то закрывать глаза), очень напоминающее полноценное будущее. Вот и ходят к нему до глубокой ночи, сменяя друг друга на посту, как бойцы Кремлевской роты у Вечного огня, жадные репетиторы уже по всем предметам, кроме разве что физкультуры. Все они прекрасно знают, что ученик их, в принципе, необучаем, да и речь-то идет не о том: не обучить, а вытянуть на желанную тройку, – и хорошо, если родители тому не препятствуют...



Но ведь нет же! Была, например, у Полины девочка, словно сошедшая с полотна придворного мастера девятнадцатого века, – и одевала ее мама соответственно, в розовые шелка с кружевами, а в конфетные ушки вдевала бриллианты... Все у нее было – и сверкающие золотом локоны до копчика, и тонкая кунья бровь, и будто искусно выведенные эмалью нечеловечески синие глаза в аккуратных стрелках ресниц... – не было только мозгов. Если девочку сажали – она сидела, пока не падала, если ставили перед ней тарелку – отрешенно ела, а унитазом пользовалась по условному рефлексу, точно так же, как ее собственная британская кошка, раз и навсегда приученная к лотку. Четыре раза в неделю в течение получаса Полина водила ее безответной рукой, все время норовившей выронить авторучку, по тетрадным клеточкам, произнося вслух заданные на дом простые английские предложения, а на вторую половину урока запускала диск с несколькими английскими песенками – и можно было спокойно расслабиться за чашкой кофе, равнодушно наблюдая, как в гладких непроницаемых глазах ученицы исподволь нарастает некая тупая озадаченность. «Моя знакомая по фитнесу тоже пригласила к своей дочке репетитора! – горячилась после урока ее моложавая мать с пластмассовым от бесконечных подтяжек лицом. – Занимается с ней всего полгода, а девочка уже стрекочет по-английски, как сорока, – не остановишь. А вы, Полина Леонидовна, у нас третий сезон, а у Заиньки все еще тройки в четверти!». Если бы Полина была по-настоящему честным человеком, то следовало бы твердо ответить, глядя в глаза этой старой, прошедшей огонь и воду и мечтающей о медных трубах суке, что нельзя в конце пятого десятка зачинать детей от кого попало в пробирках, да выращивать их потом в своей истощенной абортами бесплодной утробе в компании двух-трех засохших трупиков предусмотрительно редуцированных сестреночек. «А коли родила да кормишь, – гаркнуть под конец так, чтобы у той в лице мелькнула осмысленность, – то ты не англичанок-математичек ей, дура, нанимай – дефектологов! Потому что она у тебя по-русски знает меньше слов, чем людоедка-Эллочка!». И швырнуть бы что-нибудь шумное, да дверью грохнуть... Ага, и четверть месячного заработка долой. «У каждого свои способности... – понижает голос до бархатности Полина. – У кого-то к языкам, как у той девочки. А у кого-то... – бросает выразительный взгляд в открытую дверь, за которой неподвижно, как кукла Мальвина, сидит на диване среди десятка вышитых



подушечек Заинька, – способности запрятаны глубже... И лежат где-то в другой области... Но, поскольку школу закончить все-таки надо...».

Через пять минут в Заинькином дворе Полина с привычным и все чаще оправдывающемся этой зимой страхом поворачивает ключ зажигания в едва живой отцовской «шестерке». Машина болезненно вздрагивает всем своим чуть теплым телом и удивленно вскрикивает, как женщина, наступившая на осу. А магический ключ, будто бор в огромном пульпитном зубе, вызывает у нее длинную ознобную дрожь и каскад надрывных стонов... В общем, на следующий урок Полина бежит пешком, опасно оскальзываясь на обледенелых дорожках и уже бесчувственными пальцами без перчатки прижимая к щеке холодный, как пистолет Макарова, мобильник: «Да, да, опять сдохла... Нет, вообще не схватывается... А хрен ее знает, жужжит, как навозная муха, и все... Да как я вам ее пригоню – на себе принесу, что ли...».

На последнем уроке ее напоят, накормят и обогреют – хотя никакой пользы она и там никому не принесет. То есть, добросовестно сделает домашнее задание за Петю – именно так зовут уже не маленького, но всегда испуганного казашонка. Глаза мальчика природа словно срисовала из эпического произведения, созданного на мультипликационной студии Казахской ССР, – именно такими там гордо смотрели национальные кони: вроде бы и традиционно раскосыми, но в то же время дикими и громадными. Его мать, сорокапятилетняя белокожая, скуластая, светло-рыжая сибирячка под два метра ростом, давно разведясь со случайным плюгавым азиатским отцом своего ребенка, растила его с помощью старшего сына – ни разу не показавшегося при Полине владельца одного из крупных успешных телеканалов. Помощь оказывалась исключительно материальная, уродливо щедрая, немало озадачивавшая и саму принимающую сторону. По необъятной, как родные просторы, квартире, отделанной малахитом и уставленной мраморными амурами, по наборному паркету, среди мебельного рококо и технических чудес, бродила, как снежный человек по Забайкалью, огромная женщина в серых валенках на босу ногу, в теплой ночной рубашке нежно-голубого цвета и с блестящими, будто ромашкой крашенными, но на самом деле нетронутыми волосами, раскиданными без унижительного участия расчески поверх оренбургского платка, покрывающего круглые мощные плечи. Не имея вообще никакого образования, эта





женщина была так умна, что Полина со своими двумя высшими гуманитарными перед ней неизменно терялась. Возможно, этой сибирячке с пронзительным взглядом отсутствующие университеты вполне заменила исключительно счастливая наследственность: деда Анны Георгиевны раскулачивали не как всех, а *дважды*. Первый раз почти законно, в черноземной полосе России, где отобрали племенное стадо и несколько гектаров плодородных садов и пашен, а второй – в сибирской тайге, через три года после того, как оставили с беременной женой и пятью детьми прямо на шпалах Транссиба – просто выгрузили из товарного вагона, в чем были, в девственный снег под кедрами и, весело гуднув, отправились дальше... Обучением бедного Пети ни работодателя, ни репетитор особенно не заморачивались, без слов договорившись о его полной бесперспективности, – им было просто интересно друг с другом. После урока и до полной темноты они часто просиживали на кухне за обширным столом из диковинной пестрой яшмы, раздвинув локтями грязные золотые вилки и северского фарфора тарелки с засохшими объедками, и философствовали, прихлебывая травяной чай с деликатесным домашним растегаем. Обе, каждая на свой лад, дивились на сидящее напротив диво дивное: одна – на оживший в центре Петербурга идеальный, будто только что из поэмы, некрасовский типаж, а другая – на впервые подпущенного на близкое расстояние дотоле неведомого зверька под названием самка русского интеллигента. И две далекие друг от друга, как Петербург и Сибирь, женщины удовлетворенно убеждались всякий раз, что во всех мнениях вполне меж собою сходятся, хотя и разными путями добираются до одной и той же неистребимой сути вещей...

Был у Полины и третий ученик, и четвертый, и пятый... Легка жизнь домашнего учителя! Доход в полтора раза больше чем у школьного, а нагрузки и нервы меньше раза в три, причем, ответственности практически никакой. Зато никакой и пенсии – так ведь до нее еще неизвестно, в наших условиях доживешь ли... На этот заманчивый путь встала Полина Леонидовна невзначай: когда очень болел перед смертью ее старый папа, представитель редкой, как белый воробей, популяции отцов-одиночек, брошенных ветренными женами, она должна была разорваться между ним и бескорыстно любимой работой в средней английской школе. Но оказалось невозможным совместить ее с бесконечными дневными поездками с папой по уникальным специалистам и трудно-



доступным, как гора Эльбрус, процедурам, призванным лишь продлить ему мучительное существование, с редкими анализами, которые нужно было многократно лично отвозить в далекую, чуть ли не подпольную лабораторию... Но, главное – не хотелось поступаться последним общением с родным человеком, иначе обреченным вечно сидеть под колючим пледом в одиночестве, в высокой и темной, как готический собор, квартире среди пыльных портьер, под арочными сводами заплесневевшего потолка... Сидеть и думать о том, что жизнь, вроде бы, и не начиналась (все думал – вот выращу дочку, образование ей дам, тогда уж и для себя...), а уже неумолимо заваливается за низкий горизонт, как похожее на подгнившую хурму в ледяном мху морозилки зимнее питерское солнце тихо скатывается куда-то за край заставленного аптечными склянками старинного широкого подоконника...

Тогда Полина и бросила изнурительную школу, перейдя на торную и надежную стезю частного репетиторства: думала, временно, но оказалось, навсегда. Когда, оплакав положенное по отцу, она вознамерилась вернуться на былую работу, то, уж собрав нехитрый пакет документов, вдруг призадумалась: ей остро вспомнился резкий, как кинжальный удар, грохот будильника, врывающийся в половине седьмого утра в ее только-только укрепившийся и повернувшийся на интересное сон, смазанные лица подростков, традиционно видящих в учителе подлежащего уничтожению врага, дружный, крепко споенный педагогический коллектив, где даже физруками работают две одинаковые блондинки в ярко-фиолетовых костюмах, пыльный ворох ненужных в мире абсолютно никому, но обязательных для заполнения бумаг, стопки идиотических методичек, свое собственное очень точное школьное погонялово «Коряга»... И решила не особенно торопиться с возвращением блудной дочери.

Полине исполнилось тридцать два, она была стандартно некрасива, искусственно дефлорирована под местным наркозом, чтобы не позориться на медосмотрах (зато уши сохранила девственными, убоявшись кровавой процедуры прокалывания), избыточно для женщины умна, более или менее равнодушна к нарядам и косметике (хотя одевалась нарочито элегантно), и наркотически зависима от художественной литературы. Ученики обидно прозвали англичанку Полину Леонидовну Корягой с полным основанием: весь склад ее сухого угловатого тела, общий ритм скупых движений, грубые и жесткие, полумужские черты бледного лица,



обрамленного гладкими пепельными волосами с ранней проседью, – все это сразу приводило на ум одиноко торчащую из болота высохшую ветвь погибшего дерева. Когда Полина была и сама собой отчего-нибудь недовольна (а к собственной персоне относилась интеллигентски-взыскательно), она мысленно обругивала себя именно этим нехорошим словом: «Ну, Коряга ленивая, ты так и намерена жить среди любимой болотной тины? На ремонт подвигнуться не желаешь?». И подвиглась, и погода прожила, как кот на гноище, и в результате осталась на сверкающем паркете слегка ошарашенная: неужели это вот все – для нее одной?

В незапамятные времена сюда в качестве подселенцев подсунули ее тогда еще ненадолго женатых родителей. Во второй, большей комнате жили две старушки-близняшки, родившиеся там же в последней, уже не очень благополучной четверти девятнадцатого века. Квартира изначально была, как они всю жизнь помнили, шестикомнатной и принадлежала их строгому мундирному отцу, путейскому инженеру. Там все обстояло основательно, как и полагается в порядочных домах: имелись две расторопные горничные, душевная няня в кокошнике и в рюмочку затянутая гувернантка – а так же целых два целомудренно незаметных, но размером с жилую комнату санузла в разных концах квартиры: один, в белоснежном сияющем мраморе, – господский, другой, с замечательными медными рычажками и кранами – для капризной городской прислуги. Последнее обстоятельство и позволило озабоченному квартирным уплотнением гегемону запросто, как ножницами, раскроить бывшее родовое гнездо на две неравные части: одна, с выходом на черную лестницу, сохранив четыре комнаты и медные рычажки, так и жила свой долгий век коммунальной; другой достались две, плюс беломраморные удобства, и она со временем возвратилась в благородное семейство отдельных квартир. Когда, почти через сто лет после общего дня рождения, сестры-близнецы, прожившие всю жизнь нераздельно, будто были не простыми, а сиамскими, умерли в один пусть не день, но месяц, их комната, отошедшая Жакту, подлежала коммунальному заселению вновь. И вот тут Полинин родитель, покинутый муж и ответственный отец, отбросил присущую ему всегда кротость и непредсказуемо взбунтовался. Выяснилось дотоле неизвестное обстоятельство: он и его ребенок, оказывается, – разнополые! И им законодательно разрешается претендовать на освободившуюся площадь! А Полинин папа, как оказалось, ответственный не







только отец, но и работник! В общем, комнату они получили в наследство от покойных инженерских дочерей вместе с антикварной мебелью, бронзовой настольной лампой, изображавшей лесную деву с очаровашкой-олenenком у ног, и хитро обнаруженным девочкой-резвущкой тайником под обоями. Из тайника, правда, достали не шкатулку с бриллиантами, а всего лишь связку коричневых от времени скучных писем, писанных неизвестно кем неизвестно для кого и не содержавших ровно ничего ни таинственного, ни романтического, – так что оставалось только удивляться тому, что их так основательно припрятали. В перестройку квартиру предусмотрительно приватизировали, а после смерти отца никому не нужная, одинокая домашняя учительница Полина Леонидовна осталась бродить по теплым гулким комнатам, постукивать неброско налаченными ноготками по бело-синим изразцам случайно за целый хлопотливый век не пострадавшего четырехметрового камина и удивляться непрактичной расточительности мировой судьбины. Она знала, что некоторые из ее бывших школьных учеников, коренных петербуржцев, живут в историческом центре с мамой, папой и двумя братиками в узких, как трамваи, комнатах и не мечтают о лучшей доле; что иные и вовсе стоически ездят в престижную гимназию из окраинных пятиэтажек, тесно и жестоко заселенных никому не ведомой питерской беднотой; прекрасно понимала, что вопреки всякой справедливости единолично владеет своими светлыми высокими палатами, не сшившимися во время оно и боярскому терему... Здесь бы звучать золотому детскому смеху, сбивчиво топотать коротеньким неумелым ножкам... И зачем ей эта кухня размером с бальный зал, если не готовить здесь завтрак, обед и ужин для большой дружной семьи, а лишь разогревать в микроволновке унылые синтетические котлеты? Ей даже завещать это недвижимое богатство, за которое нашлись бы желающие и отравить, и зарезать, – некому, некому, некому... Впрочем, завещаешь – и действительно зарежут...

Однажды осенью позвонило агентство по подбору домашнего персонала, где давно не востребованно пылилась на всякий случай заполненная Полиной анкета. Предлагались регулярные уроки английского у девочки семи лет и, пару секунд незаметно поколебавшись, Полина решила заткнуть ею внезапную финансовую дыру, зиявшую на месте без предупреждения отданного в дорогое закрытое заведение ученика.

Дверь открыл пожилой бородатый дядечка в женской шерстя-







ной кофе а ля академик Сахаров, а из-под его крендельного локтя с недоверчивым любопытством глядел сквозь каштановую челку диковатый, как у Маугли, круглый, редкого орехового цвета глаз. Приличность любого работодателя определялась, в числе других, маловажных факторов, и одним наиболее веским: поят или не поят чаем-кофе, и что к напитку предлагают. Бывали семьи, где на просьбу о невинном стакане воды, чтоб запить таблетку от головной боли, давали полчашки, которую разрешалось быстро выпить на кухне под пристальным взглядом хозяйки, – и создавалось полное впечатление, будто мамаша ученика боится, что учительница эту чашку украдет. В других домах насильственно кормили полным обедом из первого, второго и третьего, кланяясь, умоляя не побрезговать, и обидчиво поджимая губы, если англичанка была сыта. Наиболее нормальными местами считались у Полины те, где попросту приносили к рабочему столу добрую кружку кофе со сливками и могли пожертвовать несколькими хрустящими печенюшками. Бородатый «Сахаров» оказался как раз из таких, назвался Константином Павловичем и Леночкиным дедушкой, а с учительницей пожелал предварительно конфиденциально побеседовать. Это было, в общем, неплохо – по крайней мере, появилась возможность узнать, чего же именно хотят от нее в этом доме: твердой тройки в году или высшего балла на вступительных в Кембридж.

Константин Павлович долго и занудливо-профессионально готовил кофе, говорил поставленным преподавательским баритоном (да и являлся профессором какого-то технического, в расчет Полиной не принятого института), а историю рассказал малоприятную и легкой наживы не сулящую. Его давно не любимый, последовательно поправший одно за другим все отцовские чаяния сын лет восемь назад случайно перепихнулся (так и сказал, даже Полининой внушительной камеи под кружевным воротничком стерильно белой блузки не постеснялся) с юной наркоманкой, дочкой маргинальных родителей, и думать об этом, естественно, позабыл на следующее же утро. И напрасно, потому что наркоманка, пребывая в ином, не каждому доступном мире видений, о своей беременности догадалась только, когда у нее начались преждевременные роды. Но, родив ребенка, она неожиданно встала на трудный путь исправления, ощутила дотоле неизвестную ей ответственность и даже предпринимала какие-то неубедительные действия, со стороны напоминавшие воспитательный процесс,





– а именно, дав ребенку имя, определила его в круглосуточный ясли-садик и целых семь лет не забывала брать оттуда на выходные. Но три месяца назад была убита в бытовой драке пьяным сожителем. Никого из живых безработных родственников упавшая на Землю по недосмотру девочка Лена не заинтересовала, зато равнодушная директриса интерната сумела разыскать ее биологического отца. Разысканный отец, непонятно чего утрашившийся, бросился за помощью к собственному, уже лет пять не навещаемому. Захотел было Константин Павлович от всей этой неприятной истории загодя отмежеваться, но дрогнуло мягкое стариковское сердце: представился какой-то там солнечный лучик в недрах одинокой темной квартиры, загроможденной вековыми накоплениями мебели, и еще что-то столь же сентиментальное, вроде лесного ручейка в дремучей чаще. Закончилось тем, что уже отданную в школу-интернат внучку Леночку теперь на выходные забирает он сам, да еще берет ее домой в среду, выходной свой день, когда у него нет в институте лекций... Девочка, конечно, запущенная («Дичок такой, понимаете?») – благодушно улыбнулся разомлевший дед, но он задался целью бережно ее выправить и вернуть в мир хороших людей полноценным членом общества, для чего первым делом остриг ей волосы, а вторым – пригласил репетитора по английскому.

...У старика Макдональда была ферма, на которой он развел гучу живности. Имелись у него куры, то здесь, то там издававшие почему-то воробьиное «чик-чик» вместо законного кудахтанья; утки его, тоже повсеместно, перешли почему-то на лягушачье кваканье, а уж свиньи изъяснялись и вовсе невразумительным «хоньк-хоньк»; только коровы невозмутимо тянули свое интернациональное «му-у» – в общем, весело, должно быть, жилось шотландскому старикану.

- Неправильно, неправильно! – горячо настаивала Леночка, чуть ли не со слезами на глазах. – Утка говорит «кря-кря»! А свинка – «хрю-хрю»! Нам Наталья Ильинишна говорила! – то была, вероятно, ее маленькая истина последней инстанции, за которую заставлял цепляться дремучий инстинкт самосохранения.

- Она рассказывала о русских свинках и уточках, – терпеливо разъясняла Полина в тысячный раз. – Английские кричат по-другому...

Она вновь нажимала кнопку музыкального центра.





- Old Macdonald had a farm, – несся бодрый бесполоый голос, – Ea-ea-yo-o... And on his farm he had some chicks... Ea-ea-yo-o... With a «chick-chick» here... And a «chick-chick» there... Here «chick», there «chick», everywhere «chick-chick»<sup>1</sup>...

Про Макдональда Леночка вполне понимала: это была такая замечательная, совсем не похожая на интернатскую, столовая, где в больших цветных коробках, кроме булки с котлетой и картонного кармашка с вкусным жареным картофелем, лежала еще и маленькая симпатичная игрушечка. И котлета была даже очень ничего себе, с густой желтой подливкой и зелеными листиками. Она тоже имела свой персональный картонный домик. Все эти звери нужны Макдональду, чтобы делать из них котлеты, – понятно, что зверей у него было много: вон, сколько людей в столовой, и все едят котлеты... В «Макдональдс» Леночку водил дедушка Костя два раза в неделю – в среду и субботу, поэтому, когда кончалась среда, она сразу же начинала ждать субботу, а когда кончалась суббота, то сразу же начинала ждать среду. У нее теперь было, чего ждать. Другие дети – те, что поглупее – ждали своих мам. Мамы к ним никогда не приходили, а они все равно ждали. Леночка была умнее их и давно поняла, что мама к ней больше не придет, и ждать ее – просто глупо. А вот дедушка Костя – тот приходил, значит, его и нужно было ждать. В результате, другие ждали напрасно, а Леночка – нет. Вот какая умная была девочка Лена. Поэтому и песенку про старого (наверное, такого же, как дедушка) Макдональда она слушала с удовольствием, хотя звери в ней и разговаривала неправильно. Правда, это все, что ей было в песенке понятно. Там вообще все слова были неправильные. То есть, когда Полина Леонидовна объясняла, то Леночка сразу понимала – не дурочка же. Но, когда учительница уходила, Леночка быстро все забывала, и на следующем уроке уже совсем ничего не помнила. Полина Леонидовна пыталась включать и какие-то другие песенки, но те были совсем неинтересные, потому что в них ничего не говорилось про столовую дедушки Макдональда.

<sup>1</sup>У старика Макдональда была ферма./Иэ-иэ-ё!/А на ферме были цыплята./Здесь «пи-пи», там «пи-пи» – везде «пи-пи»... (пер. с английского). Это старинная шотландская песенка, которую можно петь бесконечно, каждый раз в один и тот же куплет подставляя название нового животного и заменяя междометие, означающее производимые звуки; не все звуки животных трактуются в английском языке так же, как в русском: напр., свинья «говорит» «хоньк-хоньк», утка – «квак-квак» и т.п.





Когда вдруг звучала не та мелодия, Леночке сразу хотелось плакать и кричать – слезы так и брызгали:

- Я хочу «Макдональдс»! – рыдала она, нетерпеливо подпрыгивая вместе со стулом. – Там про игрушки!

И Полина Леонидовна сама начинала напевать:

- Old Macdonald had a farm... Ee-ee-yo-o... And on his farm he had some pigs<sup>1</sup>...

Лена узнавала последнее слово и с восторгом кричала:

- Хоньк! Хоньк! – и хлопала в ладоши...

Она от рождения страдала дебильностью. Полина не очень разбиралась в дефектологии и не знала – легкой, средней или тяжелой степени. Во всяком случае, в голове ребенка словно присутствовала огромная засасывающая дыра, прямым сообщением с пустотой. В памяти девочки не удерживалось ничего, кроме того, что периодически застревало там благодаря условным и безусловным рефлексам. Говорила она примерно так, как это свойственно щебетливым четырехлетним детям, только, в отличие от них, никогда не являла шквального любопытства по отношению к окружающим ее невероятным предметам и явлениям, ни разу не задала хрестоматийного детского вопроса «Почему?». Ее ничто в этой жизни не удивляло, а все радости сводились только к гастрономическим: дедушка Костя и Полина Леонидовна, каждый со своей стороны, олицетворяли собой жирные котлеты в прелой булке из знаменитого ресторана быстрого смертоносного питания. Один ее туда водил, другая – учила воспевать... Тут она достигала нерушимого потолка своего абстрактного мышления и, строго говоря, Полине давно пора было набраться храбрости и отказаться от странных, словно в тумане протекавших уроков... И больше никогда не увидеть Константина Павловича в вязаной растянутой кофте – благодушного дедушки... Ему все равно очень скоро пришлось бы осознать происходящее в полной мере: пока на уроках письма в школе-интернате дети, с Леночкой в числе других, еще только пыхтели, выставив напряженные язычки, над косыми палочками в прописях, не так бросалась в глаза общая отсталость внучки, которой заведомо не предстояло легко управляться ни с буквами, ни с цифрами. Про английский язык и вовсе не приходилось заикаться, потому что под словом «язык» Лена понимала только тот розовый кусочек, увы, несъедобной колба-

<sup>1</sup> У старика Макдональда была ферма./ Из-из-ё!/А на ферме были свинки... (пер. с английского).





ски, что мокро болтался у нее во рту. Английский – это был чей-то чужой язычок, и до него она не имела ровно никакого дела... Все это дедушке Косте предстояло объяснить на пальцах, потому что для него, рассеянного ученого из старых советских комедий, разницы в четырех- и четырнадцатилетних девочках, собственно, не было никакой: то и другое обозначалось словом «дети», чье дело – «играть в куклы» и «хорошо учиться», а задумайся он невзначай о нюансах того и другого – и, пожалуй, встал бы в тупик...

Да, бесповоротно уйти и больше не сидеть с ним до ранней ночи на кухне, когда Леночка давно смотрела на цветастых подушках свой очередной макдональдсовый сон. Не слушать его бесхитростные в извечном мужском желании произвести впечатление на слабую женщину рассказы о героической флотской юности. Не учить его правильно варить кальмара, чтобы он не оставался после трехчасового кипячения загадочно жестким. Не прощаться потом в темноте у машины сначала под влажным листопадом, а потом под теплой кружевной вьюгой. Не ходить в воскресенье после урока с ним и Леночкой на горку, не ловить ее внизу, горячую, визжащую и хохочущую, потерявшую в пути свою ледянку и оттого съехавшую на животе. Не слышать, как она бежит внутри квартиры на дверной звонок, залиvisto крича: «И-э, и-э, ё-оо!». Не отругиваться на катке от чьей-то строгой бабушки, значительно выговаривающей Полине у бортика: «Следить надо за своим ребенком, мамаша, чтобы он других детей не толкал!». Не представлять себе по ночам, лежа под темными сводами недоступного потолка, что вот возьмут они как-нибудь – и заживут втроем счастливо, не хуже других, – и Леночка либо внезапно выздоровеет, либо постепенно выправится, не по науке, так по любви... Вот и отвечала с самой искренней улыбкой Полина Леонидовна Константинову Павловичу звенящей морозом ночью у его дворе у медленно прогревающейся «шестерки»:

- Нет, особых способностей к языкам я у Лены пока не замечаю. Значит, они лежат в какой-то другой, пока неизвестной области. Но, поскольку школу закончить все-таки нужно...

Он робко похлопывал учительницу по руке, радуясь, что она без перчатки, и вовсе не догадываясь о том, что перчатка была удалена злостно и преднамеренно – именно ради вот этого мимолетного прикосновения:

- Но ведь вы же поможете? Тогда на будущий год мы подумаем





о том, чтобы перевести Лену в нормальную школу, может быть, гимназию или там лицей...

«Мы, – упоенно шептала в машине Полина, несясь домой через пустынный промороженный город и замирая в преддверье грядущей среды точно так же, как и ее ученица. – Господи, неужели у меня с кем-то намечается «мы»? Или это я фантазирую, а он просто оговорился?».

Кроме регулярных, как месячные, по расписанию шедших уроков, случались иногда у Полины и внезапные прибыльные халтурки разового свойства, позволявшие нештучно себя побаловать покупкой ранее недоступного художественного альбома или даже недалекой заграничной поездкой, осиянной не менее чем четырьмя обусловленными договором звездами. Так подвернулись солнечной ветреной весной почти конспиративные переводы. Два вечера подряд в тихом чужом кабинетике без окон она переводила одну за другой старинные, выносу из дома, ввиду уникальности, не подлежавшие почтовые открытки, присланные из Эдинбурга в Советский Союз тридцатых годов на имя давно почившей бабушки заказчицы – никогда не разоблаченной западной разведчицы, как надеялась внучка, задавшаяся целью вычислить среди бледно-коричневых завитушек некий секретный, никем не расшифрованный код. «Милая Ninon! – быстро писала Полина, уже вполне освоившаяся со всем этим буквенным рококо. – На прошлой неделе у нас произошло очень печальное событие. Умер старый папин сеттер Тото, которого все мы так любили...». Похоже, даже цензура НКВД не признала в несчастном скончавшемся псе засекреченного резидента, – что позволило прабабушке тихо дожить до спокойной голубиной старости, думала Полина, досадливо морщась на беспечно-звонкий голос хозяйкиной гостьи, ясно доносившейся вместе с бряканьем чайной посуды сквозь полуоткрытую дверь. Вдруг одно слово заставило ее вздрогнуть и прислушаться.

«...дебилка! – ударило по беспомощным, неловко подставившимся ушам. – Я ему говорю – ты глаза разуй, братишка, это же овощ у тебя растет! Я только глянула – и ахнула: она же мычит просто, едва разговаривает: «И-э-ё, – твердит, – и-э-ё...». А он-то, дурак: дети, дети... Какие, блин, дети могли быть у наркоманки! Да и вообще от кого этот ребенок – большой вопрос. Мать ее, небось, и сама не знала, а братец мой... Старше меня на пятнадцать лет, а и сам, как дитё, ей-богу... И, главное, слушай, училку ей





нанял, языку обучать... Поглядела бы я ей в ее бесстыжие глаза: ведь она-то не может не видеть, что перед ней за вундеркинд! Так ведь нет – таскается, мошенница, и деньги из него сосет. Да, впрочем, этим, нынешним, все равно, лишь бы денежки капали... Он как сказал, сколько ей платит, – я чуть на пол не села. Что значит – мужик... Любая бы женщина ее давно пинками под зад выгнала. А этот знай себе умиляется: в гимназию, говорит, на будущий год запишу... внученьку... тьфу... Ну, короче, мозги ему пришлось вправлять не по-детски: ты, говорю, опомнись, сердешный! Девчонку эту дефективную оставь в покое и забудь, она все равно конченная, у меня на такие дела глаз наметанный: сама двоих без мужика подняла. А аферистку твою английскую в шею гони... Да, спасибо, полчашечки... Вот эти особенно вкусные, я их в Финке надыбала... Ну, в общем, весь вечер перед ним выступала, целую лекцию прочла, он только глазами лупал. Но ничего, вроде, в разум возвращается... А, здравствуйте... Может, чаю с нами выпьете? Налей ей, Нин... Вот вы мне... как вас по имени-отчеству... как специалист по языку, объясните...».

- Вы меня простите, Константин Павлович... – тихо сказала Полина вечером в телефонную трубку. – Но мне, наверное, больше не надо к вам приходиться...

Наутро она поехала в интернат.

...Уже через год, мелькнувший, как двадцать пятый кадр, оглядываясь на себя прежнюю стало стыдно. Даже удивительной казалась в квадрат, нет, в куб возведенная никчемность былого существования в собственном рукотворном оазисе, где серьезно помешать налаженной жизни Полины могла разве что полномасштабная ядерная война. В оазисе, не зная, что такое бессонная ночь. Где случайный рев будильника звучал канонадой – настолько был редким и странным. Где не существовало ни привязанностей, ни навечно сопряженного с ними холодного глубинного страха. Где круг обязанностей мог считаться условным и легко, безболезненно разрывался. Где не требовали жертв, не взыскивали долгов, не брали обещаний. В оазисе, который предсказуемо оказался миражом и растаял, не снеся приближения любви.

У Леночки тоже был свой ревниво оберегаемый оазис – с неправильно хрустящими свинками и квакающими утками. «Куа́к! – заливалась, подпрыгивая и хлопая в ладоши, в просторной сол-







нечной комнате уже большая девочка Лена. – Хоньк, хоньк!» – это означало, что пора идти в дурно пахнущий горелым жиром зал с пластмассовыми столами и есть из теплых картонных коробок взопревшие, как дебелая тетка, круглые булки с безвкусными коричневыми плюхами внутри, не имевшими ровно никакого отношения к холеным копытным и пернатым старика Макдональда.

Полина отправляла приемную дочку на французский берег Средиземного моря, в развивающий центр для отстающих детей, где их учили не люди, а дельфины, – и через три месяца получила назад человекообразного дельфиненка, утратившего и те немногие навыки людского общения, что имел, зато уверенно переходящего на ультразвук. Полгода ушло на устранение последствий галльского лечения. В продвинутом санатории на родной земле девочке вернули способность справлять естественные нужды не в воде, как она приноровилась на средиземноморье, перенеся новый обычай и в питерскую ванную, а в сухом благоустроенном туалете. В платной «выравнивающей» школе Лена в течение полугода рисовала жирными цветными мелками разновеликие кривые палочки, долго плясавшие в ее альбомах будто бы странные ритуальные пляски, – и однажды удалось добиться уверенной победы: изобразить на линованной бумаге что-то вроде поваленного бурей зеленого забора, что позволило перейти на освоение колеса... Колесо изобретали восемь изнурительных месяцев, оно упрямо не желало замыкаться, являя собой то состриженные пуделиные завитки, то новогодние гирлянды, – но вот однажды получился уверенный огурец. Еще год к нему пририсовывали справа палочку, пытаясь внушить, что это – а, а, а! – а палочка все летала где-то вокруг, упрямо не желая приклеиваться к огурчику, зато, когда приклеилась, произошло небольшое чудо переходного периода: сразу четыре палочки всего за два месяца улеглись должным образом, явив собой красивую десятисантиметровую «м».

- «М» и «А» вместе будет «ма-а», – втолковывали наперерыв Полина и логопед-дефектолог, тряся перед озадаченной девочкой двумя ее собственноручными изображениями указанных букв. – Повтори: ма-а!

- Му-у! – обиженно мычала двенадцатилетняя ученица. – Так коровка говорит на ферме у Макдональда – му-у!

Но настал день, навсегда с тех пор обозначенный красным в Полинином календаре, когда кусок рисовального мелка в напряженном, измазанном зеленым жирком кулачке Лены, без ошибки вывел на листе ватмана четыре огромные кривые буквы: МАМА







– и, главное, девочка точно знала, что именно они означают. Они означали Полину.

Полину, уже несколько лет встававшую в шесть часов утра, но ложившуюся не раньше часа ночи. Полину, увеличившую количество частных учеников вдвое и бравшую на ночь переводы. Полину, открывшую недавно на паях с соседкой, бухгалтером по профессии, многопрофильное агентство иностранных языков «Полиглот» – свое второе, отнюдь не дефективное детище... Полину, с тех пор вообще не знавшую, когда спит и ест, потому что и то, и другое проскакивало мимоходом, как нечто необходимое, но досадное, мешающее делу. Полину, одержимо рулящую в старом «Фольксвагене» по всеядному Питеру, «Фольксвагене», утроба которого давно устрашающе воняла тухлыми яйцами, ибо аккумулятор подвергся биологическому распаду и требовал адекватной замены, до чего у хозяйки банально не доходили руки...

Но Полина еще не знала об этом в знаменательный зимний вечер, когда машина, вздохнув и надуту замолчав прямо под железнодорожным мостом, в узкой горловине улицы, заткнутой недвижимой, глухо урчащей автомобильной пробкой, при всех попытках запустить ее вновь только обреченно сипела, будто выпила на холоде пива и посадила голосовые связки. Кончилось тем, что два дюжих водителя заблокированных ее невезучим авто джипов со зверскими мордами, не сдерживая так и першого из обоих непобедимого, как рвота, туалетного мата, почти на руках отнесли ее похожую на больного ребенка машинку к обочине. Автовладелица привычно отвинтила и выволокла теплый вонючий аккумулятор, питая надежду зарядить его быстрым током дома, вернуть в родное гнездышко и вновь погнать автомобиль по колючей поземке. Она донесла в клеенчатой сумке аккумулятор до недалекой автобусной остановки и принялась ждать.

По сравнению с компаньонами по ожиданию, Полина находилась в самом невыигрышном положении: легко, по-водительски одетая в тонкую замшевую куртку и коротенькие, без меха, ботиночки, она сразу начала серьезно замерзать. Приятно из окна теплой персональной машины с превосходством смотреть на подпрыгивающих от мороза в застегнутых до глаз пуховиках безлошадных граждан, тоскливо, с одним и тем же стадным выражением лиц, тянущих шеи в сторону предполагаемого явления избавительного автобуса. И как страшно оказаться среди них – легко одетой, но не так легко избавляемой от холода, как они! Весь ужас Полининого положения в те минуты заключался в том,





что ни одна из то и дело подъезжавших к остановке и торопливо глотавших порцию груза маршруток ей не подходила: годился единственный номер государственного автобуса, что шел, мудро петляя среди переулков, почти прямо до подъезда ее дома. Маршрутка того же номера делала кольцо примерно в километре от цели, и тащиться этот километр по гололеду, полураздетой, без головного убора, транспортируя на себе бездыханный восьмикилограммовый прибор... Представить себе этот героический путь было решительно невозможно. Сжавшись, словно городская синица на пустой кормушке, стояла Полина под стеклянным козырьком обледенелой будки, завистливо наблюдая, как тепло одетые сограждане один за другим запрыгивают в гостеприимные двери маршруток. Но довольно скоро выяснилось, что плачевное положение ее разделяют еще двое несчастных, ожидающих, по ее вычислениям, тот же самый легендарный автобус. Она невольно пригляделась к товарищам по несчастью.

Одним из них оказалась вполне здоровая, только бледная девочка, на вид первоклассница, бедненько одетая в китайскую немаркого цвета курточку и разбитые, явно купленные года два назад «на вырост» сапожки с излохматившимися шнурками. Наметанный женский глаз сразу остановился на нерабочей молнии одного из них: когда та сломалась, ее просто накрепко зашили суровой ниткой, и теперь, обуваясь-разуваясь, ребенку приходилось каждый раз шнуровать-расшнуровывать один ботинок. Полина поймала себя на мысли, что предпочла бы, чтобы и ее Лена была одета так же непритязательно, но зато училась бы в простой районной школе, как, наверное, и это дитя каменных джунглей.

- Повернись спиной к ветру, Долли, – вдруг басовито сказал девочке ее отец.

«В честь Лолиты<sup>1</sup>, что ли, они ее назвали?» – удивилась Полина, приглядываясь теперь уже к невысокому, но кряжистому мужчине.

Он носил добротные, доперестроечного пошива брюки, давно бесформенные, утратившие и цвет, и стрелки, синюю куртку с заклепками – красу и гордость молодежи восьмидесятых годов, и мятую кроличью ушанку, севшую от старости так, что теперь налезала она только на макушку его крупной упрямой головы. Словом, от Гумберта<sup>2</sup> в нем вовсе ничего не было.

<sup>1</sup>Героиня одноименного романа В. Набокова.

<sup>2</sup>Герой того же романа.





- Опять не наш! – в озябшем девчоночьем голосе уже откровенно звучали слезы. – Ну, папа!

- А что папа может сделать? – раздраженно отозвался тот. – Я что тебе – автобусный парк?

- Давай на маршрутке поедem! – отчетливо сглотнула слезы девочка. – У меня ноги уже совсем деревянные!

- Потерпи. Я же денег не печатаю. Я их горбом своим зарабатываю. Откуда у трудящегося человека деньги на маршрутку? Я что – вор? Или публичная девка? – раскатистый бас ее папы явно призывал равнодушных слушателей. – О, вон еще одна! У этих-то денег куры не клюют! – он с ненавистью проводил взглядом дамочку в нутрии, почти на ходу вскочившую в отъезжавший микроавтобус. – Легкие деньги легко и тратятся...

Полина с неприязнью отвела взгляд, но ответы один другого язвительней так и крутились на языке. Борец, тоже, выискался, за социальную справедливость... А ребенка собственного насмерть заморозить готов... Но она тотчас же устыдилась своих жестоких мыслей: а вдруг он тоже – отец-одиночка, как и ее папа? Ведь и тот почти всю жизнь проходил в единственном, трижды вопреки логике перелицованном пальто и экономил даже на спичках... Полина вновь, уже с сочувствием скользнула взглядом по мужчине, но встретилась с двумя острыми буравчиками недоверчивых глаз. Попутчик, вероятно, посчитал ее бойцом своего стана – ведь она, в конце концов, тоже игнорировала маршрутки! Взгляд его просил поддержки – гордо, непримиримо – но просил. Полина неуверенно улыбнулась.

- Вот-вот! – ободрился мужчина. – Видишь, Долорес, мы не одни с тобой честные люди. Эта тетенька тоже не садится в маршрутки! И одета еще легче, чем мы: посмотри, какая у нее курточка тоненькая, а теплую, наверное, не на что купить... Загнали людей, дерьмократы хреновы... Мы-то за них в девяносто первом... А они... Маршруток коммерческих развели, порядочному человеку нормальных автобусов не хватает... Бур-ржуи... Одних прогнали, другие пришли...

«Нет, все-таки в честь Ибаррури<sup>1</sup>...» – мимоходом проскочило у Полины...

- Папа, а почему от них не отнимут немножко денег, чтобы и мы могли на маршрутках ездить? – спросила сквозь слезы уже

<sup>1</sup>Долорес Ибаррури (1895-1989), Председатель Коммунистической партии Испании.





полноценно плачущая девочка. – Я не могу больше... Мне холодно... Уже столько маршруток проехало – мы бы давно дома были...

- Чубайсам скажи спасибо, – отрезал отец, но сразу успокоительно похлопал дочку по плечу: – Но ты не горюй: отнимем! Вот подкопим сил – и отнимем! И не только на маршрутку хватит – шоколад будешь на завтрак пить. Хочешь горячего шоколаду? Ну, вот и будешь пить... Подожди немного: скоро русский человек примкнет штыки, и тогда...

- И тогда на эти штыки поднимут вашу девочку! И мою! – неожиданно для себя крикнула Полина сквозь морозный дым. – Чему вы ребенка учите?! Обалдели совсем?

- Я – обалдел? – громовым голосом рявкнул мужчина. – А вы не обалдели – заступаться за них, когда на морозе по их милости почти голая стоите, а автобуса все нет?! Вас обобрали и унизили – а вы всё против того, чтобы пустить толстосумам кровь? Все ручки ваши интеллигентские испачкать боитесь?!

- Я... – трясась от гнева, Полина даже не сразу собралась с мыслями... – Вон, вон моя машина на той стороне стоит... Мне просто аккумулятор надо зарядить, от маршрутки долго идти, вот и жду... А одета легко, потому что привыкла в машине ездить... Так что можете уже пырять меня штыком... Пожалуйста, начинайте...

- И начнем, не волнуйтесь! Не долго вам жировать осталось! – Перед ее лицом грозно закачался палец в штопаной шерстяной перчатке: – А с бабами – с первыми разберемся. Потому что выто уж точно не хребтиной свои машины заработали, а известно чем...

- А вы – чем? – опомнившись, пошла в атаку начальница агентства «Полиглот». – Чем вы не заработали своей дочке на теплую обувь? А себе – на штаны из этого, а не прошлого века? Какие трудовые подвиги совершаете? Или инвалидность скосила? На баррикадах ранения получили? Свободу отстаивали?

- У меня – другой долг перед Родиной. С такими, как вы, мне не о чем разговаривать, – вдруг остыл обличитель, с презрением отворачиваясь.

- И какой же?! Нет уж, оскорбили меня – так будьте любезны объяснить! – не смогла вовремя остановиться Полина.

Он смерил ее с ног до головы одним из тех взглядов, которые предназначены, чтобы испепелять на месте не хуже светового из-





лучения, начисто сжигающего города. Но, так как собеседница не превратилась ни в кучку пепла, ни в соляной столб, он снисходительно ответил ей – по слогам, как слабоумной:

- Я – по-эт. Слышали про таких? Нет? Вот и у-би-рай-тесь.

### Глава 3

## Полет над бездной

Он кричал, не останавливаясь. Выл, как располосованный поездом, но еще не сдохший пес. Он чем-то напоминал со стороны внезапно потерявшего зрение человека, пытающегося сорвать с беспомощных глаз отсутствующую черную повязку, нацепленную, словно перед расстрелом. Он крепко зажмурился и тряс перевязанной головой так, что казалось, она вот-вот оторвется, в надежде открыть глаза – и увидеть все – прежнее... Хотя какое – прежнее? Он этого не знал, смутно представляя себе родную кровать в собственном бедном, но желанном доме, где упорно пытался проснуться. Сон? Да, да, сон – очень глубокий, может быть, пьяный, такой, который так просто не прервешь. Кошмарный сон о том, что он накрепко привязан ремнями к больничной кровати, так что даже не может дотянуться и удариться головой о спинку, – а вот если бы это получилось, то он бы сразу проснулся. Сон, в котором есть еще и дополнительные черные ямы, куда он каждый раз проваливается после издевательских уколов, предназначенных, чтобы не выпустить, удержать его в этом страшном мире... Он никого не желал видеть, никого не слушал. Любое человеческое лицо, иногда начинавшее маячить перед ним, становилось объектом сначала единственной навязчивой мольбы – «Выпустите меня отсюда!!!» – а потом, без перехода – ненависти, потому что желание его исполнять никто не торопился. Люди вообще не понимали, о чем идет речь, и заученно-елейно, будто разговаривая с младенцем или придурком, обещали, что его «выпишут сразу, как только он выздоровеет». Но больница была для него так, частность. Он хотел достать пропуск из этого уродливого зазеркалья, вырвать его откуда-то то ли из воздуха, то ли из темных недр собственной гулкой головы... А иногда, в просветах между черными ямами, он лежал в изнеможении и уже не пытался биться, а до боли думал, искал брешь в той бездне, над которой летел в ночи и тумане, как заблудившийся самолет с отказавшими навигационными приборами. Заговор? Похищение?





Смутно припоминался какой-то завлекательный – французский? – роман о том, как несчастного ослепшего ученого выкрали – с какой целью? – забыл! – и поместили в неизвестный дом с садом, уверяя, что привезли в те места, где он вырос. Но, бродя по дому и гуляя по саду, он постепенно понял, что находится совсем в другом месте: воздух, что ли, пах не так или ветер дул не отсюда... Нет, это он сейчас придумал, а в той книге было – вернее, не оказалось на нужном месте – дерево... Апельсиновое... Абрикосовое... Когда бедняга об этом сказал, дерево на следующий день появилось... Ему пытались внушить, что он вчера ошибся и искал не там, но он-то знал доподлинно, что его обманывают, и дерево специально посадили, «по заказу»... Шаг за шагом, сражаясь за свое достоинство и из последних сил думая в полной темноте, жестко ограниченный во всех средствах борьбы, среди хитрых и безжалостных врагов, герой постепенно по кусочкам складывал чудовищный пазл отвратительной интриги против него<sup>1</sup>... Вот и ему надо теперь взять себя в руки и вычислить тех, кто... Бред. Кому он нужен. Даже если предположить, что пронял кого-нибудь стихами до печенок, то просто и надежно шлепнули бы – и без досадной промашки, кстати. А устраивать вокруг него такой дорогостоящий спектакль... Который никогда не окупится: что с него, нищего, взять? Предположить, что это... правда? Нет, невозможно... Хотя бы потому, что он все помнит – досконально. А этот Лупоглазый начал было заливать ему баки, что он, дескать, перевернулся в собственной машине, вылетел в канаву и долго выползал оттуда в темноте с разбитой головой... Какая машина, он и водить-то никогда не умел! И учиться бы ни за что не стал – из принципа: народ в стране миллионами мрет, а он, честный трудяга, как бизнесмен какой-нибудь, начнет на авто рассекать... Вот бы позор! И случилось все, якобы, только пару дней назад. Да зима тогда была, зима, что они ему впаривают, за окном же лето!!! И потом – тетка эта, которую ему подсовывают в качестве жены... Он ей так и выдал в то утро, когда она тут перед ним комедию ломала: «Вы в зеркало-то себя видели?! Кто вообще на вас мог жениться?! Я что – на извращенца похож?! Мою жену зовут – Валя! Ва-ля, поняли? Приведите мне мо-ю же-ну!!!». Сама костистая, как мужик, морда грубая, волосья жесткие, духами прет, как от последней... Он бы даже в помрачении ума на такую не залез!

Не сходились концы с концами – это было очевидно. Значит,

<sup>1</sup> П. Буало и Т. Насержак, «Лица в тени».





все-таки заговор. Пусть пока не понятно, кто и зачем, – выяснить! Не пищать здесь, как слепой кутенок, вынутый из-под сучьего брюха, а думать и бороться. Перехитрить их, притвориться, что верит их дурацким рассказам, усыпить бдительность – и сбежать. Главное, вырваться отсюда, а там видно будет. Да ведь его же ищут, наверное! Конечно, ищут, пока он заперт тут в клинике! Если это вообще клиника... Валя с ног сбилась, в милицию заявила, на работе его хватились... Из ЛИТО телефон обрывают – он ведь без вести пропал, шутка ли! Увидеть людей, которые не в заговоре, просто прохожих попросить о помощи... Телефон найти, позвонить... Но для этого надо, чтобы развязали и не кололи... Кстати, кстати... Колют ведь – так наверное, у него галлюцинации? На иглу посадили? Как минувшие времена диссидентов в советских психушках, так и его теперь дерьмократы превратят в покорное растение... О, нет, только не это!.. Он опять горестно взвыл, предчувствуя неотвратимое низвержение в пропасть ужаса, как в Мальстрем. Стоп, стоп, стоп. Раз он соображает, значит, это еще не конец. Собрать всю волю... Остаться человеком... Поэтому, гражданином – как это он забыл... Ага, вот и медсестра. Слава Богу, молодая и не из тех огромных страхолюдин, которые тогда повалили и душили... Правда, лицо какое-то непроницаемое... В любом случае, говорить спокойно, чтоб увидела, что не буйный, тогда доложит по начальству... Так, улыбнуться... Как слушателям – самой располагающей улыбкой...

- Сестрица... – хрипло сказал больной, ужасно гримасничая, так что девушка в высоком крахмальном колпаке едва не отпрянула. – Мне – это... Легче гораздо. В общем, понял все, осознал, раскаиваюсь... Ну, и так далее... Биться, короче, не буду больше. Можно, вы мне хотя бы одну руку отвяжете? И трубку принесете – у вас ведь здесь есть, да? Конечно, есть, ведь клиника такая продвинутая... Мне позвонить надо. Домой... Очень вас прошу...

Он ни на что не надеялся – просто бросал пробный шар на удачу. Она, откажет, разумеется, но, может быть, по тону удастся что-нибудь определить. Степень опасности, что ли...

- Конечно, – на матрешечном личике сверкнула быстрая и ослепительная, как магниевая вспышка, улыбка. – Тут ваш собственный айфон есть, он не пострадал нисколько, мы его только отключили, чтобы вас никто звонками не беспокоил. Одну минутку... – и медсестра исчезла из поля зрения, оставив озадаченного пациента слушать всегда приятное мужскому уху цоканье





тонких каблучков.

Сзади прозвучала как бы короткая музыкальная фраза, за ней послышалось спокойное гуление медсестры, увенчавшееся загадочными словами: «Ага, ну вот... И батарея почти полная...» – и каблучки вновь вернулись на исходную позицию, у запястья связанного что-то щелкнуло, правая рука обрела легкость – и тотчас в ладонь ладно легло нечто плоское и прямоугольное. Поэт недоуменно поднес руку к лицу, глянул: его пальцы сжимали невиданный пластиковый прибор серебристо-белого цвета, почти всю поверхность которого занимал гладкий темный экран, как у выключенного телевизора, только не выпуклый, а ровный. Рука непроизвольно стиснула непонятную штуковину крепче – и экран вдруг вспыхнул ярким, неестественным светом, как на пульте незаконно посещенной любопытным грибником аварийно покинутой хозяевами летающей тарелки... Перед тем, как изо всех сил отшвырнуть испускавший тугие волны опасности неведомый предмет, Поэт еще успел увидеть в прямоугольнике света знакомое ненавистное лицо – улыбающуюся рожу мнимой жены...

- Сволочи!!! – завыл он протяжным, как у Шалапина, басом, извиваясь и силясь разорвать свои мягкие, но несокрушимые пути. – Все вы тут заодно!!! Сдохните, гады, со своими фокусами!!! А-а-а!!!

Раздался негромкий звон, каблучки испуганно метнулись к двери, из коридора сразу же донесся взволнованный щебет:

- Думала, опомнися, а он айфон за штуку баксов – хрясь – и об стенку!.. И теперь, ревет, как мамонт, слышишь?! Ага, сама иди – у него одна рука отстегнута! Петра Игнатъича звать надо...

А Лупоглазый был уж тут как тут: еще доглатывал Поэт остатки крика и слюны, размазывал временно свободной рукой щипучие, как уксус, слезы – а тот уж сидел в благоразумном отдалении, сцепив и свесив меж колен свои страшные, как у злого гнома, узловатой сетью жил повитые руки, звучал его серьезный, с гнусной хрипотцой голос:

- Ну, что ж, уважаемый. Сон вас, как я вижу, не лечит. Переходим на шокотерапию.

Обернулся на дверь, бросил, не повышая голоса:

- Заносим.

Поэт ощутил мгновенный прострел под ложечкой, потому что ему смутно представилось, что заносить можно только труп. Но ничего подобного. Двое дюжих медбратьев в нежно-голубой фор-





ме уже затаскивали в палату что-то плоское, блестящее и черное, похожее на полированную столешницу журнального столика. «Спокойно, – велел себе Поэт после секундного замешательства. – Спокойно. Ничего особенного. Это обычный ультрасовременный телевизор для новых русских. Его можно, как картину, на стенку повесить». Даже чуть-чуть интересно стало: вот выпал же случай посмотреть, как это чудо техники работает, – а так ведь заказано было! Дома они с Валею нарадоваться не могли на родительскую тучную, не сдвигаемую с места, покрытую плешивой соответственно возрасту гипюровой салфеткой «Радугу» первого поколения: пашет и пашет себе уже четверть века, и ничего ей не делается... Между тем телевизор был споро пристроен высоко на стену, где, как оказалось, давно уж имелся специальный кронштейн, – прямо напротив страдальческого ложа приговоренного.

Лупоглазый небрежно махнул назад зажатым в руке продолговатым пластмассовым брусочком (Поэт успел приказать себе не пугаться, потому что вовремя вспомнил про существование хитроумных пультов, включающих в богатых домах технику на расстоянии), и огромный экран с тугим электронным чмоком вспыхнул, будто вмиг распахнулось гигантское окно в параллельную реальность. Врач обернулся, а Поэт невольно зажмурился.

- Надо же, как кстати! – услышал он бодрый голос Лупоглазого. – Гляньте-ка – узнаете... товарища?

Опасливо взглядевшись в экран, Поэт нахмурился на беззвучно хлопавшее там губами большое желтое лицо и потрясенно прошептал:

- Узнаю, конечно... п-президента... Но что это с ним, а? Не запил же он, как предыдущий... Или чего – болеет, да? Рак, что ли? – тут ему было, с чем сравнивать: мама ведь вот именно так, на глазах, потухала. – Блин, за полгода будто на десять лет постарел...

- На тринадцать, – сухо уточнил доктор. – А это вам как?

Экран как раз слепо перемигнул, и пошли странные кадры нешуточной бомбежки мирного южного городка – или, скорей, минометного обстрела, потому что по вечернему небу наискось неслись частые электрически белые плевки, похожие на залпы «катюши». Без перехода были показаны залитые явно не северным солнцем руины, среди которых кое-где укромно лежали целомудренно покрытые трупы – и безмолвно кричали в камеру, грозили яркому небу опухшие от слез светловолосые женщины...

- Чечня? – догадался Поэт и сразу же, нутром испугавшись, от-





рывисто прошептал: – А почему это ба... в смысле, женщины... Русские они, что ли?!!

- Да. И украинки, – мрачно сказал Лупоглазый, снова небрежно махнул рукой – и экран погас.

Настала нехорошая тишина – и сразу начала сгущаться, как сумерки. Единственной действующей рукой Поэт непроизвольно сгребал тонкое одеяло и медленно тянул его вверх, к ритмично заработавшему кадыку: он давился ужасом, осязаемым и чудовищным, будто недовольный жизнью в утробе глист, пробивающий себе дорогу вверх, к свету. В ушах застрекотало – даже почудилось, что где-то за стеной заело чью-то бойкую речь по радио, и, что совсем уж удивительно, в ослабевших, как ноги от страха, мозгах успела сбивчиво мелькнуть идиотская мысль: ну, не машина же это времени, в конце-то концов...

Это было единственное, что в самом скором времени подтвердилось. Когда через полчаса грамотно заколотый не до бесчувствия, а лишь до тупого равнодушия пациент, освобожденный от гуманных медицинских пут, смиренно и плоско лежал под ровно расстеленным по нему одеялом, Лупоглазый сидел уже не на безопасном расстоянии, а доверительно, как одноклассник на постели больного друга, пристроился у него в ногах. Он говорил – хрипловато и необидно усмешливо – а больной слушал и не возражал, без интереса следя за жирными солнечными зайцами, лениво прыгавшими по потолку.

- Будем считать, наш следственный эксперимент подтверждает результаты, хм, оперативного расследования... По крайней мере, мы знаем, с чем имеем дело, а это уже кое-что. Могу вам доложить, уважаемый, что драгоценная ваша, хм, голова пострадала дважды. Причем, позавчера – это уже второй раз, так-то. А первый – тринадцать лет назад, когда кто-то вас действительно легонько стукнул по макушке монтировкой, после чего оставил на вас, хм, только трусы – даже обувь с носками унес, не побрезговал. Легонько – это потому, что если б посильней, – вас бы тогда же, хм, и похоронили. А вы – ничего, молодцом: до первой квартиры в бельэтаже по лестнице доползли, в дверь там снизу стучали, лежа. Соседи нашли вас, узнали и за женой вашей – первой, имеется в виду – сбегали. Нашли мы ее. Собственно, это все именно она сейчас по нашей просьбе и рассказала... Как же вы это с ними так, в эдакий-то гадюшник, хм... Ладно. Ну, в общем, в больничке неделю провалялись, да и дело с концом. Все с вами





прекрасно обстояло – одно только не так: обстоятельства нападения у вас намертво, хм, выпали, так сказать. Но вам это не мешало, потому, если б что и помнили, – сами бы забыть пожелали. А так – тишь да гладь, и голова не болела. Через год жену с дочкой вы без лишних сантиментов, хм, бросили, женились вторично и...

- Доктор... вы ее... видели? – заплетаясь, впервые перебил Поэт. – Я... бы на такой... и под наркозом не женился...

- Под наркозом – возможно, – кротно согласился врач. – А наяву люди чего только не делают. Короче, начали вы с новой женой жизнь с чистого листа... Бизнес у нее там какой-то хилый был – с языками, хм, что-то связано, я не очень понял, да не в том дело... Запряглись вы вместе и в гору потянули. Су-пруги – это значит «запряженные совместно кони», слышали про такое? Нет? А у меня вот дочь на лингвиста учится... Словом, агентство какое-то у вас там процветает. Денег нажили. Накупили всего, ясное дело. По миру покатались. Идеальной, хм, слыли парой...

Больной было протестующее забулькал, но врач скорчил быструю мягкую гримаску:

- Точно вам говорю. Там, внизу, не только она сидит и плачет, но и друзья ваши какие-то толкуются, судят-рядят... Дальше что? Жили не хуже других, даже интеллигентно, ведь она же у вас, хм, иняз закончила. Ну, а на днях ехали вы с ней с дачи на «мерине» своем – и подрезал вас на трассе какой-то придурок. Собственно, я это вам говорил уже, да вы вдруг реветь начали, как кабан недостреленный. Я-то сперва сразу и не въехал, что с вами, – вы ведь поначалу так, хм, осмысленно говорили... Как ползти, рассказывали, про руки в крови... Дату рождения назвали... Я так порадовался, что про нынешнюю-то дату и не спросил! Показалось, что и так все ясно... Да, так о чем бишь я? Словом, ничего необычного. Вы на скорости сто тридцать – на встречу и в кювет. Тут бы вам, хм, и крышка – да в канаве кусты росли, густые. «Мерс» ваш так в них и запутался, как подводная мина, хм, в водорослях. Жене ничего не сделалось – только подушкой безопасности нос ей подбило. Ну, а ваш ремень почему-то отстегнулся, и вас сначала головой хорошо мотнуло, а потом и вовсе, хм, из машины выкинуло. Ну, порезало трошки, некритично... Пока она сообщила, что да как, да на помощь вам полезла сквозь ветки эти все – так вы уж, хм, и сами по откосу канавы всюю ползти. Ну, а там и народ, хм, набежал. Такие вот дела.

Обхватив себя руками, Лупоглазый немножко покачался взад-вперед, словно у него болел живот, эластично покрутил





мягкими выпученными губами... Пациент молчал, совершенно раздавленный.

- Ну, и какой тут вывод можно сделать? – сам себя спросил врач и сам же ответил: – Да очевидный. Ваша ретроградная амнезия сопровождается полной дезориентацией во времени. Второй удар включил вам память о первом. И полностью вырубил все, что было после. Вы проснулись памятью там – в декабре две тысячи первого. А телом – сегодня. Знаете, какой нынче год?

Но не это интересовало сейчас несчастного больного. Не это вдруг пронзило ему его бедную, слишком много испытавшую голову.

- А... стихи... – беспомощно пролепетал он. – Мои стихи – они как же... Доктор, я ведь – Поэт...

...Это же целая река боли. Нет, море. Или даже океан...

Никакие таблетки ее не притупляли. Это глупости, что таблетки могут обезболить душу. Они способны только сломить в человеке сопротивление. Погрузить в мутную воду, где нельзя дышать и страдания только сильнее. Он однажды видел такое на кладбище, когда с еще живым отцом навещал уже мертвую мать. Неподалеку шли многолюдные похороны, вой стоял до небес, причем, даже мужики, не стесняясь, плакали. На гроб он старался, раз глянув, больше не смотреть, потому что тот показался ему странно коротким, а про то, что за этим стояло, думать было совсем не вмоготу. Так вот, одна женщина, которую жадно вели под руки две других, – единственная из всех не плакала, а молча шаталась. Ему сразу стало понятно, что именно это – мать. Ее накачали лекарствами так, что она едва ли могла что-то видеть и понимать, но то, что ее боль была не менее, а более мучительна, чем у других, криком кричащих (теток, наверное, каких-нибудь или бабушек), – бросалось в глаза. Теперь он про ту женщину все время вспоминал, теперь он и был – ею.

Поэт давно уже понял, что противиться бесполезно, что правда Лупоглазого – вот она, перед ним: чужая жестковолосая женщина, похожая и лицом, и жестами на болотную корягу. По неправильному ее, подпухшему лицу было понятно, что где-то за кадром она часто и помногу плачет – но что ему было до того! Это не у нее пропало из жизни почти тринадцать невозвратимых лет! «Вася... пожалуйста... Поверь мне... Все еще вернется... Обещаю тебе... Обещаю...» – иногда тихо говорила она и тяну-





лась к нему своими длинными сухими губами. Поэт отдергивался с настоящим омерзением: поймала его, приволокла – что ж, тут он ей пока помешать не может. Но уж целовать – это извините. Он вздрагивал, когда она норовила к нему прикоснуться, чтобы по-хозяйски что-то на нем поправить, таблеток из чистых намянокюрных пальцев брать не мог – брезговал. Попросил, чтобы приносила в упаковке, и сам на свою ладонь выдавливал, под пристальным взглядом ее – глотал. Упорно звал на «вы»: «Я вас не помню, понимаете – не помню! Говорите, что хотите, но вы для меня – посторонняя!». Еще девица какая-то жирафовидная мелькала где-то на заднем плане – все хихикала, как придурочная. Слава Богу, хоть в дочери ему вместо Доли никто ее не навязывал. Коряга сама ее обеими руками за дверь выпихивала, как только та к нему в комнату совалась. Как же больно, как же больно ему было... Из комнаты своей выходить отказался, еду туда же требовал, только в уборную выходил – и то почти рычал по дороге от бессилья: не мой это дом, не мой! Мебель кругом стояла добротная, кричаще *господская*, западная какая-то, не для русского человека, аскета и трудяги по сути своей. И все предметы кругом предназначены были для того, чтобы владельца своего развратить, отучить от труда, избавить от малейшего неудобства... В унитазе вода – и та без всяких человеческих вмешательств сливалась раз в три минуты, когда крышка откинута была, – надо ж до такого свинства дойти! В коридор выходил – там свет сам собой зажигался, приятный такой, матовый... Да за кого ж они его принимают?!

Однажды, когда ни Коряги, ни дочери ее чокнутой дома не было, Поэт решил выбраться из своей комнаты и побрел на экскурсию: надо ж было посмотреть, куда заточили. Обратившись к себе еле добрался – так расстроился: да что ж за скоты в этой квартире живут! Он вспомнил, как, на сутки предварительно замочив в ванной два комплекта белья, их большой и дочкин маленький, Валя несколько часов стирала их хозяйственным мылом в горячей воде своими давно закрутившимися от работы, до багровости распаренными руками с вросшим обручальным кольцом – и пена брызгала ей в маленькое кроткое лицо, а она тщила согнать ее, смешно дуя вверх из-под нижней губы... Потом кипятила с хлоркой, полоскала, отжимала, развешивала... Падала чуть не замертво после работы такой, и так – два раза в месяц! А в этой мерзкой квартире с четырехметровыми потолками урчала и переливалась



огнями, как новогодняя елка, толстая глянцевая машина, без напряжения ворочавшая в круглом окошке, наверное, полцентнера диковинного белья. Не белоснежного, как издавна, еще его материю, и до нее – всеми бабками заведено было, а темно-синего, в красных маках! На кухне такая же машина, но поменьше, с тревожным гулом мыла посуду – уж это-то может нормальная женщина сама делать?! Плита была не похожа на плиту (каток какой-то полированный, дотронуться страшно!), раковина на раковину, чайник на чайник... Небольшой блестящий прибор с окошком и решеткой внутри при попытке открыть его, больно укусил Поэта за палец. Холодильник оказался ростом под потолок, серебристо-серым, как ракета с ядерной боеголовкой, чудищем, беспорядочно набитым до отказа разноцветной, заведомо несъедобной снедью, в количестве, достаточном для стратегических запасов небольшой страны! Ему что – хотят сказать, что какой-нибудь месяц назад он считал все это своим и нормальным? А теперь ему оставалось только «вспомнить», и тогда все «вернется»? Вернется – *вот это*? Да что они все – спятили?! Вдруг ему вспомнился их с Валею рокочущий, словно самолетная турбина, и подпрыгивающий от рвения кругленький, облупленный, похожий на голубоватое вареное яичко, «Мир», который никогда заполнялся и до половины... Но после редких семейных праздников там всегда стояли пол-литровые баночки с недоеденными салатами – так радостно, бывало, наутро положить себе хорошую ложку «шубы», как бы полузаконно продлевая вчерашнее застолье... И что – ничего этого больше никогда не будет? Ни-ког-да?

Павший было на взволновавшийся под ним благородно кремовый кожаный диван, Поэт встрепенулся, будто проснувшийся воробей. А почему, собственно, никогда? Голова проясняется, значит, пора принять таблетки, – а если он их не примет? Не вернет себя в ставшую привычной физическую заторможенность? Он здесь что – пленник? Почему он сидит, как идиот, на диване и терзается мнимыми потерями? Он же мужик, в конце концов, – почему он позволил так себя опустить? Да валить отсюда надо, пока Коряга с девкой своей чокнутой не вернулась и не заперла его тут навсегда! Поэт вскочил, сразу ощутив всеми порами невесть откуда нахлынувшую решимость: ну, конечно! Все же элементарно! Если дверь не заперта снаружи, он просто – вернется. Вернется туда, и они начнут сначала... А *это* все – забудет... Да оно и забыто уж! Дочка, наверное, подросла, совсем барышня





стала (смутно предположился стеснительный угловатый подросток с худыми нескладными конечностями)...

Длинный, как поезд, шкаф-купе с одеждой тянулся от края до края коридора. Поэт с силой отодвинул одну дверь и попал на Корягину половину: там было тесно от ее нарядов, будто в трамвае в час пик. Стерва. Народ русский голодает, а она в шмотках потонула... Он зверски толкнул дверь обратно, взялся за другую, потащил в противоположную сторону... Кстати подвернулось воспоминание о том, как лет пять назад они решились на покупку нарядного платья для Вали. Он и сам тогда принял предстоящее важное семейное событие близко к сердцу, несколько часов ходил с женой по Троицкому рынку, волновался, советовал... Ему хотелось, чтоб непременно розовое, сверху узкое, снизу широкое, как у мамы было когда-то. А Валя и ему угодить стремилась, но, в то же время хотела, чтоб и самой нравилось: обидно же – раз в жизни собралась что-то новое купить, а не чужое донашивать, и вот будет не по своему, а по мужнину вкусу... У нее даже слезы в глазах стояли, а он сердился: «Ты для кого стараешься? Кому хочешь нравиться? Мужу или себе самой? А может, посторонним?». Так и не нашли подходящего платья, чтоб обоим понравилось, а вместо этого купили ему дорогой свитер: Валя вовремя вспомнила, что на грядущем поэтическом вечере выступать Поэту не в чем, обтрепался вконец, вовсе на Эзопа-раба<sup>1</sup> похож стал; скромность скромностью, но нельзя же совсем уж оборванцем выглядеть, люди не поймут – а ей-то куда наряжаться, если честно? Так что подождет, не рассыплется... Тогда ему вполне справедливым показалось, а теперь как бы и жалко ее стало...

Дверь мягко отъехала в другую сторону, и опешившему Поэту предстал словно магазин мужской одежды. Костюмов висело! Всех цветов и на все сезоны! Одних замшевых пиджаков штук пять на первый взгляд – а уж рубашек! Коробок с ботинками – не сосчитать... Обомлел Поэт: это вот что – он себе сам все закупил? В тряпичника его превратили, как развратную бабу?! Гордо выпрямился и понял: не было такого. Не могло быть. Он – другой. Пусть он еще не понимает, что тут за подстава, но такого не потерпит. Ничего, сейчас разберется: пустяки остались, только до дома доехать... С деньгами проблем не было: прямо у входа на

<sup>1</sup> Эзоп (620-564 гг. до Р.Х.) – легендарный древнегреческий поэт-баснописец, рожденный в рабстве; автор большинства басен, переработанных впоследствии Федром (лат.), Барбием (греч.), Авианом (лат.), Жаном де Лафонтеном (фр.) и И.А. Крыловым (русс.).







тумбочке валялся фиолетовый комок мятых пятахаток, как мусор, – а ведь это же целое состояние! Ничего, он не вор: до копейки *этой* вернет, когда все обустроится, а сейчас вроде как одалживает. Одежду специально взял самую скромную: серые брюки, свитер в ромбик, как всегда носил, и ботинки черные.

Когда оказался перед дверью, сердце на миг захолонуло, будто перед нырком: вдруг изнутри не отпирается, тюрьма ему тут меж делом устроена? Тогда плохи дела, ломать придется, а дверь-то железная... Но ничего, обошлось благополучно: недолго поупрямившись и зловеще пощелкав, толстая металлическая дверь тяжело подалась наружу...

Еще не окрепшие после болезни ноги несли его по улице поначалу не очень ровно, но с каждым шагом набирались похвальной уверенности. Теперь, когда страшные декорации были убраны из поля зрения, казалось, что ничего необычного не произошло: он просто несколько лет отсутствовал в родном городе. Возможно, отмотал десятку как узник совести, или заколачивал нелегкую деньгу на дальнем прииске, а может, пел собственные песни у геологического костра (последнее было совсем уж маловероятно, потому что, одно время вознамерившись слегка изменить свой творческий профиль и переквалифицироваться в более понятного и близкого народу барда, он взялся было учиться гитаре, но потерпел неожиданное и унижительное фиаско). Город оказался вполне узнаваемым, и это радовало всерьез: не надругались над ним в его отсутствие, не возвели непристойных башен в историческом центре, не пустили маршировать по улицам обмундированных янки с тяжелой челюстью... И, по обыкновению недоступные для него, но, как и теперь он был искренне уверен, готовые раскинуться под любым куркулем из иномарки, русские женщины сияли повсюду своей спокойной, не увядающей и в старости красотой.

В метро, однако, Поэт чуть не заблудился, запутавшись среди внезапного обилия новых станций, но, выйдя, наконец, на своей, с детства привычной и ничуть не пострадавшей, удачно подбросился по прямой на маршрутке; там только с десятков метров пройти оставалось. Он упруго прошагал их, дыша чуть глубже и чаще обычного: все-таки вдруг Валя ему не обрадуется? Вдруг... замуж за кого-нибудь вышла? Да нет, ерунда... Быть такого не может, кумиры так легко с пьедесталов не падают – это революция нужна, какая Валечке не под силу. Да и кто, строго говоря, на нее польстится... Ну, поплачет немного – это уж само собой...





Вполне законно, можно позволить. А он и объяснять ничего не станет – просто придет к себе домой. Да и квартира-то его собственная, он там родился, вырос и всю жизнь прожил – какие тут нужны объяснения? Подбадривая себя всеми этими не лишеными оснований и вполне здравыми рассуждениями, Поэт подошел вплотную к родному подъезду.

И увидел, что парадная дверь, мутно блеснувшая на него двумя оскольчатými верхними оконцами, будто треснувшими очками, заколочена крест-накрест парой занозистых досок. В полном недоумении, чувствуя шершавую пустоту внутри, он задрал голову, отступив на шаг: ряды пыльных, темных, кое-где разбитых окон, лишенных занавесок, кошачьих голов и гераней, слепо пялились на шумную солнечную улицу.

В этом доме давно уже никто не жил.

## Глава 4

### Дб́лина доля

Ко всему привыкли обитатели аварийного дома за городской окраиной, округло называемого властями «неблагоустроенным жильем». Здесь в середине второй декады двадцать первого века жили настоящие питерские ссыльные, и многие из них именно так себя и называли. Выводить их в расход, вроде бы, пока стеснялись, но и возиться с ними мегаполису-фавориту, официально называемому «городом для обеспеченных людей», было недосуг, потому что они не годились для использования даже в качестве услуги... Сюда на вполне законных основаниях были по суду выселены из благополучных домов те несчастные, взыскивать с которых достигшие астрономических цифр долги по квартплате было делом безнадежным, а суммы тех самых долгов, порой сопоставимые со стоимостью скромного космического корабля, уж конечно, значительно превышали рыночную цену их бедных запущенных квартир, ныне по всей справедливости отошедших кредиторам... Естественно, что контингент жильцов состоял в подавляющем большинстве из людей вполне асоциальных, на свободе резвившихся временно и по недоразумению. Даже опытная районная полиция обходила это гиблое место стороной и в относительно мирных, без большой крови, разборках местного населения никак не участвовала, традиционно приезжая только «на трупы», а это и так происходило впечатляюще регулярно. В



основном, отверженные, конечно, околевали сами, чаще всего поутру, когда кто-нибудь попросту не просыпался после ночной тусовки с банкетом. Никто не видел в этом ничего особенного, дело считалось настолько привычным, что ровно никак не меняло жизненного уклада на сей раз оставшихся в живых друзей и родных покойного. Несколько больше волновали общество происходившие реже смертоубийства, всегда осуществлявшиеся одним из двух наиболее надежных способов: либо резали «как барана», либо закалывали «как свинью». Впрочем, в качестве экзотики, изредка били по голове чем-нибудь тяжелым. На памяти Доли пока использовали один раз чугунный утюг, а другой – банку консервов «килька в томатном соусе». Дети тоже умирали своей смертью – от двух же основных болезней под названием: «чего-то съел» или «где-то прохватило». Врачи сюда и сами не ходили – дом не числился ни за одним участком детской поликлиники – и «скорые» никто не вызывал, имея на то железное основание: «Да чего они могут-то!». Зато уж кто выживал...

Случалось, что сюда попадали и люди прямо противоположного типа – в основном, одинокие женщины с детьми, надорвавшиеся в жизни и заведомо неспособные ей противостоять. Такие, как Долина мама. После того, как еще там, на старом месте, папа ушел от нее к другой женщине, она ни разу не плакала – а только слушала и вздрагивала. Доля знала: мама слушает лифт, инстинктивно ожидая, что он чудесным образом привезет обратно их маленького, виноватого папу с круглой колючей головой. Лифт у них имелся особый, каких ни у кого из Долиных подружек в домах уже давно не было. Он не спеша ходил вверх-вниз по забранной частой стальной сеткой шахте, сам был уютно деревянный, полированный, умел дружелюбно скрипеть и приветливо постукивать смазными колесиками. Две его узкие, снабженные сильными злыми пружинами дверцы способны были чувствительно поддаться под зад замешкавшемуся на входе пассажиру, а на каждом этаже имелась собственная решетчатая, с витыми чугунными узорами, громко лязгавшая дверь. Одним из любимых развлечений маленькой Доли было забраться на верхний седьмой этаж, вызвать лифт и прижаться лицом к решетке. Неповоротливое железное чудовище медленно всплывало снизу, из глубокой шахты, предшествуемое черными штырями и выступами таинственного назначения – будто поднимали на тросах из океана древнее затонувшее судно. Доля наизусть знала всю нехитрую мелодию,



состоявшую из музыкальных щелчков и гуда разной тональности, которую их лифт напевал, продвигаясь от первого этажа к последнему, и всегда можно было с точностью определить, какой этаж он проезжает, где высаживает беспечных ездоков... Знала теперь простую музыку надежды и мама – но только до пятого этажа. Пока лифт не миновал их площадку, Валя напряженно молчала, и руки ее, неизменно занятые каким-нибудь важным делом, обязательно замирали, будто тоже слушали. Если железная дверь грохотала на их этаже... Нет, вспоминать то мучительное выражение маминых глаз и рук Доле и теперь было не вмоготу. Зато, если лифт проезжал мимо, лицо мамы в ту же секунду будто потухало, а руки безошибочно возобновляли привычный труд с прерванного движения...

Потом Долорес узнала, что при разводе родители заключили между собой определенный, весьма справедливый договор. Поскольку отец полностью осознавал свою вину перед покинутой женой, а на особые алименты от него ей рассчитывать не приходилось, то он, желая компенсировать как материальные, так, отчасти, и моральные убытки, выписался с их площади. Предполагалось, что в самом ближайшем будущем бывшая супруга приватизирует жилплощадь и таким образом станет полноправной и единоличной владелицей недешевой частной собственности – хорошей двухкомнатной квартиры в центре города, стоимость которой далеко превысит любую сумму, которую она могла бы получить от беглого мужа в качестве алиментов. Но Доля была тогда лишь восьмилетней девочкой, и думать по-настоящему еще не умела, а мать ее ни дня своей жизни до развода с мужем не жила своей головой. Сначала каждый шаг ее планировали старшие разумные родственницы, а потом непрактичный, но талантливый, обожаемый ею муж. Правда, нищета в их доме и при нем жила на законном основании, будто тоже прописанная в квартире и не подлежащая выселению, – но являлась предметом кастовой гордости, ибо, как известно, честные люди богатыми не бывают, особенно если один из них – поэт. Такому и вовсе стыдно. Доля так и отвечала подружкам, когда они удивлялись ее скромному жилью и застиранному гардеробу: «Зато у меня папа – поэт!» – и далеко высовывала свой симпатичный, как у всякой здоровой девочки, язык.

Вскоре после папиного ухода маму уволили с одной работы, потом с другой, потому что везде сокращались некие «штаты»,





но Доля не понимала, почему это драматическое сокращение так влияет на жизнь их маленькой семьи. Ведь если они так уменьшаются, то почему все так мечтают туда попасть? «Свалил в Штаты», – с завистью говорили у них в классе про одного без вести пропавшего мальчика. Там уж и жить, наверное, скоро станет негде! Розовые квитанции, называвшиеся «за квартиру» (так никогда и не приватизированную), мама даже не пыталась оплачивать, и Доля слышала, как однажды она говорила знакомой в «их» считавшимся чуть ли не личным магазинчике, что если платить за все остальное, на что и так приходится отрывать от еды – свет-газ-телефон, то «ничего не сделают». Она хорошо помнила толстую плотную стопку тех квитанций – и утро, когда мать трясущимися руками заталкивала их в сумку, лепеча про какой-то «суд». На этот счет маленькая Доля была совершенно спокойна: никакой суд маме абсолютно не страшен, потому что уж кто-кто, а ее мама никаких преступлений совершить не могла. Так оно и вышло. Та пачка квитанций исчезла навсегда – но летом они не поехали на дачу в садоводство, а до конца каникул просидели в пыльном городе, шафрановом от дыма горевших торфяников и вездесущего света злого желтого карлика. Но Доля даже радовалась, что мама продала проклятую дачу: очень уж сомнительным счастьем было проводить драгоценные летние дни на узенькой полоске их участка, где только едва заметная тропинка была свободна от ненавистных грядок с мелкими гнилыми овощами, над которыми приходилось убиваться в любую погоду, а потом давиться в городе хрусткими «домашними заготовками», регулярно вызывавшими жестокий понос. А купание в кишасщем насекомыми и кишечнополостными пожарном водоеме и вовсе составляло один из навязчивых кошмаров Долиного детства... Радоваться она перестала лет через семь, когда, чтобы заставить исчезнуть новую, еще более плотную и жирную розовую пачку, продать было уже категорически нечего. Давно переставшая прислушиваться к звукам лифта – да и кончились они после установки нового, бесшумного и безликого – мама изо всех сил мотала головой, когда ее почти взрослая дочь предлагала все-таки прибегнуть в крайних обстоятельствах к помощи бывшего мужа: «Он – поэт, – со значением говорила она. – Откуда у него деньги? Только расстраивать зря...». Доля понимающе кивала, аккуратно, как любимую куклу, укладывая на дно своего старенького чемодана сверток с шестью тонюсенькими книгами. «Дочери – когда



вырастет. Автор», – стояло на титульном листе каждой из них. Доля выучила их наизусть еще до того, как выросла, но только об этом никто ничего не знал...

В «неблагоустроенным жильем» им парадоксально повезло: в их новой квартире только одна, крайняя комната в конце длинного и темного, как тоннель подземки, коридора оказалась занятой большой пьяной семьей. Доля даже не знала точно, сколько их там, лохматых привидений обоего пола, потому что на коммунальную кухню они с мамой никогда не выходили, готовили на плитке в комнате, где имелся как специально для этого предназначенный закуток. Опасливо бегали только в уборную, предварительно убедившись, что путь свободен, – впрочем, предосторожности, вероятно, были напрасны: алкоголики попались небуйные, а их безвозрастные женщины даже суетливо подтирали утром в коридоре за пахуче нагавившими в ночи домочадцами. Зато в остальных трех комнатах жила ссыльная аристократия: двое дряхлых брошенных детьми пенсионеров в пестрых лохмотьях, обманутая черным риэлтером многодетная мать, хронически судившаяся с новыми хозяевами своей уютной квартирки, и она, большая совершеннолетняя Доля, незадачливая мать-одиночка на шее у старой больной матери.

Сынок ее, пятимесячный Дима, рожденный от огромной, но не оправдавшейся любви, рос слабеньким, водянистым и большеголовым, не ведающим, что такое памперсы. Это только ради него бабушка смогла изменить, наконец, своей интеллигентной книжной профессии, не приносившей в дом и трети необходимой для жизни суммы, и переучилась на кассира супермаркета, где и трудилась теперь на полторы ставки, чтобы покупать внуку настоящие лекарства, когда его вдруг «где-то прохватит», или отвезти в больницу, если случится ему «чего-то съесть»...

Только что в квартире было тихо и светло, как, наверное, где-нибудь в далеком сосновом бору с конфетного фантика, – и вдруг словно началась бомбежка. Дверь их сонной комнаты затряслась от града ударов, будто пришли кого-то арестовывать, и молодая мама бросилась открывать: она знала, что если не сделать это немедленно, то Лешка просто разбежится – и опять вынесет дверь вместе с косяками, а ей в сотый раз придется тратиться на бутылку «Охты», чтобы умелец с первого этажа восстановил подобие порядка. Доля едва успела отскочить назад, чтобы распах-





нувшаяся дверь ее не зашибла, и в комнату ворвался красивый, как из рекламного ролика, добрый молодец в русых кудрях и с огненно-синими сверкающими глазами, за которые два с половиной года назад и был Долей смертельно полюблен. Теперь она смотрела на него с обычным рабским страхом человеческой самки, которая знает, что сейчас ее будут бить, это неизбежно, и помощи ждать неоткуда. Он замахнулся с порога – и женщина инстинктивно отпрянула, зацепив пирамиду ветхих картонных коробок, так толком за многие месяцы новой жизни и не разобранных. С глухим бумажным стуком коробки повалились на драный линолеум, а Доля неуклюже плюхнулась сверху. Лешка, собиравшийся, по обыкновению, засветить ей прямо в недавно подживший глаз, – чтоб не пялилась на него наглыми буркалами, вниз смотрела, как бабе положено, – не успел вовремя переменить траекторию удара, отчего кулак его со всей силы врезался в капитальную стену – да так больно! Так унижительно!

- Ах, вот ты как... – удивленно пискнул он, разглядывая до мяса пробитые костяшки, где сквозь черную грязь красиво проступили ярко-алые капли. – А я-то с тобой по-доброму хотел... Ну, теперь пеняй на себя, мразь...

Он угрожающе развернулся к застывшей от ужаса Доле, но она вдруг с визгом проворно отползла по осыпающейся горе коробок в сторону и вскочила на ноги. Лешка хотел рвануть ее за волосы и так, держа одной рукой, другой отделать уже не по-детски, но подлая баба опять увернулась и бросилась наутек. Правда, догнать ее ничего не стоило: достал ногой, пнув со всех сил под колленки, она сразу грохнулась, как мешок с травой, – и уж тут-то он больше измываться над собой не позволил! Враз показал, кто тут главный, а то забывать стала – белую из себя корчит, пушистую... Не хотел ногами, не зверь же, – так ведь нет, заставила, гнида! В общем, отпинал по-взрослому, жаль только, рожу она руками закрывала – по-хорошему, давно бы пора на затылок своротить... На крики-то все равно никто не прибежит! Остановился вовремя, чтоб до срока не вырубилась, иначе какой с нее навар!

- Ну, чего? – спросил, отдышавшись. – Хватит или еще добавить?

- Леша... – прорыдала, грузно откинувшись к стене, женщина. – За что ты со мной так?..

- Было б за что – вообще бы убил, – резонно ответил он. – Бабло, сука, гони, если второй серии не хочешь.





Алексей был абсолютно трезв, и деньги ему требовались не на водку. Умный парень, он давно решил для себя, что в существо гораздо более гнусное, чем человекообразная обезьяна, никогда не превратится. Этими тварями, людей никаким боком не напоминающими, и так кишел весь их микрорайон. И сделали их такими они, родимые: водка-матушка и наркота-гостыюшка. Ни к той, ни к другой он вовек не притронется, потому что ты только начни: сам не заметишь, как все вокруг здесь понравится, и уходить не захочется. Ни за грош сгинешь: под разборку не угодишь – так сам к тридцати от цирроза загнешься, как родики загнулись. А он хотел – вырваться. Жить в чистой хазе, жрать от пуза – да с разбором, не абы что, девок топтать таких, как в журналах, – и чтоб за честь почитали. Нетипичный был парень Леха Бойцов – сам это знал и гордился. Но, пока здесь перебивался, хавка-то ведь тоже нужна была, не то с голоду распухнешь! Да и шмотки тоже – не бомжом же ходить, как местное население. С криминалом Леха не вязался из принципа: тут раз-два и в колонии – оно ему надо? Но не идти же было ишачить за копейки: работа человека не хуже водки к земле гнет! Да и на что она сдалась, когда на той же площадке собственная, можно сказать, баба – самая у них в квартале богатая: мать ее кассиршей чуть не полштуки баксов в месяц выбивает. И у воды – да не напиток? Тем более, не он – так другие возьмут: те вообще до копыа заберут, а он с ней всегда по-божески. Следит, чтоб щенку ее на хавчик оставалось: все ж свое семя, не чужое...

- Чего, не слышала? Бабки давай по-быстрому, – почти миролюбиво повторил он, видя, что Долька только носом на полу шмыгает да сопли размазывает, а подыматься не думает. – Шевели копытами-то, а то помогу...

- Леша... – прошептала сквозь всхлипы опухшая растрепанная женщина... – Ну, нет у меня больше, ну, честное слово... Ну, вот ей-богу... Ты тогда последнее забрал, даже Димке аспирина купить было не на что... Мне мать теперь наличных не дает, знает, что отберешь все равно... Сама на работе у себя по карточке еду покупает... Ну, не могу я, Леш, больше. Оставь ты нас, а?

Доля сильно оперлась обеими руками о детскую кроватку, где, совсем не потревоженный с рождения привычными звуками, раскинувшись, спал крошечный лысый мальчик, и только тогда сумела подняться на дрожащие ноги.

- Та-ак... – обиделся Леха и пробормотал, отвернувшись: –



Во-от, значит, как... Оста-авь, значит... Как спиногрызов рожать не спросясь – так это нормально было, любо-овь, блин... А как богачке бедному человеку на хлеб подать – так это «оста-авь»... Хоро-ошенькое дельце, нечего сказать... Ну, спасибо тебе, милая, ува-ажила...

И вдруг молниеносным рысьим движением он одним коротким броском с пол-оборота достиг ее, сгреб сзади за волосы и швырнул на колени, пригибая головой книзу.

- Н-на, н-на, н-на! – быстро намотав на ладонь ее перетянутый резинкой трепаный «конский хвост», он несколько раз со всей силы впечатал Долю лицом в деревянные прутья кровати. – Будешь еще быковать у меня, сволочь?! Будешь?! Будешь?! Будешь?!

Только теперь, когда кровать хлипкой дешевой конструкции стала подпрыгивать от страшных толчков и раздался истошный крик матери, Дима проснулся, засучил ножками и начал жалобно, как заигранный котом мышонок, попискивать.

- Бери... – Доля уже неловко вытягивала из тесного кармана джинсов несколько горячих сторублевок. – Это все, что есть... Мама Димке на лекарство оставила, от запора. Плохо побольшему без клизмы ходит... Давно уже... Думала, вылечу... Всё, иди. Мне кормить его надо, – скороговоркой прошептала она.

- Ничего, меньше срет – меньше стирки, так что спасибо скажи, – отпустив женщину, Леха быстро пересчитал бумажки: – Это чего – всё, что ли?! Ты чего – издеваешься?!

Но Доля успела вынуть своего нудящего уже на низкой ноте мальчика из его клетки и теперь стояла, прижимая ребенка к плечу и глядя на оскорбленного сожителя прямо и устало:

- Больше – нету, – раздельно произнесла она, и теперь он ясно понял, что это правда, точно так же, как до того знал, что баба врет.

Да и в любом случае через пацанчика он ее все равно бить не стал бы: тут силы не рассчитаешь – да и дух из него вон. Потеря, конечно, невелика – все равно на свете не заживется, а у него, Лехи, вся жизнь сразу вверх тормашками из-за какой-то сотняги. Если и зажилила – да пусть подавится. Потом вдвое возьмем...

- Ну, смотри у меня, – желая последнее слово оставить за собой, чтоб не испепеляла тут его взглядом («Ну, zenки-то ее мы завтра разьясим – ишь, зыркает!», – сразу пришло придавшее бодрости решение), Леха поднес к ее лицу еще саднивший кулак



с тремя горками запекшейся крови. – Если узнаю...

Не найдя в голове подходящего окончания фразы, он грозно всхрапнул и широким шагом двинулся к выходу.

- А-а кто мой сладкий? А-а кто такой мокренький? А-а кто хочет кушать? А-а кому мамочка сейчас согреет молочка? – как ни в чем не бывало, перейдя на радостное подвывание, заговорила Доля – ребенок ее сразу успокоился и тоже, в свою очередь, удовлетворенно загулил.

Предстояло легкое промежуточное кормление, когда не требовалось варить жидкую кашку и натирать быстро коричневеющее на воздухе яблочко (покупать все это в готовом виде было слишком дорого), поэтому Доля только чуть-чуть подогрела на плитке в теплой воде заранее заготовленную бутылочку со смесью. Своего молоко пропало у нее ровно два месяца назад, когда пришедший из армии Леша в первый же день без всякого повода ударил ее, мать своего трехмесячного ребенка, с размаху по лицу. Тогда он еще ладонью бил, по-настоящему мутузить сразу не решился – но ей и это показалось ужасным, ведь до того дня ее в жизни никто и пальцем не тронул! Знала бы она...

Полулежа на руках у матери, Дима быстро высосал из бутылочки положенную порцию, забавно, как котенок на солнышке, жмурясь от удовольствия, – и сразу вновь начал задремывать, потому что до скандала своих родителей успел проспаться совсем недолго, и теперь, сытый и переодетый в сухое, хотел добрать законное время сна. Доля уложила его под легкое одеяльце, оставив ручки свободными, и некоторое время, опустив недвижные ладони на поднятые перильца, молча смотрела на спящего сына. Со стороны могло показаться, что молодая мать с умилением наблюдает, как спит трогательное дитя, но никто не видел, что глаза ее постепенно наполняются тяжелыми обжигающими слезами.

Еще совсем недавно семнадцатилетней русской настолько, насколько это вообще возможно, девушке по имени Долорес в глубине души казалось, что произошло досадное недоразумение. В ее миловидную русокудрую голову не помещалось осознание простого и бесповоротного факта: их замечательной просторной квартиры в старинном доме с вполне симпатичными архитектурными излишествами более не существует. То есть, дом стоит на своем месте, и все так же тих и светел широкий ухоженный двор, а в комнате по-прежнему распахнута балконная дверь, ведущая





в царство маминых розовых и лиловых петуний, но все это неведомым образом переместилось в некую недоступную реальность, проникнуть в которую теперь можно только способом викторианской Алисы. Доле почему-то казалось, что их переселили сюда временно, словно упрятали в долговую яму до лучших, изобильных времен. Чтобы эти времена наступили, нужно одно из двух: либо выздороветь, как в недалеком детстве от тяжелой скарлатины, дозволившей одним глазом глянуть *туда*, за смутно желанную грань, – либо попросту проснуться. Поэтому в первый год новой жизни она даже вещи свои особенно не распаковывала: доставала требуемое из чемодана или коробки, а потом интуитивно прятала обратно, чтобы меньше хлопот оказалось при обратном переезде. Новое место засасывало Долю постепенно, дав ей даже возможность машинально закончить прежнюю, вполне благополучную школу, которой за одиннадцать лет она ни разу не изменила, и которая отнюдь не собиралась никак ущемлять свою верную ученицу. Девочке поначалу и в голову не могла прийти кощунственная мысль, что ее любимая мама, воспринимавшаяся поначалу исключительно как жертва посторонней жестокости, на самом деле – попросту безмозглое и бесхребетное существо, из тех, что словно от рождения предназначены в мальчиков и девочек для битвы, никогда не идущего им на пользу. Эту тонконогую женщину с дрожащим голосом и широко расставленными тупыми желтоватыми глазами очень легко было бы гнать в куче таких же безликих особей на какой-нибудь массовый убой – и она не взбунтовалась бы по дороге пусть напрасным, но благородным бунтом, не повернулась бы, вскинув подбородок, лицом к палачам, а покорно опустила бы на колени, ожидая пули онемевшим затылком. Ее и гнали, не ожидая никакого сопротивления, – и автоматом страшать не надо было, сама трусила рысцей... Доля теперь особенно ее не жалела: пусть не строго фильтровавшим «базар» умом, но чутким всепонимающим нутром она ощущала, что не может никакая вменяемая мать, не будучи скрюченным инвалидом, не скатившись в невозвратимую асоциальность, – взять и на ровном месте лишит своего единственного ребенка будущего, позволить выбросить из родного дома в криминальные бараки, не то что не попытавшись его защитить, но даже ни разу толком не возмутившись. «Что делать, дочка... Что делать... Беззащитные мы с тобой...» – только это Доля от нее и слышала – похоже, и вины никакой мать за собой не знала. И как только папа мог на



такой жениться, недоумевала девушка. Наверное, не до того ему было – поэт, все-таки, другого мира человек: есть жена какая-то, не мешает – и слава Богу. Собственно, это не совсем ее, Долины, мысли были. Вернее, ее, но глубоко запрятанные: в сердце у нее, наверное, тоже имелась одна нераспакованная коробка – широко открыть ее Доля никогда бы не посмела и словно тайком залезала внутрь стеснительной ладонью, каждый раз вытягивая что-то не запрещенное напрямую, но все равно несколько противозаконное.

В то незабываемое утро Доля так и не успела испугаться: они словно вышли из стены на площадке первого этажа, эти больше похожие на оживших мертвецов, чем на людей, существа с лунно-голубыми нечеловеческими лицами в бледных отсветах скупого питерского рассвета, и молча заступили ей дорогу к выходу. Не сделав ни одного резкого движения, страшные тени стали бесшумно наступать на замершую девушку – с трех сторон, неумолимо тесня ее к бездверному проему, ведущему в полностью разрушенную квартиру. Она не попятилась, потому что сзади было еще страшнее, – и отрешенно наблюдала нездешнего вида пантомиму, как не въехавший в тему театрал. Вдруг на лестнице дробно протопотало, и бессловесный жанр нарушился появлением вполне себе реалистичного героя:

- Так, мужики, слюну подтерли и свалили. Тут вам не здесь, – звучно приказал юный широкоплечий блондин, спрыгивая с последних ступенек.

- Да ладно, Леха, мы ж не знали... – покладисто согласилась одна из теней. – Думали – ничья... Застолбить хотели...

Не удостоив призрака ответом, парень молча обхватил твердой теплой рукой Долю хрупкое, как кроличья лапа, запястье и мигом вывел ее на улицу, будто сквозь стену.

- Во шустрила, а? Успел уже... – послышался сзади ничуть не осуждающий и не агрессивный голос.

- Но пасарán<sup>1</sup>. Тебя ведь Долорес зовут? – дружелюбно спросил парень. – Меня – Алексеем.

На улице уже совсем рассвело, и Доля поразилась, насколько же он красив: если отмыть хоть наполовину, то просто как с картины Васнецова сошел.

- Провожу тебя до остановки, – не предложил, а сообщил ей

---

<sup>1</sup> «*No pasarán!*» – Они не пройдут (испанск.); политический лозунг, выражающий твердое намерение защищать свою позицию; антифашистский лозунг во время гражданской войны в Испании (1936-1939).



добрый молодец. – А то ты у нас тут новая, правил не знаешь, пропадешь по дурости, а жалко – не кикимора.

По дороге выяснилось правило номер один: девушка здесь сама по себе не ходит. Она либо чья-то, либо общая. Причем, если ее «объездили» гуртом, вот как сейчас собирались, то она так навсегда и останется, всякий, кому припрет, имеет право пользоваться, себе единолично никто уже не возьмет – побрезгует, да и не по закону это. Поэтому любой новой или просто вошедшей в возраст девушке, с какой стороны ни взгляни – а выгодней с самого начала к одному кому-нибудь прибиться, тогда другие не тронут, – если правильного выберет, конечно. Тут ей и почет, и защита, и все такое прочее... Ну, а правило номер два гласило: если уж девушка к одному пошла, то за покровительство она у него вроде как в рабстве: без его слова и шагу не делает. Которая общая – та своей волей живет, зато каждый, кто пожелает, в любое время ее, где хошь, заваливает, а заартачится – могут и глаза выколоть или даже похуже чего. Но он, Леха, не дурак, нет. Он к таким бабам и близко не подходит, ему своя нужна, да не простая, а с перспективой. На Долорес он сразу глаз положил: понял, что не пропащая, и с лица ничего, и талия, как у балерины... Мечты своей не скрывает: отсюда валить надо, или карачун настанет. Потому не пьет, не ширяется, с шалавами не водится, чтоб здоровье не погубить до срока. Сейчас ему восемнадцать стукнуло, так что осенью в армию загребут – это уж не отвертишься. А через год вернется и с ней вдвоем, если она согласна, конечно, отсюда двинет. Оба на работу устроятся, распишутся, студию чистую снимут, жить будут трезво и деньги откладывать. На взнос накопят – ипотеку возьмут дешевую, какие молодым семьям дают. А Долорес, пока он ляжку армейскую тянет, пусть времени даром не теряет, а в колледж поступит какой-нибудь, где за год профессию хлебную дают, чтобы специальность была, – не посуду же мыть. Ну, а он, когда вернется, – руки-ноги, слава Богу, на месте, котелок варит – не пропадут...

- А мама... – пролепетала Долорес, почти ослепленная сияющей перспективой жизни. – Как я ее брошу, такую беспомощную...

Лазерные глаза хищно сузились в ответ:

- Вот тем вот... – чуть мотнул Леха пшеничной головой назад. – Которых ты только что видела... Это она, мать твою, интеллигентка... с брошкой... тебя им под ноги кинула. Если она дороже – не настаиваю. Что ждет тебя – второй раз повторять не стану.





Выбирай, короче. Если *меня* выберешь – так я прямо напротив вас живу. Но долго ждать не буду, учти, – он круто развернулся и зашагал в разгоравшийся день.

...Доля тяжело отошла от Диминой кровати, на ходу сдирая резинку с жирных посекавшихся волос. Собиралась поставить чайник и развести теплой воды в тазу, чтобы вымыть давно чесавшуюся голову, кое-как обтереть нездоровое потное тело... Она обманула и разрушила все до одной Лешкины такие ясные и совсем не фантастические надежды, когда ослушалась его четкого приказа и не пошла на аборт после проводов любимого в армию. Доля и сама не знала, почему, – просто очень уж страшным казалось само слово: это срединное «о» глядело черной дырой, из которой нет возврата, и при одной мысли о ней внутри все костенело. В результате, встретила мужика из армии вместо глазастой тростиночки, которую помнил и желал, толстая грудастая тетка с заплывшим лицом, в запахнутом на животе сальном халате... Позади нее слышался словно кошачий мяв – это надрывался их общий хилый ребенок, не имевший никакого законного места в так тщательно спланированном Лехой будущем. Он не вынес этого зрелища... «Ты во что превратилась, дрянь?» – спросил с горечью и, не дождавшись ответа, отвесил Доле пару тяжеловесных оплеух...

В дверь интеллигентно постучали – это, наверное, опять пришла пожаловаться на судьбу совсем потерявшая ориентацию в пространстве и времени недавно овдовевшая соседка, которую можно было принять за хорошо загримированную и талантливо наряженную актрису, играющую в пьесе из жизни профессиональных нищих. Недавно у нее произошло несчастье, нешуточно покачнувшее ее и без того нетвердый разум: похоронить однажды утром не проснувшегося мужа ей было не на что, поэтому его непринужденно («Вот здесь и здесь, где галочки, распишитесь») забрали в какой-то институт на опыты. Как и Долина мама, старушка, похожая на собственную, никак не желавшую махнуть косою смерть, тоже ничему в жизни не сопротивлялась... Дверь можно было открывать, не спросив: когда так стучат, – не прибить, проверено.

На пороге стоял, дико озираясь, опрятный мужчина с лобастой стриженной головой и гладким знакомым лицом. Доля только на секунду в недоумении сдвинула брови, но что-то уже бестолково ахало изнутри, узнав его, раньше, чем она сама: то был ее родной, ни на день не забытый отец.





## Глава 5 Домой

Изнутри не донеслось никакого традиционного вопроса, ответить на который он заранее решил своим полным именем-отчеством. Дверь бесшумно открылась внутрь, и Поэту сразу стало ясно, что вежливый, но явно выживший из ума Божий одуванчик в колыхавшихся лохмотьях, только что попавшийся в начале коридора, указал ему, конечно же, не на ту комнату. В пыльной струе света перед ним стояла грузная замызганная баба, обсыпанная поверху неровными прядями волос, как гнилым прошлогодним сеном. Слишком тесная оранжевая майка, украшенная на животе огромным мокрым пятном, плотно обтягивала две мощные расплюснутые груди и многослойные складки жира, лезшего спереди и по бокам из чуть не лопавшихся джинсов, как упущенная квашня из кадушки. В широком, как бы подпухшем, безбровом лице тонул посередке маленький хрящеватый носик. Интересно, хоть эта вменяемая, или во все подряд комнаты придется стучаться?

- Папа? – тускло сказала бабища. – Как ты нас здесь нашел?

По всему телу у него будто прошел мгновенный колючий озноб, а в следующую минуту в лице посторонней неопрятной женщины словно что-то проступило изнутри. Так бывало в раннем отрочестве, когда, мальчишески основательно увлекаясь фотографией, он запирался в темной ванной и сосредоточенно священнодействовал над плоскими прямоугольными емкостями; в те годы он особенно любил тот таинственный момент – от слова не «тайна», но «тайнство» – когда на глянцево-белой фотобумаге, погруженной в проявитель, вдруг начинали, как из ниоткуда, проступать сначала неузнаваемые, но быстро ярчавшие образы. Так что-то неуловимо знакомое проявилось вдруг в выпуклом рисунке ее нечистого лба, в тигрином разрезе усталых розоватых глаз, в неповторимом узоре объемных жилок на белой отекавшей кисти, принявшей тоже вполне узнаваемую, уютную позу на ручке дощатой облупленной двери... Загипнотизированный очередным дежа-вю, он сомнамбулически шагнул в комнату и прислонился к стене.

- Кто адрес-то дал? – хмуро спросила Долорес. – Мы никому не оставляли.

Поэт встряхнулся:



- Ах, адрес... адрес... Это аптекарша... Там, напротив вашего... нашего... дома... Мама все-таки дала его ей... Сказала – на всякий случай, мало ли... Я, понимаешь... Пришел – а там капремонт. Подумал – как же вас теперь искать? И вдруг меня как стукнуло! Как стукнуло! – осмелев, он посмотрел на дочь уже с некоторой гордостью: вот, мол, оцени мою находчивость. – Напротив-то, напротив-то – ап-те-ка! А аптеки – они, знаешь что? Давно еще, когда я с твоей мамой... хе-хе... не был знаком, мне одна девушка сказала... одноклассница: давай встретимся с тобой на определенном месте через полвека. А я ей: как же мы можем место выбрать, если через полвека все, наверное, так изменится, что мы и города-то не узнаем! А она: мы в аптеке встретимся – они никогда не исчезают... Понимаешь? Нет, ты понимаешь? – он заискивающе ловил Долин ускользающий взгляд. – Ловко, да? Вот и наша аптека никуда не делась, и даже тетка там осталась та же самая. Она меня узнала и сама подозвала – не я ее. И говорит – если вы, мол, своих ищете, то мне Валентина Петровна адресок оставила, хе-хе... Ну... – он решился осторожно дотронуться до одной из пухлых рук, скрещенных теперь Долей на груди. – Ну, покажись, покажись, какая ты стала... Совсем взрослая... А что такая... крупная?... Кушаешь, наверно, хорошо, да? А раньше-то не уговорить было, хе-хе... – он смутно понадеялся доброй шуткой разрядить обстановку.

Быстрым гневным движением Долорес отбросила его руку и с очевидной гадливостью отступила.

- Да уж куда лучше! – зло крикнула она. – Как ты думаешь, что здесь едят в основном?! Макароны! Маргарин! Булку! Бомжпакеты и консервы вонючие! А если еще ребенка растить!..

Только тут растерянно озирающийся Поэт нагнулся взглядом на завешенную светлой пеленкой решетчатую кровать:

- Так это что – у меня внук, что ли, растет... – пробормотал он еле слышно.

- Не у тебя внук, а у мамы! – с ненавистью процедила Долорес. – Ишь, пришел, дедуля, гостинцев, поди, принес...

- Гостинцев? – опешил он и тут же спохватился: – Да, да, да! Вот, вот, держи, держи... Я потом еще... – и, выхватив из кармана брюк давешний пестрый денежный клубок, он стал заталкивать его куда-то меж ее по-прежнему жестко переплетенных рук.

Доля молча сунула деньги куда-то назад, и образовалась смущающая пауза. Поэт кашлянул:





- Я, знаешь... У меня несчастье... Память, понимаешь, потерял... Только тебя помню и маму... И что стихи писал... А дальше – как ластиком... Вот, видишь ли, беда какая... – и поскольку неузнаваемая дочь его все так же неподвижно стояла в блеклых лучах, как большая опасная бегемотиха, он решил, что человеку всегда легче говорить о себе самом, чем слушать про чужие невзгоды, и бодро посыпал вопросами: – А вас что сюда – на маневренный фонд? Давно поселили? Что обещают-то? Ремонт ведь они там еще и не начинали, сам видел!

Поэт оказался прав – лицо Долорес дернулось и вспыхнуло, будто получило пощечину:

- Не на маневренный, а в неблагоустроенный, – отчетливо произнесла она. – Два с лишним года тому. Навсегда. За неуплату. Сначала, чтоб первый раз расплатиться, мать дачу продала. Квартиру она так и не приватизировала, потому что едва ли даже понимала, что это такое. А я соплюхой была – какой с меня спрос. Она твердила, как помешанная: «Что они нам сделают?» В следующий раз продавать было нечего, и мать в суд уже не ходила – думала, отстанут. Но они не отстали, а прислали судебных исполнителей, опечатывать... А что у нас было опечатывать, догадайся с трех попыток – разве что кровать вашу антикварную, в которой даже клопы давно передохли от старости. Еще год промурыжили – мать и пальцем не пошевелила, только бормотала в полной убежденности: «Что им с нас взять, сама подумай!». Но прекрасно взяли – пришли с постановлением, месяц сроку дали, – тут Долорес тяжело усмехнулась, – добрые люди... Но мать и этот месяц проворковала, как голубица: «Они, не посмеют, вот увидишь...» – и главное, кажется, сама в этом была уверена, так что когда вышвыривать нас пришли, даже удивилась: «Мы же люди! – кричит. – Это негуманно!» – Доля грубо, по-мужицки – по-настоящему – сплюнула на пол: – Тьфу. Ах, если бы я чуть повзрослее была! Но, когда очухалась, поздно уж было, саму чуть в интернат не сдали, да заморачиваться поленились: до восемнадцати мне всего ничего оставалось, дольше бумажки оформлять... Вот и кукуем тут. Тут и сдохнем, по всей видимости... Да, так чего ты там о несчастье каком-то своем говорил? Память, говоришь, отшибло? – уже откровенно ухмыльнулась она. – Везет же... сволочам! Вот бы мне так, а?

- Как ты смеешь! – оскорбился Поэт, чувствуя, что губы произвольно кривятся. – Ты девчонка еще! Что ты понимаешь в





жизни? Ишь, распустилась здесь! Я тебе не парнишка с дискотеки! Я, между прочим...

Долорес вздрогнула и задохнулась:

- С дис-ко-теки? – по слогам выдохнула она, белея на глазах. – Да ты... ты... Ах, ты...

Сделав два быстрых широких шага, она оказалась у двери и рывком распахнула ее:

- А ну – вон, – на Поэта глянули два темных звериных глаза. – Вон, или... Мало не покажется, клянусь, – добавила она низким хищным голосом.

Не в его правилах было ненаходчиво оставлять за кем-то последнее слово:

- Пожалеешь! – рывкнул он самым грозным из своих внушительных голосов. – Это тебе зачтется!

Но, непочтительно ускоренный не по-девичьи сильным пинком, он уже летел в темноту и вонь ужасного коммунального коридора, будто мелкий воришка, с которым побрезговали возиться по закону. До близкого выхода успев убедить себя в том, что сам только что оскорбленно хлопнул дверью перед носом отвязной хамки, он шустро поскакал вниз по замусоренной лестнице, рыча сквозь стиснутые зубы: «А-а, мар-рамой... Ну, подождите, управа найдется...».

Все вмиг встало на свои места, в голове аж слепило от яркого света. Какая, к черту, дочь? Вот эта вот жирная грязная жаба с вонючими подмышками – его дочь?! Ха, ха, ха – нашли идиота! Он что – родную дочку Долю не помнит? Совсем они, что ли, рехнулись?! Теперь он отчетливо понимал, что вокруг него составлен хитроумный, многоступенчатый заговор, в котором все люди, которых он видел после пробуждения, – задорого нанятые артисты. И медики хреновы, и жена эта липовая, и псевдодочка, и даже аптекаршу похожую в окошко посадили... А телевизор был никакой не телевизор, а видик обычный, где ему показали специально для него снятый фильм – и то быстро, чтоб подозрения не успели зародиться... Дом его снаружи специально заколотили, жильцам денег дали или припугнули... Зачем? Ну, то дело десятое... Звенья этой гнилой цепочки он потом переберет, сейчас главное, что он целое ухватил... Поэт размашисто шагал по незнакомому, пугающе пустынному, заваленному пестрым мусором кварталу – и вдруг совсем рядом с собой увидел каждым изгибом знакомый силуэт. Пожилая, высохшая до полного подобия эрмитажной му-





мии женщина с клочковатыми седыми волосами, небрежно прихваченными старушечьим пластмассовым гребнем, сутуло брела по противоположной стороне узкого переулка, опустив голову, глядя строго себе под ноги и таща в каждой руке по белому продуктовому пакету. «Валя!» – прострелило ему сердце мгновенное знание, он рванулся было в ее сторону – но сразу же себя и окоротил: что он, спятил, что ли?! Эта – тоже подставная, разве не ясно? Загримировали бабу и пустили навстречу ему по улице, чтоб он прямо в капкан угодил... Ну, ничего-ничего... Мы еще попырхаемся... Главное, в дом попасть, а там увидим, кто кого... *Я... та-та...и разрушу границы!/ О вещах, не подвластных уму,/ Закружили слова, словно птицы,/ И надел я бродяги суму...* Возвращаются! Милые, родные мои! Ну, теперь им меня не взять... Если вы со мной... Поэт остановился на полушаге и с размаху закрыл лицо руками... Нет – умылся живой водой, только этого никто не понял. Вот и магазин, как по заказу – подходящий... Но деньги-то все отдал, дурак... Ан, нет, все да не все – сдачу с метро и маршруток в другой карман сунул!

Он бойко толкнул стеклянную дверь, шагнул к близкому прилавку:

- Мне – фомку. Да поувесистей, если можно...

\* \* \*

Еще подходя к двери, Полина уже знала, что мужа ее дома нет. Более того, она даже знала, что его там больше не будет. И еще более – всегда знала, что это когда-нибудь случится. Знала с того самого дня почти четырнадцатилетней давности, когда, разъяренная пронзительным холодом, собственным хроническим и неизлечимым горем по имени Лена, а также ясной классово-ненавистью, с размаху сунула ему в слепую руку в штопано-рваной перчатке свою визитную карточку. Ткнула, как нож под ребра:

- А, инженер человеческих душ... – злобно просипела сквозь белый колкий пар. – Так поинтересуйтесь как-нибудь на досуге... Индюк надутый... Что происходит в этой жизни с нами, презренными не-поэтами... Я вам много чего расскажу... Удивитесь!

По нерушиму закону жанра автобус подкатил именно в эту секунду, и, от ярости не замечая веса мертвого аккумулятора, Полина торжественно вошла в салон, как в личную карету, не обращаясь на презрительно передернувшего плечами маргинала



в покрытой инеем и натянутой на уши облезлой шапке. Ждал, оказывается, мерзавец, совсем другой автобус – тот, что и правда вполне заменялся маршруткой! Ей и в голову не приходило, что им предстоит еще в этой жизни встретиться, поэтому, когда дней через десять в офис пожаловал неказистый крутолобый мужичонка в бесформенном пиджаке, с лохматыми манжетами, предательски торчавшими из нищенски-коротковатых рукавов, и жалкой, словно детской, пуговичкой над удавкой-галстуком, то, мельком глянув, она приняла его за очередного гордого обладателя какого-нибудь не востребованного языка, ищущего подачки на бедность, вроде разового перевода с сербохорватского. Только по взгляду и опознала: у щенка-подростка такой бывает, когда решится он впервые залаять басом и пор-рвать к чер-ртям стер-реца-р-ротвейлера из соседнего подъезда.

- Р-разобр-раться р-решил, – изо всех сил сгущая голос и на-пирая на «р», сообщил он ей, не здороваясь. – Опр-ределить для себя, что кр-ругом пр-роисходит. Да и вам, навер-рное, нев-редно будет...

Они стояли друг напротив друга в узком, освещенном мерт-венным «дневным» светом коридоре, причем, оба оказались одинакового роста: она была из довольно высоких женщин, а он – из не ростом гордящихся мужчин. Очевидно, этот забавный Поэт каким-то образом привык к женщинам маленьким, вынужденно смотрящим на мужчин снизу вверх, вследствие чего постоянно опускающих глаза под тяжестью мужескаго авторитета. Смотреть глаза в глаза женщине, совершенно не настроенной склонять смущенные взоры долу, он не умел и оттого по-мальчишески застеснялся, сам на себя за это осерчал, и вышло еще хуже и глупее: покраснел не только лицом, но даже ушами и просвечивающим скальпом, так что оставалось только рвануться угловатым плечом вперед, зажмуриться и выскочить вон, набывчившись и сжимая тугие потные кулаки... Полина могла расхохотаться и позволить ему это сделать. Но внезапно из недр ее души – или утробы – поднялась мутная и горячая волна жалости, нежности, бережности, еще каких-то сложных, неведомых ранее чувств, включая сюда и собственную незащищенность перед его беспомощностью... Она непроизвольно опустила руку ему на рукав, в котором ясно прощупывались твердые напряженные мускулы:

- Пойдемте с вами ко мне в кабинет, кофейку выпьем, да? – сказала она глухим и мягким голосом, дотоле ей самой неизвестным.





– Как у вас тогда на остановке – нормально обошлось? – И мягко, лучисто улыбнулась: – Я была почти уверена, что вы придете...

И, произнося это, она уже ни на миг в своих словах не сомневалась.

Можно ли разрушить чужой брак, если точно знаешь, что он губит и душит еще не конченного человека? Двенадцать лет Полина убеждала себя, что не только можно, но и необходимо, а в их случае – даже жизненно важно. Потому что все смутные годы, прожитые ее мужем до нее и не с ней, просто отвалились от него, как сухая грязь с лакированных ботинок. Не раз и не два Василий говорил ей, что прежнюю свою жизнь видит теперь черно-белой, как на старых выцветших фотокарточках, с которых смотрят полужнакомые, совершенно лишние в мире лица. Непроходимо тупая, чуть что – сразу начинавшая дрожать, как первоклашка перед прививкой, желтоглазая женщина; непонятный ребенок, словно бы не от него... Какие-то мрачные комнаты, серая, до дыр протертая мебель, унылые с рождения до смерти лица, пыльные портьеры в дверных проемах – везде тени, тени... Иногда та жизнь возвращалась к нему во сне, и тогда он мрачно говорил поутру, целуя ее, что побывал на том свете... Он показывал шесть черно-белых же, как и всё с *того* света, хилых, будто увечных книжек и сам удивлялся над ними: «Господи, неужели эту ахиною я написал? Кажется, что я болел и бредил, да? Нет? Ну, тогда у меня только одно извинение: я еще не знал тебя...». Жизнь стала легкой и многоцветной, как набор Лениных акварельных красок, неожиданно заменивших ей в четырнадцать лет и по-прежнему не освоенные буквы, и скотоферму; летали по ней теперь вдоль и поперек упитанные самолеты, пронесившие их словно над искусным макетом пестрой планеты, где даже водные глубины были радиально обозначены каждая своим цветом – от густо фиолетового до бледно-бирюзового, делая море похожим на смятую детскую юлу... Такой красивой может быть только та Земля, на которую смотришь вдвоем.

Двенадцать лет они так на нее смотрели.

А теперь выяснилось, что именно это и был его сон. А явь, которая только и нужна человеку, потому что она и есть единственное настоящее, его явь оказалась там, среди бурых теней, печальных лиц, чужих фотокарточек. И стоило кому-то оттуда позвать







ее мужа, как уже *их* жизнь осыпалась с него, как истлевшая плоть с пожелтевших костей. И никакое отчаянье не могло вернуть его Полине, молившей на коленях: «Ну, узнай же меня, узнай! Ведь это я, я, твоя Полина!» – и слышавшей в ответ: «Женщина, поймите, я вас не помню. Вы для меня – посторонняя!».

Она оставила мужа одного не более чем на три часа: больше не требовалось, чтобы отвезти и оформить Лену в очередной загородный центр «реабилитации людей с ограниченными возможностями» (а точнее – законного ограбления их истерзанных родственников), где девушку на этот раз должны были за два месяца обучить изготавливать и раскрашивать деревянные бусы. Домой она мчалась, как «скорая помощь» к месту стихийного бедствия, жестоко ругая себя за то, что проявила преступное легкомыслие, не потрудившись врезать в дверь дополнительный замок, не открывающийся изнутри. Но разве можно было предусмотреть заранее, что собственного мужа придется когда-нибудь запирать в доме! Сердце остановилось, когда Полина поняла, что дверь попросту захлопнута.

- Вася! – давась слезами, крикнула она еще из прихожей и, конечно, услышала только ровный гул кондиционера.

- Вот и все, – громко произнесла Полина, сразу испугавшись своего голоса.

Это, конечно, было не так: могли еще предстоять унижительные звонки в полицию и собственные путаные объяснения в ответ на снисходительный вопрос обленившегося дежурного: «Ну, а от нас-то вы чего хотите?»; бессчетные бессонные ночи с кувалдами в висках, грубым песком под веками и мгновенными слепыми бросками к окну на каждый звук заехавшей в спящий двор машины; телефонное сочувствие друзей, когда так и слышится за кадром чей-то торжествующий голос – не ей, а кому-то третьему, подло кивающему: «С самого начала было ясно, что этот брак добром не кончится...».

Так что Полина погорячилась. И, кроме того, она очень хорошо знала, где нужно искать пропажу в первую очередь.

Точного адреса она не помнила, но уверенность в своей правоте вела ее не хуже, чем древний инстинкт и недоступный никому из людей нюх ведет по следу хитрой дичи сквозь трясины и чащи обезумевшего от азарта, остро, вкусно и влажно пахнущего псиной курцхаара. Тринадцать лет назад она однажды втайне от жениха сюда съездила – просто чтобы вполне уяснить себе и





потрогать, если получится, ту жертву, которую ему предстояло принести ради нее. Она нашла тогда обветшалый дом, бывший доходный, то есть, собственность купца не менее второй гильдии, изъятую в пользу победившего пролетариата. В гулком просторном чреве поначалу пятиэтажного, но потом уродливо надстроенного еще двумя этажами дома примерно два столетия, незаметно сменяя друг друга, жили самые разные люди. И в их числе – бледная восьмилетняя девочка без косы и веснушек со своей никчемной, боящейся даже испугаться матерью. Полина их ничем не обделила: любовь, в отличие от бедности, под той крышей никогда не жила, а на бедность им была подана целая семидесятиметровая квартира, уж сколько-нибудь да стоившая...

Удачно припарковав безотказную «мазду» в самом начале улицы, Полина дальше решила идти пешком, надеясь узнать нужный дом с первого взгляда. Мимо, обдав густым бензиновым духом, по асфальтовым барханам вразвалку проковылял желтый микроавтобус маршрутки – и остановился далеко впереди, выгружая кого-то. Она рассеянно взгляделась – и бросилась бегом, жестоко прокляв на ходу давно покойного кутюрье, подарившего миру женские туфли на шпильках. До боли в позвоночнике знакомая фигура, сверкнув бордовыми ромбами свитера, введенными в обиход еще в эпоху юности доктора Чехова, коротко метнулась вдоль улицы, свернула к одному из подъездов – и вдруг разяще занесла руку, стиснувшую словно бы недлинное узкое копьё... Подоспев, Полина услышала короткий треск, серию быстрых ударов, и прямо под ноги ей с тяжелым звоном упала ловкая блестящая фомка – а Василий мощно налег плечом на только что варварски взломанную им парадную дверь явно пустого дома, предназначенного скорей под снос, чем на капремонт. Она едва успела вцепиться мужу в локоть:

- Вася, опомнись! Там нет никого и быть не может... – начала Полина, но в этот миг дверь с хрустом подалась внутрь, и целая волна черно-грязной пыли ударила ей в открытый рот.

Болезненный приступ сухого кашля сразу согнул женщину пополам, а муж, легко, как куклу, отпихнувший ее все тем же локтем, исчез в черном проеме, откуда веяло прахом и тленом конченной жизни. Все еще не откашлявшись, Полина рванулась за ним, ожидая прямого попадания в полную темноту. Но в подъезде оказался солнечный полумрак, как в трюме выброшенного на необитаемый остров разбитого корабля. Пыльные ленты блед-





но-желтого света наискось тянулись из больших и малых щелей, прошивали мрак со всех сторон, и, словно пинг-понговый шарик, округло скакал в звонкой тишине звук ее шагов по метлахским плиткам... А Поэт бежал по лестнице вверх, не оборачиваясь, ни слова не отвечая жене... Крича и кашляя, она устремила за ним:

- Постой!.. Просто послушай... – спортсменка из нее получалась неважная, и уже на третьем этаже Полина начала всерьез задыхаться. – Все давно закончилось!.. Ушло... Нельзя ничего вернуть... Жизнь изменилась! И тебе придется учиться жить заново!.. Да просто выслушай же ты меня!!!

Он впервые остановился – двумя пролетами выше; тоже тяжело дыша, перегнулся через перила и хамски-визгливо крикнул:

- Отстаньте от меня, поняли?! Оставьте меня в покое! Стерва! Уродка! Интриганка! Что вам еще от меня надо?! Отпустите же меня домой, наконец!

Судорожно втянув горячий воздух, Полина подтянулась рукой за чугунный скелет перил и снова бросилась в погоню:

- Вася, там нет ничего... – надрывалась она сквозь кашель... – И дома скоро не будет! Но у нас есть свой! А жизнь всегда можно начать сначала!

Поэт уже бился в другую, начавшую было шумно артачиться, но быстро покоренную дверь на площадке пятого этажа – тощую, простецкую, черного коленкора, в причудливых созвездиях мелких заклепок. Полина как раз вскарабкалась следом и обхватила мужа сзади обеими руками:

- Очнись... – со свистом и хрипом вылетало из нее. – Все еще можно... исправить...

Он стряхнул ее резким движением, как вцепившуюся в рукав кошку:

- Конечно, можно! Для того я и вернулся! – обеими руками с силой толкнув хлипкую дверку, сразу оторвавшуюся и бесшумно ахнувшую куда-то вниз, Поэт широко шагнул внутрь.

Оставшись на пороге, Полина глянула вслед. Никакой квартиры перед ней не было. Не было вообще ничего – никаких перекрытий и стен. Прямо под ногами у нее зиял отвесный обрыв над пестрой веселой бездной.



## Эпилог

Белые ночи в их доме никак не ощущались. Они словно брезговали заглядывать в этот квартал, где ничто по определению не могло сохранить белизну, даже детские простынки. В большой, захлавленной, как дачный чердак, комнате стояла сонная тишина: едва слышно дышала за шкафом Долина мать, изредка причмокивал пустышкой молочный младенец.

Разбросав по плечам вымытые сегодня в тазу и хорошенько расчесанные светлые пушистые волосы, Доля тайком пересчитывала под лампой мятые фиолетовые бумажки, полученные днем от отца. Довольная улыбка едва касалась ее обычно горько сложенных губ: она насчитала двенадцать пятисоток, и теперь решила добровольно относить Лешке через день по одной, что означало для нее не быть битой целых долгих двадцать пять дней. Все эти дни деньги, что дает мама, можно будет целиком тратить на Димку, а дальше и загадывать не стоит! Хотя, судя по всему, Леха уберется отсюда навсегда еще раньше, а другие ее не тронут: матери с детьми здесь за женщин не считаются... Оглянувшись на завешенную детскую кроватку и на перегородивший комнату неколебимый ждановский шкаф, монстром смотревшийся в полумраке, Доля осторожно засунула руку глубоко в одну из вновь взгроможденных одна на другую коробок и, стараясь не шуршать, вытащила потрепанную общую тетрадку. Примостившись у столика, тесно уставленного немывтыми бутылочками, заваленного вперемешку обломками погремусек, полувывадавленными блистерами таблеток и вывернутыми из рваного нутра косметички мутными треснувшими коробочками, она аккуратно раздвинула все это локтями в сторону и откинула клеенчатую обложку. «Стихи Долорес Стрижевой» – стояло на первой странице. Тетрадь была уже исписана очень четким острым почерком примерно на три четверти, и, бережно перевернув последний заполненный лист, женщина разгладила ладонью линованную бумагу. Пошарив, не глядя, по столу, извлекла из сердца легкой домашней свалки полупустую прозрачную авторучку и, лишь несколько секунд напряженно подумав, стала быстро и ровно писать:

*...А еще расскажу, как пыталась уйти  
От Тебя – и почти преуспела.  
Про полуденный сон, про **иные** пути,  
И как быстро дошла – до предела*





*По дорогам опасным, лихим, непрямым,  
Без надежды на освобожденье, –  
И еще каково это – утром немым  
Причаститься себе в осужденье.*

*Расскажу, как лгала Тебе больше других,  
Как измен сотворила немало,  
А потом, обмирая в застенках глухих,  
Я просила, чтоб **верил**, и знала,*

*Что беда – не беда, если будешь со мной,  
Не для духа мытарство – для тела,  
А слова «наслажденье», «ослаба», «покой»  
Неумелая парка напела.*

*Расскажу – и пусть будет страшней и больней:  
Ведь однажды – затихнет. И снова  
Донесется в мой мир оскорбленных теней  
Дальний отзвук вселенского Слова...*

## **P.S**

Сознание возвращалось урывками...

*7 августа 2014 г.  
Букино – Москва*





# Освобождение Агаты

## Часть I

Чем русская женщина восхищает хоть сколько-нибудь западного мужчину – написано-перенаписано, спето-перепето. Но изумлять не перестает одним: нетребовательностью, граничащей с самоуничижением; на Руси принято называть это жертвенностью. Рассказы о жадных ухватистых тетках и появляться-то стали серьезно только в конце двадцатого века, когда вместе с модой на безопасный секс, пупочный пирсинг и баночные напитки пришла и мода на «спонсоров». Пришла, но, в общем, не задержалась, и средняя русская баба – как из самых маргинальных низов, так и на самой сливочной верхушке – все та же затираненная рабыня теремного образца. Не говорите мне ничего про деловую, самодостаточную, ворочающую полукриминальным капиталом: это где-то там, за пределами своего мраморного дворца, она чем-то ворочает, стучит холеным кулачком по столу или артистически матерится, а дома – все равно терпит и смиряется, имея одну сомнительную цель: лишь бы не бросил. Все, что угодно, лишь бы был свой мужик, желательнее, муж. Пьет, бьет, помыкает, изгаляется? Ничего, никому: зачем сор из избы выносить? Наутро синяки замажет тональником, сверху припудрит и – на работу. Если спросят злорадники: «Что это у вас – никак, синяк под глазом?» – скажет, что упала и, как назло, прямо об угол стола; а если уж и зубов недостает, то – об батарею. Нет, конечно, закатит иногда доведенная до крайности русская женщина своему любимому неопасную истерику: «Негодяй, жизнь мою загубил!» – а все равно – самый любимый кусок мяса (варианты: огрызок, устрицу) – ему, драгоценному, потому что – добытчик. Неважно, что он уже года три ничего не добывает, а лежит поперек кровати и рассуждает о том, что в этой проклятой стране его гений не востребован темной толпой, а в цивилизованном обществе он давно бы уже купался в долларах – и, опять же, ничего не делал. Пусть она надрывается без выходных на трех работах, а на ночь берет домой переводы, все равно ему – лучшее. Зачем? – спросишь. А чтоб самоуважение не потерял, ответит. А то потеряет – хуже будет: запьет, начнет буяннить и руки распускать, вновь долдоня что-то про цивилизованное общество и про то, какой должна быть настоящая жена, напроць забыв о том, что в том самом «цивилизованном обще-



стве» настоящая жена этой стадии и не увидела бы, разведясь с мужем еще на первой и вскрыв его на такие сытные алименты, что работать бесценному гению все равно бы пришлось – чтоб за неуплату не сесть в тюрьму.

Вот точно так, хрестоматийно пробилась и я с двумя тесно следовавшими друг за дружкой гражданскими мужьями, каждый раз к моменту расставания не чувствуя уже ровно ничего, кроме облегчения. Потом, когда слышала от кого-то из женщин о разрыве, как о трагедии или крушении, – криво ухмылялась: да счастье это! Освобождение!

Есть еще одно расхожее мнение: русские женщины очень доступны. Заметьте, это снова мнение извне, из чуждой, сторонней культуры: русские мужчины, наоборот, порой долго удивляются, почему это бабу приходится так долго уламывать. Помню два случая – один собственный, другой рассказали.

Села я однажды в метро на конечной станции. Формы, так надежно в служилую бытность защищавшей от поползновений (кто посмеет задеть капитана милиции?) на мне, как и в большинстве случаев, не было, но собственная одежда нравилась: нарядный свитерок, брючки черненькие, туфельки замшевые, ладные такие... И в почти пустом вагоне уселся рядом со мной мужчина вида потрепанного интеллигента: древний свитер, брюки еще, наверное, отцовские, волосы немыты и нестрижены, сам небритый, припахивает недельным потом и никогда не стиранными носками, в доисторических очках и – венец всего – портфель-бегемот: не иначе, от научных книг так распух... Мне стало любопытно: неужели этот замухрышка подсел к нарядной ухоженной женщине, чтобы познакомиться? Неужто рискнет, не застесняется? Потом устыдилась: нет, не может такого быть – настолько очевидно пропасть, лежащая между нами! Может, горе у человека, нужда, и, увидев располагающее лицо, несчастный хочет попросить помощи, денег... Ну что ж, дам, сколько смогу: видно же, что человек образованный, хоть и опустившийся.

- Вы на какой остановке выходите? – прозвучал вдруг властный, лишенный какого бы то ни было смущения голос.

И, не успела я перестроиться и переключиться на отпор, как сосед невозмутимо продолжил:

– Впрочем, какая разница. Я – на Пушкинской. Выходим вместе и идем ко мне, там рядом.

Деловое это предложение настолько меня озадачило, что я и слов не нашла – просто молча поднялась и двинулась прочь по







проходу, одарив донжуана на прощанье диким взглядом. И что вы думаете? Отвергнутый любовник со своим ручным бегемотом вдруг преградил мне дорогу! Голосом, полным неподдельной обиды и праведного возмущения он не спросил, а спросил:

- А почему это, собственно, вы мне отказываете?!!

Второй случай из того же ряда и тоже очень иллюстративный. Захандрила как-то от неразрешимого одиночества сестра нашей секретарши – и бес попутал ее подать куда-то объявление о знакомстве. Объявление то я видела: за версту несло от него домашними пирогами с капустой, пирамидой подушек на пузатой кровати под кружевным покрывалом, выводком детей в платьицах и шортах – словом, всем тем, что обтекаемо называется в таких объявлениях «серьезными намерениями». Из всех четырехсот пятидесяти двух писем, пришедших на ее имя, завидная невеста выбрала самое приличное, снеслась с его автором по телефону и услышала вполне приятный голос мужчины. Вежливо пообщавшись, назначили первое свидание у памятника Екатерине Второй. Барышня перерыла весь свой гардероб, потом сестрин, потом подружкин, в последний момент все забрала и, прижимая к груди кошелек с кровной заначкой, понеслась в бутик средней руки... К памятнику пришла, чувствуя себя равной, по меньшей мере, княгине Дашковой, вполне благосклонно взиравшей сверху, и стала оглядываться в поисках предполагаемого князя, обрисовавшего себя как «высокого, красивого, моложавого, артистичного». Она деликатно осматривалась, брезгливо сторонясь грязного и вонючего бомжа, путавшегося под ногами, вероятно, в поисках пустых бутылок или в надежде на жирный «бычок» – и в ужасе отпрянула, когда выяснилось, что это и есть ее вожделенный князь. Опомнившись, девушка взяла себя в руки, в то время как сердце затопила извечная жалость: «Без женской руки – так долго! Спасу! Отмою! Отогрею! С лица воды не пить!». Поэтому сердечно предложила:

- Ну что... э-э... прогуляемся? – и получила впечатляющий ответ:

- Зачем такие сложности, когда все равно одним кончится?

Пролепетала:

- Но ведь мы... Совсем друг друга не знаем... Как же можно...

Так сразу...

Услышала:

- Зачем тогда объявление давали? Так и знал, что опять зря





время потерю! – жених круто развернулся и, не прощаясь, двинулся прочь, злобно бормоча на ходу: «Во, блин, бабы... Сами не знают, чего хотят... И то им не так, и это не эдак...».

Можете считать меня кем угодно – но и мне до тридцати шести лет цветов «просто так» не дарили. Тощий хвостик дежурных мимоз на Восьмое марта или – верх роскоши – метровая роза на день рождения – вот пики щедрости мужчин до появления в моей жизни Патрика, простого, собственно, английского «бобби», приехавшего к нам для «обмена опытом» на место нашего блатного Миши, благополучно отбывшего в Лондон знакомиться с методами местной полиции. Дело это было для обеих сторон изначально бесперспективное: Патрик здесь мог только ужаснуться, а Миша там – хмыкнуть, ибо методы взаимонеприменяемы. Зато на первом нашем свидании Патрик стоял с букетом – нет, не с похоронным венчиком и не со свадебной охапкой – а с нормальным, милым, человеческим букетом, умело подобранным флористом. Я еще не была влюблена, и влюбляться не собиралась. Я вообще только хотела показать заморскому коллеге – такому располагающему! – открыточные красоты родного города и поговорить, возможно, о Бернсе, Моэме, Шекспире, недавно прочитанном романе Бэнкса – словом, доказать на деле, что по улицам у нас не ходят медведи, а русские женщины давно не носят кокошников и умеют издавать какие-то другие звуки, кроме «калинка-малинка». Но когда я увидела тот букет... Скромный, в общем, ни на что не претендующий... Говорите, говорите о доступности русских женщин! А вы представляете себе собаку, которую то пинали, то держали на цепи, наконец, выгнали – и опять пинали! И вдруг какой-то человек отнесся к ней просто – нормально: погладил по крутому лбу, протянул на ладони котлетку, а потом похлопал себя по бедру и позвал ласковым голосом: «Ну, Бобик, или как там тебя... Пойдем со мной, дурачок, пойдем, не обижу...». Может, он ее заманивает – на шаверму! Но разве предположит такое коварство бедная псина? Не пойдет – преданно потрусит сбоку, забегая вперед и заглядывая в глаза!

А женщина, привыкшая слышать на самую скромную просьбу ответ: «А ж... не слипнется?» – что должна она чувствовать, какую благодарность испытывать при виде – букета? Предназначенного ей – ни за что? Только зардеться и прошептать:

- Это мне? Какая прелесть... – и бери ее голыми руками.

Насчет медведей и кокошников очень красиво получилось.





Едва мы с Патриком вышли на Дворцовую площадь и поравнялись с Александрийским столпом, как непосредственно из-за столпа вывернул нам навстречу медвежонок – как бы и не грудной, а упитанный, с богатой шкурой. Медвежонок имел намордник, ошейник с камушками, и шествовал на поводке, ведомый вальяжным молодым человеком в дорогих джинсах. Вокруг парочки вежливо скакали иностранцы с фотоаппаратами. «Вот! – торжественно скажут они по приезде домой. – Все правда! У них там действительно медведи ходят по центру Петербурга!». Я-то смекнула, что парень, видно, цирковой артист, любитель эпатировать публику, но Патрик, постеснявшийся при мне гнаться за уникальным кадром, проводил медведя таким жадным взглядом, что мне стало ясно: он надеется запечатлеть этот образ в своей потрясенной памяти...

- Что это было? – оторопело спросил он, когда хозяин и его питомец не спеша удалились по аллейке вдоль Адмиралтейства.

Я уже успела придать своему лицу равнодушно-скупающее выражение – мол, ничего особенного, медведи – дело обычное...

- Ах, это... Ну, человек выгуливает своего «пет»...

И в этот момент прямо перед нами остановился микроавтобус, и оттуда одна за другой повалили боярышни в разноцветных сарафанах и кокошниках – по всей видимости, приехал ансамбль песни и пляски, чтобы выступить на площади, как это часто бывает... Тут уж Патрик не выдержал – схватился за фотоаппарат! Но, поняв, что сей маленький спектакль разыгран для нас свыше не просто так, я повисла у англичанина на руке:

- Что вы! Что вы! Людям может не понравиться, что вы их фотографируете! Пришли себе погулять немножко по городу, а тут вы со своей камерой!

Потом я, конечно, все и объяснила, и рассказала, но Патрик так и остался мне благодарен за то, что я не лишила его первых естественных впечатлений...

И потекли романтические, заведомо ограниченные железным трехмесячным сроком наши встречи, во время которых попросту нечестно было бы говорить о любви – и его фраза на ломаном русском «Мнье карашо с тобой» прозвучала самым сокровенным признанием.

Но за все эти три месяца я так и не смогла полностью привыкнуть к тому, что к моему приходу Патрик тщательно прибирает свою квартирку (ему выделили, наскоро побелив потолок и переклеив обои, одну из конспиративных). Ведь раньше и всегда



бывало наоборот! Приходишь на долгожданное свидание к милому – и что тебя ждет, не ужин ли при свечах? Как бы не так: плесневеющая гора посуды в раковине, смердящие пепельницы по углам, урожай грязных носков под тахтой, застеленной чем-то серым, – и прочие приметы присутствия настоящего мужчины в его логове...

Я не позволяла себе увязнуть в новом чувстве безвозвратно, прекрасно зная и об его обреченности, и о напрасности последующих страданий, поэтому веселилась с Патриком почти от души, старательно не замечая непреложного хода часов... В начале осени – невразумительное прощание в Пулково-2 без обещания звонков и писем, силуэт уже навсегда чужого человека, исчезающего в недрах зала вылета, – и не успела я выйти с коллегами из здания аэропорта, как душу мою замутило от предощущения грядущей пустоты.

А на следующий день в образцовом нашем отделении возобновились смачные избиения задержанных, приостановленные было в присутствии Патрика, регулярные вечерние возлияния, когда возвращались с обходов, груженные данью из окрестных торговых точек, – и я поняла, что с этим этапом моей невзрачной жизни пора навсегда заканчивать. Опуститься до юридической конторы моя не полностью еще покрытая корой душа не позволила – и я, наконец, решила уйти на вольные хлеба: приняла давнее, регулярно повторявшееся предложение однокурсницы переделаться из оперативников в модные частные детективы.

К тому времени душа напоминала изрядно запущенный колодец – полувывсохший, со склизкими стенами и мутной пленкой на поверхности далекой черной воды.

\*

Очень подходящая ночь – как специально нарисованная. Глухая стена ледяного позднеоктябрьского дождя. Ни человек, ни животное добровольно не покинет свою нору, если нет дела, которое нельзя отложить на потом. Но кто-то в черной куртке с поднятым капюшоном, в джинсах и высоких шнурованных ботинках имеет именно такое неотложное дело. Он быстро идет вдоль абсолютно пустой, почти захлебнувшейся водой улицы, неся в правой руке большую дорожную сумку – видно, что тяжелую, потому что иногда останавливается, ставит ее на мокрый асфальт и отдыхает минуту-другую. Наконец, он сворачивает под едва заметную в





свете дальнего фонаря арку и спешит во двор, стараясь держаться ближе к стенам. Там он наскоро оглядывается, убеждаясь в том, что дом намертво усыплен частым дождем, что ни одно окно не являет хищного желтого ока. Тогда человек неслышно устремляется к крайнему слева подъезду. Код не работает настолько давно, что уж и кнопки успели заржаветь. На секунду мелькает тусклый свет с лестницы, но почти сразу исчезает не только он, но и слабые проблески, идущие от лестничных окон: пришелец знает, что выключатель срезан за входной дверью справа. В крошечной тьме он напряженно прислушивается, но напрасна эта предосторожность: слух его различает только равномерный, занудливый шум соучастника-дождя. Сдерживая дыхание, человек шагает вверх, ступая почти абсолютно неслышно – и так достигает площадки пятого, верхнего этажа. На ней только одна квартира, что сегодня имеет свое особое значение: благодаря этому обстоятельству, не пострадает никто невиновный... По-хорошему, следовало бы залезть на чердак и убедиться, что там не заночевал бездомный скиталец, но, когда пришедший достает из кармана фонарик и направляет голубоватый острый луч на чердачную дверь, то издает вздох успокоенной совести: чердак заперт на внушительный амбарный замок и опечатан, причем видно, что печать побледнела от времени. Стало быть, на чердаке никого нет, и только тот, кому предназначено, получит этой ночью по заслугам. Ибо человек пришел отомстить.

Он много раз отрепетировал свои действия, поэтому его движения теперь четки и отлажены. В самом деле, как глупо было бы, теоретически продумав свое идеальное преступление, позорно сплеховать теперь в мелочи, провалив все дело на корню! Но нет, он много раз проверял и точно знает, что крючок, приклеенный именно этим клеем у входной двери, выдержит вес пять килограммов – а большего и не требуется. Нужно только подождать три минуты, чтобы клей успел затвердеть до каменности, но и это время уже расписано. Фонарь следует положить на подоконник – так, чтобы светил на сумку. Сумку открыть – там другая, матерчатая, что как раз и содержит в себе груз, весящий пять килограммов: это перевернутая горлом вниз пластиковая бутылка из-под питьевой воды. Горло просунуто в небольшое отверстие в дне сумки. Крышка намертво привинчена, и в нее вставлена медицинская капельница. Запах сразу же выдает, что бутылка наполнена бензином – и человек невольно морщится, продолжая, тем



не менее, заниматься своим делом. Три минуты миновали, и крюк можно смело использовать. Сначала проверив его на прочность рукой в перчатке, человек осторожно поднимает сумку с бутылкой и вешает ее на крюк так, что горло бутылки смотрит вниз. Теперь главное – не засуетиться. Он осторожно поднимает с пола уже легкую дорожную сумку и закидывает ее за плечо, потом берет фонарик и направляет его на одну из двух замочных скважин в массивной, абсолютно неприступной железной двери, окрашенной в грозный черный цвет. Эта замочная скважина отличается от другой тем, что она сквозная. Если бы там, за дверью, горел сейчас свет, то в двери сияла бы маленькая золотая дырочка. От горла бутылки вниз тянется пластиковая трубка перекрытой до поры до времени капельницы. Она недавно чуть модернизирована: игла заменена очень толстой и длинной, дающей широкую, мощную струю. Очень осторожно мститель внедряет иглу в скважину до основания и знает, что конец ее теперь выдается с другой стороны примерно на сантиметр, и струйка превратится внутри квартиры в лужицу, потом в ручеек – и весело побежит по слегка наклонному полу коридора, столкнется со стопкой газет у противоположной стены... Осталось только повернуть колесико у капельницы – и человек, поколебавшись в последней муке не более десяти секунд, решительно делает это. Трубка моментально наполняется жизнью, и человек выключает фонарик. Затем он достает из кармана телефон и сверяется со временем: начало третьего; он провел здесь не более шести минут. Время точно рассчитано. В течение двух часов бензин будет вытекать из бутылки по трубке, но присутствовать при этом чревато нежелательными встречами. Мститель снова включает фонарик, направляя его свет вниз: невероятно смешно было бы в темноте упасть с лестницы и переломать кости – именно здесь и сейчас! Он спускается очень осторожно, внимательно глядя себе под ноги на гладкие столетние ступени...

Через два с лишним часа он опять здесь. Первым делом трогает висящий мешок – тот уже совсем легкий! Он быстро снимает сумку с пустой бутылкой с крючка, не забыв перед этим перекрыть трубку капельницы, и вынимает иглу из замочной скважины. Чувствуя, что руки начинают предательски дрожать, он лихорадочно засовывает все это в свой дорожный баул, путаясь с молнией, в которую все время попадает кусочек ткани от матерчатой сумки. Крючок теперь неотделим от стены – но это не улика: такие про-





даются в любом магазине из тех, где можно купить какие угодно средства и приспособления для комфортной жизни – и идеальных преступлений.

И приходит то, что у летчиков называется скоростью принятия решения. В эту секунду еще можно повернуть все вспяť, еще есть возврат, еще не все фатально! Что, собственно, имеется в данную секунду? Только лужа бензина в коридоре редакции газеты «Взгляд со стороны». Ничего непоправимого. Можно отправиться домой, где, пожалуй, и не заметили, что он выходил ночью, а утром в редакции только и будет разговоров о том, откуда на полу взялось столько бензина. Обнаружат ли вообще когда-нибудь крюк у косяка двери – это еще большой вопрос... Но стоявший под дверью человек все-таки достает из кармана зажигалку и несколько длинных, сухих и тонких палочек. Скорость принятия решения превышена, и остается только отчаянный взлет. Преступник методично поджигает соломки одну за другой, легко проталкивая их в замочную скважину. Они летят вниз, горя, и планируют прямо в бензиновую лужицу – наверно, хватило бы и первой, потому что ему сразу показалось, что в скважине что-то полыхнуло.

...Вниз он бежал, не соблюдая ни осторожности, ни конспирации. Во дворе нашел в себе силы задержаться и глянуть вверх, на те окна, где горело дело жизни человека, безмятежно улетевшего сегодня в Прагу на конференцию. Тот факт, что человек улетел, мститель проверил лично, зафиксировав, как *тот* приблизился с билетом к стойке регистрации. Его *та* не провожала. Странно, но какая разница... В окнах на пятом этаже мелькал переменчивый свет, и человек знал, что там, в коридоре, уже разгорелся бурный огонь, вплотную подступил к двери общей комнаты сотрудников – с компьютерами, мебелью, всеми материалами и половиной тиража предыдущего номера. Месть удалась, и он мог вернуться домой и спать, если получится. Спать нервным, полным неясных мрачных видений сном. Он четко увидел, что отблески в окнах стали ярче.

\*

Человек, стремглав несшийся в пятом часу непроглядного октябрьского утра по мертвой улице к оставленной за квартал машине, не знал о том, что происходило в ненавистном помещении редакции накануне, около десяти часов вечера. А в то время в ка-







бинете главного редактора еженедельника находились двое. Один из них и был хозяином – некрасивый, полноватый и лысоватый мужчина «за сорок», с художественным лоском одетый в мягкую велюровую рубашу навыпуск. Это только на самый первый, даже на поверхностный взгляд, он был некрасив – и только. Для того, кто решил бы поглядеть на него хоть на десять секунд дольше, стало бы ясно, что с этой некрасивостью все не так просто. А уж человек внимательный не мог бы не заметить непринужденной, мягкой грации его движений, не передаваемой словами особенностями повадки... Женщина сказала бы точнее: в этом человеке есть свой шарм – причем, такой, которому внешняя красота, пожалуй, и помешала бы. Немного робкая, даже как будто чуть виноватая, почти мальчишеская улыбка с где-то очень глубоко спрятанным шкодливым изгибом довершала впечатление. Мужчина стоял на коленях около дивана, где лежала девушка не более двадцати лет на вид. В данный момент красотой отличались только ее изумительные волосы – естественно светлого цвета, матерью-природой закрученные в упругие крупные локоны. Лицо ее без всякой косметики выглядело иссера-бледным, глаза слезились, нос недвусмысленно покраснел и распух; девушка не выпускала из рук насквозь мокрый носовой платок, без конца утираясь им, отчего под носом у нее давно появилось огненное пятно. Вот уже второй день Лилю терзал беспощадный грипп, пришедший в этом году в город непредвиденно рано. Мужчина, по-видимому, не боялся злобных бацилл: он положил голову на руки прямо у подушки, рядом с изможденным лицом любимой девушки, и мягко уговаривал ее, пустив в ход все переливы своего богатого, глубокого голоса:

- Ну, возьми себя в руки... Сделай одно только усилие... Регистрация через час закончится, и начнется то, чего я очень не люблю...

- Ты, прежде всего, не любишь меня, Олег, – раздраженным насморочным голосом отвечала Лиля. – Ты что, не видишь, в каком я состоянии? Температура, наверно, под сорок, а ты гонишь меня под дождь – и для чего? Чтобы успеть на какой-то там дурацкий самолет...

- Я гоню тебя не под дождь, а в теплую уютную машину, чтобы через четверть часа ты оказалась у себя дома, с мамой, которая стала бы тебя лечить и баловать... А там и я бы вернулся, и ты встретила бы меня здоровенькой и веселой... – терпеливо, по-





котовьи, ворковал Олег; их роман находился еще в той стадии, когда мужскому раздражению нет места ни в какой ситуации.

- Да мать только и умеет, что мне на нервы действовать, – пробубнила Лиля сквозь платок. – Да пойми ты, ради Бога, что дома мне только хуже станет! И вообще, почему ты так против того, чтобы я осталась здесь?

- Дурёшка... – ласково дудел он. – Да потому, что завтра утром придут сотрудники и увидят...

- Что я раньше всех пришла на работу, – закончила девушка, отворачиваясь. – И, кроме того, раз ты улетел в идиотскую Прагу, они вообще не придут. Или, разве, часам к двум... Ну, не могу я сейчас никуда ехать, понимаешь?! Не могу – и все тут...

У Олега, собственно, было два пути, потому что он прекрасно понимал, что самолет его дожидаться не собирается. Во-первых, он мог отвесить упрямыце хорошую оплеуху, тем согнать ее с дивана – и покончить на этом с собственной последней, как он был уверен, любовью. Второй путь был – позорное отступление, но это противоречило жизненным принципам Олега: ласками или угрозой, подарками или побоями – но всегда и ото всех привык он добиваться игры по его правилам, даже в мелочах. Встала дурная дилемма: или дать слабину, или лишиться того, чего не хотелось лишиться. Он думал ровно минуту в таком ключе: двадцать четыре года разницы; красавица; дураков найдет себе еще и покрасивше, и помоложе, и поденежней – а я буду обречен на перезрелых теток, склонных к приключениям или полноте; вернуться к Агате? – после того, что было... теперь – никогда; ладно, дам задний ход – все равно, когда закреплюсь – например, обрюхачу... будет время отыграться...

- Хорошо, Лилия моя... Пусть по-твоему, девочка... Удобно тебе так?

Ей, конечно, было удобно на мягком кожаном диване, завернутой в шелковистый плюшевый плед. Олег потрогал Лиле лоб и на самом деле заволновался: ему стало очевидно, что девушка не капризничает:

- Черт, лекарств бы каких... Времени нет в аптеку...

- В сумке моей, там... – сквозь гриппозную дрему отозвалась Лиля. – Антигриппина дай порошок, и еще полосатая коробочка такая... Снотворное... Проглочу сразу две – и пусть болеть буду во сне... – она улыбнулась так трогательно, что Олег не удержался и наклонился к ней с поцелуем.





Он выключил телефон, свет, ее мобильник: пусть действительно выспится, ребенок ведь, в сущности... У него дочь ей ровесница. На прощанье коснулся губами горячего лба – и вышел.

\*

Мама очень любила свою маленькую дочку Агату и уделяла ей столько материнского внимания, сколько не получает большинство детей, будучи при живых родителях предоставленными самим себе – под благовидным прикрытием детсадов и продленок. Двадцатипятилетняя учительница Женя родила дочь в коротком необременительном браке, в глубине души отдавая себе отчет, что и замуж-то выходила для того, чтобы неосужденно родить ребенка, желательно, девочку, и воспитать ее для себя, по себе, маминой подружкой и вторым ее маленьким «я». К браку как таковому Женя чувствовала не особенно тщательно скрываемое отвращение, определяя свое чувство фразой: «Это надо было перетерпеть» – как детскую болезнь или регулярное женское недомогание. Незаметно она перенесла те же критерии на воспитание девочки Агаты, поначалу ангелоподобному ребенку, порхавшему по квартире в лентах и кружевах. Постепенно, по мере возрастания дочки, из лексикона Жени (мало-помалу превращавшейся в Евгению Иннокентьевну) стали исчезать слова «я» и «она», когда речь заходила об их маленькой семье. Женя неосознанно заменяла их универсальным «мы» – и настолько с этим местоимением сроднилась, что произнести: «Я люблю корзиночки, а Агата – эклеры» становилось с годами все невозможнее, и Евгения говорила: «Мы любим корзиночки», – и только они покупались к чаю, а Агатиная любовь к эклерам растворялась в огромной материнской любви к дочери.

Вдохновенно преподавая русский и литературу в средней школе, Евгения Иннокентьевна, само собой разумеется, с младых ногтей приохотила юную Агату к чтению – и не какому-нибудь там бессистемному и хаотическому, а строго определенному: предполагаемое к прочтению произведение заранее преподносилось образованной матерью в определенном ключе, ненавязчиво готовилась правильная почва для восприятия. После того, как дочь прочитывала книгу, Евгения обязательно находила время подробно обсудить ее, добиваясь максимального осмысления и нежно настаивая на своем, если девочка вдруг осмысливала что-то не по-матерински. Суждения Агаты, правда, иногда шокиро-





вали мать, но она списывала их на неизбежное влияние разношерстного школьного коллектива. Очень неприятно поразило ее однажды высказывание дочери о самоотверженном подвиге Татьяны Лариной:

- Мама, она, по-моему, просто дура.

Евгения вспыхнула:

- Во-первых, мы давно договорились, что не произносим вслух – и, желательно, про себя – таких вульгарных слов... – (Это было маленькой педагогической ложью: ни о чем таком они не договаривались, а просто мама однажды ненавязчиво намекнула дочке на то, что «в нашем доме такие высказывания не приняты»; к слову сказать, кроме них двоих, в их доме никого не было). – А во вторых, все-таки объясни, пожалуйста, почему ты считаешь Татьяну... неумной?

- А зачем она из глупой гордости и себе, и Онегину жизнь испортила? – задал долгоногий подросток закономерный вопрос.

- Ну, ведь он сам от нее вначале отказался – и так жестоко! – парировала мать очевидной ей сентенцией.

- А, по-моему – так не жестоко, а очень даже порядочно! Мог ведь взять – да и... Как ты это называешь... воспользоваться... Тем более, что она ему сама написала: «Я твоя». А он честно поступил: не понравилась ему девушка – так и сказал, причем, вежливо, не обидел...

- И все-таки жестоко. Представь себе: девушка, юная, переступает через себя, признается в любви... В те времена это было – знаешь чем?! А он в ответ – назидание. Ну, разве не жестоко? – потихоньку гнула свою линию Евгения.

- Ну, не нравилась она ему! Что он, должен был на ней жениться? А потом, когда повзрослела и похорошела, – понравилась. Сначала ошибся человек, не разглядел... Что, не имеет он права на ошибку?

«Конечно, не имеет!» – так и захотелось воскликнуть Евгении, потому что она признавала только жизнь по высокому счету, не допускающему никаких сбоев. И вообще, ее больно кольнуло то, что малолетняя Агата встала на защиту мужчины – то есть изначально потенциального делателя зла молодым девушкам. Но говорить обо всем этом было бы и непедагогично, и преждевременно, поэтому Евгения спокойно, как на уроке, разъяснила:

- Его ошибка, тем не менее, имела свои последствия. Неправильные последствия. Татьяна вышла за другого, и Онегин больше



не имел никаких прав ни на какие признания. Он безвозвратно упустил свой шанс и...

- А, ерунда... – с неожиданным легкомыслием перебил ребенок. – Она его все это время любила, он тоже понял, что любит, – так отчего бы им не пожениться?

- И разбить сердце ни в чем не повинному князю, мужу Татьяны? – кинула последний грозный козырь Евгения.

- Сам был бы виноват! Нечего было на молоденькой жениться, раз старик! – страстно, как о чем-то выстраданном, прокричала дочь. – Это он ей жизнь загубил тем, что женился, эгоист! Он только себе счастья хотел, иначе понимал бы, что ее счастья не составит! И если б Татьяна ушла к Онегину, вот ни на столечко бы этого генерала не жалко!

Евгения была поражена. «Что я упустила в ее воспитании?» – огля быстрая мысль. Она едва сохранила спокойный тон:

- Ну, а ты... Что бы ты сделала в такой ситуации?

- О, я... – и на розовом личике девочки мелькнула вдруг мечтательно-злая полуулыбка. – Уж я бы не стала мучиться с противным старикашкой, если б тот, кого я годы любила, пришел и позвал меня! Я бы ушла с ним и узнала, что такое настоящее счастье, я бы...

- Подожди! – перебила мать, забыв уже об изначальной литературности спора и думая лишь о том, что перед ней – девочка, в которой готова сформироваться сомнительная установка. – Подожди! А если бы у него, Онегина, это оказалось мимолетным порывом? Если бы через месяц этот порыв прошел, и он снова превратился бы в скучающего циника, а Татьяна бы всю жизнь разрушила, свою и мужа?

- Зато этот месяц – один месяц! – своей жизни она была бы по-настоящему счастлива. А так – не была счастлива вообще никогда, – убежденно провозгласила дочь.

Евгения прочла целую лекцию. О долге, о совести, о чести, о жертвенности. О том, какими обязаны быть порядочные люди. О том, во что превратится мир, если каждый будет делать то, что захочет. Она говорила красиво, убедительно, напористо – и сумела пристыдить не вставшую еще, но уже глянувшую на скользкую дорожку юную душу. Наконец, сочла возможным риторически спросить:

- Ну, теперь ты со мной согласна? Убедила я тебя? – и услышала то, что ожидала:



- Согласна, мама, – а торжества не было: дело в том, что Евгения не сумела убедить лично себя.

Ребенок еще полностью находился во власти непоколебимого родительского авторитета, но как ответить самой себе на вопрос: а зачем все это – долг, честь, совесть, жертвенность, когда жизнь проходит мимо, верней, протекает серым ручейком, – и не послать ли... подальше... всю эту жертвенность вместе с честью ради одного, но ослепительного месяца, или даже только часа – но абсолютного счастья? Как просто было раньше, когда верили в Бога! Можно было бы ответить: эта жизнь здесь – ни серая, ни черная – ничего не значит. А значит только жизнь – вечная, и это ради нее не ушла Татьяна за Онегиным... Потому что Бога боялась и вечности хотела – светлой, куда бы не пришла с ним... Но такого не скажешь ведь ребенку, да и самой себе поостережешься – а вот поди ты! Без этого все самые высокие, самые чистые и прекрасные поступки теряют смысл.

Поразмышляла обо всем этом сорокалетняя Евгения Иннокентьевна – да и отложила мысли такие в сторону: живем сейчас, исходить надо из сегодняшних реалий и воспитывать детей для завтрашнего дня и самостоятельной жизни... Самостоятельной? Евгения вздрогнула. Нет, в таком обществе, где того и гляди рухнут все устои, если уж и самое святое и чистое – образ Татьяны Лариной! – можно дерзнуть опорочить... Нет уж, полной самостоятельности в таком мире неопытным душам лучше не надо... Да ничего, это ведь подростковый возраст... При правильном руководстве гладко минует период ершистости, и вернется дочка к маме, в их уютное «мы»...

- Мы ходим в Капеллу по абонементу – там так хорошо!

- Мы любим проводить лето только в средней полосе России – так здоровее!

- У нас особый круг друзей, избранный; мы никогда не приглашаем на наши праздники молодежь – она теперь такая разнузданная!

- В нашем доме терпеть не могут грязи, которую разносят всякие животные!

- Нам не нужно в квартире никаких мужских носков!

Не научившись познавать физическую радость от любви, Евгения инстинктивно представляла мужчин носителями низменных инстинктов, на все готовых ради их удовлетворения, и невольно прививала дочери взгляд на взрослого мужчину как на возможно-





го насильника, а на юношу – как на соблазнителя, который обязательно «попользуется», а потом «бросит девушку наедине с ее горем».

Какого будущего хотела она для Агаты? О, самого идеального. Лучше бы, конечно, обойтись безо всяких мужчин – но как тогда быть с внуками? Уж очень хотелось Евгении на склоне дней поагукать над еще одной кудрявой головкой, позаплетать косички, покатать нарядную колясочку... Да и комплекс старой девы может развиваться, если вообще без мужчины... Значит, придется Агаточке это перетерпеть – что поделаешь.

Иногда, перед самым засыпанием, когда Евгения, угревшись и унежившись в постели, позволяла себе помечтать, вставала перед ее внутренним взором мирная картина домашнего счастья.

Вечер. На улице суровая зима, завывает метель, а в их квартире тепло и уютно. Чуть постаревшая, но очень благородно выглядящая, с тяжелым узлом немного поседевших волос, Евгения Иннокентьевна сидит за круглым столом, покрытым нарядной тканой скатертью, под круглым матерчатым абажуром. Напротив нее – вполне взрослая, очень милая Агата, тоже гладко причесанная, в аккуратной домашней блузочке с кружевным воротничком. Обе женщины проверяют тетради, время от времени зачитывая друг другу ученические перлы. «Мама! – задорно восклицает Агата. – Ты только послушай, что Иванов пишет: "Конь под Печориным пал и громко зарыдал на всю степь"», – и обе они, мать и дочь, от души смеются. На столе дымятся чашки с чаем, красуются вазочки с разными сортами домашнего варенья, в хрустальной конфетнице – аппетитное печенье собственноручной Агатиной выпечки... Рядом со взрослым столом – столик поменьше. За ним, склоняя очаровательную головку то на один бок, то на другой и высунув от напряжения розовый, как у котенка, язычок, рисует семилетняя девочка: «Вот это мамуля, вот это бабуля, вот это наша дача, вот это солнышко светит, а вот это, с цветочком в руке, – я стою». Откуда взялась внучка – это Евгения Иннокентьевна уже придумала: Агата недолго пробыла замужем, муж стал плохо относиться к ней и ребенку, она развелась, навсегда разочаровавшись в браке и мужчинах, и вернулась с маленькой доченькой под надежное мамино крыло. Теперь она, как и ее мать когда-то, посвятит себя воспитанию малышки Эльвиры... или Элеоноры... Нет, пусть лучше Эльвиры, Элеонора слишком длинно... Красивое имя, а то всякие там Даши, Маши, Наташи... Простецки







как-то... Да, так вот... «Элечка, ты хорошо выучила стихотворение, которое вам задала учительница?» – с любовной строгостью спрашивает бабушка. «Конечно, бабулечка! – с радостной готовностью лепечет девочка и сразу же начинает нараспев: – На прививку, первый класс! /Вы слышали – это нас! /Я уколов не боюсь!/ Если надо, уколюсь...» – И Агата тоже, оторвавшись на минутку от очередного сочинения, с умилением смотрит на маленькую старательную дочку, периодически горделиво переглядываясь с собственной матерью: вот какую красавицу и умницу они вырастили совместными усилиями!

Очень долго в этом предсонном видении мелькала и огромная пушистая кошка, мирно свернувшаяся клубком на стуле, и Евгения всякий раз прилагала специальное усилие для того, чтобы в своей картинке заменить кошку подушкой: микробы все-таки, а в доме ребенок! Но каждый вечер, стоило только мечтательнице закрыть глаза и вызвать перед внутренним взором любимую сцену из будущего, как кошка упорно возвращалась на свое место, иногда даже нагло приоткрывая огромный янтарный глаз, – и Евгения мысленно махнула рукой, оставив кошку как символ уюта: не обязательно же тащить ее потом в грядущую реальность!

Но пробуждения со временем все реже и реже радовали Евгению Иннокентьевну. Первой бомбой стала обновка, купленная дочкой самостоятельно на деньги, полученные за летнюю школьную практику после девятого класса. Не спросив у матери, Агата сговорила с девочкой, чьи родители имели доступ в «Березку», и приобрела чеки по спекулятивной цене. Вскоре она вертелась дома у зеркала в платье... мандаринового цвета! И в таких же босоножках! Хуже того, у другой подружки девчонка выпросила грубую бижутерию – бусы и браслет «под янтарь» в сочетании с аляповатыми металлическими бляшками. И это после того, как они решили, что вместе поедут в Дом тканей, выберут отрез легкого шелка или крепдешина с нежным девичьим рисунком и торжественно отправятся с ним в ателье, где и закажут для Агаты первое «настоящее» платье: так, чтобы основательно, с подробными размерами, с примерками, с ее материнским любованием своим начинающим оперяться птенчиком, смущенно застывшим среди «взрослых» зеркал...

- Что это... – пролепетала оторопевшая Евгения. – Что это за... новогодняя игрушка... – и взяла себя в руки: – Не узнаю тебя, Агата. С каких это пор в нашем доме наряжаются в костю-





мы... уличных девиц?

- Ничего не уличных! – вспыхнула дочь. – Просто у меня свой вкус, вот и все! Почему я все время должна одеваться так, как нравится тебе? Почему я не могу на собственные деньги купить что-то по своему вкусу?

Тут уж вспылила Евгения:

- Не выдумывай! Во-первых, какой еще «свой вкус»?! Нет никакого «своего» вкуса, а есть хороший вкус и дурной! А вторых, какие такие «свои» деньги?! Пока тебе пятнадцать лет, изволь советоваться со мной относительно любых поступков! Любых! Тем более что эти «свои» деньги ты только что выкинула абсолютно напрасно: ты ведь не можешь рассчитывать, что я выпущу свою дочь из дома, одетую, как огородное пугало?

Было много обоюдных горьких слов и слез с последующим бурным примирением. В сотый раз повторила Евгения дочери общеизвестные постулаты о том, что лучшее украшение девушки – это скромность и нежность; что платье или блузка должны иметь благородный цвет – жемчужно серый, кремовый, топленого молока, – а в торжественных случаях возможен салатный, небесно-голубой, коралловый; что когда девушка из хорошей семьи хочет как-то украсить себя, то единственно позволительное для нее – это надеть на свою стройную шейку тоненькую цепочку и скромные часики на хрупкое запястье; что, наконец, в одежде, подобной купленной сегодня, Агата сразу начинает походить на Катерину – а ниже этого уж и падать некуда. Голос матери звенел от горя, что у нее растет такая никудышная дочь; в глазах, светло-голубых до прозрачности, стояли святые серебряные слезы – Агата, разумеется, не могла выдержать такого натиска, и, кроме того, ее обидно задело сравнение с проклятой Катериной. Рыдая, девочка кинулась во всепрощающие материнские объятия.

Катерина была одной из воспитательных плеток, которыми пользовалась Евгения Иннокентьевна в тех редких случаях, когда политику пряника считала необходимым переменить на кнут. Речь шла о родной сестре Агатиного отца, не пытавшегося, к счастью, увидеть брошенную им дочку и в добровольно-принудительном порядке платившего алименты небольшие, но достаточные для покупки то недорогого велосипеда, то не шикарного, но милого пальто. Старшая его сестра Катя казалась молодой Женечке воплощением того, как не надо жить. Прежде всего, она не ходила на работу, как это делают все порядочные люди на свете,





а у себя дома, отоспавшись как следует и наложив на щеки изрядное количество польского крема, за которым у нее всегда было время съездить в «Ванду», посвящала два-три часа изготовлению уродливых, по мнению Жени, кукол, коих потом развозила по художественным салонам, где имелись у проныры хорошие связи. В результате того, что темные, неразвитые люди зачем-то тратили свои деньги на покупку этих пошлых поделок, Катерина выручала в месяц сумму, на порядок превосходившую ту, что получала в кассе честная трудолюбивая учительница – при полной нагрузке и с доплатой за ночную проверку тетрадей и подневольное классное руководство. Кроме того, Катерина состояла в третьем законном браке, имея возраст всего около двадцати восьми лет, что доказывало ее позорную внутреннюю и телесную зависимость от мужчин и не могло не вызывать Женечкиного презрения.

Внешний вид золовки наводил ужас и переворачивал все человеческие представления об элементарных приличиях: то цитрусовое платье, притащенное наивным ребенком из «Березки», как раз и было в ее духе, как и разные – красные, бирюзовые и даже золотые! – кушаки, туфли, яркие платки, обернутые вокруг бедер, полукилограммовые кольца в ушах и десятки браслетов, перстней, висюлек... Невероятно странно – но такая опереточная внешность не отталкивала от Катерины мужчин, а, наоборот, притягивала, как мошкару на ночник. «Это потому, что, несмотря на ее замужнее состояние, они чувствуют в ней даму легкого поведения», – решила для себя Женья.

Для полного завершения «образа врага», хотелось бы ей, конечно, видеть Катерину легкомысленной вертушкой, помешанной на безвкусных тряпках и побрякушках, неспособной и двух слов связать. Но, к сожалению, в этой области вышла обидная неувязочка: родственница блистала не только нарядами, но и умом, и отрицать это означало бы показать себя ограниченной невеждой. Катерина непринужденно изъяснялась на английском и французском, едва ли не наизусть знала классику, включая сюда и ту самую сложную часть Достоевского, которую не осилила даже Женья, и вполне здраво судила о любом доступном современном произведении, зарубежном или отечественном. Обиднее всего было то, что учитель литературы Евгения Иннокентьевна подчас пасовала в споре с ней – и тем меньше импонировала ей Катерина со своим насмешливым резвым умом, спорными, но интересными суждениями, цепким легучим взглядом иссиня-серых,





завидными ресницами затененных глаз...

Обо всех этих своих смущениях Евгения, конечно, не распротранялась при дочери, лишь обрисовав ей клоунские одежды и манеры тети, а самобытность ее натуры невольно представив в рассказах как непозволительную распущенность, граничащую с аморальностью. Сравнение с Катериной со временем стало высшей педагогической мерой наказания – вроде пощечины, призванной немедленно привести дочь в чувство.

- Ну, вылитая Катерина! Вот они, гены! – с почти натуральным ужасом восклицала Евгения, когда слышала в интонации растущей Агаты железные нотки самоуверенности или замечала ее слишком пристальный взгляд на алые перчатки, выставленные в витрине, – и девочка немедленно съеживалась, как от удара: в сознании ее давно прочно засела уверенность, что тетя Катя, общения с которой до сих пор так счастливо удавалось избегать, – сущее чудовище, сравнение с которым является горьким оскорблением.

Нет! Евгении удастся воспитать дочь таким образом, что она станет испытывать отвращение к подобным людям и образу жизни. Девочка вырастет скромной, трудолюбивой и почтительной, окончит педагогический институт, как и мама, благо литературные способности унаследовала неплохие, а там можно будет подумать и о том, чтобы исподволь подтолкнуть ее к браку с приличным юношей, сыном кого-нибудь из проверенных подруг. Вот, например, Юра, Валин сын, – чуть Агаточки постарше, симпатичный, положительный, поступил в Корабелку, молчун, учится хорошо, по дискотекам не носится... Ну, да это рано, это мы еще решим, а сейчас нам бы только подростковый возраст благополучно проскочить...

Некоторые рычаги безотказного управления дочерью Евгения уже нащупала – и тактично, в меру, пользовалась ими, не пережимая, но и руку держа всегда на пульсе.

Одним из таких рычагов было слово «фантазия» – под него легко списывались все девичьи взбрыки, потому что шли они, конечно, от мечтательности, свойственной юности в целом.

- Когда я вырасту и закончу институт, – философствовала Агата за вечерним чаем, изначально предназначенным ее матерью для ненавязчивой инспекции и коррекции дочернего внутреннего мира, – я поселюсь отдельно от тебя: ну, сначала сниму комнату, а потом видно будет, может быть, удастся вступить в коопе-





ратив... И заведу себе кошку... нет, кота... нет, двух, чтобы они мне мурлыкали и чтобы их гладить. А спать я буду не на тахте, как сейчас, а куплю себе такой большой широкий матрац – и положу его прямо на пол, застелю плюшевым покрывалом под леопарда! А еще у меня будет такой низенький-низенький столик для кофе, а на нем – такие крошечные чашечки с блюдечками... И вообще, я накоплю много всяких фигурок, вазочек и расставлю их по маленьким черным полочкам, которые развешу лесенками... Книги? А книги у меня будут лежать просто на полу, стопками... То есть, на ковре. Потому что у меня будет такой огромный – во всю комнату! – ковер, пушистый, так что я по дому буду ходить только босиком... И еще, я подстригу волосы до плеч и сделаю шестимесячную завивку, буду ее закручивать в крупные локоны – и так ходить, как Алфёрова в «Трех мушкетерах» только короче... Да, еще у меня будет большой трельяж – такой, знаешь, с тремя зеркалами, полированный, в нем – много-много ящичков, а в них всякие украшения, и коробочки, и... – и в целом картина вырисовывалась такая тошнотворная, что Евгении снова и снова хотелось выкрикнуть: «Ну, вылитая Катерина!» – но она сдерживалась, не желая ранить фантазирующего ребенка, в упоении мечты позабывшего, что на картине, изображающей идеальное бытие, щедрыми мазками пишет как раз тот образ, который давно является вечерней страшилкой. И Евгения бралась за проверенный рычаг:

- Какая же ты фантазерка! Надо же, какая у тебя развитая фантазия! – ибо важным было соединить все эти негативные образы с ощущением их нереальности, чтобы фантазия однажды не перешла в цель, стремление к которой перебить будет уже труднее.

Наступали новые дни, мчались месяцы, подбираясь к выпускному балу и неся с собой новые огорчения. Совершенно определенно стала, например, замечать Евгения, что даже сам внешний облик взрослеющей дочери начинает пугающе напоминать черты той, вычеркнутой семьи. Откуда-то появились вдруг на лице девочки почти Катеринины пухлые до развратности губы, заменив собой аристократически строгий рот материнской породы, округлилось и само личико, заиграв простонародным румянцем вместо сдержанной матовости, тело по мере созревания превращалось не в хрупкое девичье, а сразу в призывно женское, с вызывающими округлостями. Все это несказанно огорчало Евгению, потому что вместо невинно-молочного козленочка, каким



мечтала мать видеть дочку в раннем девичестве, рядом с ней в квартире незаметно оказалась здоровая эротичная тетка, которую уже почти невозможно было обнять, чувствуя хрупкие косточки, или зарыться лицом в пахнущие солнышком волосы... Теперь эти волосы пахли ароматным дешевым шампунем и еще чем-то неуловимо гадким для целомудрия, но, вероятно, очень притягательным для похотливости...

«Как же так?! – металась Евгения наедине с собой. – Почему и воспитание, и постоянный пример всегда были исключительно положительными, прочно, вроде, прививались соответствующие убеждения, а получилось... А что, собственно, получилось?».

Ничего особо страшного пока не наблюдалось. Сходив на две три дискотеки, дочь раз и навсегда потеряла к ним интерес (хоть и лихо отплясывала на выпускном, покоробив чувства матери), много читала на родном языке и пыталась – по-английски, без усилий неплохо училась, получив вполне достойный, но странный аттестат: без четверок, но с пятью тройками – по алгебре, геометрии, физике, химии и физкультуре – и те учителя натянули из уважения к коллеге. Остальные отличные отметки обеспечивали аттестату достойный средний балл, и жизнь продолжалась.

- Я уже выяснила все насчет приема документов в педагогический... Да и договорилась насчет тебя, собственно, что уж скрывать... Сама знаешь, сколько у меня там знакомых. Но это не должно тебя смущать: в наше время, да порядочному человеку... ты понимаешь. Но экзамены ты будешь сдавать со всеми наравне, и, если уж совсем провалишься, тогда, конечно, ничего не гарантируют, но с твоими способностями, надеюсь... – Евгения говорила обо всем этом как о решенном деле, и чуть не поперхнулась, когда Агата вдруг ее перебила:

- Извини, мама, но я решила поступать не в педагогический, а на факультет журналистики. Помнишь, мы с тобой все писали письма то в «Пионерку», то в «Комсомолку», вроде статей, – ты еще говорила, руку набить, – а их печатали. Так вот, я выяснила, что для творческого конкурса этого хватит, а экзамены...

Евгения обрела утраченный было дар речи:

- Подожди... Но мы же давно решили, что у нас будет династия учителей. А журналистику мы тоже обсуждали как вариант и пришли к выводу, что эта профессия – продажная... Не для благородных людей... И вообще, не женская. Мы отмели этот вариант, как и несколько других, потому что посчитали, что...





- Ничего мы не посчитали! – вдруг почти грубо крикнула дочь. – И ничего не отмели, не решили, не пришли к выводу! Все сделала ты! Ты одна! И очень ловко подсунула мне это «мы», чтоб я не думала, что ты навязываешь мне свою волю! Но я не хочу быть учителем! Я не хочу учить литературе и русскому детей, я их терпеть не могу! Я хочу писать сама, и чтобы меня читали!

- Как это... детей терпеть не можешь... – обомлела в Евгении мать и учительница – и она сразу поняла, что пора пускать в ход «тяжелую артиллерию». – Вот что. Я вижу, ты себе многое просто внушила. Внушение – великая вещь. Делай, что хочешь, – но не занимайся самовнушением: это приведет тебя к жизненной трагедии.

Фраза «Ты сама себе это внушила» была еще одним рычагом воздействия на дочь, срабатывавшим без сбоев. Этой фразой, оперевшись на собственный родительский авторитет, можно было с легкостью сокрушить любые наивные дочкины аргументы. Внушила – и все тут, а мать лучше видит, что есть на самом деле. Внушила себе, что хочешь стать журналистом, а на самом деле дорога тебе одна – в педагогику; внушила себе, допустим, что тебе нравится какой-то мальчик, а на самом деле он ничем не выделяется; внушила себе, что нужно остричь волосы, а на самом деле тебе так к лицу гладкая прическа... Внушила себе! Этим и объясняются все недоразумения.

Скандал в тот день произошел такой, что Евгении впервые показалось, что она не любит собственную дочь. Потому что невозможно же любить эту чужую девушку, так противоестественно отталкивающую идеалы, терпеливо прививаемые матерью вот уже семнадцать лет – да и внешне теперь так далекую от идеала... Но опять все разрешилось сладкими рыданиями и объятиями, а наутро мать и дочь с покрасневшими глазами, но под руку, отправились подавать документы в знаменитый «Герценовский», всегда считавшийся приемлемым компромиссом для неудавшихся литераторов, художников и ученых, смилившихся с тем, что они будут заниматься пусть и не напрямую любимым делом, но хоть чем-то, похожим на него...

Евгения одержала уверенную и очень важную победу, не позволив дочери в самом начале оступиться, неправильно заложить фундамент скромного, но надежного дома под названием жизнь. Сама судьба благоприятствовала ей: те же добрые знакомые, что так удачно толкнули Агату на первый курс факультета русского







языка и литературы, звали и саму Евгению на случайно вакантную должность преподавателя – и она радостно уцепилась за вдвойне, нет, втройне выгодное и очень лестное приглашение. Во-первых, школа и как-то подозрительно быстро забывающие в последнее время подобающее место ученики потихоньку стали раздражать Евгению. Во-вторых, возможность непосредственного догляда за взрослеющей дочерью несказанно радовала тревожное материнское сердце. А в-третьих, отвечать на вопрос: «Где вы работаете?» небрежным: «Читаю языкознание и русский в вузе» представлялось гораздо более заманчивым, чем скромно отвечать: «Я учительница в школе».

Все складывалось хорошо: вновь, как и встарь, поутру ехали мама с дочкой к одной цели на троллейбусе, да и вечером частенько удавалось подгадать время так, что и домой возвращались вместе, оживленно делаясь впечатлениями прожитого дня.

Агатин бунт и порыв на сторону, в неведомую журналистику, прошел, как не было, вместе с подростковым возрастом. Казалось, она и думать забыла о глупой детской стычке с мамой и теперь с удовольствием училась в выбранном ими вместе институте – как всегда, не самая первая в учебе (и слава Богу: первые ученицы, в основном, сумасшедшие), но и далеко не плетясь в хвосте. Евгения вовсе не была строгой матерью и порой позволяла дочке порезвиться в меру, пошутить с подружками – и втихомолку радовалась, что соблазнов почти никаких: факультет на сто процентов девичий, не какой-нибудь журналистский, где половина студентов – незакомплексованные взрослые парни, только и ждущие случая испортить девчонку. А той – много ли надо! Зазовут дуреху, подпят – и готово дело. Как она была права тогда, летом, что не сдалась, не пошла у своего несмышлениша на поводу! У несмышлениша, в свой срок захотевшего романтики...

Против одного только решительно восставала Евгения: против походов Агаты с девчонками в военные училища на танцы. Младшие курсы не для того предназначены, тут всякие свиданки просто бессмысленны: курсант скоро станет лейтенантом, уедет по месту службы, и поминай, как звали, а у девочки – рана на сердце. Успеется, замуж нужно выходить, получив образование, следовательно, задумываться об этом придется не раньше последнего курса. И уж конечно, не из будущих защитников Отечества искать пару девочке! Все наслышаны о судьбе офицерских жен, спасибо. Дочери врага такого не пожелаешь.





- Зачем нам такой жених? – на всякий случай исподволь внушала Евгения за всегдашним вечерним чаем. – В Ленинграде его не оставят, зашлют, куда Макар телят не гонял. И ты, моя девочка, привыкшая к накрахмаленному постельному белью, горячему душу, полноценному питанию, – поедешь с ним куда-то в грязь, холод, вечную мерзлоту? В какой-нибудь вшивый вагончик? И будешь ведра воды ледяной таскать на коромысле, греться у трамвайной печки? А муж? Да никогда не слышала я про такого солдафона, чтоб не пил. Когда все эти первые ахи-охи-вздохи пройдут, то он в два счета и руку на тебя поднимет. А если ребенок? Ребенок должен расти в нормальных человеческих условиях, как ты у меня росла, ходить в хороший садик, в школу, а там что? В общем, дочка, пусть твои девчонки глупые бегают на эти танцульки. Добегаются на свою голову до того, что на втором-третьем курсе станут матерями-одиночками и из института вылетают. Разве не обидно? И ты постарайся не попасться, не сделай глупость, даже глядеть не начинай в ту сторону – несчастий потом не оберешься...

В целом, жизнь текла ровно и правильно, и длинные зимние вечера понемногу стали походить на те, из давних мечтаний: тот же круглый стол, лампа с зеленым абажуром, домашнее варенье в вазочках, тонкий парок над чаем... Евгения проверяла теперь, слава Богу, не плоские детские сочинения, а студенческие работы – тоже, конечно, не гениальные, но все рангом повыше. Дочь сидела за столом со своими заданиями и конспектами. Был, конечно, у нее в комнате свой секретер со всем необходимым, но ведь уютней же так – у мамы под бочком, да и по ходу дела мимоходом подсказки спросить... Неточности, разные мелкие несовпадения с мечтой тоже имели место, как приятные, так и не очень, но Евгения, будучи человеком трезвым и отнюдь не греша открытой сентиментальностью, хорошо понимала, что требовать от жизни совсем уж полного тождества с идеалом – дело, по меньшей мере, неумное и зряшное. Так, положительным моментом была все-таки подушка на сиденье того уютного полукреслица, откуда насмешливо мерцал в мечте фосфоресцирующий кошачий глаз. А в вопросе приобретения всего живого, имевшего более двух ног, Евгении удавалось всю жизнь сохранять твердокаменную позицию – и вовсе не путем прямых непрекаемых запретов, коими иные родители навсегда отталкивают от себя детей.

- Помнишь, мы с тобой читали у Экзюпери: «Мы в ответе за





тех, кого приручили»? А вот мы с тобой разве готовы взять на себя ответственность за животное? О нем ведь надо заботиться, кормить, следить, чтоб было ему всегда хорошо, а у нас? У нас несчастный зверь будет с утра до вечера сидеть один в доме. А если, не дай Бог, заболеет? А вдруг умрет? К животным ведь люди тоже привязываются, как к членам семьи... Зачем покупать себе потенциальное горе?

Евгения очень гордилась тем, что всегда умела избегать в воспитании прямых приказов или запретов, и действовала путем мягкого ненавязчивого убеждения. Ей всякий раз удавалось, минуя обычные ребячьи заслоны, попасть прямо в душу дочери и воздействовать непосредственно на месте, умело играя на клавишах то долга, то совестливости, то вины, то жалости... Да, конечно, кошка не приобреталась в конечном счете не из-за того, что разносит вездесущую грязь по квартире и дурно припахивает, а потому что ей, бедняге, будет одиноко без любимых хозяек весь долгий день.

На этом приятные отличия заканчивались, а крупной неприятностью реалий явилось то, что вовсе не гладкая прилежная головка в стиле тургеневской барышни усердно склонялась над тетрадкой, а некое подобие кочана цветной капусты, потому что однажды под свой день рождения Агата все-таки посмела проявить своеволие и отстригла косу тайком, заменив ее локонами в чисто Катеринином духе.

- Как же можно было делать такое, не посоветовавшись?! – ахнула мать, увидев вечером сие безобразие, окончательно превратившее облик Агаты из индивидуального, строгого, в стандартно-модный.

Под словом «посоветоваться» всегда подразумевалось – спросить разрешения, но таких унижающих достоинство ребенка выражений Евгения тоже старалась не допускать, потому до сих пор Агата и «советовалась» с нею насчет каждого своего шага, держа таким образом мать полностью в курсе даже самых тайных помыслов и смутных движений души. А ведь скажи мама: «Спроси разрешения!» – и навсегда лишилась бы дочернего доверия в тот же день.

- А я и так знала, что ты будешь против, зачем советоваться-то? – резонно спросила, в свою очередь, Агата.

- А раз знала, то значит, ты... хладнокровно... меня – ранила? – сразу же безошибочно нажала на клавишу совести Евгения. –





Ведь ты же знала, как мне больно будет видеть тебя стандартной, как все девчонки!

- Мама, я не ожидала, что ты примешь все так близко к сердцу... – пробормотала озадаченная Агата, никак не ожидавшая, что для матери вид ее остриженных и завитых волос станет чем-то большим, чем незначительная неприятность; а оказывается, она причинила матери мучительную боль! Ох, лучше б она этого не делала...

- А как же мне не больно! – с горечью произнесла Евгения. – Как же не больно, если моя единственная дочь пошла на поводу у низменной толпы! Утратила свою неповторимость! Чем ты теперь отличаешься от своих одноклассниц? Раньше было так: ты – и все остальные. А сейчас – одна серая масса, из которой ты ничем, решительно ничем не выделяешься!

- Конечно, если и одежда у меня, в основном, серая! – попробовала колко огрызнуться дочь, имея в виду свое очаровательное рабочее платьице, чуть серебристое, с мягким воланом по подолу.

- Хорошо, скажем так: пестрая масса, – парировала мать. – Хорошо, что есть хоть что-то, самое последнее, чем ты можешь выделиться в лучшую сторону: хорошим вкусом хотя бы в одежде, ели уж не смогла сохранить достойную прическу!

- Ну что же мне теперь делать! – почти в отчаянье, подсознательно запрограммированной матерью, воскликнула Агата. – Волосы ведь обратно не приклеишь! И не распрямишь!

- Что поделаешь... – горестно покачала головой Евгения. - Похоже, и тебе придется переболеть этой всеобщей девичьей болезнью – стрижкой. Хоть и надеялась я, что ты окажешься умнее, но... – и она выразительно щелкнула пальцами, добывая сомнения, могущие еще гнездиться в душе девочки. – Что уж теперь... Просто давай договоримся, что больше никаких таких экспериментов без моего совета не будет... Мы их отрастим, а там посмотрим, хорошо?

И они, разумеется, договорились.

Что касается третьей неточности жизненной картинки, то устранить ее казалось трудней всего. Для этого Агате требовалось переболеть еще одной всеобщей девичьей болезнью – влюбленностью, а Евгении – перестрадать тот факт, что ее невинная, несмотря на все свои подростковые «закидоны» девочка – в стыде, ужасе и отвращении будет лежать под потным хрюкающим самцом, а потом одна, без мамы, среди чужих и равнодушных





морд под белыми колпаками, станет в муках рожать малышку-доченьку, которая и займет через несколько лет свое законное место за журнальным столиком, с акварельными красками и альбомом для рисования. Все это будет уже после того, как Агатины курсовые сменятся стопками ученических тетрадей, а волосы ее отрастут и вновь улягутся в аристократический узел.

Евгения прекрасно понимала, что как ни оберегай дочь, как ни оттягивай время, а все-таки однажды наступит тот неизбежный день, когда дочь влюбится, и... А такой ли уж неизбежный, собственно? Ведь удалось же Евгении оградить дочь от разлагающего влияния подружек – всяких там Тань, Мань, Лен... Нет, она, конечно, полностью Агату от общения со сверстницами не ограждала, просто каждый раз ненавязчиво указывала ей на то, почему очередная кандидатка в подруги ни в коем случае не может ею оказаться.

- Ты посмотри, из какой Даша семьи! У нее же папа – сантехник! Милая моя, да я никогда не поверю, чтобы в этой семье не пили! А значит, у Даши твоей одна дорога...

- Ты думаешь, зачем Катя с тобой дружит? Да она просто приоровилась списывать с тебя задания! А вспомни, когда ты заболела – она только один раз пришла тебя навестить, с единственным яблоком, хотя ее родители – обеспеченные люди!

- Эта Оля твоя – законченная вертихвостка! Ты посмотри, у нее ногти, кажется, уже намазаны – что из нее дальше-то будет! Представляешь, чему она тебя научит?

Нет, Евгения вовсе не была бы против дружбы дочери с хорошей, чистой девочкой из приличной семьи – но что-то не встречались на их пути такие девочки! А встречались то жадные, то легкомысленные, то из совсем простых семей. Поэтому Агата закономерно предпочла иметь лучшей подругой – маму: она, по крайней мере, не предаст, не станет искать корысти. Может быть, лучше, чтоб и влюбленность с неизбежными разочарованиями обошла стороной? Побережь, оградить... Можно и без внучки обойтись, в конце концов, а в мечте своей она всегда сможет что-то подкорректировать. Нет! – осаживала себя Евгения, когда такие мысли начинали приходиться слишком уж часто. Нельзя становиться эгоисткой, нельзя лишать дочь счастья материнства! Ведь она, Евгения, видела это смыслом своей жизни, и жестоко было бы устроить так, чтоб Агата этого не испытала. Может, и ничего, может, и встретится им умный, интеллигентный юноша, начитан-





ный, непьющий, уважающий старших и ценящий их мнение, с руками (не вызывать же вечно то слесаря, то плотника), работающий, чтоб Агате чересчур не надрываться, и чтоб не особо требовательный – то постирай, это приготовь: она ведь не прислугу растила; чтоб ребенка любил, к жене по ночам пореже приставал с глупостями... Такого зятя она бы приняла – почему нет? Может ведь дочь оказаться счастливее, чем она сама.

\*

- Опергруппа, на выезд!

Четвертый за эту ночь. Последнюю мою ночь на этой работе и в этой системе служения Родине. Последний на всю жизнь, потому что до конца дежурства наша группа как раз и успеет с ним разделаться. Потом – только нудная до ломоты в костях бумажная волокита, сопровождающая добровольный уход любого, кто пожелает вырваться из когтей МВД, – и через пару недель я буду носить смешное и гордое название «частный сыщик». Общественная полезность моего нового труда равна будет благу, приносимому мной обществу и ныне, только вот жалование обещают раза так в три выше, потому что деятельность следопыта оплачивается почасово в условных единицах. Я, конечно, понимаю, что выслеживать мне придется, по большей части, неверных мужей, основной хлеб подобных контор, – причем, именно мужей, а не жен. Считается, что у женщины-детектива в самый неподходящий момент может выиграть женская солидарность с изменницей, в результате чего обманутый муж, он же клиент, окажется обманутым вдвойне. Желание же отомстить мужскому роду в целом – за ущерб, непременно понесенный от его представителей в прошлом, – наоборот, заставит сыщицу выполнять свои обязанности дотошней – и снова из корпоративного дамского духа. В любом случае, такая работа не предполагает моего хладнокровного присутствия при выбивании показаний из случайно задержанных граждан, а также таких ночных выездов, как сегодня, например.

- Мамаша, вы милицию вызывали?
- А-а?
- Милицию, спрашиваю, вызывали?
- А-а? Плохо слышно, милая...
- Ментов звала, старая карга?!



- А это кто такие?
- Мы это, мы!!!
- Нет, вас не вызывала.
- Но у нас вызов на ваш адрес! Пожилую женщину избивает пьяный сын.
- А-а?
- Сын, говорю, ваш бил вас или нет?!!
- Бил, бил, милая, вот два зуба выбил под Новый год, с пьяных-то глаз.
- А сегодня? Сегодня бил? Почему в милицию звонила, бабка?!
- Нет, сегодня не бил. Сегодня он вообще в ночную смену.
- Звонили тогда зачем?
- Что?
- Милицию – зачем – вызывали!!!
- Так замок в его комнате сломать.
- Зачем?
- А-а?
- Зачем – замок – ломать!!!
- Так деньги там, милая...
- Ваши? Украл у вас, что ли?!
- А, нет, не крал, его там деньги.
- Тогда что вы хотите-то от нас? Мы же милиция, а не взломщики!!
- Да, да, взломщики окаянные: прошлое лето, как в деревню уехала, так мою комнату и взломали! Гладильную доску – новую совсем – вынесли и пропили... Вот я и хочу, пока нету его, хоть деньгами за ту доску взять...
- На обратном пути встретили на автобусной остановке пьяного мужика – это уж законная добыча. Пошерстили – пустой, похоже, пропился до гривенника. В сумке только паспорт и книги по какой-то науке. Да ну его, толку никакого, а возни много; одет тепло, не окоченеет, дождь на него пока не капает, хотя вокруг остановки стеной стоит... Поехали было дальше – рация:
- Развернитесь, там рядом с вами баба визжит, что к ней в квартиру кто-то ломится.
- Подъезжаем – дом из дорогих, новой постройки, год назад заселили, а лифт только месяц как ожил. До того одно удовольствие было там по лестнице бегать, потому что вызовы всегда случались не ниже пятнадцатого этажа, причем на девяносто процентов ложные. Как сейчас.







Кабаний рев мы услышали еще из лифта:

- Открывай, хуже будет!! Дверь разнесу – убью вообще!
- Так, гражданин, почему буяним, документики.
- Вот и хорошо, вот и отлично... Слышишь там, дрянь, – милиция приехала! Сейчас тебе покажут, как над родным мужем издеваться!!
- Тебе покажут! Арестуйте его, товарищи милиционеры! Третий час ночи, а он тут устроил! А у меня ребенок спит!!
- Так я к жене своей иду! Что я, права не имею?!
- Спокойно, товарищи, спокойно, документы у вас имеются? И ваши, гражданочка, пожалуйста...
- Ну что, убедились? Муж я ей! Законный!
- Бывший муж, бывший! Заявление на развод подано! Так что пусть дорогу ко мне забудет!
- У меня ребенок, между прочим, здесь!
- Во тебе, а не ребенок! Скотина!
- Попрошу без оскорблений, товарищи, насчет развода и ребенка решит суд, а пока, гражданин, вам придется удалиться.
- Куда это удалиться? Здесь моя квартира!
- По месту регистрации удалиться, потому что зарегистрированы вы совсем в другом месте, а гражданка здесь именно прописана и имеет полное право отказать вам в пребывании на ее площади...
- Так это же я, я сам ей, гадине, денег на квартиру дал!
- Имущественные вопросы тоже решает суд, а пока...
- Произвол! С каких это пор милиция вмешивается в семейные дела?! Я сейчас войду в эту квартиру, потому что это мой ребенок и моя жена! И я имею на них право!
- Давайте отойдем в сторонку, гражданин, для разъяснения... Слушай, мужик, тебе нужны проблемы? Нет? Так они сейчас будут, потому что она заяву на тебя накатает. И оформим тебе хулиганство, хочешь? Иди лучше по-хорошему, мужик, а?

На улицах нечего ловить: дождь такой, что даже милицейские фары не пробиваются дальше трех метров. Думаете, беспорядков такая погода убавляет? Ничуть. Они просто переносятся под крышу и совершаются даже с особой неистовостью, потому что в теплом помещении пьется лучше, а убежать некуда. Третий вызов нашей группы – в подъезд. Здесь действительно тяжелая статья, а не мелкая бытовая разборка: четверо девиц совместно отмузили пятую – всерьез, до полусмерти, и добились бы до конца, если б





кто-то из страдающих бессонницей жильцов не вызвал нас. Девки так увлеклись, что взяли мы их тепленькими – за шумом дождя, звуками ударов, стонами жертвы и собственным пыхтением они не слышали даже наших шагов. Девочек мы повязали, в «луноход» покидали, и началась еженощная тягомотина: «скорая помощь», приехавшая волшебным образом («Ну, все, допрыгалась, шалава, инвалидное кресло ей, кажется, светит», – добрый доктор после беглого осмотра); протокол, осмотр места происшествия, опрос тех, кто проснулся и сунул нос на лестницу – волынка часа на три...

Неужели я все-таки настолько привыкла к крови, что вид ее, сплошной массой застывающей на сером камне лестницы, черными, словно живыми каплями и потеками свернувшейся на стенах, больше никогда не вызовет у меня сердечного трепета?

Когда притащились в отделение, я уж решила, что все на сегодня – разве только что по мелочи, и мы едва успели опрокинуть первые пятьдесят грамм, как снова принесла нелегкая: «По коням, ребята, у нас труп».

Труп – это хуже нет. Чаще всего – перепив или передоз, следующее – пьяная драка, потом – бытовуха, реже – самоубийство, ограбление или изнасилование с последующим ножом в печень или удавкой... Надо же – последний в жизни вызов – и на полную катушку: теперь, пока со всех сторон этот труп не оближешь – дежурство не сдашь. А потом еще – писать, писать и писать, и главное, что большую часть работы мы все равно всегда выполняем напрасно.

...Никто даже не потрудился прикрыть ее хоть какой тряпкой. Так она и лежала, будто воробей, выпавший из гнезда, беспомощно и некрасиво, лицом вниз. Голова, шея, плечи – всюду волосы, волосы, волосы – светлые мокрые кудри в свете блеклых фар, мутных фонарей и фантастических багряных отблесков сверху. Под занавес своей милицейской карьеры я получила труп с гарниром в виде пожара, и будем надеяться – ох, как надеяться – на несчастный случай...

Во двор торжественно въехала красная пожарная машина – и как раз вовремя: все уже мирно догорало. Из кабины не торопясь вышел водитель в пожарной форме и с полминуты, заложив большие пальцы за пояс, меланхолично оценивал обстановку, находясь в центре всеобщего молчаливого внимания. Наконец, деловито произнес, обращаясь ко всем вместе (во дворе под несколько



сократившимся дождем уже маялось с десятков зевак плюс наша опергруппа) – и ни к кому в отдельности:

- Труп отодвиньте. Машине не проехать.

- А зачем тебе проезжать-то? – нашелся веселый лейтенант Ленья.

- Тушить будем, – снисходительно пояснил мужик, смерив его взглядом.

- Что тушить? – вскинул брови Ленья. – Это? Друг, там уже, наверно, с час, как пепелище. Что ехал-то так быстро?

- Сколько надо, столько и ехал. А тушить все равно будем, по инструкции положено.

В торговле с пожарными прошло еще бесполезных минут двадцать. Сошлись на том, что они попытаются попасть в квартиру через дверь, потому что со двора тушить почти догоревший пятый этаж трудно и вломно: пламени все равно уже нет. А мы пока займемся трупом... Да, а труповозку вызвал кто-нибудь? Нам теперь что, часового здесь ставить, если машина к вечеру приедет? А вообще, смерть констатировал кто-нибудь? Может, она живая лежит, пока мы тут препираемся? Кто врач, вы врач? Точно умерла? Слава Богу... То есть, жалко, конечно... Давай, эксперт, смотри ее, а потом накроем чем-нибудь, а то видишь, какой здесь колодец: сейчас светать начнет, и вообще амфитеатр получится.

- Ага... Марин, пиши ты, что ли... Так, и что мы имеем... Труп женщины лет около... Марин, как думаешь, сколько ей было? Лет около двадцати-двадцати пяти... Лежит лицом вниз.. Руки раскинуты... Ноги... Как бы это выразить... Выгнуты... Нет, подогнуты... Не, во как: разбросаны...

- Ты чего, Сереж? Где разбросаны? Вокруг? Ты думай тоже, что говоришь...

Совершенно ясно было, что случилось одно из двух: либо девушка, обезумев, выпрыгнула в окно, спасаясь от вездесущего огня, смутно предпочтя мгновенную смерть от падения мучительной пытке сгорания заживо, либо она полезла на карниз в надежде спастись там или докричаться о помощи – и сорвалась. Пожар, конечно, начался, когда она спала... Позвольте, да ведь она одета! Свитерок, брюки, только туфель на ней нет! Я еще раз глянула наверх и хлопнула себя по лбу: да там ведь не квартира, там редакция сгорела! Еженедельного то ли тонкого журнала, то ли толстой газеты! То-то работенка теперь подвалит, потому что





тут-то как раз весьма и весьма возможен поджог. Сначала сотрудников опрашивать... В любом случае – это уже не моя работа, мне б только на месте разобраться, доложить, что и как, а дальше... Так выходит, девушка там ночью работала? И так увлеклась, что заметила крупный пожар, только когда огонь подобрался к ней вплотную? Нет, бред какой-то... Заработалась и уснула на диване? В принципе возможно, но...

- Так, ладно, граждане! Кто видел что-нибудь конкретное? Милицию кто вызывал?

- Я вызывала, – вперед выступила бесполоя и безвозрастная особь в спортивном костюме, почти, к тому же, бесплотная, зато с огромными и страшными, как у инопланетянина, глазами. – Я как увидела, что она умерла, то сразу милицию, а потом...

- По порядку, пожалуйста, – уныло пробормотала я.

- Да, да, конечно, – суетливо начала, вероятно, все-таки, дама, но потом взяла себя в руки и рассказала довольно толково: – Я проснулась от ужасного женского крика с улицы. К окну подбежала – и ахнула: весь последний этаж дома напротив пылает; там еще издательство или редакция какая-то располагается... В окне, в среднем, женщина стоит, а за ней – огонь, огонь... Ужас! Она кричит: «Помогите!» – а как ей поможешь, чем? Только глянула на нее – и побежала в пожарную звонить. Вернулась потом к окну, а эта несчастная уже из своего выбирается и на карниз хочет встать... Да разве ж устоишь на нем – он же покатый и скользкий, наверно. Дождь ведь лил всю ночь, дождь-то какой, видели? Я и моргнуть не успела, как она сорвалась и без единого вскрика упала – мелькнула, и все... Я бегом вниз, я ведь врач-травмотолог как раз, в Джанелидзе работаю, в реанимации, так что в обмороки не падаю. Подбежала и сразу увидела, что «скорая» уж ни к чему. Девушка на месте погибла, это абсолютно точно: у меня опыт работы тридцать лет, так что можете верить...

- Это верно, она себе мозги в прямом смысле слова вышибла, – подал вдруг голос покинутый мной судмедэксперт. – Не мучилась, факт.

Призрачная докторица оставила сей неделикатный комментарий без внимания. Я с некоторым интересом ее разглядывала: в моем представлении, травматолог-реаниматолог – это здоровенный мужчина с окороками вместо рук, а тут просто привидение какое-то – и ничего, тридцать лет опыта... А что, это ведь обычно именно у таких субтильных дам – железобетонная воля, конская





выносливость, да еще в сочетании с неизвестно откуда берущейся волшебной физической силой. Я невольно зауважала Александру Ивановну (так она представилась). Спросила, уверенная, что ответ получу исчерпывающий и перепроверке не подлежащий:

- А больше никого в окнах не видели? Не показалось, что кто-то мелькал?

- Нет, она одна была, – без сомнений ответила Александра Ивановна. – И что там делала ночью?

- Работала? – подсказала я.

- Ни в коем случае. В четыре утра, по крайней мере, окна темные были.

Я насторожилась:

- На этой стороне. А на той?

- Ни в коем случае, – повторила она. – Редакция эта у меня шесть лет напротив. У них посередине коридор, и два ряда комнат по бокам, раньше там коммунальная квартира была. Так они там двери в коридор никогда не закрывают, и на какой бы стороне ни горел свет – на другой видно, насквозь. А сегодня глухая темнота была до четырех; потом – не знаю, я спать легла. А в шесть проснулась... от всего этого... Так что, если только она в промежутке с четырех до шести пришла. Но тогда – почему из квартиры не выскочила, поначалу-то ведь, наверное, можно было, не сразу же кругом вспыхнуло? Или сразу? Нет, не понимаю...

Неожиданно оперативно подъехала труповозка, вылезли санитары, протиснулись сквозь начавшую загустевать толпу, рывкнули без церемоний:

- Этот труп? – как будто там лежал еще другой.

- Да, забирайте, я закончил, – поднялся с карачек эксперт.

Вот этот процесс мне никогда не нравился: невольно представляешь на месте очередного трупа собственные сброшенные кожаные ризы. А что, если б тот мальчишка-наркоман в позапрошлом году пальнул не наугад, а немножко прицелился... Впрочем, одного боевого ранения мне хватило, чтобы задуматься о смысле жизни... То, что два часа назад было юной девушкой, наверняка, влюбленной в кого-то, строившей планы, учившейся, смеявшейся, надевавшейся на лучшее, чаевничавшей с мамой, сейчас превратилось в мешок с костями, который, ничем не прикрыв, швырнули на носилки и небрежно затолкнули в машину; с безнадёжным, конечным стуком хлопнули задние створки...

Сверху, из окна площадки верхнего этажа высунулся вездесу-





щий Леня:

- Марин, Саш, сюда давайте, пожарники закончили!

Я поплелась к подъезду. Разочарованная кратковременностью действия толпенка начала рассасываться, а мы медленно взошли на пепелище. Бросалась в глаза устоявшая железная дверь, вскрытая лишь пожарными, но за ней нам открылось зрелище абсолютно безысходное, ибо сгорело все, что, казалось, и гореть-то не могло: от жара даже превратился в крошево кафель в туалете, а почерневший унитаз аккуратно раскололся на четыре почти равные части.

- Электропроводка? – обратила я пылающий надеждой взор на пожарного, ранее буркнувшего что-то вроде: «Я за главного».

- Какое... Поджог чистой воды. Скорей всего, кто-то налил в коридоре на пол бензина и кинул спичку. Видите, здесь почти яма, и ходить-то опасно: как раз плюнуть в нижнюю квартиру провалиться.

- Может, она и подожгла... Ну, та, что в окно выпала, – вставил Леня. – А чего... Бросила спичку, сама не ожидая, что так вспыхнет... Короче, не справилась с ситуацией.

- Наверяд ли, – хмуро перебил ворошивший носком ботинка гору черной золы эксперт. – В таких случаях люди кидают спичку от двери, уже стоя с той стороны – и быстро ее захлопывают. А она выпала из окна той комнаты, которая и загорелась-то последняя...

- Может, ее там заперли? – предположила я, чтобы не молчать. – Заперли и подожгли.

- Да, и она терпеливо ждала, когда огонь подойдет к ней вплотную, и только потом позвала на помощь, – фыркнул сообразительный Леня.

- Напоили. Усыпили. Кольнули. Стукнули, – огрызнулась я. – В любом случае, мы это скоро узнаем, нечего и голову ломать.

Мне хотелось добавить, что это уже не мое дело, по крайней мере, с девяти часов утра, – и злорадно присесть с сигаретой где-нибудь в относительно чистом месте, наблюдая, как бывшие коллеги руками роются в вонючей саже, в поисках давно превратившихся в прах вещдоков. Но как, все-таки, сильны в нас условности, как крепки прутья клетки, заботливо поставленные вокруг нас нами же самими! Ведь ровно ничего не случится теперь со мной, если я сейчас ловко отстрелю окурочку в центр бывшего коридора, встану, отряхнусь и произнесу то, что мечтаю: «А пошли





вы все... Мне надоело, и я отправляюсь домой». Чувство товарищества, долга? А кто мои товарищи, которых никак не бросить, – вот эти вот? Доведший себя до алкогольной энцефалопатии Саня, орудующий двумя кувалдами-кулаками, не давая себе труд даже рассчитать силы? Жорик, без лишних сантиментов запикивающий интеллигентную свидетельницу в обезьянник к уголовникам, чтоб побольше вспомнила? Эксперт Серега, от которого я вообще никогда ни одного путного слова не слышала, но зато постоянно глубокомысленно ковыряющий в носу? К тридцати годам истаскавшийся до последних границ приличия пошлый балагур и бабник Лень? Сибирский волк им товарищ. Так может, из-за чувства справедливости я здесь торчу? Хочу заметить то, чего они не заметят никогда, – то единственное, что поможет найти поджигателя и хладнокровного убийцу молодой девушки? Ничуть не бывало: у меня пусть не тридцать, а пятнадцать лет опыт работы, но я вижу в данном преступлении (хотя формально еще надо доказать, что это именно преступление, а не роковая случайность) все несомненные признаки будущего «глухаря» или «висяка». Потому что перебрать всех, кого могла задеть какая-нибудь невинная публикация в газете, невозможно принципиально... Хотя, может, были угрозы, скандалы... А-а, да мне-то что, в самом деле!

По лестнице быстро-быстро процокали дамские каблуки, что-то поцарапалось у двери, и на пепелище вступила весьма колоритного вида девица. Волосы ее были заплетены в тугие афрокосяцы, выкрашенные в красный и апельсиновый цвета. На белом напудренном лице непристойно алел развратный рот таких размеров, что всем сразу же приходила на ум одна и та же непроизвольная ассоциация: казалось, будто совсем иная часть тела самовольно перекочевала на лицо, затмив собой все остальное, там ранее имевшееся. На девице топорщилась, едва прикрывая ей зад, ядовито-зеленая клеенчатая куртка, юбка отсутствовала вовсе, а тощие ноги в черных колготках всунуты были в пунцовые замшевые сапоги на такой шпильке, что девице приходилось передвигаться даже не на цыпочках, а на кончиках пальцев. Меня скучило от омерзения, зато утренняя физиономия Лени, только что изжелта-бледная после дежурства, вдруг волшебным образом расцвела и порозовела. Мне почудилось, что у него сразу вырос хвост – такой, знаете, как у трех павлинов сразу, и, веером распутив его и надув щеки для солидности, Казанова грациозно запрыгал по ды-







мящимся развалинам навстречу юной соблазнительнице, всплеснувшей руками и так застывшей.

- Гражданочка, – идиотски осклабился он. – Документики...

- Какие, блин, документики, – неожиданным испитым баритоном отозвалось мимолетное виденье. – Я на работу пришла... Хотя вот, – и она извлекла из смачно оранжевой сумки какие-то ненадежные корочки.

- Ивлева Жанна... Ну, до отчеств нам еще жить и жить... Сотрудник... Корреспондент... Что-нибудь заявить хотите? – Сладко закукарекал Леня, немного, правда, сбавив обороты после того, как услышал голос дивы.

- Да что тут скажешь... – пробасила она. – Само сгорело, или подожгли? Хотя что я спрашиваю, подожгли, конечно... Само так не выгорит, чтоб до тла... Наверняка, бензинчиком плеснули. Верно? Говорили же Альке, все говорили – не называй жен разных боссов шалавами! Не пиши про уважаемых отцов семейств, что они педерасты!

- Вы что-то конкретное знаете? – подскочил к ней Леня в сыщицком раже. – Кого он оскорбил, конкретно? Чью жену? И вообще, кто такой Алька? Журналист ваш?

- Нет, Алька – это Олег, сам Главный. Он как настряпает передовицу – так обязательно наедет на кого. И, главное, припишет: имена и фамилии изменены. Как будто тот, кому надо, не додумается! Говорили ему: тебя когда-нибудь в подъезде подкараулят! Нет, дождались, пока в Прагу отвалит, и хуже сделали... Да ладно, у меня здесь все равно приработок не ахти какой был...

- Так это у вас не основное место работы? – пытал Леня.

- Я учусь на журфаке. Ведаю... Ведала, наверное, уже надо говорить, ха-ха... Последним разворотом. Ну, там анекдоты всякие, рецепты, полезные советы, гороскопы... Карикатуры тоже могу...

- Гороскопы? – вдруг заинтересовался эксперт. – Вы что же это – астролог?

Девушка глянула на него, как на помешанного:

- Кто астролог, я астролог? Вы чего, с дуба рухнули?

- Ну, а кто составляет-то их? Сотрудник специальный?

- Да я их составляю, делов-то...

- Так вы же только что сказали, что не астролог... – промямлил

Сережа.

- Так от балды же! Все так делают! Вы же не думаете, что в





каждом желтом листке сидит на окладе специалист? Гусейн Гуслия какой-нибудь: «Звезды Сад-ад-Забих»... – она от души расхохоталась.

Сережа Соловьева<sup>1</sup> не читал и протянул разочарованно:

- А-а, так это все вранье, оказывается! А у меня-то жена – вот дура – чуть ли не жизнь свою по этим гороскопам меряет... А анекдоты вы тоже сами сочиняете?

- Нет, не сама. Куплю две-три желтых газеты, надергаю всего понемножку и на компе скомпилую. Ну, слова поменяю, имена, чтоб не придрался кто-нибудь, ясно?

В этот момент я озверела от их философской беседы и яростно отшвырнула окуроч, вставая с подоконника, где все это время просидела на газетке:

- Вот что, девушка, давайте-ка попробуем извлечь из вас какую ни есть пользу. Мобильник с собой? Начинайте прямо сейчас обзванивать всех, кто тут работает... работал. Скажите, что произошло ЧП, что хотите, придумайте, но пусть все идут сюда немедленно. Сколько вас всего?

- Вместе со мной – шестеро, да плюс Главный, но он в Праге, – мгновенно выпалила Жанна, привыкшая, вероятно, необременительно балагурить только с раздолбаями, но вмиг встающая по стойке «смирно» перед теми, кто догадается взять хоть чуть-чуть строгаватый тон.

Я велела Главному до времени не сообщать и, пока Жанна тыкала пальцами в пищащую штучку, больше похожую на тамагочи<sup>2</sup>, чем на телефон, снова курила, глядя во двор, – туда, вниз, где всего полчаса назад некрасиво, как убитая лягушка, лежало тело другой девушки, – и что-то подсказывало мне, что та, по отношению к которой все глаголы теперь будут применяться только в прошедшем времени, была глубже, чище и значительней этой, возбужденно хлюпающей в трубку...

Их пришло четверо: с самого начала я была уверена, что пятая не придет никогда.

Опрятный мужчина в костюме и галстук, из тех, про которых бросают: «Да никакой он какой-то» – и эта меткая характеристика позволяет больше никогда данный объект с другим не перепутать – озирался без всякого выражения. Молодой парнишка, с ног до головы в джинсе, прятал, кажется, слезы: очевидно, газета

<sup>1</sup> Л. Соловьев, «Возмутитель спокойствия».

<sup>2</sup> *Тамагочи* – популярная «живая» игрушка на рубеже XX и XXI вв.





для него много значила. Две женщины, где-то посередине между тридцатью и сорока, блондинка и брюнетка, пышка и щепка, тревожно переглядывались и молчали.

- Кого нет? – глянула я на Жанну.

- Лильки, – отрапортовала та.

- Кем у вас работает?

- На побегушках. Так, «подай-убери-помой», – неожиданно вставила Пышка с деланной небрежностью, но на самом деле тая нешуточную злобу.

«Ого, да здесь еще тот гадючий клубочек, – усмехнулась я. – Впрочем, как везде, где вместе собрано более двух женщин...».

Я уже нетерпеливо перебирала копытами, и потому первый необходимый опрос возможных подозреваемых проводила через пень колоду. Это потом они будут бесконечно таскаться по повесткам на допросы, где их последовательно вывернут потрохами наружу, а мне лично хотелось одного: убраться поскорей из ментовки вообще, а с этих угольев в частности. Тем более что ошарашенная кампания, беседовать с которой пришлось поначалу на лестнице, зарабатывала себе на жизнь, как выяснилось, прямым очковтирательством: морочила голову доверчивым гражданам напрапалую. Только джинсовый паренек с челкой, оказавшийся «политическим обозревателем», занимался действительно чем-то похожим на комментарии политических событий – и неглупыми, похоже, комментариями, судя по его речи и умненькому личику. При благоприятных обстоятельствах и поднатаскается, быть может, со временем на матерого журналюгу, особенно если не побоятся смотаться раз-другой в горячую точку, где, собственно, и создают себе корреспонденты гремящее имя.

Техническим редактором, то есть, человеком, верстающим газету от «а» до «я», оказался мужчина в пиджаке – от него за версту несло технарем, не сующим и кончик носа в так называемое творчество.

Две дамы, дружившие, вероятно, по принципу «противоположности сходятся», создавали в газете то, что, не жуя, плотают массы: они мирно, не пытаясь перетягивать одеяло на себя, из головы («от балды», как гораздо откровенней и сущностней выразилась Жанна) придумывали истории на тему «наша собачья жизнь», что включало в себя все бессчетные грани последней: начиная душераздирающими историями о современных Ромео и Джульеттах и заканчивая злостью четвероногих – при-





чем все это выдавалось за реальные истории. Кроме того, газета имела еще приличный раздел читательских писем, дружески-деловито сопровождаемых комментариями психолога. Дамы даже не особенно скрывали, что они вдвоем – одновременно и Ромео с Джульеттами, и все брошенные животные, а также и вдумчивые читатели, и ученый психолог. Письма, мол, в газету приходят такие неинтересные, что их не только печатать невозможно, но порой даже и читать, – поэтому их и не читают: конверты, подписанные от руки, отправляются кратким путем в помойку почти всегда нераспечатанные...

Мне не хотелось еще час протоптаться вокруг да около, тем более что последствиям моей возможной ошибки предстояло сказаться не на мне, поэтому без обычных в таких случаях туманных предисловий, я особым, напоследок «ментовским» тоном спросила:

- Лилия Шах – девушка около двадцати лет, блондинка с длинными вьющимися волосами?

- Да, – хором выдохнули все, и я резанула:

- Сегодня ранним утром, во время пожара, из окна вашей редакции упала – или была выброшена – женщина с похожими признаками; она скончалась на месте...

Кто-то ойкнул, кто-то ахнул. Брюнетка прижала руки к груди, а блондинку затрясло крупной дрожью. Странная какая реакция: сначала не скрывала пренебрежения к этой Лиле, даже почти бравировала им, а тут вдруг ее подкосило, словно лучшую подругу потеряла... Присмотреться бы к ней поближе... Ладно, это, в любом случае, не моя забота...

-... а потому, гр-раждане газетчики, вы, как люди опытные, прекрасно понимаете, что общение ваше с милицией, то есть, с нами, не может ограничиться болтовней на лестнице. Сейчас каждый из вас будет допрошен нашими сотрудниками подробно, под протокол...

- Старушка с первого этажа дает для этой цели свою квартиру, – шепнул мне на ухо, возникший слева, как бесшумный демон, Ленья.

-... а до того особо просим вас между собой не общаться, никуда не отлучаться и никому не звонить. Запретить это мы вам не можем, но рекомендуем учесть, что тот, кто пренебрежет нашей просьбой, может вызвать к себе... особо пристальное внимание...

Не будь закончено на тот момент мое рабочее время, я бы не





торопясь допросила всех пятерых сама: доверять группе недоумков первый допрос основных подозреваемых – значит зарубить дело под корень, как и было зарублено большинство дел, где первые опросы проводили наши героические опера.

Но, памятуя о том, что мне сегодня еще продолжать сдавать дела, я решила взять на себя до сих пор оторопелую блондинку, а остальным предоставить все прелести общения с нашим Леней (который сразу как приклеился к Жанне, так ни на шаг от нее и не отходил), а любителям острых ощущений – так даже с Саней и Жорой. Пока до обезьянника далеко, брюнетке не грозит оказаться на одной скамейке со сбродом, доставленным в отделение за эту ночь.

- Я с вами сначала побеседую, – кивнула я моей Пышке, и она обреченно, как коза на веревке, стала спускаться за мной в гостеприимную квартиру, где бабка аж подпрыгивала от любопытства...

\*

- Как я понимаю, Лилия Шах к числу ваших лучших друзей не относится, – без обиняков начала я, беспощадно глядя в как-то сразу осунувшееся и посеревшее за последние минуты лицо женщины.

Ее звали Агата Аркадьевна Нащокина. Славная фамилия, пожалованная ее дальнему по крови и времени родственнику самим Иваном Грозным в честь раны, полученной на поле боя, неприятно дисгармонировала с иноземным именем и была, вероятней всего, капризом утонченной мамыши. Агату можно было считать, скорей, миловидной, и миловидности ей все прибавлялось по мере того, как прилиwała к лицу отхлынувшая было кровь: большие, светлые глаза в черных стрелках ресниц, полные, как у фотомоделей, губы, аккуратный носик, цветущий румянец, мало-помалу вернувшийся на свое законное место, – все это могло бы украсить даже обложку женского журнала. Фигура, правда, у бабы совсем не модная, но Кустодиев с Тицианом и Рембрандтом бегали бы за ней наперегонки, а, догнав, хищно отнимали бы друг у друга с целью запечатлеть либо у самовара, либо под золотым дождем...

Другое дело – я, вся средняя, серая, как собственная форма, которую хоть и не ношу, но за пятнадцать лет вжилась в нее, как во вторую шкуру... Волосы не светлые и не темные, глаза не боль-





шие и не маленькие, нос и рот – обыкновенные, размер одежды – сорок восьмой, а обуви – тридцать седьмой... Три часа прстоишь рядом со мной в застрявшем лифте, а назавтра не узнаешь – был такой прецедент... Однажды учудила: покрасилась в брюнетку, прельстившись рекламой краски, как школьница, – и в результате подсел знакомиться в метро тот тип с ручным бегемотом, о котором уже вспоминала не в добрый час... Самый длинный мой роман с женщиной длился восемь месяцев – и именно о нем противней всего вспоминать; более короткий «гражданский брак» – пять, и о нем я почему-то совсем не вспоминаю. Остальное было – дружески-постельные приключения, при воспоминании о которых хотя бы не тошнит, и две-три попытки выскочить из среднего пола, растянувшиеся аж на три месяца – и вот мне уже тридцать семь лет. Незабвенный Патрик продержался пол-июля, август и сентябрь, и после его отъезда я вдруг отчаянным жестом швырнула в Мойку карту памяти из своего фотоаппарата – не стала ни в компьютер перекидывать, ни на бумаге отпечатывать. Для чего? Все равно, пока не отболит, едкими слезами над фотографиями обливаться, а как отболит, все равно станет... Ведь выкинула же я альбом с тем, восьмимесячным недоноском – причем, походя, не проглядев даже, когда с бабушкой из коммуналки в новую квартиру переезжали... Добилась я все-таки этого момента через родное ведомство, а до того бегали мы с ней, я – тридцать, а она – восемьдесят семь лет по коммунальному коридору... Переехав в однокомнатную квартиру, до ее девяноста четырех спали мы с ней, разделившись шкафом, – и в своем уютном закутке у окна она очень уверенно, но совсем незаметно сползала с ума.

- Так что, не любили Лилю? – продолжала я нажимать, уловив, что допрашиваемая, вначале вполне внятно отвечавшая на формальные вопросы, напряглась и едва уловимо заgrimасничала при звуке этого имени.

- Честно хотите? Терпеть не могла, – созналась она, наконец, и вообще, похоже, успешно взяла себя в руки: теперь, чтобы чего-то путного от нее добиться, хоть Жорик у ее передавай.

Агата откинулась на стуле и потихоньку вздохнула, по всей видимости, приняв какое-то решение относительно линии поведения на допросе, и заговорила раскованнее: она ведь была журналисткой или, скорее, писательницей, если исходить из способа, которым Агата с Тамарой (тощей подружкой-брюнеткой) добывали свои материалы.



- Противная, вредная и высокомерная. Едва из школы, образования – ноль, перспектив – тоже, потому что интересов – никаких. Даже говорить по-человечески не умеет... не умела... Только вид делала, что разговаривает: повторяла конец фразы, произнесенной собеседником, – то в вопросительной, то в восклицательной интонации... Словом, так глупа, что хотелось ей по мозгам съездить, чтобы вправить там что-нибудь. К нам ее Костя привел, технический редактор: она – беспутная родственница каких-то друзей его семьи. Болталась, тусовалась, чуть ли не травку курила – вот родители ее и пристроили, чтобы хоть какое дело было у девки, раз уж на учебу никаких надежд. Словом, пустое место, общее место – как хотите называйте... Но ведь человек, все-таки, жалко, что погибла... да еще так страшно, – Агата передернулась и замолчала.

- Предположительно погибла, – заметила я. – Личность погибшей пока официально не установлена. Но у вас, судя по вашему ожесточенному тону, извините... Были и какие-то личные причины ее... – я не стала произносить слово «ненавидеть», заменила его глаголом полегче: – Недолюбливать.

- Да, пожалуй, что и личные, – с удивительной готовностью отозвалась Агата. – Только это трудно объяснить: здесь ничего конкретного.

- Все же попробуйте, – по привычке бросила я, хотя тут же себя и одернула: зачем тебе это – ты что, Порфирий Петрович? Пиши в протоколе просто: «Вопрос. Были у Вас причины для личной неприязни к гражданке Лилии Шах? Ответ. Конкретных причин не было, она просто была мне малосимпатична». Ладно, больше не буду тянуть время, только самые простые вопросы – и все.

- Ну, как сказать... – начала Агата, сделав изящный жест кистью, на которой сверкнул непропорционально огромный, но очень красивый перстень. – Видите ли, меня всегда приучали жить нравственно. Ни к кому не подлизываться, не стучать, всего добиваться самой, пусть самого скромного – но самой... Много учиться, трудиться, не жульничать, не отлынивать... Ну, и так далее... И знаете, как обидно порой бывает! Ты пять лет учишься в нелегком, в общем, институте – я филфак в «Герцена» закончила – потом долго ищешь себя, меняешь несколько мест, везде изо всех сил выкладываешься, пытаешься что-то заслужить, понравиться... Тебя иногда не понимают, даже пинают... Наконец, находишь работу по душе (кстати, я ее сегодня потеряла), си-







дишь днем и ночью за компьютером, сочиняешь, напрягаешься... Между прочим, это сил немалых требует, как физических, так и душевных, хоть и кажется, что «от балды» наладить – проще не бывает. Да я, как Мопассан, работаю, выдумываю сотни и сотни историй! Только Мопассан мог как хотел писать, а мне приходится еще каждый раз стиль менять, манеру, речевые особенности, тонкости характеров продумывать, чтоб читатель фальшь не учуял. Это труд – знаете, какой? Может, если б люди нормальные письма в газету писали, да их опубликовать – проще было бы, наверное, – так ведь не пишут! Приходят они только от сумасшедших, моралистов и бабuleк, которым заняться нечем. В результате я получаюсь едина в сотнях лиц, а у Тamarки все проще, между прочим... Так вот, убиваешься каждый день, всю голову сломаешь, глазки от компьютера уже в кучку, спина, как у восьмидесятилетней инвалидки, а все равно за спиной: халтурщица. Еще бы: ведь не серьезная литература или деловые статьи, а неизвестно что... А если вдруг удастся эдакий маленький шедевр, так его ведь даже своим именем не подпишешь, а какая-нибудь «Катя М., Новосибирск». А я – не писатель, не журналист, а стряпуха... И деньги весьма скромные. Очень весьма. Но работа нравится, да и понимаю, что лучшей взять негде. И вот, появляется такая соплюха, мандавошка, прости, Господи. Ничего не искала, ее за руку привели. Но – мордашка, попка, сиська – все на месте. Зубки жемчужные, хихикает. Да плюс полная беспринципность. Работа – развлечение. «Лилечка, съезди в типографию, привези накладные». Типография в десяти минутах езды на маршрутке, но Лилечки нет четыре часа, где шляется – неизвестно, но рабочее время ей идет, потому что главный на нее запал. Все равно вы от других узнаете, так что ничего страшного не случится, если я скажу: они спят... спали... с первой недели ее работы у нас, поэтому не жизнь у нее была, а одна сплошная привилегия. Кофе ему сварит и в кабинете с ним на час запрется – не международное же положение обсуждают! Нет, не то, что вы подумали: для свиданий у них места достаточно, он мужчина свободный, с тремя женами развелся. Они, видите ли, там просто кофе пьют и болтают, он на нее любит, как за гипнотизированный. Еще бы – ей чуть за двадцать, а ему – под полтинник, вот и замлел мужик, а личностные качества ее значения не имеют, личностей в юбках ему за его донжуанскую жизнь хватило, накушался... Скажешь ей – сотрудница все-таки: «Лилия, почитай корректуру». Она сядет





к компьютеру бочком, ножку на ножку положит – а на ней «мини» – и лениво так мышкой по коврику возит. Эта корректура не считается, ее еще проверять и проверять – но ты попробуй сделать ей маленькое замечание! У нее сразу слезы в глазах, и она стрелой – к Олегу в кабинет: в душу плюнули! И можешь быть уверена, что через пять минут тебе на голову обрушится монарший гнев: как же, ребенка чистого обидели, девочку нашу бесценную, солнечного нашего зайчика! Тьфу! Ни хрена не делает, только с главным спит, у всех под ногами путается со значительным видом, а денег получает больше, чем я. Она, собственно, второй человек в редакции, он ее переименовал из секретарши в ответственного секретаря! Хозяин – барин, что хочет, то и делает: у Лилечки, оказывается, работа тяжелая, много ходит по его поручениям. Сейчас, по поручениям, как же... По магазинам она болтается да по маникюрным салонам: вы видели когда-нибудь, чтоб трудящаяся женщина меняла маникюр три раза в неделю – просто так, потому что предыдущий надоел? А ты тут горбатишься, и Главный из тебя за каждую строчку душу вынет! А что делать – мы все люди подневольные, он нас кормит. Кормил... Не слишком сытно, но жили ведь... Вот и все насчет личных причин – только уж не знаю, как вы это в протокол запишете...

А она мне нравилась, эта Агата! Уверенная, раскованная, умная – но надломлена и обижена, что бросается в глаза, – и то ли жаль ее, то ли завидно, не поймешь... Она дала мне еще некоторые сведения технического характера, и я отпустила ее на волю. Агата ушла, а я взгрустнула, собирая на столе бумаги: вот бы с кем дружить – с такой вольной, нестандартной, проницательной... Не про меня такая честь.

А назавтра я увидела его.

Это было под вечер, когда я уже покинула отдел, унося в сумке новые бумажные доказательства своей близкой свободы: просто открылась дверь, и вошел мужчина. Явно не ко мне, потому что, как на минуту привиделось, это был отец, потерявший единственного ребенка – такая скорбь и ужас стояли в его взгляде. Нет, они пришли вместе с ним, как отдельные живые личности, почти видимые, теперь неотторжимо привязанные к нему.

- Капитан Касаткина... Марина Юрьевна... вы будете? – как через тугой комок процедил слова мужчина.

Чем-то он мне сразу глянулся, хоть и неказистый, маленький, одетый по-дурацки, с перстнем на мизинце – словом из той по-





роды, что я терпеть не могу.

- Я к вам. Я – Олег... Редактор той газеты, которую... Но это не важно. Мне Агата... Агата Нащокина, которую вы вчера допрашивали, рассказала о вас. О том, что вы самый приличный человек из тех, что там были... Единственный приличный... И я ей верю, – хоть и сбивчиво, но внятно и твердо, что выдавало человека с опытом, заговорил он.

- Да вы садитесь, – предложила я исключительно из возраставшей симпатии, хотя должна была его с ходу развернуть: собственно, я теперь даже распоряжаться в этом кабинете имела право лишь по свежей памяти.

Олег сел, вполне владея собой, и я увидела, что передо мной человек, чей кризис уже перевалил, и осталось ровное состояние черной скорби, с которой отныне предстоит жить и сродниться.

- Марина Юрьевна, – медленно начал он. – В моем положении – вы сейчас и сами это поймете – нет места никаким оговоркам и приседаниям. Я знаю, что уголовное дело заведено, и я также знаю, что расследовать его будут весьма формально. В конце концов, докажут какую-нибудь трагическую случайность, чтоб не было «висяка», и сдадут в архив. А может, отловят пьяного бомжа и выбьют из него путаные показания, после чего он вдруг умрет в камере от сердечного приступа...

- Что вы такое говорите... – неуверенно возразила я, теряясь перед его пронзительными глазами, и мой лепет прозвучал весьма наивно, потому что я прекрасно знала о простой правоте моего собеседника.

Он усталым жестом остановил меня, и я неожиданно покорилась.

- Марина Юрьевна, не тратьте слова зря, мы с вами оба знаем, что я говорю то, что есть.

Ответной немотой я невольно подтвердила свое согласие.

- Но, Марина Юрьевна, ее убили. Ее убили – хладнокровно, расчетливо, запланированно. И я ничего не пожалею для того, кто найдет убийцу. Ничего, а возможности у меня имеются: газета, как вы понимаете, была, скажем, для души...

«Ну, возможности действительно могут быть, – рассудила я. – Газетенка-то, небось, была на только для души, но и для отмывания... Или для отвода глаз... Волчара-то передо мной матерый, и очень, очень непростой... Но насчет «убили» – это вряд ли: презирать его шлюшку могли, но чтоб в тюрьму из-за нее садиться...





А-а, да что бы там ни было...».

- Олег Александрович, я очень сочувствую вам, – как умела, тепло проговорила я, – но помочь ничем не могу: со вчерашнего дня я уволилась из органов, и сейчас я здесь только ради формальностей. Но все же я уверена, что мои коллеги... – я была уверена в обратном, но надо же подслащивать людям пилюли!

- Кол-ле-ги... – презрительно скривив чувственный рот, отчеканил он. – Значит, никто и никогда. Извините, – он поднялся и молча пошел к двери – твердым властным шагом, расправив плечи, хотя что-то в спине выдавало, что человек просто убит.

Но вдруг Олег обернулся:

– А куда работать переходите?

- Частным детективом... – пробормотала я, прозревая на ходу.

Миг – и он снова оказался у моего бывшего стола:

- Марина Юрьевна, найдите его... Я... я что хотите вам сделаю. Денег дам. Должность достану – какую пожелаете. Я тоже буду искать, зубами буду грызть, но вы – вы знаете, как это делается! И у вас есть голова на плечах. И у вас есть – душа. Я вижу ее, сквозь глаза ваши вижу! Вы найдете его, найдете. Найдете и отдадите мне. Потому что от сотворения мира никто, никого, никогда не любил так, как я любил ее. И люблю. Потому что смерть не властна над любовью.

\*

То, чего с неприятным трепетом ждала Евгения Иннокентьевна, за чем готовилась зорко следить и направлять мудрой рукою, к чему целомудренно готовила дочь с рождения, – именно это она и проглядела, упустив из виду главное – начало. Дочь влюбилась за год до того, как они вместе решили заняться поисками для нее достойного супруга. И произошло это на предпоследнем курсе, когда, наоборот, следовало подтянуть учебу, не расслабляться, чтоб не закралась вдруг в диплом досадная тройка.

Начала встречаться с парнем, не посоветовавшись с матерью, не приведя предварительно в дом с доверчивым вопросом: «Ну, как он тебе?». И себе самой не могла простить Евгения: под самым носом ведь все было – как недосмотрела? Почему ослабила внимание как раз в эти наипоопаснейшие годы, когда требовалось исключительно усилить его, неусыпно контролировать девочку! Опасность именно двадцатилетнего возраста тревожная мать видела в самом простом: на вид-то они все уже «большие», на каблук-





ках, при серьгах – и хотят, чтоб было у них все «по-взрослому»: с мужем, с колясочкой... А на деле-то – девчонки, три года как из школы и от школьниц отличаются только отсутствием формы, а так – те же смешливые дурочки...

«Жених» объявился из самого безопасного места, какое только могла представить Евгения, когда дочь отсутствовала дома вечером: из дома благополучной одноклассницы Ани Тихомировой! Дома, где были мама, папа, машина и собака! Последнее обстоятельство несколько коробило Евгению, но она махнула рукой, как когда-то на не званную в мечту кошку. Маленькому «собачонку» в их доме все равно никогда не поселиться, а заразу Агата, вроде, не должна подцепить: у Тихомировых чисто, и блох у пса, наверное, нет. Сама Аня тоже антипатии не вызывала – хотя, конечно, кто-то и должен был объяснить ей, что ресницы в таком возрасте красить неприлично – да и ни в каком лучше не начинать. «Ты только не вздумай с нее обезьянничать! – на всякий случай представляла Евгения по вечерам свою дочь, чьи волосы, наконец, отросли и были вновь заплетены и подобраны. – Как начнешь краситься, так уж точно станешь, как все».

Эти два слова – «как все» – в последнее время стали еще одной удобной воспитательной рукояткой. Заметив у Агаты любовь к определенной обособленности, тягу к нестандартным решениям в паре-тройке случаев, Евгения принялась педалировать «особенность» дочери, понемногу прививая ей некоторую брезгливость к общему стандарту.

- Ты в них, как все, – скупой уронила Евгения, когда однажды Агата, отчаянно прокопив полгода, приобрела у фарцовщика ладные синие джинсы «Montana».

С удовлетворением мать заметила, что девочка только пару раз после этого (и то, вероятно, тем самым отстаивая свою независимость) куда-то носилась в джинсах, избегая показываться в них маме на глаза, – а потом одежда незаметно исчезла из дома – была, наверно, перепродана.

Скоро Агата попросила маму поехать с ней в Дом мод «что-нибудь присмотреть», и Евгению порадовало, что, когда она намеренно ступала среди вешалок, давая дочери возможность проявить собственный вкус, та выбрала именно те две вещи, на которые сразу же пал негласный выбор ее матери. Это была нежная, воздушная блузка цвета сливочного крема, а к ней – строгая коричневая юбка с двумя складками и пуговичкой впереди. «К





этому комплекту моя золотая цепочка подойдет», – заметила Агата, еще раз невзначай потрафив матери. Решив, в свою очередь, сделать дочке приятное, она предложила ей отметить обновки в кафе-мороженом, где они даже позволили себе выпить по сто грамм шампанского – и потом долго сердечно разговаривали за чашкой кофе, полностью вернув в те минуты свое начавшее было ускользать единение.

И вот, пожалуйста. Сопоставив задним числом даты, Евгения оскорблено убедилась, что в тот мягкий зимний вечер, когда под руку, сияющие, как две подружки, они шли после кафе по Большому, несли в пакете Агадины наряды и болтали о чем-то милом и теплом, дочь носила уже в сердце другой, чужой и чуждый образ! И ведь успела уже легкомысленно внушить себе, что именно он и станет навеки единственным!

Агата встречалась с Сергеем Тихомировым, взрослым тертым парнем, вернувшимся из армии, двумя годами старше неопытных девчонок и, конечно, уже вкусившим от грязи какой-нибудь временной любви. А что может сделать грязь? Только запачкать. И как она, Евгения, прохлопала появление голодного самца возле девочки? Она, конечно, знала и раньше, что у Ани старший брат «в армии». Кстати, задавала и вопрос: «Что, любящие родители не могли оградить ребенка от такого ужаса?» – и Аня, как ни в чем не бывало, ответила: «Они собирались, да Сережка сам не захотел, сказал, что каждый настоящий мужик должен армию пройти». Вот-вот, можно себе представить! Именно мужик и вернулся – и надо же, первой женской особью, попавшейся ему по возвращении, оказалась Агата! Именно в тот момент, когда «мужику» только и нужно было найти, куда теперь, на свободе, сбросить бушующий гормон... Почему ей смутно казалось, что «в армии» – это все равно, что «в Африке», а два года службы – чуть ли не смертный приговор? Как она проморгала его появление и не пресекла немедленно все эти дурацкие хождения «позаниматься» в не только не дружественный теперь, но и, можно сказать, заминированный дом! Нет, радовалась, как курица на насесте: ах, дочка подружилась со скромной девочкой – одни мысли об учебе: придут, поедят – и сразу заниматься, заниматься... Так можно и красный диплом получить... И вот дождалась, здрасьте: «Мама, мы с Сергеем любим друг друга и хотим пожениться».

Они любят, скажите, пожалуйста! Ну, у него – понятно: этот... гормон... А ей-то чего приспичило?





Другая мать упала бы в обморок – нет, конечно, сейчас никто не падает, хотя сердечный приступ срабатывает по-прежнему безотказно. Но она до такого не опустится! Не опустится, потому что это будет означать ее полное материнское поражение, педагогический провал. Не зря же она воспитывала дочь двадцать лет такой, какой воспитала: совестливой, открытой, тонкой. И теперь все пройдет: переболели стрижкой, переболеем и Сергеем, все закономерно, только спокойнее... Не сорвись, сейчас можно только лаской, зубы сжать – а лаской... Иначе оттолкнешь, а к кому? Да к нему именно: к доброму «жениху» от злой матери...

- Что ж, дочка, поделаешь... Вот и к тебе пришла первая любовь... Не скрою, я, конечно, от Сергея не в восторге, но ведь тебе с ним жить, не мне, – тебе и решать... Единственное, о чем прошу, – о самой малости: не торопитесь, присмотритесь друг к другу получше. Тебе ведь еще полтора года учиться! И ему, кстати, тоже надо куда-то поступать, не нужен ведь нам муж без высшего образования! Работать и учиться на вечернем? Гм... А где же он будет работать без образования? На заводе? Но там, знаешь, опасно: среда затянет. Мужчины вообще легко поддаются: пьянка, другая, глядишь – и уже ничем от работяг не отличается... Лучше бы ему на дневное поступить, отучиться, а потом и пожениться... Кстати, и чувства его проверишь... Если любит, будет хоть десять лет ждать и пальцем до тебя не дотронется... А если бросит, значит, ты только для одного ему и была нужна... Человек, когда любит, – он все преграды одолеет. Помнишь, мы у Куприна читали, как Иаков служил Лавану за Рахиль семь лет – «и они показались ему как семь дней, потому что он любил ее»? Приводи его в дом почаще, надо нам с ним ближе знакомиться – все-таки, будущие родственники...

Агата, ожидавшая от матери лекции на тему «Тебе надо учиться, а не о женихах думать», обрадовалась, услышав из ее уст то, что по неопытности приняла за благословение, и Сергей – большой, застенчивый, напоминающий циркового медведя, появился в доме уже на следующий день.

Евгения была ошеломлена и подавлена, потому что навязываемый «зрятек» при ближайшем рассмотрении оказался даже хуже самых мрачных ее предположений. Он говорил односложно, низким голосом, оскорбляя его звучанием саму утонченную атмосферу их дома, – казалось, что даже хрусталь в серванте позвякивает!

- Ты обратила внимание, как грубо он у тебя рычит? Прямо







неприлично, – тихонько заметила она дочери.

Необразованностью он тоже поражал: ничего не слышал, например, о Набокове – только смущенно, потупившись, слушал ее оживленный и полный юмора рассказ о странной причуде гения скакать с сачком за совсем не красивыми бабочками, потому что они редкие, – это с его-то высокомерием, сверхпородистым лицом и статью...

- Передала бы ты Ане, что брата нужно как-то просвещать, он же просто валенок, – бросит она на днях между делом.

Когда юношу попросили посмотреть и, по возможности, исправить текущий бачок в туалете, он беспомощно развел руками:

- Я и к унитазам-то заново привыкаю, Евгения Иннокентьевна! У нас там ведь просто две дырки рядом были... – и это за столом, при невесте!

- Ничего никогда по дому делать не научится, такой же косорукий, как твой отец, – не стерпев, шепнула она Агате на ухо, едва Сергей отвернулся.

После того, как все выпили по рюмочке домашней наливки, зажатость юноши под оком будущей тещи несколько ослабела, и он начал довольно раскованно рассказывать о минувшей службе в армии, о маленькой секретной точке в тайге, где было их «шестеро и прапорщик», и часто приходила медведица – просто из любопытства, и солдаты ее даже подкармливали – а прапорщик все равно застрелил, хоть она и мирная была; и ему, Сергею, было ее так жаль – ну, прямо, как человека: получилось ведь, что предали, почти приручили – она зла не ждала, а прапор ей пистолет в ухо...

«Господи, совсем не соображает, что говорит! Девочке ведь такое и слышать невозможно!».

- Если бы он тебя действительно любил, то щадил бы твои чувства, – пробормотала Евгения себе под нос, в то время как увлекшийся Сергей рассказывал о том, как раз в две недели им спустили с вертолета еду, а однажды позабыли. Стояла зима, связь плохая, так что только через десять дней удалось сообщить о голоде – а до того они ходили в тайгу охотиться, только, слава Богу, никого не подстрелили, а то он бы есть все равно не смог; так и дотянули на чае и горстке перловки...

Вообще, как и многие недоразвитые люди, Сергей «любил» животных, радовался встрече со своим на два года оставленным псом-овчаркой Роем ничуть не меньше, чем встрече с родителями и сестрой, и все время говорил о нем («Рой такой умный, что если





бы он заговорил, я бы не удивился»), что доказывало, по мнению Евгении Иннокентьевны, его вопиющую близость к животному. Она даже вынуждена была тактично, со смешком, предложить ему с его интересами поискать себе невесту среди ветеринаров, а не филологов:

- Мы с Агатой всегда считали, что человек должен, в основном, общаться с себе подобными, а животные несут, так сказать, утилитарные функции: мясо, молоко, шерсть, перевозка грузов...

- Охрана, – некстати подсказала Агата, словно допуская наличия у животных чего-то вроде личных качеств.

- Ну, если животное, – намеренно не произнесла «собака», – выращено в питомнике и соответствующим образом выдрессировано, то почему нет, – с нарочитым равнодушием отозвалась Евгения.

Взгляд Сергея впервые тревожно метнулся на Агату: согласна ли она с таким мнением матери, не будет ли против драгоценного Роя?

Конечно, будет, дружочек, конечно, будет – дай только срок...

- Мы с Агатой, – подчеркнула она, – разумеется, вполне терпимо относимся к «братьям меньшим», но предпочитаем наблюдать их издали, причем, чем дальше, тем лучше...

Когда Сергей собрался уходить, Агата чуть не бросилась провожать его – понятно, хотела смягчить впечатление – но Евгения твердым взглядом остановила неразумную дочь: во-первых, пусть он это впечатление унесет с собой и хорошенько переварит, а во-вторых...

- Мне даже смотреть больно, как ты висишь на нем – точь в точь эти твои простецкие девчонки на своих парнях. Ни на секунду не вспомнила об элементарной девичьей гордости: с каких это пор девушка чуть ли не ночью бросается провожать молодого человека?

И только теперь, месяца на три позже, чем следовало бы, она дождалась от Агаты тех заветных слов, свидетельствующих о доверии к материнскому мнению:

- Мам, ну как ты его находишь?

Неразумная мать тут же бросилась бы поносить того неотесанного мужлана, которого сегодня имела неудовольствие лицезреть, но не такова была Агатина мама:

- В целом, ничего: не пьет, я вижу, не курит, может, и неплохой малый, может, и удастся из него слепить что-то приемлемое...А



пока, конечно... Гм, даже руки не знает, куда девать... Нет, армия, конечно, – это мясорубка, и целыми из нее не выходят. И потом, какая примитивность мышления – ты заметила? Медведи, собаки... Ты что, за неандертальца собралась? Он вообще читать умеет? Странно, по нему не скажешь...

- Мама, но он ведь добрый, хороший!

- Хороший-то хороший... Но что-то мне показалось, что он с некоторым удовольствием рассказывал о гибели медведицы... Не скрывается ли жестокость за этой «хорошестью»?

- Ну, мама!

- Кроме того, мужчина должен быть с руками – что толку, что добрый, если краны текут...

- Но он научится!

- Будем надеяться, будем надеяться... Одно хорошо – что свадьба не завтра, а через несколько лет... – она произнесла последнее ровным, само собой разумеющимся тоном, как дело, давно совместно ими решенное...

И плоды своих ненавязчиво-осторожных фраз Евгения начала пожинать обнадеживающе скоро. Настояв на том, чтобы молодые виделись, в основном, у них дома, за чуть приоткрытой ею, как бы невзначай, дверью Агатиной комнаты, она уже нередко слышала оттуда слегка раздраженный звонкий дочкин голосок:

- Сережа, я не понимаю, как можно было не прочитать такой известной книги!

- Послушай, ты хоть о чем-нибудь, кроме своего Роя, можешь поговорить?

- Ты вообще на медведя стал похож с этими лохмами – сходил бы в парикмахерскую!

И совсем уж материнские постулаты:

- Мужчина должен быть с руками, а ты и гвоздя прибить не можешь!

- Ты, наверное, меня не любишь, если не щадишь мои чувства!

Евгения тихо улыбалась: кризис болезни под названием «Сережа-Медведь», кажется, переваливал. Правда, ее иногда настораживала внезапная тишина, воцарявшаяся в комнате, и сердце падало: целуются! Строгая мать постучала бы в дверь, призывая к порядку, но Евгения, сжав зубы, заставляла себя смиряться: каждой девушке приходится через это пройти до свадьбы, тут уж всякая позволит, потому что бояться, дурочки, что без этого сбежит ненаглядный. Совсем не ценят себя. Счастье, что Агата





твёрдо воспитана в таком духе, что совсем уж не уступит, – ведь перспектива «остаться наедине со своим горем и позором» всегда виделась ей самым страшным, что только может быть в жизни...

Не ежевечерне, чтоб не показаться слишком навязчивой и не побудить замкнуться, но раз-другой в неделю обязательно вызывала Евгения дочь на душевный разговор, всегда начиная его чем-то особо располагающим, вроде: «А вот еще помню, когда была молодая...». Далее рассказывалось что-то, как правило, забавное, но поучительное, свидетельствовавшее об абсолютной невинности ее отношений с юношами, а заодно и о том, каким, собственно, должен быть идеальный влюбленный: трепетным, почтительным, бескорыстно готовым на любой подвиг во имя возлюбленной, – но при этом настроенным исключительно платонически.

- Подвернула я как-то раз ногу в турпоходе – несильно, в общем, и, при желании, сама бы идти могла. Но решила схитрить, проверить его чувства. Думаю: что станет делать – до станции-то далеко! И, знаешь, он даже не колебался: подхватил на руки и понес. Так и нес до самой платформы – и меня, и рюкзак, мне даже стыдно немножечко стало: ведь нога-то почти не болела уже...

- А что ж ты за него не вышла? – задавала Агата естественный вопрос.

- Так ведь рано еще было... Я, вот как ты сейчас, на предпоследнем курсе была, – пожимала плечами Евгения с любимым ею «само собой понимающимся» выражением, применяемым, когда требовалось внушить дочери, что поступить иначе – противоестественно.

- Если он так любил тебя – что же не дождался? – пыталась введливая дочь.

- Ну... его папа был военный, и они уехали в Казахстан... А уж в Казахстан я, конечно, и сама не захотела, – поясняла мать, мимоходом иллюстрируя свое негативное отношение ко всяким там попыткам повторения подвига декабристов. – А кстати, как Сергей – поступать, наверное, всю готовится, не до встреч с тобой стало?

И на завтра слышала через дверь:

- Ты все со мной, да со мной, Сережа... А ведь тебе поступать летом, пора бы и готовиться... Да и у меня сессия на носу...

«Теперь уж вынуждены будут пореже видеться, потом она на практику уедет, а письма, звонки – это уже не то... Глядишь, и сой-





дет на нет...» – удовлетворенно размышляла по ночам Евгения.

Но после лета дочь вдруг замкнулась, чего раньше с ней почти не случалось. Не приходила по вечерам возбужденная, с порога начиная стрекотать: «Знаешь, мы с ним сегодня были... А он так смотрел... И я подумала... А он и говорит... А я потом Аньке звоню и рассказываю... А он трубку от нее отнимает... Я сначала не знала, что ответить, а потом решила... Так что завтра мы, наверное... Как ты думаешь, стоит?».

Теперь Агата возвращалась задумчивая, на тревожные распросы отвечала печальным «ничего особенного» и «все нормально», на вкрадчивое: «Поссорились?» качала головой, а к телефону сама купила длинный шнур и стала утаскивать их старенький черный аппарат в свою комнату, где дверь неизменно плотно закрывалась, и разговоры велись приглушенно и сдавленно... Дочь, ее юная девушка с косой, вдруг напрочь отсекла мать от своей жизни одним ударом! А ведь раньше и с Сергеем, и с подружками разговаривала в коридоре звонким голосом, и, положив трубку, потом еще озвучивала для матери то, что произносилось на другом, невидимом и неслышимом конце провода. Евгения не могла не раздражаться:

- Представь себя на месте человека, который в это время пытается до нас дозвониться по важному делу...

Мимоходом бросала за ужином:

- Я, конечно, ни во что не вмешиваюсь, но хочу сказать, что если проблемы начинаются так рано, то в дальнейшем они будут только нарастать.

Со дня на день Евгения ожидала, что вот-вот Агата переполнится переживаниями, такими новыми и сокровенными, что с ними просто не к кому идти, кроме как к матери, – и сладко рыдается у нее не груди, сквозь всхлипы поведав о первом девичьем разочаровании, и они просидят за серьезным разговором, быть может, даже до утра, а потом мать уложит выплакавшуюся дочку, позволив той разок пропустить занятия. Когда та проснется, над глупой историей о первой любви опустится надежный занавес, и с тех пор в жизни Агаты уж не будет легкомысленных нелепостей. Получив урок последствий своеволия, она впредь всегда будет доверять материнскому опыту!

«Помнишь, ты уже раз поступила по-своему, нашла кавалера без моего совета... И что из этого вышло? Повторить хочешь?» – с полным правом станет произносить Евгения в будущем, ког-





да заметит в дочери желание совершить очередной неразумный, губительный шаг. Так что теперешние девичьи слезы, возможно, в чем-то и полезны – ведь они приведут Агату к неизбежному выводу: «Если б я больше слушала маму и не ввязалась в эту глупую историю, то...». То диплом, например, был бы без троек. Все-таки еще во время летней сессии, кое-как спихнутой во время зряшных свиданок, затесались сразу две, доказав лишний раз обратно пропорциональную зависимость успеваемости от любовных коллизий. Так что Евгения наблюдала за тщательно скрываемыми страданиями дочери с некоторым вполне простительным злорадством, не представляя себе, что самый черный день в ее жизни, подобный взрыву ядерной бомбы в отдельной человеческой судьбе, уже приближается, как комета Галлея.

Наши очень черные, как и очень белые дни, как правило, не посылают предвестников. То, что постфактум мы выдаем за предчувствия – дурные или благоприятные, пока не случилось «оно», вовсе нами не замечается. Только после, оправившись от горя или опомнившись от счастья, мы начинаем задним числом подмазывать картину жизни, придавая ей нужные тона: «А как раз накануне я потеряла обручальное кольцо!». Сотни тысяч людей его теряют, покупают новое и дальше живут себе спокойненько в счастливом браке – но если назавтра узнаешь об измене мужа... «Тем утром, идя на работу, я увидела белого голубя, сидящего на ограде, и сразу подумала, что случится что-то хорошее...». Да уже человек сто видели тем же утром того же голубя, но все о нем благополучно забыли, потому что никто не получил *того* письма. Так и Евгения рассказывала подругам еще долгие годы:

- В тот день у меня с самого утра все падало и билось, падало и билось... Сначала бабушкина чашка с надписью – даже не пойму, как из рук выскользнула. Потом перед работой в магазин за молоком побежала, да на обратном пути чуть под машину не угодила! Она из подворотни выскочила на полной скорости... Я уж не помню, как и увернулась, а пакет с бутылками – бряк! – и ни одной целой не осталось... Потом, когда на работу уж вышла, два раза возвращаться пришлось. Сначала конспект лекции забыла, а потом проездной... Так и было до вечера нехорошо на душе – все думалось, что с Агатой, не дай Бог, что-нибудь... Тем более, что девчонки из ее группы сказали, что в институт она не приходила. И точно, вечером сижу дома, сердце не на месте, слышу – ключ в двери поворачивается... И как-то так он поворачивался, что у



меня на секунду сердце остановилось, честное слово... Выхожу в прихожую, ноги подгибаются, а там она вдвоем с этим... своим... И взгляд чужой, темный, словно и не моя родная дочка, а...

На самом деле все было несколько иначе. Бабушкина чашка вовсе не выскользнула из рук сама собой, а Евгения столкнула ее со стола локтем, неловко повернувшись. Через это – чашка была красивая – Евгения заработала себе плохое настроение, потому что дочь, которой можно было сказать: «Сто раз просила: не говори мне под руку – нет, лезешь...», упорхнула из дома, когда мать еще спала. Под машину Евгения действительно чуть не попала, и, когда та промчалась мимо, она вдруг, под влиянием мгновенного шокирующего испуга со всех сил швырнула сумку с бутылками оземь по принципу «пусть еще хуже будет», а потом дома, взвинчено бегала по комнате, хватая и бросая вещи, раскидывая одежду – и в таком состоянии действительно забыла переложить проездной из плаща в пальто и сунуть в сумку конспект, вчера лениво пролистанный перед телевизором.

Что касается «чужого» взгляда Агаты, то он, скорей всего, горел пламенем решимости – таким именно, как когда она четыре года назад объявила, что пойдет не в учителя, а в журналисты. В то время пламень был умело потушен, но теперь такой возможности не представлялось, потому что рядом с дочерью стоял ее новый авторитет по имени Сережа – и у Евгении вдруг появилось ощущение, что она проглотила что-то очень холодное, и оно в желудке все никак не согревается...

- Мама! Не ругай нас! – не заметив, что впервые перенесла это «нас» на свое единство с кем-то посторонним, – звонким надломленным голосом заговорила дочь. – У нас уже все решено, и ничего нельзя изменить. Мы с Сергеем решили соединиться сейчас и строить свою жизнь вместе. Не отговаривай: заявление давно подано, и свадьба первого ноября (было двадцать четвертое октября). – Я знаю, ты спросишь, почему я с тобой не посоветовалась. Но я советовалась – ты просто забыла. И ты мне высказала свое мнение – что нужно ждать несколько лет. Но мы – мы любим друг друга сейчас. Мы уже давно вместе и проверили свои чувства. И поэтому я решила не слушать на этот раз твоего совета, а послушать свое сердце... Я... Мы... – щеки ее пылали, глаза горели, к горлу явно подкатывал ком, и она, наконец, сбилась. – Мы не захотели ждать, пока все перегорит... Мы уже даже начали ссориться... И мы поняли, что если... Ну, если все так







и будет продолжаться... То мы расстанемся... Поэтому срочно надо пожениться... И вообще... Короче... Хороша ложка к обеду, вот! – выпалила Агата под занавес, позабыв о том, что она не стилизованная крестьянка из бездарных книжек, чтобы к месту и не к месту вставлять в свою речь поговорки вместо, например, афоризмов Грибоедова.

«Может, еще не поздно?! – всколыхнулась в Евгении надежда. – Сейчас простейшей логикой разбить все эти ребячьи бредни...».

Усилие, которое она сделала, чтобы взять себя в руки, было поистине страшным: только глубоко вонзив ногти в ладони, она смогла не измениться в лице и ответить почти не дрожащим голосом:

- Это... Это, конечно, неожиданность, ничего не скажешь... Но об этой... неожиданности, в любом случае, придется поговорить, – и сразу же она поймала гордый взгляд, исподтишка брошенный Агатой на жениха: мол, вот, ты боялся, что мамочка сейчас проклянет нас и выгонит из дома, а она вон какая! – и сердце чуть отпустило.

За чаем говорила только Евгения. Об ответственности и безответственности. О юношеской незрелости и проверенных чувствах взрослых людей. О долге перед родителями. О явных противоречиях в намерениях Агаты и Сергея – о роковых противоречиях! «О, безумцы! Вы решили пожениться, чтобы не расстаться, – это ли не дикость?!». Дети сидели притихшие, опустив глаза в чашки с остывшим чаем, и Евгении стало казаться, что она начинает одерживать победу:

- Давайте с вами договоримся, установим определенный срок. Например, день получения Агатой диплома. Твоего диплома, Сергей, понятно, еще минимум пять лет ждать... – (тот поступил на вечернее отделение Института Культуры, а работать устроился оператором котельной: сутки бездельничал там, а трое – дома). – Но уж хотя бы Агатино дождитесь! И в тот день, когда он будет у Агаты в руках, если вы придете ко мне и скажете, что вы по-прежнему хотите пожениться, я ни слова против не скажу! И твои родители, Сергей, с которыми я теперь обязательно тесно подружусь, я уверена, того же мнения... – дети обнадеживающе молчали. – ...Итак, мы сегодня договорились, что пройдем испытательный срок, и решили... – уже осторожно закрепляла победу Евгения, когда Сергей вдруг отодвинул чашку нерезким, но уверенным жестом:





- Позвольте вас перебить, Евгения Иннокентьевна. Мы ни о чем сегодня не договаривались и ничего не решали. Просто моя невеста и я, сколько могли, слушали ваш монолог. И остались при своем мнении. А наше мнение таково: все должно быть гармонично и вовремя. Любовь мужчины и женщины должна закономерно вести к браку и созданию семьи... А если к этому есть препятствия, то из-за затянувшегося периода ухаживания внутри пары возникает... напряжение... дисгармония... которую можно устранить лишь вернувшись в естественное русло... Поймите, конфликт между духовным и физическим неизбежен, если два взрослых человека ходят за ручку, вместо того, чтобы... начать брачные отношения. Поэтому мы с Агатой и решили, что...

Евгений сначала хотелось ехидно спросить: «И где же ты такую чушь вычитал?», но, сама себя испугавшись, она неожиданно взвизгнула:

- Хватит! Ты что, думаешь, я не вижу?! Я-то прекрасно все понимаю! Девчонке легко голову задурить, но мне-то не пой эту песню! Это тебе, тебе одному необходимо «соединиться в браке»! Она-то что в этом понимает! Тебе что, девок мало, которые с тобой без всякого брака «соединяются»?! Зачем тебе обязательно надо развратить Агату – она ведь ребенок еще! Пользуешься тем, что она малолетка несмышленная, и забиваешь ей голову порочными теориями! Нездоровыми философиями! А как получишь свое – так только тебя и видели! А ну-ка, вставай и – вон из нашего дома! Сейчас же! И чтоб духу твоего здесь больше не было! Жених, тоже, свалился на нашу голову...

- Тогда мы уходим вместе! – пискляво вставила вдруг ее дрожащая соплюха, вроде бы, поднимаясь с места.

- Сидеть! – рявкнула Евгения не хуже тюремной надзирательницы, и Агата как миленькая плюхнулась на свое место.

- Очень жаль, Евгения Иннокентьевна, что мы с вами друг друга не поняли, – спокойно вставил мерзавец. – Хочу только напомнить вам, что Агата не «малолетка несмышленная», а взрослая женщина двадцати одного года, которая заканчивает институт и вполне сама может распоряжаться собой, а поэтому...

- Сама?! – вскричала несчастная без пяти минут теща. – Не она собой распоряжается, а ты ею распоряжаешься, дурой! Вертишь, как хочешь!

- А поэтому, – неумолимо продолжал наглый самец, надежно, похоже, прибравший к рукам молоденькую дуреху, – поэтому, ду-





маю, мы с Агатой правильно решили, что будем жить отдельно от всех родителей. Мы уже договорились о съеме комнаты – именно с первого ноября. Мы считаем, что так будет меньше конфликтов.

- Что-о?! Какую еще комнату?! В коммуналке?! – взревела Евгения, едва не теряя сознание.

- Да, – безжалостно подтвердил Сергей, – и не видим в этом ничего ужасного. Ведь многие семьи начинали с нуля, а потом все получалось...

- Само не получится! – крикнула она.

- Ну, разумеется... Люди работают, учатся, поддерживают друг друга... Так и мы с Агатой намерены жить. И когда вы увидите, что вашу дочь не серый волк унес, а она вышла за нормального мужчину, то вынуждены будете признать это и повернетесь к нам лицом...

- Никогда, никогда... – стонала Евгения, как под пыткой.

«Как жаль, что я не умею играть... Обязательно сфальшивлю... Как бы хорошо сейчас – «скорая», больница, капельница... Рыдающая дочь у постели матери: «Мамочка, прости!!! Мамочка, я никогда так больше не буду!!!». Свадьба отменяется, передачи в больницу, потом дома – многонедельный уход: «Мамочка, ну, что мне сделать, чтоб ты скорее выздоровела?!». Поступают же так другие матери – и спасают детей от трагедии. А я всегда думала, что это пошло... А лучше б не думала, а репетировала! А теперь поздно... Господи, что делать?!» – рваными клочками носило перед ней обрывки мыслей и образов. Евгения осела на диван и, глядя в пространство стеклянными глазами, хрипло прошептала:

- Вот, как ты меня предала... Не ожидала... От тебя – не ожидала... Думала, кто угодно – но не родная дочь... А ты предала... Все пустила под откос... Все... Что ж... Ничего... Теперь мне уже все равно... Осталось недолго потерпеть... А там... – Евгения махнула рукой, тотчас безвольно упавшей, и по ее лицу заструились светлые освобождающие слезы.

Предала! Из-за угла, исподтишка, с первым встречным! Что она недосмотрела, что упустила? Можно легко понять детей, бегущих от родительского произвола и диктата, от жестокости и насилия, наконец, но это же не их случай! Она ведь никогда не наказывала Агату – даже такими невинными мерами, как лишение кино или сладкого, а уж о том, чтобы руку поднять на девочку, и думать без содрогания не могла. Особенно когда видела, как в школе забитые дома дети отыгрываются на тех, кто слабее...



Она всегда действовала только непреодолимой силой убеждения, все негативные поступки дочери пропускала через призму ее же совести – и совесть сама, без материнского участия наказывала провинившуюся. Оттого и вырос, казалось, человек тонкий, с ранимой, обнаженной душой, знающий, что такое боль, и оттого причинить ее другим неспособный. И вот, пожалуйста: первые брюки встретились на жизненном пути – и она хладнокровно, цинично плюет в душу матери, топчет идеалы... Откуда? Наклонности, передавшиеся с той, закрытой, стороны? Катерина, не успев умереть, воплотившаяся в племянницу? Неужели порочные гены – это то, что нельзя преодолеть ни воспитанием, ни положительным примером? Разве она не хотела дочери счастья в браке, хотя сама и потерпела на этом пути крушение? Разве не прививала ей мужской идеал, к которому нужно стремиться и целомудренно ждать его через годы? Петр Гринев, Андрей Болконский... – и кого она предпочла! Неотесанного мужлана, вчерашнего солдафона, без профессии, с сомнительным будущим и животными инстинктами! И почему совершеннолетием считается самый глупый возраст – восемнадцать лет? Ведь любой взрослый скажет, не колебаясь ни секунды: восемнадцать лет – это ребенок, дитячко, ровно ничего в жизни не смыслящее, но громоздящее в воспаленной фантазии утопию на утопию! А им дали право говорить родителям: я совершеннолетняя, имею право! Это совершеннолетие для девочки должно начинаться не раньше двадцати пяти! Чтоб без маминого разрешения не наломала дров, не покалечила свою и чужую жизнь (дети, брошенные в роддомах и безотцовщина – это все оттуда, от совершеннолетия в конце детства)... И ничего, ничего изменить невозможно! Что же делать? А что ни делай – напрасно. Уперлась, хочет поскорей продемонстрировать «взрослость» и независимость, поиграть словом «муж», посверкать обручальным колечком, а потом что? Что разведенные – второсортный товар, – о том и не думает, что теперь никакой Болконский и в сторону ее не посмотрит, и судьба ей – либо по рукам, либо ущербный какой-нибудь мужчина не первой молодости... Хорошо, хоть институт пока не бросает, как некоторые...

Так, обхватив голову руками, рассуждала про себя на десять лет за одну ночь постаревшая Евгения Иннокентьевна.

- Мама, ты ведешь себя, будто у нас не свадьба предстоит, а похороны! – упрекнула ее дочь между делом, вертясь перед трюмо в новых туфлях из «Юбилейного».





- Бывают такие свадьбы, что не лучше похорон... Не такой я хотела для дочери! – скорбным голосом отозвалась мать сквозь слезы, что бежали у нее из глаз уже сутки и все никак не останавливались...

Терзало еще и то, что молодые не попросили у нее ни копейки на торжество, а устроили его, в основном, на зарплату Сергея, недостающие деньги взяв у его родителей. Те дали, а как же: такую фею удалось оторвать для своего охламона-недоумка! Сгоряча Евгения собралась было вовсе проигнорировать эту обезьянью свадьбу, но потом решила все же не наносить такой удар по дочери: надо быть выше, мудрее... Пусть узнает, почем фунт лиха, что уж поделаешь, – а потом все равно прибежит к маме, выплечется, и все будет по-старому. Может, и вообще ее все эти «женихи» интересовать перестанут. В коммуналке решила пожить, самостоятельная стала, надо же! Как там у Высоцкого – «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная»? Ну, ничего, пусть помоев эту самую уборную в очередь – может, тогда войдет в разум...

Свадьбу играли в небольшом кафе, где через знакомых ново-явленной свагги удалось недорого снять залчик под торжество. К тому времени Евгения уже встряхнулась, перестала лить нескончаемые слезы, поставила в известность некоторых родственников. Они, разумеется, услышали совсем не то, что немногочисленные друзья семьи, а заранее проработанную официальную версию благополучного и вполне одобряемого матерью замужества дочери: «Агаточка делает прекрасную партию, ее жених – будущий режиссер. Семья его вполне состоятельная, снимают для свадьбы роскошное кафе. Молодые решили жить отдельно, но это и к лучшему, пусть приучаются к самостоятельности, не все же их за руку водить... Да и вообще это теперь среди золотой молодежи модно...».

Но себя обмануть упорно не удавалось.

- Мамочка, ну, давай помиримся, – подлизалась к ней Агата накануне свадьбы. – Я ведь замуж выхожу, за любимого... Неужели ты мне счастья не хочешь?

- Хочу, но не такого, а настоящего, – честно призналась Евгения, впрочем, помириться согласилась, прекрасно понимая, до чего смешно выглядят «непримиримые» родители, все равно подмятые и сломленные эгоистичными детьми...





\*

И во всем, в конечном счете, Евгения оказалась права – настолько, насколько всегда бывают правы матери, выдавая девочек за неподходящих мужчин.

Русский человек ни с друзьями, ни с родителями радостью делиться не привык. Разве что похвастаться успехом или обновой – но то хвастовство и самоутверждение, свойственное каждому. А вот радостью как эмоцией, да с фактами, окрашенными в цвет радуги, делиться нам несвойственно: все хорошо – и слава Богу. Но вот закралась «на тонких плюшевых ногах» к нам... большая проблема, или даже рухнула на голову во время персонального землетрясения – и русский уже мчится к кому ни есть близкому, чтобы поделиться, отломить кусочек лакомства: чего-чего, а этого добра не жаль. Помощь хочет получить, совет? Ну, помощь еще можно принять, если уж очень настойчиво предложат, а уж совет – это извините. Нужно просто высказаться, отправить неприятность хоть в воздух – глядишь, а она уж и не такая неприятная. А тот, к кому пришли «делиться», вовсе не думает о том, что кто-то попросту сваливает в его доме, как в помойке, отходы жизнедеятельности души, а, наоборот, считает своим долгом расчистить для этого подходящее местечко, чего от него, собственно, и ждут, а не каких-то там идиотских советов. Поэтому никогда и не привется в России профессия психоаналитика: все мы сами прекрасные психоаналитики – и себе, и окружающим.

Потому после разговоров с замужней дочкой и складывалось у Евгении впечатление, что жизнь ее взбунтовавшейся Агаты в коммунальной квартире без горячей воды, с дикарем-мужем похожа на безостановочный кошмар. Ведь не говорила Агата, что живут они, в целом, весело, все время принимают гостей – знакомых Сергея – людей интересных, необычных, каких она раньше не только не видела, но и о существовании их в середине восьмидесятых не подозревала: думала, что такая популяция, блеснув в конце Серебряного века, канула в Лету сразу после революции, и реанимации не подлежит...

Агата не сообщала матери в ответ на ее встревоженный вопрос: «А что вы едите?» – что питаются они часто вообще на бумажках, причем, иногда едят руками, что скучное слово «обед» давно покинуло их лексикон, а четырехлитровая кастрюля борща, лишь единожды ею добросовестно и по всем правилам сваренная, была съедена многочисленными гостями через сорок минут,





и с тех пор молодая хозяйка решила больше не заморачиваться. Она говорила маме: «Питаемся нормально», вызывая у той разедающие подозрения. Зато о неприятных моментах рассказывала щедро, как это обычно принято среди женщин, что немедленно создавало у Евгении впечатление, будто дочь угодила в капкан и нуждается в немедленном спасении:

- Никак не могу приучить Сережу убирать за собой после еды. Поест, встанет и уйдет, а на столе – свинарник...

- Разбрасывает одежду по комнате, грязную вперемешку с чистой, а я только тем и занимаюсь, что сортирую...

- Заставить его трусы-носки свои постирать – проблема, приходится самой...

- Друзья придут, и сидят, и болтают, и на гитаре играют до ночи, а я спать хочу. Прошу Сережу их вежливо домой отправить, а он мне – мол, терпи, они же друзья... Ага, терпи, он завтра будет спать до вечера, а мне в семь вставать...

- Кофточку мою любимую, кремовую, ту, что мы с тобой, помнишь, в Доме мод купили, носить не разрешает, говорит, что я в ней на старую деву похожа...

- Ему женские голоса по телефону звонят, он с ними по часу разговаривает, а мне говорит, что это творчество и чтобы я не вмешивалась.

- Спектакль какой-то в институтском театре собирается ставить, в кафе со студентками-актерками его часами обсуждает, а на меня огрызается...

- У меня экзамены, а заниматься негде и некогда: дом на проходной двор похож...

Евгения слушала и испытывала двоякое чувство: с одной стороны, ей было совершенно очевидно, что дочь попала в маргинальную среду, где ее здоровье, психика, честь, а, возможно, и жизнь подвергаются непрерывной опасности, и необходимо ее спасти, вырвать из лап этого подонка, явно покотившегося по наклонной плоскости: не вызывают, например, сомнений его постоянные измены с кем попало – того и гляди, венерической болезнью заразит! Агата ведь, несмотря на свое замужнее состояние, еще абсолютно невинна и не замечает, как вокруг нее сгущаются тучи, – а когда грянет гром, ведь поздно будет! С другой стороны, такое положение дел долго продолжаться не могло, а значит, Агате предстояло скоро не выдержать и вернуться домой, где любящая мама всегда сумеет зализать ей раны и помочь







начать новую жизнь без всяких там Сергеев. «Ну что, – спросит она дочь, когда все будет позади. – Хлебнула самостоятельной замужней жизни? Понравилось?». «Хлебнула, – обреченно ответит та. – Даже вспомнить страшно». И они заживут, как раньше, – душа в душу, рука об руку, а дальше уж как получится...

Через два месяца после свадьбы Евгении суждено было получить еще один чувствительный удар – да такой, что ей вдруг показалось... Показалась ужасная вещь, а именно – что она больше никогда не сможет любить дочь так, как раньше.

В тот день, жестоко промучившись дочерним горем (именно так она теперь назвала для себя ее замужнюю жизнь), Евгения твердо решила, что пора, наконец, начинать брать под контроль всю эту самостоятельность, чтоб не завела она дочь невозвратно далеко. Для начала следовало провести инспекцию нового жилища – как она называла его, «медвежьей норы». Захватив с собой в пакете моющие средства, губки, перчатки и прочее потребное, Евгения решительно направилась в гости, уверенная, что санитарное состояние дома требует немедленного вмешательства, и готовая оказать любую жертвенную помощь.

В коммунальную квартиру, близнеца всех подобных квартир в старом фонде, вела узкая изгибчивая лестница в чисто раскольниковом духе, да еще и подниматься по ней пришлось в полной темноте, потому что окна в подъезде если и были, то вели в глубокий и гулкий колодец двора. На звонок открыла прозрачная бабуля из серии одуванчиков – только глаза у нее в полутьме коридора светились клиническим сумасшествием: такая зарубит топором и не задумается, а потом сядет вышивать розочки... Пока Евгения шла по коридору к указанной комнате (разумеется, самой последней, у туалета), ей попались на пути два образа, заслуживающих не то великого пера, не то психбольницы: мужчина в семейных трусах, серой от грязи майке, с единственным длинным зубом в неожиданно ангельской улыбке и бледно-серебряным нимбом вокруг головы; а также томная дама в кимоно, но обутая в черные, не менее сорок пятого размера, ботсы, громыхавшие по дощатому полу... Испуганная Евгения принялась барабанить в дверь дочери – и сразу ей открыл некто патлатый, в рваном свитере грубой вязки, в джинсах, не подлежащих уже ни починке, ни стирке, – и лишь через несколько смутных секунд ей удалось отождествить данную персону со своим зятем. Евгения сомнамбулически вошла и увидела свою дочь в углу, на матрасе, застеленном стеган-



ным одеялом, сидевшую по-турецки с книжкой. Волосы, ее чудные длинные волосы, которые мать так заботливо отращивала и расчесывала, вновь были безжалостно обрваны до плеч и не собраны, а болтались, точно как у тех девиц, что по вечерам давятся со своими временными кавалерами в очередях у всяких там гриль-баров... Книжки разбросаны были прямо по полу, груды громоздились на столе рядом с нарезанной на бумаге и так оставленной колбасой по соседству с открытой кефирной бутылкой. Судя по всему, супружеская чета только что отужинала и теперь питалась духовной пищей.

- Привет, мама... – растерянно кивнула Агата.

Евгения и сама поразились, сколько раз за последний проклятый год ей приходится серьезно брать себя в руки.

- Вот, значит, как живете... – сумела спокойно констатировать она.

- Живем, как умеем и как нам нравится, – сухо ответил зятек.

«Нет, голубчик, это тебе нравится, а моей дочери такое понравиться не может...» – подумала Евгения, а вслух дружелюбно сказала:

- Я пришла посмотреть, как устроились, и помочь, чем могу, – а то все вы да вы ко мне в гости.

- Конечно, смотри, мама, – пролепетала дочь, и зять через силу выдал:

- Смотрите, все видно... Агата, чайник поставь.

Первым делом Евгения шагнула к холодильнику. Так и есть: ни одной кастрюли, только два каких-то серых свертка и открытая консервная банка, зато бутылок пива – четыре, рядком... Конечно, и сомневаться не приходится: сам спивается и ее спаивает. Нет уж, пора с этим так называемым браком заканчивать – тут уж все средства хороши, когда дочь спасаешь... Она выпрямилась, наскоро готовя в голове победительную речь. Например, что-то вроде такого: «Вот что. Теперь, я думаю, ты уже доросла до понимания того, что так жить невозможно и противоестественно. Люди так не живут: дальше падать уже некуда. Поэтому собирай сейчас же все, что тут лично твое – не думаю, что очень много – и пойдем, наконец, домой... Я готова тебе простить эту ребяческую ошибку и помочь начать жизнь заново: светлую, чистую, человеческую жизнь...» – но раскрыть рот Евгения так и не успела, остановленная диким, ни в какие ворота не лезущим вопросом зятя:





- Вы всегда в гостях по чужим холодильникам лазаете?

«Нет, ну каков хам! Он, еще мне, кажется, замечания делать намерен!» – возмутилась Евгения и гордо ответила:

- Я не в гостях, а к своей дочери, между прочим, пришла. А вас, молодой человек, – раньше она обращалась к нему «ты» и «Сергей», но теперь решила положить конец фамильярностям, – я попрошу не вмешиваться в то, что вас не касается.

- Вы не у своей дочери, а у нас, – не сдавался он. – Да если бы и у дочери, то и она – не ваша собственность.

Евгения решила не опускаться до перепалки с этим случайным ничтожеством и повернулась непосредственно к Агате, суетливо расчищавшей на столе место для намечавшегося семейного чаепития:

- Так, Агата... Я вижу, что происходит, не волнуйся... Скажи, что именно я должна сделать, чтобы помочь тебе вырваться отсюда? Чем именно он тебя здесь держит? Почему ты еще не дома? Вставай и пойдем, наконец: сама же видишь, какая жестокая реальность встала за твоими фантазиями...

- Но... – пробормотала дочь, бегая глазами. – Ничего особенного не происходит... Никуда не нужно идти... Мне... Нам хорошо здесь... Мы...

- Хватит! – властно оборвала мать. – Я не знаю, что ты себе внушила – или тебе внушили – но нормальному человеку не может быть здесь хорошо. Если ты будешь продолжать это утверждать, то я, знаешь, могу подумать, что ты сошла с ума... Но и в таком случае тебя нужно лечить.

- Немедленно прекратите провоцировать мою жену! – на повышенных тонах заговорил наглец. – Если вы пришли к нам в гости, то и ведите себя, как в гостях, а не устанавливайте свои порядки и не пытайтесь нас поссорить. Мы вас сюда, в любом случае, не приглашали.

- Агата! – вспыхнула Евгения. – Почему ты позволяешь этому типу оскорблять твою мать в твоем присутствии – и молчишь?!

- Потому что ты пытаешься разрушить нашу семью... – сама краснея от стыда за эти возмутительные слова, вложенные ей в уста, без сомнения, так называемым мужем, промямлила Агата, уставившись в пол.

«Против матери настроил, совсем совести нет!» – озарило Евгению, но сразу же она осознала свою беспомощность, смешанную, вдобавок, с удивлением: почему? Каким образом? Как мог





этот чужой человек, о существовании которого дочь не знала еще год назад, созданный словно нарочно вопреки всему тому, что обе они любили, о чем мечтали, заставивший Агату переступить через идеалы, вкусы, воспитание, перевернувший ее жизнь вверх тормашками, – почему он все еще остается для нее авторитетом – даже оплевывая ее мать у нее на глазах, даже посягая на самое святое? Почему дочь не бежит от него с ужасом и отвращением, а, как попугай, повторяет его безобразные слова? Почему в угоду ему согласилась изуродовать себя внешне и внутренне? Что же это случилось, как с этим жить дальше? Может, лучше умереть?

И вдруг, в этот самый неподходящий момент, перед глазами Евгении одна за другой стали вспыхивать и задерживаться на секунду-другую живые картинки из Агатино детства – не те, что обычно стремятся родители запечатлеть на пленку как вехи возмужания дитяти. Не бесполого еще карапуза в обнимку с ритуальным синтетическим медведем; не взволнованную первоклассницу с пошлым венчиком гладиолусов в руках; не свежеиспеченную пионерку на крейсере «Аврора» – с лицом, перекошенным от бьющего прямо в глаза солнечного света; не у традиционного котелка ухи в школьном турпоходе (все равно в ухе больше костей, чем рыбы, и есть ее впоследствии невозможно); не в первом взрослом платье на выпускном балу – все это и другое, подобное, уже было превращено в глянцевые фотографии, подклеено в толстый альбом зеленого плюша и подписано. Нет, оскорбленная мать неожиданно увидела моменты как бы и забытые, ни разу не вспомненные – но, как оказалось, в неприкосновенности сохранные сердцем...

Вот в жаркий полдень Агата уплетает мороженое – она почему-то больше всех любила фруктовое, ядовито-розового цвета, стоившее семь копеек и вовсе не содержавшее молока. Ей всего три годика, на ней платице точно в цвет мороженого, с желтым котенком на груди, и она не так давно выздоровела после простуды. Мороженое отправляется в рот на деревянной палочке кусками, которые кажутся Евгении огромными, и она, испуганная, хочет остановить Агату, заставить ее есть понемножку, но знает, что сделать это можно, только отобрав стаканчик от девочки, – и не решается лишить ее радости первого после болезни любимого лакомства...

А вот на праздничном утреннике в детском саду Агата танцует в паре с неловким мальчиком Сеней давно разученный на-





родный танец – Бог весть, какого народа! – и десяток шелковых разноцветных ленточек развеивается на обруче вокруг ее головы. Вместе с другими родителями Евгения хлопает в такт движений потешной пары, но вместо гордости и радости испытывает стыд и досаду – до того нелепой кажется ее обычно хорошенькая дочка в этом странном национальном костюме и с угловатым, все время наступающим ей на ноги партнером. Спустя полчаса Евгения узнает, что тот танец был чем-то вроде подвига Агаты: перед утренником она почувствовала себя очень плохо, на лице и теле вскочило несколько нестерпимо зудевших прыщиков, отчаянно хотелось лечь и не шевелиться, но ради отрететированного танца и предвкушаемого триумфа она никому не сказала о недомогании. В результате, прямо после выступления Евгения увезла дочь на такси в полубессознательном состоянии, заболевшую ветрянкой...

А вот Евгения, стоя по пояс в тогда еще кристальной воде залива, смотрит не на Агату, важно плывущую в маске с трубкой, а на ее радужную тень, волшебной скользкую по рябому дну над круглыми пестрыми и полосатыми камешками, белыми и розовыми глазками ракушек... Немного позже в тот день у соседской девочки уплывет маленькая черепаха, уплывет прямо в открытое море со скоростью небольшого крейсера, и Агата, высоко вскидывая округлые загорелые ноги, будет мчаться за ней по мелкой воде, и хохотать, и падать, вздымая тысячи бриллиантовых брызг, – и так, разумеется, чужую неблагодарную черепаху и не догонит.

Подростком она поллюбила собирать грибы, и сейчас Евгения увидела, чуть ли не подряд, будто несколько кадров веселого фильма про агатин грибной азарт: свою дочку то задком вылезавшую из-под суровой ели, таща сразу несколько заборных боровичков, то вдруг восторженно заворковавшую, неожиданно набредя на янтарную россыпь лисичек в ярко-зеленом, открыточном мху, то деловито извлекающую один за другим из канавы налитые подосиновики совершенно неприличной формы, о чем ребенок, конечно, не подозревал...

И та девочка, ожидавшая от жизни одних радостей и вполне их достойная, совершенно не могла оказаться вот этой неопрятной девицей, что поднялась сейчас с грязного матраса, брошенного на пол, и пресмыкалась перед каким-то первобытным дикарем, по недоразумению оказавшимся ее мужем, – и явно была намерена напоить собственную мать подозрительным чаем из мутных



граненых стаканов...

Все это выглядело каким-то надругательством, глумлением ребенка над родителем, не имело права происходить – но происходило, и именно с ней...

И Евгения ощутила себя почти королем Лиром...

- Чай готов... – испуганным шепотом сообщила дочь.

«Да какой там чай... До дома бы дойти, а там...».

Глухим голосом человека, только что испытывавшего ни с чем не сравнимое разочарование, но решившего стойко принять все, что пошлет судьба, она проговорила:

- Что уж теперь... Здесь вот я принесла... Жидкость для окон... Хотела окна вам помыть... И пол... И... И...

- Спасибо, – холодно произнес победитель. – Мы пока зарабатываем на моющие средства. Оставьте себе, вам тоже может пригодиться.

И Агата не остановила его, а молча стояла у голого стола с тремя сиротливыми стаканами – и все не поднимала глаз.

Следующие два месяца Евгения прожила с ощущением, что в ее жизни произошла трагедия, утрата, которую предстоит переживать, как смерть близкого, ею до сих пор не пережитую. Сестер и братьев у Евгении не было, а родители благополучно здравствовали в Норильске, куда в молодости поехали подзаработать, – а после возвращения выросшей дочери в родной Ленинград, остались на привычном уже Севере, пользуясь железным здоровьем и льготами. Поэтому настоящего горя Евгения еще не знала (расставание с давно вычеркнутым случайным мужем в счет не шло), и поступок Агаты поверг ее за грань ранее незнакомого отчаянья – но весной сразило новое известие. Агата ждет ребенка! Услышав из уст дочери эту потрясающую новость, Евгения пробыла несколько минут в тяжелом психологическом шоке – но неожиданно почувствовала, как словно разжалась чья-то жестокая лапа, до того постоянно сжимавшая ей сердце. Кровь вольно заструилась по жилам, омыв организм до самых отдаленных капилляриков, а в душу снизошла лучезарная радость.

С этой минуты Евгения знала твердо: ей удастся отстоять жизнь и счастье дочери. И речи не может идти о том, чтобы ребенок оставался в антисанитарных условиях «медвежьей берлоги»! Значит, хотя и в конце беременности, но Агата вернется под материнский кров – и только Агата: в их крошечной квартирке такой крупный мужчина как Сергей не поместится, им дышать из-за



него нечем станет. Придется, конечно, разрешить ему посещать Агату и ребенка – на первых порах, пока будет требоваться чисто физическая помощь. Но уж безо всяких там ночевков, конечно, чтоб не привыкал, что здесь, якобы, его дом... А там, глядишь, и сойдут на нет все эти свидания-посещения, и совсем недалеко окажется воплощение в реальность той ее давнишней заветной грезы, где они уже будут неразделимы в родном триединстве...

Разговор с зятем об Агатином переезде Евгения провела в ее отсутствие, пожаловав к Сергею в час, когда безусловно знала, что дочь в институте. Вопреки ожиданиям, Сергей легко согласился с проектом тещи, все повторяя, что самое главное теперь – это не носиться с идеями, а оберегать от тревог Агату и маленького, предоставив им все максимально возможные удобства и заботу.

«Конечно, теперь-то она ему неинтересна, когда беременна! А ребенок вообще обузой станет. Знает это, негодяй, и хочет спихнуть обоих заранее... Каков!» – Сергей, при всем его прозрачном лицемерии, был перед ней, как на ладони.

Новый удар подстерегал Евгению в тот день, когда она отправилась вместе с дочерью в женскую консультацию: надо же было проверить, кто ведет беременность, – вдруг там бревно с глазами? Но доктор оказалась на вид очень интеллигентной и внимательной, она тщательно занималась с Агатой, доброжелательно отвечая на все вопросы будущей бабушки. Вполне успокоенная Евгения уже вышла из кабинета, и только тогда ей ударило в голову: срок беременности подозрительно большой! Она замерла посреди коридора, закрыла глаза, изо всех сил подсчитывая... «Ах, вот оно что! Эта сволочь надругалась над моим ребенком еще за месяц до свадьбы! И несчастная девочка оказалась припертой к стенке своим позором! Но, гордая, не захотела в этом признаться! Он ее, наверное, изнасиловал, вынудил, пригрозил! Конечно, – разве могла она по своей воле решиться на такое – Бог знает с кем, Бог знает где... Боже мой, почему она ничего не сказала?! Да в суд на преступника этого надо было подать и посадить лет на десять... Растлить ребенка! Жизнь искалечить! Ах, скотина, скотина...» – Евгения почему-то воспринимала Сергея не как Агатиного ровесника, а как хорошо пожившего, истасканного мужчину средних лет.

- Мам, ты что? – тормозила тем временем Агата. – Почему ты вдруг остановилась? Тебе нехорошо? Пойдем, мам...







В приливе бурных чувств Евгения обняла дочь за голову и притянула к себе:

- Ничего, моя маленькая, ничего... – прошептала она, смаргивая набегающие слезы. – Все будет хорошо, я тебе помогу... Вместе вырастим нашу крошечку... Полностью, полностью на меня рассчитывай...

- Ну конечно, мам... Я всегда знала, что ты такая... – смущенная и растроганная, прошептала Агата – и с тех пор они, разъединенные было вторгшимся в их жизнь недоразумением, стали вновь быстро возвращаться друг к другу.

Рождение внучки (огромные от испуга глаза Агаты после первых схваток, белая машина у их подъезда, тонкая рука, вцепившаяся в ее руку, иступленный шепот: «Ну скажи, мама, ну скажи, что все будет хорошо!», четыре часа душераздирающих метаний Евгении в полутемном приемном покое – а зятек, разумеется, где-то шлялся и ничего не знал – улыбка пожилой милой нянечки: «Поздравляю, девочка родилась...»), сияющая Агата в дверях роддома, беззащитный кулечек, перевязанный широкой розовой лентой) только скрепило союз матери и дочери. Евгения решила назвать малышку Эльвирой, Элечкой – Сергей, естественно, попытался восстать против чудного, воздушного, как эльф, имени, предлагая превратить новорожденную фею в простонародную Аньку. Но тут уж Евгения обезоружила его убийственной логикой:

- Что же это, по-вашему, выходит, молодой человек! Агата девочку мучительно вынашивала, отказывая себе во всем, потом рожала – между прочим, в таких муках, какие вам и во сне не приснятся – теперь кормит, пеленает, ночей не спит – и не может даже назвать ребенка, как ей нравится? А вы, простите, получили одно удовольствие, когда ребенка... делали, а теперь хотите получить второе – назвать по-своему? Вы вообще во что-нибудь Агату ставите, или нет?

- Я только хотел сказать, что имя бы лучше русское выбрать... В России ведь живем... – стал было защищаться Сергей, но не очень настойчиво.

- Какая разница, где мы живем? Важно, чтобы имя было редкое, красивое и благородное. А всякие там Таньки, Маньки... На каждом углу... Правда, Агата?

- Эльвира – это красиво... – рассеянно улыбнулась дочь.

Она в тот момент кормила грудью, и глаза ее на приятно окру-





глившемся лице глянули тихой ласковостью.

- Ну, если тебе нравится... – поцеловал ее муж, а Евгению передернуло: что за бестактность – лезть с поцелуями к кормящей матери – неужели не подождать, пока закончится это таинство, словно сошедшее с картин Леонардо...

- Совершенно тебя не уважает, – констатировала Евгения, когда дверь за Сергеем закрылась.

Он вообще теперь появлялся не особенно часто, прикрываясь тем, что «учится» и «работает», а когда не делает ни того, ни другого, то занимается «творчеством» согласно будущей «профессии»: ставит где-то какие-то «пьесы» по собственным «сценариям», якобы для того, чтобы зарабатывать деньги для семьи. Смех, да и только! Деньги, которые он приносил жене, можно было спокойно не принимать в расчет: зарплаты Евгении со всеми положенными надбавками хватало на непритязательное содержание дочери и внуки, а уж годика через два, когда Агата пойдет работать в «их» школу... Можно будет после развода лишиться его отцовства и от алиментов отказаться, чтобы не попрекнул потом, что, дескать, «кормил». Видали мы таких кормильцев!

- В няни пригласим бабу Лену, соседку, – рассуждала Евгения за вечерним чаем. – Она сразу, как только Элочка родилась, это предложила, да я ответила – мол, подождите, баба Лена, вот через годик-другой Агата выйдет на работу – тогда с удовольствием. А в школе тебя ждуг не дождутся. Все звонят мне и спрашивают, когда же наша Агата вернется в новом качестве. Кстати, сначала, как молодая мама, ты сможешь брать неполную нагрузку. Так постепенно втянешься, а там посмотрим...

- Но Агата вовсе не собирается в учителя, – ни к селу, ни к городу вставил вдруг Сергей. – Она уже давно решила, что не будет работать по специальности. Мои друзья обещали помочь ей попробовать себя в журналистике. Диплом у нее филологический – подойдет. Она ведь совсем неплохие статьи писать научилась, толковые такие – вы просто не знаете! Какой из нее учитель, ей явно журналисткой быть, у нее же талант!

- Сказали бы уж сразу – проституткой. Тоже древнейшая профессия, – презрительно прищурилась Евгения.

Сергей вспыхнул, но она вмиг его охладила:

- А вам уже, как будто, и пора, молодой человек. Здесь вам не ночлежка.

Он перевел взгляд на жену, отчаянно ища у нее поддержки,





но та увлеченно давила в чае ягодки из варенья и ничего не слышала. И никогда не услышит, потому что оказалась перед очень уж определенным выбором: выступить единым фронтом с матерью или встать на сторону этого легкомысленного богемистого недоросля и тем второй раз оттолкнуть мать, свою единственную защиту и тыл, опять лишиться всего, променять... на что? Не пойдет больше на это Агата, проиграли вы, молодой человек, не удастся вам сломать жизнь девочкам – теперь уже двум.

Когда Сергей все-таки приходил к ним – со своими жалкими деньгами или неуклюжей помощью – Евгения все чаще слышала не мягко упрекающий, как раньше, а дышащий почти ненавистью голос дочери из-за двери:

- А тебя никогда нет! Тебя вообще нет! Если бы не мама, я бы совсем одна билась, а у тебя, видите ли, творчество, что тебе до нас!

- Я здесь, как проклятый, меня твоя мать ненавидит! – умело «переводил стрелки» злодей.

- А за что ей тебя любить? За что?! За то, что она все твои обязанности на себя взяла?! – надрывалась сквозь слезы Агата.

Все было уже ясно, и упреки бесполезны, и слезы не нужны: Сергей доживал последние дни в их жизни.

В начале июля, когда Элечке только что исполнился годик, Агата вдруг, выбежала, рыдая, навстречу вернувшейся с работы матери:

- Мамочка, сделай что-нибудь! Я не могу! Я умру!!!

Сердце Евгении на миг остановилось, потому что, как и всякая порядочная бабушка, она подумала, прежде всего, о несчастье с внучкой – вообще-то, здоровой и крепкой девочкой, развивавшейся точно по календарю грудного ребенка. Но сразу выяснилось, что Элечка мирно спит в коляске на балконе, чмокая пустышкой и выставив умильные пухлые лапки.

Причина слез Агаты оказалась весьма прозаической: Сергей, не сказав никому ни слова и, естественно, не посоветовавшись с женой и тещей, под шумок перевелся для дальнейшей учебы в Москву, на дневное режиссерское отделение печально знаменитой низкими нравами «Щуки», скрыл ото всех подробности этой своей нелепой авантюры, а жить намеревался в пустой квартире родного дяди, вовремя уехавшего в длительную заграничную командировку. Как выяснилось, Сергей пришел уговаривать Агату забрать ребенка и ехать с ним в Москву – не иначе, жить троим на





сорок рублей стипендии. Агата растерялась, обезумела и голосила теперь скорей от неожиданности, чем от горя.

- Он не только мерзавец, сломавший тебе жизнь, а еще и авантюрист. Счастье, что мы от него избавились, – спокойно, как о свершившемся факте, сказала Евгения, впервые назвав все вещи своими именами вслух и получив от этого едва ли не физическое удовольствие.

- Но как же я без него?! – прорыдала Агата.

- Как и всегда, – пожалала плечами ее мать. – Можно подумать, что сейчас ты с ним. Раз в неделю видеть или никогда – какая разница?

- Агата, подумай, наконец, своей головой! – гаркнул вдруг Сергей.

- О чем мне думать?! О том, чтобы поехать с грудным ребенком в неизвестность?! Без денег? Без работы? Без помощи? Только потому, что так удобно – тебе?! Потому что ты все провернул без моего согласия?! Поставил меня перед фактом?! Ты будешь жить в свое удовольствие, творить, а я – расшибись, да?? Так?! – проявила, наконец, какую-то рассудительность Агата. – Ты всегда только о себе думал, а меня считал бесплатным приложением! Никогда не любил, только пользовался! И уезжай в свою Москву! Пожалуйста! Убирайся! Подумаешь, гениальный режиссер! Никто о тебе не пожалеет, никто, никто!!! – захлебнувшись, она рухнула в кресло у двери, закрыв лицо руками.

- Слышали, молодой человек? – сочла нужным поставить точку Евгения. – Счастливого пути.

- Вы... – обернулся к ней зять. – Вы...

У него сделалось такое выражение лица, что Евгения похолодела: ей показалось, что Сергей сейчас не то что ударит, а просто развернется и одним махом снесет ей голову.

- Вы – дрянь... – прохрипел он. – Такая дрянь, какая редко бывает... У-у... Су-ука...

Евгения отшатнулась. В кресле замерла оторопевшая Агата, уставясь на мужа потемневшими от возмущения глазами:

- Зверь... – прошептала она ему тихий приговор.

- Идиотка!!! – рявкнул «зверь» ей в лицо – Позволила этому трактору себя переехать! Кура безмозглая! Да эта гадина... твоя мать... как удав, душит все живое вокруг! Без разборю! Все жрет и не давится! Спихватишься – бери Эльку и приезжай, адрес знаешь... Но ты не спихватишься... Не дадут. Тебя тут, как бабочку на картонке, пришилили... – он свирепо оборотился к Евгении:





– Будь ты проклята, поняла? Будь проклята... – и он прибавил гнусное, непроизносимое слово, охарактеризовавшее его самого лучше всякого самого длинного обличительного монолога.

Хлопнула дверь – да так, что упала, вдребезги разбившись, фансовая стенная тарелочка.

– Ну, видела теперь? – торжественно обернулась мать к потрясенной, онемевшей дочери. – Видела, каков он на самом деле, твой избранничек? Ну, и как тебе его истинное лицо? Вернее, свиное рыло, а? Не желаешь к нему в Москву перебраться?

– Ненавижу его... – мелко затряслась перед очередным приступом истерики ее несчастная дочь. – Ненавижу... Изверг проклятый, что сделал с нами!!! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!

...Но недолго уже оставалось каждому русскому интеллигенту рыдать над собственной мелкой бедой, потому что на голову всей нации упало новое российское приключение под названием «девяностые годы» – и тут уж пришлось не только их маленькой семье, но и всем честным людям бороться не за какое-то призрачное личное счастье, о котором лет десять и мечтать-то казалось смешным и непристойным – но за собственное выживание, за спасение жизни и здоровья детей во внезапно съехавшем с оси, ставшем враждебным и опасным мире... Ведь поругивая перед приемником на кухне советский строй, никто всерьез не думал о том, что же делать, если вся эта махина действительно рухнет – а рухнуть она могла только на головы гражданам...

Врач и учитель – вот только две интеллигентные профессии, обладатели которых, по мнению Евгении, могли не бояться голода. Как же хвалила она теперь себя за то, что помогла дочери выбрать такую завидную в новых условиях специальность! Они смогли выкарабкаться. Взяв по полторы ставки и до полуобморока репетируя двоечников по вечерам, они сумели не сорваться в пропасть. Но у этих двух женщин было главное – семья и уверенность друг в друге, а маленькая девочка Элечка, подрастая и все больше напоминая эльфа, соединяла через свое маленькое и пока беззаботное сердечко их усталые взрослые сердца – матери и дочери, спаявшихся за трудные годы воедино настолько, что они научились понимать друг друга по стуку сердца... Жизнь постепенно налаживалась, не тревожа их ни старыми призраками, ни бесплодными мечтаниями: место в жизни было надежно обретено, а цель ее известна и благородна.





## Часть II

Я долго ее ненавидела. Почти с того самого момента, как добрая женщина рассказала мне о том, что произошло на самом деле. А с десяти до шестнадцати лет я честно считала, что мама умерла от сердечного приступа, до которого довел ее «этот негодяй». Но через пару недель после получения моего первого паспорта я случайно столкнулась в универсаме с ее бывшей подругой. До сих пор не могу решить для себя – правильно ли поступила она, когда там же, около холодильника с целым паноптикумом пятикратно замороженных пернатых, эмоционально выложила десятикласснице уродливую подноготную смерти женщины, с которой все-таки подружилась не менее пятнадцати лет.

Возможно, подруга эта, к тому времени расплывшаяся до неприличия, обремененная нелюбимой семьей, но обреченная пахать на нее, опухшая и озлобленная тетка, решила быстренько сфабриковать кого-то реального, про кого бы точно знала, что отныне и его жизнь – не сахар. В мире всевозрастающей мерзости таким образом можно было получить возможность утешиться простой и приятной мыслью: «Я-то что, а вот бедная Мариночка, Валькина дочка... Вот кого пожалеть нужно: как-то ей живется с такими мыслями о родной матери...».

До того дня я хранила в секретере мамину фотографию, мысленно советуясь с ней в трудные детские минуты, хотела быть достойной мамочки и так же гордо носила свое сиротство, как иные женщины, возведя покойного супруга в ранг местнотимого (в семейной епархии) святого, потом красиво вдовеют, вычеркнув из памяти тот прискорбный факт, что сами же и сжили покойного со свету.

Еще бы! У всех подружек были мамы – норовистые кобылы или тупые коровы с перманентом и облупленным маникюром, сварливые, все расширявшие круг запретов. От этих мамаш надо было прятать косметику, постоянно придумывать, что им соврать о причине опоздания; они раздавали кто – пощечины, кто – подзатыльники (в зависимости от социальной принадлежности), жаловались отцам, чьи воспитательные методы сводились к лаю и мордобою; строили каверзы и чинили препоны свиданиям и свадьбам с избранниками... А у меня имелся десяток-другой художественных фотографий, прикрытых калькой, в тисненых рамках – фотографий изысканной девушки-дамы, то укутанной





искрящимся белым мехом, то в маленькой фетровой шляпке с букетиком на ленте, то сияющей эмалевой улыбкой и ослепительными плечами из охапки или даже целого куста роз... Мама любила и умела фотографироваться, сочиняла неумелые, но пронзительные любовные вирши, которые я в подростковом возрасте даже пыталась положить на музыку.

– *И не даст ни выкупа, ни платы/За один далекий час весенний/Та, чью жизнь постигли две утраты:/Двух любовей – первой и последней,* – трогательно пели мы с подружкой на чьем-то дне рождения в девятом классе.

Мама работала машинисткой на дому – то есть, была полностью свободной, неплохо, по советским меркам, зарабатывающей женщиной, не имевшей возможности только позволить себе отрастить модные длинные ногти – но она и без них прекрасно обходилась. Судя по дате в блокнотике, куда она с семнадцати до двадцати девяти лет (возраста смерти) заносила свои стихи, то самое стихотворение про последнюю любовь было написано в возрасте ее двадцати двух и моих трех лет – в пору, когда мама начинала свой короткий, но бурный путь напрямик в могилу. По всей видимости, она была честным человеком, моя мама, – и каждого мужчину, попадавшего ей в жизни, любила как первого и последнего. И того, кому в девятнадцать лет написала: *И чем безвозвратней с тобой расставаньё,/Тем крепче любовь, тем скуднее желанья* (подозреваю, что это и был мой отец, с которым мама состояла в браке долгих два месяца), – и адресата последнего стихотворения, заканчивавшегося словами: *На пороге тьмы или двери рая/Мне б успеть за твою подержаться руку...* – в этом последнем было ей судьбой отказано. Думаю, что всех остальных, послуживших туманными полустанками между роскошными вокзалами Первого и Последнего, она любила с тою же щедростью сердца.

Все-таки мне было уже десять лет, когда мама исчезла из моей – и всякой – жизни, и я успела кое-что запомнить, например, афоризм, совершенно не лишенный логики и здравомыслия: «Не важно, кто первый, важно, кто последний» – до сих пор я не сомневаюсь в абсолютной правильности этого постулата.

Она считала совершенно необходимыми две вещи: водить меня в театр и кормить яблоками. Первый виделся ей вместилищем всех искусств (что отчасти так и есть), а вторые – панацеей от всех болезней. «An apple a day keeps a doctor away» – яблоко







в день держит врача на расстоянии – так, примерно, переводится ее любимая английская поговорка – любимая и единственная, потому что в школе мама изучала немецкий, а после нее закончила только краткосрочные курсы машинописи.

Я ходила в детский сад, потом – на продленку после уроков, а в это сугубо дневное время мама занималась устройством своей никогда не устраиваемой личной жизни и мимоходом – поисками «отца для ребенка». К чести ее, нужно сказать, что кандидаты в отцы мне не навязывались и слишком часто на глаза не попадались: все дела с ними мама решала в мое отсутствие, и вечером я могла застать «дядю» разве что за чаепитием с конфетами, после чего он сразу же прощался. Никто никогда в моем присутствии не оставался ночевать в нашей комнате, поэтому моя психика всегда была избавлена от возможной травмы... Дядя за чаепитием периодически менял рост, комплекцию, цвет волос и глаз, мое общение с ним было ограничено настолько, что я не успевала ни привязаться к нему, ни возненавидеть, – и жизнь моя текла ровно и спокойно, тем более что с детским садиком и его обитателями, а позже со школой мне повезло. Правда, может быть, это им повезло заполучить в свое лоно такого способного и коммуникабельного ребенка, каким была я.

Из родственников в городе имелась у нас только прабабушка – баба Таня – а мамыны родители погибли вместе за год до моего рождения – в уже было благополучно произведшем вынужденную посадку в Семипалатинске, но неожиданно вспыхнувшем пассажирском самолете.

Прабабушку – задумчивую и немного свихнутую, как мне тогда казалось, мы с мамой аккуратно навещали два раза в месяц, как и положено, с тортом и бутылкой легкого вина. Торт съедала я, а вино выпивала мама, потому что бабушка-фронтовичка всем сладостям и изыскам упорно предпочитала фронтовые сто грамм и соленый огурец на закуску.

Именно прабабушка и спасла меня от отправки в детдом после того, как мама скорострительно скончалась от инфаркта, узнав, что ее жених, которого она полюбила, наконец, всем сердцем, параллельно встречается еще с молодой девушкой...

Такова была официальная версия трагедии под названием «Жизнь и смерть Валентины Неждановой». Другую версию, весьма упрощенную, но гораздо больше похожую на правду, я выслушала сентябрьским днем в универсаме, вцепившись обмо-



роженными пальцами в край глубокого открытого холодильника, где на дне были кое-как навалены синие трупики кур, выставившие скрюченные в предсмертной судороге рябые желтые лапы с грязными когтями.

Согласно этой версии, моя мать Валентина отличалась неразборчивой тягой к мужскому полу чуть ли не с детского сада и, будучи еще даже не подростком, а маленькой девочкой, общалась с невинными мальчиками-увальнями при помощи ухваток матерой проститутки. Классная руководительница даже советовала Валиной маме проконсультировать девочку у врача на предмет половой ненормальности. Та с возмущением отказалась, находя у дочери только стремление скорей повзрослеть, а взрослость, по мнению маленькой девочки, заключалась в том, чтобы «иметь много поклонников». В результате получилось, что в том возрасте, когда девочки обычно только лишь заканчивают играть в куклы и впервые задумываются о форме собственного носа, Валя уже всю «путалась» со старшеклассниками, а к тому времени, когда кое-какие из ее одноклассниц купили свою первую в жизни помаду, она уже «прочно пошла по рукам». Моего отца, парня из хорошей семьи, однажды поддавшегося на ее развратные заигрывания, Валентина методично женила на себе, когда забеременела, но при этом она вовсе не собиралась начинать разумную семейную жизнь, а лишь имела цель временно прикрыть свой срам статусом замужней женщины. Позже она рассчитывала, получив развод, а вместе с ним и официальное позволение жить, как благорассудится, примкнуть к рядам порядочных женщин, у которых просто не сложилась семья. Так что своим появлением на свет я обязана не неземной любви родителей, как мне внушалось, а холодному расчету развратной женщины – и никто так никогда и не понял, почему она не отказалась от меня еще в роддоме. Постановили, что Валентина побоялась всеобщего осуждения и решила все же поиграть для окружающих роль нормальной матери, на самом деле вовсе себя ею не отягощая. Удачно сплавив меня в ясли-садик и приобретя непритязательную, но востребованную и хлебную профессию, Валентина на свободе предалась любимому пороку. Ни один мужчина больше не смотрел на нее как на возможную жену, все знали ей цену с первого дня романа и едва ли не передавали из рук в руки по взаимной договоренности. Это не могло не оскорблять самолюбивую Валентину, всегда много о себе воображавшую благодаря умению лихо накропать чувстви-





тельные стишата. Неудовлетворенность отношениями породила в ней вздорность, истеричность и экзальтированность, но чем яростней пыталась она доказать каждому встречному и поперечному, что достойна чего-то большего, чем скоренький перепахон в обеденный перерыв или по пути домой, тем убедительней доказывала свою никчемность во всем, что не касалось постельных утех. Тогда Валентина задействовала тяжелую артиллерию, заключавшуюся в непреклонном ультиматуме: «Не женишься – отравлюсь!». Запугав этим очередного мимолетного любовника, она вынудила его ретироваться даже раньше, чем он сам собирался... Невообразимыми истериками, подкарауливанием у дома, угрозами и клятвами ей удалось вырвать у него согласие явиться к ней «для серьезного разговора» в середине рабочего дня – и она решила пойти ва-банк. В ожидании возлюбленного Валентина написала ему убойное прощальное письмо (позже приобщенное к уголовному делу) и минут за пятнадцать до его предполагаемого прихода (что тоже было потом подтверждено судмедэкспертизой) проглотила полную упаковку сильнодействующего снотворного. Расчет был довольно примитивным: увидев ее при смерти и прочитав предсмертную записку, он почувствовал бы себя палачом и поверил в силу ее чувств; конечно, и «скорую» вызвал бы безотлагательно. Откачать Валентину вполне успевали: в этом она убедилась, изучив предварительно медицинский справочник, где даже оставила закладку на соответствующей странице – словом, к этому акту драмы готовилась она вполне основательно. Притвориться отравившейся, разыграть спектакль, на что она всегда была мастерица, на сей раз казалось невозможным – все должно было быть абсолютно взаимовыгодным: и синюшное лицо с закатившимися глазами, и белая машина с красным крестом, с воем летящая по городу, и задумчивый врач в опущенной маске, серьезно беседующий в коридоре с виновником попытки самоубийства... Она не имела права проиграть! И все таким и оказалось – абсолютно правдивым. Потому что невольного палача совершенно неожиданно задержало начальство, которое вообще в тот день не предполагалось на работе, и он опоздал более чем на два часа, придя к Валентине тогда, когда все меры по ее спасению результатов уже дать не могли... Так и погибла она глупой безобразной смертью от собственной руки, хотя помирать вовсе не собиралась, а планировала начать новую беспечную жизнь... Над ее гробом никто даже не всплакнул, включая прабабушку (меня





на похороны матери не повели, опасаясь травмировать), а лейт-мотив, звучавший над ней вместо невозможного отпевания, был самый уничижительный: «Несчастливая дура!» – и ни одного слова добрее этих не произнесла ни одна из малочисленных родственниц и знакомых...

Я едва отодрала онемевшие пальцы от железной ямы, поросшей белым льдистым мхом.

- Ты уже не маленькая, можно и правду знать! – победоносно провозгласила моя просветительница.

Ей досталось редкое зрелище – наблюдать за человеком, у которого за несколько минут рухнула надежная система жизненных опор и установок на будущее, и он повис между небом и землей, как висельник в петле. Добрая женщина сполна насладилась произведенным эффектом и, выполнив свой долг, удалилась, толкая мощным животом дребезжащую железную тележку. Я стала бессмысленно мыкаться по залитому мертвенным светом залу, десятки раз минувая одни и те же заставленные никому не нужными банками полки, полностью позабыв о том, что наказывала купить баба Таня, – и так вернулась домой с пустой авоськой и блуждающим взглядом. Рыдая, кинулась на свою кровать и между взрывами рыданий, сквозь икоту поведала обо всем бабе Тане, чем принесла ей немалое облегчение: поначалу старушка испугалась, что меня изнасиловали. Но баба Таня не зря провела три с лишним года во фронтовой разведке – там ее навсегда отучили миндальничать: раненых достреливали в затылок, ибо тащить их на себе означало обречь на гибель всю разведгруппу. Поэтому в ответ на мои судорожные призывы: «Ну, скажи, что это неправда!» она без раздумий пальнула в упор:

- Разумеется, правда. Раз уж нашелся человек, который тебе все рассказал, то и я врать не стану: все так и было, а то, что тебе раньше говорили – так это расписной гроб.

- Гроб? – не поняла я.

- Ну да, только не наш, а древнеиудейский. Пещера то есть. Внутри лежал и вонял разлагающийся труп, а снаружи все было заделано и красиво раскрашено. Так и у тебя – все эти Валькины блокноты со стихами и фотографии из салонов. А на деле – так шалавой жила и по-шалавски сдохла. А сопли эти ты давай утри, потому что ее давно зарыли, как собаку, и ни одной слезы и сопли она не заслужила...

Прабабушка моя была женщиной с принципами. Она очень





любила, например, рассуждать о политике, причем делала это абсолютно открыто, благо возраст подарил ей возможность не бояться больше никогда и ничего. Кроме того, она давно уже отбоялась, отлюбила и умерла – на войне, поэтому могла бестрепетно заявлять о своей ненависти к Ленину и существующему строю, а также о нежных чувствах к Сталину – и Иисусу Христу. Она состояла в Коммунистической партии с тридцать седьмого года и при этом, нимало не мучаясь ни раздвоением личности, ни угрызениями совести, регулярно, как на уплату членских взносов, ездила в собор Николы Морского.

Вера ее возникла и укрепилась на войне, куда она попала уже взрослой разведенной женщиной, и которая отняла у нее по очереди двоих детей: они умерли с интервалом в сутки от скарлатины, подцепленной в эвакопоезде на Ярославль. Осталась у нее только большая дочь, ставшая впоследствии моей бабушкой и сгоревшая в том злополучном самолете... Ища смерти, баба Таня (тогда еще Танюша) записалась добровольцем на фронт и, как знавшая немецкий, вполне здоровая и политически надежная, загремела во фронтовую разведку, что несказанно ее порадовало, так как сулило жизнь сколь героическую, столь же и короткую. С таким настроем Татьяна имела все шансы заслужить звание героя Советского Союза посмертно и впоследствии получить личную улочку им. Татьяны Завалишиной в деревеньке или городке, близ которого ее смерть имела бы место. Но, как всегда, все пошло наперекосяк: война, украсив ее грудь блеском отнюдь не бижутерийным, «Героя» ей все же не подарила, как и ни одного ранения! Порой одна-единственная, без единой царапины она выбиралась с секретными сведениями из такой безнадежной мясорубки, что товарищи посматривали на нее с подозрением: не отсиделась ли? Не прикрылась ли чьим-то живым телом? Но в Особом Отделе она не виляла, резала правду-матку, точно так же не боясь ареста, как и немецкой пули, – и тем очаровала полкового особиста, трогательно в нее, в конце концов, влюбившегося. Оттаявшее было бабушкино сердце успело ответить ему взаимностью – да только зря: как раз наутро после их решительного объяснения особиста разметало на клочки вместе со всем Особым Отделом в результате прямого попадания снаряда в их сверхукрепленный блиндаж... Но Таня и после этого осталась «заговоренной», возможно, потому что –

- С крестиком я тогда уже не расставалась, – рассказывала она





с твердой убежденностью. – Священник из одной оккупированной деревни к тому времени уже объяснил мне и ребятам из нашей разведгруппы, что без креста никак нельзя. Ну, на шее, сама понимаешь, в те времена носить неудобно было – так я в левый нагрудный карман положила и никогда оттуда не вынимала. Носила вместе с самым святым, что только может быть у человека: вместе с партбилетом.

Кого-то, возможно, и рассмешит такая несокрушимая вера, но мне волей-неволей пришлось общаться с данной особенной популяцией праведников, когда они приходили поболтать с бабой Таней, и я быстро разучилась удивляться их сокрушенным исповедям, приводившим, верно, и ангелов в священный трепет.

После похорон бабы Тани ко мне пристроилась сбоку почти бесплотная бабуля, состоявшая, казалось, из одних распахнутых глаз карапуза-трехлетки и бледного плаща, трепетавшего, подобно ангельскому оперению, вокруг тела, при жизни превратившегося в святые мощи, – во всяком случае, благоухавшего ароматом июльской копны свежего сена, а не старческой дряхлостью:

- Вот праведница-то преставилась, вот праведница! – прошлестел этот полуангел-полудитя. – И ведь умру – не увижусь с ней, подругой любимой...

- Почему вы так считаете? – опешила я.

- Да потому, что она в раю! – сокрушенно взмахнуло и упало крыло. – Если и были у нее какие грехи, то она их все своими мучениями искупила... А я все прошу, прошу у Бога: пошли Ты мне страдания, чтоб хоть часть грехов моих омыть, – нет, не посылает. Наверное, такой, как я, и прощенья нет...

- Да бросьте, какие там у вас грехи! – убежденно утешила я. – Простил вас Бог давно – вот и не посылает наказания.

- Какие грехи? Какие грехи?! – возмущенно захлопали крылья. – А вот вы послушайте, послушайте, что я на войне наделала! Послушайте – и сами поймете!

«Ну, понятно, война... – подумалось мне. – Многие решили, что война, мол, все спишет, и сами себе все свои военные похождения списали. А эту – совесть мучает. Ну, что там такого особенного она могла сотворить? Ну, залетела и криминальный аборт сделала, как большинство женщин на фронте... А может, оговорила кого у особистов – а кто бы не оговорил, в их-то лапах... Не военную же тайну немцам продала!».

- А вот что... Даже говорить стыдно... Пятьдесят лет всем свя-





ценникам каюсь, а стыд все не отпускает... В общем, там, на фронте, понятное дело, паек выдавали. В пайке курящим полагался табак, а некурящим – печенье. А я всегда некурящая была. Но говорила, что курящая, и брала табак. Тем, кто курил, его все равно не хватало, вот я им его и давала в обмен на продукты из пайка. Это было выгодно, потому что так продуктов гораздо больше выходило, гораздо – чем если б печенье брала...

Она замолчала, покраснев и тяжело задышав. Я терпеливо ждала продолжения, но оно все не наступало. Наконец я решилась поторопить ее:

- Ну, а согрешили-то как?

- Так я же вам все рассказала, как на исповеди! – изумленно глянули на меня дымчатые глаза; и с расстановкой, как несмышленьшу: – Я – табак – на продукты – меняла!

- Э-э... Несправедливо, что ли, меняли? Мало давали, нечестно как-нибудь? – пробормотала я, полностью озадаченная.

- Избави Боже! – отшатнулась великая грешница. – Да как же вы не понимаете никто?! – чуть не со слезами: – Даже батюшки переспрашивают... Я людям – яд давала! Вот этими руками! И греху их способствовала, потому что курение – ужасный грех. Они, может быть, через меня для жизни вечной погибли – страшно какой! И вообще, я вследствие этого обмана имела больше продуктов, чем было мне положено, – за счет других! Это на фронте-то! Да где ж я окажусь за это после смерти?!

Я едва оправилась от изумления:

- А бóльших грехов что, не было? Этот – самый страшный?

- Да куда уж страшней?! – ахнула она.

«Не видит, наверное, своих грехов человек, – догадалась я. – Наверняка же после войны с мужем ругалась, и детей шпыняла, и абортыв делала... Да на работе кого-нибудь подсидела – и не замечает. А пустяк из тьмы веков раскормила до смертного греха...».

- А с мужем, детками – хорошо жили? – наведалься я.

- Да с каким мужем, Господь с вами! С мужем честной быть положено – а про такой ужас как хорошему человеку расскажешь? Кто такую замуж возьмет? Так и осталась в девицах, в доме престарелых няней всю жизнь проработала. Думала несчастным послужить, хоть тем немножко Бога умиловить...

Передо мной, тогда тридцатитрехлетней, стоял живой праведник, имеющий в будущем быть прославленным в лике святых. Правда, я тогда в наличии этого лика несколько сомневалась: вос-







питывая меня, баба Таня не захотела воспитать заодно и тяжелый внутренний конфликт, превратив восторженную пионерку в несчастную девочку, и ограничилась лишь моим надомным крещением, о чем велела помалкивать. В церковь с собой меня никогда не гнала, но если я из любопытства просилась сама, – никогда не отговаривала и терпеливо объясняла:

- Вот это – Бог, про Которого тебе в школе врут, что Его нет. А это – Его Мать, про Которую научно доказали, что без мужчины забеременеть невозможно, – и опять соврали.

Мне это очень нравилось: в меня не вбивали догмат о непогрешимости школьной училки, а, наоборот, словно приобщали к какой-то тайной касте взрослых, смеющих произносить вслух при ребенке то, за что, как мне казалось, можно сесть в тюрьму.

При этом на стенке, прямо рядом с иконами, отодвинутый от них лишь на условное расстояние, всегда присутствовал и портрет молодого Сталина – вовсе не рябого сухорукого карлика, как в документальной хронике, а красавца-мужчины с благородным зачесом волос и пронзительными глазами... Роль Сталина в истории России моя большевичка-бабушка видела весьма парадоксально. Когда я уже достаточно, по мнению бабушки, подросла для того, чтобы расстаться с последними иллюзиями, она, бестрепетно лишившая меня матери осенью, теперь, весной, отняла и деда (всеобщего дедушку)... Правда, взамен она попыталась подсунуть мне Отца – с несколько подмоченной двадцатым съездом КПСС репутацией...

От дедушки она избавила меня просто: раскрыла передо мной вполне официальное издание его полного собрания сочинений и дала прочитать: «...Весьма удивлен теми мягкими мерами, которые Вы до сих пор применяете к местному населению. Считаю необходимым заметить Вам, что обычные расстрелы не могут дать в нашем случае желаемого результата. Для полной деморализации этого аполитичного стада следует расстреливать родителей на глазах у детей и детей на глазах у родителей, не считаясь ни с возрастом, ни с полом, причем, не проявлять мягкотелости...».

Поначалу ни название книги, ни заголовок данного текста мне не были показаны, а после того, как я с ужасом прочитала отрывок, баба Таня спросила, едва обуздывая рвущееся наружу торжество:

- Ну, и кто же, по-твоему, это написал?

- Н-не знаю... Гитлер? – брякнула я наугад фамилию, казавшу-





юся тогда воплощением злодейства.

- Как бы не так! – узда лопнула, и торжество поперло из бабки, как тесто из миски.

Она медленно закрыла книгу – и я обмерла. Кинулась проверять. Убедилась. Не только в этом, но еще и в других прискорбных подробностях. Это потом мне еще предстояло прочесть Солоухина, Мельгунова, кн. Жевахова... Но в ту минуту, мучительно переживая очередное прозрение, я почему-то очень ярко, с болезненным стыдом вспомнила сценку из раннего детства – помоему, еще из той эпохи, когда жива была бедовая Валентина... Мы с бабой Таней идем по улице за ручку, и она рассуждает на тему о том, что идеальных людей нет, никогда не было, и быть не может: то ли на мой вопрос отвечает, то ли уму-разуму учит... Я слушаю с полным доверием, но вдруг останавливаюсь, вырываю свою ладонку из бабушкиной руки и начинаю подпрыгивать на месте – чем долго, почти до самой юности сопровождалась у меня внезапные озарения:

- А вот и нет, а вот и нет, а вот и нет!

- Как? Ты считаешь, что есть такой идеальный человек? Или был? – внимательно смотрит на меня баба Таня.

- Это же Ленин! – победоносно выкрикиваю я.

- Вовсе нет. Он был лысым, рыжим и картавым, – сухо проносит вдруг она с таким выражением, что я спешу переменить разговор...

Спустя пять лет после своеобразных «похорон» «дедушки» началось то, что до сих пор почему-то стыдливо называют перестройкой, – на самом же деле грянула настоящая революция.

«Переворот наоборот», – грустно шутила баба Таня, восьмидесятилетняя, но выглядевшая молодящейся дамой, не разменявшей и седьмого десятка. Ленина поначалу не трогали, но Сталина немедленно смешали с грязью по второму разу.

Я тихонько наблюдала и ждала, когда в свете открывшихся новых чудовищных обстоятельств баба Таня, очень неглупая женщина, уберет портрет кумира молодости от икон. Но Сталин по-прежнему с кавказской хитрецей поглядывал со стенки, и однажды я не выдержала, бросив как бы между прочим:

- Сколько всего мы теперь узнали про те времена... И не страшно было жить, баба Таня? Ведь в любую минуту могли прийти...

- Узнали? – пожалала плечами она, приподняв в ниточку выщипанную бровь. – Что именно? Лично я ничего нового не узнала.



Все так и было, как теперь пишут.

- Но... – опешила тогда уже, можно сказать, совсем взрослая я. – Как же ты тогда его портрет на стене держишь? Пусть не со святыми, но – рядом? Ведь он же... даже детей! – нашла я последний аргумент.

Она спокойно кивнула, словно разговор шел о чем-то повседневном:

- Разумеется. Как же можно уничтожить родителей и оставить детей? Ведь это означает вырастить молодое и сильное поколение врагов-мстителей. Заложить мину с часовым механизмом...

- Но они же не были виноваты! – возмутилась я.

- Государственная необходимость вполне позволяет об этом не думать. Там, где речь идет о безопасности целого государства, приходится жертвовать детьми врагов, – отчеканила она.

- Врагов?! – захлебнулась я, вспомнив лишь на прошлой неделе дочитанные воспоминания такой вот «врагини», разлученной с двумя детьми, а потом не сумевшей найти их после смерча, пронесшегося над страной. – Да все это были ни в чем не повинные люди! Арестованные по приказу Сталина просто так, потому что ему везде мерещились шпионы! Из людей выбивали показания на себя и других – и расстреливали тысячами!

Баба Таня заговорила даже несколько раздраженно, будто я была маленькой девочкой, упрямо задающей нудные вопросы, на которые усталому взрослому уже надоело отвечать общеизвестными истинами:

- Ну, естественно, нельзя же было их просто выгнать из домов на улицу и поставить под пулеметы, как это делалось во времена Ленина. Приходилось, все же организовывать какое-то подобие правосудия: считаться нужно было и с зарубежными странами... Занавес – занавесом, но ведь была же международная политика. Вот и лепили им – кому шпиона, кому диверсанта...

«Господи, да ведь у нее же старческое слабоумие начинается! – догадалась я. – Просто по тому, как она выглядит, незаметно, что она, в сущности, древняя старуха! А мозг ведь не обманешь – к определенному возрасту он просто отказывает, и все... Нужно быть снисходительней».

- Да понятно, понятно... – немедленно проявила я эту снисходительность.

- Да что тебе там может быть понятно в двадцать лет! – поморщилась баба Таня. – Для этого в глобальном масштабе нужно





мыслить, а что у тебя в голове, кроме тряпок да вшивой демократии! Сталин хотел уничтожить всех – абсолютно всех – кто был причастен к троскистско-ленинскому перевороту, и тех, кто воспринял их идеалы – идеалы русоненавистников и хриstopродавцев. Это семя можно было вырвать только с корнем – и он рвал, и почти вырвал – да только его убили. Жестоко, говоришь? Да. Жестоко. Был бы он русский – провалил бы все с самого начала. Именно из русской жалости к черненьким деткам с огромными печальными глазами. Потому Бог и попустил грузину возглавить Россию, что у них нет в крови жалости, а все споры решаются с помощью кинжала. Никаких сантиментов – режут, и все. После такой страшной войны Россия за пять лет отстроилась и уверенно шла к полному процветанию – и с естественным для русского менталитета единоличным правителем во главе. Да нам вообще чужда демократия, и ты еще, даст Бог, увидишь, как на русской почве она не приживется. Ты спросила меня – не страшно ли было жить. Нет, не было. Мне смешно видеть, как теперь они в телевизоре делают большие глаза и рассказывают, что по ночам боялись перед сном раздеваться, чтоб, если что, их в тюрьму поволокли не голыми! Как до утра слушали – не проедет ли машина? Где остановится? Разве не понятно, что, кто так слушал, – тот точно знал, что его есть, за что брать! Ждали и боялись только те, у кого было рыльце в пушку. И дождались, иначе теперь по телевизору о своих муках не рассказывали бы. А я, и муж мой, и дети – все всегда спали спокойно и ни на какие машины внимания не обращали: надобности не было. Нам и в голову не приходило прислушиваться, и никто за нами не приходил, потому что мы действительно не были врагами...

- А брали только врагов? Преступников? – сделала намеренно «внимательные» глаза, спросила я.

- Юридически – нет, фактически – да, – ответила она. – Большинство из них действительно не были виноваты в том, что им инкриминировали. Но они были виноваты в настрой, в духе, если хочешь, а ведь именно это самое важное, а не пустяковые проступки. Ведь даже в религии так: грех – это не действие, вернее, греховное действие вторично. А первично состояние духа, в котором грех совершается и без которого он невозможен. И если такое состояние есть, то даже пока нет поступка – человек все равно опасен. И, по-хорошему, он должен уже сидеть в тюрьме, чтоб не причинил зла. Вот и Сталин, будучи, конечно, гениаль-





ным человеком, имеющим провидческий дар, умел различать, кто потенциально опасен, а кто – нет... И он создал теорию, успешно применявшуюся в Органах – теорию того, как распознавать таких носителей бактерий государственного зла... Ну, а уж как с этими бактериями боролась, – то уж не его было дело...

Она вдруг оживилась, отложила очки и безотчетно заходила из угла в угол, по-сталински заложив руки за спину.

- Вот послушай, что я тебе расскажу, послушай... Муж мой был беспартийный инженер на военном заводе, проектировал сложные детали к каким-то новым орудиям. И вот представь себе, он допустил в расчетах ошибку, очень серьезную, – и эту ошибку проверяющие прохлопали! По неверным чертежам был налажен выпуск деталей – и они не подошли, куда следовало. А дело было в тридцать девятом году – представляешь, что это такое? Тут и фабриковать ничего не требовалось – факт налицо. Хоть расстреливай без суда и следствия: доказанное вредительство. Естественно, отчет пошел в Органы, и муж действительно ждал ареста – справедливого, потому что был серьезно виноват. Его вызывали, он все честно рассказал – и отпустили. Отпустили, Марина! На завод пришла бумага о том, что состава преступления не обнаружено, имела место обычная производственная ошибка. Наказанием стало лишение путевки на море – и только. Милая моя, да если б Сталин, как параноик, дал установку на уничтожение всех без разбора, – разве возможно было б такое?! И тебе, кстати, как будущему милиционеру, советую: меньше ты смотри на поступки. Больше смотри вглубь, в самую суть человека... Поступки могут быть чем угодно, как и слова. А вот улови настрой его личности, уклад его души – и вычислишь преступника без всяких улик и мотивов...

\*

Хорошенький совет, нечего сказать! Теперь, когда, в качестве детектива, мне необходимо поймать для Олега поджигателя, похоже, предстоит впервые воспользоваться! Легко сказать – загляни в суть (считай – в душу) – а как это делается? Похоже, не избежать мне повторного, беспроточного общения с Агатой Нащокиной, потому что из всего bestiaria, подвизавшегося в покойном еженедельнике, только она производит впечатление человека, разбирающегося в тонкостях душевных состояний. Я пришла к этому выводу в результате простого наблюдения: Агата





пишет в газету письма за читателей – разного пола, возраста и социального положения – и сама на них отвечает в качестве «психолога»! Да какой же это собственный душевный и жизненный опыт нужно иметь, чтобы тебе поверили! Только как к этой Агате ключик подобрать – баба Таня мне не подсказала...

Умерла баба Таня в возрасте девяноста четырех лет – и как раз той ужасной смертью, которая, по мнению нашего дымчатого ангела, искупила все ее земные прегрешения.

Четыре дня она промолчала. Но именно в те дни мне было недосуг обращать внимание на ее внезапную немоту: пришлось разгребать на работе гору отчетов, что я всегда любила оттягивать до того момента, когда начинало явственно припахивать катастрофой, то есть, лишением премии или, хуже, притормаживанием очередного звания. Стиснув зубы и водрузив на стол банку кофе, две пачки сигарет и электрический чайник, я являла собой замечательный образец прилежной канцелярской крысы, стараясь пореже поднимать голову, чтоб не отвлекаться на житейские соблазны: в отделе вовсю шла предновогодняя свистопляска. «После принятия оперативных мер установлено, что, находясь в нетрезвом состоянии, гражданин...» – писала я в сотый раз, когда на столе у меня зазвонил телефон. Звонила соседка по лестничной клетке. Из нашей квартиры пахло газом, в нее добросовестно стучались (звонок мог вызвать электрическую искру), но ответа не получили... Было около девяти вечера, и предположить, что девяносточетырехлетняя женщина пошла гулять, было едва ли возможно...

Помню, как почти бегом неслась через темные дворы – с тем особым ощущением под сердцем, когда оно точно знает, что его ждет беда, но до поры до времени не срывается на отчаянье, а как бы тупеет, подготавливая своего хозяина к тому, что скоро ему станет очень больно, и никуда не денешься – придется это пережить...

Во всей квартире горел свет – везде, где можно его включить. Четыре газовые конфорки с равномерным шипением выпускали газ, а баба Таня лежала на полу в ночной рубашке – и моих туфлях, ярко красных, на шпильке высотой тринадцать сантиметров. Как ни удивительно, но она дышала, – и я, пооткрывав окна и двери, вызвала «скорую». Вопрос, заданный врачом, заставил меня оторопеть:

- Ну, чего, откачивать будем? – и, очевидно, заметив в моих



глазах отблески кошмара, он счел нужным объяснить: – Если сейчас не тронуть, то тихо умрет через полчаса, и дело в шляпе. А откачаем – можете еще пару лет с ней промучиться. Потому что это – сенильный психоз, то есть, старческое слабоумие. Вы посмотрите, что у нее на ногах!

Я замотала головой, хотела крикнуть – да как вы смеете, она мне мать заменила, а вы клятву Гиппократова давали! – но только тряслась, как припадочная, и, тяжело вздохнув, доктор приступил к процессу «откачки».

В больнице баба Таня очнулась, но, как и обещал врач, никого не узнала. Меня она упорно величала Катенькой (поднапрягшись, я вспомнила, что так звали ее лучшую подругу молодости) и, по всей видимости, пребывала сознанием в конце тридцатых, потому что пыталась непринужденно болтать с подружкой о превратностях ее влюбленности в некоего Петра Ивановича: «Ты, Катя, из мухи слона делаешь: раз обещал, значит придет, он мужчина положительный... А ты бы лучше сама тогда перед ним не ломалась, а соглашалась сразу. Только расстроила человека зря!».

Меня для нее не существовало. «Баба Таня! – тормошила ее я, исходя слезами. – Ну, вспомни меня, узнай! Это же я, твоя Мариночка!». «Мариночка? – изумлялась она. – Зои Владимировны племянница?».

Доктор оказался бы прав, не будь я милиционером. Простой русской женщине действительно пришлось бы увольняться с работы и быть привязанной к незнакомому существу в памперсах с утра до ночи, потому что оставить и на секунду было бы опасно. С того момента, как она очнулась в больнице, я ее уж больше не любила – пожалуйста, можно считать меня чудовищем. Но ведь любят личность, а личность исчезла. Перед той оболочкой, что раньше ее содержала, испытываешь лишь чувство долга – и не более. «Вашей бабушки больше нет, – спокойно объяснил ее лечащий доктор, – она никогда не вернется. А это только тело, и оно скоро умрет. Оно не понимает, где, с кем и в каком положении находится, не оценивает никаких ваших забот и подвигов. Поэтому, если у вас есть возможность поместить ее в психиатрическую клинику, сделайте это и не казнитесь». От врача я вернулась в палату: «Баба Таня, хочешь переехать в другую больницу?». «Что вы себе позволяете, милейшая? Какая я вам, с позволения сказать, «баба»? И почему в этой клинике персонал «тыкает» пациентам? Я буду говорить о вас с заведованием, имейте это в виду!» – хо-





лодно отчеканила не баба Таня, а партийная дама, проходящая обследование в специализированном отделении.

«Ты хорошо подумала-то? – спросит меня позже в приемном отделении «той самой» больницы много чего повидавшая санитарка. – Ведь бабку родную в дурку сдаешь, чай, не постороннюю... А из этого отделения, где старухи, путь только в морг, что бы тебе ни говорили! И ты не думай, что здесь лечат: нет таких лекарств, чтоб это вылечить. Уморят по-тихому – и всего делов...».

Но я хорошо подумала, верней, не думала вообще, потому что думать было не о чем. Во-первых, не бросать же, в самом деле, работу, а во-вторых, как раз тогда в полную мощь расцвел яркий роман – тот самый, пятимесячный, на который я возлагала самые трогательные надежды – напрасные, конечно, но кто же в самом начале о таком думает. С отбытием бабы Тани для этого романа освобождалось необходимое жизненное пространство – собственно, и обеспечившее ему такую продолжительность: по чужим квартирам долго не проскитаешься.

Чтобы свернуть шею неизбежным хилым росткам чувства вины, я с завидной регулярностью ездила за город, «туда», всякий раз таща с собой полную сумку вкусной еды и памперсов, – и в ожидании привода (или привоза) заказанных старушек, там всегда переминалось еще несколько таких без вины виноватых родственников. Мы говорили только о том, почему совершенно невозможно было оставить болящую дома, и пришлось, скрепя сердце, привезти ее сюда, где за ней какой-никакой уход, и вообще «лучше». Насколько лучше – это сразу бросалось в глаза при появлении страждущих. Собственно, в тряпичной кукле с остановившимся взглядом уже никогда нельзя было узнать того человека, что когда-то жил рядом с нами, давал советы (чаще всего, непрошенные), как нам жить, чтоб не стыдно было умирать. И тем более, того, которого мы не застали, а знали только по фотографиям, сделанным за долгие годы до нашего рождения, когда человек тот любил, работал, дружил, воевал, рожал, ссорился... Как правило, эти люди относились к поколению наших бабушек и прабабушек, так что, придя в этот мир и повзрослев настолько, чтобы узнавать кого-то, мы застали их уже в пожилом возрасте и стали свидетелями лишь их стремительного старения. Молодость, зрелость, созидательные годы наших старушек остались для нас за рамками невразумительных фотографий, где они не-



пременно позировали в лучшем платье или торжественно присутствовали, почти неузнаваемые, на бледных коллективных снимках... Отдыхающие в Кисловодске у «Стеклянной Струи», мужчины и женщины – в одинаковом нищенски-мятом белом – и только потому, что в детстве тебе точно показали, ты знаешь, где искать родную бабушку – шестую справа в третьем ряду. А ведь только на несколько тоскливых минут – пока фотограф расставлял, усаживал, укладывал (в основном, двоих обнаженных до пояса мужчин с одинаковыми бритыми черепами – голова к голове, подпершись локтем, – у ног первого сидячего ряда трудящихся) – та молодая женщина поддавалась скучной суете для того, чтобы запечатлеть для тебя неповторимый, но не слишком удачный миг. А после вспышки магия, когда фотограф вылезал из под черной ткани своей треноги, ее ждала настоящая и единственная, исключительная жизнь – с курортным, быть может, романом или, наоборот, письмом из Ленинграда, которое все не приходит и не приходит, и оттого отдых – не отдых. Это если в ее семье или среди друзей не было фотолюбителя – большой редкости по тем временам. А если был, то ты можешь увидеть черно-белую семью за дачным столом, или двух сестер в неизменно светлом, у озера, или карапуза в перевязочках, обнимающего счастливую мать, или молодую пару на прогулке: у нее губки, подкрашенные «бантиком», а он в «клешах», чуть ли не уголовно наказуемых в конце тридцатых...

И, вроде бы, ты знаешь, что главу той семьи через год возьмут таким же летним утром из-за такого же нарядного стола, и больше никто никогда его не увидит, а жена его через полгода выйдет за другого и проживет долгую и счастливую жизнь; что из тех сестер одна (та, что повыше) станет на войне медсестрой и умрет не от ранений, а от последствий нелеченого сифилиса, а вторая погибнет в блокаду в бомбоубежище, куда будет надолго завален вход; что карапуз, приходившийся тебе, вообще-то, двоюродным дядей, так никогда и не пойдет в школу, потому что антибиотиков тогда еще не изобрели, а без них от скарлатины часто умирали; что трогательно стоящие под ручку молодожены так и не изменят своему чувству и шестьдесят лет спустя украсят собой блеклый цветник умильных пожилых пар, гуляющих перед ужином и после завтрака в облетающем парке с белками и голубями...

Это все было давно-предавно и как будто не по-настоящему – да и вообще, как можно было чувствовать себя счастливой в эпоху,





когда даже не было цветного кино, а имевшееся черно-белое кажется сейчас убогим и диким. Чего стоят, например, пенопластовые льдины и настоящие жестяные ведра без ручек на головах у псов-рыцарей в исторической фильме про действительно великие дела! Счастливой – в годы, когда порядочной девушке полагалось два платья и две пары туфель – на каждый день и на выход – а все, что сверх того, считалось баловством и расточительством! Когда единственные, драгоценные фильдеперсовые (фильдекосовые?) чулки приходилось носить или на тугих подвязках или на ужасающей конструкции под названием «пояс с резинками» – и ни одна идиотка не догадалась пришить их к тогдашним длинным трусам и так изобрести удобные колготки! Когда невозможно было безоглядно наслаждаться любовью не то что с любовником, а и просто с законным мужем, потому что над каждым ложем страсти стоял призрак нежелательной беременности по причине полного отсутствия сколько-нибудь эффективной контрацепции! Когда еду приходилось готовить на пожароопасных примусах, на глазах у далеко не всегда доброжелательных соседок, а утром умываться холодной водой, отстояв очередь к крану, на глазах у них же – и их мужей! Когда просто собственная комната – пусть даже пополам с мужем – виделась недостижимым счастьем, и в порядке вещей казалось, что в одной живут от четырех до восьми человек! И так далее, и так далее...

Невообразимый, неудобный, смешной, пошлый, трагичный мир рисовался в воображении за пределами того его кусочка, что предстал перед нами на фотографиях, – и, в любом случае, он видится нам теперь черно-белым. А те полуживые существа – слюнявые, с дрожащей нижней челюстью (отчего выпрыгивают вставные зубы), с синими губами и свалывшимися ключьями серых или белых волос, те бывшие люди, которых доставляют нам теперь в комнату для свиданий в сумасшедшем доме, – они считали этот мир своим и вольно ориентировались в нем. Они вовсе не возмущались, например, отсутствием Интернета и мобильных для немедленной связи с близкими, а послушно бегали на «междугородний телефон», где покорно часами ждали, пока их соединят с родными, чтоб успеть bestолково прокричать им что-то в трубку в течение заказанных трех минут... Они смиренно стояли шестыми в третьем ряду справа среди других себе подобных, которые все, все уже умерли, умерли, умерли! Или умирают... Стояло человек пятьдесят на фотографии начала тридцатых, и





каждый из них уже встретил смерть в одиночку – свою, единственную, как невесту... Кто-то вскоре был отправлен в лагерь и сгинул там, иной счастливчик покрыл себя неувядаемой славой на войне, а последние из могикан, как моя баба Таня, – мучительно угасли вот в таких «богоугодных заведениях», уже при жизни начиная принимать адские муки... Это последнее, впрочем, дает неплохую надежду на то, что адские муки ограничатся для них земными и доказывает, что личный, миниатюрный адик каждый из нас всегда непринужденно носит с собой.

- Не думала я, не гадала, Катенька, – бредила баба Таня, в очередной раз принимая меня за персонаж со своих фотографий, меж тем как я, избывая острое чувство вины, деловито толкала ей ложкой в рот самый дорогой йогурт, какой только смогла найти. – Не снилось мне даже, что и меня посадят в лагерь, и будешь ты мне передачи носить... А я уж и руки поднять не могу, сил нет – так изработалась... А работа страшная тут, тяжелая, под землей... В темноте... Все долбим, долбим стены, а они черные... А мы долбим... А как надолбим побольше – на себе в другое место перетаскиваем... И опять долбим... И опять перетаскиваем... А грохот стоит, грохот какой! Потому что другие, которые не работают, они все в рельсы стучат железными палками... Мы все долбим, а нас бьют... Охранники бьют... Они такие черные, огромные... Глаза у них красные, а с зубов кровь капает... Вместо рук – лапы, с когтями... В лапах – плетки... Они мимо ходят, рычат и бьют нас... А мы долбим и таскаем, долбим и таскаем... А те – в рельсы стучат... Громко... И темно... И больно...

Вот тебе, Катя, десять лет дали... Одиночки... А выпустили уже... Значит, десять лет прошло, а я больше сажу... Все жду, может, и меня выпустят... Тебя же вот выпустили... А я уж и не помню, какой у меня срок... Ничего не помню... Хорошо, хоть ты зла не держишь, передачи носишь... Все правильно поняла, не осудила... Поняла, что лично к тебе я ничего плохого не испытывала... И не из-за Владимира вовсе, как ты, может, думала... Поняла, что говорить нельзя много – а ты говорила... А от слов до дела, сама понимаешь... Один шаг... Вот я и не хотела, чтоб ты сделала этот шаг... Спасла тебя, а то тебе же хуже было бы... Ты это поняла, и тебя выпустили... А меня посадили... Без права переписки... А за что – не помню... Ни суда не помню, ни сколько дали... А только долблю целый день... Правда, знакомых иногда вижу... Зойку вот недавно видела... Помнишь Зойку? Она здесь





по рельсам стучала, но теперь ее от нас взяли... С общих... Ей сначала передачи приносить стали – такие белые круглые булочки... Прямо в шахту бросали – и она их одна ела... Никто отобрать не мог... Как кто руку к ее булке протянет – так рука и отвалится... Правда, потом снова прирастает, чтоб работать... Ела, ела Зойка белые булочки и понемногу сама стала такая же белая... И однажды ее забрали из шахты, наверх... А мне зато глаза выкололи... Теперь уж не вижу, а только слышу – а что слышать? Один гром да рев... Да еще плеткой как стегнут, как стегнут... Вот смотри, сколько рубцов на теле, смотри... – и синеватые в коричневых пятнах руки, уж и на руки не похожие, начали перебирать на груди халат.

- Няня! – не выдержала я и забилась в железную дверь, что вела в отделение. – Няня, сестра!

Она появилась на удивление быстро и, окинув опытным взглядом закуток для «свиданок», оперативно взялась за бабушкино кресло на колесиках и стала его разворачивать.

- Она что-то разволновалась, бредит... – трясась, объясняла я и пихала в руки толстой бабе пакет с деликатесами – считалось, что для больной, но няня восприняла это иначе и снизила до беседы с посетителем:

- Что, про черные шахты, небось, рассказывает? Так это дело обычное. У нас тут каждая то шахтерка, то метростроевка, мы уж привыкли... У всех у них бред одинаковый – не то строят что-то под землей, не то добывают. А потом рушат или обратно таскают – и по новой... Кругом чудовища одно другого страшней. Врачи говорят – типичная картина бреда при сенильном психозе... Вы не обращайте внимания – это ж все у нее в мозгах только, а так ей хорошо: спит себе да спит целыми днями. Некоторые, кто покрепче – те гуляют поначалу в коридорчике, а потом все равно «в шахту»: сами понимаете, возраст...

Нет, я так умирать не буду... Я умру... как-нибудь по-другому, но не так... Я... я засну и не проснусь, вот... Или инфаркт – упаду и все... Хотя я и милиционер, но бандитская пуля меня вряд ли настигнет, поэтому я проживу еще много-много лет... Сорок... Нет, пятьдесят... И все это время я буду здорова и в своем уме. У меня будет много-много внуков и правнуков, и все они будут меня обожать, потому что я невредная... Ну, в крайнем случае, когда мне будет лет девяносто пять, я погибну в авиакатастрофе. Сразу. Даже испугаться не успею. И вообще, все это будет так нескоро,





что мне и самой жизнь уже надоест. А может быть, к тому времени изобретут такое лекарство, что люди будут жить полнокровной жизнью двести лет. Или триста. И абсолютно здоровыми. А за триста лет все уж точно надоест, и можно будет лечь в теплую, уютную постель и блаженно уплыть куда-то. В любом случае, до этого еще далеко, и меня ждет большое-большое счастье, потому что пора бы ему уже и начаться... А с ума я никогда не сойду, потому что много читаю и думаю. Я умру – не так. Только не так.

Психбольница располагалась в чем-то девяносто лет назад конфискованном имении, и от господского дома, где и располагалось отделение для стариков, к выходу следовало идти по аллеям через огромный заснеженный парк, где периодически попадались одинокие гуляющие фигуры в телогрейках. Хорошо, если персонал, а вдруг – больные? Понятно, тех, кого считают опасными, врачи на прогулку не выпустят – а если они ошибаются? И вон тот, что как-то подозрительно топчется в валенках вокруг березы, – не тихий сумасшедший, а маньяк-убийца, уже укравший на кухне нож? Я-то, если что, вспомню, чему учили в Академии, и отобьюсь, в крайнем случае, отстреляюсь – а вон та девушка в очках? Господи, что за мысли в голову лезут?

И не только мысли. Ощущения тоже отличались от тех, что появляются в обычных больницах – тоже вместилища боли и беспомощности. Но здесь было другое. Словно невидимое, но тяжелое и плотное облако неподвижно зависло над старой усадьбой – зависло и испускало ядовитые, тлетворные лучи, пронзавшие каждого, кто попадал в зону их действия. И чем дольше человек оставался под убийственным облаком, тем труднее ему было двигаться, думать и сострадать. Все бежали с автобуса, ходившего раз в три часа, как чумные, с сумками, втянув голову в плечи. Быстро-быстро выполняли самое необходимое – ровно столько, чтоб самого себя не презирать – и, словно прибитые, воровато трусили по дорожкам обратно к автобусу... По мере того, как он увозил посетителей прочь, с каждым метром почти физически ощущалось, будто тебя нехотя отпускает плотная смрадная паутина, – и вот ты уже распрямляешься, вздыхаешь, стряхиваешь что-то с плеч, к тебе прорывается дневной свет, чей-то беззаботный голос... Будто ты долго блуждал в чаще и – вырвался, слишком глубоко нырнул – и последним усилием всплыл...

В тот день в автобусе я в очередной раз призадумалась. С тем, что баба Таня умирает, я смирилась и даже, уже не таясь от себя





самой, желала ей скорой смерти как избавления, – но тут мысли мои приняли другой, очень неприятный оборот:

«Она бредила, конечно: шахты эти всякие, подземелья и чудовища – оттуда, какой уж тут спрос. Меня она не узнавала, принимая за «Катеньку» – и это, вероятно, типично: в старости, как известно, лучше помнят молодость. Но вот что это она мне, то есть, Катеньке, говорила? Вроде, хвалила за то, что она что-то правильно поняла и не держит зла. Притом упоминала, что Катеньке дали десять лет. Ничего, дескать, личного, и Владимир здесь ни при чем. Просто Катерина «много говорила», и баба Таня ее от чего-то спасла, не то было бы хуже... Все это уже совсем не похоже на бред, а напоминает обрывки воспоминаний и размышлений...

И в какой-то момент прямо через все мое тело, сверху вниз, от макушки до пяток вдруг прошла замедленная раскаленная молния.

Жили-были две подружки, Таня и Катя. Таня была замужем за Володей и уже родила от него детей. Только Володя гуллив был не в меру, что со временем и привело к разводу, но в те годы вопрос еще так не стоял. И увлекся Володя Таниной подружкой, незамужней Катей, а Таня стала страдать и ревновать. Но при этом Таня была большевичкой ленинского призыва, и, конечно, для нее общественное стояло выше личного. И, как большевику, ей очень и очень не нравились слишком вольные Катины разговоры: то насчет кого из руководства проедется, то про партию что брякнет по незнанию... Все, конечно, в своем кругу, исключительно при близких, – но получалась вроде как и агитация. А вот скажи такой легкомысленный человек нечто подобное в присутствии настоящего врага – и в два счета попадет в террористическую организацию... Нелегко пришлось Тане: она много думала и плакала, целый месяц мучительно колебалась... Речь ведь шла о подруге! Но государственные интересы важнее. И особенно ясно это стало Тане, когда однажды она увидела Катю и Володю, своего мужа, на лавочке в парке – хохочущими и лижущими мороженое... Семимильными шагами направлялась лучшая ее подруга в стан врагов – вот уж и моральное разложение началось. Никакие личные побуждения Тане и во сне не снились, только коммунистическая совесть руководила ее действиями и особенно ногами, когда они вели ее в партком, – и правой рукой, когда после откровенного разговора с руководством она уже выводила под диктовку на белом листе круглыми черными буквами: «Довожу до Вашего све-





дения...». И Катя получила десять лет одиночки, потому что на следствии выяснилось, что она давно уже состояла во вражеской террористической организации и могла бы натворить много бед, если б она, Таня, их не предотвратила...

Потому именно Катю видела теперь вместо всех женщин на свете баба Таня: очень хотелось ей убедиться, что ее правильно поняли, не обвинили в том, что она посадила любовницу мужа для того, чтобы удержать его при себе еще на какое-то время, а проклятой разлучнице отомстить по-крупному.

И еще одно я вспомнила. Словно открылась передо мной неведомая книга с очень четким шрифтом – та, которую я читала однажды и отложила с презрительным хмычком.

*Я оказался среди тысяч и тысяч почти совершенно одинаковых людей, и сам был такой же, как и они. Все мы находились в глухом подземелье и должны были строить длинный тоннель. Мы изо всех сил долбили железными палками грунт, клали его на носилки и оттаскивали в сторону. Когда дыра оказывалась уже достаточно глубокой, мы снова сваливали грунт на носилки и переносили его обратно. Мы заделывали им вырытую дыру и начинали долбить свод подземелья в другом месте. За работой мы не разговаривали, лишь огрызались друг на друга и толкались. Иногда начиналась драка, но сразу же подсказывали наши охранники – чудовища с черными лицами, зверскими горящими глазами и оскаленными зубами. Они свирепо избивали нас длинными плетками или крючковатыми палками, но раны быстро заживали. Кругом, почти в полной темноте, стоял страшный грохот, рычание и визг. Но иногда кому-то одному из нас сверху падал большой круглый белый хлеб. Тот, кому повезло, начинал тут же рвать его зубами и с рычанием пожирать. К нему всегда бросались другие, чтобы отнять еду, но, лишь только дотронувшись до хлеба, испускали крики боли, и их отбрасывало прочь. А тот, кто сожрал белый хлеб, в тот день уже больше не работал, и его не били и не кусали... Потом нас сгоняли в тесный темный барак и запирали, так что мы оказывались плотно прижатыми друг к другу. Мы ни о чем не разговаривали и не думали. Лишь иногда слышно было злобное, словно собачье, рычание и рывканье. Через какое-то время (никто не задумывался о его продолжительности, да и о самом этом понятии) нас отпирали и гнали опять долбить стену.*

*Бывали среди нас и такие, кому белый хлеб бросали часто, – и*





*они постепенно становились как бы белее внешне, а потом исчезали – словно взлетали куда-то вверх из подземелья. Однажды ко мне тоже упал такой хлеб, и я торопливо проглотил его, разорвав на куски. Со мной сразу что-то произошло, я стал как-то не так видеть, и внутри головы появилось какое-то смутное представление о чем-то, чего не было вокруг, но как будто было где-то не здесь, но что это было именно, я не понимал...*

Человек, написавший эти воспоминания, не мог страдать сенильным психозом, потому что ему не было еще и сорока лет. Он попал в авиакатастрофу, и его, бездыханного, вытащили из-под обломков сгоревшего лайнера. Полгода он пролежал в коме, но очнулся полностью в своем уме и зарыдал. Он зарыдал не оттого, что узнал о своей абсолютной инвалидности и непоправимом физическом уродстве: и то, и другое показалось ему не заслуживающими внимания пустяками. Он зарыдал оттого, что побывал в аду и ни за что не хотел попасть туда снова. «На том свете» он видел еще много интересного и поучительного, но про вышеописанное подземелье, куда его «там» определили, сказал, что это так еще, цветочки: именно туда отправляется подавляющая часть народонаселения Земли. Те самые «обычные люди», которые «жили, как все, и ничем особенно не грешили: не убивали, не грабили – а, вообще-то, жили даже лучше многих, потому что приносили пользу». Белый хлеб падал к их ногам тогда, когда на Земле кто-то додумывался написать их имя в поминальной записке. Он являлся прообразом той частички, которую вынимал православный священник из просфоры за упокой их души, омывая ее Кровью Христовой... В это местечко вообще попадали только крещеные, на Земле Бога не хулившие и не кощунствовавшие, причем «хлеб» падал исключительно к православным. Если за кого-то молились достаточно долго и «хлеб» падал часто, то человек понемножку просветлялся, обретал утраченную память о своей личности и мог уже подняться куда-то в лучшее место, где мучения были не такими сильными, и где он знал, кто он и что. Настоящие же, нераскаянные грешники пребывали, по словам, вернувшегося, где-то «в Тартаре», откуда возврата нет... В книге своей тот человек ссылался на похожий опыт других возвратившихся из-за черты, с которыми пообщался по обе стороны бытия... Книгу давным-давно потихоньку подсунула мне баба Таня, исподволь пытавшаяся если не приобщить меня к вере полностью, то хоть поколебать земную мою природу, и я, с любопытством прочитав



воспоминания эти как «фэнтази», вскоре про них позабыла – да и вообще тогда к экзаменам готовилась, не до того было... А сейчас вдруг все встало передо мной в подробностях, метнулось в мозгу туда-сюда... И я вскочила, бросилась по проходу автобуса к водителю: «Откройте, откройте, мне нужно выйти!» – и вылетела на склизкую загородную дорогу, в хмарь тяжелой гнилой зимы. Но впереди, на холме, за рощицей и кладбищем, виднелся одинокий тощенький купол церквушки...

Перед церковью стояла машина – мне с перепугу показалось, что «джип», но это была простая «Нива» нового образца – в нее как раз невозмутимо грузился крупный священник в рясе и дубленке – с матушкой в смиренном платке и без косметики, зато в голубой норке. Можно было вынуть из нагрудного кармана красное с золотом удостоверение и доставить попа, куда нужно, под конвоем – как миленький бы поскакал, да еще бесплатно. Но, даже не подумав об этом, я бросилась чуть ли не под колеса и выпалила на одном дыхании:

- Батюшка, помогите! У меня тут в дурдоме бабушка умирает и исповедоваться хочет перед смертью! Она вообще и раньше всегда в церковь ходила, но теперь ей один старый грех покоя не дает, нераскаянный. И оттого Бог ее душу никак в рай не берет, и она в аду при жизни мучается...

Дорогу в скорбный дом священник знал отлично – за десять минут домчались, еще и выпускное время не закончилось. Пока он, облачаясь, кряхтел в предбаннике, я, сунув дежурной в кулак сторублевку, попросила привезти бабу Таню еще раз и, после нервного ожидания увидев в конце коридора кресло, помчалась ему наперерез. Передо мной сидел равнодушный труп со стеклянными глазами и стружкой слюны на подбородке – категорически неспособный не только исповедоваться, но и не реагирующий ни на свет, ни на прикосновения.

В припадке непонятого отчаянья я тряхнула бабу Таню за плечи: у нее только болтнулась голова, но в глазах что-то мелькнуло.

- Таня, это я, Катя, – ухватившись за эту соломинку, быстро и внятно заговорила я. – Ты меня узнала? Хорошо, вижу, вижу. Слушай, Таня, появилась возможность освободить тебя. Понимаешь? Освободить из лагеря навсегда, прямо сейчас!

И где-то в самой глубине потухших глаз обозначился немой вопрос.

- Только для этого, Таня, нужно сделать одну вещь. К тебе тут





пришли. Это священник. И ты сейчас должна ему все рассказать. Про тебя, меня и Володю. Только рассказать правду. Настоящую правду. Ту, что тебя мучает. И тогда тебя отпустят на свободу. Сегодня же. Я тебе обещаю. Но рассказать надо все. *Все* – поняла?

- Поняла... – неожиданно прозвучало в ответ.

Мы уже тихонько подкатывали к предбаннику, где ждал недовольный священник, и я поторопилась оставить их наедине, пока в мозгу у бабы Тани не погасла так удачно зажженная мной звездочка далекого воспоминания.

Гонимая смутным томлением, я вышла на бетонное крыльцо, прислонилась к двери... И тут... До сих пор мне не верят, считают, что привиделось на нервной почве. Над парком и постройками, пронзив видимые тучи и невидимое, но сразу ослабевшее облако-паутину, стояла великолепная мощная радуга. Стояла среди зимы, после слякотного дождика, без намека на солнце. Жирная, словно нарисованная художником, решившим изобразить парадокс, но перестаравшимся. У меня захватило дух, и я, онемев, смотрела, как она медленно гаснет, играя красками, то притухая, то вспыхивая, как будто там, под ее горбатым сводом, двигалось огромное и великое Царство... Но, когда священник вышел из здания, она уже почти исчезла, и он ничего не заметил.

- Ну, как, получилось? – опомнившись, бросилась я к нему. – Удалось ее исповедовать?

- Удалось, почему бы не утаться? – пожал плечами он. – Вы же все сюда здоровых старух спрашиваете, чтоб не мешались. И ваша вот в своем уме, слаба только. Может, не гневил бы Бога, да домой забрали? Она ведь меня спросила – правда ли, дескать, что ее выпустят... А исповедоваться – исповедовалась... Многие тут в одном и том же исповедуются, – со вздохом таинственно добавил он, но не выдал тайну исповеди, которую я и без него знала.

Проводив батюшку до машины, я в великом волнении рванулась назад – неужели баба Таня пришла в разум? Дверь в отделение оказалась распахнутой настезь, и в отдалении около кресла суетилось несколько белых халатов. Один из них устремился ко мне – я запомнила только голос:

- Давно пора запретить все эти хождения священников сюда! Только расстраивают зря людей своими обрядами! Не первая ведь уже смерть после такого прихода!

- Смерть?! – оторопела я. – Но он сказал...

- «Он сказал!» – передразнили меня. – Сказал и пошел себе, а





бабушка ваша умерла от расстройства. Так в кресле и откинулась, глаза завела – и все. Нет, я буду с заведующим говорить...

Я бросилась к креслу, из которого набок свешивалась седая, стриженная «ежицом» голова. Челюсть больше не тряслась, слюна не капала, рот не выглядел синей страшной щелью. Передо мной было спокойное, последней бледностью осветленное лицо свободного человека, честно отмотавшего свой срок, и, наконец, освободившегося... из лагеря.

\*

Дверь мне открыла не старая еще женщина, очень опрятно и с большим вкусом одетая. Сразу ясно было, что она никогда не наденет дома простонародный халат – ну, разве что дойдет в нем утром от спальни до ванной и обратно. Ей очень шла светло-серая кофточка и гладкая блестящая прическа; не вульгарные тапки она носила дома, а скромные домашние туфли из темной материи. Само собой, что и ноги она не оставляла дома голыми, а носила плотные телесного цвета колготки. На ухоженных ее руках я сразу заметила безупречный бледно-розовый маникюр.

- Вы, наверное, Марина из милиции? – приветливо улыбнулась она и, не дожидаясь ответа, повысила голос, обращаясь назад. – Агата! Агата! К тебе пришли!

Вместо Агаты в прихожей сразу же появилась девочка-подросток, почти девушка – не в традиционных джинсах с заниженной талией, над которой теперь почти у любого существа женского пола обязательно виднеется впалое брюшко, а в отличном клетчатом платье шотландской шерсти. Ни единого мазка косметики не было видно на юном любопытном личике.

- Это наша Элечка, – любовно-торжественно объяснила мне моложавая дама и бережно заправила девочке за ушко упрямую светлую прядку, отставшую от толстой косы, вольно перекинутой через плечо.

Да-да, этот удивительный ребенок носил на голове не трепаный стог сена, а почти антикварную девичью косу натурального пшеничного цвета.

- Здравствуйте, – скромно сказала девочка.

- А мы как раз садимся обедать. Агата, наверное, на кухне и не слышит. Милости просим сразу к столу безо всяких церемоний. Вы на службе и, конечно, устали и проголодались, – радушно пригласила меня бабушка.





Надо ж было так некстати попасть – прямо к людям на обед! Когда утром я позвонила Агате и попросила разрешения прийти поговорить, она сказала, что целый день будет дома, я не слишком из-за этого поторопилась – и вот, пожалуйста, вляпалась. А впрочем, вляпалась ли? Почему бы и не пообедать, если милые, приятные люди от души приглашают за стол? Ведь с начала болезни бабы Тани слово «обед» означало для меня быстрый перекус в забегаловке – чашкой кофе, пластиковой коробочкой безвкусного салата и парой сосисок или котлетой с ломтем хлеба – и так изо дня в день... Утром я съедала бутерброд с сыром, а вечером варила себе пачку одних и тех же пельменей и, щедро полив их сверху кетчупом, устраивалась на диване перед телевизором... Что такое суп или жаркое я уже почти забыла, как и то, что можно есть на крахмальной скатерти, вилкой и ножом, каждое блюдо – с отдельной тарелки... Одинокий мужчина опускается быстро – это аксиома. Но и женщина без мужского догляду тоже скоро превращается дома в неопрятное и безразличное ко всему пугало...

Наконец из кухни вышла и сама Агата – но такая Агата, что я ее не с первого взгляда и узнала. Пышная копна волос была забрана в хвост и туго перетянута резинкой. Без косметики Агата, при первой встрече показавшаяся мне женщиной-вамп, едва ли не секс-символом, выглядела почти дурнушкой. Бледная до серости кожа, светлые ресницы, обрамлявшие тусклые маленькие глаза, невесть отчего показавшиеся мне раньше огромными и выразительными, явно обозначившиеся морщины у губ и глаз, невнятное мышинного цвета платье, невыгодно облегающее грузное тело, – и она еще казалась мне аппетитной пышечкой! – весь ее облик был как бы отмечен то ли тяжелой думой, то ли душевным раздором. Мне даже стало неловко от такой метаморфозы. Агата устало поздоровалась, и мы прошли в небогато обставленную, но чистую и уютную комнату, где у круглого стола, накрытого как раз такой хрустящей скатертью, какую я уже успела мимолетно вообразить, деловито хлопотала Элечка. Увидев, что она занимается выставлением четвертого прибора, а именно – трех тарелок, высокого стакана, вилки, ножа, ложки в строгой последовательности и хитроумно свернутой салфетки, я поняла, что меня специально к обеду не ждали, и, стало быть, семья всегда обедает так, да еще, очевидно, по упрощенной схеме: не праздник ведь и не воскресенье.

Агата уже знала, что мой визит к ней неофициальный, что я





отныне на вольных хлебах, – причем, похоже, ей сказал об этом Олег еще раньше, чем я, – и поэтому полуфамильярно, как никогда не заговоришь с милиционером «при исполнении», она чуть толкнула меня локтем, входя в комнату, и быстро-быстро прошептала:

- Марина, у меня к вам большая просьба: ни в коем случае не говорите при матери, что у нас там погиб человек. Она очень больна, у нее давление – еще, не дай Бог, распереживается. Мы с вами после обеда пойдем, выпьем кофе в кафешку тут рядом – и поговорим обо всем. Раз уж пришли, когда мама и дочка уже вернулись, пообедайте спокойно, но ничего лишнего... пожалуйста...

Мне оставалось только конспиративно кивнуть.

Сам обед мне не очень понравился: курицу можно было не отваривать, а поджарить, в суп я бы положила специи, а на гарнир приготовила не пресный рис, а картофель-фри. Но в этом доме, как я поняла, заботились, прежде всего, о том, чтобы пища была полезной и здоровой, а вкус предпочитали естественный, не забитый посторонними примесями: для разнообразия можно и так поесть один разок.

- Мы считаем, что не следует делать из еды культа, – с улыбкой сказала Евгения Иннокентьевна, наливая мне из белой с синим супницы первую тарелку как гостю. – Поэтому не взыщите, у нас все очень просто, без особых изысков. Мы любим, чтобы на столе были натуральные, не убитые продукты, без жира и лишней соли. Так и гастрита избежишь, и холестерина не наглотаешься. И вообще, то хорошо, что естественно.

За обедом поддерживался довольно непринужденный разговор, который не мог, конечно, не коснуться пожара, и Евгения Иннокентьевна вскользь посетовала на то, что Агата работала в таком нереспектабельном, мало уважаемом месте, как «желтая» газета, и почти не скрывала радости оттого, что дочери теперь придется искать себе новую работу.

- Мы с Элечкой все надеемся, – тихим, проникновенным голосом говорила она, – что наша мама теперь перейдет на другое поприще. На наш взгляд, ей бы теперь в самый раз подумать о преподавательской работе, от которой она по молодости так опрометчиво отказалась. Ведь какая у нее специальность – сами подумайте! Педагог, русский язык и литература, диплом Герценовского университета! И восемь лет разбирала какие-то чужие письма... Понять не могу такого удовольствия...







Похоже, Агата не просветила свою мать относительно того, как именно в их газете обходились с письмами читателей, и чем в действительности занимался «отдел писем», состоявший из Агаты и ее подружки. И правильно сделала: зачем расстраивать такую славную маму?

- Одна из моих бывших коллег по преподаванию в университете Герцена сейчас как раз директор довольно престижной гимназии. Она была в восторге от идеи принять Агату к себе – с неплохим окладом, с премиями, с надбавками... И вот мы с Элечкой все последние дни только тем и заняты, что уговариваем нашу маму...

- Гимназию, по крайней мере, не сожгут, – вдруг тихо, но твердо вставила девочка.

- Зато захватят в заложники, а потом перестреляют учеников вместе с учителями, – безо всякого выражения отозвалась Агата, продолжая невозмутимо резать на своей тарелке куриное бедрышко.

- Вздор, Агата. Здесь Петербург, а не какая-нибудь Осетия, – холодно заметила Евгения Иннокентьевна. – Все дело в тебе, в твоей совершенно непонятной позиции... Представляете, Марина, женщине уже далеко за тридцать, а она никак не возьмет в толк, что давно пора бы иметь работу не абы какую – а настоящую, уважаемую работу. Мне ведь даже не умереть спокойно, вы понимаете? Все болею, болею, а умереть не могу, пока дочь не стоит на ногах, а значит, и внучка под угрозой... Не отпускает забота о двух самых близких людях!

- Мама, не расстраивай себя понапрасну, я подумаю! – Бабуля, опять ты о смерти! – в два голоса наперебой зазвенели Агата с Элей, а я улыбнулась от умиления: не каждый день увидишь такую дружную, крепко спаянную семью, где каждый дышит один другим, и все пронизано самой трепетной заботой друг о друге – любовной опекой до самых мелких мелочей.

После обеда я прощалась в прихожей, а Агата надевала длинное коричневое пальто, намереваясь идти со мной в кафе для разговора...

- Мы в нашей семье не признаем кофе, и вам не рекомендуем, – говорила Евгения Иннокентьевна, с милой грацией подавая мне руку. – Заработаете себе к сорока годам гипертонию – что в этом хорошего? Мы пьем только зеленый чай... Не знаю, Агата, есть ли он в этом твоём кафе?





- Не беспокойся, мама. Марине нужно только поговорить о пожаре, у нее работа. Мы уходим, просто чтобы вам не мешать. А если зеленого чая не будет, я так посижу, – сразу же утешила ее дочь.

Мы вышли на площадку и вызвали лифт, но, когда вошли в него, Агата, к моему изумлению, нажала кнопку не первого, а третьего этажа, на мой удивленный взгляд лишь пробормотав: «Сейчас поймете».

На третьем этаже Агата привычно свернула налево, в противоположную сторону от лестницы, я, недоумевая, – за ней. Она толкнула одну из дверей, и мы оказались в небольшом помещеньице, где была еще одна дверь, а рядом с ней – окно. То и другое вело на длинный общий балкон.

- Чудеса планировки, – невесело подмигнула мне Агата, плюхая на подоконник весьма объемистую сумку, которая, как оказалось, была у нее на плече.

Я ровно ничего не понимала.

Быстрыми, определенно, привычными движениями, Агата выкладывала на подоконник различные предметы: пудреницу, тюбик тонального крема, румяна, тени, тушь, помаду, карандаши, коробку, в которой что-то звякало, пакетик, откуда торчало что-то яркое...

- Остальное лежало в столе, в редакции, и теперь пропало, – пояснила она, меж тем как я стояла столб-столбом.

Быстро и точно она нанесла немного тонального крема, мгновенно припудрилась, кинула два-три мазка румян, помахала карандашиком вокруг глаз и бровей, моментально подкрасила веки и губы, подержала в руке тушь, но не воспользовалась ею, пробормотав: «А, не на выход», – после чего одним движением стрелы все обратно в косметичку.

- Что вы делаете? – задала я идиотский вопрос.

- А вы не видите? – бросила Агата через плечо, расстегивая пальто и открывая брякающую коробочку.

Оттуда явилось крупное красивое кольцо из резного переливчатого перламутра, оправленное в белый металл со стразами, и такие же серьги, размером с советский юбилейный рубль. Все это – и еще два больших перстня – молниеносно оказалось на Агате, а коробочка улетела в сумку. Агата застегнулась и взялась за последний пакетик, вытянув из него широкий яркий палантин плотного расписного шелка. Его она небрежно набросила на пальто – и одним движением сорвала резинку с волос. Они упали ей на





плечи пушистыми кольцами, и Агата обернулась ко мне:

- Ну, как, нормально?

- Ну, вы даете... – глубоко пораженная, выдохнула я.

Все манипуляции заняли не более десяти минут – и передо мной стояла абсолютно другая женщина! Неузнаваемая. Эффектная. Невыразимо притягательная.

- Удивляетесь? – спросила она. – Все очень просто: в доме моя мама такого бы не потерпела, а я не могу ее расстраивать. Вот и нашла выход. Немного, правда, хлопотно, но ничего, за пятнадцать лет привыкла, руку набила.

- А... А когда обратно идете... – запиналась я.

- Проще пареной репы, – Агата опять расстегнула сумку и показала мне флакон лосьона и пачку ватных дисков. – Даже вечерний крем частенько здесь накладываю, потому что у мамы твердое убеждение, что пользоваться можно только детским, а остальные для кожи – яд.

Я хлопала ресницами, все еще не сумев взять в толк, зачем, в конце концов, нужна такая конспирация: как известно, всем матерям что-нибудь не нравится в манере дочерей одеваться и краситься – но кто же на них внимание обращает? Мажутся себе спокойно под старушечьё бормотание, потом ее в щечку – чмок – буду поздно – и адью. Женщине – самобытной и запоминающейся, стоявшей теперь передо мной, было не менее тридцати семи лет, а она, как школьница, исподтишка красилась в подъезде, опасаясь материнского гнева! И чьего гнева? Той деликатной, интеллигентнейшей дамы, которую и язык-то не повернется назвать «старушка» или «бабушка»! Я отказывалась верить.

- Не поняли? – улыбнулась Агата. – Сейчас объясню, пойдете пока.

В этот момент у нее где-то заиграл мобильный.

- Да, мам, – поднесла она трубку к уху.

Мобильный был качественным, и я отчетливо услышала:

- Дочка, ты где? У тебя все в порядке?

- Да, мам, мы тут недалеко в кафе разговариваем. Все нормально.

- Смотри, не задерживайся слишком: темно будет возвращаться, – доносился заботливый голос. – Мы тут без тебя скучаем...

«А без меня никто не скучает и никогда скучать не будет, – завистливо подумала я. – Матери нет, так хоть бы ребенка родить подумалась, когда помоложе была...».





- Пошли, – сунув телефон в карман, подтолкнула меня Агата, как уже в чем-то соучастницу. – Понимаете, моя мама – не как все. Она человек с очень хрупкой нервной организацией. Слишком тонко чувствующий. Склонный к некоторым гипертрофированным фантазиям. Живущий в особом мире – несколько иллюзорном, книжном таком... Читает в институте Герцена русскую литературу девятнадцатого века – представляете, что это такое? И она сама вся оттуда, с теми представлениями, какой должна быть жизнь, человеческие отношения, место женщины... Понимаете? Такие люди – штучный товар, они на вес золота, их беречь надо... Ну, не может она осознать – не может! – что сейчас многие понятия изменились. Что мода другая. Что красиво накрашенная женщина с эффектными украшениями вовсе не обязательно проститутка. Для нее же это однозначно: красишься, украшаешься – значит, легкого поведения, и тебя никто вокруг не уважает. Студенток своих она всех считает «падшими», для нее все, что кругом, – падение нравов, причем без оговорок. Она женщина принципиальная – видели таких? Она не пережила бы, узнав, что вне дома я другая: для нее это было бы равнозначно открытию, что я торгую собой на улице... Нет, она бы не стала ругаться – ругаться в том смысле, который вы вкладываете в это слово. Она бы... Не знаю что, но это ужасно. Один ее взгляд, бывает, такой... С молчаливым упреком... И все, мне достаточно... Или молча уйдет в свою комнату, ляжет и лежит. Просто смотрит в потолок. Она все воспринимает глубже, чем мы с вами... Однажды, например, она опустилась на стул, уронила руки и сказала: «Никогда не прощу себе, что упустила собственную дочь. Ты как будто и не моя вовсе, словно тебя в роддоме подменили...». Это было, когда я сдуру второй раз замуж собралась. Теперь, когда на пять лет назад оглядываюсь, вижу, за какое ничтожество, от которого она меня одной той фразой спасла! И вообще, я перед ней сильно виновата, а она все простила – никогда зла не помнит... Святая женщина – ее все такой считают, абсолютно все, кто знает: друзья, родственники, студенты... Она такая, знаете... Бывают люди, которые – выше... К которым как бы не только грязь, но вообще ничто дурное не прилипает...

- А чем же вы перед ней так провинились? – ляпнула я и спохватилась: – Ой, извините, я, кажется, что-то лишнее...

- Ничего особенного, пожалуйста. Дело прошлое, – махнула рукой Агата. – Двадцатилетней дурой выскочила я за одного по-





донка, который меня потом с грудным ребенком бросил. Сейчас известный режиссер, всякая собака его знает, поэтому имени даже не назову. Деньги лопатой гребет. Только мне от него ничего не надо. Мама меня тогда еще надоумила, чтоб и отцовства его лишить, и от алиментов отказаться, чтобы, в случае чего, не предъявил бы претензий к Эле, когда она вырастет... Мать моя тогда, за два года моего брака, на десять лет состарилась! В сто раз больше, чем я, переживала... Сказала: вырастим. И растит – ни словом меня не попрекнула, ни разу... Всегда – и в садик, и из садика, и к врачу, и на музыку, и к учителю английского, и на теннис, и ночей не спит, когда ребенок болеет... Без нее я бы уже раз двадцать задохнулась – не вытянуть мне всего, я расхлябанная... А второй удар я ей нанесла, когда отказалась в школе работать. Ушла, не могла больше – и все. Зверею я от детей, когда их много, нет во мне педагогической жилки, хоть убей. И твердо сказала ей: все, уйду в журналистику. Туда звали, сюда звали, статьи неплохо шпарила, интервью стряпать насобачилась... А у матери в тот месяц волосы поседели. Сплошь. Это теперь она их подкрашивает в натуральный цвет – я уговорила, потому что почти не видно, что крашенные. А раньше так и ходила, как лунь белая, – и все из-за меня. Так неужели же за все это я одной маленькой поблажки ей не сделаю, буду раздражать ее косметикой и побрякушками?

- И вы... ни разу не попались? – задала я очередной глупый вопрос.

- Пару раз чуть не влипла. Однажды по-смешному. Возвращаюсь домой при полном параде – никого не должно было быть. Вхожу в прихожую – бац, а за дверью ее шаги! Я как была, в пальто, – опрометью в ванную! А она стучит, беспокоится, что там со мной! Потом, когда вышла, пришлось соврать, что месячные неожиданно пришли, еле, мол, до дома добежала... Другой раз – вообще могла ее похоронить. Залетела по дурости от того уroda – ну, второго, за которого замуж чуть не вышла. В общем, пришлось на аборт идти...

- Моя прабабушка говорила, что аборт нельзя делать, что это все равно как ребенка убить, – некстати ввернула я и сама испугалась: не хватает мне сейчас только в больное место ей попасть и тем отношения испортить!

Но Агата ничуть не обиделась:

- Знаю, слышала – и жалко мне было, смерть, как жалко: неделю в подушку прорыдала. Но оставить – это было мать собствен-





ную убить. Для нее ведь это означало мой позор, падение, смерть при жизни! Ну, в общем, заплатила, легла в хорошую клинику... Дома соврала, что в командировку... В палате нас двое было, за мной первой приехали, чтоб культурно так, в креслице, в операционную отвезти. А мобильник-то я отключить и забыла! И мама позвонила именно тогда... Соседка, дурища, чужой мобильник – цап – и отвечает. Мама спрашивает: «Это ты, дочка?» – а та ей: «Не-а, ее уже увезли...». Мама кричит: «Как увезли, куда?!». Но та, по счастью, сообразила, что запахло жареным, и додумалась телефон вообще выключить. Меня спасло только то, что сотовые тогда у нас совсем недавно появились, и мама еще не умела ими толком пользоваться – ни номер проверить, ничего... Потом мне удалось ее убедить, что она ошиблась номером, а я была в поезде, вне зоны досягаемости... Вот, кстати, и кафе это, вполне приличное...

Мы вошли в действительно очень миленькое помещение с акварелями по стенам и лампочками на столиках. Устроились у стены в уголочке, и Агата сразу же распорядилась официантке:

- Так, мне двойной эспрессо и двойную... нет, тройную порцию копченой колбасы пожирнее...

Я уже не удивилась, а только улыбнулась: мама ее в обморок бы от таких слов упала!

- Ну, что? – обезоруживающе глянула она мне в глаза, когда ее гора колбасы и моя скромная чашечка были доставлены. – Начинаете беседу с главной подозреваемой?

- Почему с главной? – еще раз улыбнулась я. – Вас у меня ше-стеро, включая и владельца газеты.

- Неужели вы не понимаете, что это не мог быть никто из нас? – напрямик спросила она. – Потому что все мы знали о сигнализации! Я – официально знала, да и второй комплект ключей был только у меня, но, в принципе, номер мог знать каждый, никакой тайны не было!

- Потому все сотрудники и под подозрением, – пожала плечами я. – Это естественно. Приехал, отключил, налил бензина...

- Ага, и сузил круг подозреваемых до шести человек, которых вывернут наизнанку или просто выбьют явку с повинной из самого вероятного, – презрительно бросила Агата и, вообще-то, была права: осталось только найти этого самого вероятного и, желатель-но, с мотивом.

- А вам как кажется? – не рискнула я противоречить явному



здравомыслию.

- Ну, во-первых, мне кажется, что Лиля погибла случайно: никто не мог знать, что она там спит в кабинете. Совсем никто! Ее Олег до последней минуты отговаривал, а она капризничала... Поэтому никак не может это быть умышленным убийством, никак! Если только не выслеживали денно и ночью, по пятам не ходили... А это вряд ли.

Я кивнула:

- Похоже. Излагайте дальше.

- Ну, во-вторых... Вы только представьте себя на месте этого человека!

И тут я увидела, что Агата волнуется. Сильно волнуется, хотя пятнадцать лет постоянного лицемерия, в котором она сама только что призналась, научили ее скрывать свои эмоции, контролировать лицо и голос – но не руки, которые выдают человека с головой. А руки ее жили отдельной жизнью: то цеплялись друг за друга и за посторонние предметы, то вдруг взлетали к лицу, что есть первый признак неискренности, то ложились барьером между ней и мной, то снимали и терзали тяжелые перстни с полудрагоценными камнями... Я старалась не смотреть на них особо, но имела в виду: лживые были руки, не являли открытых ладоней, не размышляли честно, а скрывали что-то независимо от хозяйки...

- Представьте себе: вошел он, про сигнализацию отлично знает, цифры, какие надо нажать, давно подсмотрел... Если отключит, милиция это завтра первым делом проверит и сразу поймет, что свой орудовал... Не отключит – через пять минут охрана придет, пожар увидит, вызовет пожарных, и они все потушат. Ну, сгорит что по мелочи, да не то же ему нужно! Но вдруг видит подарок судьбы: огонек не горит, включить забыли! Что он стал бы делать? Да он бы все комнаты обошел и бензину налил везде с гарантией, чтоб и головешек не осталось! И увидел бы Лилю на диване. Положим, она не проснулась. Но он-то ведь только помещение поджечь хотел, не человека живьем зажарить! Что, сразу вот так просто в убийцу переделался? Не думаю... И почему только в коридоре бензину налил, как, слышала, ваши говорили? Дурдом это все какой-то. Не свой здесь действовал, посторонний!

- А кто мог со стороны? – примерилась я. – Кого так крепко обидели? Подозрения вы, что ли, имеете?

Агата обхватила свои локти, закрываясь от меня намертво: правды от человека в такой позе не жди.







- Да это мог быть кто угодно, вообще кто угодно, – глянула она мне не в глаза, а в переносицу. – Мы, конечно, старались особенно не нарываться, но люди же разные! Мало ли, кто что на свой счет примет, да плюс больная психика! Или, допустим, фанатик какой-нибудь, сектант, решил, что мы людей развращаем, – и стер проклятое гнездо порока с лица земли... – с издевательским пафосом закончила она.

Я охладила ее фантазию:

- Все возможно, да в одно упирается: у этого сектанта все же были ключи от входной двери. Насчет этого все ваши показали твердо: либо Олег, либо вы приходили первыми, отпирали дверь ключами и клали их в карман пальто. Пальто вешали в шкафы: он – в свой, вы – в общедоступный. Поэтому выкрасть у вас, например, ключи, добежать до ближайшего рынка, сделать копию и вернуть обратно – это большого труда не составляло, но только для сотрудников! Постороннему на глазах у всех лезть в шкаф было бы, согласитесь, затруднительно! Так что, как ни крути, а наиболее вероятная версия – это, все же, один из вас, господа журналисты. А если не сам поджег, то, по крайней мере, соучаствовал, ключи передал кому-то...

Ее кисти намертво схватились между собой, губы на секунду сжались в ниточку, и она выдала:

- А если он вовсе не входил?

- Куда? – не поняла я.

- В редакцию...

Я начала раздражаться:

- Это уже из области фантастики! Не с вертолета же он слез!

- Не такой уж и фантастики! – почти зло отозвалась Агата. – За вас вашу работу выполняют, а вы еще... Что же, поехали. Поехали, поехали туда! Я вам покажу то, что вы не заметили!

Час от часу не легче – мне покажут! Агата уже швырнула на стол какие-то деньги и стремительно шла к выходу. Что мне оставалось делать? Как и любой порядочный частный детектив, я бросилась догонять ценного свидетеля...

Езды в маршрутке до места было четверть часа, не больше, и Агата все это время оскорблено промолчала, односложно отвечая на все мои попытки невинного заигрывания...

День уже блекнул, света на лестнице еще не было, но Агата уверенно шагала вверх в сумерках, пока окна не кончились на уровне четвертого этажа, и дальше нам предстояло вступить в





уже довольно густую тьму.

- Здесь за перила держитесь, ступени шершавые; если не ногу, то каблук уж точно сломаете, – донесся ее строгий голос из темноты.

Пройдя один лестничный марш в полном мраке и стоя на половине второго, я заметила впереди непонятное светлое пятнышко и лишь через пару ступенек сообразила, что это сереет последний свет дня в замочной скважине железной двери злосчастной редакции. Кроме этого, ничего нельзя было видеть, но вдруг Агата сухо сказала: «Да будет свет», – что-то затрещало, и свет ливнем хлынул на площадку: оказалось, что она открыла все-таки существовавшее, но намертво забитое фанерой окно.

- Теперь смотрите, – ее палец указывал на верх опечатанной двери. – Этого до пожара не было. Хоть кого угодно спросите. Ему вообще незачем здесь быть. Ваши дверь в то утро фотографировали, и на фотках он точно есть, просто никакой идиот значения не придал. Но раньше его – не было. Значит, его приделали – тогда.

«Он» – это был темно-коричневый, под цвет стены, пластмассовый крючок, намертво приклеенный к стене современным суперклеем. Он торчал из такого места, куда ни один разумный человек не приделал бы его – ни для какой законной утилитарной цели: слева от косяка, вверху. Я уважительно глянула на Агату:

- Извините. Это мы действительно прохлопали. Всем коллективом. И это может все изменить.

Агата скромно опустила глаза. Из-за этого крючка, что ли, она ломала руки в кафе: думала, показать – не показать? Или из-за чего другого? Как теперь узнаешь? Я отступила на шаг, прикидывая, как именно использовали крючок, и натолкнулась взглядом на светлеющий глазок скважины... Что-то метнулось у меня в груди. Я протянула руку к этому глазку: да ведь туда без труда влезет мизинец ребенка! Да какой там мизинец – худенькая шариковая ручка, трубочка... Трубочка? Я перевела взгляд на крючок. Трубочка может вести к какой-то емкости, а емкость...

- Агата... – отчего-то шепотом спросила я. – Вы представляете себе, как... Как все это использовали?

- Смутно... – тоже прошептала она. – Но что использовали – это факт...

И в эту секунду у нее опять заиграл мобильный.



\*

К тому моменту, как я добралась до дома, в голове и душе у меня уже стоял полный сумбур. Агата из списка подозреваемых мною была полностью исключена, потому что нужно быть либо законченным кретином, либо изошренным злодеем, чтобы привести сыщика на место собственного преступления и подробно растолковать ему, что к чему, – а ни на то, ни на другое Агата категорически не тянула. Зато сам список расширился безнадежно: до пяти миллионов человек. Первое свое частносъщицкое дело я с фанфарами проваливала – и мобильный запел уже у меня.

– Марина Юрьевна, ваш телефон нам всем Алька дал, чтоб, если что вспомним, вам позвонили... Так вот, у меня для вас есть кое-что очень интересное, вы спасибо скажете... Ах, да, я Жанна, помните? Ну, последняя страничка... – (Я вспомнила и содрогнулась). – Показать вам хочу вещичку одну... Когда бы мы могли встретиться?

Встретились мы с ней в очередном кафе – правда, попроще – из тех, где пластмассовые стулья, и никто не подходит к тебе с блокнотиком, а приходится мыкаться по гудящему залу со скучным типовым подносом в руках. Кофе здесь был не в пример гаже – и я им чуть не поперхнулась, заметив вихляющую между столиками Жанну. В тот день она нарядилась в короткое расстегнутое пальто с рисунком «под зебру», из-под которого виднелась рубаша огненного цвета. Девушка снова щеголяла без юбки, гордо демонстрируя миру ляжки не толще пивных бутылок. Губы и ногти на этот раз гармонировали друг с другом: и то, и другое имело смачно-черный цвет. Мне стало жутко.

За столиком Жанна долго юлила и ерзала, так что я уже начала раздражаться, не понимая, зачем она вынудила меня притащиться в эту клоаку.

– Короче, Жанна! – не выдержала я. – Я человек занятой. И если вы позвали меня сюда, чтобы поиграть в детектив, то...

Она так замотала головой, что губы не успевали за щеками, как у Чеширского кота.

– Я... честное слово... Я вам принесла очень важную вещь... И готова отдать, но... но... – и она решила на то, что делают все без исключения героини серийных книжек в дрянных обложках. – Но... не бесплатно... Ценная информация стоит... д-дорого...

Представляю себе, что случилось бы с девкой, если б на моем



месте оказался кто-то поматёрей! Но и мне надоело возиться. Я грозно поднялась, зависла над ней и тихо, но очень доходчиво прошептала:

- Ты кому впариваешь, мокрощелка? Ты хоть знаешь, что за такой базар бывает? Ты ж у меня с места этого не сойдешь... – я действительно не на шутку рассердилась.

Жанна разинула свой черный рот, хотела было что-то пискнуть, но передумала, сообразив, что помочь ей никто не успеет.

- Вещь на стол положи, – миролюбиво посоветовала я.

Не сводя с меня затравленных глаз, она боком выложила на стол мятый розовый конверт.

- Откуда?

- Из к-корзины... мусорной... М-месяц назад... У-а-а-Олега в кабинете... Утром захожу к нему – а... Он-н письмо распечатывает... Конверт красивый... Наверно, д-дома из ящика достал поп-поп-по пути... А вечером вижу – оно надорвано... В корзине ва-ва-валяется... Ну, и я...я... Интересно же!

- Сгинь, – разрешила я.

Жанна распалась на атомы, а я схватила конверт.

Так. Адрес написан от руки, а на месте данных отправителя нарисована ромашка с острыми лепестками. Я выхватила письмо, развернула небольшой, но плотно исписанный с обеих сторон лист и вместо подписи увидела того же скромного представителя флоры. Вернулась к началу: обращение тоже отсутствовало. Я сомневалась только несколько секунд, но когда они минули, сомнения исчезли безнадежно. Не для того, чтобы проверить, а лишь с целью убедиться в собственной правоте, я вытащила из кармашка сумки четвертинку листа, на котором Агата вчера написала мне номер своего мобильного, приписав под цифрами крупно: Агата Нащокина. Эта чертова дюжина букв еще до того, как я прочитала письмо, рассказала мне больше, чем целая папка дела. Потому что эти упитанные, кругленькие, но вверху неожиданно готически заостренные буквы были абсолютно идентичны тем, которыми было написано письмо Агаты Нащокиной к своему непосредственному начальнику и моему клиенту.

*А, теперь безразлично: я все потеряла. Ты думал, я только тебя потеряла? Нет, все. Вообще все. Усмехнешься, скажешь – дамская экзальтация? У нее мать, дочь, подруги, кавалеры – не один, так другой... Ничего этого у меня нет без тебя. И меня нет. А есть, вот уже третий месяц, бездушный манекен, при-*



вычной рукой строчащий фальшивые письма. (И это одно из них, подумаешь ты. Неправда.) Этот манекен живет только одним стремлением: дожидаться вечера, когда можно будет запереться в ванной – единственном месте, где меня никто неожиданно не схватит за руку, – достать из кармана халата конверт с нашими фотографиями и перебирать их, включив воду, чтобы никто не услышал, если я вдруг зарыдаю вслух. Все равно мама вскоре начнет беспокоиться (она почему-то считает ванную законным местом сердечных приступов), станет стучать, возмущаться, что я заперлась («От кого тебе закрываться?»). Еще я могу смотреть на них в те редкие минуты, когда остаюсь в доме одна – и то напряжись в ожидании звонка или ключа в двери...

Их шесть, наших карточек. На одной из них мы празднуем в редакции день рождения Тамары, и кто-то удачно заснял нас в тот момент, когда мы интимно наклонились друг к другу, что-то обсуждая. Это было в самом начале нашей любви, когда мне еще казалось, что она – навсегда. Две других сделаны в Александринском театре во время кого-то газетного форума: в зале (мы одновременно повернули головы на чей-то оклик) и в фойе во время фуришета. Ты – в смокинге, я – в вечернем платье и с жемчугом на шее, мы пьем шампанское, и ты так задорно смотришь на меня поверх бокала... Остальные три сделаны весной на конференции в Анапе – во дворце, на набережной у моря, под дурацкой пальмой – и везде, кроме нас, на снимках присутствует кто-то еще... И все. Больше у меня ничего нет, понимаешь? У меня шесть цветных глянцевых бумажек – вместо рассветов и закатов, стихов и свечей, губ, заснувших в поцелуе, ресниц, дрожащих под солнечным зайчиком, любого милого спора, где побеждают оба, потому что любят...

Нет, я вру, конечно, у меня есть, кроме фотографий, еще целая куча самых необходимых вещей: остывшая гречка за завтраком, к которой я так и не притронулась, потому что с ночи еще не смогла проглотить комок затвердевших слез; огрызок карандаша с отпечатками твоих зубов, преступно украденный мною из твоего кабинета; фарфоровый единорог, купленный мною в твоем уже безразличном присутствии и не принятый тобой в подарок; туфля со сломанным каблучком – сломанным на твоей лестнице, когда я, ослепнув от слез, летела вниз, мечтая упасть и разбиться...

Да я богачка, скажешь ты! У многих и того нет – а только



*горький прах воспоминаний. А у меня еще есть почти ежедневная пытка видеть тебя с другой – и с какой другой! Мне оскорбительно даже подумать, что ты – ты! – мог променять меня – меня! – на ходячее пустое место, о котором нельзя сказать ни плохого, ни хорошего... Ты, с твоим масштабом, размахом, глобальностью – и поговорка про седину, бороду, беса и ребро...*

*Ты мечтал бы, наверное, чтобы я ушла совсем, забылась и растворилась, но – Боже мой! – мне некуда идти! Вся жизнь моя была путем к тебе, и я дошла до своего родного места, а путь от тебя – противоестественен, гибелен, невозможен! Я ведь ничего уже не прошу, ни о чем не мечтаю. Это раньше я накопила целый короб мечт и вынимала под настроение по одной... Вот мы вдвоем, взявшись за руки, бежим по золотой воде... Вот бредем меж махровых сосен по скользкому хвойному ковру... Вот... Да какая теперь разница – мне уже хватает того, что ты где-то есть, что-то делаешь каждую минуту моего безотрадного бытия... Разреши мне – хотя бы в память того, что было, иногда в этих письмах раскрывать тебе мое сердце, потому что иначе оно разорвется и убьет меня. Я не против, но ведь есть еще долг перед близкими – спасибо ему. Разреши мне просто быть.*

Я едва перевела дух, руки мои явственно дрожали. Попади это письмо не ко мне в руки, а к следователю – и Агата мгновенно оказалась бы тем «самым подозрительным из всех подозреваемых» и, допуская, достаточно скоро подписала бы не только поджог, но и умышленное убийство. А там иди, доказывай на суде незаконные методы воздействия! Ай, да Жанна! Ко мне пошла, не в милицию! Впрочем, дура денег надеялась вытянуть, хоть на шампанское, да и Олег строго велел всему коллективу звонить именно мне, если кто что вспомнит... Идиот. Надо же было самому рассказать подозреваемым, что их прорабатывает частный детектив. Хотя, какой я частный детектив, к едрене фене! А Олег, похоже, никого из своих не подозревает, наивно полагая себя тем суком, на котором все сидели, или колодцем, откуда черпали воду: кто, мол, срубил или плюнет? Вчера еще, прочитав это письмо, я сказала бы: Агата. У нее был мотив, а это серьезно. Поджог – месть бросившему любовнику и заодно – сожжение мостов: сама ведь призналась в письме, что уйти никак не может... А смерть Лили... Если копнуть поглубже, может и докопались бы, что Агата как-то узнала, что Лили там спит – и пошла ва-банк. Удачно пошла: любовнику спалила целый капитал, а соперницу физиче-





ски уничтожила. Теперь можно его пожалеть, посочувствовать – он на груди у нее поплачет-поплачет и, благодарный, вернется... А что, вполне реальный исход дела! Сейчас подключить своих ребят, нажать как следует на Агату... – и можно забирать свой первый нехилый гонорар...

Так бы я и сделала, будь я хоть чуть-чуть посчастливей, чтоб ее не понять, или она немного поудачливей, чтоб я могла ей позавидовать... Пачкаясь в кофейной гуще, я мусолила губами край давно пустой чашки и в четвертый раз перечитывала письмо... Женщина, пишущая о солнечных зайчиках и единорогах, о ресницах и пальмах, умеющая назвать воду – золотой и заснуть в поцелуе... Эта женщина, которая почти в сорок лет красится в подъезде, чтобы не расстроить больную маму, – хладнокровно сожгла живьем девушку всего лет на пять старше собственной дочери? Ну, девушка, может, и случайно подвернулась, – а целый этаж дома Агата спалила-таки? Дичь. Хотя Гитлер был вегетарианцем, а один изверг, вполне трезво зарезавший родную мать и сестру с малолетней племянницей, – когда мы уводили его, серьезно горевал о незавидной участи своих золотых рыбок... Но Агата? И при этом еще сама показала мне крючок и замочную скважину? Надеялась, что ничего не докажу? Но ведь до того со спокойным цинизмом продемонстрировала знание того, как получают чисто-сердечные признания! Ну, не выстраивается у меня такая головоломка, потому что слишком в ней все сложно, а решение-то простое и, вместе с тем, нерешаемое: не понравилась кому-то газета в целом или статья в частности... У Агаты был роман с Олегом – и что? За это ей сто пятаю навесить? Я успокоилась и достала телефон:

- Олег, мне нужно задать вам сугубо личный вопрос.
- Пожалуйста, Марина, я в вашем распоряжении.
- В каких отношениях вы были с Агатой Нащокиной?
- Судя по вопросу, вы уже и так знаете.
- В общих чертах, а от вас хочу узнать подробности.
- Но вы же не думаете, что это она...
- Не думаю. Это не она. Потому вас и спрашиваю, чтобы заняться другими.
- Понимаю... Хорошо... У меня были с ней отношения, только... Боюсь, что как женщина вы меня не поймете.
- Мне и незачем понимать вас как женщине. Мне важно понять вас как детективу.







- Ладно, попробую... Вообще-то, я не придерживаюсь принципа «на работе – ни-ни», потому что положение у меня... особое... и в случае осложнений я всегда могу... могу...

- ...уволить. Это понятно. А если она пикнет что-то у конкурентов, то вам же реклама. Продолжайте.

- И хорошо, что вы так непредвзято относитесь... Но Агата – не тот случай. Во-первых, она была реально ценным работником, да и душой ее не назовешь. Думал – так, проветрюсь, да и чувства к ней испытывал дружеские... Хотя вообще она не в моем вкусе, да и возраст... Ну, в общем, длилось несколько месяцев, без особых восторгов, а потом я мягко дал почувствовать, что хватит. Думал, она поймет, не юная ведь... Не поняла. Пришлось допустить несколько... Скажем так, резкостей. Но без хамства. Хамить женщине, с которой спал, – дело последнее. А на нее не действует – как заклинило! Лицом чернеет, глаза вечно мокрые, словно похоронила кого... И письма мне шлет, одно за другим – вы бы только почитали! Собрать их в подшивку – и готовая история болезни. Я такого не ожидал, честно скажу – иначе ни за что бы не ввязался. Тем более, Лилю встретил... И полюбил... А тут эта... Хотел уж увольнять ее, да жалко: работала гениально. Письма читателей эти, да психолог, которого она придумала, – все это было гвоздем газеты – Тамарка так, на подхвате, одна бы не вытянула... Пока решал, как поступить, Агата, вроде бы, успокоилась... Месяц уже писем не было, да и сама гораздо лучше выглядит, со мной нормально разговаривает. Может, замену мне нашла, не знаю – спрашивать-то, сами понимаете, неудобно... Вот, собственно, и все...

- А письма ее где, у вас?

- Ни в коем случае. Зачем мне такая мина? Если кто найдет – это ж засада. Я все уничтожил.

- Как именно уничтожили? Сожгли?

- Какие – сжег, какие – порвал и выкинул. А... А вы точно уверены, что это не Агата?

- Точно. Можете быть спокойны. Это все пока, я вам позвоню по ходу дела. Спасибо.

- Да не за что... Буду ждать, Марина! Вам спасибо, что хлопочете, не отказались... Найдите его, Марина! Найдите его, пожалуйста! Не ради денег... А для души моей... Для вечного покоя моего найдите...

- Я постараюсь, не волнуйтесь... До свидания, Олег.





- До свидания, Марина...

Не дав себе опомниться, я набрала другой номер, с бумажки. И уже через полчаса она вбежала в кафе – в том же коричневом пальто и ярком шарфе, но подкрашенная явно в большей спешке, чем вчера. Подлетела и безмолвно опустилась напротив, тревожно прощупывая мое намеренно непроницаемое лицо своими вновь показавшимися большими и живыми глазами. Я молча достала из сумки и через стол пододвинула Агате мятый и рваный розовый конверт – она вспыхнула. Даже на взгляд было заметно, что сердце у нее подскочило. Резко сложила письмо пополам и, на миг задержав в руке, затолкала в сумку. Я намеренно молчала, вынуждая ее самой начать разговор – если вообще тут было о чем разговаривать: на ее сокровенное я права не имела. Агата опустила глаза:

- Не смотрите так. Ну, да, да, было – что в этом такого! Четыре с чем-то месяца длилось – обычный срок мужского увлечения, – она коротко и горько хохотнула. – Потом у него прошло, а я... А у меня осталось. Потому что решила сдуру, что все по-серьезному. Он на эту... Лилю... перекинулся, а я как ополоумела... Такого со мной никогда не было. Поверите ли – даже к экстрасенсу ходила – вернуть надеялась, совсем крыша поехала... Меня кругом уговаривают: опомнись, дело-то обычное! А я ходила, будто у меня умер кто-то. Ходила и сама себе удивлялась. Письма ему писала – штук сорок, наверное! Это, розовое, – последнее... Конверт смешной попался...

- Последнее – значит, отпустило? – искренне сочувствуя, спросила я.

- Нет, надежда умерла, – на мгновение зажмурилась Агата. – До того казалось, что вот одумается, вернется... Мужик-то неглупый... А потом перегорело. Знаете, я теперь даже и не хотела б, чтобы вернулся. Вроде, и любовь не ушла, а возврата уже не нужно. И сказать ему нечего... Странно, правда? У вас такое бывало?

- Нет. У меня вообще не так все бывало, – честно созналась я, немного даже завидуя ее беде: мои-то страстишки, как сухая кора, всегда сгорали, оставляя классическое пепелище, а вот так пострадать – красиво и влать – не пришлось, хотя, может, была бы я и не против...

- А знаете... Знаешь... Можно на «ты», ведь мы же в одном весе? – нерадостно улыбнулась она. – Самое тяжелое мне пришлось испытать – дома... Чтоб Элечка и мама, не дай Бог, на за-



метили... Мама и так стала спрашивать, не заболела ли я. И вот, я до сих пор, как Русалочка у Андерсена, которая по ножам ходила, помнишь? Я даже повить в подушку не могу – ведь в одной комнате с дочерью живем!

- А почему у вас имена такие – Агата, Эльвира? – чтобы отвлечь ее от тяжелых дум, спросила я. – У вас какие-нибудь корни иностранные примешаны, что ли?

Она покачала головой:

- Просто маме так захотелось. Она ведь утонченная такая, вы же видели... Русские имена ей кажутся слишком... простецкими, что ли... Да мое-то имя мне нравится, а Элечка... Господи, да лишь бы здорова была!

Мне очень захотелось чем-нибудь ее утешить, ободрить – выиграла все-таки женская солидарность – да и просто симпатичней с каждой минутой становилась мне эта крупная невеселая женщина, так беспомощно обмякшая напротив на неудобном стуле.

И вдруг мне пришла в голову благая идея:

- Агата! – неожиданно выпалила я. – А пошли со мной завтра в гости, на день рождения!

Она вытаращила глаза:

- В какие гости? К кому?

Я начала соблазнять ее, как маньяк ребенка – конфетой:

- В отличное место, к моей знакомой художнице. Она в мастерской всегда все справляет, я бываю иногда, там открытый дом, очень забавно, ты развеешься! Пора встряхнуться, Агата! Ну, подумаешь, несчастная любовь – тебе что, шестнадцать лет, что ли?

- Но это же твои друзья, я их никого не знаю, это неудобно! – отбивалась она.

- Очень удобно, у них полгорода друзья, они всем рады, никаких проблем! – с удивительной горячностью уговаривала я.

- А что... Может, действительно... Развеяться... – заколебалась Агата. – А то ведь так и до Кашенко недалеко...

При слове «Кашенко» я невольно вздрогнула...

Даша-художница прилепилась ко мне – или я к ней – несколько лет назад, проходя свидетелем по заурядному взлому. Она так и не стала близкой подругой, но в ее добром и бесшабашном доме я любила иногда отдыхать душой. Кроме того, имелась у меня и своя, особая, глубоко запрятанная причина появляться там на все праздники...





\*

...Он учился в десятом классе, а я считалась «малявкой» в моем восьмом. Внешностью Паша Волынский никоим образом не выделялся, являя собой самый распространенный тип здорового русака. И вот поди ж ты – не смазливый брюнет Лёня из его класса, не смуглый с сентября по ноябрь ярко золотистый Витя из девятого зацепил мое метущееся девичье сердце. И Паша обратил внимание не на одну из расцветающих недолговечной красой одноклассниц, а на меня, едва-едва (правда, первой в своем классе) расставшуюся с девичьей косой. Поначалу мы робко переглядывались в коридоре на переменах, где подойти и заговорить было невозможно, согласно неписаному правилу: старшие, да еще выпускники, не мараются общением с маленькими, а, напротив, подчеркнута не считают их за людей. Лишь несколько раз в год, на школьных вечерах с танцами, все старшеклассники уравнивались в правах, и допускались «межклассовые» смехохушки. Вполне приемлемо было и «хохмы ради» пригласить на медленный танец младшую девочку – и этим правом Паша воспользовался на Новый год. Мы потоптались в полутьме единственный медленный танец – причем, я потеряла дар речи от восторга и гордости перед своими. Но Паша, мозговитый и языкатый парень, уже знакомый с бритвой, сумел ненавязчиво раскрепостить меня, пустив в ход беспроигрышный способ – а именно, метко и язвительно раскритиковав наряды и прически моих подруг. В результате, со школьного вечера мы сбежали вдвоем, а на улице вдруг хором почувствовали зверский голод и жажду.

В ту пору встретить в восемь часов вечера открытый продуктовый магазин, да такой, чтоб там еще и оказались продукты, равнялось встрече с живым Дедом Морозом. Тем не менее, один мы все-таки отыскали и купили там – нет, не бутылку и закуску, а два треугольных пакета молока (были тогда такие – белые, с синекрасным геометрическим рисунком) и буханку круглого черного хлеба (такого тоже уже лет пятнадцать не пекут). С того именно вечера я никогда не ем черный хлеб за столом, потому что он всегда нарезан аккуратными тонкими ломтиками, а это и не хлеб вовсе, как я выяснила двадцать с лишним лет назад. Хлеб – это отломанный от краюхи здоровенный кусок с хрустящей корочкой, еще не нюхавшей полиэтилена, и с кисловатым генетически родным запахом – ржаного поля в полдень, макушки ребенка, солнцем залитой комнаты с распахнутым в сад окном...





С тех пор мы стали, как тогда называлось, «ходить вместе». Что это значило? Да ничего особенного. После занятий Паша поджидал меня в условленном месте, и мы шли болтаться по городу, искренне не думая об экзаменах: он – о выпускных, я – о переводных, едва ли не более важных. Именно в те годы перевод в девятый класс считался уделом если не избранных фортуны, то, по крайней мере, людей не последних: остальные, в массе своей, «гремели в ПТУ» и разные рабочие училища вроде текстильных. Чтобы поступить в элементарное пед- или медучилище, требовалось уже держать непростые экзамены. Ну, а у Паши задача была еще прозаичней: получить мало-мальски приличный аттестат, чтобы, опять же, не «загнать» в армию. Так вот, все это мы находили гораздо менее привлекательным, чем целоваться в подъездах у тогда еще исправно работавших батарей и пить молочный коктейль за одиннадцать копеек в любимом «подвальчике», где какой-то умелец, наверняка, со специальным образованием, изобразил на белой кафельной стенке большую румяную девочку со светлой челкой, васильковыми глазами и пенящимся стаканом коктейля в руке; как-то подвальчик закрыли на ремонт и, когда спустя месяц, мы обнаружили его снова открытым, девочка исчезла: весь кафель заменили на безлико-бежевый, а на месте чудного, веселого ребенка красовался издевательский плакат: «Хлеба к обеду в меру бери: хлеб – драгоценность, его береги!». Было до слез жалко девочку – ее ведь, наверное, попросту сбили со стенки долотом! – и обидно за себя. Коктейль после этого мы как-то разлюбили...

Конечно же, мы клялись друг другу в вечной любви и имели твердое намерение пожениться через три года – то есть, когда мне стукнет восемнадцать... Ага, размышлялись, как же!

Как раз тогда, в начале восьмидесятых, почти одновременно на советские экраны самым невероятным образом попали два фильма, совместными усилиями махом разложившие целое поколение молодежи. Теперь, будучи взрослой, я твердо убеждена, что это было по недосмотру пропущенное вражеское вредительство, – а тогда выход двух таких фильмов показался нам двумя большими глотками свободы.

Один был о любви отечественных старшеклассников, которых препоны, воздвигнутые злобными родителями мальчика, довели до трагедии. Подразумевалась (с некоторой долей сомнения) полная невинность отношений тех школьников – показано было



лишь одно подобие мимолетного поцелуя с расстояния около двухсот метров. Зато во втором фильме, невесть какой сволочью закупленным в одной из соцстран, и вызывавшем уже полнокровный шок, старшеклассница делала криминальный аборт, показанный чуть ли не в подробностях... В обоих фильмах злосчастные влюбленные оказывались невинными жертвами зверей и тиранов родителей, никак не желавших взять в толк, что их детей в шестнадцать лет посетило вечное чувство, и не торопившихся со слезами умиления приглашать в дом малолетнюю невестку или зятя, не отравившего усов...

Оба фильма мы честно просмотрели, взявшись за руки в последнем ряду, – над первым поплакали, после второго глаз друг на друга поднять не смели, недобитой душой почуяв мерзость. Тем не менее, это не помешало нам и тысячам нам подобным по всей стране почувствовать себя возвышенными героями (вспомним – нельзя иначе! – Ромео и Джульетту), терпящими гонения и притеснения – ибо последние не замедлили явиться.

Учителя (как известно, в подавляющем большинстве – забытые тяжелой жизнью и неудачами на личном фронте женщины) давно уже преследовали нас змеиными взглядами, а когда добрые люди раскрыли глаза на правду моей бабе Тане и родителям Паши... Баба Таня махнула рукой – дело, мол, молодое – зато мать моего Ромео, огромная женщина весом не менее полутора центнеров, сразу превратилась в кандидатку в сумасшедший дом. Сама она принадлежала, как считалось, к «правлящему классу», но изо всех сил старалась выглядеть «дамой», что, по ее простым представлениям, прежде всего, обуславливалось наличием ворсистой бордовой шляпы. Кстати сказать, моя прабабушка, в свои семьдесят пять лет выглядевшая едва вышедшей на пенсию, партийных шляп никогда не носила, как и простонародных платков, обходясь пригодным на все случаи жизни демократичным беретом.

Пашина мать, лицом в тон своему головному убору, одним трагическим утром явилась в школу, церемониальным маршем проследовала в кабинет директора, куда сразу же нырнули вслед за ней две наших классных, а спустя десять минут меня вызвали с урока ненавистной биологии – из двух преступников меня одну. От неминуемой двойки я в тот день была избавлена, но, пожалуй, вместо того, что получила взамен, предпочла бы единицу. В четверти. Нет, в году. Потому что настоящая школа жизни началась





для меня именно в тот гнусный час, когда мне преподнесли сразу несколько суровых уроков, не раз потом в жизни пригодившихся.

Но главным был тот, что за содеянное вдвоем с мужчиной расплачивается женщина – и только она. Мужчина «по умолчанию» всегда сторона едва ли не пострадавшая – и первый пример показал нам славный Адам: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел»...

Пашу вообще не тронули; ему не сделали ни одного замечания и не задали ни одного вопроса. Это я была –

- Малолетняя проститутка! Я не понимаю, куда вы, педагоги, смотрите! Почему она до сих пор не на учете в милиции – за то, что пристает к юношам с развратными целями! Прохода моему сыну не дает! Вообще стыда нет! Бедный мальчик не знает, куда деваться!

- Но... Я не пристаю... У нас взаимное чувство... Чистое... Мы, честное слово... – имела глупость пропищать я.

- Чо? – даже удивленно повернула на меня крокодилий глаз предполагаемая свекровь. – Ты чо там вякаешь, кривоструйка? Ты чо, этой, как ее... Джульеттой себя воображаешь, что ли? Я тебе щас такую Джульетту покажу – вовек у меня не забудешь... Где ее родители вообще, почему я их не вижу? Как это – одна прабабушка? Вы что, с ума тут все посходили? Куда РОНО глядит? Это ведь значит, что ей вообще никто не интересуется! Она же просто по улицам шляется! Да ее и в столовую нельзя пускать, где дети едят, чтоб не заразила... А она... Моего сына! Гонорей... Сифилисом... – (Хорошо, хоть СПИДа тогда не знали). – Все будущее ему... Да вы что тут... Из школы публичный дом устроили... Я писать буду... Я пойду... Ее же надо в спецдетдом... Господи, да за какие ж грехи... сына... И это в советской школе!

- В общем, так, – сочла своевременным подвести итоги директриса и обратилась ко мне: – Если еще раз – где-нибудь – когда-нибудь – тебя увидят ближе, чем на пять – нет, десять – метров к Паше Вольнскому – то в тот же день – слышишь, в тот же день! – ты будешь стоять на учете в детской комнате милиции. А на следующий – РОНО подаст в суд на лишение твоей прабабки опекуна. И поедешь ты как миленькая на оставшиеся три года в детский дом. Поняла? Поняла, спрашиваю?!

Меня брали на понт. Лишить опекуна старого заслуженного большевика бабу Таню было практически невозможно. Во всяком случае, на это потребовались бы минимум те три года,







что оставались до моего совершеннолетия, потому что бабушка билась бы за меня, как за Родину. Это я теперь понимаю, а тогда оледенела – нет, ополоумела от страха. Призрак детского дома преследовал меня днем и ночью еще несколько месяцев, стоял в гадких учительских взглядах, нависал над каждой прогулкой, над каждым украденным телефонным разговором.

Добавилось еще и другое мучение. О разборке в кабинете директора, конечно, на школьной линейке не объявляли, но все равно неведомыми путями о ней стало известно кругом, и это послужило словно неслышной командой: «Ату ее!». Первый звонок прозвенел в девичьей физкультурной раздевалке, когда я, подвинув на скамейке чужую сумку, чтобы получить себе место, вдруг услышала от Ани Морозовой, первой в классе оторвы: «Не смей трогать мои вещи своими б...скими руками!». С этого момента, если я вдруг касалась чьей-то собственности или даже просто чужой парты, девчонки начинали сразу изо всех сил тереть это место платком или демонстративно мчались мыть руки с мылом. Они, конечно, не боялись никакой заразы – просто ни у кого из них еще не было «своего» парня, и они поголовно смертельно завидовали мне, первопроходцу на тернистом женском пути. Когда я входила в помещение, ученицы замолкали на полуслове, и даже моя лучшая подруга Юлия, повинувшись жестокому нажиму большинства, в случае неповиновения грозившего обструкцией и ей, пересела от меня за парту к одинокой тихоне, которую мы вместе, бывало, высмеивали... Когда однажды староста «забыла» включить меня в список на посещение Золотой кладовой, я пожаловалась классной – и что же услышала в ответ? «А что ты хочешь? Наши девочки – все сознательные комсомолки. Они возмущены твоим поведением и не хотят иметь с тобой ничего общего».

«Обструкция» длилась с апреля, когда открылся мой подлинный аморальный облик, по конец экзаменов, а в сентябре все сделали вид, что ничего такого не происходило, потому что сами за лето повлюблялись – пришла пора. У них пришла, а у меня – закончилась.

Двое взрослых людей, оказавшись со своей «неудобной» для других любовью во враждебном окружении, еще могут как-то бороться с обстоятельствами и людьми, но редко побеждают: чаще всего, пройдя через трагедию, расстаются. Только единицы ухитряются выстоять в неравной борьбе, но и их победа имеет отчетливый горький привкус... О подростках, находящихся в зависимо-





сти от родителей и педагогов, нечего и говорить: они обречены. Редкие случаи счастливых «школьных» браков возможны только с чьего-либо благосклонного и, в общем, мудрого разрешения...

Конечно, мы с Пашей не подчинились после первых окриков, конечно, продолжали свои конспиративные встречи у третьего помойного бака второй подворотни налево, но грянули экзамены – мои, его, потом опять его... Встречаться стало все труднее и труднее, и, как водится, мужчина устал первым, а мне пришлось смиряться. Смиряться и плакать, как это делали все от века женщины, хоть раз любившие...

Мы увиделись вновь два года назад – как это принято говорить, случайно. Оказалось, что одна из многочисленных знакомых Даши-художницы была замужем именно за ним, в перестройку переметнувшись из инженеров-конструкторов во владельцы сети мелких магазинчиков. Она побывала немножко его женой, прихотив мужа к посещению Дашиной мастерской – и развелась, раздружившись заодно и с Дашей. А Паша остался в редких, но постоянных приятелях, особенно ценимый и приглашаемый за то, что не раз и не два покупал у нее акварели, не зная, с каким подарком идти в гости к другим людям... Я появилась в мастерской, когда Паша был уже прочно разведен, заматан бизнесом и подсажен на алименты. Мне он каждый раз радовался, как ребенок, непринужденно болтал со мной на все темы, не касаясь лишь прошлого – считая его то ли не заслуживающим внимания, то ли, наоборот, чересчур болезненным для лишних прикосновений. Несколько раз он даже звонил мне, и разговоры всегда сводились к тому, что на днях нужно обязательно где-то встретиться и «посидеть», но в следующий раз мы опять «сидели» на очередном празднике у Даши... Внешне Паша заматерел, еще более порусел, возможно, благодаря объявившейся красивой густой бородке, внутренне обогатился и расцвел, похоронив маму и приняв Православие, чем несказанно порадовал бы бабу Таню, доживи она до этого известия...

И вот, примерно раз в месяц собираясь на настоящее или придуманное торжество к Даше, я всегда втайне надеялась, что именно этот день и станет поворотным, и мы, наконец, договоримся о конкретной дате «посидения», а потом жизнь моя, сделав аккуратный круг, замкнется на самом начале, доказав правильность избранного пути. Чтобы окружающим уж слишком не бросалось в глаза, что я «высиживаю» Пашу, я всякий раз старалась при-



хватить с собой еще кого-то – для того и требовалась мне теперь Агата.

На беду ли, на радость пришла в мою взбалмошную голову эта идея, знать мне было тогда не дано. Но в одном я не ошиблась: Паша Волынский и на этот раз не изменил своему правилу приходить в Даше на любое подобие праздника, вновь не преподнеса даже маломальского сюрприза, потому что название ее духов благоразумно заучил еще в самом начале знакомства, и, как обычно, имел в кармане известную сумму, чтобы купить у Даши оригинальный подарок третьему лицу.

Агата пришла со мной в длинном черном платье, порадовав, верно, маму проявлением хорошего вкуса, но забыв сообщить ей, что намеревается потом набросить поверх него васильково-голубую тунику и надеть свое единственное уцелевшее, но впечатляющее кольцо; ее волосы, разбросанные по плечам, отливали старым золотом – словом, было на что посмотреть, богема оценила.

Перецеловавшись, как это у них принято, со всеми, я оглянулась на Пашу, ожидая увидеть его обычный виновато-радостный взгляд, обещающий, что уж на этот-то раз... Паша не смотрел на меня вовсе, а почти что неприлично не спускал глаз с Агаты и даже не посчитал нужным – или попросту не мог – скрыть свой восторг, восхищение, преклонение перед этим внезапно явившимся божеством. И Агата, раз глянув в его сторону, уж больше не отвела взгляд, который сразу смягчился и просиял не характерной для нее доверчивостью. «Не знакомы ли они, часом?» – мелькнула у меня мысль – до того сердечно, по-родственному сразу заговорили эти двое... Нет, они никогда раньше не видели друг друга – просто, наверное, именно вот так выглядит любовь с первого взгляда, когда кому-то доводится наблюдать процесс со стороны...

У меня вдруг тупо заболела голова: ничего удивительного, когда мало спишь, много думаешь и нерегулярно питаешься. И мне как-то враз неинтересна стала Даша с ее посредственными картинами и аляповатыми поделками, вся эта нудная, в общем, толпа гостей – людей из абсолютно чуждого мне растрепанного мира – захотелось пойти домой, налить себе чаю из трав, посадить на колени дымчатого кота Масона (названного так одним из моих бывших мужчин за неистребимую склонность к тайным подлым деяниям), тоскливо поиграть пультом телевизора... Я забилась в угол дивана со стаканом чего-то невкусного в руках – и боль тя-





жело перекатывалась в затылке, как ленивые бильярдные шары, гоняемые рассеянным кием...

А та пара видела только друг друга но, как будто поддерживая неважный общий разговор, мужчина и женщина говорили один в другого, впитывая кожей и мгновенно забывая все слова. Этот разговор был из тех, которые потом совершенно невозможно вспомнить, потому что он ведется вовсе не ради обмена информацией и, если бы вообще его можно было перевести с сокровенного на русский, он звучал бы примерно так:

- Знаешь, я, кажется, могу тебя полюбить и уже понемножку начинаю это делать.

- И я тоже. Интересно, у нас действительно получится что-то путное, или опять выйдет обман и самообман?

- Очень хочется верить, что путное, потому что мне пришлось пережить столько разочарований, что больше я, наверное, не выдержу.

- И я. Я тоже стою у самого края, и – видишь – изо всех сил пытаюсь схватиться за тебя.

- А я – за тебя. И за надежду, что у нас с тобой выйдет, не как с другими.

- А вдруг не получится? Ведь однажды такого можно и не пережить.

- Не в этот раз. Посмотри мне в глаза – видишь ты в них свой близкий конец?

- Нет, я вижу свое близкое счастье. А ты – ты дотронься до моей руки – и сразу поймешь, что она создана для твоей.

- Мне страшно.

- А мне, думаешь, нет? Вдруг опять...

- Нет, нет, даже не начинай думать так: на этот раз все сложится.

- Конечно. Конечно. В любом случае, от такого не отказываются. Давай попробуем?

- С радостью. Давай.

При этом разговор может идти и о войне африканских племен, и о вчера дочитанной книге, и о скачке цен на нефть. Слышала я такие разговоры. Видела их и сама вела – каждый раз одинаковые. А потом – пробовала. И ничего у меня не получалось, оттого я и сидела в уголке с головной болью и стаканом, подслушивая и подглядывая чужой сговор, который ничем не перебеешь.

Они ушли раньше меня – очень прилично: «Ой, я совсем забыла, что мне завтра рано вставать на собеседование... Ничего-





ничего, не беспокойтесь, дойду... Вот Павел любезно согласился меня проводить, чтоб я не заблудилась в ночи, ха-ха... Так приятно было познакомиться, такой милый дом, такие прелестные картины...». («Да скорей бы уж убраться из этого гадюшника и по-настоящему поговорить с тобой наедине! Надо же, какой прилипчивый здесь народ!»). «Ладно, не обижай их, они хорошие, если б не они – мы б не встретились... Так, спокойно, уходим, не гляди по сторонам, а только на меня...».)

Я подсела к столу и стала выпивать и закусывать.

\*

Весь следующий месяц работа моя, все чаще прерываемая нетерпеливыми звонками Олега, состояла в том, чтобы доказать ему и себе, что преступника найти невозможно. Из сотрудников твердого алиби не имели только Жанна и Агата. Но заподозрить Жанну в постановке хитроумного спектакля мог только параноик. Потому что самостоятельно она могла бы изобрести только бумажный самолетик. Теоретически мог существовать сговор имевших алиби сотрудников с кем-либо со стороны, но чтобы установить это, нужно было иметь хотя бы намек на то, в какую именно сторону смотреть. Я проверила героев наиболее острых, по мнению Олега, публикаций за последние три месяца – и лишь напрасно стоптала крепкую пару сапог: если концы где и болтались – то под черной водой. Гибель Лили при любых обстоятельствах, получалась случайной, потому что еще за пять минут до того, как она осталась ночевать в редакции, об этом точно не знала даже она сама. Предположить, что убийца, поджидавший удобного момента, день и ночь караулил у дома и, увидев, что девушка не уехала со своим любовником, дал ей время заснуть покрепче и воспользовался счастливым случаем? Можно, конечно, и не такое придумать, но уж очень это будет смахивать на трагедию Шекспира – или на современный бульварный детектив. В конце ноября у нас с Олегом состоялся тяжелый разговор. Выхода из себя, он требовал преступника для немедленной расправы «в течение трех дней и ни минутой позже». Мне тоже надоело строить из себя послушную исполнительницу барской воли потому только, что весь месяц он меня исправно подкармливал.

- Вы чего, в конце концов, хотите? – вспыхнула я, отставляя ресторанный чашку. – Вы хотите поймать настоящего преступника или отвести душу хоть на ком-нибудь?





Он пробормотал что-то, опустив глаза, и до меня дошло, что через месяц с лишним ожидания он уж и согласился бы на второе, если бы не считал себя культурным человеком.

- Тогда возьмите на растерзание Агату: у нее одной нет алиби, потому что мать и дочь не в счет, есть мотив, потому что вы ей плюнули в душу, – и достаточно интеллекта. Положите ей горячий утюг на живот – и она сознается. Потом можете ее хоть повесить с чистой совестью. Вам такое правосудие нужно? – наехала я на беззащитного мужчину.

- Не нужно... Я никогда ее не подозревал... – промямлил Олег, видимо, еще не избывший остатков вины перед ней.

- Я тоже не подозреваю, – честно сказала я. – И даю вам девяностодевятипроцентную гарантию: это посторонний. Любой. Кому не понравилась газета или вы лично. Не в наших силах проверить пятимиллионный город, если нет конкретных подозреваемых...

На том мы и расстались: он – с дополнительным разочарованием в раненом сердце, я – со среднего достоинства суммой в кошельке. Можно было дойти, наконец, куда я месяц назад не дошла: в терпеливо ожидавшее агентство – и начать исполнять прямые обязанности, например, слежку за неверными мужьями. Просто и прибыльно. Но на душе было тошнехонько.

Теперь-то Паша звонил мне каждый день, и мы даже два раза «сидели» в кофейне – вот только предметом наших разговоров было не совместное счастливое будущее или, хотя бы, несчастное прошлое, а Агата, Агата, Агата. Мы говорили о том, как непонятно она посмотрела в минувший вторник, словно хотела что-то сказать и не решилась. Что бы это могло значить? – рассуждали мы. О том, каким странным голосом говорила в среду утром по мобильному – и быстро смяла разговор. Не начинает ли она разочаровываться в Паше? О том, как задумалась вдруг на целых две минуты и тридцать восемь секунд, так что совершенно не слышала тех интересных вещей, что Паша ей сообщал. Может, она задумалась о другом мужчине? А вчера, когда они гуляли в Александровском саду, у нее зазвонил телефон, и голос в нем был мужской, – и Агата так мило болтала с этим мерзавцем, а потом сказала, что звонил начальник из той новой газеты, куда она, должно быть, скоро пойдет работать. Разве с начальниками так разговаривают? Ведь Агата – моя подруга, это я ее привела к Даше – должна же я знать? А может, я что-то скрываю, и у Агаты еще кто-то есть? Может, она с ним, с Пашей, только развлекается,





чтобы потом посмеяться? Хотя, когда они вместе, так не скажешь. Когда они вместе – это упоительное счастье, только вот она все грустит и задумывается, а вообще – так очень ласковая. Всякие такие мысли его одолевают только после того, как он проводит ее домой. Надо же с кем-то поделиться, а с мужиками знакомыми нельзя – засмеют за то, что из-за бабы такие сопли пускает. Хорошо, что ему повезло иметь женщину-друга, меня то есть. Всегда и выслушает, и посоветует, и подскажет что путное...

А что я ему подсказать-то могла? Что до дня рождения Даши видела Агату ровно три раза – и всякий раз как подозреваемую в поджоге и убийстве? Что и подозревать-то ее я перестала не потому, что кто-то или что-то доказало мне ее невиновность, а исключительно из-за непрофессиональной личной симпатии, убедив себя неопровержимым: «Не может быть, потому что не может быть никогда». А еще лучше было бы заявить ему, что Агата, вообще-то, любит другого, – и раз еще месяц назад любила, то едва ли так быстро прошло. Потому и грустит, и задумывается, оттого и выглядит подчас странно: пытается женщина утешиться с приятным человеком, убеждает себя из последних сил: «Этот – хороший, а тот – дерьмо. Мне гораздо лучше будет с этим, а того лучше забыть», – но не получается...

Горестно смотрела я, подперев щеку, на взволнованного Пашу и ясно видела, что являюсь для него отличным представителем среднего пола, – будто и не было никогда клятв над Финским заливом, следов от поцелуев на шее, пронзительных прощальных взглядов... Да полноте, были ли, с нами ли? Разве эта женщина и этот мужчина, ловко опрокидывающие рюмку за рюмкой, оба заматеревшие, – ни ее девушкой не назовут, ни его молодым человеком – разве это те же два трепетных подростка, сплетавшие в мороз горячие пальцы без варежек? Страшно это. Когда рассказывают про себя самого, например, шестнадцатилетнего: «Я сказал, я увидел...» – на самом деле про того свежего ребенка говорят, а не про бородатого дядю. А то дитя – его нет больше: умерло, переродилось, как бабочка из куколки... Куколка – разве то же, что и бабочка, хотя она, яснокрылая, могла бы сказать, если б умела говорить и думать: «Когда я лежала в...» (где там куколки лежат?). Да разве это она лежала?

Глупо мне было бы цепляться за то, что ушло безвозвратно двадцать лет назад, даже несолидно: следовало вести себя поумному, по-взрослому, снисходительно успокаивать тревожного





бесполого друга: «Ну, мало ли, о чем задумалась, может, о дочери – откуда ты знаешь? Что по телефону голос странный – так об этом вообще забудь: телефон – самая ненадежная вещь в мире. Разговор скомкала – так может, у нее молоко убегало... А что ей мужской голос звонил – так извини, ты что, абрек, что ли? Не на цепь же ее сажать, она журналистка, привыкай к широкому кругу общения... А уж как она там посмотрела – так сразу надо было спрашивать, что женщине надо, а то вдруг она по нужде хотела, а сказать стеснялась?».

Видела Агату несколько раз и я, и не избежала изнанки, то есть, разговора о Паше. Но не было у нее лихорадочного блеска в потемневших глазах, она как будто даже худела без всякой диеты – точила, грызла ее изнутри с трудом изживаемая любовь, не желала покинуть теплый угол в захваченной душе, уступить его любви другого качества, враз изменившей бы и всю душу. Агату не тревожили мелочи вроде взглядов и намеков – меня поразила ее неизменная готовность к новому поражению, даже прямая подставленность под возможный удар. Она, вроде бы, и радовалась входящему в ее жизнь новому чувству, но как о чем-то само собой разумеющемся говорила о его неизбежном крахе:

- Вчера по делам занесло меня в район, где Паша живет. Иду и думаю: вот, через пару лет опять случайно здесь пройду и вспомню, что вон в том доме живет Паша, с которым все так красиво было...

Я удивилась почти до возмущения:

- Агата! Зачем ты говоришь так, будто не бывает по-другому! Словно ваше расставание уже решено! Ведь все у вас хорошо, он в тебя влюблен без памяти – зачем ты сама себе кличешь беду?!

Агата бросила на меня изумленный взгляд (мы шли с ней рядышком по внутреннему бульвару, по мокрому бурому ковру опавших листьев):

- А разве может быть иначе? – убежденно произнесла она. – Все ведь кончается. И это кончится. А как же?

Я просто обомлела: передо мной стоял человек, без всякого надрыва и, по-видимому, давно похоронивший любые надежды. Почти крикнула ей:

- Как?! А как у людей бывает?! Полюбили друг друга, поженились, стали неразлучны, а потом и детей родили... Состарились вместе и умерли в один день!!

Агата принужденно рассмеялась:





- Ну, ты скажешь... И придумать же такое! У меня семья. Какое там замужество, когда дочь еще поднимать и поднимать, на ноги ставить, мать больная... Надо же выдумала – умрем в один день...

- Слушай! – трезво рассудила я. – Миллионы женщин с детьми выходят замуж второй раз и растят их вместе с мужем. И мать тут ни при чем – она только обрадуется счастьем дочери. Не громозди ты сложностей там, где их нет! Пашка хороший мужик, надежный и... денежный, кстати...

Агата пожала плечами, и на лице ее отразилось некое непробиваемое выражение.

- Спасибо, – сухо сказала она. – Пыталась уже. И вспоминать не хочется...

Близкой подружкой Агата мне не была – лишь симпатичной приятельницей. Особых прав, даваемых дружбой, я на нее не имела, поэтому и не настаивала на своем, мельком подумав лишь: «Не зря Пашка мечется. Роль ему эта женщина отвела незавидную. А впрочем, кто знает, может, она отгадет, передумает...».

Не мое, в конце концов, было дело: слишком уж сильно начала я уставать от всей этой непрошенной истории. Пора было потихоньку отколупывать лишний нарост, приставший к жизни, как всякий подводный сор и ракушки к килю корабля. Удалению подлежала ненужная больше Даша с ее никчемной кампанией, глупо вынырнувший из прошлого не в то время и не в том месте Павел Волынский, и уж тем более Агата – вообще случайная бабочка, залетевшая в одинокое окно; Олега с его незадачливой редакцией я уже отсекала навеки. У меня начиналась новая и интересная, как я надеялась, жизнь, в нее следовало входить, слегка почистив перышки и умывшись талой водой. С неделю я односложно отвечала им всем в трубку, изо всех сил давая понять, как я оглушительно занята и как мне неинтересны их разговоры, – и действительно, их назойливое присутствие в моей жизни столкнулось с мертвой точкой и вяло покатило в направлении небытия.

\*

Я не рассчитывала увидеть кого-нибудь из них еще раз, и даже когда чей-то образ контрабандой проникал мне в сознание, я прикладывала усилие, чтобы сразу же стереть его, не позволив задержаться и на лишний миг. Я упорно гнала от себя внутренние вопросы на тему: «Как там они – встречаются или нет?» – и вос-





поминания обо всех этих людях являлись каждый раз все менее объемными и все утрачивали и утрачивали жизненность, пока не превратились в размытые бесцветные тени на задворках моего бытия, тем более что неизбежные новые впечатления слой за слоем ложились на них каждый день.

В ту ночь, по-глупому проколовшись и упустив что-то, казалось, заподозривший объект, я, несмотря ни на что, поднималась к себе домой по лестнице в довольно терпимом настроении. Новая работа оказалась не настолько в тягость, как старая, ноги удалось не промочить, потому что из казенной машины я так и не вылезла, а в холодильнике ждал отличный кусок свинины, который осталось лишь кинуть в гриль, вытащить и съесть – а потом весело спать, спать, спать на сытый желудок... Ну, а объект и завтра никуда не денется...

Завернув на свой пролет, я вскрикнула: на подоконнике спиной ко мне сидел кто-то в длинном пальто с поднятым капюшоном – и при звуке моих шагов он начал медленно и оттого страшно оборачиваться. Обернулся – и оказался Агатой, вновь не с первого взгляда узнанной. Во-первых, лицо ее было сплошь пятнистым и отечным, как после долгих обильных слез, а во-вторых, эта выраженная интеллектуалка была вульгарно и невозможно пьяна. Я отпрянула, мысленно прокляв ее в первую очередь за то, что она лишила меня чудного, весь вечер в темной машине предвкушаемого ночного бессонного часа в тепле и относительно покое. Вторым моим чувством стало недоумение: зачем? Зачем она, имея довольно широкий круг знакомых, что ей гораздо ближе и по душе, и по месту жительства, притащилась пьяная именно сюда – со своими скучными, отжившими во мне проблемами, чтобы навязать их постороннему человеку? И деваться было совершенно некуда: в самом деле, не в вытрезвитель же ее сдавать – значит, придется возиться... Все эти мысли галопом проскакали в голове, пока я наблюдала, как Агата довершает оборот, сквозь свой личный туман опознает меня и силится подняться навстречу. Что-то неприятно агрессивное мелькнуло в ней – в похабно кривой улыбке, в нетрезвой нарочитости позы, непослушном, никак на нужный тон не попадающем голосе...

- Ну, что, дождалась? Дождалась своего счастья, а? Дождалась, Пинкертонша хренова... Теперь, глядишь, и медаль дадут... – пьяно, но неожиданно связно заговорила она.

Испытывая некоторое отвращение, я по неискоренимой при-





вычке крепко взяла ее за плечо:

- Пойдем, я уложу тебя проспаться.

- На том свете просплюсь, – странно легко вырвалась она. – Или на нарах... Вызывай давай... Вызывай свой обезьянник на колесах. И можете грузить... Загружать... Давай, вызывай, чего стоишь! – и она начала похохатывать тем странным смехом, какой бывает, когда человек хочет не смеяться, а кричать вперемешку с сухими рыданиями.

- Хватит! – ощерилась я, зная, что твердость в данной ситуации – единственное верное средство сократить нервотрепку. – Либо заходи ко мне и ложись спать, либо убирайся. Мне тут в четыре часа утра возиться с тобой не резон.

- Бо-оже, как гро-озно! – ничуть не смутилась она. – Вот дура, ей счастье само в руки прет, а она кобенится... Каждый день тебе, что ли, в тяжких преступлениях сознаются?

- В каких преступлениях? – мгновенно насторожилась я.

- Да в поджогах там всяких, например... В убийствах... – и слезы вдруг разом хлынули ей на щеки двумя небольшими водопадками.

- Что ты несешь! Не ври! – сраженная внезапным прозрением, я не придумала в этот миг ничего лучше.

- Да я, я, не сомневайся! – не то рыдала, не то хохотала Агата.

У меня внезапно включился благоприобретенный рефлекс и, повинувшись ему, я метнулась к своей двери и ловко затолкала трясущуюся и неожиданно чугунно тяжелую женщину в квартиру. У двери в прихожей она грохнулась в кресло неподъемной массой, и мне сразу стало ясно, что вынуть ее оттуда до утра не удастся, и все ее неотложные откровения слушать я буду именно здесь, на площади два квадратных метра. Агата запрокинула голову и жестко оскалилась, вообще утратив похужесть на саму себя.

А потом она начала говорить – говорить вещи странные и нелогичные, которые следовало бы списать на ее невменяемое состояние. Но непостижимым образом где-то в самой сердцевине моей отдельно от меня самой мыслившей души сложились в безошибочную картину ранее неосознанные составляющие Агатиного бытия – и я начала верить ей абсолютно, верить с первых же слов и, что удивительно, – сочувствовать. У меня даже не возникало явных вопросов, потому что ответы на те, что гипотетически могли бы возникнуть, приходили парадоксально раньше самих вопросов. И я слушала, стоя над Агатой в странной полусогбен-





ной позе, – слушала и верила...

- Ты думаешь, я каяться пришла? – медленным чужим голосом говорила она, непривычно растягивая слова. – А вот и нет – и не жалею ни о чем ни минуты... Я пришла, потому что испугалась. Смешно, да? Испугалась, когда уже нечего бояться, когда даже ты, Пинкертонаша... Самая умная из всех голов, об этом думавших, послала все подальше... А ведь я шанс тебе давала! Отличный шанс – с крючком этим и скважиной... Специально... А ты не поняла... ничего не поняла, Пинкертонаша моя... Так что не тебя даже с мозгами твоими – сама себя я испугалась... *Потому что поняла, что обрадовалась.* Обрадовалась, что Лилька погибла, радуюсь с первого дня и по сейчас, и не похоже, что когда-нибудь перестану... Просто в том, что редакцию сожгла, я бы ни за что не призналась. И никто бы меня не вычислил – даже ты... А вот Лильку я правда убивать не собиралась и даже не знала, что она там... А как узнала, что она себе мозги вышибла – *и полчаса совестью не промучилась.* Не боролась с ней даже, с совестью, сразу рукой махнула, поняла, что бесполезно. И с тех пор хожу я *счастливая*, потому что за меня кто-то отомстил, а я, вроде бы, и не при чем. Но ведь это же – ненормально... Ненормально радоваться, когда помирает двадцатилетняя девка – *для этого же выродком надо быть.* Вот именно: вы-род-ком. И это *она меня родила. Вы-родила...* Нежный мой удав... Ласковая моя крокодилица... Исключительная моя мамулечка... Знаешь, хоть бы она меня раз обругала... Ударила, что ли... Как это было бы естественно! А она – прямо в душе у меня поселилась... Окопалась... Гиперлюбовь развела – да такую, что и взгляд в сторону считался предательством... И любовью меня всю жизнь дубасила... Знаешь, как это страшно, когда тебя твоей любовью шантажируют? Когда ты все время ходишь, как по проволоке, потому что шаг вправо-влево – нет, тебя не погубит... А сделает палачом... И все время ты ходишь и думаешь, ходишь и думаешь – не взглянуть бы как-нибудь не так! Слово какое-нибудь неоднозначное не ляпнуть – потом не отмоешься... Ты думаешь, она меня любит? Эльку любит? Черта с два! Она хочет, чтобы мы с Элькой вдвоем составляли ее счастье, каждую минуту! И знаешь, Эльке, сучке, нравится! Только и слышно с утра до ночи: бабулечка да бабулечка! И со мной разговаривает бабкиным тоном – строго так, знаешь, и серьезно – да требовательно как! Но вежливо и тихо... И та же укоризна в детском голосе: мол, крест у меня такой, мама





непутевая попалась... Непутевая мать и непутевая дочь... Ребенка собственного я ни минуты не воспитывала... Потому что едва она заговорила, как стала второй моей матерью! *И уже вдвоем они принялись воспитывать меня.* А я оказалась – неподдающаяся... Жизнь личную построить, замуж выйти... Ага, сейчас, так мне и позволили! Поэтому, как школьница, бегала на свиданки, дома отмазы придумывала – лишь бы укоризны этой не видеть и не слышать... А уж с тех пор, как проклятые мобильники изобрели, – как на цепи хожу... Каждые полчаса звонок: ты где? что ты там делаешь? зачем тебе это надо? когда вернешься? поскорей нельзя? ты ведь понимаешь, как мы по тебе скучаем? Конечно, понимаю, ядрена вошь! Кто еще вокруг них двоих споет и спляшет? Подругу даже – что там мужика! – в дом привести не могу – сразу: что ты в ней нашла? зачем она нам? тебе что, с нами плохо? И вот, с Олегом вдруг завертелось – как в сказке, все по самому-самому серьезному... Он, небось, наплел, что, мол, легкое увлечение? Врет, потому что сам себя стыдится... А на самом деле, на брак всерьез намекал, с Элькой познакомиться рвался! Я не форсировала: спугнуть боялась, потому что он был – спасение мое! Я, правда, этого не осознавала, только чувствовала! Его не нужно было – приводить. К нему предстояло – уйти, с Элькой. Уйти в большую квартиру и самостоятельную жизнь. Без двух тревожных маминых глаз, провожающих каждый мой шаг! Я трепетала... Как лист трепетала, пылинки с него сдувала... Все желания исполняла... И вдруг – Лилечка! Цветочек... сраненький... И откуда только упала на мою голову! В первый день, как только она вошла и он ее увидел, у меня сердце сразу упало: каюк. Потому что рожа у него как стала в тот момент идиотской – да так и оставалась, пока Лилечка не померла... Марина! Меня он просто – вычеркнул! Будто меня и не было! Будто ничего – никогда! – не было! И, главное, из-за кого?! Хоть бы из-за женщины! Какой-нибудь роковой соблазнительницы! А тут... Да таких же... раком до Москвы не переставить! По копейке пучок! А он на нее, как на икону, молится – и всех заставляет, ничего не стыдится! Не то, что замечания по работе ей сделать нельзя было – за косой взгляд в ее сторону выговаривал! «Почему это вы на нашу девочку так странно смотрите, ребенок смущается...». Марина, ты можешь представить, что именно я чувствовала?! Ведь все у меня рухнуло – все, до самой последней надеждышки! Сначала убеждала себя, что блажь у него, седина в бороду... Потешится и вернется... Куда





там! Сердце в раскаленный утюг превратилось... Я, поверишь ли, за город одна уезжала, в лес или в поле... Заходила подальше – и выла! Если б услышал кто – очурился бы со страху... По часу выла, по два, по три... Выкручивало меня – думала, не переживу... А *эта* дома: что-то ты совсем мало нам внимания уделяешь, дочка... И губки – гузкой... Куриной... Кстати, представляешь, я грудки куриные люблю... с крылышком... Но *она* считает, что это самое полезное в курице, и одну половинку Эльке дает, а другую сама... жрет. Нет, она бы отдала мне, конечно, если б я попросила, но с таким лицом: для родной дочери ничего не жалко! Поэтому я уже пятнадцать лет притворяюсь, что люблю исключительно окорочка... Да, так о чем я... О гузке! А дома – вечная гузка, ха-ха! Я вообще соображать перестала, думала, что только одно меня успокоит: если я погашу эту Алькину тупую улыбочку! Хоть уколю его малость, раз уж нет шанса причинить такую же боль, как он мне! А как? Он же неуязвим! И она тоже... За ручку ходят, сволочи, а я каждый день помираю... Чтоб, думаю, сгорела проклятая газета – тогда хоть видеть бы его ежедневно не пришлось! Раз подумала, второй подумала, и вдруг: а что, и сгорит! И с тех пор, знаешь, я письма ему строчить перестала... С наслаждением перебирала способы поджога – да такого, чтоб на меня и тени не упало... Три недели думала – и надумала, просто до гениальности... Я тебе расскажу... Даже нарисую завтра... Оделась во все черное и пошла, дождь лил сплошной, как специально... Для отхода одолжила машину у подруги, которая к газете отношения не имеет... Поставила ее за два квартала, чтоб никакой связи... Все чисто – и вы ничего не нарыли, а на крюк вообще внимания не обратили... Идиоты. Будто крюки у каждой двери приспособачены. А утром узнала про Лильку. Узнала и обрадовалась. *Потому и пришла, что если чужой смерти радуешься – значит, совсем конченный ты человек.* Конченный. Так что сажай меня, Марина, сажай, не сомневайся... А то я не выдержу и Олегу похвастанюсь, а он из меня кишки вынет. Не то, чтоб их очень было жалко, а *не хочу, чтобы именно он.* Другой бы – и глазом бы не моргнула – но не он... Понимаешь? Лучше уж к ментам... Те хоть просто посадят... Лет на пятнадцать...

- На пять, – машинально поправила я. – Убийство непреднамеренное, да и эту статью вообще могут не навесить, потому что ты не знала и не могла знать, что в помещении есть человек.

- Всего на пять?! – расстроилась еще пьяная Агата. – Жаль...







Вернусь – еще маму родную застану.

Я подпрыгнула:

- А тебе что, ее не жалко?! И дочь свою не жалко?! А Пашу, наконец? Он же тебя любит! И ты его, как мне казалось!

- Этих? – подняла она брови в неподдельном удивлении. – Моих домашних бультерьеров? Шутишь, да? А Пашу... Да, жалко... Но уже не помочь... Ничему не помочь. Потому что после *той* радости любая другая не получится...

- Послушай, – присела я на корточки, легонько теребя ее. – В любом случае, в милицию не сейчас идти... А утром...

- ...проснусь и передумаю? Никогда, – вдруг совершенно трезвым голосом закончила Агата. – Это же мой последний шанс... на свободу.

И она правда не передумала. Утром была бледная, серьезная и, как оказалось, свой ночной монолог дословно помнившая. Поэтому все мои попытки отговорить или облегчить ее участь отклонила грустно и твердо. Единственное, на что согласилась, – это чтобы я пошла с нею в наше отделение, и то лишь потому, что опыта «сдаваться», как и подавляющее большинство граждан, не имела никакого.

В полдень тяжелого, мутного и жутковатого декабрьского дня – жутковатого тем, что, казалось, не прошло еще и утро, а уже начинает смеркаться – мы подошли с Агатой к дежурному в моем бывшем отделении. Я сразу узнала в нем балагура и балбеса Митю и порадовалась, потому что с ним наименее мучительно было иметь дело.

- О, Маринка! – расцвел он в безответной улыбке.

- Это Агата Аркадьевна Нащокина, – без тени дружеских эмоций сообщила я. – Она пришла писать явку с повинной...

Даже в вестибюле было холодно, темновато и влажно, и я нестати заметила вдруг, что Агадино тонкое коричневое пальтишко сегодня совсем не по погоде...

## Эпилог

Суд над Агатой состоялся довольно быстро, ввиду ее активной добровольной помощи следствию. Связей Олега не хватило для того, чтобы удушить ее в тюрьме, а моих – хватило, чтобы ее не заставили под пыткой подписать умышленное убийство. В суде Олег не здоровался со мной за то, что я не отдала в его руки



виновницу гибели возлюбленной, – но, имея в виду мое милицее-ское прошлое, мстить мне за это не покушался. Агате вменили – и она согласилась – умышленный поджог, причинивший ущерб в крупном размере, и убийство по неосторожности. На суде она держалась со спокойным достоинством и получила свои семь лет строгого режима, не дрогнув и краешком губ. Мать ее не появлялась в суде и никогда не посещала дочь в следственном изоляторе. Только Эля однажды дождалась момента, когда ее маму вывели из здания суда к машине. Девочка с воплем рванулась было к ней, Агата схватилась за сердце, но конвоиры мгновенно прекратили чувствительную сцену.

В изоляторе мы навещали ее по очереди с Пашей. Ему удалось убедить Агату креститься, и она охотно согласилась, выбрав себе простонародное имя Агафья. Священник подарил ей маленькую Библию и молитвослов с Псалтирью. После осуждения Агату этапировали к месту отбывания наказания, и, прощаясь с нами, она строго-настрого запретила нам писать ей, слать посылки, навещать и вообще пытаться как-либо облегчать ее жизнь. За все это время Агата ни разу не плакала – наоборот, лицо ее выглядело гораздо более живым и одухотворенным, чем до тюрьмы. С нами она держалась вежливо, но суховато, и явно видно было, что она тяготится нашей заботой. Через решетку она попросила у Павла прощения за причиненные страдания – и он заплакал, а она улыбнулась.

Хлопоты об Агате и волнения незаметно сблизили нас с Пашей, и вскоре мы оба, давно переболев страстями на стороне, стали жить вместе. Спустя год, уже ожидая ребенка, поженились – круг замкнулся.

Я больше не работаю, готовясь к рождению малыша, но магазинчики моего мужа приносят небольшой стабильный доход – пока хватает, а там как Бог даст.

Об Агате мы никогда не разговариваем, а если вспоминаем – то каждый про себя.

*2006 г.  
Букино*





# Умереть трижды

*...скажи ми, Господи,  
кончину мою и  
число дней моих, кое есть?  
Да разумею, что лишаюся аз?*

Пс.38, ст.5

## Глава 1

Она не знала, от чего проснулась, – но сразу подумала, что это беда ее разбудила. Обе сложенные ладони оказались зажаты между колен – так она спала в детстве, с тех пор, как мама вышла замуж за Вадима Федоровича. Глаза открывать не стала – да и бесполезно это было: Женя знала, что, лежа, как обычно, на правом боку, не увидит ничего, кроме смутных узоров старенького стенного ковра прямо перед носом – родного, правда, коврика, единственной вещи, унесенной двадцать пять лет назад из материнского дома, – дома, который у нее отняли... украли...

Господи, до чего же больно.

*Знаешь, те люди, в общем, правы, заподозрив в тебе воровку, – правы по сути, а не по существу. То есть, хоть телефон ты, конечно, не крала – но ты ukrала много чего другого. Например, мою совесть. И жизнь моей дочери.*

Проклятый телефон лежал прямо у выхода из метро, в грязной кашнице снега, и, наверное, лежал всего несколько секунд, потому что пусть и в полупрозрачных пока сумерках, но не заметить его было невозможно – так ярко выделялся блестящий красный с золотом брелок в виде удивленного котенка. И, главное, телефон был жив и здоров, поэтому, стоило только Жене откинуть крышку, как он сразу приветливо, будто окошко в ночи, зажег свой пестрый экранчик с большеглазыми мультяшками. «Девчонка, скорей всего, потеряла, – жалостливо рассудила Женя. – И сейчас, наверное, рыдает где-нибудь, ищет... Да и от родителей влетит: игрушка-то не из дешевеньких...».

*Если бы тебя не было – она бы не умирала сейчас. Она не могла бы умереть, потому что любовь исцеляет все, даже рак. И этой любовью я ее держал – и удержал бы. А ты вмешалась – и разорвалась эта наша с ней нить. Тогда уже оборвалось – все.*





Она быстро добежала до подъезда, взлетела в лифте к своему гнезду (шестой этаж направо, комната, кухня, кладовая и совмещенный санузел, зато хозяйка невредная и с инспекцией появляется не чаще раза в квартал – да и та сводится к чаепитию) – и, аккуратно поставив аппаратуру прямо у двери, достала найденный телефончик из кармана. Н-да, креативная штучка, нечего сказать; богатые, наверное, родители, раз ребенку такой купили... Год назад она бы могла бы со спокойной совестью оставить его себе, но теперь... Теперь она все время словно предстояла перед Игнатом, как он сам – перед Богом. Возможно, потому Церковь и вменяет женщине в обязанность носить платок – и не только в храме, как теперь считается, – а вообще всегда: платок олицетворяет собой мужчину, всегда стоящего между женщиной и Богом, к Которому жена смеет обращаться только опосредованно... Подумала, что окажется просто недостойной любимого человека, если присвоит чужую вещь, как бы временно ей доверенную...

*Твое появление – и ее рецидив, разве это могло быть случайностью? А я, дурак, подумал: что я, монах, что ли? Столько лет... Должно же и у меня что-то быть, хоть вскользь, для себя лично...*

Впрочем, у нее самой телефон, его подарок, лишь чуть-чуть рангом пониже, а видом, пожалуй, и покрасивее, потому что не обклеен пестрыми детскими наклейками и не увешан брелками... Выйдя в список контактов, Женя сразу вызвала «М». Ну, так и есть: совсем, наверное, маленькая девочка, потому что у нее не «мама», а «мамулёнок». Она усмехнулась – надо же... Интересно, а папа у нее кто? Телефон выдал: «папулька». Она произвольно пробежалась по списку – и промелькнули Ленок, Шурёнок, Манюся, Юрасик, Лизунчик – во рту у Жени непроизвольно выделилась слюна, словно туда сунули большой кусок чистого сахара. Но вдруг высветилось сухое и деловитое «Деканат» – и дикостью своего несоответствия всему предшествующему даже испугало. А вот еще: «Кафедра английского». Господи, это что, студентка, что ли?! Не может быть – инфантильность какая-то уж запредельная... В любом случае, это приключение с телефоном, раз уж совесть не позволяет его умыкнуть, надо заканчивать, потому что на полу в коридоре полная камера срочных заказов... Женя решительно вызвала «мамулёнка» – и почти сразу услышала в трубке голос настолько не похожий на внутренний образ, возникший перед мысленным взором ранее, что пришлось испытать еще одно



маленькое потрясение. Голос прозвучал холодно и настороженно – вероятно, женщина уже знала, что телефон потерян, и ничего хорошего не ждала.

- Видите ли, – заторопилась Женя, стремясь скорей разделаться с неприятной миссией. – Телефон этот я нашла у метро, и теперь хочу вернуть его законному владельцу, а это ваша дочь, как мне кажется. Поэтому не могла бы она позвонить на свой номер – и мы тогда договоримся, где нам встретиться...

Удивительно, но голос «мамулёнка», вернее, целой «мамуленции», как теперь была уверена Женя, ничуть не потеплел от ее приветливости:

- Ждите, – высокомерно бросила та. – Вам позвонят, – и дала отбой.

Позвонили действительно скоро, но только не восторженно лепечущим девичьим голоском, а твердым мужским баритоном, за которым сразу же встало твердое лицо в дымчатых очках, а под ним – строгий галстук на белоснежной рубашке, а на заднем плане мелькнул открытый ноутбук с бесконечными столбцами скучных параграфов.

- Это у вас, как я понимаю, находится телефон Юлии? – голос прозвучал, как у прокурора, толкающего обвинительную речь.

Подсудимая Женя сжалась в комок и залепетала:

- Да, понимаете, я нашла его у метро, и подумала что...

- Поговорим после. У какого метро вы сказали? Отлично... Вы не очень далеко от него сейчас, надеюсь? Так вот, будьте там через четверть часа, а мы с Юлией подождем у касс.

Женя попыталась собрать остатки своего растоптанного достоинства:

- Послушайте, вы как-то странно разговариваете – и вообще, я ждала не вашего звонка, а... – но подозрительная тишина на другом конце провода заставила ее взглянуть на экран – и убедиться, что на нем уже снова глупо таращились розовые покемончики.

«Ну и хамство... – она едва перевела дыхание. – Им же делают любезность – и хоть бы одно слово благодарности, не говоря уже о том, что время и место встречи выбирать должна была я!». Было очевидно, что через четверть часа ей предстоит приятно пообщаться с высокомерной сволочью, которая примет все как должное и спасибо не скажет! Надо, полагать, это и есть «папулька» из дочкиного списочка... Наказать его и не прийти, пусть попрыгает? А с другой стороны, лучше уж сразу свалить все это



с плеч и забыть... Да подавитесь своей драгоценностью, подумайте... Тем более, что на душе и так гнуснее некуда... Женя снова влезла в скинутую было куртку и сунула ноги в ботинки.

*А оказалось, что Господь только потому и позволял мне удерживать Машу, из последних сил здесь держать, что у меня никого больше не было, я в кулаке себя зажал – и как личность, и как мужчину – и остался только отцом. Но ведь и Он – Отец, вот и принял жертву.*

У касс, как всегда, толклась куча народу, но *их* она сразу узнала – вернее, его. Никакой это был не «папулька», а парень едва-едва за двадцать, но уже выработавший нестандартный личный стиль, сознательно выросший в него и, по всему виду, решивший твердо его придерживаться всю жизнь. Его ровесники зимой – поголовно в шнурованных ботинках или теплых кроссовках, спортивных куртках и без шапок (у некоторых они в кармане, сразу сдернутые с головы, как только упомянутая голова исчезла из виду беспокойной бабушки). Этот носил строгое длинное пальто и утепленную модную кепку для старшего возраста – очки, правда, стекла имели прозрачные, зато глаза сквозь них смотрели такие, что лучше б их прятать, – сверлили, как два алмазных буравчика, так и казалось, что взгляд уже выходит из твоего затылка. Девушка, неуверенно жавшаяся к молодому человеку, была отчетливо похожа на овцу – прямо даже неудобно делалось. Говорят, каждый похож на какое-то животное, – но не да такой же степени: тут хоть в детском спектакле играй без грима. Широко расставленные золотистые испуганные глаза, бледные кудряшки, неправильный длинный, но тупой носик... И носила она дубленку цвета овечьей шерсти – с кудрявыми отворотами. Интересно, это специально или по глупости, пронеслось в голове у Жени, когда она, не отдавая себе отчета в своем выборе, уверенно направлялась именно к этой паре. В конце концов, чего она так боится? Телефон принадлежит не парню, она просто сейчас отдаст его этой девушке, развернется и уйдет, а с ним даже разговаривать не станет...

- Здравствуйте, это ведь вы – Юлия? И это ваш у меня, наверное... – но договорить Жене не дали.

Строгий парнишка вдруг вцепился ей в плечо такой акульской хваткой, что показалось, что на теле сомкнулись не пальцы, а челюсти. С довольным и даже торжествующим видом парень обернулся к своей по-прежнему безучастной овце (во всяком случае, ее лицо до сих пор не продемонстрировало никакой мимики):





- Я же говорил – а ты не верила! Она тебя якобы никогда не видела, а сразу узнала! С чего бы это? А? – и к Жене: – Ну что, попалась, деловая ты наша?

- Да вы что... – забормотала, тщетно пытаясь вырваться, обескураженная Женя. – Пустите сейчас же... С ума вы, что ли, сошли...

Она вообще перестала понимать происходящее – вдруг очень захотелось позвать на помощь, но она как-то постеснялась, и решила пока выпутываться своими силами:

- Молодой человек, вы что, спятили? – осмелев, продолжала биться она.

Но, ничуть не ослабляя хватку, он одним толчком бросил Женю к стене и прижал там – да так, что сопротивляться оказалось бесполезно: при каждой попытке вырваться, он несильно, но ощутимо ударял ее спиной и затылком о мраморную стенку. А девушка все стояла молча, и выражение ее лица, про которое уже хотелось сказать «морда», оставалось парадоксально бесстрастным.

*А ты вторглась – жестко так, напористо – и я сломался. Сломался и Машку погубил. Ты не думай, я тебя не так уж и виню: человек ты... извини... дремучий... живешь инстинктами. Надо – бережь...*

- Быстро давай телефон, – прошипел парень Жене в лицо. – И только попробуй мне что-нибудь... пожалеешь...

Готовая отделаться от него хоть на каких условиях, Женя шустро вытащила мобильник из кармана, а мучитель сразу его захватил и сунул девушке:

- Твой?

Та кивнула и спрятала вещь в карман. Казалось, инцидент был исчерпан, но очкарик все еще не отпускал жертву.

- Да уймите же вы его, наконец! – сдавленно пискнула пытаемая, еще не сообразив, нужно ли привлекать внимание общественности к своему явно незавидному положению.

Девица коснулась рукава садиста, и Женя впервые услышала ее тихое блеяние:

- Пойдем, Юрасик... – овца оставалась овцой до конца.

«Не фигу себе Юрасик...» – промелькнуло в голове у попрежнему прижатой к стене Жени, которую Юрасик выпускать и не думал.

- У тебя вообще есть какое-нибудь правовое сознание? – вдруг сердито спросил он девушку. – Ты понимаешь, что ты предлага-







ешь? Вот сейчас я ее отпущу, а она отряхнется и снова пойдет воровать у людей телефоны, а потом вымогать у них деньги. Она же этим живет, пойми! Да если бы не я, ты бы ей уже все содержимое кошелька отдала!

В глазах у Жени потемнело, она задохнулась, внезапно прозрев: ах, вот оно что! Эта гнида еще смеет... Она собрала все свои силы и толкнула его в грудь с криком:

- Да ты ненормальный! Урод! Придурок! Да пусти ты, черт!

Но «черт» держал ее крепко, и от толчка не пошатнулся, а неожиданно пришел в полный восторг:

- А вот к нам и лексикон наш родной вернулся... Ничего, у нас свой есть... Юля, мы сейчас ее сдаем в милицию, и ты пишешь заявление, что она выкрала сотовый из твоей сумки, а я подтвержу. Пусть посидит годик-другой, может, потом неповадно будет... Эй, товарищ милиционер! Или, гм, как там сейчас положено... Господин полицейский!

От контрольного пункта лениво отделилось маленькое чернявое существо с темными щелками инородческих глаз, но в серой форме и при дубинке, которой оно сразу же начало недвусмысленно поигрывать, приближаясь к месту разборки.

Жизнь начала превращаться в отчетливый и уродливый кошмар:

- Да вы обалдели все!! – уже со слезами вскричала Женя. – Что я у вас украла?! Я вам, наоборот, принесла!! Что вообще здесь происходит?!

Гастробайтер в сержантских погонах приблизился; его плоское коричневое лицо, тоже ассоциировавшееся только с мордой, осталось каменным, как у хакасской «бабы», но в глубине мутных черных глазок вдруг сверкнула звериная, азиатская свирепость – и что-то вроде порочного предвкушения... Он козырнул:

- В чем дело, гражданин? – гнусный акцент, резанувший слух, не оставлял никакой надежды, кроме отчаянья обреченных.

- Этот парень на меня напал! – первая выкрикнула Женя, стремясь перехватить инициативу.

- Да, напал, – как ни в чем не бывало, согласился молодой человек. – Я был вынужден это сделать, чтобы задержать воровку.

- Я ничего у вас не украла! – завопила Женя так, что все прохожие оглянулись. – Девушка, да скажите же правду!!

Овечьи глаза остались невозмутимо золотистыми. Юля прошептала:





- Не знаю...

- Да чего ты не знаешь! Чего тут не понять?! – возмущился ее парень. – Она, товарищ милиционер... полицейский... Вытянула у моей девушки из сумки дорогой телефон, а потом позвонила и стала вымогать деньги, чтоб его вернуть.

- Да ты псих!!! – сорвалась в рыдания и визг Женья. – Я ничего такого не делала! Не слушайте его, он же просто сумасшедший!!!

- Я – юрист... Студент юридического факультета, – веско сказал юноша. – Меня этим не проведешь, я такие вещи с ходу просекаю. Прошу вас ее задержать, а мы сейчас напишем заявление. Да, Юля?

- Да нельзя же быть такой идиоткой! Вы у кого на поводу идете!! – переключилась на девицу Женья, смутно чувствуя, что в этой ситуации Игнат вел бы себя как-то по-другому, да и вообще не оказался бы в такой ситуации. – Как вы можете ни в чем не виновного человека оговаривать по указке этого подлеца!

- Я не знаю... – с прежней твердостью повторила девица; похоже, это был девиз ее жизни.

- Ах, ты еще выражаться! Ну, ты у меня по полной огребешь, тварь! – обиделся юрист.

- Господи, да что же это творится! – беспомощно всхлипнула Женья, полностью потерявшая точку опоры.

*А я оказался слабаком. Может, оттого, что превознесся, иногда в душе начинал себя аскетом считать. Досчитался. Кругом виноват и дочь упустил.*

- Так, граждане, в комнату милиции... полиции... – запуталось и само существо с блестящими пуговицами и акцентом, – пройдите для разбирательства.

Разбирательство оказалось недолгим.

- А ну выворачивай карманы! Салман, давай, помоги ей! – коротко приказал другой полицейский, по наружности славянин, но заплывший салом так, что на задворках сознания у Жени проплыло: «Пацук...».

И тут же бесцеремонные коричневые руки, поросшие колючим, как проволока, черным ворсом, уверенно зашныряли по карманам ее расстегнутой куртки, а потом, без всякого смущения пройдясь спереди и сзади по джинсам, деловито нырнули и под свитер, жестко шуранув по голому телу. Женья вдруг вспомнила, что где-то слышала, будто личный досмотр имеет право производить только лицо одного пола с досматриваемым. Она гадливо





рванулась прочь:

- Меня имеет право обыскивать только женщина!

- А ты проверь, каого он пола. Разрешаю, – хмыкнул Пацук, и ответом ему стал дружный регот, донесшийся из «обезьянника», где один до бесчувствия надравшийся обитатель размеренно блевал, лежа на полу лицом вниз, а два других повисли на прутьях клетки, с интересом наблюдая бесплатный спектакль; их хари (уже не морды, морда ведь и у льва – исполненная благородства) выражали живейший интерес и одобрение.

Добычей Салмана стал второй телефон – Женин собственный, подарок Игната, и оттого бесценный. Тот просто отдал его Жене, когда ее старенький черно-белый «Сименс» скончался от старости. Ему самому коллеги преподнесли это роскошное коричнево-золотое чудо ко дню рождения – но, так как в их учительском коллективе вторым мужчиной был только физрук, то и вещица, как ни крути, а выглядела более дамской игрушкой, чем надежным мужским телефоном. Для Жени он был почти живым существом, хранившим любимый голос, любимую музыку, любимые фотографии, краткие, но драгоценные эсэмэски... Даже прикосновение к нему чужих рук казалось чем-то оскверняющим – и Женья попыталась выхватить его обратно:

- Это мой, не трогайте!

- Ее, как же! – вскипел Юрасик. – Чтоб у такой проשמандовки такой сотовый! Два как минимум сегодня хапнула! Так, давайте бумагу, товарищ дежурный! Юля, вот бери ручку, пиши...

Юля вяло опустила на стул, придвинула лист бумаги и явно в ожидании диктовки подняла свое неподвижное лицо на Юрасика.

Жене стало вдруг все безразлично, потому что в какой-то отдельный очень ясный момент, она поняла, что неожиданно попала в безвыходную ситуацию, как в петлю, где ей уготована пассивная роль жертвы, и любая попытка бороться лишь ту же затянет веревку. Например, вот возьмут они, запретят ее за непослушание в обезьянник к этим двоим, а сами выйдут... Ничего невозможного... Со дна ее души поднялась густая тягучая муть, обволокла сознание, притупила чувства. Сейчас эта тупая овца (а как иначе ее назвать) напишет все, что велит ей ретивый охранитель законности и правопорядка – и тогда... Нет, не может быть, это же просто бред какой-то, спит она, что ли?

- ...обнаружила, что моя сумка расстегнута, и в ней отсутствует принадлежащий мне телефон марки... Юля, какая у него мар-





ка? – уже бойко диктовал молодой человек.

- А ничего, тетка, губа у тебя не дура, – между тем вертел Пацук собственный Женин телефон. – У кого, интересно, вытянула?

- Я могу доказать, что он мой, – неожиданно спокойно произнесла Женя. – Я все знаю, что в нем есть, и могу рассказать.

- Н-да? Ну, рассказывай, послушаем, – сальный старшина открыл стол, небрежно швырнул туда телефон и шумно задвинул ящик.

Подпершись кулаком, он с насмешливой внимательностью уставился задержанной в переносицу наглыми бесцветными глазками, утонувшими глубоко в пухлом, как пуховая подушка, лице.

- Ну... – растерялась Женя. – Вы его достаньте и смотрите на экран, а я буду говорить, что там...

- Что достать, не понял? – весело поглядел ей в глаза старшина.

- Мой телефон... – и Женя снова начала терять ощущение реальности.

- Какой телефон? Салман, ты видел здесь какой-нибудь телефон?

- Не видел. Вот только рабочий наш всегда здесь стоял, – невозмутимо отозвался его напарник, глумливо постукивая себя дубинкой по ладони.

- ...и моя мать сообщила, что мой мобильный телефон находится у неизвестной, которая готова вернуть его на определенных условиях и предлагает встретиться в метро. На месте встречи незнакомая женщина начала вымогать у меня деньги за возвращение телефона и была задержана моим другом... – упоенно продолжал вещать юный правовед.

- Да вы что... – задрожала с ног до головы Женя. – Да вы... какая же вы милиция... Вы и сами воры похлеще... Вы не полицейские! Вы – полицаи! Я жаловаться буду... – и она попятилась прямо в сторону «обезьянника».

- Никшни, дура, – вдруг раздался оттуда хриплый жесткий шепот. – Уроют ведь...

Женя осеклась, но в ее голове билась единственная отчаянная мысль: ограбили! Просто и цинично ограбили! И телефона – единственной своей настоящей ценности – она больше никогда не увидит...

Лицо ее задергалось: так всегда происходило при сильном волнении, что тик волнами проходил по лицу, и унять его не было никакой возможности...





- Ну вот, теперь здесь подписывай! – удовлетворенно выпрямился Юрасик, но возникшую паузу вдруг заполнило короткое, как вздох: «Не знаю...».

- Не валяй дурака, – забеспокоился он. – Ты, главное, подписывай, а все остальное я беру на себя.

- Я не знаю... – еще решительнее выдохнула девушка. – Пойдем, Юрасик...

Молодой юрист смущенно кашлянул, оглянувшись на совсем другим занятым милиционеров, пробормотал:

- Секундочку... Я сейчас улажу... Юля, на минуточку, – и схватив «овечку» за руку, мгновенно выскользнул с нею за дверь.

На него никто даже не обернулся – «полицайи» с непонимающим видом переглядывались, притворно обеспокоено шаря по столу и издевательски повторяя: «Какой телефон? Откуда телефон?». Любительский спектакль доставлял участникам явное удовольствие, и при этом они демонстративно не смотрели в сторону задержанной.

- Каселёк, каселёк, какой каселёк! – заголосил вдруг один из трезвых обитателей клетки, заглушая другого, быстро и грубо шепнувшего:

- Вали быстрее... Вали, пока они не передумали... Пропадешь, дура, плюнь на трубу... Беги...

И Женя подхватила и побежала – вон из комнаты, мимо спиной стоявшего Юрасика, припершего Юлю к стенке и что-то горячо ей втолковывавшего, вверх по ступенькам, бегом по подземному переходу, по мартовской слякоти среди еще не начавших серьезно таять, но почерневших и пожухлых сугробов в человеческий рост, по узкой мокрой тропинке к зеленой точечной «хрущевке», на шестой этаж – и только захлопнув за собой тяжелую стальную дверь, сползла по ней и беззвучно заколотилась на полу.

*Теперь уже исправлять поздно, но и к тебе, сама, понимаешь, я больше ничего не чувствую... В смысле – ничего хорошего. Убил бы, если б это помогло поднять Машику. Да не поможет, поэтому живи.*

Когда немного отпустило, она словно представила себя со стороны: немолодая и не молодящаяся (не на что), в джинсах, ботах и пуховике, добытых на Троицком рынке, с отросшими темно-серыми корнями давно не подкрашиваемых (некогда) волос, с руками без маникюра (это можно бы, да Игнат не одобрит), с неприятно подмалеванным лицом... Конечно, почему бы не





обратиться к ней на само собой разумеющееся «ты», безошибочным чутьем определив, что по статусу она их неизмеримо ниже, не обшарить мерзкими лапами, не обвинить в воровстве, не ограбить безнаказанно и самоуверенно... Такие – всегда жертвы, потому что они и есть – «народ». Масса. Население. Вот Ариадна, сестра Игната, – разве не вернула бы она найденный телефон? Конечно, вернула бы, и таким же способом, что и она, Женя. Только этот гнусный Юрасик вежливо бы благодарил ее, толкал бы в бок свою странную Юлю – мол, скажи спасибо – а, прощаясь, еще бы и ручку, может, порывался поцеловать... А она бы с неподражаемым своим простым достоинством милостиво кивнула – и ушла королевой. А вроде бы внешне – ничего особенного... И одета далеко не из бутика – но носит все так, будто на ней мехов и бриллиантов на миллион долларов... И полиция бы, если б до них дошло, конечно, перед ней бы оробели, с мест повскакали и долго извинялись, называя по имени-отчеству... Говорят, с этим нужно родиться, а научиться нельзя. Неправда это! Просто надо изначально оказаться в нужном кругу, среди такой простой и непонятной интеллигенции, – и постепенно впитаешь их манеру держаться... Даже в том жалком состоянии, в котором они сейчас, – при нищенских зарплатах, подневольные, лишенные естественных своих привилегий, – эти люди как-то ухитряются внушать к себе уважение. Вот и она, Женя, перед ними трепещет и все время боится ляпнуть не то или сесть не так... Им-то хорошо, они свои университеты закончили, за таких же замуж повыходили, а ей не дали... Не дали стать учителем, как мечталось, читать не дали, сколько хотелось, – потому что оказалась она тогда лишней... Нет, только не сейчас об этом вспоминать... «Не делай добра – не получишь зла» – классная поговорка, ничего не скажешь. Выбросила бы она из Юлиного телефона сим-карту в помойку, наклейки бы дурацкие отлепила, память стерла – и вот бы готовый запасной крутой сотовый, а то и продать в тяжелую минутку... А теперь лишилась и драгоценного подарка, и в материальном убытке осталась – хорошо, цепочки золотой на шее не было – как пить дать бы тоже отобрали, ублюдки узкоглазые... Под горячую руку она и «Пацука» к ним причислила – да и то сказать, его щелки мало чем отличались... Сволочи, сволочи, сволочи! Думают, если простой человек, так можно ему в душу плевать... Ничего, найдется и на них управа...

Вечером ждал Женю еще один удар, последний. Без звонка





– а как теперь дозвониться-то, когда городского в помине нет, а мобильный отняли – пришел к ней Игнат, уже четвертый день не появлявшийся, а в трубку холодно обрывавший. Он едва порог переступил, она к нему на грудь – и жаловаться: на ретивого Юрасика, на тупоголовую овцу, на наглых полицаев, на страшных мужиков из клетки – но он вдруг жестко отстранил ее, и в кресло, как обычно, не сел – обреченно прислонился к шкафу и прикрыл глаза:

*- Да провались он, твой телефон. Все. Маша умирает. Забрали наверх, в реанимацию, говорят – агония. И меня выгнали. Черт бы тебя побрал, Женя. Черт бы тебя побрал.*

И ей стало страшно, потому что именно от него, именно таких слов услышать не мог никто и никогда – в смысле, услышать всеу, в переносном, то есть, смысле. Потому что раб Божий Игнатий был человеком верующим не напоказ, а взаправду, и за словами следил, любя повторять: «От слов своих оправдаетесь, и от слов своих осудитесь», – и раз уж произнес что-нибудь, значит, знал, что говорит, и желал – именно этого. И именно ей, его единственного в жизни любившей...

*Сидеть на месте. Я знаю, где выход.*

Неужели это были последние слова, которые она от него в жизни услышала?!

К ночи ослепнув от слез, отупев от разламывающей головной боли, она и сама не помнила, как повалилась, оглушенная, в холодную постель, как постепенно забылась в слезах, – и вот, среди ночи мощным толчком разбудило ее горе, чтоб ей не спать, терзаясь, до рассвета...

Женя открыла глаза и увидела, что ожидала, что всю жизнь, просыпаясь, видела: белый на бордовом (теперь, в темноте, черном) узор еще бабушкиного ковра. Она тупо уставилась на него, стараясь сообразить, что это за странный, будто знакомый запах в комнате, – и вдруг ее стукнуло: это же «Карбофос» – средство против тараканов, такое же точно, каким мама боролась с ними в их квартире – там, в Веселом Поселке! Игнат уверял, что обонятельная память – самая сильная из всех, что знакомый, но забытый запах, внезапно вернувшийся, может воссоздать в памяти человека целые картины прошлого, даже заставить услышать звуки! Это, определенно, был именно тот запах. Но откуда ему взяться? В их доме нет тараканов, да если б и появились, – кому бы пришло в голову морить их допотопным средством, имея ши-







рокий выбор современных и действенных? Да и откуда бы его взять? Значит, это просто похожий запах, но прав был Игнат: вот уже, как живое, встает перед ней мамино молодое лицо – она навсегда осталась молодой, умерев в тридцать три года не так, как в церкви просят – «безболезненно, непостыдно, мирно», – а прямо наоборот: мучительно, срамно и скандально... Мама на кухне раскатывает тесто и улыбается, тыльной стороной белой от муки кисти пытаюсь согнать со лба прилипшую светлую прядь, и говорит, как всегда, смущенной скороговоркой: «Самый плохой брак – это лучше, чем «разведенка», поняла? Самый плохой – а нам с тобой еще повезло, поняла?». Ой... Давно это было... Лет двадцать пять... Сколько ей сейчас, ровно сорок? А тогда было около тринадцати... Двадцать семь, значит... И маме оставался еще целый год... Тот день... Зефир, сухое вино... Если б тогда знать...

Вдруг Женю словно обдало морозом изнутри, и она замерла, как подстреленная: прямо за стеной, в коридоре ее съемной квартиры будто бы стукнула не входная, а какая-то другая, внутренняя, дверь (которой не было вообще!), и мимо Жениной двери прошлепали громкие ленивые шаги, будто кто-то, не таясь, шел в кожаных тапках. Отчетливо щелкнул выключатель, и в крошечной тишине звонко зажурчало – а потом грянул водопад из туалетного бачка! Снова щелчок – и вот уже шаги лениво направляются обратно, минуя ее комнату, и повторился стук второй – отсутствующей! – двери. Выпучив глаза, не моргая и не дыша, Женя пялилась в ковер. «У соседей... – пронеслось в голове. – Просто тихо, как в могиле, и от этого все кажется ближе...». Но сердце, подпрыгнувшее к горлу и затрепетавшее было там, вдруг оборвалось и рухнуло вниз. Сквозь вязкую, почти парализующую дурноту, сразу навалившуюся, как тяжелая засаленная перина, она вновь слышала шаги – легкие, женские – и не у каких не у соседей, потому что она уже готова была их узнать...

## Глава 2

Ему вдруг пришло в голову: каждому обреченному или, что хуже, тому, у кого обречен близкий человек, кажется, что все остальные – остающиеся – бессмертны. Еще до того, как бурный рецидив подкосил и в неделю свалил Машу, уже уверенно казавшуюся ему спасенной вопреки всем научным прогнозам, он все чаще ловил себя на незаконных мыслях. Например, когда его





девятиклассники решали очередной тест, а он вынужденно бездельничал за столом, для порядка оглядывая склоненные головы (правильно ли склонены, не под стол ли глядят на шпаргалку с датами), его взгляд вдруг замирал на какой-нибудь отдельной девичьей голове. Вот взять, например, Колоскову эту. Троечница по всем предметам, что свидетельствует о тотальной неодаренности, личико обыденное до тошноты, папа – водитель маршрутки, мама – швея в мелкой фирме, сама – сонная, мутноглазая... Пятнадцать лет девчонке, а фигурой – табуретка табуреткой, волосы выкрашены полосато, как это теперь у них принято, да неухожены, давно не стрижены, прыщи подростковые выдавлены и замазаны дешевым гримом, отчего просвечивают зловеще-фиолетово... Сейчас в контрольной опять все перепутает – да ей и плевать на это, родителям тоже...

Но! Есть огромное жирное «но». Он у них классный руководитель с пятого класса (такое уж у него правило: взял класс, так веди до выпускного, какой Бог дал, на других не спихивай) – так вот, Настя Колоскова с тех пор ни разу ничем не болела. Прогуливала – это да, а вот по болезни никогда не отсутствовала. Иммуитет несокрушимый, никакой грипп ее не брал, ни свиной, ни обычный, кишечная палочка, раз отравившая в походе весь класс (после утомительного перехода под палящим солнцем воды из чистого на вид ручья напились, дуралеи), перед организмом Колосковой оказалась бессильна. Зубы – как у негритоски, ни одного кариеса за всю жизнь (и это он досконально знал: к зубному ведь тоже ему с ними раз в год таскаться полагалось), и первый нескоро случится... Все это – наследственность, обеспеченная многими десятками крепких поколений крестьян, на воздухе трудившихся и потреблявших экологически чистую пищу, возвращенную на пахучем навозе. Словом, здоровая свиноматка, предназначенная быть родильной машиной, раз в год давать приплод в виде таких же здоровых детенышей – будущих солдат, рабочих, обслугу – и производительниц.

Но эту задачу свою, милостивым Богом перед ней поставленную, выполнять она, конечно, не станет: она же не деревенская клуша, как ее прабабка из деревни Большие Говны, родившая четырнадцать, из которых одиннадцать похоронила в младенчестве (все правильно: то знаменитая «глотошная», выкашывавшая враз все детское население волости, то коллективизация с раскулачиванием), а современная городская девушка, которой счастье при-





валило оказаться в стольном Петербурге. Не четырнадцать она, конечно, родит (здесь же русской печки нет, чтоб туда детей вповалку складывать, а в малогабаритной квартире куда ты их денешь, да без огорода и коровы – чем накормишь), а максимум троих от мужа-трудяги, автослесаря, например. Вон, за Вовку Малова через три года выскочит. Тот фамилию свою до сих пор через «о» пишет, раз и навсегда усвоив, что русский язык – таинственный и недоступный, и если «а» слышится, то пиши «о» – не ошибешься. Зато машину – любую, от «Мерседеса» до «Запорожца» – может голыми руками разобрать-собрать, играючи устранив любую неурядицу, да еще и приладить попутно изобретенное мелкое новшество, до которого иноземные инженеры еще лет десять всем концерном не додумаются... Он Малов, и сейчас со своей «Камчатки» на Настю слишком пристально поглядывает – о женитьбе не думает, конечно, куда ему, когда гормоны бурлят, как вода в чайнике, и ему бы сейчас Колоскову эту просто завалить на диванчик. Но дремучий инстинкт подсказывает его взгляду верное направление: туда, где в перспективе – продолжение здорового сильного рода... Ведь не смотрит же на хрупкую болезненную Лизу Сокольскую, красавицу с глазами-блюдцами, что после девятого в музучилище при Консерватории уйдет: тот же инстинкт давно шепнул: не по Сеньке шапка! И вот, найдется в свой срок подходящий диванчик, да «по залету» распишутся, родят бутуза и заживут не хуже других. Пока до второго дозреют – аборт пять-семь Настя сделает, но ведь без этого как? Сначала же надо честь по чести обустроиться, киноцентр купить приличный, с колонками такими, «чтоб соседи умерли», да чтоб плоский экран в полстены, компьютер со всеми прибабасами, технику, какую положено, да машину покруче, чтоб за продуктами по субботам выезжать не стыдно, да мебель, чтоб как в любимом Настькином сериале, да еще ковры и хрусталь – это уж само собой... А там можно подумать и о втором-третьем, если Настьке от работы отдохнуть охота припадет... Ну, Сам-то, конечно, автомехаником, она где-нибудь кассиром в супермаркете – ну, может, курсы закончит какие-нибудь, в ЖЭКе сядет бухгалтером... Любовь? А чо, он же все в дом несет – значит, любит; хороший мужик, работающий, чего еще желать? Вечера – перед телевизором, дети – на компьютере играют, как положено. А чо? Пускай развиваются. В выходные летом – на шашлыки, зимой – в торговый комплекс всей семьей, там и затариться как следует, и для детей аттракци-



оны... Четвертого родить? Да они чо – кролики? Куда нищету-то плодить? Аборты дешевые, чик – и готово. Словом, укрепится типичная российская семья, образцовая, даже, можно сказать. Оба с генами своими неперешибаемыми доживут лет до девяноста пяти. Она превратится в жирную сварливую жабу, мучение детей и внуков, он в морщинистого истукана, с утра до ночи плящущегося в какой-нибудь экран... Потом их без всяких долгих слез и отпеваний кремируют, замуруют в стенку – и отправятся они в давно им уготованный уютный уголок ада, где еще наивно удивятся – а чо они такого сделали-то, ведь жили же как все, никого не трогали...

Самое страшное, что Колосову эту с Маловым он так, наугад из своего стоячего пруда под названием «9-В» вытащил, для примера... А ведь таких – большинство подавляющее, даже задавляющее, и в принципе, хоть он и дара прозорливости не имеет, а примерную судьбу почти каждой посредственности из своего класса не хуже любого пророка предскажет. Это, конечно, без учета возможных форс-мажорных обстоятельств в судьбе каждого – ну, так на то он и не пророк.

Знал учитель истории раб Божий Игнатий, что мысли такие – настолько от христианских далеки, что заслуживает за них он сам не уголка адского, а мрачного Тартара, а через него – транзитом – прямо в геенну огненную на веки вечные. Но думать себе не запретишь, и, кроме того, почему Достоевскому можно, а ему – нельзя? Ведь и тот, когда думал, еще не знал, что он Достоевский, то есть, в том смысле, какой мы теперь в эту фамилию вкладываем. Думал, думал, додумался и не постеснялся увековечить: «Без Православия русский человек – дрянь». Сказал, как припечатал, и если в сторону отбросить всяческий гуманизм (который всегда сатанизм на поверку), то, самому подумав, приходилось соглашаться.

Спорить на эту тему было опасно – да и не с кем спорить. Близкие друзья под благовидными предложениями бросили его, еще когда пятилетней Маше был поставлен невероятный и неправдоподобный диагноз «острый лейкоз». Рассосались, как рубцы. Потому что когда случается то-то плохое, но поправимое, тут можно проявить умеренное сочувствие и поддержку, и, когда поправимое само поправится, вернуть все на круги своя. Но когда в перспективе – смерть чужого ребенка, то тут лучше особо со своим состраданием не соваться, потому что лечение заоблачно дорогое,



и как бы не пришлось иномарку или даже покрупнее что продавать, чтобы за сохранение своего человеческого лица расплатиться: ведь друг должен быть другом до конца... Так друзья Игната мужского пола самоликвидировались еще десять лет назад, и поговорил он на волновавшую тему раз с директрисой-литераторшей, казалось, мировой бабой, его ровесницей. А она ему вдруг чуть глаза не выцарапала: оказалось, ее бабушку, подпольщицу на оккупированной территории, немцы, допытав до бессознательного состояния, повесили. Никого она врагу не выдала, чем спасла целый огромный партизанский отряд, да еще и в морду главному гестаповцу плюнула кровью, хотя ее, можно сказать, разделали живьем. Да только писатель Фадеев в их село не приехал, геройский бабушкин подвиг не описал, поэтому посмертно ей не то что Звезды Героя, но и скромной медальки не дали. Да, так вот, и была та бабушка воинствующей атеисткой-комсомолкой, до войны создала и возглавила в районе комитет «Безбожник», лично срывала по домам со стен иконы и устраивала им красивые ночные аутодафе... Так, что, мол, она, по-вашему, Игнат Андреевич, «дрянь», так сказать, по Достоевскому? Ответить утвердительно означало сегодня же начать искать другое место работы, да хорошо бы еще без статьи в трудовой книжке, поэтому он ответил осторожно и, как потом, поразмыслив, решил, правильно:

- Нет, конечно, просто она, хоть уже и успела родить вашего отца, Марина Петровна, но была еще молодой, горячее, одурманенной пропагандой максималисткой. Но, конечно, крещеной, раз семнадцатого года рождения. Как, например, Зоя Космодемьянская, внучка священника. А родилась ваша бабушка в семье верующих хлебопашцев, причащавшихся, конечно, и ее, маленькую, в церковь водивших, – пока та стояла, разумеется. А благодать Божья – она не разовое понятие, а постоянное. Род праведника – а в том роду, может, все такие были – благословляется, уж не помню до какого колена, так что, скорее всего, и вы под это благословение попадаете. И что она, простите, просто по дурости под чье-то влияние девчонкой попала, – то Господь прекрасно знал, потому что видел ее хорошее чистое сердце. Потому и укрепил при пытках, послал мученическую смерть за други своя, и – там – я уверен, эта ваша «безбожница» венец носит... Вообще, думаю, если кто-то из нас вдруг, что маловероятно, правда, в Раю окажется, то очень удивится, встретив там некоторых лиц, по которым, как нам кажется, ад плачет. А может, и не найдет в райских кущах





тех, кому, думалось, туда прямая дорога....

- Надо же, говорит, как пишет... – криво усмехнулась директриса. – В церкви, что ль, научили?

- Не только... – уклонился Игнат, не желая распространяться на тему Великой Отечественной, которая его самого ставила в тупик.

На самом деле, невозможная, как ни посмотри, Победа, вопреки всему свершившаяся, в духовном смысле вполне оправдывалась. Красивую легенду о Митрополите Гор Ливанских Илии, якобы, прорвавшемся в начале войны к самому Сталину и научившего его, как выстоять, Игнат отвергал (с сожалением, правда) – именно за красоту, а рассуждал просто. Ведь те сражавшиеся против врага молодые люди, думал он, наследники не успевшей еще рассеяться благодати, лежащей на многих русских родах, были в подавляющем большинстве *девственниками и девственницами*. Повальные безобразия тому поколению были еще несвойственны, они начались со следующего. Чего не скажешь, кстати, о немецкой молодежи. А ведь кровь мученически убитых за правду девственников и девственниц – *вопиет к Небу об отмщении*. И отмщение не замедлило, только и всего... Про тех, даже выживших, еще нельзя было сказать «дрянь», хоть и Православия они уж не признавали: они еще по инерции хранили христианские обычаи и традиции – а вот когда выросли их дети, знаменитые «шестидесятники» – вот тогда и пошло-поехало...

В церкви Игнат тоже понимания не нашел. Их приход считался «правым», то есть, антисемитски-монархическим, где соответственно настроенные прихожане группировались вокруг молодого и страстного батюшки Сергия, celibата-женоненавистника, непримиримого врага демократии и евреев. Демократию, евреев и женщин он каждое воскресенье громил с амвона; случайно забредшие крещеные евреи исчезали из храма, прослушав первую же проповедь, а из женщин прижились только убежденные старые девы в полуботинках, да измотанные нуждой и рабским трудом многодетные матери – единственные две категории слабого пола, которые, по мнению, о.Сергия, с некоторой натяжкой и оговорками, могли быть когда-то в дальней перспективе допущены в Рай. Попытки женской самореализации в какой-либо другой области, кроме семейной, вызывали у священника глухую ярость, а пунктиком психического помешательства был женский платок – до такой степени, что необходимости вечно, даже в супружеской





спальне, покрывать голову платком и только платком (потому что шляпок, шарфиков и беретов Богородица не носила) он целиком посвятил не одну проповедь. Вторым пунктиком его была богоносность русского народа, а третьим – неизбежность восстановления Православного Царства с укладом жизни, законами и традициями образца не позднее семнадцатого века. Вот ему-то Игнат однажды возьми да брякни за трапезой:

- Сдается мне, что-то, батюшка, что мы замысел Божий насчет богоизбранных народов неправильно понимаем. Впадаем в тот же грех гордости, что иудеи в свое время. Думаем, что Господь *лучший* народ под Свою руку берет – а ведь это совсем не так, хоть на тех же евреев глянуть. А что, батюшка, если не лучший, а – *худший*? Чтоб его выправить, пока таких дел не наворотил, что и не поправишь? Про евреев и в Библии сказано – «народ жестоковыйный», потом Рим с Византией – так содрогнуться можно! Так может, и мы, русичи, богоносность не «хорошестью», а мерзостью своей заслужили? Вы в окно посмотрите – вон он, богоносец без креста, прошел... А нам подавай Царя Православного – не так же ли евреи Мессию ждали? Дождались – и что? А может, и наш будущий Царь – не из дольного мира, а из горнего, и все предсказания о нем мы по-земному, по-скотски, трактуем? Так же, как и евреи своего Освободителя ждали, думали, от Рима спасет... А мы ждем, пока наш спасет от евреев... Так чем же мы лучше, батюшка? Они – «богоизбранники», мы – «богоносцы» – а на деле-то, может, хрен редьки и не слаще?

После беседы с директрисой она Игната за бабушку с работы не уволила – зато после той трапезы пришлось искать новый приход, куда он пришел уже с вошедшей в сознательный семилетний возраст болящей дочерью Машей.

К тому времени жены у него не было уже шесть лет, по собственной его вине: просто в свое время сердцем принять надо было, что тридцатидвухлетнему увлеченному своим делом учителю, преступно «запавшему» на собственную выпускницу, следовало не скоропалительно жениться на девчужке восемнадцати лет, а зубы сжав, чувство свое перебороть. Он же, умом прекрасно понимая, что радостно вступает на широкую дорогу к трагедии, послушался глупого сердца, будто было ему и самому лопушистых восемнадцать. Расплата наступила даже раньше, чем он сам ожидал: через полтора года двадцатилетняя свежеиспеченная мама, сама, по большому счету, еще на долгие годы подлежащая







заботливому воспитанию и возвращению, спохватилась о своей «недогулянности» и, очертя голову, кинулась наверстывать упущенное. Очень скоро с новым избранником она оказалась в благополучной Европе, клятвенно пообещав забрать дочь, как только «устроится». Игнат возмечтал, чтоб она не устроилась никогда. Подленькая мечта, правда, не сбылась, но, устроившись вполне респектабельно, бывшая жена ребенка забирать не торопилась: видно не очень мечтал ее второй муж арийских кровей воспитывать чужую чисто русскую девочку. Последовало несколько резких телефонных разговоров, после чего счастливый отец почувствовал Машу своей неотъемлемой собственностью, позабыв на короткое время о том, что никому из смертных на этой земле никогда ничего не принадлежало...

Помогала ему сестра-двойняшка – единственная родная душа после смерти матери, воспитавшей их в одиночку. Она была уникальна, эта, наверное, последняя в России старая дева: в их поколении они еще попадались как исключение, в следующем же вымерли как класс. Совершенно не будучи поначалу религиозной, внешне симпатичная, светлоглазая шатенка Ариадна, тем не менее, отвергала возможность физической близости с мужчиной вне брака (скорей всего, попросту испытывая брезгливый страх, унаследованный от матери). Абсолютно естественно, что в конце двадцатого века жениться на ней на таких условиях никто не рискнул – и правильно, скорей всего, сделал: все эти нерешившиеся женихи потеряли, конечно, исключительного, преданного и надежного друга, но ведь не за тем же мужчины женятся! – и в этом смысле избежали они, конечно, ранней и обильной седины. Слово «любовь» для Ариадны с раннего девичества парадоксально являлось ругательным, невинный поцелуй на советском телеэкране с юности заставлял передернуться, а уж целомудренная постельная сцена в темноте и под одеялом вызывала припадок пуританского гнева и поток обвинений всего съемочного коллектива в «гнузости». Немудрено, что, на исходе третьего десятка уверовав в Бога и придя в Церковь, она стала одной из наиболее приближенных прихожанок о. Сергия. Имея высшее филологическое образование и владея двумя европейскими языками свободно и одним на уровне «читаю и перевожу со словарем», она презрительно отвернулась от всех широко распахнувшихся перед ней в перестройку дверей, решив протискиваться в пресловутые «игольные уши». Она предпочла участь домашней прислуги и



кухарки у обожаемого батюшки, гордо называя себя его «хожалкой», в церкви исполняла послушание уборщицы и свечницы, а иногда, почитая это за особое счастье и доверие, читала, стоя на солее, благодарственные молитвы по Святом Причащении. Прописанная в одной квартире с братом и племянницей, она почти постоянно жила в «келейке» в доме священника достаточно далеко за городом, причем Игнат, после памятного обеда с о.Сергием навсегда разругавшийся, случайно с изумлением узнал, что батюшка (не иначе, во избежание плотского соблазна для обоих) хожалку свою к месту работы в собственной иномарке не возит, предоставляя ей все прелести мотания в электричках, метро и автобусе, считая даже передвижение на относительно комфортной, но дорогой маршрутке для нее недопустимым баловством («смиряет» – была твердо уверена она).

Каменно надежная Ариадна, узнав о беде, постигшей их семью, примеру друзей не последовала. Это именно она в свои дневные свободные часы, пока Игнат учил истории нелюбознательных учащихся простой средней школы в спальном районе, а неизменный кумир ездил по трекам и политическим сходкам, возила Машу по врачам, процедурам и бесконечным анализам – и тут уж не таскала больную племянницу в общественном транспорте, а тайком от священника, подобной эмансипации не потерпевшего бы, садилась за руль братниного немолодого «Фольксвагена». Это она окончила краткосрочные курсы домашних медсестер и умела теперь делать любые самые сложные инъекции, овладела всеми приемами опытной сиделки. Это она с требовательным видом присутствовала на всех Машиных уроках, потому что та была, естественно, на домашнем обучении. Учителя, вынужденные практически бесплатно в таких случаях давать частные уроки, всегда норовят с надомниками халтурить – но под суровым оком Ариадны халява исключалась в принципе! Она сама занималась с Машей английским, выбрав его из трех языков, как самый необходимый, и однажды бурно разрыдалась перед Игнатом на кухне, передавая ему суровое мнение о.Сергия: детям, больным неизлечимыми болезнями, следует давать только обезболивающее, если нужно; для них лучше умереть до семи лет, чтобы получить возможность стать ангелами, а тяжелое лечение, способное лишь продлить их безрадостную жизнь на несколько лет, нужно не им, а эгоистичным родителям; в младенчестве, еще не задумавшись над понятиями жизни и смерти, умереть и морально



легче, чем в юношеском возрасте, до которого только мучительными процедурами можно ребенка дотянуть; в шестнадцать он уже будет задумываться о своей незавидной судьбе, сравнивать себя со сверстниками – и может умереть в гибельном отчаянье и ропоте на Бога; кроме того, больной раком ребенок оттягивает на себя излишнее внимание, которое лучше бы распределить между здоровыми и перспективными детьми, а иногда родители вообще отказываются от рождения других детей, потому что уход за безнадежным требует слишком много сил и денег... «Сразу видно, что у него нет своих детей... или любимых племянников, – смущенно сморкалась она в салфетку, сама испуганная той крамолой на идола, которую произносила. – Своего бы, небось, лечил до последнего, а под смерть чужого легко, конечно, теоретическую базу подводить...». «А вот и не факт, – содрогнувшись, подумал, но не сказал Игнат. – Он не из того теста, чтобы двуличничать. Он бы и своего без колебаний отправил – того... к ангелам, особенно, если б девочка... Интересно, это особая стойкость в вере или черствость фанатика? Хотелось бы знать, чем одно от другого отличается...».

О. Сергей вышел из простецов, и при любом упоминании о нем, Игнат вдруг вспоминал большую статью в журнале. Статья касалась зверств фашизма, и повествовала о том, как за связь с партизанами немцы уничтожили целиком большую деревню, а жителей кого расстреляли, а кого сожгли в здании сельсовета. В статье приводились и воспоминания выживших очевидцев – тех, кому удалось незамеченными убежать в отряд. И вдруг за картиной запредельного садизма врагов встала и другая, не менее страшная, поразившая Игната картина. Воспоминания всех уцелевших женщин были замечательно похожи и, в общем, выглядели, с вариациями, примерно так: «Та ж выбихгаю з хаты – а на хгряде уси семеро моих хлопцев вбиты лежа-ат... Та ж и мамка з ними... Я как захголошу-захголошу, та вдруг и думаю: тикать пора – та и побихгла, побихгла до партизанив...». То есть, женщина, выбежавшая среди ада стрельбы и огня из дома, видит на огороде семь своих застреленных детей-мальчиков и собственную мертвую мать. И самое страшное, что с ней произошло, – это она «заголосила», причем делала это недолго и неубедительно, потому что тотчас же спохватилась и, как ни в чем не бывало, побежала, спасая свою жизнь, к партизанам... У кого-то на «хгряде» лежали «дывчины и батько» – но суть от этого не менялась:





женщины оказались в партизанском отряде, где до прихода Красной Армии героически стирали и кашеварили, а после войны все повторно повыходили замуж и родили еще не одного и не двух «хлопчив и дывчин» каждая... «Это вот что – нормально? – терзался Игнат. – Есть же в психиатрии термин "эмоционально тупой"! А может, именно это и есть – нормально? Ведь родились же потом новые дети, значит, все в порядке, род продолжен? Теперь можно с эпическим спокойствием рассказать об этом заезжему журналисту... А рефлексирующая интеллигентка, оказавшаяся волею судьбы в подобной ситуации и немедленно умершая без пули фашиста от разрыва сердца на той же грядке или просто сошедшая с ума, – она в каком-то смысле была бы неправа перед Богом, слишком сильно любя тех, которые лишь временно ей доверены и кого в любой момент может призвать к себе настоящий Отец? Это же они, простецы, придумали: Бог дал – Бог взял...».

Может, и ему, Игнату, пора перестать рвать на себе волосы, и стоит взглянуть на дело с другой стороны, стороны Вечности и бессмертия? Больше не биться с заведомо непобедимой болезнью, тем более, Маша все равно «бросовый материал»: ведь род продолжить ей заказано, а иначе – для чего женщине и жить-то? Может, не будь он малoverом, – с невозмутимо-мудрым прищуром смотрел бы, как под наркотиками умирает ясноглазая девушка, в пятнадцать лет пишущая такие стихи:

*У воды дождевой, у сирени,  
У земли сорока островов  
Попроси молодого горенья,  
Крепкой крови, серебряных слов.  
Попроси о великой победе,  
Верной азбуке с буквою «ять»,  
Долгом вдохе, божественном бреде,  
Попроси дотерпеть, достоять.  
Но проходит пустая забота,  
Тень струится над левым плечом.  
Отражается в зеркале кто-то  
И не просит уже ни о чем.*

О, Господи, не мог он на это пойти – и Ариадна не могла, в этом единственном пункте утвержденного о. Сергием списка ясных взглядов на жизнь с ним не соглашаясь... Десять лет они вдвоем





бились за то угасающую, то неярко вспыхивающую жизнь девочки, не допуская и мысли, что свободное владение английским ей вовек не пригодится, что аттестат зрелости со сплошными пятерками никогда не придется отнести в Университет... Но вдруг за это время ученые найдут способ лечения рака – хотя бы именно этого рака! «Не найдут», – подсказывал из глубины души кто-то, осведомленный обо всем. «Пошел ты», – невежливо отвечал ему Игнат – и вот уже четыре года отвечал все увереннее и увереннее, потому что после восьми (последняя – по лезвию бритвы) химиотерапий все держалась и держалась стойкая и крепкая ремиссия. «Ну, еще годик! Хочешь, я буду причащать ее не раз, а два в неделю? – умолял он, не слушая, что поют на Литургии, а видя только словно светящееся лицо дочери, устремившей свои ланьи очи куда-то выше Царских Врат. – Еще годик – и можно будет сказать: пятилетняя безрецидивная выживаемость – а это уже кое-что!».

Он жил совершенным монахом, положив себе в виде искупительной жертвы не касаться женщин до выздоровления дочери, – и первые годы даже избежал мучительной борьбы с непокорной плотью. Неотступный, выматывающий душу и тело страх за дитя заглушил все возможные позывы, а постоянный тяжелый труд ради денег на лечение (после полномасштабной нагрузки в школе он еще до ночи мотался по частным урокам) довершил дело, превратив его физически в измученное животное, засыпавшее раньше, чем голова касалась подушки.

Но потом, когда непосредственная угроза миновала, и полностью лысая головка дочери покрылась неожиданными пшеничными локонами, когда в темных ее глазах заиграла почти прежняя живость, и она начала выражать желания (самые простенькие: завести щенка, поплавать в заливе, купить лакированные туфельки), – тогда и он почувствовал, как в глубине его существа словно разжалось что-то, до того скрученное и придавленное. Он сам стал замечать, что вокруг цветет – Жизнь. Вот уже крутится у ног юный черно-белый сеттер, страстно полюбленный тринадцатилетней Машей с первого дня, когда Игнат принес его домой в шапке, только что вынутого из-под теплого материнского брюха и трогательно пищавшего; вот Маша звонко хохочет в своей комнате над похождениями доброго диснеевского персонажа, коллеги на глазах преобразаются из неинтересных бесполок теней в ухоженных привлекательных женщин, а ученики незаметно перестают быть в его глазах счастливыми и бессмертными, а превра-





щаются в обычных мальчишек и девчонок, которым предстоит жить и умереть, как все, – еще очень-очень нескоро, может быть, даже в двадцать втором веке, примерно тогда же, когда умрет и Маша...

Два года он с изумлением присматривался к этой вновь обретаемой жизни, как с трудом выплывший на зеленый берег утопающий вдруг обнаруживает ранее незамеченных божьих коровок в траве, удивляется незнакомой синеве неба и человеческим головам, так же радостно звучащим, оказывается, и в его отсутствие, пока он из последних сил боролся с жестокой черной водой...

Но любое переходное состояние не может длиться вечно – и всегда ждет разрешения, толчком к которому может послужить и незначительное, на поверку рядовое событие. А в жизни Игната событие оказалось немелкое, испугавшее его до мозга костей, – уже только из-за одного этого следовало бы задуматься крепче. Но... Задним умом-то, как тот же народ и подметил, все крепки!

Это началось в тот день, когда пропал Рики.

### Глава 3

Если бы задним числом что-то можно было изменить в своей жизни, то она прежде всего спасла бы свою мать. Спасла бы и ради матери, и ради себя самой, потому что именно после этой смерти Женина жизнь подломилась под корень и так никогда и не выправилась.

Мама была худенькой, трепетной, как бы раз и навсегда чем-то испуганной женщиной, вечно немного съезжившейся, словно в ожидании неминуемой пощечины. Может, она просто не сумела оправиться от первого подлого удара, когда на ней, восемнадцатилетней выпускнице финансового техникума, скоропалительно женился юный курсантик в замечательной черной форме, и целый год, до того, как превратился в лейтенанта, все увольнения проводил у нее. А через год, когда каждый получил то, о чем мечтал (она – девятимесячную беременность, а он – великолепный кортик и золотые погоны), молодой муж вдруг совершенно спокойно и без тени раскаяния на лице сообщил супруге, что регистрация брака ему нужна была лишь для того, чтобы в чужом Ленинграде иметь, кроме надоевшей казармы, еще какое-то постоянное место дислокации, куда можно приходиться за гарантированной вкусной едой и женскими ласками. А с ней это оказалось удобнее, чем с



другими, потому что вон какая отдельная квартира ей от бабки досталась! Жаль, не догадался прописаться: сейчас бы через суд квартиру разменял и комнату в Ленинграде имел, так что пусть она еще спасибо скажет. Ребенок вообще не его – и быть такого не может, он это легко докажет; во-первых, потому что всегда был осторожен, а во-вторых, все увольнения свои записывал, и точно знает, что в пору зачатия их не имел – да и вообще, они виделись раз в неделю, а то и реже, каждый жил, как хотел, он на верность и не рассчитывал...

В маминой семье, как назло, разведенная женщина приравнивалась чуть ли не к убийце: «В нашем роду разводов не водилось, так и знай! – сурово сказал ей отец, тоже морской волк, с основной женой принципиально не разводившийся, но по запасной имевший в каждом крупном советском порту, чего и скрывать не пытался. – Кому ты теперь нужна, с прицепом-то, кроме как в любовницы?». Считалось, что страшной участи на свете не существует, и поэтому, когда порядочный человек, заместитель директора ПТУ, предложил вдруг самый что ни на есть законный брак, не посмотрев ни на упомянутый «прицеп» в виде трехлетней крепенькой девчухи, ни на общую «подпорченность» невесты, семья восприняла его как благодетеля и избавителя и буквально выпихнула свою «паршивую овцу» замуж, невзирая на то, что особой влюбленности в нового жениха та не испытывала. Какое там! – лишь бы наспех затереть случайное грязное пятно на безупречной семейной репутации!

Но брак, в общем, сложился удовлетворительно – возможно, благодаря тому, что теперь, панически боясь даже тени недовольства мужа – с возможным вторым разводом в перспективе, мама полностью отказалась от своей личности, каких-либо мнений, вкусов и потребностей. Родив через год от мужа здорового сына Эдика, мгновенно превратившегося в центр вселенной для родителей (в то время как старшая всего лишь вечно нехстати путалась под ногами), она с тех пор покорно делала по несколько аборт в год, так как, оказалось, наделена была необыкновенной плодовитостью, а об увеличении числа «захребетников» муж и думать ей запретил, ничуть при этом, правда свою супружескую активность не сократив, а в способы ограничения рождаемости не вдаваясь: дело, мол, бабье, ему вникать недосуг.

И поздней осенью Женя случайно подслушала роковой телефонный разговор матери с многоопытной коллегой-бухгалтером.







Мама не знала, что в ту субботу в школе у дочери заболела учительница, и детей распустили на час раньше, – поэтому тихо вошедшая в прихожую четырнадцатилетняя Женя услышала вполне громкий, без оглядки на дверь, голос матери:

- ...осточертело, понимаешь? Уже со счета сбилась – то ли девятый, то ли десятый, а может, и больше... Самой противно, как сучка какая-то, честное слово! Ведь есть же женщины, которые только два-три сделали – и все, не беременеют больше! И, главное, как ни крути, а все равно всегда в больничку приходится: и со шкафа сто раз прыгала, и хину глотала, и в парилке раз чуть не сдохла – сидит намертво, хоть ты что поделай... А там – сама знаешь: все потроха выворотят без наркоза, и еще на тебя же наорут, как на последнюю... Будто я виновата... Нет, такого не пробовала... А что, помогает? Думаю, не больше четырех недель... А ты сама делала это? И чего – вот прямо сразу? Здорово. Конечно попытаюсь, хуже не будет... Подожди, я запишу лучше... Сколько ложек тертого мыла, говоришь? Хозяйственного обязательно? Вода теплая должна быть? Какое количество? Ага, ну, спасибо тебе! Так завтра прямо и организую, пока мой с Эдькой в цирк пойдет, а старшая, как всегда, к подружке... Да чего там, терять-то все равно нечего...

Вот в этом последнем мама принципиально ошиблась: она потеряла именно все – вообще все, что бывает у человека. В середине восьмидесятых годов двадцатого столетия ученицы восьмого класса уже давно не походили на розовые бутончики, и все проблемы женского бытия широко и откровенно обсуждались в отсутствие взрослых. Поэтому Женя прекрасно сообразила, что мать собирается устроить себе выкидыш, и даже про себя повзрослому посочувствовала ей и мысленно пожелала успеха. Потому она и убежала к Светке на четвертый этаж сразу после того, как за отчимом и братишкой захлопнулась дверь, – чтобы мать не нервничала излишне, ожидая, пока дочь оставит ее одну в квартире. Она специально постаралась отсутствовать подольше, для чего, уговорив с подружкой бутылку кислого сухого вина «Рислинг», как раз вошедшего тогда в моду, и заев ее вязкими белыми бомбошками зефира, подбила стоворчивую Светку идти в кино на фильм «до шестнадцати»: обе они выглядели уже вполне взрослыми девицами, да и накрашились по полной программе, так что в кинотеатр их пропустили беспрепятственно... А когда, беззаботно возвращаясь, подошли к своему подъезду, оттуда как раз



отъехала зловещая машина «скорой помощи». Переглянувшись, они обе инстинктивно ускорили шаг...

Всю неприглядную правду девочка узнала только на поминках, когда две пьяные мамы сослуживицы обсуждали случившееся, перекуривая на кухне, а она, сжавшись в комок в уголке, никому не интересная и в расчет не принимаемая, напряженно слушала. Впрочем, женщины, скорей всего, наивно, как все взрослые, полагали, что ребенок думает о куклах и совершенно не понимает, о чем идет речь.

Оказалось, вернувшийся муж, к счастью, раньше сына зашедший в ванную помыть с улицы руки, обнаружил там уже давно мертвое голое тело жены – причем, оно сидело на дне сухой ванны поперек, выложив раскинутые ноги на бортик. Глубоко во влагилице вставлена была зеленая резиновая трубка, поднимавшаяся к пустой кружке Эсмарха, подвешенной на крючок для душа. Судебно-медицинская экспертиза установила, что несчастная погибла практически мгновенно от мозговой воздушной эмболии, потому что перед этим ввела себе в прямо матку не менее полулитра пузырившегося концентрированного мыльного раствора – по всей видимости, с целью прервать беременность раннего срока...

Что началось с того момента для ее мамы – над этим четырнадцатилетняя Женя еще не задумывалась, а вот она сама неожиданно-негаданно, но очень быстро оказалась в кромешном аду.

Женя привыкла доверять взрослым. Нет, она, конечно, знала, что не следует идти к незнакомому дяде в квартиру посмотреть на новорожденных котят или отпрапляться с незнакомой тетей на поиски ее потерянных в темном подъезде очков. Она также прекрасно отдавала себе отчет, что дядя Вадик ее не любит, а только терпит как неизбежность, сводя любое общение с ней до самого допустимого минимума, – но ведь и она сама вряд ли полюбила бы чужого ребенка, как своего; достаточно того, что не обижает, – и на том спасибо. Она была уверена, что удобная чистая комната с бабушкиным плюшевым ковриком на стене – ее неотъемлемая собственность в мире, а пока она учится, все потребное для ее жизни будет доставляться взрослыми, потому что так бывает у всех. Взрослые сами разберутся, как это лучше устроить, но обязательно устроят, потому что не может же быть иначе... Она окончит школу, потом – педагогический институт, станет учителем, получит распределение, начнет работать и обеспечивать себя, будет, конечно, помогать старенькому отчиму и брату – как





же иначе? А потом выйдет замуж соответственно статусу – за инженера или доктора, родит детишек, и будут они жить не хуже других. Где именно – в этой ее комнате или на его площади – это уж как придется... В общем, когда первое острое горе схлынуло, Женя начала понемногу приспосабливаться к жизни без мамы, которая все равно ласкала ее только мимолетно и украдкой, чтоб, на дай Бог, не взревновал Эдик или не обиделся муж. Девочке было главное, чтобы ее не трогали, и все свободное время она теперь проводила либо в горячо сочувствовавшей семье Светки, либо в своей комнате за чтением.

Мать с отчимом собрали за эти одиннадцать лет неплохую, как искренне думала Женя, библиотеку, причем мама именно коллекционировала книги, практически никогда их не читая: так некоторые собирают коробки от спичек. «Приходит к нам в бухгалтерию Юрка – ну, пьяница этот, который вечно мелочи из дома тянет, чтоб на опохмелку собрать, – рассказывала она вечером мужу, хвалясь новым приобретением. – И говорит он: купите, бабоньки, книжку, душа горит – мбчи нет... Всего тридцать копеек просит, глупый. Я смотрю на книжку, вижу – желтенькая такая, хорошенькая, такой у нас точно нету. Ну и купила, смотри, какая красивая...». Макулатуру мама тоже прилежно собирала, маниакально добываясь талончиков на книги, – и так в доме появились «Три мушкетера» и все их продолжения, «Графиня де Монсоро», «Королева Марго», «Граф Монте-Кристо», тетралогия «Проклятые короли», «Лунный камень», «Женщина в белом», «Записки о Шерлоке Холмсе», перетряхнувшая сознание «Жизнь» Мопассана и его же «Милый Друг»... Мама открывала книгу, лежа в постели, честно пытаясь начать с первой страницы, кое-как осиливала ее, надолго застревала на второй и почти всегда засыпала на третьей, смущенно мотивируя это своей вечной усталостью. Следующим вечером, полностью забыв прочитанное, мама вновь одолевала его, но продирается сквозь сложный сюжет далее опять не хватало сил. Тогда она мужественно брала другую книгу, с той же принципиальностью готовясь штурмовать ее до победы, – но и тут терпела очередное фиаско. Зато названия однажды взятых в руки книг застревали в памяти матери надолго, давая ей возможность небрежно бросать: «А, знаю, конечно...» – когда в разговоре с кем-то вдруг мелькало знакомое слово или словосочетание. Ну, а отчим демонстративно читал только газеты, снисходительно относясь ко всяческой «бабской блажи».





Совсем не то Женя: она впивалась в книгу с упорством энцефалитного клеща и высасывала их одну за другой, всегда жадно кося глазом в сторону ожидавшей своей очереди следующей... Сопоставляя свой семейный уклад с жизнью вымышленных персонажей, а также милой семьи с четвертого этажа, Женя начинала смутно догадываться о том, что жизнь ее чем-то жестоко обделена, но, казалось, обделена поправимо. Однажды она мимоходом спросила Светку, в какое училище та собирается после восьмого класса (это казалось чем-то само собой разумеющимся и подлежало только уточнению), – и вдруг столкнулась с полным непонимания взглядом подруги: «Ты что, какое училище? Зачем? Я пойду в девятый и десятый, а потом поступлю в мединститут». И действительно, вспомнила Женя, у нее ведь папа – зубной врач, а мама – руководитель самодеятельного театра, значит, и сама Светка должна стать кем-то вроде этого... Все правильно. А ей, Жене, значит, нужно поступить в какое-нибудь интересное училище, например, где учат на продавца или кондитера – не в институт же идти... И она вдруг застыла на месте: а почему нет?! Кто ей запретит, ведь у нас все пути для молодежи открыты! Жене всегда нравилась профессия учителя литературы – она ведь много читает, и не только по программе – но почему-то никогда даже в мыслях на институт не замахивалась, считая, что это для нее как-то слишком... высоко, что ли... Да и в доме все твердят – выбирай училище, выбирай училище, узнавай, какие вступительные экзамены, и готовься... А вот не будет она готовиться! Учится без троек, так что в девятый с радостью переведут, она пойдет на подготовительные курсы в институт Герцена и прекрасно потом выучится на учителя – назло всем, вот так! Но, когда девочка в подходящую минутку заявила о своем решении матери, вдруг увидела в ее глазах тот же вопросительный знак, что и у Светки. «Так долго учиться? Зачем? – удивилась она. – Ведь учителям же копейки платят. Нашла бы приличную профессию, в торговле, например, чтоб гарантированный кусок хлеба с маслом, – мало ли, как жизнь обернется... Хоть сыта будешь... А учитель... Хм... Что это на тебя вдруг нашло? Нет, если ты так уж хочешь, я, конечно, возражать не буду, а все-таки подумай: еще семь лет за партой! А так бы три года – и самостоятельная. Да ладно, время еще есть, ты только с решением не затягивай: если передумаешь, то надо начинать готовиться...». Но Женя не собиралась передумывать. Она порой ощущала на спине некий бодрящий холодок





задора: а ну, как сбудется!

И после смерти матери девчонка еще долго утешала себя мыслью, что вот хоть и стала сиротой, а в жизни все равно своего добьется и, став учителем, шагнет куда-то в другой... класс? Нет, в школе давно объяснили, что классов существует только два – рабочие и крестьяне, а еще есть социальная прослойка – интеллигенция. Это раньше, при царизме, были классы, а теперь все равны, но ведь как-то назвать это нужно? Может, другой... мир? Да все равно, как это называется, главное, что жизнь, в любом случае, пойдет иначе, чем у мамы, – еще непонятно, как, – но мечтать об этом перед сном в постели – такое утешение!

А весной отчим женился. Он без всякого предупреждения привел в дом бойкую молодую женщину и объявил изумленным детям, что это теперь их новая мама. Испуганный Эдька ударился было в рев, но быстро успокоился, когда в руках его оказалась великолепная импортная модель самолета, которая сразу замигала красными и зелеными огнями – и он поднял на гостью уже счастливое лицо... А Женя даже и довольна была: ведь тяготившее ее хозяйство теперь везти на себе предстояло не ей, а симпатичной мачехе, – лишь бы к ней, Жене, не цеплялась. Мачеха и не цеплялась, быстро поняв, что девчонка в ее близкой дружбе не нуждается, и ограничилась ровным, приветливым и спокойным обращением – спокойней даже, чем у вечно нервной мамы. А десятилетний Эдик так и вовсе был от нее без ума, обидно скоро забыв родную мать и запросто перенесся на пришлицу естественное обращение «мама».

Да, Женя абсолютно доверяла взрослым и ничуть не удивилась, когда однажды отчим вскользь спросил у нее, где мама хранит ее свидетельство о рождении. Не отрываясь от книги, Женя махнула рукой в сторону своего секретера, и отчим невозмутимо вышел из комнаты, а девчонка вновь нырнула прямо в Рейхенбахский водопад вместе с непотопляемым Шерлоком Холмсом...

Вечером мачеха ласково позвала ее на кухню, сказав, что «папа» хочет с ней поговорить. Отчим держался непривычно добродушно, что Женя списала на счет его жалости к ней, сиротке, и сказал, что по советским законам ее теперь могут отправить в детский дом, как не имеющую живых родителей. Но не успела она испугаться, как ее тотчас успокоили, сообщив, что такого злодея ни в коем случае не допустят, потому что немедленно ее официально удочерят, то есть станут ей как бы законными роди-





телями. Поскольку ей больше десяти лет, то для этого нужно ее добровольное согласие, которое она должна подтвердить в РОНО и Загсе, – и, как умная девочка, она его, конечно же, подтвердит, потому что иначе ее могут сразу же забрать насильно. Какими хорошими людьми они все-таки оказались! – растроганно думала в тот вечер, лежа в кровати, Женя. Ведь могли бы просто сдать ее в детдом и так избавиться от лишней проблемы, а вот позаботились, в беде не бросают... Конечно, она выразила полное и восторженное согласие два раза подряд перед двумя разными строгими тетками с высокими прическами и при очках – и вскоре ей показали новое свидетельство о рождении, где графа «родители» была заполнена новыми именами, а ее настоящая мама как бы вообще перестала существовать документально.

Дело шло к весне, к экзаменам за восьмой класс, которых Женя не боялась, хорошо успевая по всем предметам и предвкушая лишь летний отдых в пионерлагере, который всегда любила и где уже должна была оказаться в старшем отряде. Теперь-то не будет более взрослых ребят, чтоб издеваться над маленькими и ими помыкать! Весело, наверное, пройдет лето – жаль, только, мама больше никогда не приедет на родительский день... Ладно. Надо жить дальше и добиться многого – хотя бы в честь ее памяти...

Настал еще один вечер, когда ее снова, не так, правда, ласково, как раньше, позвали на кухню для разговора, – и Женя доверчиво побежала, не чуя подвоха. Взрослые подробно разъяснили ей ситуацию: им, оказывается, опять пришлось ее спасать в обход жестоких законов! Вот ведь в чем дело: ребенок должен быть прописан по месту жительства матери. Так и было, пока бывшая мама была жива, но с ее смертью Женя лишилась права на прописку в этой квартире, и быть бы ей вообще нигде не прописанной – то есть, ни работать, ни учиться никогда – если бы новая мама не согласилась прописать ее к себе в дом, в Ленинградскую область. Да нет, это совсем недалеко, рукой подать на электричке, рядом с Сосновым Бором, большой деревянный дом... Нет, Жениного согласия в этом деле не требовалось, они уже это сделали, просто ее ставят в известность – для того, чтобы она, когда будет подавать документы в училище, указывала правильный адрес... Да, кстати, она понимает, как ей повезло? Теперь, как прописанная в области, она будет иметь право на место в общежитии училища, так что пусть выбирает из тех, где оно есть... Нет, насчет института



теперь не получится, может быть, потом когда-нибудь... Просто изменились обстоятельства. Они, конечно, не обязаны перед ней отчитываться, но если уж так просит – пожалуйста: через четыре месяца у них родится общий ребенок, это потребует и денег, и места, так что еще семь лет содержать ее – это извините. Она – пока – поживет в общежитии, потому что в ее комнату теперь поселят Эдика, он ведь уже большой мальчик, и ему неудобно спать за шкафом в их спальне, тем более что скоро появится малыш... Она ведь не эгоистка и понимает, что нельзя же, чтоб они – вчетвером в одной комнате, а она в отдельной... В общежитии ее сверстницы, она привыкла к пионерлагерям, коллективу, поэтому ничего страшного не случится – обомнется... Опять она про этот институт? Да пусть поступает на здоровье после училища – на заочное там, или еще как. В любом случае, до совершеннолетия она ничего не имеет права сделать без согласия родителей, а они не могут сейчас дать ей такое согласие. И вообще, вот он, Вадим Федорович, с четырнадцати лет встал к станку, чтобы помогать семье, – и ведь выучился, человеком стал, должность имеет порядочную. А она что хочет – на все готовенькое? Нет, так не бывает. Нужно всего добиваться своим трудом. Они, конечно, ей помогут, пока она учится, – не звери же... По десять рублей в месяц будут выдавать, да пусть без троек учится, тогда стипендию тридцать рублей получит. Если пойдет в ПТУ на рабочую специальность, – то это ей большая экономия: там без экзаменов берут, да плюс двухразовое бесплатное питание, да плюс форма – на одежду тратиться не надо. На остальное ей сорока рублей с избытком хватит – даже многовато, пожалуй, будет, как бы шиковать не начала (ха-ха, шутка). А реветь нечего: слезами горю не поможешь, надо дело делать.

Но ревела Женя целый месяц неостановимо: она пока оплакивала только крушение (или, в лучшем случае, перенесение в очень далекую перспективу) своей выпестованной, холеной, здоровой мечты, не пожелавшей взять и умереть на ровном месте. Девочке никто не мешал – и так она встретила свой пятнадцатый день рождения, никем на этот раз не отмеченный, – но надрываться еще и по этому поводу уже не оставалось сил. Неразлучная подружка Светка, с которой горем можно было бы поделиться, в городе летом отсутствовала, находясь в Крыму вне зоны досягаемости, и поэтому Жене волей-неволей пришлось брать себя в руки и самостоятельно приходиться к какому-то судьбоносному решению.





Проревевшись, она вспомнила, что учителем, пусть не литературы, а начальных классов, стать можно и после педагогического училища, бросилась туда – и была окачена холодной водой: все сроки приема документов вышли, пока она предавалась горю... Она бросалась из училища в училище, из техникума в техникум – но везде, где можно было получить хоть какую-то приемлемую, терпимую специальность, уже шли вступительные экзамены. Однажды Женя поймала себя на ясном желании броситься с крыши небоскреба на площади Победы – но вдруг представила себе, как станет *лететь*, и нутром догадалась, что во время полета успеет передумать – да будет поздно...

Оставались именно ПТУ, где, как всегда, ощущался значительный недобор и не требовалось экзаменов, и такие перспективы, как дежурная в метрополитене, электрогазосварщица, прядильщица... При одной мысли об этом Женю охватывал ужас, а в душе вставала тошнота... А между тем дома уже строго спрашивали, когда она намерена переезжать в общежитие: ведь в ее бывшей комнате еще надо успеть сделать ремонт до возвращения Эдика из лагеря... Бороться Женя не умела, что такое отстаивание своих прав, не знала, потому что с примерами жизнь ее никогда не знакомила; разве что рабочий класс, как твердо она усвоила в школе, свои права давно отстоял и теперь является правящим классом... Вот Жене и предстояло вступить в его ряды и начать править страной – но отчего-то делать это совершенно не хотелось... Нужно было решаться на отчаянный шаг – и вдруг блуждающий взгляд ее наткнулся на объявление в забытой на балконе газете месячной давности: сообщалось о том, что в Ленинграде есть, оказывается, училище, где учат на фотографа-профессионала, сдавать экзамены не нужно, общежитием обеспечивают, а записываться можно аж до двадцатого августа... Она вспомнила веселую тетьку-пышку в светлой комнате, заваленной плюшевыми мишками, деревянными лошадками и мягкими стульями, свою юную смущенную маму в шелковой розовой блузке с брошкой, себя-первоклассницу в коричневом платье с кружевным воротничком и белым крахмальным фартуком... «Так, мамочка, сюда головку, подбородочек вот так... Спасибо, не двигаемся... А ты, деточка, мамочку обними, ручку сюда... Прекрасненько... Так, смотрим в этот объективчик... Еще разок...». Карточки не сохранились... Но это оказалось самым лучшим из того, что жизнь могла предложить на текущий момент...



Четыре года пропали, практически не оставив воспоминаний. Было не хорошо и не плохо, а – никак. С отчимом и мачехой видеться Женя не хотела, как и они с ней, и обещанный лишний червонец в месяц так и остался обещанием. Ждала, пока младший брат вырастет, чтоб только с ним повидаться и обсудить все по-родственному... Получила распределение в фотоателье на окраине, сняла пополам с подругой и коллегой дешевую комнату у черты города, где прямо под окнами грохотала товарная железная дорога, а за ней туманными утрами просматривалась ровная нетронутая пустошь... Перед распределением подруга надоумила съездить в Сосновый Бор и лично глянуть на место прописки – вдруг можно там поселиться, попросившись в училище, чтоб пристроили на работу поблизости? Выехали в шесть утра, а вернулись на последней электричке. Дом они нашли – утонувшую с головой в кустах королевской сирени развалюху, черную от времени и трухлявую до мягкости вследствие неустанных усилий жучка-древоточца, полулежавшую в нескольких километрах от атомной станции – и даже сподобились чаепития у словоохотливой соседки, обладательницы точно такого же, но выкрашенного в ядовито-зеленый цвет особняка. Да, она помнила Люську из Нижнего Тагила, унаследовавшую этот дом у деда и немедленно по приезде в нем прописавшуюся. Шутка ли – сразу прописка в Ленинградской области! Здесь она, конечно, ни дня не жила, да и где тут жить-то! – только некоторые вещички забросила – а так все мыкалась в Питере по съемным комнатам. Правда, несколько лет назад с каким-то мужичком из города расписалась, на сносях приезжала, хвалилась, что он ей после рождения дитя прописку в своей квартире обещал, – да только месяца через три объявилась черная вся и мрачней тучи: дите мертвое родилось, перегородки там какой-то в сердце у него не хватало, что ли, да мужик ее из дому и попер, благо не прописана была. Получила развод и уехала на родину к себе – такие вот дела...

Предательство мачехи оказалось удачно отомщенным, но порадоваться чужому наказанию у Жени не получилось, так как собственная жизнь в перспективе выглядела не менее безрадостной: у нее тоже оставалась только надежда на удачное замужество. Среди клиентов попадалось много симпатичных парнишек – да вот разговориться с ними времени не хватало: все общение заканчивалось максимум за пять минут, пока они причесывались у зеркала и садились на стул спиной к белому экрану. «Голову





выше... Смотрим сюда... Снимаю», – вот и вся ее ежедневная роль, многократно повторяемая. Потому что работала поначалу Женя, будучи новенькой и неопытной, исключительно на съемке для документов, а художественной занималась умудренная женщина средних лет по имени Зоя. Даже кассирша, выдававшая квитанции, дольше с общалась с клиентами! Представить, что Женя кому-то так понравится, что он сам заведет непринужденный разговор о писателе Дрюоне, например, и пригласит вечером в кино, казалось сложновато, потому что внешность ее к совершеннолетию сформировалась совсем уж неказисто. Была она коротенькая и плотная, но без приятных выпуклостей, изгибов и округлостей, а ровная, как оструганное бревно: ни бюста, ни талии, ни бедер, да еще две толстенькие, низенькие, как у тумбочки, ножки. Лицо тоже не поражало необычностью: оно не было лицом дурнушки в прямом смысле слова, но не обладало ни одной чертой, за которую можно было бы зацепиться взглядом. Про некоторых говорят и пишут: «Она была собой некрасива, но ее огромные, чудные карие очи...» – и так далее. Женины небольшие блестящие глазки неопределенного цвета с жирно покрашенными ресницами не вызывали у приличных молодых людей ровно никаких эмоций. Если б еще имела она деньги на то, чтоб одеваться у фарцовщиков, или связи в промтоварных магазинах, – может, и могла бы как-то изменить свой непритязательный образ, но надежды на это не существовало и в обозримом будущем – тем более что непоколебимая до того страна начала вдруг неотвратимо рассыпаться, как тот Женин дом, где она до сих пор была законно прописана...

Однажды, когда, как водится, отмечали скромным своим коллективом 73-ю и, как оказалось, последнюю годовщину Октября, подвыпившая Женя неожиданно для себя разоткровенничалась и, обливаясь нетрезвыми слезами, поведала Зое историю своей так неудачно начавшейся жизни. По мере выслушивания, у Зои все шире раскрывались и без того большие и добрые выпуклые глаза.

- Ты чего, с ума, что ли, сошла? – всплеснула она руками, когда грустный рассказ был окончен. – Ты же дала себя обобрать, как последнюю дуру! Они же, сволочи эти, отчим твой с мачехой, на понт тебя взяли и ограбили, а ты сидишь, как тетеря! Во-первых, в детдом тебя никто не мог забрать в той ситуации – только если б они тебя сами сдали. Во-вторых, это им было все равно невыгодно, потому что тогда за тобой бы сохранилась прописка, и в восемнадцать лет ты бы преспокойно квартиру разменяла и полу-





чила себе целую комнату! Вот они и решили устроить... комбинацию из трех пальцев... Эту комбинацию тебе прямо под нос и сунули, воспользовавшись тем, что ты дитё неразумное, законов никаких не знаешь и еще по матери горюешь... Облапошили по всем статьям, выкинули из собственного дома – а ты проглотила, ничего, и сейчас глотаешь... Отчим, твой, наверное, мерзавец отпетый и всегда таким был, а вот баба его, скорей всего, ради себя старалась. Пообещал ей, конечно, прописку, если поможет, – после твоего совершеннолетия, чтоб ты навсегда осталась прописанной в ее хибаре. Потом кинул – и поделом; ее Бог наказал, но тебе-то от этого не легче... – Она помолчала, прикидывая, видно, в уме. – Слушай, сикуха, и мотай на ус... Сейчас у нас в стране, чую, такая каша заварится, что ввек не расхлебаем. Так вот, пока не заварилась и черт-те что не приготовилось, подавай-ка ты в суд на своего сволочугу-отчима. Адвоката найми и расскажи, как все было... Кто знает, может, и выйдет чего путное. А нет – так хоть знать будешь, что все возможное сделала, не сидела с намытой шеей...

Бесплатный адвокат, как оказалось, полагался людям только для защиты при уголовном преследовании, а при гражданском иске требовалось приглашать его через юридическую консультацию. Поскольку платить Женя могла только по таксе – да и то, отказав себе при этом в сахаре, мясе, масле, яйцах, сыре и колбасе, – то он особого рвения не проявлял, но, рассеянно выслушав, пообещал посмотреть, «что можно сделать»...

Утром в день заседания Женя нервничала так, что начала заикаться и роняла все, что брала в руки, а когда вошла в здание суда, то и ноги почти отказали, особенно после того, как углядела на скамейке в коридоре Вадима Федоровича – сытого, загорелого и крупного – презрительно на ее робкое «здрасьте» рожу отворотившего. Она надеялась, что говорить ей в зале суда много не придется, и она лишь будет кивать в такт словам своего расторопного адвоката, как выглядело это в красивых французских фильмах. Предыдущее заседание тянулось, как удав, и Жене начало казаться, что ее сейчас вытошнит от страха прямо на пол. Вдруг она столкнулась взглядом с приятным на вид парнем, подпиравшим стенку напротив, очевидно, в ожидании кого-то. Парень смотрел на нее с участием, дружелюбно и открыто улыбался. Потом вдруг еле заметно кивнул в сторону двери на лестницу, словно приглашал на долгожданное свидание... И Женя неожиданно по-





чувствовала прилив сил – да такой ощутимый, что даже смогла сделать несколько шагов и не подломиться в коленях...

На лестнице он приветливо спросил ее, как старую знакомую:

- Что, мандражируешь? – и ободряюще прикоснулся к ее локтю: – За что тебя притянули? Продавала что-нибудь на улице?

- Да нет... Я по г-гражданскому делу... И-и-стица... – выдавила девушка.

- Да? – удивился парень. – Ну, не дрейфь. А то, слушай, ты уж прямо совсем с лица спала, аж зеленая вся... Того и гляди в обморок хлопнешься, откачивай тут тебя... – он смотрел ей в глаза спокойно и весело, а потом быстро оглянулся по сторонам; из кармана его появилась плоская серебристая бутылочка, которую он мгновенно сунул Жене в руки: – Давай скорей. Два глоточка – и все, будешь, как новенькая. В таких случаях, как твой, – первое лекарство. Никто и не заметит, а ты в себя придешь – проверено. Скоренько, скоренько, глотай, пока никого нет. Я вот уже принял и – видишь – как огурчик. Зелененький и в пупырышках.

Женя недоверчиво взяла в руки бутылочку и понюхала: пахло приятно. Осторожно пригубила – и вдруг оказалось так вкусно, как, наверное, в этих иностранных фильмах, где нарядные герои сидят в красивых кожаных креслах и нежно держат в руках пузатые бокалы с чем-то янтарным... Она сделала два решительных глотка. Подумала и сделала еще два: паренек не обидится, он хороший, на глаз видно... Напиток оказался крепче, чем сначала думалось, но зато вкуснее с каждым глотком. Она бы и до дна выпила, да нельзя, это же чужое, ей два глотка сделать дали...

- Да пей, пей на здоровье, мне уже хватило, – подбодрил паренек – и через минуту она протянула ему совсем пустую бутылочку.

В первый миг стало легко, тепло и приятно, страх испарился. Исполненная благодарности, она подняла глаза, чтобы сказать искреннее спасибо, но доброго юноши на лестнице уже не было, только тяжелая дверь чуть-чуть покачивалась от сквозняка.

Остальное Женя всю жизнь припоминала, как скверный сон, и происходило это одновременно как бы и с ней – во всяком случае, она это точно знала – но как бы и с кем-то другим, потому что воспринималось, словно сквозь пелену дурноты и недоумения. Очень скоро отчего-то распух и отнялся язык. Ей казалось, что он вдруг перестал помещаться во рту, так что пришлось его вывалить наружу, как собаке, – а он все продолжал расти и расти. Как раз в эту минуту из коридора громко прозвучала ее фамилия, что





означало необходимость идти в зал суда; девушка хотела рвануться по ступенькам, но вдруг обнаружила, что не чувствует ног, и повисла на перилах. Цепляясь руками, она все же кое-как доползла до двери, у которой столкнулась непосредственно с отчимом, сразу торопливо отвернувшись. Адвокат уже зазывно махал ей из зала, и Женя каким-то непостижимым образом собрала всю силу воли, какую имела про запас от рождения и, никогда ранее не растрчивая, сохранила до сего дня в неприкосновенности. Она вошла в зал, ничего не слыша, кроме странного мелодичного потрескивания издалека, и почему-то подумала, что это приемник где-то испортился, и надо бы его выключить, чтоб не мешал. «Спрятать язык. Нужно спрятать язык, а то подумают, что дебилка», – вдруг пришла законченная мысль, и Женя с силой втянула его в рот, проверив рукой, весь ли он туда запихнулся: языка снаружи не было, но вся ладонь оказалась в густой противной слюне. Женю охватил ужас, она вспомнила про носовой платочек, но ослабевшие холодные руки лишь бестолково лапали сумку на боку – и не справлялись ни с кнопочкой, ни с молнией. Тогда пришлось утереться просто рукавом – и на лицах строгой тощей судьи и двух смутных заседателей (один, как врезалось в сознание, сидел в спортивном костюме) отразилась абсолютно тождественная безразличность. «Что с вами? Возьмите себя в руки!» – злобно прошипел сбоку адвокат.

Говорить действительно много не пришлось: она стояла, ухватившись за гладкий деревянный барьер и тупо наклоняла голову сначала, когда судья вопросительно обращалась к ней, потом, когда адвокат зачитывал исковое заявление. Она все время судорожно приседала, и с трудом выправлялась, каждый раз отчаянно думая, что из следующего приседания уже не выберется, а так и останется на полу, голова к коленям... «Что это... Что это такое... Неужели так напилась... Не может быть, там же мало было... И не крепче, чем ликер... Не может быть... Не может быть такого...». Через несколько минут ей вдруг почудилось, что ее со всех сторон обложило полупрозрачной ватой, и она начала терять контроль над сознанием, плохо понимать, где находится и что происходит... Но вдруг в зале раздался хорошо знакомый, уверенный и спокойный голос ее отчима, Вадима Федоровича.

- Да, признаю, – спокойно вещал он. – Совершенно так все и было, как только что изложил товарищ адвокат. Но разрешите мне пояснить вам, уважаемый товарищ судья, и вам, уважаемые



народные заседатели, причину, по которой мы с моей бывшей женой были вынуждены поступить так, как поступили. Все дело в том, что после смерти матери моя приемная дочь начала вести совершенно аморальный образ жизни. Трезвой мы ее с тех пор никогда не видели. Она нецензурно выражалась, буянила, крала ценные вещи из дома и продавала их, ломала мебель, била посуду, глубокой ночью приводила в дом собутыльников и распивала спиртные напитки в своей комнате, превратив квартиру в притон. Никакие уговоры на нее не действовали, но мы жалели девочку, недавно потерявшую мать, и не обращались в милицию, чтобы не наносить ей дополнительной травмы. Потом стало ясно, что мы ошибались, потому что положение все усугублялось. Евгения начала регулярно избивать младшего брата, моего малолетнего сына Эдуарда, отнимая у него карманные деньги, чтобы потратить их на выпивку. У ребенка появилось заикание, он боялся приходить домой, все время был в синяках и ссадинах... Поверьте, товарищи судьи, мы терпели столько, сколько могли, и даже больше. Но через некоторое время нахождение в одной квартире с Евгенией стало опасным – и, прежде всего, для ребенка. Мы ни минуту не могли быть спокойны за его жизнь и здоровье. Кроме того, жена была в положении, и всякое волнение могло обернуться несчастьем. Собственно, так и произошло впоследствии: наш ребенок, к сожалению, родился мертвым, после чего жена оставила меня и уехала в родной город... Но это уже не относится к делу... Да, я понимаю, что мой поступок относительно выписки Евгении можно с какой-то стороны считать и безнравственным. Признаю это, ничего не подделаешь. Но... когда на кону стоит жизнь и здоровье десятилетнего беспомощного мальчика и любимой женщины, ожидающей ребенка... Тут думаешь уже только о том, чтобы из нескольких зол выбрать меньшее. Я знаю, что понять меня может только тот, кто подобное пережил, – но я никому не пожелаю пережить такое... Доказательства? Я не знаю, какие еще нужны доказательства – достаточно просто взглянуть на... так сказать, на истицу... Если уж и в зал судебного разбирательства по собственному иску она является в состоянии сильнейшего опьянения, то можно безошибочно определить, какой именно образ жизни она ведет. Да, конечно, суд может восстановить попорченную мной справедливость и принудить меня вновь прописать эту девушку в моей квартире. Но будет ли это справедливостью в высшем смысле, в том смысле, в котором всегда действовал советский







суд? Товарищи судьи, я происхожу из семьи потомственных рабочих-механизаторов. В данный момент я возглавляю крупное профессионально-техническое училище. Я представил вам все свои характеристики – как руководителя, коммуниста, члена социалистического общества и просто человека. Вам решать. Надеюсь на ваш здравый смысл. У меня все. Спасибо за внимание.

Речь прозвучала в полной тишине – и смысл ее туго доходил до Жени, озабоченной в те минуты лишь тем, чтобы удержаться на отнимающихся ногах. Она смутно соображала, что происходит нечто возмутительное, ни в какие ворота не лезущее, подлежащее немедленному пресечению, – и в какой-то момент резко дернулась вбок и натужно замычала, намереваясь немедленно исправить положение, – но тут на ее голову словно упала огромная ватная кувалда. Перед тем как сознание совершенно спуталось, оно на секунду озарилось как бы грозовой вспышкой, высветившей для Жени весь простенький спектакль, гениально срежиссированный Вадимом Федоровичем. Симпатичный участливый паренек именно по его указке опоил ее заморским ликером, предварительно подмешав в него умеренную дозу клофелина, чтобы она не сразу отключилась совсем, а какое-то время выглядела банально пьяной, – только и всего... Она уже не слышала, как адвокат тряс ее собственной характеристикой, любовно составленной на работе при помощи всего искренне болевшего за нее коллектива, не видела презрительных физиономий судей, едва терпевших ее присутствие в зале, – и очнулась только поздно вечером.

Она лежала на метлахских плитках пола в полутемной камерке с единственным окошком под потолком, а вокруг живописно расположились разномастные швабры, громоздились жестяные ведра, болтались серые тряпки с характерным запахом нечистой влажной уборки... Женя каким-то образом попала после заседания в чулан здания суда, где сознание ее погасло окончательно, – и только молодость с сопутствующей крепостью тела и духа спасла ее от близко подступившей смерти, заменив ее долгим тяжелым сном без дна и просвета...

В течение ближайших двадцати с малым хвостиком лет жизнь Жени оставалась все той же, то есть глубоко ей чуждой. Она иногда останавливалась и мимолетно остро удивлялась, что проживает именно эту жизнь: годы исчезают один за другим, словно в пропасть срываются, – а она все фотограф в той же самой фотографической дыре, уцелевшей в свихнувшейся стране по малопо-





нятной, но на поверку железной причине: при любом строе каждый день сотням людей необходимо фотографироваться на самые различные документы. И, как двадцать лет назад, они суетливо причесываются перед зеркалом и деловито садятся спиной к белому экрану, попутно пытаясь придать своему лицу значительное выражение, тянут шею в напрасных потугах замаскировать вторые и третьи подбородки, и все, все слышат одно и то же: «Так, голову выше. Смотрим сюда. Не шевелимся. Снимаю. Можете вставать»... Художественная съемка в салоне отмерла сама собой с развитием любительской фототехники, зато расцвела выездная – для детсадовских, школьных и институтских прощальных альбомов, увековечивания официальных мероприятий и детских дней рождения в ресторанах. Это и стало основным источником дохода для Жени, оказавшись пусть не золотым и не серебряным, но приятно твердым и безопасным дном. Многие ее коллеги работали теперь на глянцевые журналы или просто на более или менее раскупаемые газеты, но для того не было у Жени ни человеческих связей, ни Божьего дара. Она умела снимать только в строгом, раз и навсегда усвоенном порядке рассаженную натуру, при определенном, заученно выставленном освещении, делала это механически качественно, но не была одарена способностью оценить и поймать внезапную неповторимую сценку, индивидуальное выражение чьего-то некрасивого, но прелестного лица, не видела чарующей игры света после грозы, не пленялась неуклюжей грацией тяжелого зверя... Женя навсегда осталась добрым ремесленником, не имея свежего и яркого художественного таланта, – и это тоже отразилось на всей ее не-жизни, не пуская в иной, жадно наблюдаемый со стороны круг таких же, как она, – но неумовимо других людей.

Теперь она жила, конечно, не вдвоем с подружкой в дешево снятой на окраине города комнате, а снимала себе отдельную квартиру у метро – однокомнатную, но опрятную, хорошо обставленную и оснащенную, с глухим чуланчиком для работы, что было великим преимуществом, потому что позволяло ванной оставаться тем, чем она была, – то есть, помещением для мытья и удовольствия, – а не превращаться в фотолабораторию. С неожиданной ловкостью Женя получила водительские права и вскоре осилила покупку скромной пожилой «четверки», про которую сама, смеясь, говорила: «На лицо ужасная, добрая внутри», – что являлось сущей правдой, потому что хитрую железную начинку предыду-





щий хозяин заботливо сменил, а перекрасить мятый, ржавый и царапанный кузов так и не собрался. Женя лихо рулила в своей щербатой машинке по заказам, втайне от нее (чтоб не обиделась и не встала раньше времени) еженедельно откладывая небольшую денежку на покупку «Ладушки» поновее и лицом поприятнее. Вечером, после возни с печатью – большей частью с пленки, по старинке, что долго почиталось профессионалами более надежным и правильным, чем сомнительная «цифра», – она, как и в юности, читала романы. Библиотекой, собственноручно собранной, Женя гордилась всерьез, покупая по книжке почти каждый день – прямо в супермаркете, где затаривалась продуктами. Очень удобно: придешь домой, с дневными заказами развяжешься – и сразу читать, хоть до ночи! Ведь единственным преимуществом когда-то случайно приклеившейся к ней профессии было то, что в семь часов она подниматься не заставляла. Фотоателье – и то всегда работало с одиннадцати, ну, а к заказчикам она раньше полудня и не совалась...

Когда с приятельницами – близких подруг у Жени не водилось – заходил разговор о любви, она бросала равнодушно: «Было у меня несколько романов...» – это когда они спрашивали: «Ты со сколькими жила?». Потому и не становились подругами эти приятельницы, что для них всегда, в конечном счете, непонятна оказывалась Женя, вечно «что-то из себя строившая», дельных мужиков, которых все они периодически пытались ей подsunуть на ее жалкое одиночество, – с руками, порядочных, почти что непьющих, – оценить упорно не желавшая.

Да, «романами» назвать те несколько скучных сожителств, которые пришлось Жене претерпеть, можно было только в пустом разговоре. Но разве это роман – когда к тебе, еще толком не познакомившись, обращаются на свойское «ты», когда при всем честном народе хватают за грудь или ягодицы, почитая это за лестную ласку; когда в постель твою заваливаются, воняя козлом и невымытыми ногами, – и удивляются, что тебе не по душе этот суровый мужской запах; когда в твой дом, как ни в чем не бывало, являются в морозную полночь с гостями – такими же бесхитростными трудягами, просто решившими отдохнуть после тяжелого дня и, невзирая на твой халат и мокрую голову, замотанную полотенцем, распоряжаются: «Давай-ка, слетай за закуской, мухой!»; когда, услышав о твоей беременности, радостно подносят к твоему лицу огромный мозолистый кулак и требуют: «Смотри



мне, чтоб пацан был, с вот таким . . . , поняла?». Роман – это когда тебе дарят цветы на всех романтических свиданиях, приглашают в театр, музей и ресторан, а потом долго не решаются перейти на «ты» – даже после твоего милостивого разрешения; это когда робко целуют руку, смиренно провожают до дома, звонят среди дня и волнуются о твоих успехах, а вечером сидят в полумраке в разных концах длинного стола на стульях с резными высокими спинками – и горят две свечи перед сверкающими приборами, и томная роза дышит в тонкой и хрупкой вазе. . . Роман это то, чего у нее никогда не было и не будет. . .

Одну из школ по соседству Женя считала почти что своей законной вотчиной, потому что регулярно окучивала ее по несколько раз в год и урожай снимала приличный: каждый класс ежегодно в начале зимы фотографируется вместе, по отдельности и маленькими группками, да четыре девятых и, соответственно, четыре одиннадцатых ежегодно заказывают по шикарному выпускному альбому: консервативная директриса работала только с Женей уже второе десятилетие.

Как получилось, что она обратила внимание на Игната только теперь? Ведь он вел этот девятый с самого пятого, и, стало быть, каждый год стоял в центре на ею же сделанных общих фотографиях – а она не разглядела, не подумала! Правда, теперь девятый класс, считавшийся выпускным, подлежал съемке более тщательной, и учителю приходилось присутствовать не однократно, а с каждой группой детей, явно педагога своего любивших, что явствовало из маленьких потасовок за место рядом с ним перед камерой. Внешне это был простой русский человек без выкрутасов: в спокойном свитере и джинсах, с русыми волосами и короткой аккуратной бородкой, умным и внимательным взглядом, несколько раз смущающее задержавшимся на суеящейся Жене. . . Она внутренне очаровалась его тихим низким голосом, звучащим неожиданно мягко, словно он боялся невзначай обидеть или испугать кого-то слишком громким словом. . . Что сразу подкупило ее – так это его общение с ней, как с равной, и в данный момент даже главной, владеющей ценным и нужным умением. . . Не было в нем ничего повелительно-капризного, как у фотографирующихся девочек и женщин, усвоивших себе взгляд на фотографа, как на услугу, а не мастера. . .

Так получилось, что из школы выходили вместе, и Игнат помог Жене погрузить тяжелое оборудование в горбик ее «четверки» – и



тут вдруг к нему на грудь с разлету бросился веселый черно-белый сеттер, и послышался девичий смех. Светясь ясным лицом под пронзительно голубым зимним небом, к машине приближалась долгоногая девочка лет четырнадцати в алой куртке и со светлыми волнистыми волосами из-под пушистой шапочки. Уже сидевшая в машине Женя невольно залюбовалась сквозь стекло: уж очень по-доброму, тепло и семейно выглядела эта сценка на морозе в школьном дворе: визжащая и скачущая от радости собака, девчонка, звонко и счастливо повторяющая то «Папа!», то «Рики!», раздумывавшийся мужчина без шапки, в расстегнутой куртке, одновременно целующий дочь и укрощающий бурное веселье молодого пса... У нее никогда не будет такого мужа и такой дочери, как и вообще детей, и вообще семьи, – и счастливица, наверное, та обязательно красивая интеллигентная женщина, которая сейчас ждет их обоих к обеду за круглым столом с белой скатертью; и они скоро сядут вокруг стола все втроем (а может быть, есть еще и младший мальчонка), станут шутить, передавая друг другу тарелки, и совать собаке жирные вкусные кусочки...

- Может, подвезти вас? – приоткрыв дверцу, чужим голосом спросила вдруг Женя, интуитивно желая продлить иллюзию своей причастности к их доброму миру.

Он обернулся, не смахнув мальчишеской улыбки:

- Да нет, спасибо, мы во-он в том доме живем – видите, розовый? Ну, до свидания, будем с нетерпением ждать фотографий!

Розовый, значит... Теперь, каждый раз проходя мимо, она вспомнит, что здесь живет этот славный мужчина со своей дружной семьей, живет той самой жизнью, которой она всегда так ждала, и которой жить ей заказано. А готовые фотографии полагаются отдавать секретарю директора – значит, они в следующий раз свидятся не раньше, чем в мае, когда будут готовиться выпускные альбомы...

Ей очень захотелось поздно вечером прогуляться вдоль их дома. Что гнало ее? Не могла же она рассчитывать познакомиться с ним ближе и влюбить его в себя? Смешно было бы и предполагать такое! Но вот просто пройти мимо и знать, что он там... Что в этом такого страшного... У одного из подъездов сидела одинокая собака, черная с белым, охотничья... Рики? Дальше Женя не думала. Уже потом она осознала, зачем сделала это, а в тот странный момент ее вело ранее неизвестное, смутное чувство, заставлявшее мучительно пульсировать кровь в затылке. Она храбро



шагнула к псу и твердой рукой взяла его за ошейник. Он ничуть не испугался и не пытался огрызнуться – видно, был любим, как человек, и от людей не ждал несправедливости. Он только посмотрел с безграничным удивлением – и покорно поднялся. «Рики, Рики... Хороший пес... – успокаивающе прошептала над ним Женя, а потом тихонько потянула в сторону угла: – Пошли, Рики, пошли...». Пес упирался молча и ехал за ней на хвосте, Женя так же тихо и упорно волокла его за собой по припорошенной тропинке, а когда завернули за угол, чувствительно пнула под шерстистое брюхо: «А ну, пошел!» – к тому моменту она уже поняла, для чего он ей был нужен.

## Глава 4

Как часто Игнат впоследствии думал: не надень он тогда теплый пуховик... Всего лишь отправься он гулять с собакой в обычной куртке, в которой всегда ходил... И не было бы всего этого... Может, и Маша осталась бы жива... Страшное дело. Просто куртка. Куртка, в которой остались сигареты. Но ведь у нас и волосы на голове все сочтены...

Игнат сбился со счета – сколько раз пытался бросить курить, понимая, что и противно, и нездорово, и грешно, – а как только поднималась у Маши температура на четыре деления больше, чем нужно – от чего угодно, хоть от насморка, – и рука сама тянулась к карману. Дома он, конечно, себе такого бесчинства не позволял, даже когда Маша была в больнице на лечении или обследовании, – всегда выскакивал в подъезд, никакого мороза не страшась. И еще была у него отрада – ночные прогулки с Рики по пустынному бульвару, когда пес ошалело нарезал круги по белой целине, а хозяин задумчиво брел с сигаретой по дорожке, подняв капюшон и время от времени запуская в ночь длинную палку – собачье счастье. Без сигареты такой прогулки Игнат не мыслил и поэтому, уже выйдя из подъезда с собакой в тот проклятый во всех отношениях вечер и обнаружив, что заветная пачка осталась в дневной, не такой теплой куртке, он привычно бросил Рики: «Сидеть!», а сам поскакал по лестнице на четвертый этаж. Думал просто засунуть руку в карман висящей куртки – и тут же сорваться обратно, как вдруг услышал полусонный Машин голос из ее комнаты. Пришлось снять ботинки – иначе Ариадна бы не простила – и отправляться на зов. Таких ночных зовов он всегда ин-





стинктивно боялся, да и какой родитель на его месте не холодел бы каждый раз, слыша, как в ночи кричит его больной раком ребенок. Но оказалось, что у Маши просто сбился пододеяльник, и, со сна неумело поправляя, она его только больше запутала, поэтому минуты четыре, все время помня о замерзающем внизу Рики, Игнат посвятил перетряхиванию одеяла – а потом, естественно, зашнуровывал ботинки, чтоб им провалиться... Когда, наконец, спустился, собаки у подъезда не было...

Маша любила Рики болезненно, гораздо больше, чем самые ласковые дети обычно любят своих питомцев: она, относилась к нему, наверное, примерно так, как фанатичная мать к единственному ребенку. Этого, конечно, тоже нельзя было допускать. Это, конечно, тоже была его очередная педагогическая и духовная ошибка. Ариадна – та вообще пса лишь терпела и все время твердила – со слов о.Сергия, конечно, – что собака животное нечистое, в помещение с иконами допускаться не должна, а уж привязываться к ней, как к человеку, – грех чуть ли не смертный. «Здесь укусит маленькая собачка, а там – большая», – с удовольствием цитировала она кого-то из блаженных стариц, но, скорей всего, просто с самого детства боялась зубов собак и когтей кошек. Но что, кроме своего занудливого общества, они на деле могли предложить совершенно одинокой девочке? Подруг у нее не могло быть в принципе: где бы их взять, находясь на домашнем обучении, а за пределы дома выходя только в медицинские учреждения и в храм, за руку с любящей, но строгой тетей? Книжки? Это, конечно, прекрасно, но долго читать Маша не могла – серьезно уставала, поэтому едва-едва осиливала школьную программу, а сверх нее воспринимала только стихи и слушала читаемое тетей вслух Евангелие. Телевизор, компьютер? Ну, это уж извините, считала Ариадна и контролировала общение племянницы с дьявольскими изобретениями лично и безжалостно. Церковные службы, после которых, чтобы восстановить силы, ребенок спал сутки напролет? Это необходимо, понимал Игнат, но душевного общения не заменит. Ариадна пыталась неуклюже утешать взрослеющую девочку, не замечая, что ранит этим ее еще глубже: «Ты никогда не бываешь одна. Верующий человек не знает, что такое одиночество, потому что он всегда пребывает в общении с Богом». Ага, только еще бы научила ее этому последнему, а раньше сама бы научилась... Вот и осталась Маше для души только ее заповедная тетрадка с собственными стихами, в которую однаж-





ды, без разрешения, естественно, невинно сунулась тетя, после чего ночью с перекошенным лицом примчалась в комнату брата и прыгающими губами зачитала:

*Любое дерево милее Петербурга.  
Я вижу сон, и этот сон глубок:  
Шоссе на Лугу, среди березок дурка,  
Где простыни грубее, чем сапог,  
Где люди умирают без причастья,  
Где женщины кричат не о своем,  
Где очень мало надобно для счастья –  
Сирень в окне, да русский окоем;  
Где глинистое дно сильнее света,  
Где бабочки смешны и тяжелы...  
А за решеткой медленное лето,  
И викинги садятся за столы.*

- Нет, ты понимаешь, *кто* это ей нашептал?! – шепотом визжала она. – Тебе ясно, что надо везти ее на отчитку?! Потому что *такое* ребенку может надиктовать только... *сам знаешь кто!* Что ты сидишь, как истукан?! Ты отец или кто?! Ты помнишь, что стало с Никой Турбиной<sup>1</sup>?! Ты того же хочешь для своей дочери?! Нет, ты мне ответь – того же, да?!

Он медленно и грозно поднялся, шагнул к сестре и одним движением выхватил у нее из рук общую тетрадку:

- Если ты – хоть раз еще – скажешь что-то подобное про мою дочь, то имей в виду: я найду способ оградить ее от общения с тобой. Что же касается этих стихов – и других, которых, кстати, тебе никто не показывал, – то мне понятно только одно: моя дочь – большой поэт. Беса в ней нет, так как она регулярно принимает причастие, а судьба Ники Турбиной ей не грозит хотя бы потому, что у нее лейкоз, как ты помнишь. Как отец своей дочери я запрещаю тебе когда-либо без разрешения рыться в ее столе – ты ведь не потерпела бы, чтобы рылись в твоём. А в качестве главы этой семьи ставлю тебя в известность, что в самое ближайшее время у нас в доме появится собака, – и можешь отнестись к этому, как тебе угодно.

<sup>1</sup> *Ника Турбина* (1974-2002) – российская поэтесса, актриса; в детстве – девочка-вундеркинд, писавшая «взрослые» стихи, которые «слышала»; страдала психическими заболеваниями, покончила с собой, выбросившись из окна.





Забрав с собой тетрадь, он обогнул обомлевшую от его небывалого хамства сестру и вышел из комнаты, намереваясь незаметно вернуть украденное обратно дочери в стол, когда, как обычно, перед тем, как лечь в кровать, придет поправить на ней одеяло...

Рики появился в квартире, как солнечный зайчик в тюремной камере. Резвый, сообразительный и прожорливый песик с первого месяца стал объектом не только бурной страсти Маши, теплой привязанности Игната, но и даже некоторого снисхождения со стороны железобетонной Ариадны. Центр притяжения в семье как бы немного сместился в его сторону, облегчив эту чрезмерно тяжелую ношу девочке, переставшей быть самой маленькой и беспомощной и вечно уворачиваться от пристальной взрослой опеки. Теперь всей семьей опекали Рики. Это к нему приглашали щенячьего врача для прививок и консультаций, его сложный рацион пунктуально соблюдали в граммах и калориях, его беспрерывно ласкали и тискали, про его грамотное возвращение читали бесконечные книжки. Особую радость доставляли дневные прогулки, на которые Машу раньше приходилось выгонять едва ли не палкой, – и действительно, какому подростку понравится чинно ходить рядом с тетей по опостылевшим аллеям? Теперь она выбегала с Рики на час утром и днем – и скоро обрела неожиданный персиковый румянец, на который давно никто из взрослых не надеялся. За одно это Игнат готов был ежедневно целовать умную духовитую морду и скользкий прохладный нос. Считается, что собака сама выбирает себе хозяина, самого сильного человека в семье, – Рики же без колебаний выбрал себе не вожака стаи, как можно было предположить, а тщедушную девчонку с тонким голоском, – и два года спал исключительно на ее прикроватном коврике, а заболев однажды, принимать пищу из любых рук, кроме ее, драматически отказывался...

Его исчезновение стало катастрофой – другого слова подобрать было нельзя. Маша слегла в то же утро с температурой под сорок и в полубреду порывалась встать и бежать на поиски любимца прямо в пижаме – Ариадна несколько раз ловила ее, босую и с остановившимся взглядом, уже на площадке лестницы. Игнат, сказавшись на работе больным, три дня без сна и еды носился по всем ближним и дальним дворам, непоправимо зная при этом, что собаку не найдет: не мог Рики убежать вот так, сам, даже последовав за непреодолимо соблазнительным запахом течки, а если б и случился с ним такой конфуз, то давно бы уж вернулся





к подъезду... Его, конечно, украли, обреченно понимал он, украли и увезли на машине... Зачем? Пора «шапок из Дружка» давно миновала, для перепродажи «некондиционный» пес без клейма и документов не годится... Попался садистам-подросткам и теперь висит где-нибудь вниз головой истерзанный, перламутрово закатив мертвые глаза? Допуская и такой вариант, Игнат вламывался в подвалы и на чердаки – и лишь чудом сам не стал жертвой вдруг тихо и угрожающе окруживших его однажды целеустремленно-мрачных людей, похожих на героев талантливого фильма ужасов... А дома то билась в истерике, то лежала в изнеможении пятнадцатилетняя дочь, еще не перешагнувшая знаменитый порог «пятилетней выживаемости», и примчавшийся знакомый врач на прямой вопрос Игната, может ли такое потрясение привести к рецидиву, только глянул на него чересчур внимательно и сказал: «Да ты же сам все понимаешь, зачем спрашиваешь?».

Он знал, что кошмар тех трех дней ни при каких обстоятельствах не изгладится из его памяти никогда – да еще Ариадна неотступно зудела о том, что нельзя было покупать ребенка потенциальное горе в виде неразумного существа, которое может в любой момент убежать от самых лучших хозяев, ведомое грязным инстинктом...

Звонок мобильного вывел измотанного Игната из ступора, в котором он пребывал, сидя поздно вечером на кухне после очередной бессмысленной пробежки по окрестностям. Высветился неизвестный номер, и он услышал незнакомый женский голос:

- Простите, это вы повесили объявление о пропаже собаки? Вы знаете, я нашла похожего сеттера – может, ваш? Когда? Прямо сейчас? Ну хорошо, хорошо... Записывайте адрес...

Он бежал так, как спасаются от смертельной погони. Он бежал так, как бегут на помощь погибающим. Дом оказался в том же микрорайоне – зеленая точечная «хрущевка» – когда он ворвался в подъезд и вызвал лифт, тот тронулся откуда-то с самого верха. Тогда Игнат помчался вверх через три ступеньки и всем телом, как на амбразуру, бросился на дверь, остервенело вдавив звонок...

Он узнал собачий голос еще до того, как дверь открылась. И сразу из золотого проема, мимо неясного и неинтересного женского силуэта, сбивая с ног, захлебываясь, метнулась, завывая, родная лохматая тень. Игнат готов был поклясться, что пес рыдает от счастья, – и сам вдруг повалился на колени, обхватил его теплую пахучую шею и, враз обессилев, заплакал... Он не пла-



кал на похоронах матери. Он не плакал, когда узнал, что любимая женщина ему изменяет. Он не плакал, когда выслушал страшный диагноз пятилетней дочери. Он не плакал даже когда видел ее во время последней химиотерапии – не похожую ни на ребенка, ни на старуху. И вот, в сорок восемь лет, на чужом пороге, в присутствии постороннего человека и собаки, что-то злокачественное лопнуло в нем – и хлестало теперь наружу, и остановиться было нельзя...

Игнат не осознавал, что до полусмерти испугал женщину, которая, ничего не понимая, пытается то поднять его, то оттащить собаку, то уговаривает скороговоркой и уже сама чуть не плачет... Даже представить потом невозможно было, как та сценка выглядела со стороны! Когда источник иссяк – а произошло это не так уж скоро – он остался сидеть на полу, поникнув и прижав к себе притихшего, словно что-то в толк взявшего Рики, никак не мог догадаться, что нужно вставать, благодарить – и ведь действительно он был по гроб жизни теперь ей обязан! Игнат поднял глаза на женщину в джинсах и свитерке, все еще растерянно стоявшую над ними обоими, и что-то знакомое почудилось в ее лице сквозь рассеивающийся туман слез. Конечно, он видел ее когда-то... Совсем недавно видел... То есть давно, до всего этого ужаса... Мозги отказывались соображать, он оступел от пережитого потрясения и вообще устал... Господи, Ты один знаешь, как я устал за эти дни... и эти годы...

- А ведь я вас узнала! – звонко прозвучало вдруг над ним. – Точно! Надо же! Вы – учитель школы, тут рядом, во дворе! Я теперь вспоминаю, что и собаку эту видела из машины с вами! И еще дочка ваша была, помните? Я – Женя, Женя-фотограф – ну, теперь вспомнили?!

Игнат неясно припомнил что-то, но было ему все равно – первый раз в жизни у него вдруг заболело сердце. Заломило, как пульпитный зуб. Вот сейчас умрет тут у входа в чужую квартиру... Очень просто. Есть же какой-то предел у человека...

- Слушайте, да что это с вами? Ведь все хорошо, вот ваша собака, успокойтесь... Нельзя же так – это ж не ребенок, в конце-то концов... Нашелся – и слава Богу... Давайте-ка поднимайтесь. Не годится так на пороге сидеть и плакать – еще соседи услышат, подумают чего не то... – Женя-фотограф уже с силой тянула его вверх и вбок – к себе в квартиру, и он подчинился, как дитя и мужчина подчиняются матери и женщине, когда чувствуют боль и беспомощность.





- Что, сердце у вас? – забеспокоилась она, видя, что Игнат висит на ней, как мешок с травой. – Сейчас, подождите, капли тут где-то у меня были...

С ним случилось странное и давно забытое: он отпустил себя на свободу. Он мог просто ничего не делать и ни о ком не заботиться – вот чудеса. Это его осторожно вели чьи-то ласковые руки, укладывали на мягкое, приподнимали голову и поили остро пахнущей, но, в общем, не противной жидкостью, ему шептали: «Отдохните и ни о чем не беспокойтесь», с него стаскивали куртку и ботинки, накрывали ноги чем-то легким и теплым... Он только руку не снимал с шерстяной спины Рики, которого теперь от хозяина было и на секунду не оторвать. Эта спина рядом значила, что завтра выздоровеет Маша, – завтра, а сейчас она все равно спит... Ему надо просто лежать не шевелясь и приходить в себя, иначе он рискует не дойти до дома, – а ведь он нужен еще – и теперь, как никогда...

- Я накрою лампу... – услышал он тихий и приятный голос у своего лица. – Постарайтесь поспать немножко... – и, как бы в сторону: – Надо же, какие чувствительные мужики пошли...

Ненадолго – это оказалось часов до четырех утра, когда он увидел тревожный спутанный сон, в котором опять бежал, бежал – и замирал от страха. Наконец, упал, вздрогнул и проснулся – с собачьей башкой на плече и в совершенно незнакомом месте. Зато голова была ясная и легкая, как в молодости, и, повернув ее, Игнат увидел женщину, дремавшую в кресле под торшером, завешенном темной тканью. Теперь он вспомнил ее отчетливо: это действительно оказалась Женя-фотограф, смешная маленькая бочечка, натужно таскавшая на себе какие-то сумки, треноги и лампы, бестолково командовавшая его расфуфыренными по случаю торжественной съемки девчонками и откровенно грубившими ей парнями... Он еще потом в ее кособокую ободранную машинку какое-то убогое барахлишко под гордым названием «аппаратура» помогал запихивать... Все-таки, какой этот наш земной шарик маленький! Надо же было, чтоб именно она нашла Рики и теперь вот уложила Игната на свою постель, а самой даже голову приклонить негде: квартира, видно, однокомнатная... Бедная женщина, работа у нее тяжелая, сама, похоже, одинокая... Интересно, как это Рики у нее оказался? Его-то не расспросишь... Да проще некуда, наверное: учуял течку, сорвался – ведь молодой же кобелек, да и сидел непривязанный, – а потом отправился искать





дорогу к дому... Женя его увидела, приняла за потеряшку, пожалела и взяла к себе – а потом, увидев одно из десятков его объявлений, позвонила по указанному телефону. Спасибо ей. Она ведь не могла знать, что Рики настолько умный, что без нее домой бы попал гораздо скорее, и решила сделать доброе дело... Женщина пошевелилась.

- Женя... – осторожно, чтобы она не испугалась спросонья, позвал он. – Женя, я даже не знаю, как вас и благодарить. Вы не представляете, что вы для меня – для нас – сделали...

Она проснулась мгновенно и отозвалась с преувеличенной бодростью: так говорят с больными, каким, она его, вероятно, после его неописуемого припадка посчитала:

- Ну, что вы! Я ж понимаю, что у вас, ребенок, наверное, страдал. Теперь я вспомнила – девочка такая, подросток... А я просто иду ночью, вижу, собака одна бегаёт, породистая. Я туда-сюда посмотрела – нет хозяев. Жалко стало, да и говорю ей – мол, пойдем со мной, потом найдем твоего хозяина... На следующий день несколько объявлений напечатала, повесила. А он все грустил, песик-то ваш, есть не хотел, лежал только и смотрел, как человек... А раз вечером, это, вывела его погулять – вдруг смотрю, прямо на дереве объявление: пропал шотландский сеттер. Ну, дальше вы знаете... – она немного смутилась. – А когда вы прибежали, как сумасшедший... Да стали пса своего обнимать-целовать... И потом как зарыдаете... Тут уж я не знала, что и думать... А у вас еще и с сердцем плохо... Ну, думаю, здрасьте-приехали... Ничего, обошлось, кажется... Вы уж держитесь... В первый раз вижу, чтоб мужчина из-за собаки чуть в ящик не сыграл. Нет, я понимаю – друг человека и все такое... Но не до инфаркта же...

По ее манере говорить, по самому подбору слов, по неуловимым интонациям, Игнат сразу нутром определил, что она совсем простой человек, скромная труженица, а не художник своего дела; такими были, в большинстве своем, родители его учеников – участники народных гуляний по праздникам, поедатели сахарной ваты и шавермы, обширная зрительская аудитория бесконечных «реалити-шоу», поглотители неприятных серийных книжек... Он давно выработал определенный стиль общения с этими людьми – такой, чтоб и растолковать им необходимое в доступной форме, и одновременно не обидеть высокомерностью, – теперь Игнат механически переключился на него:

- Да вы же не знаете. Там, у нас дома... Такое, что сразу и не расскажешь...





Он поначалу и не собирался рассказывать – думал, так, в общих чертах описать ей, чтоб не думала, что он истерик какой-нибудь слабонервный. Но, оказалось, стоило только начать... Он ведь никогда ни с кем не говорил об этом подробно, потому что чувствовал, что после такого рассказа общение с человеком должно выходить на другой уровень, на котором не каждый удержится, вернее, редко, кто удержится... Но ведь сущая правда, что случайному попутчику в поезде легче выложить подноготную и подлинную (из-под *линя*, то есть) правду, потому что никогда больше с ним не встретишься, и на мнение его, в сущности, наплевать. Такой «случайный попутчик» сейчас сидел перед Игнатом – и слушал вполне сочувственно, кажется, даже глаза имея «на мокром месте». Так он все на нее, бедную, и вывалил: и позднюю дурацкую женитьбу свою, и горькую судьбу отца-одиночки при больном лейкозом ребенке, который почти – но только почти! – перешагнул порог пятилетней выживаемости, а ведь это лишь условный термин, означающий что, возможно – но только возможно! – произошло чудо полного излечения. И тут вдруг пропадает любимый дочкин пес, над которым она трясется, как мать над ребенком, потому что никого у нее больше нет – никогошеньки... Так что обрести его вновь значило не просто найти потерянную собаку, а, может быть, спасти человеческую жизнь... И пора ему уже домой собираться, чтоб Маша, проснувшись, и лишней минуты не горевала...

Женя провожала их до выхода из подъезда – такая вдруг ненадолго близкая... Игнат обернулся (как он корил себя потом за это, кто бы знал!), и у него вырвалось:

- Женя, может быть, Маша вам захочет сама спасибо сказать. Можно мы с ней зайдём как-нибудь ненадолго?

- Буду ждать! – простенькое, отекавшее от недосыпа личико осветилось неожиданно искренней радостью.

...С Машей ему идти к ней не пришлось: девочка со свойственным детству забавным эгоизмом, предаваясь буйному восторгу по поводу явления несколько потрепанного, но виновато целовавшегося Рики, даже и в мыслях не держала никакой благодарности его спасительнице, а напротив, раздраженно пробормотала:

- Нечего ей было чужую собаку на улице хватать. Без нее Рики бы еще до утра домой вернулся. Только хуже мне сделала. Дура какая...

Про себя признавая, что девочка бесповоротно права, он все







же считал своим родительским долгом сделать ей ласковое внушение о том, что она ни в коем случае не должна так говорить о человеке, сохранившем для нее дорогое существо, – ведь неизвестно, что могло бы случиться с Рики, если бы не та женщина, действовавшая из самых добрых побуждений.

- Ну и пусть, все равно она дура, – с всегда свойственной ей, в общем, прозорливостью невозмутимо отозвалась дочь.

Дальше перечить ей Игнат не посмел, и на том вопрос о Жене был, как казалось, навсегда исчерпан. Скоро забыть пережитое Игнат все равно бы не смог, но оно сразу было отодвинуто на задний план новой, куда более ощутимой тревогой: температура у Маши, поднявшись еще три дня назад, после возвращения блудного песика снизилась лишь на два градуса и стойко держалась, а еще через день прибавились уже подзабытые изнуряющие боли в ногах... Не на шутку встревоженная Ариадна вновь с раннего утра повезла ее на консультацию в детский гематологический центр, где давно уж был у них гематоонколог почти что друг. Сестра твердо обещала позвонить, как только он скажет что-то определенное...

В тот день Игнат вел уроки, как в тумане, весь нацеленный на каменно молчавший мобильник. Собственно, это не уроки были, а незапланированные самостоятельные во всех классах, что для учеников было чем-то вроде удара в спину, – а ведь они любили своего доброго учителя и подвоха не ждали... Пока писали, предоставлял им полную возможность скатывать прямо с учебников, а сам сидел за столом, не шевелясь, закрыв лоб щитком ладоней, – и думал черную думу. Эту особенность он и раньше за собой замечал: полную запертость на молитву в кризисные минуты. Он вычислил, что это от маловерия: ведь тут исполнение – или неисполнение – просимого может произойти тотчас же, и в случае второго, страшного, неминуемо пошатнется вера... А так с него как бы и взятки гладки: не молился, вот и не получил... Игнат сидел, будто замороженный, почти до конца пятого урока, а потом вдруг, ни слова ни говоря удивленным шестиклассникам, вылетел за дверь, на ходу нажимая «горячую кнопку»... Ариадна ответила после первого же гудка:

- А я, ты знаешь, как раз телефон раскрыла, чтоб звонить тебе... – она замолчала, и из этого молчания вмиг стало все ясней ясного.

- Говори сразу, – простонал он. – Не мучь...





- Результатов ждали... Потому так долго... – тянула она.
- Убью, – серьезно предупредил Игнат.
- Положили сразу в палату. Это рецидив. Я не знала, как сказать тебе.

В ту же секунду грянул звонок.

Он вернулся в класс, молча собрал свою сумку, сунул журнал в расторопные руки дежурного, натянул и забыл застегнуть куртку... Побрел, как приговоренный, по коридору, и теперь-то молитва пошла, когда от нее уже ничего не зависело: «Зачем Ты казнишь меня – так? Если моя дочь обречена, почему не забрал ее еще тогда – сразу, когда она ничего не понимала? Заем дал ложную надежду? Зачем заставил почти поверить в чудо – и в нем разочароваться? Не терзай больше, прошу! Если Тебе обязательно нужна жертва – забери меня! Вот пусть сейчас собьет меня фура – а Маша выздоровеет! Сделай так! Не все ли Тебе равно?».

Прямо на ступеньках школьного крыльца стояла Женья. Давно привыкший в школе к разномастным женщинам вокруг и научившийся более или менее понимать эту странную породу, Игнат автоматически отметил, что его «случайная попутчица» вычурно накрашена, ее непокрытая, несмотря на декабрьский крутой мороз, голова выглядит и пахнет словно только что из дешевой парикмахерской, ногти сверкают отталкивающее ярким маникюром... Эта немолодая и несимпатичная женщина изображала безвкусно намазанным ртом соблазнительную улыбку. «Караулит меня, бедняга одинокая... – так же машинально подумал он. – Думает, раз я разведенный, то прямо готовый ей жених... Вот уж действительно дурища, прости, Господи...». Он стал было равнодушно оглядывать ее, но она вдруг уцепилась за его рукав и затараторила о том, что вот принесла секретарю фотографии, они такие прикольные вышли, и так ждала, что он зайдет в гости с Рики и с девочкой, да все ли у него в порядке, и почему он такой бледненький, не шалит ли сердце...

- Женья... – Игнат вдруг обернулся и встал прямо перед ней, тяжело глянув в глаза. – Женья, у вас дома... водка... есть?

\* \* \*

...Млечный мартовский рассвет бесцеремонно заглядывал в окно, прикрытое только прозрачным тюлем. «Шторы ей, наконец, подарить, что ли? – в который раз раздраженно подумал Игнат, просыпаясь в этой комнате. – Нет уж, хватит подарков, пожалуй.





Довольно ей будет и телефона того нелепого...». Он вздохнул и повернул голову, чтобы глянуть на Женю, – и тут же с досадой отвернулся к окну. «Ну, можно ли спать так некрасиво! Впервые в жизни вижу женщину, которая во сне выглядит настолько безобразно... Впрочем, кажется, дело просто в том, что я ее не люблю. И даже никогда не был ею увлечен...». Теперь ему претило в Жене буквально все – до такой степени она не соответствовала тому женскому типу, который гипотетически мог бы привлечь Игната. Внешнее несоответствие могла бы в какой-то степени компенсировать красота внутренняя, живость ума, талант сердца – но ничего этого он никогда не наблюдал в своей любовнице. Она была в самом худшем смысле душевно неразвита, культурно невежественна, этически примитивна. О религии имела понятия вообще какие-то доисторические, валя в одну кучу дурные приметы, церковные свечи, карточные гадания и рекламу чернокнижников в желтой прессе. Читала ужасающую псевдоромантическую стряпню – и десятками хранила в книжном шкафу разномастные мягкие издания с пронзенными сердцами и обнаженными торсами обоего пола на обложках, на полном серьезе хвастаясь собранной «библиотекой»... В постели оказалась безнадежно фригидной – но при этом, твердо помня рецепты из той же литературы, каждый раз с грацией поскользнувшейся коровы тщилась изобразить на грешном ложе роковую страсть... Но эта простая пещерная душа искренне привязалась к нему с того горького дня, уже отдалившегося во времени на три месяца, когда, безобразно надравшись с ней дешевой вонючей водкой, он снова заплакал – на этот раз у нее на груди – и мысленно послал подальше все свои не принятые на Небесах обеты... «Я только человек!! Человек я только!! Где мне сил взять?! Где?!» – остервенело повторял он тогда и со всей силы, рискуя угробить насмерть, вколачивал ее в жалко пищавший диван.

Думал, что встанет и уйдет, – не получилось. На следующий день Игнат вышел с лечащим врачом из Машиной палаты, оставив ее там бледную, но повеселевшую по поводу недавно упавшей температуры, и спросил, действительно ли это рецидив и потребуется «химия», или, может быть, все-таки... В глазах врача появилось привычное профессиональное сочувствие, и он завел разговор о несостоявшейся когда-то пересадке костного мозга, на которую никогда не было шансов собрать деньги, о рекордной продолжительности Машиной жизни и феноменально длитель-





ном ее безрецидивном существовании. Обычно агональная стадия, на которой химиотерапия уже неэффективна, а применяется, в основном, симптоматическое лечение, сказал доктор, начинается раньше, гораздо раньше, чем у нее... «Она у нас, можно сказать, долгожительница», – счел он необходимым обрадовать отца уникальной пациентки, так ни слова и не переспросившего.

Игнат не помнил, как оказался в машине, промчался через весь город к зеленой точечной «хрущевке» – и опять вливал в себя услужливо подливаемую Женей водку, рыча от нечеловеческой боли, – а потом заснул на чужой и чуждой голой груди. Такое стало повторяться два, три раза в неделю, потом он привык к этому непривлекательному женскому телу, дававшему временное, но бесценное облегчение, – и со спиртным завязал, обходясь только Жениными нехитрыми ласками. А она серьезно считала, что у них настоящий «роман, как в кино», ждала каких-то непонятных цветов, театров – да что бы она там делать стала, бедная жертва телевидения, после вечерних новостей замиравшая на сорок минут перед двести сорок седьмой серией заплесневелой мыльной оперы... Через месяц, видя, как пугающе меняется Маша от посещения к посещению, как лицо ее выцветает почти на глазах, он понял, что с собственным симптоматическим лечением пора заканчивать. Еще два месяца он не знал, как с этой прилипчивой бабой развязаться. Человек мягкий и порядочный, сам переживший нешуточную личную трагедию, он все не мог решиться сказать ничтожной, но преданно смотревшей в глаза и кивавшей на каждое слово женщине, что их отношения ему больше не нужны, что он сам себе из-за них противен, – поэтому каждый раз откладывал объяснение до следующей встречи, которой, может, и не будет... Просто по-человечески жалко было ее: все представлял, как она завоет, уцепится, начнет умолять – а то еще и на колени рухнет, как в любимом сериале... Он не звонил ей неделю – она являлась непосредственно в школу и клялась устроить публичный скандал, раздражаясь рыданиями прямо посреди коридора. Он не торопился идти к ней в назначенное время – и она, как часовой, появлялась у его подъезда, тоскливо глядя на окна снизу вверх, – в квартиру, правда, подниматься не рисковала, однажды столкнувшись на пороге с внушительно-строгой Ариадной и до икоты ее убоявшись – настолько, что даже попыталась вдруг сделать неуклюжий книксен... Посоветоваться было не с кем. Нового духовника после размолвки с о.Сергием Игнат себе



так и не нашел, будучи просто более или менее регулярным прихожанином близлежащего храма, где исповедовался сухо и четко, односложно перечисляя то, что тяготило совесть... Ему нужно было подойти к священнику и говорить, как минимум, час – это на словах легко, а как практически осуществляется? Ариадна моталась между Машиной клиникой и далеким пригородом (там-то находила себе утешение!), дома объявляясь редко – да и какой она была на эти темы собеседник...

В марте пришла ему другая мысль, убийственная: если б в тот страшный день Рождественского поста он не к тетке этой пустопорожней водку пить и блудить отправился, а рванул бы к Маше, за руку ее взял и не отпускал больше никогда – она бы опять встала. Почти пять лет держал, все рекорды побил – неужели сейчас бы не вытянул? Вытянул бы, уверял он себя. Бог просто на стойкость и верность проверял его, а он пошел – к чужой бабе. Выпустил Машу. Сыграла, выходит, женщина, в очередной раз свою Евину роль, протянула яблоко...

В клинке они с Ариадной дежурили неотлучно: она с утра до тихого часа, он после работы до отбоя. Самым невыносимым казалось, что девочка, похудевшая так, что на руках просвечивало разделение локтевой и лучевой косточек, лежала без почти движения, ни о чем не спрашивала и домой не просилась. Только однажды показалось Игнату, что она слишком беспокойно и будто испытующе смотрит на него, словно решая, сказать ли... «Что, дочка, что?» – подхватился Игнат, мимолетно счастливый от мысли, что может хоть чем-то, хоть на секунду облегчить ей мучения, и Маша без выражения проговорила: «Можешь записать?». С бурной готовностью он засуетился над своим портфелем и через минуту уже сидел с карандашом наизготовку, приготовив наскоро выданный из чьей-то тетради листок. Ребенок продиктовал размеренным и тусклым шепотом:

*Стало быть, умирать  
и котам, и собакам;  
а последнее трать  
на веселье гулякам,  
имярекам в помин...  
**Мертв** ходивший с постелью.  
И – один на один –  
дождь впивается в землю.*



Игнат обмер и вдруг пронзительно вспомнил: *Я и в последней икоте останусь поэтом...* В этот трагический до абсолюта миг он некстати побочно подумал, что как-то уж чересчур все красиво, будто в сентиментальной пьесе: сцена такая, что режиссеру делать нечего. И почему-то очень важным показалось именно сейчас вспомнить, кто автор этой странной строки. Вспомнил и содрогнулся: своего пророчества поэт совершенно точно оправдать не сумел, потому что вряд ли можно было поэтически икать, болтаясь в петле в то последнее утро давнего лета<sup>1</sup>... А вот Маша – сумела. Ничего не пророчила, а уходила, себе не изменив, и в окно колотил еще зимний, городской не освежающий дождь. И – поди ж ты! – получалось, что не только на Небе, но и на земле есть нечто сильнее смерти...

Следующий день оказался последним – Маши он уже не увидел. Когда приехал в больницу, серая от платка до полуботинок Ариадна стояла неподвижно, как колонна, в вестибюле у гардероба и сказала брату без всякого выражения – просто сообщила и замолчала:

- Все. Забрали наверх. Я с ней тоже не успела проститься.

«Наверх» означало, что началась агония, и девочку перевели в палату смертников, куда никому из родственников прорваться никогда не удавалось: после такого сообщения они в следующий раз видели своих детей уже в гробу, в предбаннике морга. Не удалось и Игнату – напрасно он, расшвыряв каких-то баб в зеленых штанах и рубахах, ломился в запертую дверь с издевательской надписью «Реанимация» и орал чудовищные слова в адрес всех, кто пытался его унять, – он был достаточно быстро нейтрализован двумя ухватистыми медбратьями, напоен имевшейся наготове дрянью, от которой ослабели ноги, а в глазах потемнело, – и отдан на расправу лечащему врачу. Приговор выслушивал сидя. Он был таков: «Не более суток». Ему сообщили, что девочка не страдает, а спит – и так умрет во сне, без мучений, что вела она себя до последней минуты с большим достоинством и, пока была в сознании, не выпускала из рук фотографию отца, тети и собаки – потом эту карточку тихонько изъяли – вот она, извольте получить... Он сунул карточку в карман и вышел, не сказав ни слова.

На обратном пути Игнат в последний раз завернул к Жене. Никакой жалости он к ней больше не испытывал: не она ведь лежала

<sup>1</sup>Автор стихов – *М.И. Цветаева* (1892-1941) – русский советский поэт, повесилась 31 августа в г. Елабуге.





в палате смертников за белой ширмой, и последнюю драгоценность вытащили не из ее ослабевшей руки. Не слушая, что она ему там начала лепетать про какую-то очередную свою жестокую драму – мобильник у нее кто-то отобрал, что ли, – он остановился в коридоре и произнес:

- Да провались он, твой телефон. Все. Маша умирает. Забрали наверх, в реанимацию, говорят – агония. И меня выгнали. Черт бы тебя побрал, Женя. Черт бы тебя побрал.

Вечером он забыл вывести Рики – и умный пес не стал помогать хозяина, давно сидевшего за чистым столом в темноте, уронив на него неподвижные руки, – поэтому очнулся Игнат только от мощного раската грома, прозвучавшего в ночи так отчетливо, что вздрогнули розовые стены его ненадежного дома и зазвенело все стеклянное, что было в квартире. Он вздрогнул и обвел глазами комнату, столкнулся с трагическим взглядом лежащей собаки, и в нем проснулось человеческое:

- Господи, Рики... Я и забыл про тебя... Что это было такое, а? Гроза?

Он накинул куртку, взял собачью сбрую и вышел, а мимо него, визжа от нетерпения, стрелой рванул вниз ошалелый сеттер. На улице было еще по-зимнему морозно – но вдруг повеяло характерным запахом пожара, и за домами встало малиновое зарево. Невдалеке раздалась невнятные крики, и мимо Игната табунком пробежали серьезные люди. «Что за хрень...» – на минуту позабыв о своем, он нерешительно двинулся за ними.

Верхняя часть точечного дома была снесена, словно по нему прошел цунами. Здание вяло горело, и языки неяркого пламени выглядели, как живая корона. Из подъезда и нижних зияющих окон в странном молчании выскакивали босые, полуодетые, совершенно безумные на вид люди, кого-то и что-то прижимавшие и тащившие... Но потрясенный Игнат не мог их разглядывать и на помощь им не кидался – потому что в первую же минуту прямо в сердцевину мозга ему впилось непоправимое понимание: это именно тот дом, где на шестом этаже, которого больше нет, несколько часов назад находилась квартира, откуда он вышел широким свободным шагом, перед этим рывкнув испуганной женщине с дрожащим лицом:

- Сидеть на месте. Я знаю, где выход.







## Глава 5

Женя никогда не думала, что сердце может стучать так громко. Оно работало, как взбесившаяся кувалда, бешено молотило изнутри по ребрам, так что казалось, еще немного – и разломает, разобьет в щепу хрупкую грудную клетку. «Вот как умирают... Все... конец...» – но конец упорно не наступал, хотя и виделся в этот момент почти желанным исходом. Женя не предпринимала никаких попыток осмыслить происходящее – да, собственно, оно осмыслению и не подлежало, потому что ничего особенного не происходило: просто люди собирались на работу и буднично, поутреннему переговаривались: «Дверь в комнату прикрой, ребенок спит». «Чего спит? Буди его давай. И свою тоже». «Забыл? Каникулы у них начались, пусть выспятся». «А-а, точно. Ну ладно, хорошо, что не мельтешат». «Рубашку вот возьми, я ту замочила». «Угу. Подсуетись давай, полвосьмого уже, а ты копаешься». «Иди, готово». «Щас, только рожу ополосну». В кухне засвистел-забулькал было чайник, но сразу захлебнулся – зато грохнула передвигаемая табуретка. По коридору озабоченно стучали и шаркали деловитые шаги, звонко щелкала дамская сумочка, противно визжала дверца старого шкафа. И тянуло, тянуло во все щели навечно въевшимся в эти стены, невыветриваемым запахом «Карбофоса»... Два человека готовились выходить из дома – и, по крайней мере, один из них уже двадцать шесть лет, как умер...

Такое не могло присниться – это стало понятно еще до обдумывания. Не бывает также и таких снов, от какого она только что проснулась. Мозг все-таки включился – ему ничего не оставалось после того, как сердце непостижимым образом не разорвалось. *Ни то, ни другое не сон* – это единственное, что сразу стало непоправимо ясно, но дальше дело фатально не продвигалось. «А ведь мама-то жива!» – вдруг плеснулась первая разумная мысль – и Женю подбросила на постели внезапная душевная буря. Но до той секунды она созерцала только свой родной стенной коврик, пронесенный сквозь все жизненные торнадо, и оказалась совершенно не готовой к представшему зрелищу. Стол с компьютерно-электронным царством, всегда стоявший у окна, глубокое кресло с пятью зелеными подушечками, высокий стеллаж с любимыми книгами, журнальный столик с глиняным набором для глинтвейна – все это самым невероятным образом исчезло. Женя увидела в тусклом утреннем свете прямо напротив себя секретер с откину-





той крышкой и кучей наваленными на ней книгами под горбатой настольной лампой. Окно оказалось почему-то слева от секретера, и под ним одиноко стоял венский стул, на котором торжественно восседал коричневый медведь со свалывшейся шерстью и укоризненными глазами. Интересно, много ли наберется детей, у которых такого питомца – не было? У противоположной стены белел двустворчатый шкаф, плохо умевший хранить интимные тайны, потому что из полуоткрытой дверцы торчало нечто розово-кружевястое. Ну, конечно, первая Женина «взрослая» комбинация, купленная самостоятельно, на утаенные от матери деньги, периодически выдававшиеся тою строго на «канцелярские принадлежности и никакой косметики»... Под шкафом на полу валялась красная сумка из кожаменителя, на молнии и с тремя броскими лжепряжками – школьная сумка на зависть всему классу, привезенная мамой с редкого отдыха в бело-синей Юрмале... На дверце шкафа, аккуратно прикнопленный, светлел календарик, и уже можно было разобрать в сумерках четыре крупные тяжелые цифры: 1984, а под ними помельче – «ноябрь»... Этот не-сон происходил в ее прежней комнате, настоящей, давней, единственной комнате, которую злые люди вероломно отняли, – и вот она вернулась сама, готовая к услугам и дружелюбная, как и положено быть торжествующей справедливости... Пока Женя привыкала к окружающему и решала, как к нему относиться, отчетливо хлопнула входная дверь, и сердце у Жени оборвалось: мама ушла, пока она предавалась своему удивлению – и Бог весть, придется ли ее увидеть еще, до того, как эта новая явь прекратится, и она снова окажется в своей квартире на шестом этаже точечной многоэтажки. Женя метнулась вбок, чтобы вскочить с дивана, – и едва не оказалась на полу! Ведь двухспальный диван, свидетель ее слез и любви, тоже претерпел метаморфозу, обернувшись теперь узкой девичьей кроваткой. Боже мой, а вот и тапочки, милые красные тапочки без задников! Это, пожалуй, хорошо, что мама с... этим своим... успела уйти, а то что бы она испытала, когда из дочкиной комнаты выскочила и бросилась на нее незнакомая баба, старшее ее почти на десять лет! Разве узнала бы она в ней свою маленькую Женюшу? Как-то придется обдумать все сначала, обустроить... Господи, надо посмотреть, что осталось, и осталось ли вообще, в сорокалетней измученной тетке от той девчушки с острыми локотками и ключицами... И дверца шкафа была немедленно распахнута. Осталось ли что-нибудь от Женюши? О,





несомненно. Собственно, осталось все. Из шифоньерного зеркала на Женю дико глянул незнакомый растрепанный подросток, у которого под ее неумолимым взглядом начал медленно и широко раскрываться свежий розовый рот...

Никакая застопорившая не в том месте машина времени, объяснительно мелькавшая все это время на задворках Жениного сознания, в этом уже не занимательном приключении участия не принимала. Произошло нечто гораздо более трудно объяснимое, но принявшее все черты и формы непреложного факта: четырнадцатилетняя девочка, проснувшаяся в тихой комнатке в первый день осенних каникул, не только знала наперед, но и помнила всю свою будущую жизнь по сорок лет и восемь месяцев включительно... Со всего размаху Женя ударилась головой о странно крепкое, даже не треснувшее после этого зеркало. Боли не было. «Я что, умерла?!!» – без звука возопила она, боясь услышать собственный голос. Но полновесная, наливающаяся прямо на глазах шишка немедленно убедила ее в обратном, да и боль появилась – правда, с некоторым запозданием, невнятная, но вполне ощутимая и покойницам никак не свойственная. «Спокойно, спокойно, спокойно», – шепотом просвистела Женя, вознамерившись сжать отяжелевшие виски пальцами – но вдруг замерла, наконец, разглядев свои приближающиеся к лицу руки. Совсем не были это женские ухоженные руки – а куриные лапки школьницы с до мяса обстриженными ноготками, заросшими лунками, недосмытыми пятнышками чернил, покрытые мелкой красноватой сыпью... Почему-то это потрясло Женю больше всего предыдущего. С минуту она тупо пялилась на две свои растопыренные ладошки и глубоко дышала, словно борясь с подступающей рвотой, но потом изнутри прорвалось – не рвота, а тихий, но идущий по нарастающей рев: «Выпустите меня... Выпустите меня отсюда! Выпустите же меня отсюда, придурки!!!».

Дверь в комнату без стука отворилась, и в нее просунулась белобрысая мальчишеская голова.

- Ты чего орешь? Сдурела? – деловито осведомился хилый паренек лет десяти. – Тебя заперли, что ли? Откуда выпустить-то?

Женя уставилась на него, как на привидение, но опознала быстро, потому что последний раз видела брата Эдку почти таким же, не встретив после выдворения из родного дома больше ни разу и наглухо позабыв.

- Уйди, уйди... – замахала она руками, не надеясь на неполнозвучный язык.





- Вот дура, – констатировал он и исчез.

Жене показалось, что голова у нее сейчас лопнет: не то слишком много в нее сегодня пришлось запихнуть, не то сама по себе была она у Жени не слишком вместительная. «Надо лечь, – билось в ней только одна спасительная идея. – Надо лечь и подумать...». До узкой кровати удалось добраться без происшествий – разве что, случайно глянув вниз, Женя обнаружила еще и длинный волан на подоле батистовой ночной рубашки (школьное рукоделье), а из-под волана – босые худые ступни, маленькие и без педикюра. Тоже оказалось ужасное зрелище.

Она легла навзничь и закрыла глаза локтем, загораживаясь от навязчивого мира, – сработал инстинкт общей спальни пионерского лагеря. «Спокойно, – повторила про себя, стараясь выровнять дыхание. – Спокойно. Я не умерла, и это главное. Теперь надо решить – кто же я? Четырнадцатилетняя восьмиклассница или взрослая женщина... с не очень, прямо скажем, удачной жизнью. Похоже, что и то, и другое. Ведь не приснилась же мне вся моя жизнь с такими подробностями... Да! Самое главное! Советской власти скоро конец! Вот обрадуется наш партиец Вадим Федорович! Не могло же это все мне привидеться... А вдруг я засну вот сейчас и опять проснусь – там, и все будет, как раньше... Нет, не очень хочется, как раньше, – Игнат ведь меня, похоже, бросил... Да и вообще жизнь у меня там самая дрянская, никаких перспектив... А так глядишь – и сначала начать... А вдруг? С ума можно свихнуться...». Сердце снова ускорило свой поредевший было стук – будто именно там, а не в растерянной голове, зрело судьбоносное решение, – и оно разом выплеснулось в сознание: «Мама теперь не умрет! Я не позволю ей умереть! Она останется жива, и вся жизнь пойдет иначе! Она не даст мне пропасть – пусть только этот гад попробует меня тронуть! Уж не знаю, что это такое со мной случилось – но превратить меня в бездомную неудачницу никто не сумеет...».

Через полчаса Женя уже сидела на своей кровати, твердо глядя прямо перед собой и соображая вполне сносно. Что произошло, ей все равно не догадаться: то ли действительно приснился странный сон о будущем, то ли некая высшая сила с неизвестной, но, кажется, благой целью сделала ее снова девчонкой-подростком. Во всяком случае, ей дан великолепный шанс прожить почти две трети жизни набело, уверенно перечеркнув все ошибки в неожиданно выданном для исправления черновике. Что она, в сущ-





ности, потеряла? Сомнительную и печальную жизнь потасканной полубомжихи с относительной сытостью, возможной лишь пока не иссякнут силы тянуть трудовую лямку? А в перспективе – захолустный дом престарелых и смерть от пролежней на сгнившем от давней своей и чужой мочи матрасе? Горькая потеря, нечего сказать. В четырнадцатилетнем возрасте какие недостатки? Только один: необходимость находиться в зависимости от взрослых еще минимум четыре года. Четыре года?! Да это же – тьфу, пролетят, как четыре дня, – теперь-то она это куда как хорошо знает! Зато за это время она выйдет на совершенно другие рубежи – на те, о которых и мечтать всегда было заказано. Например, золотая медаль в школе ей обеспечена, потому что среднее образование она уже получила – там, в *той* жизни. После этого в любой институт можно поступать с одним экзаменом... В институт? Нет, теперь она закончит Университет, и учиться будет старательно, потому что парни, танцы и посиделки для нее ничего в *этой* жизни не значат. Какие парни? У нее есть Игнат, который теперь-то ее не бросит, потому что она станет ему равной, – а может, еще и переплюнет... Надо его немедленно разыскать, ему сейчас примерно двадцать четыре-двадцать пять лет, и он молодой учитель в одной из петербургских... Батюшки – ленинградских! Ленинград ведь еще за окном, а до Петербурга жить и жить... За окном? Женя подскочила и кинулась к окну. Утро уже вполне оформилось, и с высоты восьмого этажа панельной девятиэтажки Веселый Поселок предстал во всей своей неприглядности. Совершенно одинаковые серо-белые ящики домов хмурым каре окружали низкую стеклянную постройку, венчаемую грязно-зеленой буквой «У». Да, да, все правильно! Это тот самый, один из первых в городе, универсам, прямо напротив которого им выпало несказанное счастье жить после того, как переехали в новый перспективный район с Выборгской стороны, где мама в свое время унаследовала чуть более просторную, но катастрофическими темпами ветшавшую квартиру. Женя еще помнила времена, когда универсам только строился, как и метро «Проспект Большевиков», а улицы в демисезонье утопали в жидкой грязи настолько, что некоторые совсем уж сумасшедшие модницы до единственного автобуса, идущего «в город», добирались в резиновых сапогах, таща модельные в полиэтиленовом пакете и переобуваясь на одном им ведомым перевалочных пунктах. К середине восьмидесятых грязи немного поубавилось, а продуктов в универсаме прибыло,





к несказанной радости Жениной мамы, избавленной от ежевечерней повинности по добыче неуловимого съестного. Странно было вместо буйства рекламы видеть редкие скромные вывески чисто информативного характера: вечером эти непритязательные буквы ненадолго зажгутся голубым, зеленым и изредка красным неонам, сообщая гражданам, где можно поставить набойки, положить рублевый излишек на книжку, а также книжку – купить: развлекательное чтение о решениях очередного Пленума ЦК, многотомный производственный роман для души или пособие по эксплуатации автомобиля «Москвич-412» ради самообразования.

У Жени ненадолго захватило дух: да это же лучше всякой машины времени! Прямо сейчас – туда, своими глазами увидеть еще непоколебимый на вид мир, в прах рассыпавшийся при ней, разрушенный в очередной раз «до основания», но так и оставшийся лежать беспомощной кучей, которую лишь начали разгребать, чтобы построить неведомо какой – новый, ожидающий своего собственного разрушителя.

На сборы ушло непредвиденно много времени. За пределами собственной комнаты, из памяти сердца никогда по-настоящему не уходившей и оттого принявшей блудную дочь с само собой разумеющимся радушием, каждый шаг означал вздрог от очередной вспыхивающей, как светляк в темном саду, подробности. Высокое овальное зеркало в коридоре, вдруг отразившее не только настороженное лицо, но и всю тщедушную, странно низенькую фигурку... Самая простая в мире вещь – сиреневая зубная щетка – вдруг вызвала припадок тошнотворного сердцебиения, потому что щетина на ней оказалась самая что ни на есть натуральная, какой не росло на этой породе домашних штуквин уже десятилетия два! Чудом показалось, что рука уверенно включила сначала левый кран – оказавшийся холодным – хотя еще вчера в однокомнатной квартире «хрущевки» с тою же уверенностью поворачивала сначала правый, тоже выдававший упругую ледяную струю. Позже разные недоумения начались у шкафа с одеждой: она что, должна натянуть вот эти смешные вельветовые брючки – такие узенькие, неужели застегнутся?! Не только застегнулись, но и мешковато повисли на тощих бедрышках. Так. Она в жизни не станет больше есть хлеба, пельменей и макарон, благодаря чему сама не превратится в сардельку. А это что за кофточка на пуговичках? Нет, это же невозможно надеть, такого даже не китайских рынках не продавали... Не будут продавать... Сам черт





ногу сломит... Вот свитерок поприличней, из той же Прибалтики, наверное... Точно, Рига... Она только раз туда выбралась – еле денег на визу и путевку накопила. А ведь еще шесть лет – пожалуйста, езжай не хочу... Ладно, пусть свитерок... Взгляд упал на полку, где разложена была удивительная косметика! Да это же из «Ванды»! Нет, кроме шуток, коробочка теней и две помады – польские, да плюс целый косметический набор новой советско-французской фирмы «Елена»! Голубой тюбик туши «Луи Филипп» – липучей комковатой дряни, купленной мамой с рук для себя, но быстро передаренной дочери ввиду абсолютной непригодности для пользования... И что – вот это свежее бархатное личико с нежнейшим, как заря, румянцем сейчас опохабить грубой краской, предназначенной для вышедших в тираж кобыл?! Не бывать такому, в помойку эту пакость... Боже мой, Боже! Как легко двигается тело, нигде никакой скованности и тяжести, желудок не болит натошак, а как гибка шея, понятия не имеющая о неизлечимом остеохондрозе, в правой пятке и в помине нет никакой мучительной «шпоры», и можно хоть сейчас нагнуться, не сгибая колен, и обе ладони без напряжения лягут на пол... И будет так еще долго, волшебю долго, самое меньшее – лет пятнадцать...

Смятенные мысли прервал требовательный дверной звонок самого отвратительного тембра, тотчас узнанного. «Светка», – четко и ясно прозвучало в голове. Женя почувствовала, как быстро слабеют легкие ноги, и сделала, пятясь, несколько неуверенных шагов к венскому стулу... Открыть дверь – означало впустить в нее очередного ожившего мертвеца, потому что ее подруга детства уже пятнадцать лет как лежала в песчаной земле Южного кладбища – под розовой гранитной плитой с золотой шестиконечной звездочкой...

После своего четвертьвекового юбилея Женя решила позвонить ей – по старому номеру. До того – невозможным казалось: уж очень явственно ощущалась где-то за кадром неременная Светкина удачливость. Но когда в суровой жизни немного пообвыкалась, сама оперилась, получила основание надеяться, что жалости больше не вызывает, то и позволила себе набрать прочно застрявший в памяти без всяких записных книжек номер. Трубку взял Светин папа, Борис Иосифович, – Женя сразу узнала его по характерному, ничем не вытравливаемому «Алё, кто гово'ит?» – только прозвучало оно не жизнерадостно, как десять лет назад, а словно смазанно, тускло и неприветливо. Женя представилась, и







голос ненадолго ожил:

- Боже мой, Женечка, девочка, тебе-то кто рассказал? Неужели Эдик?

- Что рассказал? – спросила она и запомнила этот момент своей жизни навсегда, потому что именно тогда впервые познакомилась со щемящим ощущением страшного даже не предчувствия, а полновесного знания.

- Ну, про Светочку... Что она... Она... – и в трубке раздался как бы частый мелкий кашель.

Женя не сразу поняла, что Борис Иосифович плачет.

Света Бирбиллер, молодой, но уже очень успешный абортма-хер, приобрела себе нетронутую, белую, как лебедь, «десятку», в придачу к ней прикупила водительские права – сушную безделицу и, наспех обученная своим интимным другом-коллегой в условиях пустынной сельской дороги, уверенно села за кожей обтянутый руль. Для начала она скучно поехала по узким дворам, но и еврейская душа, видать, запросила скорости и простора. Госпожа Бирбиллер начала аккуратно выруливать на оживленную улицу Коллонтай, уделив все внимание тому, чтоб не разбить пышный зад припаркованному «Мерседесу», загроздившему собой чуть ли не четверть выезда, – и посмотреть налево попросту позабыла. Не было у нее еще такой привычки... От «десятки» после встречи с фурой, полноправно летевшей на зеленый свет, не осталось практически ничего, и Женю угораздило попасть непосредственно на похороны, проходившие ради папы по-еврейски – с лупоглазым раввином в черном лапсердаке и нудным кантором, вымотавшим всю душу, а после них – на русские поминки в угоду неподвижной и бессловесной маме, – и тут уж был черничный кисель и неудавшаяся медовая кутья...

«Светку тоже надо спасти!» – галопом пронеслось еще одно благое намерение, меж тем как из прихожей доносился искусственно хриплый голос брата. Тот никак не мог дожидаться, пока голос огрубеет сам собой, то есть, «сломается», и изо всех сил старался придать ему мужской, взрослый тембр. Получалось, как у юного гундосого петушка:

- Да дома она, дома, только дурит. Может, бухнула уже на радостях, что каникулы, – откуда я знаю? Сама посмотри – возись тут с вами... Всё, скажи ей – я к Генке пошел.

Пока Светка закрывала за Эдкой, да сама стаскивала в прихожей одежду и обувь, Женя наскоро успела внутренне подгото-





виться к неминуемой встрече – и потому, когда подруга привычно распахнула ее дверь настежь, ей удалось не вскрикнуть и не зажмуриться. Да, она такой именно ее и помнила: крупной девочкой в джинсе от «Монтаны», с великолепными вьющимися волосами до талии и незначительной крысиной мордочкой. Светка загадочно улыбалась, и, не обращая никакого внимания на Женино подавленное молчание, немедленно картаво зазвенела:

- Твои свинтили? Везет же людям! Моя мать в свой театр раньше вечера не свалит, дни напролет дома торчит – хоть бы в магазин сходила. Так ведь нет, продукты отец вечером сам привезет. А она с книжкой лежит. Как уйдет – так сразу папаша: здравствуй, жопа Новый год! Круглосуточно под контролем, хоть вешайся! Но ничего! – девочка заговорщицки подмигнула. – Вчера пациенты отцу очередную бутылку подарили, здоровенную такую, и предки ее вдвоем начали вечером на кухне. Там она и стоит, родненькая, а я сегодня оттуда в баночку и отлила... Хоп! Фокус-покус! – в руках у Светки, откуда ни возьмись, появилась майонезная банка, почти доверху наполненная темно-янтарной жидкостью. – Думаешь, коньяк? Ха! Старка! Слушай, ты чего кислая такая? Правда, что ли, квакнула уже с утра пораньше?

Так это все было убийственно знакомо, словно и не проходило никаких двадцати шести лет, и не сгинуло все давным-давно в черном колодце забвения...

- Свет, сядь сюда... – попросила сорокалетняя Жень четырнадцатилетнюю девчонку. – Сядь, разговор есть.

Она смутно понимала, что говорить надо на том, прежнем, языке детства.

- Может, квакнем, сначала, а? – с надеждой спросила Света. – Черт, знала бы, что ты сегодня смурная, – к Вичке бы пошла со старкой...

- Подожди ты... Мне сказать тебе надо... Да не рыпайся ты, вот дурная... Сон я видела сегодня... Ужасный...

- Ужасный? – заинтересовалась Света. – Про привидения? И скелеты были?

«Эх, фильмов ужасов ты не видела, девочка. Привидения бы тебе сказкой про Белоснежку показались... – мимоходом подумала Жень. – А что касается скелетов – то да, был один. Твой. В разобранном виде и в закрытом гробу».

- Гораздо хуже, – призналась она. – Гораздо. Господи, ты можешь хоть секунду не вскакивать, а тихо послушать и не возникнуть?





- Надо же – прям, как мать моя, заговорила! – обиделась Света. – Еще скажи, чтоб я руки вымыла и на стол их положила – одну на другую!

Она уже снова прыгала по комнате, беззаботно хватая и ставя на место разные вещички, тетрадки, ручки, – мысль ее блуждала, не задерживаясь на одном и том же дольше, чем на минуту...

- Дура! – рявкнула вдруг Женя. – Я похороны твои видела! Я родителей твоих видела – на твоих похоронах! А ты тут трещишь, как... я не знаю... Слова не даешь сказать!

Вот тут-то Света трещать перестала. Она и двигаться перестала и, кажется, дышать тоже. Силилась сказать что-то, но не так-то скоро с этой задачей справилась, а, когда, наконец, речь к ней вернулась, то хлынула уже неостановимо:

- Ты чего – ваще, да?! Совсем с катушек съехала, да?! Ты чо каркаешь?! Ты чо каркаешь, я спрашиваю? Кто тебя за язык тянет? Ты вообще думаешь, что говоришь? Тебе голова для чего дана? Чтобы жрать, что ли?! Похороны она мои видела, скажите! Ах, ты, сучка... А я-то ее за подругу держала! И еще родителей моих трогает! Дура, дура, дура ненормальная!! – из глаз ее сразу же брызнули испуганные злые слезы, девчонка сорвалась с места и метнулась в коридор, где сразу стала истерически хватать с вешалки свои вещи, все повторяя: – Я с ней, как с человеком... А она... Шутки у нее... Да чтоб тебе самой сдохнуть с твоими шутками...

Жене удалось силой задержать подругу у входной двери лишь на несколько секунд, и скороговоркой проговорить:

- Ты разобьешься в двадцать пять лет в машине – в белой «десятке» – здесь, рядом, выезжая на Коллонтай, – угодишь под фуру... Просто не садись в такую машину и будешь жить до ста лет... Запомни, дура, от этого жизнь твоя зависит...

- Идиотка... Какая еще десятка... Точно, нажралась с утра... – остервенело вырвалась Света. – А ну, пусти! – и совсем не подвигившись замысловато ругнулась, невольно скопировав, вероятно, родителей, которые считали особым богемным шиком изящно пересыпать свою повседневную речь собственными изобретениями неологизмами от всем известных восьми корней...

Только после шумного отбытия подруги детства Женя начала осознавать еще одну невыгодную сторону своей осведомленности: ей вдруг припомнился собственный класс – вернее, единственная годовой давности встреча одноклассников, организо-





ванная одной вполне успешной девочкой, стремившейся во что бы то ни стало обнародовать свою небывалую удачливость. Тогда и узнала Женя о судьбе почти всех своих соучеников и учителей – о ком-то вскользь пожалела, кому-то так же мимолетно позавидовала... Но теперь-то это было личным будущим каждого из них! И что прикажете делать с этим своим знанием? Уже по тому, как ловко она предупредила о грядущей трагедии Свету, можно было догадаться, что миссия по спасению остальных утопающих легкой не окажется... А теперь у нее на очереди оказывалась собственная мать, которой иначе предстояло не дожить и до конца месяца...

Сказать, что это поразило Женю, – означает ничего не сказать. По улицам ее города шли другие люди, четверть века спустя полностью и без возврата исчезнувшие с лица земли. Это, конечно, были именно ленинградцы. Не лучше и не хуже петербуржцев – просто другие. Сначала показалось, что дело в одежде: еще бы – все женщины в похожих серых, бежевых и синих пальто со скромными песцовыми или нутриевыми воротниками и в шерстяных шапочках, а мужчины и даже мальчики – тоже в пальто, только квадратного фасона и каких-то асфальтовых тонов. На некоторых существах обоего пола – толстые короткие или длинные шубы коричневого искусственного меха, на многих – бесформенные кроличьи ушанки. Редкие уродливые куртки из темной плащевки с грубыми заклепками кажутся по сравнению с убогим драпом почти нарядными... Яркое пятно в этом буром потоке выглядит чем-то исключительным, на что хочется немедленно обернуться и долго провожать взглядом, причем сразу невесть почему приходит на ум, что женщина, сшившая себе в ателье ярко-красное пальто с перелинкой, бросает обществу своеобразный вызов: на лицах обернувшихся одобрение читается далеко не всегда. Лица – все дело, конечно, в них. Предположим, большинство из этих прохожих уже состарилось, а то и вовсе умерло (хотя... хм... как это? Вот идут же себе преспокойно – кому сорок, кому пятьдесят...), а их ровесники через четверть века будут носить совсем другое выражение, как и одежду... Что все-таки с их лицами? Они какие-то... непроницаемые, что ли? Некоторые улыбаются и даже тихо смеются, беседуя со спутником, но при этом все глаза остаются – не то что серьезными, нет – настороженными. Боятся? Вроде, в ту пору Большой Страх уже в основном отступил, люди начали все уверенней распоясываться, анекдоты про власть уже



в открытую травил в курилках... Общая мрачность, неуверенность в себе, ежедневная забитость? Но ведь не пройдет и десяти лет, как им вообще небо с овчинку покажется, – а вот это стадное выражение с лица уйдет... Каждый будет страдать собственным, единственным страданием, исчезнет баранья обезличенность... Женя порой забывала, что имеет внешность незаметной школьницы из трудовой семьи, и ей чудилось, что на нее оборачиваются, как на инопланетянку, прилетевшую на экскурсию, – да она и чувствовала себя по сути таковой...

После неудачного общения с подругой встреча с матерью сошла парадоксально легче. Женя готовилась к ней с таким трепетом и ужасом, что вечером снова повалилась на свою девичью постель в полном душевном смятении – и вдруг была поражена простой и правильной мыслью: да ведь мама-то ни о чем таком и не подозревает! Она просто придет домой рядовым вечером после очередного неинтересного рабочего дня, отстояв очередь в кассу в низком стеклянном строении с зеленой буквой «У» на крыше... Ребята на каникулах, значит, хоть уроки не проверять – и то слава Богу... Ни в какие душевные коллизии детей она не вдавалась, почему-то раз и навсегда решив для себя, что «это все в десятом классе, а сейчас они еще дурачки», – поэтому вряд ли заметит на лице дочери... что дочь эта почти на восемь лет старше ее самой... Если вдруг увидит, что «глаза какие-то грустные», – так решит, что съела что-то не то – и все дела...

Так и вышло. Дверь матери открыл давно вернувшийся и плюхнувшийся с закадычным дружком перед телевизором Эдика (по случаю каникул с полудня крутили подряд все три части «Неуловимых») – и голос ее из прихожей звучал глухо и устало: «Пообедали?... Папа звонил?... Почему руки грязные?... Женя что – у Светы?..». Братишка, оторванный от экрана, на этот раз забыл похрипеть «под Высоцкого» и торопливо пищал в ответ: «Да... Нет... Я мыл... Не знаю...» – и вот мамины шаги послышались уже у самой Жениной двери... Она торопливо отвернулась к стене и укусила подушку.

- Ты чего это в темноте? – совсем рядом раздался неожиданно неприятный женский голос. – Почему лежишь? Нездоровится?

Достаточно было лишь пробормотать: «Угу», чтобы считать первый контакт с еще одним пришельцем с того света законченным и вполне удачным.

- Ну, лежи. Только укройся, дует, – бросила мать, и дверь немедленно закрылась.





Женя перевернулась на спину и уставилась в темный потолок, по которому тихо перекатывались широкие оранжевые полосы: это шли далеко вниз редкие машины... «И что я должна была ей сейчас сказать? "Мама, я знаю, что у тебя беременность раннего срока. Так вот, скоро одна тупая тетка посоветует тебе ввести в матку мыльный раствор, чтобы вызвать выкидыш. Но ты ни в коем случае этого не делай, потому что сразу же после этого умрешь от эмболии – я это точно знаю, и могу даже показать тебе пустую нишку в стене крематория, в которую через две недели поставят урну с тем, что от тебя останется." Круто. Интересно, как бы я на ее месте на такое отреагировала...».

Подступиться к матери до конца каникул так и не удалось: то Женя щадила ее за усталую озабоченность, то никак не могла застать одну, потому что под ногами путался непоседливый Эдька или вдруг угрюмо являлся отчим и располагался надолго пить свой горький черный чай. Вадима Федоровича Женя решила принципиально игнорировать, чтобы заранее продемонстрировать ему все презрение, которого он был достоин, – но старания пропали втуне, потому что их чувства друг к другу были абсолютно взаимны, и его тоже не тянуло к долгим разговорам по душам с падчерицей, когда-то навязанной в придачу к отдельной квартире и необременительной жене.

А начало второй учебной четверти все приближалось, вызывая в Жене инстинктивный страх, причудливо сочетавшийся с болезненным любопытством...

Первой тенью прошлого, уверенно шагающей вверх по школьному крыльцу – во плоти и в синем пальто с серым каракулем, оказалась Лилия Марковна Цедельбаум, непробиваемая учительница истории, парторг школы, ухитрявшаяся ввинтить небольшой отрывок лекции по научному атеизму или марксистско-ленинской философии даже ведя в четвертом классе урок, посвященный первобытно-общинному строю. По прошествии пятнадцати лет она пострижется в монахини с именем Евлалия, еще через два года станет игуменьей дальнего разрушенного монастыря на берегу овеянного легендами озера, а в течение следующих десяти, имея в своем распоряжении только шесть насельниц, своими руками отстроит его заново, превратив в центр духовной жизни целой немаленькой области... Во время каждой Литургии в монастыре из озера будет отчетливо доноситься колокольный звон – и старожилы расскажут, что где-то на дне лежит древний колокол,





спрятанный туда верующими во избежание революционных надругательств... Но пока что будущая мать Евлалия уверенно, как крейсер «Аврора», плыла по шумному морю школьного вестибюля, презрительно рассекая внушительным килем волны еготившей вокруг недостойной внимания мелюзги...

Кто-то робко тронул Женю за рукав, и, обернувшись, она увидела ходячее недоразумение их 8 «Б» – Снежану Иванову. Создавалось впечатление, что, давая имя новорожденной дочери, ее родители с неизвестной целью жестоко подшутили над ней, потому что была она черноволосой и черноглазой смуглянкой. Вдобавок ко всему, Снежана росла гораздо медленнее акселераток-сверстниц и всегда достигала лишь плеча тем из них, которые считались девочками среднего роста. С мозгами у нее дело обстояло почти на грани вспомогательной школы – собственно, она и была ее явной клиенткой, да помешали родители-кандидаты наук, с таким конфузом смириться не пожелавшие. Ей бесполезно было даже давать списывать, потому что и в этом нехитром деле она допускала не менее десяти собственных ошибок в дополнение к уже имевшимся в тетради чужим. Вот и сейчас несчастный ребенок тихо спросил Женю:

- Слушай, ты уравнения, которые на каникулы задали... Ну, с этим, как его... Дис... Дикре...тьфу ты... – Разумеется, слово «дискриминант» она бы не смогла никогда повторить даже по слогам. – Короче, если решила, дай списать, а?

Никаких уравнений Женя в каникулы, конечно, не решала, будучи занятой несравненно более важными делами, но вполне могла бы поделиться с ней другими, архиинтересными сведениями... Спустя четверть века через зал довольно затрапезного ресторанчика, где соберутся двадцать восемь из тридцати шести одноклассников, почтительно сопутствуемая парой двухметровых охранников, оставляя за собой шлейф небывалого коллекционного аромата, усыпанная бриллиантами, как августовское небо созвездиями, стремительно пройдет миниатюрная черноглазая дама в шиншилловом боа... В ресторане воцарится достаточно длительная тишина, потому что Снежану не сразу опознают – лишь по лилипутовости, которую не скроют даже невероятной высоты каблук. Весь вечер она многозначительно промолчит – потому что ума, как и росту, ей за двадцать пять лет не прибавит. Но расторопные девчонки сумеют все-таки вырвать у нее страшную тайну: выяснится, что к их бывшей товарке по несчастью (по





школе, то бишь) теперь следует обращаться не иначе, как Ваше Величество, ибо она – старшая жена короля одного из столь же миниатюрных, как и она сама, африканских государств, где вместо воды из сливных бачков обрушивается нефть, потому что ее там гораздо больше... Его черное, как хромовый сапог, Величество (тогда – Высочество), имевший росту вместе с ритуальной прической полтора метра, учился в Ленинграде в институте, куда ее, восемнадцатилетнюю полукарлицу, после отбывания в школе восьми классов долго болтавшуюся без дела, однажды смеха ради затащили на дискотеку подружки по двору...

Жестоко толкнув обеих, по лестнице мимо них промчался Веня Заяц. Недолго ему осталось куролесить: уже в девяносто втором он совершит свой геройский подвиг: как капитан тонущего корабля, откажется покидать собственный бесценный вещевой ларек, который вечером придут сжигать ракетиры; на это препятствие они никакого внимания не обратят – спялят имущество вместе с хозяином. Еще более жуткой участи подвергнется его ничем не примечательный дружок Котька – вон он, как раз изготовился плюнуть жеваной промокашкой через трубочку от механического карандаша в пышную красную щеку ничего не подозревающей Лили Коренблум. Его, беспечного владельца крупного ресторанного бизнеса, конкуренты расстреляют на даче из автоматов – вместе с женой, двумя детьми, тещей и собакой. А Лиля в девяносто первом облегченно уедет со всей многоколенчатой семьей в Израиль, где уже в новом веке встретит ее будущий врач-педиатр Оля Торопова, отправившись туда с православной паломнической группой. Она приветливо окликнет Лилю, отделившись от маленькой кучки русских, возглавляемой священником, но та вдруг шархнет от нее, как от зачумленной, и бросится прочь наискосок, через оживленную иерусалимскую улицу Hillel...

Учительница математики, миловидная мышка Вера Георгиевна, напрасно сидит за своим столом такая грустная, задумавшись, верно, о своей незавидной стародевичьей судьбе. Уже после следующих каникул появится в старших классах новый молодой учитель химии, очкастый вольнодумец без пиджака и галстука, в одном художественно-небрежном свитере, и спустя буквально две недели вся школа станет со всевозрастающим интересом наблюдать за их бурным романом, который одуревшие от любви молодые люди будут не в силах – или просто не захотят – скрывать... Ничего, что после весенних каникул химик таинственным





образом исчезнет навсегда, а Вера Георгиевна коротко подстрижет свои пышные светлые волосы и перестанет пользоваться косметикой насовсем, а также ни разу больше не улыбнется, чем заработает пожизненную кличку «Несмеяна»: если такая невероятная любовь хоть раз случилась в этой паршивой жизни, то ее уже можно считать ненапрасной.

Именно на математике Жене стало окончательно ясно, что разговор с мамой не получится: мама к нему категорически не готова. Значит, поняла Женя, придется срочно написать матери письмо, причем, очень лаконичное – ведь длинный текст для нее по определению непреодолим. Оно должно уместиться на одном листке из школьной тетради и быть отдано не позже сегодняшнего вечера, потому что маме следует дать достаточно времени, чтобы подумать и придти к правильному решению – ведь другого шанса спастись ей судьба уже не предоставит...

Письмо она написала еще днем – до маминого прихода с неизбежной тяжелой авоськой, аккуратно сложила в восемь раз и, дождавшись ночи, в темноте прокралась в коридор, стянула с комода мамину сумочку, вытащила из нее косметичку, сунула послание в старенькую, почти пустую пудреницу вместо бархотки и с опустошенным сердцем проскакала в свою кровать. Завтра на работе мама станет краситься – это уж заведено раз и навсегда на всех женских рабочих местах, где имеется хоть подобие стола, – и неизбежно найдет записку. Неважно, что она подумает после этого о своей дочери, – имеет значение лишь то, что через неделю, предупрежденная так прямолинейно, она уже не посмеет, попросту побоится учинить над собой ту смертельную экзекуцию...

Женя написала: *«Дорогая мама! Мне очень неприятно писать об этом, но тебе грозит большая беда. Сказать прямо я не решилась – да ты бы все равно не послушала. Дело в том, что мне недавно приснился ужасный сон. Не смейся, пожалуйста, там все было как настоящее. В этом сне я видела, что ты умерла. Не думай, это не обычные детские страхи. Произошло вот что: ты ввела себе в матку мыльный раствор, чтобы сделать выкидыш. Прodelала это прямо в ванне – и умерла сразу же, прямо там, от закупорки сосудов мозга. Это случилось в день, который еще не наступил: будущее воскресенье, когда Вадим Федорович и Эдик ушли в цирк. А накануне, в субботу, тебе по телефону подсказала такое средство какая-то тетка из бухгалтерии. Сейчас ты этого еще не знаешь. Но не торопись меня ругать и наказывать,*



*а дождись хотя бы пятницы и субботы: ведь сегодня, в среду, я еще не могу знать, что Вадим Федорович принесет в пятницу с работы билеты в цирк, а в субботу знакомая порекомендует тебе способ, о котором ты сама еще никогда ничего не слышала. Если то и другое произойдет – знай: твоя смерть в воскресенье тоже неизбежна. Только после этого ругай меня и спрашивай, откуда я все это знаю, – я расскажу и многое другое. А сейчас просто прошу, умоляю тебя: не делай ничего для прерывания беременности – лучше обратись, как всегда, в больницу. Кстати, откуда я знаю, что ты уже обращалась туда около десяти раз? Не ты же это мне говорила, правда? Пожалуйста, мамочка, не сердись и послушайся меня! Твоя любящая дочь Женя».*

На следующий день она не могла ни есть, ни пить, ни разговаривать, а школу прогуляла, решив в понедельник, когда все окажется позади, написать своим теперь вполне взрослым почерком извинительную записку от имени мамы: раньше такое действие казалось уголовным преступлением, и если уж решалась на него маленькая Женя, то считала, что попадает едва ли не под расстрельную статью; теперь это был не заслуживающий внимания пустяк...

Вечером мама выглядела плохо. Женя отчаянно ловила ее ускользающий взгляд, но тщетно: она сидела понурая, двигалась вяло, за ужином почти не ела и ушла в большую комнату (так называлась их с Вадимом Федоровичем и Эдькой за шкафом спальня, выполнявшая в праздничные дни по совместительству еще роли гостиной и столовой), оставив в раковине гору грязной посуды, которую Женя немедленно услужливо перемыла. «Переживает прочитанное, – рассудила она. – А на меня не смотрит, потому что стыдно ей: думает ведь, что я ребенок, – и вдруг... Да и вообще страшно такое письмо получить, наверно...».

В четверг, пятницу и субботу все повторилось с аптекарской точностью – и Женя почти успокоилась: конечно, мама была потрясена тем, что теперь узнала, и, может быть, даже не хотела какое-то время видеть свою дочь – во всяком случае, до минования рокового дня... В ночь на воскресенье Женя легла в постель лишь для виду – но едва маленькая, пропахшая «Карбофосом» квартирка затихла, вскочила, гонимая и терзаемая неотступным беспокойством. До позднего утра ходила она босиком по ковру взад-вперед, уже не в силах думать, а лишь мечась, как несчастный зоопарковый волк в своем непригодном для жизни вольере...



Поздним утром она слышала, как собирались в цирк отчим и братик, и готова была от нетерпения молотить кулаками по подоконнику, провожая невидящим взглядом редкие машины, деловито сновавшие под окнами в обе стороны... Как только входная дверь хлопнула, Женя со стоном метнулась в коридор. Мать, запиравшая дверь, обернулась на нее с непонятым выражением в потемневших за последние три дня глазах. Впервые за эти бесконечные дни оказались они наедине, и молчать было нельзя. Женя решилась – как в черную далекую воду с обрыва прыгнула:

- Мама! – выкрикнула она. – Скажи – ты ведь не сделаешь этого, правда?!

- Нет... – помедлив, ответила та. – Не сделаю, раз ты так уж против – до какого-то безумия прямо... Странно это все, вот что. Но поговорим об этом после. Сегодня у меня другие дела есть, поважнее. Ладно. Ты к Свете сейчас?

От облегчения у Жени вдруг явственно задрожали ноги и руки.

- Мамочка! – и она даже не кинулась, а почти упала к ней на шею. – Конечно, об остальном после поговорим... Господи, какое счастье, что ты все поняла и не сердись... Прости, если я что-нибудь не так...

Мать твердо отстранила ее:

- Ну хватит, хватит... Ты уже большая для таких нежностей... Давай быстро умывайся и завтракай... Считай, мы обо всем договорились...

Мама хотела остаться дома одна – это вполне было понятно, а может, ждала близкую свою подругу Валентину, желая повзрослому обсудить с ней происшедшее. Это Жене понравилось – она помнила тетю Валю как женщину здравомыслящую и всегда в критические моменты трезвой рукой направлявшую ее нерешительную мать на нужный путь. Она собралась и выскочила за пятнадцать минут, хотя путь к Светке был пока заказан: та не объявлялась уже две недели, не избыв еще, должно быть, страха и обиды... Поговорить с ней еще раз все равно придется – когда страсти поулягутся: у нее еще, как ни крути, а десять лет в запасе – неужели не подоспеет подходящий денек?

Ноябрь в том году завернул снежный – и Женино подростковое мышинное в черную клеточку пальтецо, из тех, что четверть века спустя будут донашивать постперестроечные старушки, мгновенно прохватило промозглым холодом насквозь. Уютные пуховики с капюшонами, единственно пригодные на такие случаи, до ва-





тиново-драповой России еще не добрались, поэтому и уши под вязаной шапочкой немедленно заболели от ветра. Она быстрым шагом шла к метро «Проспект Большевиков», намереваясь отправиться на Невский проспект и отпраздновать первую маленькую победу в любимой «Сифонной» – так не избалованные роскошью ленинградцы называли в восьмидесятых полуподвальное кафе-мороженое на Невском, неподалеку от Садовой, где не нужно было стоять за ста граммами пломбира в длинной раздраженной очереди, а лакомство приносили в вазочках элегантные официантки, и заказ почти всегда включал в себя важный пузатый сифон со вкусной шипучкой... Демократы то кафе истребили, как и многое другое из того, что было дорого не ей одной, – и это тоже ставила Женя им в строку... Но что-то не позволяло сердцу уняться до нормального здорового ритма, зудело в нем назойливым вопросом... «Почему она так спокойно со мной говорила? После такого письма – почему так спокойно?!». Только тут она впервые в восьмидесятых годах ощутила острую нехватку мобильного телефона в кармане...

Оставшиеся сто метров до метро Женя пробежала бегом, на лету вспоминая, как в эти годы платили в телефонах-автоматах: кажется, еще «двушками»... Или уже можно было две отдельные копейки кидать? Когда подбежала к кабинке, обнаружила в кармане и то, и другое, а номер, как оказалось, исчез из памяти навсегда. Светкин помнила, а свой – хоть убей... Зажмурила глаза, руками стиснула виски, прощентала первые три цифры, такие же, как во всем доме: «588...» – а четыре остальные вдруг выпрыгнули сами, словно сидели где-то наготове и только ждали сигнала. Гудки тянулись с мучительно редкими интервалами... «Скорей, скорей... Возьми трубку... Ну возьми же... Я должна знать точно... Должна... Бери!» – заклинала она, и в трубке щелкнуло.

- Алё, – мамин голос был олимпийски спокоен.

- Мама, пожалуйста... – горячечно забормотала Женя, косясь на любопытную тетку, назойливо переминавшуюся возле будки и бесцеремонно слушающую чужой разговор. – Ты действительно все правильно поняла в этом письме?

- В каком еще письме? Говори внятно, мне некогда, – нетерпеливо отозвалась мать.

- В том, из пудреницы! – холодея, выкрикнула дочь, уже понимая, что катастрофа вот-вот свершится. – Ты что, пудреницу свою со среды не открывала?! Красную, фирмы «Дзинтарс»?!





- Что ты мелешь? Пудреница и письмо – что тут общего? Вы что там у Светки делаете? Выпиваете, что ли? Женя, я тебе много раз говорила, что...

Женя обомлела только на секунду и заревела так, что тетка у будки вздрогнула и отскочила:

- Открой пудреницу!! Открой сейчас же!!! Там письмо, прочти его!!! Немедленно!!

- Да выбросила я ее... Как раз в среду прямо с утра. У нас на работе новую пудру «Ланком» с запасным блоком одна принесла продавать... Всего пятнадцать просила, а в магазине двенадцать стоит, да ведь не достать же... Я чуть не с руками оторвала, мне случайно первой предложили... А старую выбросила сразу же, так что новой уже пудрилась... Да чего ты там вопишь-то? В лагерь, что ли, все-таки надумала ехать? Не понимаю ничего...

- В какой лагерь? – в свою очередь сипло удивилась Женя.

- Здрасьте! А утром ты мне истерику из-за чего закатила? Чего умоляла не делать? Ты что там, вообще, спятила, что ли, со своей Светкой? Смотри, добьешься, что я тебе запрещу к ней таскаться! Знаем мы всех этих артистов: сами спиваются и детей спаивают... А ну говори, чем вы там занимаетесь с этой потаскушкой малолетней?!

Женя молчала, дрожа с головы до ног. Она вдруг вспомнила краткий эпизод в *той* еще жизни, действительно имевший место где-то перед *теми самыми* каникулами. Мать собралась отправить ее на следующие – новогодние – в детский спортивный лагерь, ужасно не понравившийся Жене по прошлогоднему заезду сырым постельным бельем в огромной ледяной спальне и буквально помоечной кормежкой. Она настойчиво умоляла мать не посылать ее туда больше, но вмешался отчим, разругавший жену за потакание детским капризам и грубо настаивавший на том, чтобы падчерица ехала «без фокусов». Когда он вышел, маленькая Женя со слезами умоляла мать не слушать мужа и вырвала обещание «подумать и решить недели через две». Эти несчастные недели, кажется, как раз и истекли сегодня, и мать закономерно подумала, что девчонка, выждав положенный срок, опять принялась за свои нудные упрашивания... А мамино невеселое настроение последние три дня объяснялось, наверное, проще некуда: четыре недели беременности принесли с собой закономерный токсикоз...

- Чего молчишь? – раздалось в ухе. – Язык проглотила? Ладно, вечером разберемся... – и мамина трубка была яростно брошена,





а Женя тупо стояла, пялясь на свою, исходившую короткими издевательскими гудками...

В дверь сразу заколотили:

- Сколько можно, девочка? Ты не одна здесь – очередь, между прочим, ждет!

Слышать «ты» по отношению к себе было не привыкать, но вот обращение «девочка» вместо «тетка»... Широко распахнув тяжеленную дверь, Женя выбросилась из телефонной кабинки, как прыгают с парашютом из кабины горящего самолета... Она добежала за семь минут и не стала ждать лифта. Дыхание почти не сбилось, хотя задумываться над этим не было времени. У двери она с минуту припадочно шарила по карманам, трясла подкладку пальтишка – и не находила ключей... Конечно. Они остались в кармашке школьной сумки, где она всегда их в детстве носила, а заперла за ней мама – полчаса назад... Но как ни билась Женя всем телом в дверь, почти что вынеся ее вместе с коробкой, как ни терзала воздух сумасшедшим рычанием советского звонка, как ни захлебывалась небывалыми, сокрушительными рыданиями – ей уже никто не открыл.

\* \* \*

Победительного шествия по жизни не получилось. Правда, удалось отстоять две вещи – зато самые важные: профессию и комнату. Это у Жени вышло одним ударом, через несколько месяцев после похорон, когда, по ее расчетам, мачеха уже должна была появиться в квартире со дня на день. Церемониться с негодяем она с самого начала не собиралась, поэтому, войдя утром в соседнюю комнату, произнесла краткую, но внушительную речь, наполовину заимствованную из прочитанного здесь и там, но должное впечатление произведшую:

- Вот что, уважаемый. Выслушать вам меня придется, как ни крутитесь. Планы ваши по вышвыриванию меня из собственной квартиры мне известны досконально. Так вот, учтите, прописать меня в развалинах вы со своей сожительницей не сумеете – никакого согласия ни на какие удочерения я не дам. Будете угрожать – заявлю в РОНО и в милицию: права свои я прекрасно знаю. Детским домом мне не тоже грозите: в этом случае ленинградская прописка все равно остается за мной, что вы и без меня знаете. Метрику мою не ищите, она спрятана так, что не достанете. Вы такая сволочь, что можете попытаться устроить мне несчастный







случай. Воля ваша, но знайте, что я оставила в надежном месте письмо, которое вскроют после моей смерти, – и вы рискуете сменить освободившуюся комнату на камеру. На дуре из Нижнего Тагила с пропиской в Сосновом Бору женитесь, если охота есть, но знайте, что вдвоем околпачить меня не получится: я никогда не поверю ни одному вашему слову, потому что знаю, что вы мерзавец, и цель у вас одна. Комнатой моей пользуйтесь, что делать, – но только до моих восемнадцати, то есть чуть больше трех лет, понятно? Как только закончу восемь классов и получу свидетельство, поступлю в училище, а в общежитие уж пристроюсь как-нибудь. На следующий день после своего совершеннолетия я подам в суд на раздел лицевого счета и размен. Права свои я знаю, так что рыпаться не пытайтесь, со мной вам все равно не тягаться – руки коротки. . .

Не успевший опомниться отчим, в начале Жениного сольного выступления еще пытавшийся вставить петушистое: «Но-но! Ты с кем говоришь, соплюха?!», к концу совершенно сник и явно растерялся, вовсе не грозно бубня что-то на тему «И не на таких управу находили» и «Ты еще у меня узнаешь, что почем», – но в целом наглядно продемонстрировал верность старой русской поговорки: «Молодец – на овец, а на молодца – и сам овца»... Молодую супругу он, к счастью, в дом так и не привел: отпала необходимость в новой ласковой маме для несчастных сироток. . .

Летом Женя поступила в педагогическое училище по специальности «Учитель начальных классов», и через четыре года, свободная и совершеннолетняя, девственная в ожидании встречи с любимым, худая, благодаря постоянному недоеданию (нерабочее училище питомцев бесплатно не кормило), и вся обносившаяся до дыр, уже имела красный диплом со свободным распределением, большую комнату с высоким окном на Канал Грибоедова и зачетную книжку заочного отделения филологического факультета ЛГУ. Только за эти четыре года найти Игната в пятимиллионном еще-Ленинграде ей так и не удалось. . .

Справочные столы не принимали запрос без фамилии, которую в две тысячи одиннадцатом она спросить не догадалась, а ненадолго сгонять в двадцать первый век, чтобы ее наскоро выяснить и вернуться назад, мечталось иногда – но не представлялось возможности. В той жизни он сказал Жене, что живет в розовом доме только пятый год и тогда же пришел работать в ту школу, где они познакомились, а до того жил с семьей «далеко отсюда»



в большой квартире, которую пришлось обменять на убогую, чтобы лечить Машу импортными препаратами по пятьсот долларов ампула... Там она не поинтересовалась этим «далеко» – без надобности было – а теперь вот неустанно слонялась вечерами по огромному, зимой и летом сырому городу, пристально глядя в мужские лица... А если он тогда не носил бороду? Натолкнуться случайно практически не было шанса. Женя обошла множество школ, спрашивая везде учителя истории Игната Андреевича, но нигде ей не ответили, что хотя бы слышали о нем... Вышло, что придется ждать его еще семнадцать лет – до того дня, как в шестом году грядущего века он поступит на работу в ту единственную школу, которая стояла пока еще новенькая, едва построенная, и ждала, когда Женя придет туда работать учительницей не каких-то полудетсадовцев, а преподавателем литературы для старшекласников... Для этого предстояло получить еще один диплом – университетский...

Вот в те-то годы и выяснилось, что раньше ей лишь казалось, что она читает; что тот увлекательный процесс, которому она предавалась по вечерам в обеих своих жизнях, ничего общего с чтением не имел. Осознав это, она ужаснулась, и только в Университете начала учиться читать с азав. Третьейским судьей оказалась гетера Габротонон, выяснилось, что царь Эдип – не сексуальный психоз, а боярыню Морозову звали Феодосия, и она вовсе не походила на ворону... Данте до конца жизни ходил с опаленной адским пламенем щекой, царь Алексей Тишайший организовал на Руси первый театр, а «Собака на сене» – не только фильм с Боярским и Тереховой, а далеко не самая выдающаяся пьеса Лопе де Вега... Старославянский язык учили по Евангелию и Псалтири, и странная «миса», на которой непутевая Саломея принесла матери голову Предтечи, после долгих мытарств всей их первой группы русистов оказалась банальным блюдом. Старше других в этой довольно бестолковой группе Женя себя уж совсем не чувствовала, а порой и вновь, как встарь, ощущала превосходство какой-нибудь уверенной в себе голенастой девочки, имевшей за спиной пять читающих поколений и оттого не приходящей в священный трепет над зеленым томиком Торкватто Тассо: «А, да-а, читала в восьмом классе – скукотища...». Той же мудреной породы девочки, как ни в чем ни бывало, приносили в аудиторию, тайком передавая из рук в руки, и другие, гораздо более интересные книги, в программе не значившиеся, но почти утратившие к



концу восьмидесятых золотой ореол запрещенности: был тут и неизменный Солженицын в виде бледных ксерокопий, переплетенных чьей-то умелой и заботливой рукой, и надменный гений стилистики Набоков, добротнo изданный за далеким океаном и провезенный на возлюбленную Родину пока что контрабандой, и жесткая эмигрантская проза робко и жидко издаваемой в доживающем последние годы СССР Цветаевой, и грозно восставшая из пепла поэзия умученного Мандельштама, еще официально числящаяся упаднической, и даже, отпечатанная в один интервал на обеих сторонах листов папиросной бумаги, глубокая и тяжелая скороговорка «царства монпарнасского царевича<sup>1</sup>»... Вот, оказывается, что на самом деле означало «много читать», – а она и не знала... Иногда по ночам охватывал ужас и стыд – при воспоминании о том, как на полном серьезе хвасталась перед Игнатом своей начитанностью и собранной библиотекой – теперь-то Женя хорошо представляла себе, что именно он думал о ней тогда...

Шесть университетских лет она одновременно работала учителем начальных классов, работу свою в целом любя, но чувствуя, что новая планка – существенно выше. Прописи и буквари не увлекали ее надолго, а совсем детский возраст учащихся заведомо не позволял раскрыться и выплеснуться тому драгоценному, что скопилось в душе, – для того нужны были восприимчивые подростки... Кроме того, Женя все эти годы несла в себе странную, но неизбывную «идею фикс»: ее побочной мечтой стала отдельная квартира – да не абы какая! Возмечталось вселиться в *ту же самую*, только не съемную, а свою собственную. Комната в спокойной коммуналке, доставшаяся после скандального размена с отчимом и братом, находилась в престижном центре теперь уже четвертый раз крестившегося города, и поменять ее, такую высокую и большую, в перспективной квартире, на хилую однокомнатную «хрущевку» большого труда не представляло – но сколько ни развешивала Женя объявлений на дверях вожделенного подъезда – долгие годы на ее отчаянные просьбы не откликнулся никто. Помощь пришла неожиданно и легко – в тот благословенный день, когда весь этаж, где располагалась их коммунальная квартира, приглянулся богатому человеку, возжелавшему свить там большое и комфортабельное гнездо. Женя набралась храбрости и заявила шустрому агенту, что выедет хоть завтра – но в конкретную

<sup>1</sup>Прозвище Б.Ю. Поплавского (1903-1935) – поэта и прозаика русского зарубежья.





квартиру. Богатый человек, по всей видимости, желал выполнить свой маленький каприз любой ценой – и буквально через неделю с Женей строго поговорили, предложив ей на выбор два адреса: первый находился почти в заказанном месте – в том же подъезде, но этажом выше, а в качестве второго без лишних церемоний указали крематорий. В серьезности намерений она даже не усомнилась: в десятые годы двадцать первого века о девяностых двадцатого без содрогания не вспоминали – и Женя вскоре праздновала с коллегами и сокурсницами новоселье...

Полученный еще через год диплом вышел обыкновенным, ненавязчивого синего цвета, но в простой десятилетней школе самого затрапезного вида, что вот уже десять лет ждала в соседнем дворе, ни о каких красных дипломах никто не мечтал: вечные учительские вакансии заполняли недоучками с незаконченным высшим и переучками из инженеров, так что Женю приняли за литератора-энтузиаста и немедленно повесили на нее максимальную трудовую нагрузку, не считая обязательной проверки тетрадей и добровольно-принудительного классного руководства... Это было даже увлекательно, только вот спать приходилось не более пяти-шести часов... Неважно. Главное, что они шли, эти часы, и их оставалось все меньше и меньше до первого сентября две тысячи шестого года...

Света Бирбиллер осталась жива и здорова, хоть дельного разговора с ней за все годы так и не получилось, потому что нежная дружба разладилась еще с первого памятного дня Жениного возвращения. Но к водительскому месту какой-либо машины – не только белой «десятки» – она даже не мыслила приближаться менее чем на метр: стало быть, суровое предупреждение отнюдь не благосклонно принятое пятнадцатилетней девчонкой, в сердце все-таки застряло на правах ржавого гвоздя – а больше ничего и не требовалось...

Женю любили теперь все, если игнорировать маленькие исключения, и она вскоре даже стала своего рода местной достопримечательностью – потому что, как в старой школе спасла многих коллег и родителей учеников от последствий первого «черного вторника», так и в новой успешно помогла желающим слегка нажиться на начальных этапах соблазнительных «пирамид» – а потом грамотно унести ноги и деньги незадолго до серии красивых крушений с последующими самоубийствами излишне пожадничавших вкладчиков. В девяносто восьмом, на



первом же послеотпускном педсовете, Женя, потупив глаза, предсказала грядущий обвал рубля – и ей, считавшейся экономико-политическим гением, поверили не сходя с места, что тоже подняло ее акции на небывалую высоту... Кроме того, теперь была она милой, образованной, маленькой и тонкой женщиной без всякой косметики, с гладкой прической и сдержанными манерами – первой любовью половины старшеклассников и объектом обожания девчонок всех возрастов. Женя ни у кого не вызывала зависти и неприязни, потому что дорогих вещей и украшений никогда не носила, держалась всегда доброжелательно и скромно, не служила разносчицей сплетен, сторонилась скользких интриг, не проявляла любопытства к чужим секретам и в жизни ни про кого не сказала за глаза дурного слова... Женя не догадывалась и сама, что, стоило ей войти в учительскую, как там сразу прекращалось злословие, потому что одним своим, незаметным, казалось бы, присутствием, она словно повышала общий градус нравственности – и не то чтобы боялись *ее лично*, а как бы вдруг вспоминали про страх Божий... Мужчин для Жени не существовало, а кружили в ближнем пространстве просто бесполое люди в брюках – в основном несчастные, загнанные в пятый угол и терзаемые там своими страхами, комплексами, неразделенными любовями... И относиться она к ним могла только по-матерински. Один был мужчина – учитель истории и отец маленькой больной девочки, – который сейчас тоже крепко страдал где-то в недрах прекрасного и страшного города-титана – и, страдая, все же шел к ней, сам не зная того, – шел, чтобы полюбить и навсегда остаться. Женя даже не спрашивала себя, почему так уверена в этом, – просто *знала*. Иначе зачем ей было дано родиться вновь?

Она думала встретить его в сентябре, но это непредсказуемо произошло в июне, как раз перед выпускным, когда ей предстояло вновь распрощаться с очередным навеки полюбленным 11 «Б»... Рассчитывала старательно проготовиться к судьбоносной встрече весь отпуск, продумать каждое слово, проговорить каждую интонацию, а вот заскочила в приемную к секретарю за ничтожной надобностью – аттестаты на подпись оставить – и тут вольно запахнулась дверь директорского кабинета. Директриса – мировая тетка, внучка повешенной партизанки и маньячка своего дела – выходила, сопровождаемая мужчиной, продолжавшим начатый в кабинете разговор, – и, только услышав низкий и спокойный его голос, Женя уронила тяжелую пачку только что собственноручно





заполненных аттестатов...

Пока он старательно подбирал их, она стояла, молча и механически кивая на слова не заметившей ее растерянности директрисы о том, что Бог, кажется, послал их школе третьего учителя истории, и поэтому другие два, может, и не уволятся со своей каторги, если новичок подставит им надежное плечо... Кивнув подчиненным, добрая начальница вышла, а Игнат как раз поднялся, протягивая Жене все, собранное с пола. Внезапно ослабев с ног до головы, она тяжело привалилась к дверному косяку. Их взгляды встретились.

Так вот, как этому предстояло произойти... Лицо моложе, борода короче, глаза гораздо веселей, чем... раньше... Конечно, ведь он же еще не знает, чем все это кончится...

- Вот, пожалуйста, – и он шуточно сдунул с верхней коричневой корочки воображаемую пыль. – На самом деле, я еще не решил, где останусь, у вас или у соседей.

- Оставайтесь у нас! – хрипло вырвалось у нее.

Игнат серьезно, почти неоправданно серьезно, взглянул ей в глаза. «Вдруг – узнает?!» – пронеслась у Жени безумная мысль.

- Очень не исключено, что останусь... – медленно ответил он.

## Глава 6

Толпа зевак росла ежеминутно, несмотря на глухой час еще длинной мартовской ночи.

Несколько раз прозвучало слово «теракт», но как-то неубедительно, а спустя четверть часа к уцелевшей половине дома, похожей не на дом, а на раненого богатыря – ослепленного, непоправимо искалеченного, но последним усилием воли не рухнувшего вниз лицом, – подъехали-таки три пожарные машины, несколько крытых фургонов, из которых сразу сосредоточенно посыпали парни в бронежилетах и с автоматами наперевес, и кавалькада скромно остановившихся в сторонке «скорых». Все это время Игнат стоял чуть в стороне, как пораженный молнией. Себя за это краткое время он успел прочно и с полным основанием возненавидеть, потому что еще в самую первую минуту, когда только понял, что Женья – живая или мертвая – лежит где-то под обломками, непосредственная внутренняя реакция его была такой: «Только бы ее сразу насмерть. Можно было бы хоть одну проблему отсечь». Словами он этого не сказал – иначе пришлось



бы язык свой немедленно откусить и выплюнуть, а как прикажете расправиться с невидимым и бесплотным органом, беспощадно демонстрирующим тебе, кто ты есть на самом деле?! До этой минуты он думал, что просто оступился в жизни, слабину дал – с кем не бывает, а он еще и держался дольше многих... И часа не прошло, как в темноте своего осиротевшего дома он смел молить Бога о чуде – и почти уверовал в то, что Бог совершит его для него, и завтра Маша еще будет жить... Теперь иллюзии как отрезало, потому что стоять перед обломками дома, под которыми находится женщина, с которой еще четыре дня назад был физически близок, – да, хладнокровно подсчитал он, именно четыре дня – определенно знать про ее безудержную любовь к себе – и при этом деловито желать ей смерти, чтоб самому избавиться от ее возможных дальнейших домогательств, – такое мог только подонок законченный и совершенный... Нужно было уходить и вешаться, потому что выходило, что Бога нет, и поэтому жить в ожидании дальней, но гарантированной встречи с дочерью не имеет никакого смысла. Но сдвинуться с места Игнат не мог, хотя возбужденный всей непонятной ситуацией Рики уже не раз и не два обиженно тыкался шелковым лбом в обвисшую руку хозяина. Из окаменения вывел грубый голос – мужчина в серой форме, тянувший желтую ленту оцепления, бесцеремонно толкнул его и рявкнул: «Оглух? Проваливай – не в кино!». Игнат впервые за это время глянул на мир осмысленно:

- У меня там моя... моя... девушка... – кое-как справившись с парализованными губами, выдавил он.

- Отлично, опознаешь, – и его пихнули в спину, уже внутри заколдованного круга.

- Теракт? – осмелился шепотом спросить он.

- Да не, похоже, газ рванул, – спокойно пояснил собеседник. – А жаль, – и в ответ на дикий взгляд растолковал: – Был бы теракт, так родственникам бы за убитых – компенсация, пострадавших лечили бы по высшему разряду на казенный счет... А если газ – так, типа, бытовуха, сами виноваты. Сейчас покойников по моргам, покалеченных – в истребительные, и все дела... Кто собственники квартир, тем, может, другие дадут... А скорей всего – только пообещают... В общем, тухло... Ты, слышь, вон там встань пока... Только пса на короткий поводок возьми...

Послушно перебирая одеревеневшими ногами, Игнат добрался до фонаря, попавшего в зону оцепления, и припал к нему го-







ловой. «Я говно, – громко сказал он. – Я говно. Я говно, и у меня умирает дочь»...

Женю нашли только под вечер. Уже после того, как позвонили из больницы насчет Маши, – поздним утром, когда он зашел домой с единственной целью: привести туда покрывшегося густым инеем пса. Уже после того, как Ариадна, отнеся в больничный морг свадебное платье и фату их матери, вернулась и надавала брату, обнаруженному при помощи Рики у чужого рухнувшего дома, множество тяжелых справедливых пощечин, принятых им с полной покорностью... Просто крикнули в молчаливую группу подтянувшихся днем родных и близких: «Еще одна женщина!» – и это оказалась она... Живая...

Игнат и без того знал, что жизнь его не похожа на среднюю человеческую, – и благодаря выпавшим испытаниям, и из-за общей несуразности, – так что, в общем, удивляться он разучился давно. Но вот представить себе, что день смерти своей девочки он проведет не в рыданиях у тела (заплатив кому следует, Ариадна читала ночью в морге Псалтирь, и перед похоронами даже помогала одевать Машу для венчания с Небесным Женихом), а в коридоре совсем другой больницы, не только живучим народом, но и медиками прозванной «истребительной», у двери в очередную реанимацию, где лежала случайная, но, как теперь оказывалось, роковая женщина его жизни, – представить *такое* даже изошренная фантазия не могла.

- Ну, что вам сказать? – тяжело ворочавший языком от усталости врач в мятом хирургическом белье неторопливо опустил на подбородок маску – одноразовую, но служившую, вероятно, долго и преданно. – Зафиксировали, интубировали, все, как обычно... Дышать-то скоро будет сама, но... Вы ведь ей не близкий родственник?

Игнат неопределенно промышчал: легенда про «мою девушку» здесь не проходила: какая, к чертям, девушка, если он даже фамилии и отчества не знает? Впрочем, директриса должна знать, ведь она же с ней договор какой-то заключала...

- Вот то-то и оно... Раз просто знакомая – то не будете же вы лечение оплачивать. А тут, по-хорошему, ВМА или Вредена нужно, нейрохирургия... Нет, в смысле – кости – это мы собрали, сростутся, ей же не восемьдесят лет. Позвоночник цел – ушиблен, правда, но даже без компрессионного обошлось... Селезенку





удалили – так и без нее люди живут, а другие органы не пострадали почти... Сердце здоровое. А вот с головой – беда: перелом основания черепа, обширная внутренняя гематома... – и доктор почти слово в слово повторил слова давешнего спасателя: – Будь то теракт – показательно бы лечили на госсредства. А так, в рамках полиса, – сами понимаете. Высокотехнологичные операции в полис не входят – да и личность даже не установлена еще...

- Сегодня же... – пообещал Игнат.

- Да чего там полис. Вы родственников ищите и пусть деньги дают! Тут ведь каждый час на счету – завтра уже, может, поздно будет.

- По-моему... Кажется... В общем, она одинокая совсем... Родители умерли, с братом никаких отношений... – обреченно припомнил Игнат, а про себя добавил: «Один я у нее – такие вот дела».

- Хреново, – врач откинулся на коленкоровую спинку. – Вы все же, может, этого брата поищите? Не зверь же он – самому помирать когда-нибудь. Потому что, если без операции – то это... Хм...

- А именно? – тихо спросил Игнат, и прямо в этот момент вспомнил, что Маша сейчас лежит в темном холодильнике, туго завернутая в белую простыню.

Он застонал.

- А именно – ничего хорошего, – врач неправильно понял его стон, и голос немного помягчел. – Раны заживут, а вот способность мыслить не вернется. Двигательные функции восстановятся только те, за которые отвечают непораженные участки мозга. Какие точно – пока неизвестно, томография нужна – у нас томографа нет, конечно, – да и вообще это темное дело...

- И что... – голос Игната даже сел, потому что появилось странное ощущение надвигающегося цунами, от которого уже не убежишь. – Она так навсегда и останется в больнице?

- Кабы так... – доктор вздохнул. – Все равно выписать придется – у нас же койко-места и прочее... Вечно держать не сможем. Если родственники не объявятся и не заберут, то в интернат для инвалидов. Про это местечко врать не буду: коли на земле действительно бывают, так сказать... филиалы ада, что ли... то это один из них... Как наше государство к бесхозным инвалидам относится – это, надеюсь, объяснять не надо. Впрочем, долго они там не заживаются...





- Я найду ее брата, – не своим, но поразительно твердым голосом ответил теряющий чувство реальности Игнат.

Вся его жизнь до того дня была полна горечи, но понятна: даже для горя существуют, как ни странно, какие-то свои, веками сформировавшиеся правила. Уходит любимая жена – страдаешь и терзаешься; заболевает раком единственная дочь – молишься и титанически бьешься за ее жизнь до последней минуты; умирает она – рвешь волосы на себе дома и за гранью собственных сил сдерживаешь звериный вой на похоронах, а потом учишься жить заново, как учатся потерявшие обе ноги ходить на двух протезах, потому что прежней жизни, знаешь, не вернуть...

Первый день после Машиной смерти Игнат провел у остатков взорвавшегося дома, второй – в ободранном коридоре районной больницы, на третий, узнав у потрясенной всем совокупно случившимся директрисы данные Жениного паспорта, отправился на медленной электричке (машину забрала вынужденная в одиночку мотаться по скорбным организациям сестра, демонстративно прекратившая общение с братом) в Сосновый Бор, в паспортный стол, где, быстро и равнодушно дав привычную взятку, за полчаса узнал адрес предыдущей прописки Жени, а наутро четвертого отправился уже на метро в Веселый Поселок на поиски брата Эдика... Плакать он снова разучился.

За те годы, что Женя не видала его, – а она рассказывала, что это было аж в восьмом классе, пред тем, как ее хитроумно выставили из родного дома, – брат мог сменить местожительство уже неоднократно – и в этом случае Игнат даже не представлял себе, что делать дальше. Но на его вопрос: «Не здесь ли проживает Эдуард Вадимович Зимин?», обращенный к представительной двери, из-за которой только что прозвучало достаточно дружелюбное «Кто?», дверь простодушно распахнулась, явив в проеме молодую женщину настолько красивую собой, что даже у смертельно раненного в душу Игната в этой самой душе что-то перевернулось: бывает же все-таки в мире совершенство!

- Так он днем всегда на работе... – да, Игнат напрочь позабыл за эти дни, что люди запросто ходят еще на какую-то работу и вообще живут, как будто ничего не случилось. – Может, передать ему что-нибудь?

- Да, если можно... – пробормотал он, инстинктивно смущенный перед сиянием *такой* красоты.

А она как будто и не подозревала о своем сокрушительном





действии на мужчин: привычно откинула со лба меднокудрую прядь, ласково глянула глазами цвета чистейшего изумруда из каких-нибудь индийских копей, плавно отвела молочного цвета руку идеальной формы:

- Так заходите, холодно же... – и он пошел за ней следом, как загипнотизированный.

Люди в этой двухкомнатной квартире жили в явном и стабильном достатке. Интерьер разрабатывал хотя и не нанятый дизайнер, но человек с незаурядным и развитым в нужном направлении вкусом. Все для отделки этого дома приобретено было в ближайшем строительном супермаркете, но выбрано с нестандартным подходом, в результате чего квартира резко отличалась от других подобных, обычно выдержанных в традиционно светло-бежевых безликих тонах. Кухня, в которую женщина привела Игната, напоминала весело раскрашенное пасхальное яичко («Господи, Великий же Пост идет!!!» – вломило ему в голову при этой ассоциации). Желто-синий, причудливо узорный кафель дополняли изящные шторы с рисунком из переплетенных золотистых тюльпанов и лиловых ирисов. Почему-то Игнат понял, что никогда этого не забудет.

- Я пришел сказать, что родная сестра Эдуарда умирает, – сообщил он сразу же, чтобы исключить любое недопонимание с самого начала. – А моя собственная дочь только что умерла.

Женщина ахнула и перекрестилась на тот угол, где во всех таких кухоньках обычно находится телевизор, – у нее там висела небольшая современная икона Божьей Матери «Владимирская». И Оля стала вторым человеком после Жени, которому он тоже все рассказал, – на этот раз и про нечеловеческие отношения с Женей тоже. Утаил только первую свою мысль после осознания катастрофы – тут уж язык сам к небу прирос. Интересно, в каких выражениях такое на исповеди следует оформлять... Простенько так назвать: «злостелательство» – и далее, по списочку: «курение, просмотр телевизора»... Ах, мило... Нет, действительно надо вешаться...

- И вы... Накануне похорон дочки... девочки... Нашли нас, чтобы спасти почти чужую вам женщину... Игнат Андреевич, вы... вы... – Оля не отрываясь смотрела ему в глаза и не находила слов.

- ...скотина, – честно подсказал ей Игнат.

Она разрыдалась, как взорвалась, – без всякой подготовки в





виде дрожаний и всхлипываний. Просто закричала, закрыв мгновенно ставшее мокрым лицо руками, и кинулась к окну. Сквозь рыдания прорывалось:

- Я бы сказала... сказала... Если б не знала, что этого нельзя... говорить живому человеку, пока, пока... пока он не умер... Сказала бы... святой, сказала бы... А нельзя, нельзя...

«Сама ты святая – так из-за чужого горя плакать, да и вообще постороннего мужика в дом пускать», – тяжело подумал Игнат, а вслух вдруг сказал:

- Хотите, я вам считалочку скажу, ее Маша сочинила? – и, закрыв глаза, прочел:

*Человечек шел домой,  
Но упала тень.  
И душа пришла домой  
На четвертый день.*

Пояснил:

- Это как раз сегодня, – а потом коротко и страшно хохотнул.

Оля оказалась рядом с ним в тот же миг – он только потом понял, что упала перед его табуреткой на колени.

- Игнат Андреевич, Игнат Андреевич! Вы только с ума сейчас не сойдите! – забормотала она, тормоша его без всякого стеснения. – Я понимаю, что это сейчас *очень* просто, и может быть даже – *нужно*... То есть, *легче*... Но только не сходите... Потому что это нужно – вам... И легче – тоже вам... А нельзя – как вам, надо – как другим... А другим – не надо... Другим нужны – вы... Игнат Андреевич, не сходите сейчас с ума, слышите?!

Он слышал, но остановиться не мог – и так бы, наверно, и скатился куда-нибудь в притягательную бездну, ускоряясь с каждой секундой, если бы им обоим на голову не обрушился гром дверного звонка.

Оля вздрогнула:

- Это Эдик. Он на обед пришел, – и стремглав кинулась в прихожую, не забыв, однако, плотно прикрыть за собой дверь.

Впрочем, Игнат и не вслушивался особо в ее быстрый-быстрый тихий говорок и ответное бурчание мужского голоса. Он знал, что Оля дает ему время придти в себя и, кроме того, избавляет от необходимости мучительного повторного рассказа. В конце концов, это ведь ее муж, и она, конечно, имеет к нему какие-то свои





безошибочные подходы. Дверь открылась нескоро, минут через пять – и впустила в кухню ухоженного, благоухающего недешевым парфюмом мужчину в безупречно сидящем костюме дивного серо-переливчатого материала. Он скупно поздоровался, но руки не протянул – вероятно, блюдя в этом отношении какой-то личный строгий отбор, – и безгалстучный Игнат, сторонник удобных свитеров, не попадал в разряд счастливцев, достаиваемых Эдуардова рукопожатия. Как ни притупило горе общее восприятие мира у Игната, – но он не мог не заметить необычайной неподвижности лица этого человека – это была просто маска какая-то – и полной непроницаемости неопределенно-темных глаз. Эдуард Вадимович неторопливо, по-хозяйски уселся напротив гостя и выложил на стол крупные уверенные кисти – одна на другую. Случайно глянув на них, Игнат вдруг понял безоговорочно: денег не даст, все хлопоты были напрасны, и мордобой, учиненный ему Ариадной, – справедлив вдвойне. Потому что этот мужчина делал себе маникюр – элегантный мужской маникюр с идеально удаленной кутикулой и бесцветным лаком. Он, несомненно, был дельным человеком – но рассчитывать хотя бы на минимальное сочувствие в таких случаях не приходится... Оля садиться не стала – а прислонилась к раковине, беспокойно перебегая глазами с одного мужского лица на другое.

- В целом все понятно, – без обиняков приступил к делу Женин брат. – Про дом этот в новостях говорили, так что мне известно – как и всей стране, полагаю. Теперь что касается моей сестры. Сам я ее практически не помню – так, обрывками, смутное что-то, – но отец мой рассказывал кое-что. Прямо скажем, впечатление по его рассказам у меня сложилось неважное. Личность, судя по всему, асоциальная, можно, даже сказать, криминальная. Поэтому, согласитесь, когда ко мне приходят через двадцать пять лет от ее имени, – то я даже не знаю, что и думать. Прямо скажем, не знаю даже, и верить ли...

- Я не от ее имени: она в коме. Я от своего, – без всякого энтузиазма ответил Игнат – просто нужно же было что-то отвечать.

- А вы ей кем, простите, приходитесь? – прозвучал неизбежный вопрос.

- Никем. Просто знакомый.

- Отлично. Знакомый. Понятно, – и в глазах Эдуарда впервые появилось определенное выражение – точно такое же, впрочем, появляется в глазах девяноста процентов населения, когда этим





словом мужчина определяет свои отношения с женщиной, будто само по себе оно уже является не совсем приличным. – А документы у вас имеются?

Игнат молча достал и протянул паспорт, думая, что лучше было бы сразу встать и уйти: с таким дундуком все равно любые разговоры бессмысленны. А ему завтра утром на похороны. И еще сил надо найти для них – и этого никому не понять.

- Так. Но это, собственно, мне ни о чем не говорит, – Эдуард вернул тщательно изученный паспорт.

Игнат поднялся:

- А что вы надеялись там узнать? Впрочем, ладно, извините...

Взять бы, да и сказать ему сейчас: «Ваш отец вам все это время врал, как сивый мерин. А сам он гад такой, каких еще поискать». И чего бы он добился? Еще одной оплеухи? Это бы ничего – только прок во всем этом – какой?

- Извините, Оля, – повторил он уже для нее одной и отвернулся.

Она кинулась к мужу:

- Эдик, как ты можешь? На него только посмотреть – и сразу ясно, что все правда! Давай поможем им! Ведь у людей такое горе!

- Да я что – против? – вдруг покладисто отозвался ее муж. – Господин...э-э... как вас там... Я же не изверг. Но хочу, чтобы все было, так сказать, прозрачно... Вы же и сами, наверное, не отдали бы такую уйму денег первому встречному? Это вот только Оля может, но я же не Оля...

Удивление прорвалось, как зеленый росток сквозь растрескавшийся асфальт: неужели бывает еще на земле такое? Он задержался, пристально глядя мужчине в лицо, – но оно по-прежнему выглядело деревянным.

- Давайте по порядку, – веско начал Эдуард. – Я не отказываюсь помочь сестре, если она в такой ужасной ситуации – сестра есть сестра, какой бы она ни была. Но я хочу быть уверен, что даю деньги именно ей и именно на конкретные нужды. Все нужно подтвердить документально – вы же не можете с этим не согласиться. Я ведь не обязан верить вам на слово. А документам – поверю. Ну, во-первых, два уважаемых человека должны удостоверить личность больной женщины и все это нотариально заверить. Во-вторых, лечебное учреждение должно предоставить выписку из решения консилиума о необходимости именно такой операции. Потом надо получить справку из страховой компании,







что они такие операции не оплачивают. Выяснить, где можно прооперировать, и предоставить заверенную выписку из прайс-листа. Кроме того, не может быть и речи, чтобы я выдал вам наличные на руки: откуда я знаю, что вы с ними сделаете. Я должен получить расчетный счет, на который моя фирма переведет средства, – в том случае, разумеется, если нас удовлетворят все представленные документы... По ходу дела могут понадобиться и другие – но это уже мы отдельно обговорим...

- Эдик, ты что, с ума сошел?! – зажимая себе уши ладонями и зажмурившись, выкрикнула Оля. – Тебе же сказали – каждый час на счету! А тут неделю надо бегать – и то неизвестно! А у человека завтра похороны! Дочь свою он хоронит – можешь ты это понять или нет?!

Ее муж вскинул обе руки в обманчиво успокоительном жесте:

- Могу, Оля, все могу понять. Кроме одного: как можно вот так взять и выложить чертову прорву бабок парню маргинального вида, которого видишь впервые в жизни. Этого никто бы не сделал – ни один человек на свете. Ни один, понимаешь?

- А я бы сделала! Я! – со слезами выкрикнула она.

- Это точно... Но ты, слава Богу, лишена такой возможности...

Супружескую сцену Игнат слушал уже из коридора – опять шнурюя треклятые ботинки. Кроме того, вешалки с его курткой нигде не оказалось – он застыл на месте, беспомощно озираясь на зеркальные шкафы, обступившие кругом и отражавшие друг друга и его самого в разных ракурсах, в том числе и уродливых. Из кухни буквально вырвалась Оля и распахнула для него шкаф:

- Игнат Андреевич, хоть оставьте ваш телефон и адрес! Если вдруг все-таки что-нибудь...

Он вытащил из кармашка сумки визитную карточку и протяжно произнес:

- О-оля... Вы такая красивая, что даже страшно. Как вы с такой красотой живете – это же уму непостижимо...

- Кто – я? – совершенно искренне удивилась Оля. – Я же рыжая! За ее спиной самодовольно хмыкнул Эдик.

Из-за двери, закрывшейся позади, Игнат услышал:

- Если бы отец не умер так рано, то он бы сейчас...

Что сделал бы отец, Игнат знал почти в подробностях, поэтому не стал дослушивать – устало зашагал вниз, забыв о существовании лифта...





\* \* \*

Пятнадцатилетнюю девочку, знавшую в жизни только отца, тетку и собаку, хоронило не менее восьмидесяти человек. В школе, где работал Игнат, отменили уроки, и на кладбище приехал весь без исключения учительский коллектив, 9 «В» в полном составе и – отдельными кучками – ученики других старших классов – те из них, которые любили своего историка. «Надо же... – смутно подумал он. – Надо же... А я и не предполагал...». Песчаную яму, на дне которой стояла вода, выстелили белыми розами, как брачное ложе, а продолговатый холмик завалили черными и алыми до верхних перекалинок временного креста. Женщины и девчонки рыдали в голос, глядя на безмолвную и неподвижную Ариадну в абсолютно черных очках, про которую не все знали, что она – тетка, и многие считали матерью. Очков она так ни разу и не сняла, с братом не заговорила. С похорон уехала без него, неизвестно когда и с кем, – он не исключал, что одна, но, во всяком случае, знал, куда, и за нее не волновался. Самое тяжелое парадоксально началось после всего, когда растроганные и заплаканные учителя и ученики порывались вести его восвояси под руки, предлагали машины и звали помянуть, – он был глубоко им признателен, но в эти минуты мечтал, чтобы они провалились, и очень жалел, что не мог сказать этого прямо... Неизвестно, кто из них первым додумался, что Игнат хочет остаться один, у могилы между ними произошла мелкая толкотня, и, наконец, многократно оглядываясь в надежде, что ему все-таки понадобится помощь, последние сочувствующие удалились по центральной аллее. Он еще постоял у могилы – не для себя и не для Маши, потому что никакой Маши там не было, и он это твердо знал, – а чтобы наверняка быть уверенным, что никто не дождет его у ворот кладбища и не накинется, как волк, со своим голодным состраданием...

Когда он сел за руль своего выносливого «Фольксвагена» и убедился, что руки не дрожат, было позднее великопостное утро. Еще накануне он решил, что заедет домой только выпить крепкого кофе, чтоб ноги не подкосило где-нибудь на людях, и после отправится в коммерческий банк за срочной ссудой. О том, как он будет возвращать ее, обросшую разбойными процентами, подумать предстояло потом, когда Женина судьба, какой бы она теперь ни оказалась, не будет зависеть от его жалкого интеллигентского великодушия. Машина летела по КАДу, далеко превысив предельно разрешенную скорость...





Он даже не глянул в сторону скамейки у подъезда, традиционно пенсионерской летом и молодежно-тусовочной в остальные времена года – и, когда оттуда навстречу ему поднялась женская тень в темном непромокаемом пальто, просто посторонился, давая ей дорогу, – но женщина вдруг откинула капюшон, и в глаза ему хлынуло солнце. Оля...

- Игнат Андреевич, здравствуйте. Вот деньги, скорее отнесите их, куда нужно, – в ее руках белел почтовый конверт, очень толстый.

Он запутался в словах:

- Как это вы ухитрились... у него вырвать... вытянуть... Это же это... Вот это да...

Оля махнула рукой:

- Вырвешь, у него, как же. Это я свою «Приору» заложила с утра – она у меня новая совсем.

Протянутая было за конвертом рука Игната упала:

- Не могу. Не возьму. У вас будут крупные неприятности.

- Игнат Андреевич, – ее низкий женственный голос стал жестким, а глаза потемнели. – Если вы сейчас же не возьмете конверт, то я... Я у вас на глазах брошу все купюры в эту урну и... И подожгу ее... Мои неприятности – это мои проблемы... Не думаю, чтоб очень крупные. Ну! Берете или нет? – ее рука в перчатке, сжимающая конверт, недвусмысленно зависла над урной, а в другой невесть откуда возникла золоченая зажигалка.

- Беру, – ошеломленный таким напором, выдохнул Игнат.

Он подумал, что, принимая деньги, нужно отогнуть верх перчатки и поцеловать ей руку – да что там руку, по-хорошему, ей надо целовать ноги – или лучше – следы ее ног – или нет, оклад иконы с ее небесным ликом. Подумал – и не решился сделать ни того, ни другого, ни третьего. А четвертое, наверное, будут делать их далекие потомки...

\* \* \*

За Ариадной беда тоже ходила по пятам – и вновь ожгла жгучим, как удар кнута, несчастьем. Ее личный мир, казавшийся неизблемым и безопасным, в котором она могла одновременно укрыться и уповать на спасение, после смерти племянницы стал крошиться подобно трухлявому бревну под тяжелой ногой. Возвращаясь поздно вечером – почти ночью – со срочной требы, о.Сергий не сбросил скорость до шестидесяти на мокрой трассе у





белой таблички с названием захудалой деревни. Да и кто вообще эту скорость сбрасывает, кроме вчерашних учеников автошколы? Ведь сама машина всем железным нутром своим бунтует против такой тихиходности! Кроме того, проезжая той дорогой по два (а случалось, и по четыре) раза в сутки, никогда не видел он в этой деревне, выглядевшей давно покинутой, ни одного живого существа. Даже собака там по трассе ни разу не пробежала, и на нелепый знак водители вообще не реагировали, тем более что и раторопных гаишников в кустах там никто отродясь не видывал... Так и несся о.Сергий в своем джипе на ста тридцати, сросшись с ним в те минуты почти до полной кентавровости, – и удивиться не успел, когда прямо перед капотом в радостном свете фар возникло человеческое лицо. Мощный железный намордник почти не дал водителю ощутить удар – и сбитый человек безмолвно улетел в ночь... Им оказалась старушка девяноста четырех лет, прожившая в этой деревне всю жизнь и спать ложившаяся с закатом, но последнее время что-то вдруг сон потерявшая... Вместо этого она бесстрашно гуляла теперь зимой и летом вдоль трассы как минимум до полуночи. И вот догулялась до смерти – не виноват же в этом был, искренне считала Ариадна, ничего не подозревавший священник, которого, как пролившего человеческую кровь, немедленно запретили в служении и сняли с прихода...

- И хоть бы человек! Мужчина и отец! Так ведь нет – женщина! Полупокойница! Должны же делать в таких случаях какие-то различия! – на полном серьезе стонала она, ломая руки перед своим задумчивым братом.

Сразу после похорон дочери он плюнул на все условности и стал курить не то что в квартире, а прямо в комнатах, и делал это с мстительным удовольствием. Кому он мстит, Ариадна специально не задумывалась, считая, как само собой разумеется, что ей, – чтоб хуже сделать. Или чтобы выжить ее из квартиры и привести сюда «эту свою», когда она поправится. Младший брат (девочку в свое время действительно достали из материнской утробы на восемь минут раньше мальчика) – а никакого уважения...

Игнат смотрел на нее сквозь замысловатые крендельки дыма и отстраненно рассуждал про себя, действительно ли она так думает – в смысле, что жизнь почти столетней бабушки, пережившей четыре революции и две самых страшных войны, стоит дешевле жизни пропойцы-мужика из той же деревни, настругавшего троих человек детей, которым не хватает на сахар, потому что он пьет





водку. Вот сбили бы такого – и это законно – священника за него наказать, а за бабу – подумаешь, она и сама бы через неделю загнулась... А что – вполне возможно, равнодушно рассуждал он. Ведь есть же у них в школе учительница французского, работающая на две с половиной ставки, плюс ведущая дополнительные занятия, а после всего этого бегающая по частным урокам, – и все для того, чтобы по-королевски содержать молодого здорового мужа, который не работает нигде и принципиально не хочет этого делать, зато иногда пишет стихи; жена считает, что он непризнанный гений, и она его недостойна. Ариадна из той же породы, но она убежденная девственница – и со слезами раскаивается на исповеди (а до нее – перед Игнатом, но без слез) в том, что в десятом классе, когда кто-то из одноклассниц нафарцевал в нагрузку к джинсам «Wrangler» еще и порножурнал, она тоже туда в туалете заглянула – всего лишь, чтобы убедиться в мерзости – но ведь все равно застрянет за это на мытарстве блуда! Зато она, ничуть не тяготясь совестью и не стесняясь брата, ищет по телефону второго лжесвидетеля (первым сразу же вызвалась лично), согласного подписаться в том, что своими глазами видел, как старушка сама бросилась под священников джип, – и, стало быть, он невинен так же, как и его хожалка. Она негодующе обличает Игната в том, что он очертя голову бросился помогать «своей блуднице» прямо в день смерти дочери, – потому что «домá никому на голову просто так на падают», – но непоколебимо убеждена, что старушки на капоты иерейских машин падают без всякого Божьего вмешательства – а из-за одних только дьявольских козней...

Петербургского прихода о.Сергий лишался при любом, даже самом благоприятном исходе, и светила ему тогда какая-нибудь полуразрушенная церковь на краю богатой, но очень уж обширной епархии. «В изгнание поеду за ним», – без колебаний решила Ариадна, и, услышав это, Игнат впервые за истекший месяц улыбнулся – до этого даже на Пасху не получилось. Раньше он глухо раздражался на узколобую ограниченность сестры, иногда вспыхивая, пытался обратить, – а теперь вдруг спокойно и ясно подумал: «Господи, просто у нее тоже есть своя сказка, чтобы выжить». Не выпало героической по сути Ариадне строгого жребия духовной дочери седого исповедника-старца, гонимого безбожной властью в беспросветные снега Заполярья или в жгучие голодные пески Средней Азии, где можно было бы бесстрашно и самоотверженно служить при нем тайной связной, развозящей





по осиротевшим чадам пламенные призывы к стойкости в вере и пророчества о скором антихристе, – и, схваченной врагами, принять мученическую смерть за Христа, в последней молитве призывая, правда, не Его, а любимого «Батюшку»... Не дал Господь – не беда, она взяла и бесхитростно сочинила духоносного учителя-провидца, и развенчивать ее простодушную мечту о самой себе, как о верной и незаменимой его ученице, было бы бессмысленной и подлой жестокостью. Бог примет и эту ее, совсем никому на Земле не нужную жертву, потому что сердце Ариадны – именно из того материала, из которого куются непобедимые сердца подвижниц, угодных Ему несравненно больше, чем даже кроткие, которые всего лишь наследуют Землю. Ведь нищих духом ждет Царствие Небесное, и дорога в ссылку за неудачливым пророком, походя убившим маленького человека, – это тоже один из многочисленных путей туда...

Своя сказка для выживания была ведь теперь и у Игната, и называлась она «История болезни». Месяц назад в Военно-медицинской Академии Жене была сделана сложнейшая нейрохирургическая операция, продолжавшаяся девять с половиной часов. Череп собрали из нескольких зубчатых осколков, мозг очистили от свернувшихся черными сгустками крови, и вообще привели в более или менее жизнеспособное состояние, внутричерепное давление понемногу приходило в норму. Он поначалу видел ее только с порога палаты, в которую не пускали, потому что с самого начала Игнат опрометчиво брякнул, что он пациентке никакой не муж. Из-за бинтов и трубок он мог разглядеть только заострившееся, темно-желтое лицо и худые, как у мумии, руки, изуродованные сверху донизу фиолетовыми кровоподтеками – результатом постоянных внутривенных вливаний. Подумать только – месяц назад это была упитанная, толстобокая и короткошеяя женщина, уплетательница готовой пиццы и украинских борщей с салом... «Нужно будет дать ей читать другие книги. Она ведь просто не знает, что умные книги тоже могут быть интересными», – вдруг подумал он, стоя у приоткрытой двери в палату интенсивной терапии. Он так думал, но понимал, что этого недостаточно. Можно еще объяснить ей, что ярко краситься – попросту некрасиво, что покупать вещи на рынке нельзя, что нужно ходить в церковь, соблюдать посты, да и без них не трескаться кастрюлями макароны по-флотски и сладкие булочки с кремом – и даже достичь того, что со временем она так и станет жить.





И остаться для нее при всем этом лишь недоступным объектом обожания, которому она станет по ночам жертвенно отдаваться, как жрица Изиды шедшему к ней звероголовому богу. И втайне все равно будет удивляться – зачем есть мясо с помощью вилки и ножа, когда гораздо удобнее просто обкусать крепкими зубами сочный бифштекс со всех сторон, и никогда не поймет, как можно подарить жене на день рождения строгий двухтомник Цветаевой-младшей, – ведь на те же деньги можно купить маленький флакон вполне приличных духов! Он знал, что связан теперь с Женей пожизненно, и не только потому, что после такой травмы полного здоровья и самостоятельности ей никогда не обрести. Следовательно, он навеки повесил себе на шею еще одну, новую обузу... А ведь мог бы удачно жениться на здравомыслящей женщине детородного возраста, и не горевать вечно на могиле ушедшей единственной дочери, а еще пару раз стать счастливым отцом и в старости, седым долгобородым сибаритом, благодушно греться у изразцового камина в благопристойной качалке, рассказывая многочисленным правнукам о своей достойной подражания молодости... Но Женя пришла в его жизнь в такой момент, когда не приходят случайные люди. Он понимал это отчетливо, но ключа к ней у него не было...

Однажды ему разрешили приблизиться к ее постели и, робко наклонившись, он прикоснулся кончиками пальцев к тонкой прозрачной коже прохладного лба у самой повязки. Красноватые веки дрогнули, но глаза остались закрытыми.

- Женя... – позвал он. – Женя, ты меня слышишь?

- Возможно, – ответил сзади голос лечащего врача. – Только прореагировать она сможет еще нескоро. Реабилитация займет не один месяц, так что набирайтесь терпения...

- Я могу чем-то помочь? – спросил, выпрямляясь, Игнат.

- Вообще-то... Если бы были, например, мужем, могли бы... – неожиданно усмехнулся врач. – А ну-ка, пойдете-ка... – и он, обхватив за плечи, вывел озадаченного Игната из палаты.

- Я знаю, что вы ей не муж, но... Как мужчина мужчине – вы с ней спали или нет? – напрямик спросил он его в коридоре.

Прекрасно понимая, что вопрос задается не из любопытства, Игнат ответил без колебаний:

- Спал. А что?

- А и сам не знаю, что, – здоровый плечистый мужик в чине полковника немного смущенно отвернулся к окну. – Но некото-







рый личный опыт имею. Немедицинского, так сказать, свойства. Короче, ладно, вы поймете. Был как-то в гостях, там женщина. Тоже одна пришла, подруга хозяйки. То да сё, выпили, поговорили, проводил. Поднялся к ней и остался на ночь – дело житейское. Утром ушел, не разбудив, – продолжения никакого ни мне, ни ей не хотелось. Да вы, небось, сами знаете, как это бывает. Проходит дня четыре – вдруг звонит хозяйка той квартиры, где мы встретились, – рыдает-захлебывается: ее подруга, знакомая моя, под машину попала прямо у нее на глазах. «Скорая» только подъехала, спрашивает, можно ли к нам отвезти... Я согласился – те муж с женой друзья мои, все-таки. Спускаюсь в приемное, ее как раз привозят, подхожу – а там уже, в общем, труп. Ясно, что и до операционной не довезем. И вдруг нашло на меня что-то, я ее за руку взял и говорю: держись, не уходи! Смотрю – живет! Везем – а я за руку держу. Чуть отпущу – помирает. Опять возьмусь – жива. Я сам не оперировал, не ассистировал даже; я – рядом стоял и держал. Две клинические смерти на столе – а я держу. И ничего, вы знаете, – сшили, и выжила. На своих ногах ушла. Подумал: может, экстрасенс я или что? Но с другими пробовал – никакого эффекта. И пришла мне в голову теория – может, дурацкая, а может, и нет... В общем, так. Физическая близость между мужчиной и женщиной, даже разовая, – она связывает их как-то особо, чему научного названия нет. Если это и можно с чем-то сравнить, то только с материнской пуповиной. Потому что поднять тяжелого больного может либо мать – и не любовью только, иначе и у отца бы получалось, – либо тот, кто с ним был в близости. Даже и без любви. С тех пор проверял многократно – работает, хоть ты что! Подумал даже, что эти всякие там религиозные запреты на сокоупления вне брака связаны не с какой-то там рождаемостью или вырождением. А именно с этой драгоценной нитью, которую мы теперь так бездумно протягиваем между собой и случайными людьми. Эта нить дает какую-то необъяснимую власть, которая нам, смертным, непостижима. Вы понимаете, о чем я говорю?

- И понимаю, и попробую... – удивленно ответил Игнат. – Что я должен делать?

- Да ровно ничего. Просто как можно больше времени сидите рядом, держа ее за руку или просто касаясь. И при этом искренне желайте, чтобы она встала.

Вот и началась с того дня личная Игнатовая сказка. С тех пор второй рабочий день его проходил рядом с кроватью Жени. Тут





уж, конечно, держанием руки не обошлось: его мгновенно при-  
ставили к обслуживанию судна, переворачиванию, обмыванию  
и прочим прелестям неромантического ухода за тяжелобольным, а  
когда пациентка смогла впервые самостоятельно глотнуть, – то и  
к кормлению. Она даже стала вскоре открывать глаза – но смо-  
трели они пока тускло и бессмысленно, обращенные словно бы  
внутрь. Но он все равно упорно заглядывал в них и настойчиво  
звал: «Женя! Это я! Это я, твой Игнат!». Он уже почти понял, чего  
не хватает всему тому соблазнительному и правильному, что он  
сможет предложить ей, когда она выйдет отсюда, – и сам старался  
дотянуться до того, чего, он чувствовал, недостает, прежде всего,  
ему. Не в ней, оказывается, заключалась главная тайна – а в нем  
самом...

Раньше он всегда отключал телефон во время церковной служ-  
бы – но теперь лишь убирал звонок, оставляя вибрацию, которую  
напряженно ловил. И вот настало такое воскресенье, когда как  
раз во время пения блаженств его карман зажужжал весенним  
шмелем, – да и стоял уж бледно-зеленый май, в очередной раз  
обнадеживая еще живущих. Игнат вылетел на паперть.

- Игнат Андреевич, Женя пришла в себя, – сдержанно-спокой-  
но сообщил ему врач-полковник. – Она спросила у сестры: «Что  
со мной?».

Дома он тщательно подстриг кудлатую свою бороду, помыл  
голову, принял душ и надел ярко-синий свитер с белым рисунком,  
который Женя как-то раз на нем похвалила. Прежде, чем выйти,  
несколько минут разглядывал себя в зеркало. Сам он не видел ни-  
каких внешних перемен, кроме некоторой освеженности и полу-  
забытой надежды в глазах. «Поймет ли она, что я теперь другой?  
Да и другой ли я на самом деле?» – вслух спросил Игнат давно  
знакомому, но с каждым годом все менее симпатичного двойника.

## Глава 7

Александр Второй поторопился с освобождением крестьян  
из крепостной неволи, а масоны в лице Авраама Линкольна в то  
же самое время совсем некстати вызволили негров из рабства.  
Так считал любимый человек – а Женя удивлялась, что во вто-  
рой своей жизни всем этим интересуется. «Что он Гекубе, что  
ему Гекуба?» – что ей тогда, до первой смерти (а теперь она была  
самым глубоким образом убеждена, что умерла тогда, в самый





отвратительный день марта, умерла одна в своей, но чужой квартире, никому не нужная и самой себе противная), что был для нее Царь-Освободитель или вождь непонятной гражданской войны в Северо-Американских Штатах? А теперь, идя теплым дождливым днем по Фонтанке к Аничкову мосту, где предполагалось сесть на плоский речной трамвайчик, под руку с человеком, на пять лет моложе того, которого она знала и полюбила лет двадцать лет назад, Женя слушала его с неослабным вниманием, и было это, оказывается, важным не только в его научных изысканиях, но и в ее, Жениной, частной жизни.

- Представьте себе, что в клетке в зоопарке сидит опасный хищник – тигр, например, или медведь гризли. Жалко вам его? Ведь его заперли в отвратительной дыре самым жестоким и безобразным образом, лишив естественных прав на вольную жизнь в дикой природе. А если жалко – почему не отпираете клетку? Да потому что он вырвется на свободу и устроит кровавую баню прямо в зоопарке – перекалечит кучу народу и сожрет еще парочку детей. А негры, между прочим, в Америку не с неба упали – их привозили из Африки работорговцы. Этот бизнес начался в конце восемнадцатого века, а к середине девятнадцатого достиг полного расцвета. А что такое была Африка в девятнадцатом веке? Ее населяли разрозненные, вечно воевавшие друг с другом племена, где людоедство считалось делом достаточно обыкновенным, а кровавые жестокости казались вообще в порядке вещей. И вот те самые освобожденные черные рабы были, в лучшем случае, родными внуками тех людоедов, а в худшем – и сами в молодости отведали человеческого мяса – перед тем, как были так неудачно отловлены охотниками за рабами. Вы же читали «Унесенные ветром» – не верю, что есть хоть одна интеллигентная женщина, которая бы не читала. А я, хоть и мужчина, но тоже читал. И волосы у меня стояли дыбом. И поверьте, белые младенцы, вздетые на штыки северян, – это далеко не самое ужасное, из того, что их гражданская война принесла с собой. Новые свободные чернокожие граждане охотно кушали тех самых снятых со штыков грудничков. Но очень скоро эти черные мужчины получили равные гражданские права с белыми – мужчинами, я имею в виду, потому что поправка о женском равноправии в конституцию самой свободной страны мира... вы будете смеяться, но не внесена до сих пор. То есть, в то время белая женщина-христианка юридически имела меньше прав, чем черный вчерашний людоед. К чему все





эти свободы привели Америку сегодня, мы с вами и обсуждать не будем, мы же культурные люди, имеющие глаза и уши.

Не считайте только, ради Бога, меня сторонником рабства или там какого-нибудь насилия. Как нормальный человек и христианин, я, естественно, против того, чтобы одна тварь, созданная по Образу и Подобию, продавала за деньги, как лошадь, другую, сотворенную точно так же. Но только черного раба следовало сначала... очеловечить, что ли... Ведь на самом деле хозяева не так уж и терзали своих невольников. Да, конечно, гоняли на хлопковые плантации – а что, их надо было в Палату Представителей сразу сажать? Зато всех поголовно крестили, способных обучали грамоте, ремеслам, потом многие откупались на волю. Белые выходцы из христианских стран, ставшие плантаторами, редко прямо уж голодом морили своих рабов – а как бы те иначе работать могли так производительно? А вот что заботились не только о телах, но и о душах, – это исторически доказанный факт. Еще лет сорок – и негры безболезненно влились бы в американскую христианскую культуру – и вся история Америки пошла бы по другому пути. Но там Гражданскую войну вдохновили масоны – им, понятно, мирно и гармонично развивающаяся христианская страна стала бы, как кость в горле. Поэтому, с умыслом включив механизм освобождения несвоевременно, они превратили Америку в агрессивного монстра... Но Александр-то Второй на самом деле желал своей стране счастья и процветания! И свободы для подданных. Взял и освободил крестьян – такой вот широкий жест. И тоже лет на сорок раньше, чем требовалось. В девятисотом это и так сделал бы гуманный Николай Второй. И царствовал бы всем на радость до глубокой старости, потому что никакая революция при этих обстоятельствах в России была бы невозможна. Темного, практически дремучего человека, в массе своей неграмотного, освобождать было категорически рано! Есть среди современных христиан, знаете ли, благостная сказка про идеального, христороливого русского мужика-хлебопашца, насмерть преданного своему Царю-батюшке, любовно возделывающего землю и строго соблюдающего посты. Дескать, на мужике как на фундаменте, Россия и стояла – а вот загнила проклятая интеллигенция, и все рухнуло, как старый дом. Ничего подобного – был бы у дома прочный фундамент – не рухнул бы. Интеллигенция, как рыба голова, загнила, конечно, первая – но не стряслось бы никакой беды в России, если б мужик не пошел за очкастым совратителем.





Хранитель христианства, последний его оплот, в то время, как высоколобые интеллигенты играли в теософию и развлекались мистицизмом... Как же! Где вы видели христианина, топчущего иконы, сверзающего с колокольни колокола и убивающего все живое вокруг в радиусе десяти километров от родной деревни? Так вот, не было бы ничего этого, если бы Александр Второй те же средства, что потребовались на исполнение его нелепого указа, бросил на создание государственной системы всеобщего среднего образования в своей стране. И мужик, принудительно, как раб, приведенный в среднюю школу, знал бы Евангелие не по косноязычному чтению в редко посещаемой им церкви, а прочел бы на церковнославянском – хорошо, пусть хоть на русском! – языке; выучил бы основы истории, культуры, получил бы представления об аналогичных процессах в других странах... И через пятьдесят лет никто и подумать бы не мог, чтобы его распропагандировать. Мужик – да и не мужик уже, а свободный, самостоятельно мыслящий крестьянин, – в лицо пейзаому пропагандисту расхохотался бы – да и коленом его под зад без всякой жестокости...

Игнат горячился, иногда останавливаясь и для пущей убедительности заходя вперед собеседницы и поворачиваясь к ней лицом, – а она думала не о любимой его истории, и уж, тем паче, не о темных русских крестьянах и кровожадных американских рабах... Она думала: «Как странно. Вот мужчина – явно влюбленный. Перед ним женщина – влюбленная не меньше. Он развивает перед ней сомнительную теорию, за которую прогрессивные историки в два счета изгнали бы его из своих просвещенных рядов. Но эта теория звучит, как самое изысканное признание в любви. И ей не нужно другого». Она пыталась припомнить свои разговоры на начальных стадиях убогих «романов» в *той*, минувшей двадцать лет назад жизни. О чем говорили с ней *те* мужчины, желая продемонстрировать все самое лучшее, что было у них? Один, поигрывая крутыми плечами, рассказывал о своей завидной службе в ВДВ и хвастал значком «90 прыжков с парашютом». Это впечатляло – она бы ни тогда, ни теперь, ни одного раза не прыгнула. Другой хвалился своим мальчишеским лидерством в драчливых дворовых компаниях и в подробностях расписывал жестокие уличные бои в крошечном приморском городке, из которых его «кодла» неизменно выходила победительницей. Третий – и последний, как оказалось, – молча чинил в ее квартире текущие краны, реанимировал обугленные штепсели, деловито



приколачивал крючки и полочки – а потом залихватски глушил на кухне водку, мрачно гордясь тем, что не пьянеет. И виноватым во всем этом выходил Царь Александр Второй, вовремя не занявшийся образованием их предков, которых зато так неудачно освободил... Они демонстрировали потенциальной будущей своей постоянной самке, что она будет за ними, как за каменной стеной – то есть, они защитят ее и детенышей, и гнездо тоже будет крепким и надежным. Они инстинктивно чувствовали, что для подобной самки такие достоинства самые главные, – они их имели и уверенно предлагали. Не понимали, несчастные, что самка им досталась какая-то нетипичная, и сама не знает, чего хочет. Она тогда действительно не знала. Теперь ее тоже обхаживал самец – другой породы. Странной породы, которая не обещает своим самкам никакой гарантированной защиты от хищников, а лишь подает надежду, что их потомство будет обладать недюжинным интеллектом, – а, стало быть, может, выживет и само... «Боже мой, Боже мой! А я-то думала – там – как у *них* это происходит, если не в книгах, а на самом деле! Вот, оказывается, как! Надо же – Александр Второй – и негры! И все это обещает такую большую любовь...».

Но любовь не приходит по обещанию. Вернее, она умеет убедительно обещать, но редко исполняет даже самые страшные клятвы. На одной улыбке можно построить целое сияющее царство, которое при первой же грозе рассыплется в прах, – а можно годы идти к далекому свету, призывному и многообещающему, но придти в тупик мрака и боли. Но еще хуже видеть любимого человека каждый день, тепло разговаривать с ним и поверять тайные мысли, но не сметь даже прикоснуться к нему трепетным локтем.

«Я под обетом», – просто сказал ей однажды Игнат, как будто был уверен, что она поймет. И Женя понимала, потому что и об этом читала тоже; но разве это бывает – сейчас и всерьез? Это ведь звучало точно так же, как если бы мужчина двадцать первого века спокойно произнес: «Я вызову его на дуэль». С суеверным страхом она тогда подумала: «Может, я просто еще всего *о них* не знаю – а они тайно и теперь стреляются за честь и любовь?». Ведь в той жизни за нее и морду никто никому не набил – охота было свою подставлять...

Пока не выздоровеет Маша – не прикасаться к женщине. Как это связано между собой – ее выздоровление и их любовь? Машу





она помнила смутно – нечто тонконогое, с нежным лицом и любящими глазами. Лежавшее где-то в больнице на заднем плане их темных отношений и отчаянно мешавшее своим присутствием в жизни Игната. Там Женя иногда думала со злобой, что вот умрет она, наконец, и тогда, выпив несколько лишних бутылок водки и прорыдавшись, Игнат окончательно перейдет в ее владение – а там привыкнет, и... все же знают, как это бывает... Часто только кажется, что люди друг другу не подходят. Но вышло, что в той жизни Женя умерла в одну ночь с Машей...

Когда она увидела девочку в следующий раз – уже здесь, той было только десять лет, и она едва оправилась от последней химиотерапии. Будь это кондовые отечественные препараты, ребенок мог не перенести столько «химий», но использовались продвинутые импортные, лучших производителей... Ее отцу это стоило практически всех отложенных от продажи родительской квартиры денег – невероятно, но та первая квартира, которую так тщетно искала Женя до своего переезда сюда, находилась чуть ли не рядом со старым ее домом на канале Грибоедова, во всяком случае, поликлинику они посещали одну и ту же... И напрасно моталась она по детским средним школам – преподавал он в вечерней для взрослых, чтобы иметь возможность лично контролировать лечебный процесс, – а вечером девочка все равно большую часть жизни находилась в больнице... Он перешел в дневную школу только потому, что Машу, обеспеченную стойкой ремиссией, из больницы теперь забрали, днем она училась сходящими учителями, а вечером ей дома нужен был отец... Одним из сходящих учителей – русского и литературы, и стала теперь для нее милая Евгения Вадимовна, очень быстро превратившаяся в друга семьи «тетю Женю».

Учить тихого, вдумчивого и способного ребенка правилам русского правописания, читать с ним великих авторов – и при этом знать, что учишь его совершенно напрасно, потому что ребенок этот через пять лет все равно умрет, – было испытанием сердца и совести. «По крайней мере, теперь я точно знаю, что и то, и другое у меня есть», – думала иногда Женя, провожаемая после урока домой Игнатом. Он поднимался к ней на седьмой этаж и застревал надолго, философствуя и отдыхая душой, – так что суровая его сестра Ариадна в глухо повязанном белом платке и мышастом платье до щиколоток – встречала ее всегда с каменным выражением своего красивого, но испорченного нарочитой







бесстрастностью лица. «Если начать ходить в церковь – то вскоре станешь такой же, как она...» – с содроганием подумала однажды Женя, и самая мысль о церковной службе стала с тех пор ужасна. Игнат сам ходил, но ее не заманивал, раз только вскользь посетовал – мол, жалко, что не бываете, – а вот то, что больную Машу таскал раз в неделю и заставлял выстаивать всю службу, – этого она ему простить не могла. Три года смотрела на это, стиснув зубы, и ей казалось, что если у ребенка и будет рецидив, – так это после какого-нибудь церковного праздника, но Игнат такие предположения обрывал с неожиданной суровостью:

- Рецидив случится, если я ее туда водить перестану.

- Сделаете из нее вторую Ариадну, – пригрозила она однажды своему другу – а он в ответ улыбнулся:

- Никогда! – и достал свой мобильник: – Маша? Я тут у тети Жени, и она думает... Неважно, что она думает, но можно я ей покажу? Сегодняшнее, про кузнечика... Спасибо...

Он значительно взглянул на Женю:

- Она давно вам хотела сказать, но стеснялась... Маша у меня, видите ли, стихи пишет... Боялась вам показывать – думала, вы же специалист, раскритикуете еще...

- Про кузнечика, который сидел в траве? В тринадцать лет уже можно и покончить с ботаникой и зоологией... По крайней мере, в поэзии... – пошутила Женя.

- Да, про кузнечика, именно про него... – странно посмотрел на нее Игнат, доставая из нагрудного кармана маленький блокнотик. – Я сюда записываю те, что она мне разрешает. Вот послушайте:

*Оловянный кузнечик на тонкой травинке  
знает стороны света и восемь чудес,  
и органное эхо случайной тропинки  
он доносит легко до ближайших небес.*

*Уши воском забей, чтоб вовеки не пелось,  
не ворочалась в горле слепая вода –  
не смеялось, не чудилось и не хотелось  
в ниоткуда чужое, в свое никуда.*

*Постигай тридевятое царство снаружи,  
здесь проколоты даты хрустальной иглой;  
пустота обнимает, и кружит, и кружит  
мотыльком обожженным над теплой золой.*





*Поднебесные сети, Господние горки;  
повтори неуступчиво: кто согрешил?  
про слезинку ребенка в вонючей каморке.  
Не забудь, крылышкуя, раздавленных жил...*

Женя начала слушать стоя, прислонившись бедром к светлому икеевскому комоду, и заранее придала своему лицу умиленное выражение, как всегда это делала, готовясь реагировать на непосредственное детское творчество, но, когда Игнат закончил читать, вдруг обнаружила себя сидящей на скамеечке для ног и полностью забывшей все русские слова. Наконец, она проговорила:

- Но вы же – правили? Редактировали? Ребенок же не мог сам...

- Ни единой запятой я ей не исправил. Но она, видите ли, в церковь ходит... – словно с некоторой даже досадой ответил Игнат.

- И вы хотели бы, чтобы я тоже ходила? – набравшись смелости, ляпнула Женя напрямик. – Скажите, вам нужно, чтобы я туда ходила?

- Это вам нужно, – серьезно посмотрел он ей в глаза.

- А вам? – настаивала она, не отводя взгляда – и он опустил свой:

- Я просто этого *очень желал бы*... Ведь три года прошло...

Он не договорил, но Женя знала, о чем он: когда пройдет пять лет ремиссии, это будет означать, что Маша, скорей всего, выздоровела. И тогда обет может считать выполненным, а Игната – свободным... Но ведь Маша умрет, не прожив этих пяти лет, – вот в чем все дело, а он об этом не знает и надеется на лучшее... Выходит, она и в этой жизни, как в той, его потеряет?!

И вдруг ее стукнуло: а почему, собственно, Маша умрет? Ведь собственную судьбу она же переломила! От чего умерла Маша? Да она сама ее, можно сказать, по незнанию убила, уведя любимого Рики, чтобы потом заманить к себе Игната! Бедная псина двое суток не проглотила ни куска, глотка воды не сделала и оскорбленно лежала к ней спиной, будто понимала... Да и понимала, конечно. Во всяком случае, лучше *той* Жени... Весь организм девочки получил тогда сокрушительное потрясение – что-то сорвалось в нем и понеслось вниз, как снежная лавина... А если потрясения удастся избежать, то не будет и последствий?

- Игнат, а вы дочке собаку брать не собираетесь? – чтобы уточнить для себя расписание судьбы, спросила она.





- Вы тоже думаете, что стоит? – улыбнулся он. – А вот Ариадна против. Но я уж договорился, что греха таить. У Славы Воронина – в 11 «А» ведь вы литературу ведете? – у них дома сука беременная, шотландский терьер. И мне уже сугубо забронирован лучший кобель. Только Ариадне ни слова, не то она меня еще до родов съест. А Маша уж и кличку ему придумала...

- Какую? – шепотом спросила Женя, чего-то невероятно боясь.

- Рики... Подходяще, как вы думаете?

Судьба не меняла основных своих вех. Просто идти по ним, оказалось, можно иначе... Значит, два года осталось. Если б он хоть догадывался...

- Три года уже... – Игнат, вероятно, повторил вслух неотступную мысль. – Я иногда позволяю себе надеяться...

- А как я-то надеюсь... И уж не три года, а... на двадцать больше, – прошептала Женя, отвернувшись к окну, и спохватилась, что он же слушает.

Игнат подошел и прислонился лбом к ее виску – единственная ласка, которую позволял себе чуть ли не с самого начала:

- Женя... Я ведь о вас ничего не знаю... Вы с первого дня нашего знакомства были рядом, но... Как-то все время было – мое, обо мне... Будто я один страдаю... А ведь и вы, наверное... Я вам просто радовался и не о чем не спрашивал... Женя, я дурак, да?

- Это я дура. Мне так о многом нужно с вами поговорить – а я не могу.

- Поговорите. Я пойму, честное слово. Или нет, просто подумайте, а я буду вот так стоять, и все ваши мысли перетекут в мою голову. Хотите?

«Конечно, он меня любит... Господи, как же все запуталось...».

Она отстранилась:

- Так не получится. Да и вообще еще рано. Надо, чтобы эти два года прошли.

...Женя знала Машу как тонкого, восприимчивого, крайне эгоистичного ребенка, видела, что голова у нее варит неплохо, хотя на уроках своих она зачастую вежливо отсутствовала. Теперь, по крайней мере, было понятно – где именно. В том мире, где рождались ее стихи. С отцом девочку связывали несколько болезненные отношения – отношения возможной скорой вечной разлуки. Так могут ненасытно страдать при виде друг друга влюбленные, знающие, что роковые обстоятельства должны их неминуемо вскорости разлучить. Он баловал дочь так, как, в общем-то, непо-





зволительно – непедагогичной считается и меньшая вседозволенность. Например, Маше разрешалось бодрствовать до четырех утра, если вдруг ей почему-то не хотелось спать, съесть одиночно все цукаты, шоколадки и кремовые розочки с праздничного торта и неожиданно отвечать тете Ариадне: «Не хочу», когда та наливала ей в тарелку грибной суп, за три часа перед этим Машей же категорически потребованный. Но девочка платила отцу столь же пламенной привязанностью, выражавшейся, прежде всего, в том, что она старалась оградить отца от малейших неприятностей. Прекрасно зная, чего именно он боится больше всего на свете, она стоически скрывала до последней возможности любые свои недомогания и так артистично изображала полное здоровье и детскую беспечальность, что ухитрялась обмануть его, готового обмануться, на начальных стадиях какого-нибудь ОРВИ. В каждой легкой простуде отец ее готов был видеть грозные признаки рецидива – и Маша, рискуя собой по-настоящему, несколько раз успешно переносила разные недомогания на ногах – лишь бы не увидеть в очередной раз в глазах обожаемого папы пугающие огоньки поднимающейся изнутри неостановимой паники...

Учительница тетя Женя лучше строгой тети Ариадны разряжала семейную обстановку – почти с первого дня своего настоящего пребывания в жизни Игната. В тот незаметно отодвинувшийся в дальнее прошлое июньский день, когда, оставив раздраженной секретарше кучу плохо сложенных аттестатов, она вышли из школы вместе – и, разговаривая о важных вещах – например, обычаях и порядках в школе, глядевшей на них во все окна, – простояли посреди двора друг напротив друга не менее часа, Женя готова была поверить, что видит в нем странное узнавание. Нет, он ее не узнал тогда, как, впрочем, и никогда позже, – но интуитивно откликнулся на протяжный зов о помощи, безмолвно рвавшийся из ее души, потому что она-то знала, что в этом мире помочь ей может только он один. Сначала говорили о конкретной школе, с нее перешли на неразрешимые проблемы российского образования, через них – плавно на мировые, а оттуда уж и до отмены крепостного права было рукой подать...

В сентябре, когда в школу вместе с новым учителем поступила и его находившаяся на домашнем обучении дочь, Женя сама потребовала ее к себе в ученицы – понятно, что от таких «надомников» нормальный педагог отбивается руками и ногами: это ведь не доходные частные уроки, а практически бесплатная



трата времени впустую; такие ученики – бросовый материал, к ним и относятся соответственно. Маша оказалась типично гуманитарной, вежливой и милой, но абсолютно закрытой девочкой. В душу допускался только папа – да и то до предела, определяемого самой дочерью, и Женя иногда подозревала, что предел это только кажется далеким. Когда дружба-любовь у Игната с Женей укрепилась, вне школы они все равно виделись почти исключительно втроем: Русский музей, строго определенные отделы Эрмитажа (разумеется, Ариадной, претерпевавшей накануне таких походов жестокие нравственные корчи), изредка – скучный театр, бредовое кино, обед в симпатичном кафетерии... Единственный раз выехали поздней весной «на шашлыки» к Финскому заливу, где, к большому Жениному огорчению, случайно уронили в мангал и прожгли насквозь чудный, любимый ее, ярко-синий с белыми олешками свитер Игната, так что пришлось там же его и выбросить, – все это возможно было только вместе с Машей – да и делалось, собственно, ради нее. Женя с этим вынужденно смирилась, Машу, хотя и не полюбила как дочь, потому что такая любовь предполагает взаимность, но считала близким человеком, замирая при мысли о ее возможной обреченности... А теперь вот обрушились эти ее стихи – да уж, вот тебе и кузнечик «как огуречик»...

- В каком смысле – *кто согрешил?* – спросила тогда Женя притихшего Игната.

- В евангельском, – помедлив, ответил он. – Я и сам все время задаюсь тем же вопросом, что и апостолы, когда смотрю на Машу. Кстати, никто из трактовавших Евангелие убедительно это именно место не объяснил...

Женя пристыжено заморгала... Старослав она, учила, в основном, именно по Евангелию – отрывками переводили на занятиях – но сейчас вспомнить определенную сцену и привязать ее к фразе в детском стихотворении не смогла.

- Притча о слепом, – мягко подсказал Игнат. – *Господи, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?* И дальше: *Никто не согрешил, ни он, ни родители его...* Вот именно этого диалога я и не понимаю. О возможности переселения душ я даже задумываться не хочу – настолько это было бы ужасно – но как он мог согрешить – до рождения, чтобы в наказание родиться слепым? Я надеюсь, что ни я, ни Машина мать не согрешили *настолько*, чтобы наш ребенок болел раком, значит, дело в Маше?





Может, не заболеет она – *и согрешила бы?* Но ведь в том месте Евангелия – нет сослагательного наклонения – или это дефекты перевода? Как вы думаете? – и на ее смущенное молчание: – Ах, Женя, как мне трудно иногда говорить с... с людьми...

Она поняла: «С вами». Спросила неловко:

- А что, если я пойду в церковь, вы сможете говорить со мной и об этом?

- Не знаю, – он вздохнул. – Во всяком случае, мы только об этом пока еще не можем разговаривать... И мне так жаль, Женя. Потому что на самом деле мне иногда кажется, что это – единственное, о чем вообще следует говорить...

Еще полтора года Женя ходила вокруг Церкви кругами, причем иногда – в прямом смысле, сопровождаемая мгновенно в ее присутствии сжимавшимся Рики, когда они вдвоем встречали со службы преувеличенно бодрого Игната и усталую до полной угрюмости Машу. Самым странным в тот период Жениной жизни была абсолютная, непоколебимая уверенность в том, что Рики – помнит и не прощает. Думать так было дико и безумно, она и сама это знала, но источником такого убеждения служил странный и очень смущавший Игната факт, что веселый черно-белый щенок, поначалу похожий на морскую свинку, с рождения дружески расположенный ко всем людям на свете, именно Женю сразу отказался признать. Не огрызался, не испытывал страха – вежливо, но с некоторым презрением обходил. Отворачивал морду, когда она пыталась его погладить, и всем было отчетливо видно, что ее прикосновения песик лишь терпит из уважения к любимым хозяевам. Еды из ее рук не принимал никогда и никакой. Если она брала его на поводок, то шел рядом, как кандалник, прикованный к своему напарнику, и мрачно смотрел перед собой. Влюбленная в пса почти с такой же страстью, как в папу, Маша мгновенно переменила свое отношение к «тете Жене» – так как прочла в одной из бесконечных идиотских од, посвященных собакам, об их, якобы, исключительной способности отличать хороших людей от плохих. Напрасно отец увещевал ее по вечерам, доказывая, что зверь не может служить для человека лакмусовой бумажкой, а песья неприязнь к женщине может обуславливаться чем угодно – хоть непривычным запахом духов, которые собаки вообще с трудом переносят, приговор ее был неумолим: «Из-за запаха он бы не смотрел на нее, как на палача», и единственной уступкой, которую она сделала отцу, – это не стала вновь назы-





вать его подругу и свою учительницу Евгенией Вадимовной, как поначалу сгоряча собралась.

Игнат рассказывал Жене обо всем этом с некоторой смущенной досадой – потому что каждому в отдельности было ясно, хоть об этом пока и молчали, что Машино внезапное негативное отношение, смешное по сути, может привести к полному провалу для них двоих: ведь если бы дело однажды дошло до выбора между Машей и Женей – Игнат бы вырвал собственное сердце и кинул его в пасть Рики, но сильного стресса для дочери не допустил бы...

А между тем, скромно пробираясь в темноте среди двухметровых сугробов, еще маленький, но неведомый и страшный, к Петербургу подбирался новый, 2011 год – а рецидива у Маши все не было, наоборот, очередные анализы, результаты которых в то же самое время *там* были сокрушительны, здесь выглядели настолько обнадеживающе, что Игнат впервые позволил себе пригласить Женю гулять в Ломоносовский парк – одну, а там обнял за плечи и так молча водил по дорожкам, боясь заговорить, – и она молчала, как каменная. Короткий декабрьский день – у них обоих значившийся в расписании «методическим», то есть, завуалированным выходным, – угасал на глазах так быстро, что они, незаметно забравшиеся в самые дебри, в какой-то момент поняли, что не выберутся до полной темноты. Замерзшие снаружи, но переполненные лавой чувств изнутри, и оттого не восприимчивые к усиливающейся стуже, мужчина и женщина разъединились и ускорили шаг. Поспешая за Игнатом по утоптанной дорожке, Женя вдруг остановилась, пораженная страшной мыслью: если они сейчас выйдут из парка – вот так, не разрешившись, – то все будет кончено: не выйдя наружу, лава вернется в душу и выжжет ее дотла. Она достаточно долго прожила на земле – в совокупности шестьдесят пять лет! – и все эти годы прошли напрасно.

- Игнат!!! – крикнула Женя таким голосом, что он бросился, к ней в испуге. – Игнат. Если здесь и сейчас я не расскажу вам всего, то идите лучше дальше один.

- А... вы? – изумленно выдохнул он.

- А я останусь здесь и повешусь, – твердо ответила Женя. – Потому что Рики-то ведь – все знает, и давно бы сам рассказал, если бы умел говорить.

Ей было все равно, подумает ли он в зимнем ночном парке, где звенит по веткам усиливающийся под лунной мороз, что она







сошла здесь сегодня с ума, или решит, что она попросту больна шизофренией с классическим симптомом раздвоения личности – а вдруг, действительно больна?! – но молчать означало предать любовь, его и свою, и по сравнению с этим ничто не имело значения...

Мороз завернул далеко за двадцать, и звенящий парк накрыла страшная ледяная тьма, говорить в которой неожиданно оказалось легче. Женя все время видела только оранжевый маячок Игнатовой сигареты, и слышала его частое взволнованное дыхание. Если бы не толстая зимняя куртка, то и биение сердца можно было услышать в такой ночи... Когда Женя замолчала, оба стояли, прислонившись каждый к своему дереву, потому что сесть здесь можно было только в сугроб. Что он скажет? «Вы переутомились и перенервничали, давайте я отвезу вас домой»? «Как у вас повернулся язык сказать, что моя дочь умрет»? «Вам нужно пойти в церковь и рассказать об этом на исповеди»?

Сигарета как раз погасла, и стало уж совсем непереносимо жутко рядом с человеком, который мог сейчас стать безвозвратно чужим или же – ближе близкого, – и Женя вдруг слышала в крошечной тьме короткий смешок. Потом Игнат глухо заговорил, и в голосе ясно слышалась мрачная усмешка:

- Это великолепно. Я тут страдаю, люблю женщину, спасаю дочь от смерти, детей учу, строю теории – и так далее, и так далее... А оказывается, что я просто персонаж Жениного сна. Вот Женечка проснется – и все возьмет и растает – вместе со мной. А я-то убиваюсь, обеты какие-то даю! А все просто сон. Ай да Женя!

- Вы не поняли. Это явь. И то было явью, только в ней все было иначе, – уже совершенно спокойно отозвалась она.

Гора свалилась с плеч – а кого там придавило, стало уже невозможно разбираться; вернее, все ясней становилось, что похоронена под павшей горой была именно она...

- Женя, двух явей быть не может. Что-то одно – сон! Может быть, провидческий – ведь многое же совпало, даже я... Но то – была *не явь*! Или *это*?.. Не знаю... Подождите, а как же Маша?! – в темноте он безошибочно нашел Женину руку и стиснул ее. – В вашем сне Маша – умерла?!

Изнутри у нее вскипела и выплеснулась закономерная женская обида:

- Скажите, Игнат, а я – я вас не интересую? То, что я там тоже





умерла, – это вас не трогает? Маша сейчас здорова – а там в это время была больна – это все, что я про нее знаю! Но мне-то жить осталось меньше трех месяцев! Во всяком случае, день этот приближается – а за ним полная – невозможная – темнота!

Он опять усмехнулся, и теперь в тоне сквозила горечь:

- Вам можно позавидовать. Ваша темнота начинается только через три месяца, а моя – с каждой следующей секунды...

Женя вырвала руку и даже оттолкнула его, не соображая, что делает:

- Вы не желаете понимать! Это не шутка, не бред, не сумасшествие! Это – было! И я живу с этим четверть века и все это время жду вас! И все никак не могу дождаться, потому что у вас – «обет»! И из-за этого у нас не любовь, а только половина! Но вы ведь не давали обета – не любить! Обещали лишь не удовлетворять похоть! Меня вернули сюда, чтобы я могла все исправить, – а теперь опять заберут, потому что вы по-прежнему, как и тогда, – не любите! Я там спасала вас от горя, когда она умирала, и, по миновании надобности, вы просто вышвырнули меня! А здесь я – бесплатное приложение к вашей надежде, что она выздоровеет! И если нет – или просто если она меня окончательно возненавидит из-за отвернутой морды своей собаки, – то вы опять вышвырнете меня!

Он сделал к ней шаг, но в темноте немного промахнулся и, оступившись, врезался в ее дерево плечом:

- Женя, нет... Неужели это именно так выглядит со стороны? Какой ужас... – он на ощупь шарил руками в темноте, пытаясь ее, отскочившую, достать; не преуспел в этом и выкрикнул в отчаянье: – Женя, я вас люблю! Где вы, Господи?!

Женя стояла у другого дерева и плакала, когда Игнат добрался до нее. Додумавшись щелкнуть зажигалкой, он увидел, что такое знакомое и давно родное лицо совершенно изменилось, будто ушло в потусторонность – или это темнота таинственно действовала на восприятие?

- Давайте выбираться отсюда, пожалуйста... Окоченеем ведь, – ласково попросил он. – Нам все равно теперь придется осмысливать это не один раз...

Она достала носовой платок и, всхлипывая, стала комкать его у лица.

- Хотите, скажу вам, что наши тетки подарят вам в феврале на день рождения? Телефон такой красивый, коричневый с золо-





том... Но вам он не понравится, и вы им пользоваться не будете... Там вы его мне отдали – и через неделю все это и... Здесь он мне не нужен – мой собственный в десять раз лучше... Может, действительно... Действительно все не будет, как тогда...

В течение трех месяцев они расставались только поздно ночью – чтобы встретиться через восемь часов в гардеробе школы. Недремлющее око дамского коллектива, давно уже, разумеется, считавшего их разумными любовниками, не афиширующими свою тихую и приличную связь, углядело их растущую спаянность, и разговоры о грядущей самой ожидаемой в сезоне свадьбе велись уже вслух. Не до того было обоим пылким влюбленным: роковая дата, за которой стояла непроглядная бездна, приближалась спокойно и неотвратно – как палач к плахе. Напугав расслабившуюся Ариадну, Игнат почти жестоко настоял, чтобы Маша прошла еще одно дорогостоящее, наиполнейшее обследование, – и вновь никаких тревожных признаков не выявили. И без того в этой жизни тростинка с большими глазами и обтянутыми скулами, Женя теряла последние килограммы, обеспечивавшие ее раньше хоть какими округлостями, и весила уже кило на тридцать меньше, чем в те же дни прошлой своей жизни – или пророческого сна. Иногда это казалось с какой-то стороны удачным – ведь в нужный день он просто легко возьмет ее на руки и унесет с собой – но до этого требовалось сначала в том дне проснуться...

«Кем я проснусь? В очередной раз брошенной женщиной – ничего не понимающей и не помнящей, толстой, тупой, бездарной, не имеющей будущего и его не ждущей? Или любимой и любящей, верящей в чудеса и умеющей творить их небрежной рукой? Войду ли я завтра в этот класс честным хорошим учителем – или буду мыкаться в поисках случайного корма, таская на горбу никому не нужные и мне ненавистные тяжести?» – во всех классах Женины ученики сегодня писали сочинения, которые ей, может быть, не предстоит проверить... Куда же все это тогда денется – вообще все – если она никогда не вернется?

На перемене Женя, не таясь от детей и коллег, пришла в класс к Игнату, чего, по неписаным законам, делать не полагалось.

- Я знаю, как проверить, умру я завтра или нет, – с порога напряженно сказала она. – Телефон. Сегодня я должна найти у нашего метро телефон. Он принадлежал такой странной девушке – ты помнишь, я говорила. Если он там, то, значит... Значит,





включен старый сценарий.

- Сценарий-то старый, да ты новая... – поднялся Игнат, тоже взволнованный. – Так что это может ничего не значить. Но, конечно, пойдем, посмотрим... Когда ты его нашла?

- Около пяти. Когда я вышла из поезда, часы в метро показывали шестнадцать пятьдесят одну – я специально тогда посмотрела. До выхода добиралась, наверное, минуты три, так что...

- Отлично, и уроки закончатся, и даже кофе попьем... – попытался пошутить он, но столкнулся с таким взглядом Жени, что поперхнулся.

...Без шести минут пять, он лежал на прежнем месте, как и в тот раз, забрызганный серым снегом, сквозь который явно виден был блестящий розовый корпус, без меры обклеенный стразами и переводными картинками. Женя обеими руками схватилась за горло. Игнат нагнулся было, чтобы поднять и рассмотреть вещицу, но Женя мучительно простонала:

- Не трогайте... Не прикасайтесь... К... к этому... Пусть кто хочет... возьмет... – и развернувшись, бросилась прочь.

Он догнал ее лишь через несколько минут, угадав направление только по расступающимся впереди прохожим, иногда озадаченно глядевшим вслед мчавшейся на высоких каблуках стройной маленькой женщине в ладном черном пальто и скромной изящной шляпке. Спасалась ли она? Бежала ли кого-то спасать? Игнат подоспел и взял ее под руку:

- Это ничего не значит. Это ничего не значит, – повторял он, сам не видя дороги: это ведь было первым материально видимым доказательством того, что Женя не придумала все, что рассказала...

И что они оба не сошли с ума.

Никто из них не помнил, сколько часов они вдвоем безмолвно, как приговоренные, и бесцельно, как отверженные, ходили по улицам мрачного спального района, не оживляемого даже предчувствием неизбежной весны. Игнат привел Женю домой уже около полуночи – и ему пришлось самому снимать с нее пальто, шляпу и сапоги, потому что она выглядела совершенно безучастной и, войдя в квартиру, стояла в коридоре, прислонившись к стене и даже не пытаясь включить свет.

- Ты должна поесть, – сказал Игнат, не выносивший бездействия. – Я пойду посмотрю, что там у тебя в холодильнике.

- Ничего там нет. Я не покупала. Незачем, – впервые за вечер





заговорила Женя деревянным голосом. – Сядь. Теперь ты понимаешь, что что-то обязательно случится?

Он подошел к ней и вновь, как ей всегда нравилось, прижался лбом к ее виску:

- Женя. Есть один способ. Очень простой. Самый простой. Чтобы не проснуться где-нибудь... не там... Нужно просто не спать. И быть не одной. И если... Если что-то начнет вдруг меняться вокруг, – пусть оно переменится и для меня тоже. Я не хочу быть твоим сном. Женя, скажи, ты выйдешь за меня замуж? Завтра? Не молчи. Скажи... Согласна?

Несколько раз она судорожно вздохнула и вдруг беззвучно заплакала – но сквозь слезы мелко закивала головой, не в силах говорить; Игнат обнял ее, и они стали облегченно плакать вдвоем.

Когда они, наконец, вошли в комнату и включили свет, стрелка часов уже перевалила за двенадцать, и они одновременно это увидели:

- Смотри! – торжественно сказал Игнат. – Пока мы там ревели – завтра уже взяло и наступило. Все хорошо. Мы победили. Нет, ты.

- Знаешь, я сейчас подумала: даже если бы я умерла в эту ночь, все равно это было бы не напрасно. Ведь Маша жива, а значит, я выкупила у смерти большого поэта... – про себя добавив «и отвратительного человека», Женя улыбнулась: – Жаль, нет у меня шампанского. Это стоило бы отметить.

Игнат сорвался:

- И не только это! Жди! У меня оно есть – надомник давно еще подарил – я туда и назад! Накрой пока на стол, что ли... Я быстро!

Она не успела удержать его, как хлопнула входная дверь.

Стол, так стол... Женя вдруг вспомнила тот образ своей девической мечты, никогда не реализовавшейся в прошлом: влюбленно глядя друг на друга, двое сидят в полумраке за накрытым хрустящей скатертью столом, пьют золотое вино с пузырьками, и горят две высокие тонкие свечи в серебряных подсвечниках... Самое время реализовать. Серебряных подсвечников в доме не было, но нашлись стеклянные, авторской работы. А вот белая тканая скатерть имела, и, быстро освободив стол от тетрадей и книг, Женя первым делом постелила ее и любовно разгладила. Свечи оказались только в кухонном ящике – желтые хозяйственные – но и они прекрасно смотрелись в двух переливчатых, как лунный камень, подсвечниках. Тарелки надо достать парадные,





с нежным рисунком из фиалок и ландышей... – и она не поняла, почему так отчаянно, как предсмертно, зазвенела вдруг посуда в серванте!

Дрожь прошла по всем стенам дома – и бледная женщина в изумлении смотрела, как разноцветные книги медленно высыпаются из плавно, будто во сне, падающего плашмя стеллажа... Безмолвно закружила вспугнутой птицей горящая люстра – и все это было совершенно невозможно, потому что, в нарушение законов физики, стопка тетрадей подпрыгнула на комодке сама по себе, – и только когда во все поры тела вонзился невыносимый, непереносимо-острый звук на части распадающегося мира, зажав уши, Женя подняла голову – чтобы успеть увидеть и осознать, что потолок падает прямо на нее...

## Эпилог

Шум мокрой листвы. Это было первым, что она точно определила, когда сознание однажды просто взяло и включилось, как тусклая лампа. Поначалу очень тусклая – так что Женя просто лежала и слушала, как шумят листья после дождя. Где-то внутри начинало разгораться – и сам собой пришел вывод: раз листва, значит, май. Или июнь, или июль, или август, или сентябрь. Но не октябрь: та листва шумит по-другому, может быть, потому, что листья облетают. Потом донесся резкий юный запах зелени и земли. Так пахнет только совсем молодая весна: это точно май. Прошло два месяца. Два месяца – с чего? С чего настолько хорошего и нужного, что только при попытке вспомнить уже охватывает счастье? Счастье стало расти, как огромный радужный пузырь, – и вдруг лопнуло. Вернее, его накрыло сверху темнотой. Потолок. Обрушился потолок. Значит, она в больнице. И давно – если тогда был март, а сейчас май. Достали из-под обломков, и все очень серьезно, раз только теперь сознание возвращается. Больница – или? Или что?

Женя очень медленно открыла глаза, и увидела кремовое небо в окне прямо перед собой, а над головой – высокий в трещинках потолок. Стены бледно-зеленые до половины, выше – оштукатурены. Больница. Стало быть, совсем плохо... Спокойно, подумать... Сломан позвоночник, и парализовало – хуже ничего не может быть... Почему? А если раздробило руки-ноги, и все отрезали? Голова, по крайней мере, цела, раз думает, слышит и





видит... Вот и будет – одна голова, как у профессора Доуэля... Аккуратно, попробовать, где руки... Пальцы... шевелятся! На месте! Руки вытянуты вдоль тела. От плеча до кисти двигаются. Очень хорошо. Если позвоночник – то в нижней части, а значит – ноги и... все прочее... Под себя ходить до смерти и даже не знать, когда это происходит... Только по запаху... Ну, смелее! Большие пальцы ног... Есть?! Ноги – обе? Ничего не отрезали и – шевелятся?! *Не* инвалид? Впрочем, внутри же неизвестно что осталось... Сердце, по крайней мере, стучит, и легкие дышат. Почки? Этого не проверить... Ожоги? Сильных болей нигде нет – это бы болело, хотя кто знает, столько времени... А лицо? Лицо изуродовано или нет? Как проверить? Только рукой... Осторожно... Вот идет-идет вдоль тела... Что это здесь на животе – бинт или рубашка? Потом узнаю... Это что – все мое тело? Не тело, а скелет... Подбородок, щека... Губы, нос – на месте... Глаза есть, раз вижу... Лоб... Кожа моя, целая... Хоть и шелушится, но это пройдет... Шрамов нет... Легко отделалась? А почему два месяца? Что вообще было? Дом взорвали? Ночью – ведь темнота стала... А я накрывала стол, у меня в руках была стопка тарелок... С фиалками и ландышами – белые-белые... И тут... Игнат!!! Господи, Игнат же! Успел он войти обратно в дом?! Накрыло его или – ?! Спросить... Здесь есть кто-нибудь?! Позвать... Сестра! Голос, как из преисподней... Сестра же! Кто-нибудь!!! Бесполезно, это же не голос, а сип какой-то... Няня!!! Сестра!!! Подняться? Руками упереться... Нет, не могу, падаю... Шумит голова... Жив или нет?! Кружится все... Снова проваливаюсь... Нет, Боже... Темнота опять.

Ага, я просто заснула... Все нормально, это больница... День еще... Я же проверяла – все на месте... Дом рухнул, и меня, наверное, вытащили... Какая разница, дом-то все равно не мой... Хозяйке квартиры дадут компенсацию, а мне... Не знаю... Документы, оборудование... все там пропало... Черт, это ж сколько денег... Я плакала, плакала – и заснула, не слышала, как бабахнуло, потому что во сне... А, нет, потолок же на меня падал, а я с тарелками... Какими тарелками среди ночи – крыша все-таки едет... Этот еще сучонок в метро с телефоном... Менты паршивые отобрали... Да! Игнат же послал подальше... Вот почему плакала... Ничего, придет... Дочку похоронит – и придет, у него же никого нету... Хотя куда придет – дома-то тоже нет... Но она же ведь жива – дочка его? «Ты выйдешь за меня замуж? Завтра?» – он,







правда, это сказал, или приснилось? Тогда почему такое было счастье, когда в первый раз проснулась? Или я плакала лицом в коврик? Не два же раза я помирала? Теперь вот очнулась – и потом когда-нибудь помру в третий?! Хорошенькое дело! Ну точно, наверно, меня по башке шандарахнуло... Где я очнулась – где? *Здесь* или *там*? О, Боженька, в каком это я смысле?! Совсем бардак на чердаке... Спросить кого-нибудь... Эй, сестра... Сестра! Ага, точно, зеленая рубаха и белый колпак... Что со мной? Что со мной?! Что со мной?!!

Женя не знала, как выглядит со стороны, а зрелище, между тем, впечатляло неподготовленных зрителей. Некогда обритая наголо голова начинала понемногу обрастать редким ежиком на две трети седых волос. На темени их не было – там во всех направлениях змеились толстые багровые шрамы, стянувшие кожу, и кое-где они еще были украшены яркими зеленочными пятнами. Глаза и щеки ввалились страшными темными ямами, высохшие сиреневые губы спеклись. Поверх одеяла лежали желтые костистые руки с косо обломанными слоющимися ногтями.

Дверь открылась, и в палату вошел измученный мужчина с короткой сивой бородой и в праздничном сине-белом свитере, сразу вызывавшем в памяти сугробы Лапландии и лихого Санта-Клауса на его резвой оленьей упряжке, – весной все это казалось уж очень несвоевременным, и хотелось спросить мужчину – зачем он так странно оделся. Но стоило только чуть ближе заглянуть ему в лицо, как охота к праздным вопросам сразу отпадала: там лежал отпечаток преодоленного горя. Он присел на корточки у постели больной женщины и коснулся рукой ее лица:

- Женя, ты слышишь меня? – спросил он. – Это я, твой Игнат.

- Здравствуй... – ответил ему едва различимый не голос, а шорох.

*Автор выражает глубокую благодарность  
санкт-петербургскому поэту*

*Андрею Маничеву*

*за предоставленную возможность  
использовать его стихотворения в этой повести.*

2011 г.

Левашово – Букино





# Морзянка из камеры смертников

*Сердце мое смятется во мне  
и боязнь смерти нападе на мя.  
Страх и трепет приходи на мя  
и покры мя тьма.*

Пс. 54, ст. 5-6

## Глава 1 Диалектика правды и лжи

*Дорогой друг Санька!*

*И когда ж ты, наконец, в вашей глуши появится надежный Интернет, – а главное, когда ты научишься – и захочешь! – им пользоваться? Сам подумай, скольким чадам ты мог бы помочь не медля, если б расстался с идеей-фикс о злокозненности всемирной Сети! Я же вот прекрасно освоился, хотя мы с тобой в одной песочнице жизни учиться начинали, – и злодеем не стал. Хм. Надеюсь. Хотя... Пишу на бумаге, конверт уже припасен, – и самому странно, будто на волю почтового голубя намереваюсь доверить это письмо, хотя и знаю, что дойдет как положено. Теперь, спустя полных полгода, я почти точно могу сказать, что выкарабкался. Твоими ли молитвами, стараниями ли Алены, усилиями ли коллег... А может, просто благодаря удачно выбранному для меня мамой тридцать с гаком лет назад институту: все-таки, когда обширный инфаркт долбанет именно врача, шансов уцелеть у него несколько больше, чем у простого смертного... Шучу. Для тех я тоже делаю все, что могу, ты знаешь: и дерзание, граничащее с дерзновением, применяю, и фантазию – нашу, российскую, исконную, без которой четверть больных перемерла бы еще на стадии приемного покоя... Здесь совесть моя чиста. Почти. Потому что, если дают, – беру, ты знаешь. Но сам никогда плату вперед не оговариваю, и даже если подозреваю грядущую оцутимую мзду – не раболепствую, золотых швов не накладываю. То же и когда наоборот: вижу, что и пол-литра*





*родной не поднесут, и сволочь у меня на столе лежит отменная – а клепаю и шью, как хорошего человека. Ладно, ладно, не хмурь брови: и сам знаю, что не мне судить.*

*Короче, Санек, я, наконец, на реабилитации – в отдельной палате с личным душем, сортиром и дополнительной койкой для неутомимой Алены, которая почти поселилась здесь, – и, честно говоря, иногда очень уж душно от ее неустанной заботы... Она все видит меня лежащим и беспомощным – а стало быть, находящимся в полной ее собственности, аки грудничок, – чуть ли не протертыми супчиками норовит меня с ложки кормить... Не ведает, бедная дура моя, что я от нее уже четыре раза в одних тапках по снегу сбежал на соседний рынок – благословенное место, только от запаха съестных павильонов можно в астрал выйти! – где то шаурму ядовитую на картонной тарелочке, то чебуреков горелых пятёк, то шашлычка перченого от души наворачивал. Планишет у меня несколько раз пыталась отобрать в десять вечера – дескать, переутомишься, миленький, – ну, тут уж я не выдержал и пригрозил, что если меру терпения моего, и без того близкую к краю, переполнит, то вообще запрещу персоналу ее пускать, пусть, как все порядочные жены, приемных часов дожидается... А утром, чуть проснусь – опять два тревожных глаза надо мной зависли – и вопрошают безмолвно, не собираюсь ли от чего-нибудь загнуться, выражая полную готовность немедленно спасти, даже вопреки моему желанию... Так бы и стукнул, прости меня, Господи, козла неблагодарного. Просто не люблю я ее, Санек, хорошую такую...*

*Ладно. Не об этом я хотел вообще. Это – данность, теперь не вывернешься. Я последние полгода совсем о другом думаю. Я тут, под инфарктом лежа, как девка под насильником, ухитрился вылежать целую теорию, которой даже эффектное название дал: «Диалектика правды и лжи». Был бы философом в пиджаке и при воротничке с отогнутыми уголками да с хитрым галстуком – книгу бы написал, с примерами и отступлениями. Хотя, наверное, и без меня написал уже кто-нибудь приткий. А я просто скажу: самая страшная, самая опасная ложь – эта не та, что утверждает то, чего не было, или, наоборот, небывшее выдает за случившееся. А та, в которой по отдельности – только маленькие подлые правдочки, незыблемые факты, с которыми не поспоришь, – а собери их вместе – и получится одна грандиозная ложь. Смертоносная и безжалостная. Та, которая на кор-*





ню губит, кроме солгавшего, – что еще и пусть бы! – всех, кого коснулась. Какой пример мне привести, чтобы именно тебе было понятно? Достаточно вспомнить дощечку, которую Пилат приказал прибить над Крестом: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». То-то старейшины всполошились – вели, мол, написать, что выдавал себя за Царя иудейского! Сколько правд здесь перемешалось – а главной, той, что Бог на Кресте том висел, – ее не было. Царь был? Конечно, из рода Давидова. А для старейшин (по официальной версии, хоть мнится мне, знали, Кого казнят, иначе не торопились бы так, да и другие сомнения имеются) – бродяга и богохульник, что и с их точки зрения, и с общественной тоже было вполне правдиво, да так и выглядело, собственно...

А уж в жизни, Санек... Мы же взрослые люди, нажившие каждый по нешуточному брюшку и по серой, что шерсть у дворового кобеля, бороде, – не по чину нам врать, как первоклашкам перед нахмурившей брови мамашей: не трогал я, дескать, того варенья, честное октябратское, само оно – того... себя съело. Поэтому мы осознанно говорим только проверенную правду – как позже учили вожатые, чтобы можно было беспорочно клясться «честным пионерским»... И как тридцать лет спустя, когда уже в другой школе – воскресной для взрослых, желающих креститься, – вдруг заново узнали, что лгать не есть хорошо. А правда – вот она, готовая и незыблемая: и отцами Церкви, и дядей Маяковским, что хорошо и что плохо, навеки расписано...

Спасибо, что приехал в те страшные, забываемые дни. Ведь когда я дышать едва-едва начал, и ощущения недоумершего вампира от предусмотрительно воткнутого ему под ребра осинового кола чуть ослабели, то понял не только, что жив еще и слева сидит, как идеальная мать над больным ребенком, Алена, но и что совсем этим обстоятельствам не рад, потому что... жить не хочу.

Но, справа, потеснив Ангела-Хранителя, сидел ты – не круглоголовый питерский шкет из наших глубоких и гулких, мощных черным булыжником дворов, не скромный хорошист с задней парты для непризнанных гениев – а понимающий сельский священник отец Александр, в меру строгий, веселый и пронизательный, чуть юродствующий и вытить не дурак (кстати, что Ольга-то твоя, вездесущая и всеведущая, как все матушки, – все так же по ночам тебя, пьяного, домой из гостей огородами гоняет?). Я не забыл и никогда не забуду той исповеди, про кото-





рую тогда уверен был, что она – последняя. Да, собственно, если помнишь, – исповедовался-то за меня ты, а я только испуганно моргал глазами – так, батюшка, так, грешен... Иногда, правда, смутно мелькало, что грешен не так, а по-другому, будто без отягчающих, – но еще усердней моргал на всякий случай: Саньку видней, его учили. Так и звучит до сих пор у меня в ушах твой добрый насмешливый голос, походя исключаящий меня из списка приличных людей: «Ну, чего, допрыгался, раб Божий? Долетался? До неба решил взлететь и там остаться? Ну, туда торопиться мы не будем... Потому что кто его знает, что там на самом деле ждет... Мы тут еще покопошимся маленечко... Да и с грузом таким можно не долететь – сверзиться... Вот, к примеру, ты чего, охальник, шесть лет с чужой женой путался? Знал ведь, что прелюбодеи Царства Небесного не наследуют... Знал – а путался... Ну, ладно, так и быть, поженились, наконец, – хоть живите мирно, грех свой заглаживайте... А еще чего-нибудь по этому делу за последнее время было? Моргаешь – значит, было, да? Ох, грехи наши тяжкие, а этот и вовсе смертный... Надо же, наш пострел везде поспел – бес, что ли, в ребро сунулся? Эти мне блудницы вавилонские! А ты и не упирался, небось, шел, как телок на веревочке... Ну, ладно, раз помирать собрался, так что тут скажешь? Иди и не греши – как Христос велел... И еще рукоблудствовал, поди, и на красоток-медсестер разжигался... Моргай-моргай, бесстыжий... Я ведь почему с самого неудобного начал: эти грехи ад наполняют, а уж остальные – постольку-поскольку... Но тебе хватит... Детей когда растил – на руку скор был, признавайся? С них спрашивал, но на воспитание времени жалел, на жену стихивал – не отрицаешь? На работе что – превозносился, конечно? Лучший хирург на свете, и руки твои... золотые? Хм, бриллиантовые – точно: мздоимствовал ведь, признавайся? Вот видишь, было дело. А еще осуждал всех, кого видел, за то, что грешат не по-твоему, и слова, что Мать-Богородицу оскорбляют, почему зря в людей кидал, даже не думая... И врал, когда надо и не надо, и от работы, когда мог, отлынивал, а если провинился чем, так искал, на кого свалить, да? А как гадость какую делал, – давай сразу себя оправдывать! – мол, ну, никак не обойтись было, – правильно говорю? И одежду носил с выбором, что получше, и пьянствовал, как... (ну, это ладно, тут у каждого своя мера, кхм... зато обжорствовал)... Что, моргаешь, сердечный? То-то и оно. На свой пол мужеский, на-





деюсь, похотливо не заглядывался? К экстрасенсам-гадалкам не ходил? Ну, да то дело бабье, а ты ведь врач, не должен, вроде... На столе никого не зарезал с бодуна или там по оплошности? Баб до абортот не доводил? Таращишься? Ну, и слава Всевышнему: ты хоть не содомит, не вероотступник и не убийца. Э-хе-хе... Если еще чего вспомнил, про себя покайся, Господь простит. Ну, подставляй голову грешную... Господь и Бог наш Иисус Христос Своею благодатию и человеколюбием да простит ти, чадо Виктор, вся согрешения твоя. И аз, недостойный иерей, властью Его мне данной, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь».

Помнишь? Или для тебя это дело обычное? Я помню. Помню, как легко сразу стало, как далеко отодвинулась мимолетная мысль: «Неправда!!!», что четко мелькнула два раза посреди твоего вольного монолога, в котором неправды по определению быть не могло. Потом я прилежно и серьезно, как послушный ребенок, облизал маленькую ложечку, которой ты перед тем зачерпнул из нагрудного флакончика (забыл название) густую багровую каплю Чего-то непознаваемого и целительного, – и торжественно возлег на приподнятые подушки, все так же опутанный трубками, но уже другой, таинственно новый – и заснул неожиданно и беспробудно. Мне снился пыльный летний город с его будто припудренной скупой листвой, широкая полоса Невы зловещего цвета каленой стали; ржаво-рыжая бесконечность питерских крыш, за которые увядшей розой валится тяжелое июльское солнце; стаи суровых серых и черных котов; пророчески-страшный грай умных, почти как люди, ворон; затянутые плотными бельмами, но все равно зрячие и враждебные глаза измученных атлантов; лица разнообразных сфинксов, полные спокойного зла, – и ни одного человека, будто по планете пронесся последний мор. Я шел и знал, что умер, и мыкаться в одиночестве по этому великоленному адскому чертогу мне предстоит до века. Проснувшись, я позорно плакал и выдергивал острую, как шпиль Петропавловки, медицинскую сталь, понатыканную там и тут в мое жалкое голубоватое тело, и жалобно, по-стариковски заливался перед сонной некрасивой ординаторшей: «Я должен ее увидеть, поймите! Я не могу без нее!! Приведите ее ко мне!!!» – но это было все, что я мог произнести вслух по имевшимся правилам игры в правду. Она кивнула с усталым пониманием и вскоре доставила к скорбному ложу мою верную незаменимую Алену...







*Все встало на свои места, я был сильно и нежно наглажен по голове и ушам, как взбунтовавшийся пес, быстро и умело усмирен и утешен. Я больше не был ни виртуозным лжецом, ухитрившимся одним лишь подлым морганием соврать аж на предсмертной исповеди, ни гнусным предателем – а просто мелко психанувшим инфарктником.*

*Тебе до меня из Брянских лесов так просто не добраться, но к другому я с этим идти не хочу: как-никак, а ты в теме, все-таки. Прости, Санек, – или отец Александр, это уж как тебе больше нравится, – придется тебе прочитать эту небольшую рукопись о диалектике истины – больше некому.*

*Но сперва о привходящих обстоятельствах, иначе снова получится большой лживый паззл из маленьких правдивых фрагментов...*

## Глава 2 О рисках подслушивания

Ужасно, когда даже официантки тебя узнают и уже почти не прячут свое отвратительное любопытное сочувствие. Шалман не из дорогих и пафосных, а с претензией на домашность – того и гляди какая-нибудь из этих простых возрастных теток, осторожно, как на тумбочку болящей, ставя горячий френч-пресс на твой одинокий столик у окна, проронит как бы про себя: «Да бросьте вы убиваться – такая красивая... Да у вас таких еще будет – ...» – и махнет освободившейся рукой, эдаким длинным-предлинным махом, символизирующим грядущую долгую и счастливую жизнь. И в качестве утешительного бонуса подкинет лишний пластиковый кругляшок со сливками. А вдруг... (Виктория прекрасно понимала, что вот именно такого в жизни происходить не может, это было бы уже слишком, – но не могла отказать себе в удовольствии чуть-чуть пофантазировать.) А вдруг – он тоже приходит сюда, страдающий и потерянный, садится за тот же «их» неизменный столик и так же, как прежде, заказывает себе большую кружку кофе с молоком, но без сахара, и так же обреченно смотрит в огромное окно на постепенно оживающий к концу августа, мягко золотящийся город... Но приходят они в разные дни и часы – и официантки вот-вот решатся ради женской солидарности, которую никто не отменял, шепнуть об этом своей грустной посетительнице... А может, им плевать и они этого не







сделают – тогда Виктория с Виктором, весьма сомнительные победители, останутся навеки в одном и том же месте, но в непересекающихся реальностях...

Чушь собачья. Никуда он не ходит. Живет себе преспокойно с той нормальной женщиной, на которой женился, – а этот его (наверняка же один из многочисленных!) краткий яркий роман с пациенткой был всего лишь последней быстрой походкой налево перед вторым брачным закабалением. Жаль, Юля уволилась из их больницы, а то бы рассказывала, как там дела у Виктора с этой его коллегой, как там ее, Алена, что ли... Нет уж, не жаль: хорошо, что махом отсекло – чик и все, а не по кусочкам. Вика даже решила сменить телефонный номер, перенесла все сопутствующие неприятности, – именно чтобы не ждать звонка. Какого-нибудь фантастического звонка на тему: «Я понял, что мне нужна только ты, приди в мои объятия!».

Самое ужасное заключалось в том, что Вика знала, что ощущение острого горя отпустит не скоро: ее цельная впечатлительная натура не позволяла весело переходить от одного увлечения к другому, и разбитое сердце могло оставаться таковым не один год, пока не стучалась в него внезапно новая страсть, – чтобы столь же глубоко и больно вонзиться в едва подживший рубец. Ей советовали вспоминать только счастливые, самые светлые моменты погибшей любви, но кому они были нужны теперь, когда их грубо и жестоко перечеркнули, продемонстрировали их фальшивость и конечную зрящность! Одно только воспоминание о последнем случайном столкновении с Виктором чего стоило... На той неделе Вика купила себе в утешение замечательные коричневые замшевые туфли с крупными причудливыми бантами и, надев под них тонкие колготки в тон, отправилась на Невский, чтоб выгулять обнову и заодно развеяться человеческим мельканием. Зашла и в Дом Книги приглядеть какой-нибудь продвинутый роман, который успешно приглядела и, прижимая к груди свою недешевую покупочку, ступила на крутую лестницу, ведущую со второго беллетристического этажа на первый научный. Сделала один шаг – и увидела внизу плотно остриженную седеющую голову Виктора, его испуганно приподнятое лицо, охватила сверху мгновенным взглядом смешную раскоряченную позу человека, делающего, лунатически цепляясь за перила, первые шаги по высоким ступеням, идущим вверх... И сразу в темпе прокрутился в голове нехороший ролик: вот она от неожиданности оступается



и беспомощной тушей гремит вниз по лестнице, сметая на пути людей и хватаясь за все подряд, а потом впечатляюще плюхается на площадку, по пути привычно подвернув ногу на высоком каблуке. «Спокойно! – успела приказать себе Вика. – Считать! Раз, два...» – три, четыре, пять – грозно чеканя шаг и неотрывно глядя на дивные замшевые банты своих быстро мелькающих туфель, она пронесла мимо его постепенно поднимающихся глаз свои полные, туго обтянутые колени, летнее ярко-синее пальто с красно-золотым жаккардовым узором и мнимо равнодушную, на совесть подстриженную и в солнечный цвет выкрашенную голову... Она не помнила, как выбралась на воздух, как постепенно вернулись временно отступившие дружелюбные звуки, как ударил по ноздрям, приводя в чувство, родной и сложный запах мегаполиса: тут тебе и водоросли вперемешку с соляжкой от канала Грибоедова, и бесконечные стада машин с их милым бензиновым дыханием, и обнадеживающая струя густого кофейного аромата... Полуобморок прошел. Она поковыляла в ненавистных уже туфлях вдоль набережной, где удалось удачно приткнуться немолодую проказливую девочку-«Шкоду», хлопнула дверцей, уронила голову на руль...

- Молодые люди, этот стол заказан. Может быть, вам в том уголке будет удобно? – близкий голос официанта, обращающегося к юной паре с осоловелыми от гормонов глазами, заставил Вику словно вынырнуть из-под воды.

- Да-да, это как раз я, наверное, заказывала! На пять часов! – звонко возникла рядом худенькая женщина в стильных дымчатых очках и с пышными, волос к волосу уложенными волосами. – Нас будет восемь человек, и я думаю, столик маловат... Вот если бы к нему другой такой же... или чуть поменьше...

- Сию минуту сделаем, – тотчас засуетился монументальный официант, опытным носом учуявший запах нешуточных чаевых.

- Годива! – послышался низкий женский голос, и его обладательница, высокая дама в каштановых локонах прошуршала нарядным платьем мимо Вики и бросилась, раскинув руки, к очкастой.

- Мирей, ты, что ли? – радостно отозвалась та, и женщины аккуратно обнялись прямо перед Викиным столиком.

«Что за имена такие дурацкие? – с неудовольствием подумала та. – Взрослые тетки, а гламурничают, как малолетки. Наверняка же – одна Галя, а другая Маша какая-нибудь или Марина... Дуры старые».





Манерные тетки между тем уселись за свой стол непосредственно за ее спиной, и абстрагироваться от их сорочьего шелканья уже не получалось:

- Кто еще обещал? Я только про Анжелину знаю точно, и Заюня, вроде, собиралась.

- Ну, Веруца еще... Лапушка с Нютой... Лапушка вся из себя довольная – стабилизировалась, вроде...

- Чудеса... Зло у нее уж до головы дошло, говорили... А что мужики – так-таки и ни одного?

- А что им наш курятник... Но Ланселот сказал, придет обязательно. Будет тут с нами сидеть, как султан в гареме.

- Да уж... Видать, дамский угодник был неслабый... Ну и сейчас – не потрогает, так хоть понюхает. А вообще, он герой, Годи-ва. Такой герой, какой редко бывает. Его цяця ведь не больше, чем на восемь месяцев рассчитана, из них пять прошло, я специально посчитала... А он книгу писать задумал – про нас и вообще про все это...

- Может, пока писать будет, так и цяця заглохнет? Склонится перед силой?

- Дай-то Бог... Сама-то как?

- Как-как – как сбитый летчик...

- Да все мы тут сбитые летчики. Бак пробит, хвост горит, но машина летит...

- ...на честном слове и на одном крыле!

Это последнее они почти выкрикнули хором, и озадаченная Вика, невольно подслушивая и последовательно миновав стадии презрения, любопытства и искренней заинтересованности, шагнула на следующую – уважительного недопонимания. Тут происходило что-то настолько неординарное и серьезное, скрытое пока за кодовыми словами, понятными только посвященным, что поначалу собравшаяся немедленно заплатить и сбежать Вика невольно прислушалась, стремясь разгадать шифр невиданного ребуса. А там, позади, их было уже четверо: теряясь в догадках, Вика пропустила тихое присоединение еще двух женщин, судя по возгласам за столом – неких Веруцы и Лапушки.

- Мирей, я сейчас застрелюсь от зависти. На канекалон разорилась?

- Ну вот, кто о чем, а лысый о расческе. С Троицкого рынка он, просто новый. Я предпочитаю не трястись над одним драгоценным, а почаще задешево разнообразить свой неземной облик.





- Ой, девчонки, мне срочно... Что-то стома разбушевалась...

Мимо Викиного столика птицей пролетела изящная женская тень. «Что там у нее разбушевалось? – недоумевала та. – А, вспомнила: "stomach" – это ведь "живот" по-английски! Тогда понятно... Только уж очень как-то заковыристо».

Но за столом продолжали:

- Чую, мне тоже пожизненная светит. Смотрю на Лапушку и обалдеваю: как ни в чем не бывало, бегают... Сроднилась, видно. А я оттягиваю, оттягиваю – пока в мозги не выстрелит.

- Ты, Веруца, стоmu не бойся – она хорошая. Она жить помогает. Я вот...

- Стоп, стоп, стоп, девушки! У меня рацпредложение! Давайте сегодня не будем об эм-тэ-эсах, катэшках и прочих вкусняшках... Давайте как люди...

- Вот именно – как... – прервал вдруг говорящую новый хрипловатый голос – и за столом сразу стало тихо-тихо.

«Что у них там за хрень происходит? – вздрогнула Вика. – Прямо инопланетяне какие-то...». С каждой минутой в ней усиливалось противоречивое, раздражающее чувство: одновременно страстно хотелось отгородиться, не слушать, не знать – и столь же непреодолимо тянуло немедленно проникнуть в заманчивую бездну тайны.

- Ньюта-шестьдесят девять, королева пессимизма! – ожил тем временем соседний стол. – Нет уж, будем трепыхаться, бабоньки, – ведь еще спаржи не поели!

- Это поправимо, Годива-две семерки: сейчас закажем и можем закругляться со спокойной совестью... Эй, официант, как там тебя, имеется спаржа в меню? – отозвалась Ньюта все с той же легкой хрипотцой.

«Ах, вот оно что! – озарило в эту минуту Вику. – Это форумчане! Обычное, собственно, дело: питерские активисты какого-то форума решили встретиться вживую! И зовут друг друга по никам, латинских букв ведь на слух не воспринимаешь...».

В эту минуту у соседей раздался восторженный рев – и Вика с полным правом обернулась: к столу приближался высокий мужчина с благородной посадкой и формой гладко выбритой головы и сдержанными манерами эмигранта первого поколения – он вел под руку фигуристую улыбающуюся даму – яркую брюнетку с задорной молодежной стрижкой и быстрыми веселыми глазами. В дружном гомоне удалось разобрать: «Ланселот!!!».

- Он самый, честь имею представиться. Для желающих – Ар-





сений. Вот, по дороге захватил и доставил нашу любимую Заюню – рекомендую.

Заюня помахала рукой и представилась:

- Катя.

- Рита, Марина, Вера, Люся... – посыпалось из-за стола – и Ланселот принялся усердно целовать дамские ручки.

Вернулась Лапушка, оказавшаяся Леной, а Нюта осталась, как была, не пожелав превратиться в Анечку. Все рассаживались, оживленно обсуждая меню.

- Я уж по-нашему, по-космонавтски, – шутил, переворачивая страницы, Ланселот. – Суфле из крабов, пюре из брокколи... Ныне блендер – мой лучший друг.

- Да вы, гурман, поручик! – хихикнул кто-то.

- О, да, между трамадолом и промедолом! – согласился он. – Ну, милые дамы, кто за красное, кто за белое?

- И то правда, девочки! – сказала одна из женщин. – Я все колебалась, а теперь думаю: и так ливер уже, наверное, в темноте светится, так что вино для нас – просто слезы младенца...

За столом одобрительно загалдели, принялись наперебой терзать терпеливого официанта составляющими блюд, а полностью игнорируемая всеми Вика медленно холодела за их спинами. Она почти готова была догадаться – вернее, догадка уже сидела где-то неглубоко и рвалась в сопротивляющееся сознание. Промедол и этот второй, как его, – да, она знала, что это такое... Это полунаркотические обезболивающие, которые Виктор не стал назначать ей даже при ее свежем двойном переломе (она незаметно побаякала постепенно выздоравливающую руку), когда хотелось горько выть в недоступные небеса, – сказал, что с такой ерундой справятся два кубика анальгина! И справились... Это что же должна быть у этого Ланселота-Арсения за боль, если... Вдоль хребта будто сороконожка пробежала, откуда-то отчетливо повеяло влажной землей...

- Первый тост – за насущное! – торжественно провозгласил Арсений в полной тишине. – Долгой нам всем стабилизации! Легких химий!

- Ура, ура! – подхватили его сотрапезницы. – Чтоб всем нам настал полный и окончательный стабилиздец!

Дрожащими руками Вика отодвинула дребезжащую чашку; дыхание перехватило, и волосы отчетливо приподнялись. Позади нее беззаботно радовались полноте жизни петербургские блогеры с международного онкологического форума.





## Глава 3 Нормальные герои

*Она никогда со мной не выходила в так называемый «свет» – стеснялась: «В качестве кого я пойду?». Все мои попытки ненавязчиво растолковать, что в двадцать первом веке бояться жестокой участи Анны Карениной, по крайней мере, странно, ровно никак не отзывались в Алене. Она никогда ни о чем не спорила – просто улыбалась и молчала, сразу становясь олицетворением внутри направленной женской тихости: такие каменные стены я не штурмую, себе дороже. А вскоре мне как бы и по нраву пришлось наш глухой виртуальный бункер – когда даже на работе о нашей прочной связи коллеги целых шесть лет могли лишь догадываться. Ты – и то только после свадьбы узнал. Но, поскольку я из последних сил заставляю себя верить в «едино крещение во оставление грехов», то надеюсь, что хотя бы половина из этих лет мне – там – скостится. «Нашим» стал мой дом – то есть, та хилая однокомнатная фатерка в новостройке, что мне удалось выцарапать после развода. (Кратко о нем, чтоб не возвращаться: ты несколько раз видел первую мою жену – не хочу рефлекторной кислоты на языке при устном или письменном упоминании ее благозвучного имени – женщину достойную, но непонятливую; она и на двадцать втором году супружеской жизни не смогла постичь тот неоспоримый факт, что ни один мужнин бравый перепахон на стороне не может быть достаточным поводом для «зеркальных мер», ведущих к варварскому крушению непотопляемого семейного лайнера, – спасибо, хоть дождалась окончания института нашим умницей-сыном и свадьбы дурочки-дочки; ну, и хватит о ней... Чуть не написал: «Упокой, Господи, ее душу» – но нет, успел одуматься, в том смысле, что рановато еще, пусть поживет, сколько совесть позволит. Шучу.) Так вот, о бункере: я, что называется, привык быть женатым и вовсе не против был бы немедленно с Аленой «выйти из сумрака», честно зарегистрировав наш перспективный брак, но... Пришла, видно, пора рассказать тебе о том, как я, «охальник, шесть лет с чужой женой путался», и почему прозвучал во мне первый немой вопль протеста во время нашей с тобой последней исповеди.*

*Короче, вот как дело было. Муж ее – звали Анатолий, и меня при звуке этого имени совсем не передергивает – работал в нашем же Гадюкино, только на гинекологии, и, кроме всего прочего,*





ради небольшой денежки на полставки дежурил по санавиации. Может, знаешь, что это такое: когда где-то в далекой области приключится БП (это, надеюсь объяснять не надо), а местная хирургическая или какая там еще бригада стоит вокруг стола помытая и в позе крайнего изумления, то туда срочно направляется на «скорой», если получится, а чаще на вертолете подмога: команда опытных профильных медиков. У них дежурства суточные в прямом смысле, с полуночи до полуночи. Я тоже одно время, когда детей тянуть надо было всерьез, так калымил – и ничего, знаешь, чаще всего деньги поступали по принципу «солдат спит, а служба идет». Если вызов – то не дальше Луги какой-нибудь, да и пока доберешься, в машине выпшишься, – а там больного уже своими силами вытянули... или не вытянули; матюгнешься – и в обратный путь. Так и Толик Аленин ездил – годами. Семья, казалось, крепкая, жили дружно, без особой романтики, пацана растили, как раз первый класс окончил. И вот однажды, за десять минут до конца дежурства – Алена на даче была, к приезду сынка с родителями дом намывала и борщ наваривала, а само-то дите у бабки с дедом припухало – Толяну звонок на мобильный: выезд-вылет в какую-то сельскую больницу далеко за Лодейным Полем, бригада в составе анестезиолога-реаниматолога, хирурга-травматолога и гинеколога; больная нетранспортабельна, даже до райцентра везти боятся. Ну, чего делать, нетбук (планшеты тогда еще в моду не вошли) в зубы – а ноги в руки, чай, не привыкать. Вниз спустился – уже машина с коллегами подъезжает, внутрь залез – и ахнул: наш Костик-хирург, нажратый до четвертой стадии, мешком на носилках лежит, реаниматолог над ним только головой качает. В воздушное судно Костика, как известного коллегу его, Женю Лукашина, вдвоем погрузили, а ближе к Лодейному Полю зенки он от тряски продрал и прогундосил – простите, мол, други, однокурсник вечером из Владика прилетел, как откажешь; думал, пронесет, да вишь, как вышло... – и опять в несознательность. Больница в деревне не больница оказалась, а дощатый барак с пятью лампочками, в операционной – испуганные фельдшерница с интерншей друг к дружке жмутся, дрожащими руками по очереди капельницы перезаряжают. «Три литра крови перелили, – шепчут, а у самих глаза по юбилейному рублю. – Хорошо хоть, у нас тут первой группы запас оказался... А у нее какая, даже и не знаем – откуда...». Реаниматолог Костика головой в ведро с колодезной водой макнул раза







три, совместными усилиями помыли кое-как – и к столу пинками. Фельдшерница простыню откинула – а там почти, то же, что в свое время предстало перед булгаковским доктором Бомгардом<sup>1</sup>. Нет, хуже, гораздо хуже: ниже пояса – месиво, и ноги врозь... (Да не смутит тебя такая картина; сам-то привык.) Все просто: отправились питерские скауты в дальний поход; на место прибыли, лагерь разбили; а эта вот дура пубертатная возьми – да и влезь на ночь глядя с биноклем на сосну, вожатых не спросясь; сук под ней сломался, она вниз – а там другой такой же, у которого обломок вверх торчал; так на него и села с разлету... Женское там все, мочевого пузырь, кишечник – насквозь... Болевой шок, кровопотеря, перитонит и прочие прелести на лице. Да и лица-то нет уже, вместо него – маска Гиппократ<sup>2</sup>: ну, да что тебе объяснять, врачи и попы знают. Костик только глянул – и буркалы, почти трезвые уже, – на лоб: «Да она, считай, давно покойница, нн-а; сейчас кишки лишние отчекрыжим, конец, какой останется, на бок выведем; мочеточник один перевяжем, в другой катетер сунем – и туда же; клоаку сформируем, чтоб видимость работы была; ты, гинеколог, матку уберешь со всеми причиндалами... Зашьем, что сможем, – и, глядишь, до Лодейного Поля дотянем, а там... Ну, с чем ей жить, мужики, сами посудите...». Смотрел Толян на это, смотрел, прикидывал – и, как ни крути, а видел, что Костик прав, и главное, чтобы больная прям со стола не ушла. Кивнуть уж собирался – да вдруг подбородок под маской сам вздернулся: «Не позволю, – говорит, – девку на месте губить, шанс ей дам! Ты, козел вонючий, ассистировать будешь – и только взбрыкни мне тут – враз скальпелем поперек пьяной морды пройдусь...». «Э-э, коллеги, вы полегче там! – реаниматолог от изголовья. – А ты, Углов<sup>3</sup> пальцем деланный, учти, что аппаратуры тут вообще никакой нет, поэтому анестезия только местная будет, а давление уже и так на двадцать делений выше, чем у трупа!». Анатолий зубы сжал: «Рискнем! Два раза не умирать!» – и понеслось. Время остановилось, но потом выяснилось – семь часов шили без перерыва на обед. По кусочкам ее сложил, как пятитысячный паззл. Бабой оставил, для кото-

<sup>1</sup> Главный герой цикла рассказов М. Булгакова «Записки юного врача»; рассказ «Полотенце с петухом».

<sup>2</sup> Изменения на лице больного как один из симптомов острой патологии живота.

<sup>3</sup> Федор Григорьевич Углов (1904-2008) – великий русский хирург.





рой в будущем родить не заказано, дерьмо из брюшины выгреб, кишки, как в анатомическом атласе, выложил, мочевой пузырь залатал, мочеточники приладил... Промыли, зашили, трубок, где надо, понатыкали, прокапали стотысячный раз – живи, родная! А у той уж и давление само расти начало... На обратном пути вырубился Толян – не помнил, как из вертолета в «скорую» пересел. Домой приехал, холодильник открыл, там полбутылки водки для компрессов оставалось – не уважали в семье крепкого, а тут пролечился: так стакан и шарахнул. Только голова с подушкой сроднилась – звонок в дверь. Доплелся кое-как: тесть с тещей и сынулей его махоньким на площадке. Теща – дама, как положено, голосистая: мы тут как тут, с вечера еще договорились, что ты нас на дачу везешь, а у тебя телефон отключен... И трещит, трещит... Ну, ты представляешь: сам не без тещи. И что, в этот вот стрекот пытаться вклинить свои жалкие объяснения, что у тебя полчаса как двести пятьдесят грамм во лбу? Да и не сказываются они никак – еще бы, шкаф такой, чуть не в полтора центнера весом, и водила классный, одним мизинцем водит, и трасса у них до фазенды спокойная, да и воскресенье, три часа пополудни – завтра на работу, не на неделю же их отъезд откладывать... А поспать – так, вроде, вздремнул на обратном пути, остальное на даче доберем, а уж утречком, по холодочку – обратно вдвоем с Аленой покатым... И вообще, с тещей спорить – что ссать против ветра. «Грузитесь, – велел. – А я пока рожу ополосну»...

Ну и все. На пустой трассе пошел на обгон, да откуда ни возьмишь – фура. Резко вывернул руль... Сам водитель, знаешь, как это бывает. Фура мимо проскочила и уехала. Их трижды перевернуло. Сын и родители жены – на месте. Сам – в инвалидное кресло навсегда: от пояса и ниже – только осколки. Хотел руки на себя наложить – кишка тонка оказалась: вдруг там действительно что-то есть? – подумал – а дальше по Шекспиру: «...и начинанья, взнесишься мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия<sup>1</sup>...» – короче, до действия дело не дошло. Так и просидел восемь лет, пока от воспаления легких не помер, – правда, по-христиански отошел, чин по чину. До катастрофы то он сроду в Бога не верил, слышать даже не хотел, и сына, младенцем еще, бабушке выкрасть пришлось, чтоб до церкви добраться и окрестить внучка. А как в кресле оказался, – так разо-

<sup>1</sup> В. Шекспир, «Гамлет». Перевод М. Лозинского.





*биделся на Него вдруг прямо до чрезвычайности: я, мол, девочку от неминуемой смерти спас, а мне за это – нет, чтоб орден с небес спустить герою, а Он семьи, почитай, лишил, и самого в жалкие калеки упек. Но как-то раз поутру покойного деда, которого отроком любил, уважал и слушался, не то во сне, не то наяву увидел: сел тот напротив дивана, седой бородой, длинной, как у святого Онуфрия, потряс грозно, наклонился – да и рукой Толяна за ухо. «Ты, – говорит, а сам знай себе ухо внуку накручивает, – чего Бога гневить, нехристь? Милость Он оказал тебе по молитвам нашим: не забрал со всем багажом на суд! Девочку, говоришь, спас? За то и милость: согласился бы с Костиком твоим у стола – и лежать бы тебе на шоссе четвертым под тем брезентом. Потому как одну – спас, а скольких сгубил, абортмахер-ирод? Сказать тебе? – четыре тысячи восемь...». Толян очнулся, за ухо хватается – а оно горит, будто и впрямь дедовой ласки отведало...*

*Я почему так подробно пишу? Просто не хочу, чтобы какие-то неясности остались насчет шести лет нашего разнuzданного разврата. Потом, два года спустя, рассказала Алена мне все это как-то в ординаторской, когда я дежурил, а она платный прием вести осталась. Тогда Алена с удивлением призналась, что ей не пришлось ни по сыну, ни по родителям даже толком поубиваться: на руках у нее сразу оказался муж, несколько недель пролежавший между жизнью и смертью в нашей реанимации! Похороны, которые организовывали свои же коллеги, прошли для нее как-то между делом, в мыслях о многообразных неутешительных показателях гаснущей мужниной жизнедеятельности, и свежая рана затянулась, как под анестетиком, потому что все силы души сразу же сосредоточились на одном: не отпустить хоть этого! Когда Толяна перевели к нам в отделение, она койку себе у него в палате поставила – как теперь у меня, ха! – ну, и дедка за репку, бабка за дедку – вытянули его всем миром... А когда муж оказался дома, душа его потребовала срочно найти виноватого – тоже понятное дело: на себя одного такую вину взвалить – не потянешь. Виновный быстро нашелся – под боком, можно сказать: а зачем Алена накануне одна на дачу уехала? Знала, же, что мужа могут вызвать, и из него водитель никакой будет! Ведь если б она за рулем была, – ничего бы не случилось! И вообще – что за фантазия ей припала в этом году так рано выезжать – никогда же раньше июня не собирались! А мать свою,*





дуру, почему не укротила – не подождать было денек?! И вообще, экспертиза показала, что там тормозные колодки поистерлись – именно из-за того, что она их вовремя не заменила, все и случилось, а он человек занятой, ему некогда по сервисам мотаться! А дачу она что – раньше подготовить не могла? Это он от стола днем и ночью не отходит, а она только знай на приемах халат просиживает – могла бы и время выбрать, не загнудась бы! А вот теперь из-за нее, суки... И почему это она на час позже приходит повадилась – что, муж инвалид, так она по кобелям мотается, горит у нее там?

Эта лавина желчных слов встречала Алену ежедневно после изматывающего рабочего дня – и поток оскорбительных обвинений сопровождал всем ее вечерним трудам, как то: смена мужниных памперсов и калоприемника, промывание его стомы (это дырка такая в боку для отвода г...а, на случай, если ты не знаешь), приготовление отдельного, предписанного диетой ужина для мужа, и уборка, и стирка – и чем там еще жены по совместительству занимаются...

Через два года, после того нашего вечера откровений в ординаторской, Алена сломалась. Ты готов осудить ее? По факту мы, конечно, прелюбодеи конченные, но так ли это на самом деле? Не допускаются ли некоторые исключения из правил в виде гераньки в горшочке для белой мышки под стеклянным колпаком? Пожениться мы не могли по определению, но шесть тяжелых и страшных лет я был ее маленькой вентиляционной отдушиной, а она – моей. А насчет разврата... Я мужик, со мной все ясно, а что до нее... Алене, наверно, это вообще не требовалось, она говорила, что для нее секс вообще не плотское, а душевное наслаждение, типа, радость близости с любимым, – ну, того мне не понять, хотя и от других баб раньше слышать приходилось... Я привык к ней, доверялся и жаловался – все как положено. Ожидал дельных советов и получал их. Ну, и опять же – проза, а куда денешься: джинсы постираны, рубашки наглажены, в холодильнике рассольничек... Приходила, правда, ненадолго, мчалась домой, врала там что-то. Мне было легче, конечно, и я твердо знал, что как только муж ее из земной юдоли выступит, – а он к тому шел потихонечку, мы оба, как врачи, понимали, – то немедленно станет эта чудная женщина моей женой перед людьми, не только перед Господом... Так и случилось, как видишь...

Но так не должно было случиться, Санек.





## Глава 4 Такие состоявшиеся женщины

Вика включила обогрев стекол – и запотевшее ветровое медленно прояснилось. Домой? Предыдущий заказ она сегодня утром отправила, а следующий – ерундовый: этикетка для винной бутылки, что-то кубанское... Нарисуем казачку – костюм в Интернете посмотреть, а шрифт... может, «устав»? Ладно, это в любом случае завтра... Значит, через четверть часа она будет хрестоматийно стоять у своего усеянного каплями окна, с высоты последнего семнадцатого этажа (на двести тысяч дешевле оказался – не кот начал) тоскливо наблюдать недалекую, в час пик небыструю рубиново-золотую реку Московского проспекта сквозь сероватое густеющее марево. И – да, все-таки ждать звонка на неизвестный Виктору новый номер телефона! Легко или нет, а вычислил бы: в наше время стоит только захотеть по-настоящему! Милая моя, угомонись со своими мечтами: да если он хоть имя твое еще помнит, так потому только, что у вас они одинаковые... почти...

Именно в эту минуту проснулся и призывно залился новенький смартфон – опять у Вики, как и весь последний месяц, при звуке этой нейтрально-светлой мелодии на миг прострелило сердце: вдруг?! Сколько длинных и вполне оформленных мыслей может проскочить в голове за те короткие секунды, что вылавливаешь аппарат из сумки и отбрасываешь крышечку! На этот раз Вика успела дать себе страшную клятву, что сегодня же установит на *его* номер отдельную, какую-нибудь громовую музыку, типа Баха – та-та-та-там, та-та-та-там – чтоб уж точно не ошибиться, и при остальных вызовах не вздергиваться так панически, рискуя каждый раз схлопотать сердечный приступ. Открыла – экран сиял морковного цвета веснушками и очаровательной редкозубой улыбкой: племянник Павлушенька, одиннадцати лет отроду. Конечно не забыла, миленький, он у меня и сейчас на заднем сиденье лежит... Когда, когда... да сегодня и завезу... скоро... покичмоки... Этот старый планшет у нее уж сколько пылился без дела – а ребенку все радость, от матери и такого не допросится.

Конечная точка маршрута нарисовалась сама собой: отчий дом, принципиально покинутый, наконец, два года назад вопреки едким упрекам и мрачным предсказаниям матери и надутому неодобрению младшей сестры. За год до этого Вике свалился, как





метеорит в огород, небывалый заказ – единоличный дизайн-проект и авторский надзор оформления респектабельного двухэтажного ресторана, и работа пошла настолько гладко и безконфликтно, что вскоре не осталось и тени сомнений: это – один из редких даров Небес, неких долговременных беспроцентных ссуд, положенных время от времени каждому человеку, и уж только от него зависит грамотное вложение сего оборотного капитала – и размер прибыли. Тут главное – слушать только себя и не поддаваться на провокации ложного человеколюбия и болезненного чувства долга. «Ах, как удачно! – возрадовалась мама. – Теперь мы на нашем участочке быстренько построим жилую времяночку и выкопаем колодчик, грядочки с клубничкой разобьем, петрушечку с морковочкой посадим, парничок с огурчиками-помидорчиками устроим, – и будет наш Павлуша летом витаминчики кушать и в речке купаться, а на зиму мы закуточек понаделаем...». И сердце Вики умилительно качнулось было в сторону доброделания – хорошо хоть не успела дать положительное обещание – тогда уж точно ей слаженно вывернули бы руки. Но засветилась в мечтах, как бы уже и собственных, солнечная полянка с домиком-пряником, пригрезилась сладкие чудо-ягоды под крупными рельефными листьями – и стукнуло в голову: стоп! А кто будет руководить постройкой, убиваться над грядками, трудиться над заготовками – и до кучи три месяца в году, то стуча зубами от обидного летнего холода, то погибая от долгожданной жары, приглядывать, чтоб обаятельный сорванец Павлушенька не утонул в упомянутой речке? Да кто, кроме нее, которая «все равно целыми днями ничего не делает», а «дурацкие картинки можно и на даче рисовать»?! Это мать с сестрой – «ломовые лошади, от работы не отдохнуть», а сестра вообще «ребенка одна, без мужа, тянет, да еще в такое время»... Она им обязана. Как дочь, как сестра, как тетя, как человек, как христианка. Конкретно сейчас – купить себе ради них веселенький дощатый гроб на шести сотках... Но ведь Господь не учил любить ближних *больше* самого себя, Он заповедал любить их – *в той же мере*... Она внесла весь свой гонорар целиком в качестве первого взноса за миниатюрную квартиру под крышей хрупкой дешевой многоэтажки: студию с прихожей и даже кладовкой, куда вполне влезал полуторный диван.

Просто чтобы иметь свою территорию за дверью, в которую никто не войдет без стука, как долгие годы спокойно входили днем и ночью в ее проходную, семи ветрам открытую комнату







в отчете доме. Чтобы наклеить такие обои, как нравятся ей, дизайнерски-вульгарные, – а не те, которые прилично показать нормальным людям. Чтобы все весьма спартанское хозяйство пригнано было под ее беспечную, а не чужую строгую руку. Чтобы ложиться спать и вставать, когда нужно и удобно ей, а не вздрагивать и воровато тушить голубой ночник, слышав в коридоре материнские шаги, во избежание суровой проповеди о вреде и аморальности ночного чтения, и не просыпаться оттого, что любимый племянник со звонким смехом бросается в шесть утра тебе на сонный живот. Чтобы спокойно приглашать хороших знакомых обоюбого пола для интересных бесед за бокалом «Кьянти» – и не сжиматься от острого чувства вины, когда с непроницаемо мраморным лицом сестра под надуманным предлогом проходит сквозь комнату, как одинокая каравелла по вражеской гавани, и оскорбленно цедит на ходу: «Нас ты за свой стол, разумеется, не приглашаешь...». И чтобы, может быть, в один благословенный вечер устроить там ужин для двоих: себя самой – и того единственного мужчины, которой совсем уж близко в ее жизни, почти на подходе, – это ясно хотя бы из-за того, что не так уж много ему времени остается, чтобы успеть прийти.

- У тебя еще за машину кредит не выплачен! – схватилась за сердце мать. – Отнимут!

- Под полтинник бабе подкатывает, а все никак не перебесит... – презрительно кинула в сторону сестра, узнав, на что истрачены деньги.

Мать боялась, что лишится бесплатного и безотказного семейного водителя с личным транспортом, а сестра – что Вика на свободе выйдет замуж... Странно было даже вспомнить теперь о том, что эта старообразная худая женщина с крашеным хвостиком секущихся волос, тонкой и частой паутинкой морщинок, крикливая, как весенняя городская утица, с глазами постоянно «на мокром месте» – была когда-то резвой хохотушкой, активисткой кружка юного журналиста, уже в старших классах активно публиковавшейся в молодежной периодике и подававшей по этому поводу серьезные надежды... «Ты посмотри на них, на этих журналистов! – хором сказали ей мама и живой еще папа после выпускного вечера. – Это же не люди, а каторжане! Вечные командировки, вся жизнь на колесах, друг другу – враги... Была бы парнем – еще бы подумали, но девочка... Среда сомнительная, семейная жизнь под вопросом, а ведь для женщины главное







– дети... И, наконец, посмотри на упрямую Вику с ее дизайнерством, будущую безработную...». Сестра послушно закончила на все четверки престижный финансово-экономический, успела даже научный коммунизм на госах сдать, вскочив в последний вагон уходящего социализма... Так же быстро разобрались и с ее несостоявшимся мужем, начав с проверенного: «Ты посмотри на него...» и закончив самоуверенным: «Сами прекрасно вырастим, выучим и женим!». Гипотетическую карьеру экономиста ей подточили частые и длительные детские болезни, а повторная, самая скромная попытка сестры задуматься об устройстве личной жизни немедленно пресеклась на корню неоспоримым постулатом овдовевшей матери: «Ну, какой он твоему сыну отец!». Больше сестра не рыпалась. Окна ее рабочего кабинета вот уже лет восемь можно было прекрасно видеть из окон их квартиры: она трудилась главным бухгалтером родного ЖЭКа в здании напротив и на протяжении рабочего дня свободно летала домой и обратно, контролируя учебу и досуг всегда находящегося в поле зрения сына. В освещенных домашних окнах с раздвинутыми шторами все его перемещения были известны матери так же хорошо, как золотой рыбки в аквариуме, и мальчишка мог скрыться от всевидящего ока разве что в туалете.

- Я бы попросила советоваться со мной, прежде чем дарить моему ребенку дорогие вещи, – и сегодня холодно отчеканила Ляля, когда отпрыск ее, высоко подсакивая от избытка чувств, рыжим котенком ускакал в обнимку с теткинским подарком к себе в комнату – бывшую Викину, чин по чину на него переписанную, за что только и было прощено ей самовольное отселение.

- Да уж, действительно, дочка, – поддержала бабушка, – Ляленька – мать и лучше знает, когда можно бы и поощрить мальчишка. Сейчас, как из лагеря приехал, – совсем от рук отбился. Поэтому следовало планшет твой пока припрятать и подарить в сентябре – ну, скажем, после первой пятерки.

Их мама была заслуженным учителем России, в свои семьдесят пять лет преподавала боготворимую географию запоем, как хронический алкоголик, и всегда заверяла дочерей, что из школы ее вынесут только вперед ногами – и такая возможность вовсе не исключалась, так как именно там она перенесла на ногах уже два ничуть не согнувших ее инфаркта. Спорить с ней на воспитательные темы было бесполезно, тем более Вике, немножечко презренной не-матери. Теперь, регулярно бывая в отчете доме, она наме-





ренно обходила в беседах острые углы – впрочем, на обнаженный нерв нигде было не заказано нарваться – и ни о чем не спорила: почти осязаемое ощущение твердого тыла в виде маленького, но собственного гнезда позволяло не ломать копыя в... да, уже в чу-жом. Но нужно было о чем-то говорить за неизбежным чаем – и Вике вдруг пришло в голову посмотреть с мамой старые школьные альбомы, где с фотографий минувшего века уверенно смотрели в век грядущий светло-серые лица их с сестрой ровесников, – и вот как минимум с четвертью из них случайно на улице уже никогда не столкнешься... Мама узнает всех безошибочно: вот Люда, у нее трое детей, все прошли через мамины руки; вот Володя – тот по политической части преуспел; ну, Ося, ясное дело, в Израиле, – зубной техник; Женечка-медалистка – доктор-кардиолог, муж у нее военный; а вот эти две – закадычные Викины подружки: Валя закончила иняз и работает при ООН переводчиком, живет в Европе, свой дом, деток – двое; Нина – та преподает в университете, кандидат исторических, сына вырастила...

- Да, состоялись твои подруги, что тут скажешь... – мама демонстративно вздыхает и шумно захлопывает альбом, ее брови скорбно изломлены. – Самой-то не обидно? Мне было бы обидно... Если б и подруги, и сестра...

Она не договаривает. И не спрашивает, как раньше: «На работу устраиваться не собираешься?». И так все ясно: ее неудачная старшая дочь расплатилась за послушание родителей полным жизненным крахом. Что это за занятие для взрослой женщины – стряпать дома на компьютере какие-то этикетки-обложки-альбомы?! Другое дело – если б дизайнер в солидной фирме, – хоть какие перспективы... Четыре персональные выставки? Когда это было, да и кто их заметил, – два человека-то всего и видели, старушки, небось, какие-нибудь, которые случайно зашли, – Вика же, в конце концов, не Пикассо! Ни семьи, ни детей – пустоцвет... Слава Богу, хоть Ляленька – мать и на уважаемой службе...

Вика тоже грустно смотрит на маму: неужели та всерьез считает, что ее «младшенькая», которую в общих с мамой невыразительных одежках часто принимают за не Викину, а мамину младшую сестру, – потухшая, истеричная, болезненная особа, не ведающая и не дающая ласки, ежедневно с проклятиями несущая свою отупевшую от недосыпания костлявую тушку на ненавистную работу, эта женщина только по названию, – достойно состоялась в жизни? Да, считает, и цепляется за эту уверенность.



Добравшись до машины уже в темноте, Вика чувствовала такую опустошенность, что, казалось, не наскрести сил повернуть ключ и проехать три улицы до дома: каждое посещение семьи словно выпивало из нее некую важную жизненную силу, которую приходилось потом долго восполнять – созвучными стихами, любимыми художественными альбомами, странными и умными фильмами. Она снова выудила из сумки смартфон, чтобы перебить неприятную душевную оскомину от чая в кругу самых близких хотя бы просмотром поступивших за это время сообщений, – но и их не оказалось для нее в глобальной паучьей сети. Мутно поднялось изнутри еще одно тяжелое впечатление сегодняшнего неудачного дня, и пальцы быстро набили адрес сайта, прозвучавший недавно позади нее за веселым столом. Вика уже точно помнила только один ник – godiva77 – и он тотчас же выскочил перед ней в топовой десятке и здесь неминуемого рейтинга. На аватарке красовался черный пудель, наверняка, питомец той стильной, похожей на яркую стрекозу дамы со стрижкой из салона-люкс. Не долго думая, она вошла в ее блог и сразу инстинктивно перескочила на самый первый пост под соответствующим названием «Позвольте представиться». Полтора года назад леди Годива пришла на сайт так.

**godiva77:**

*Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я давно уже читаю вас и со многими даже мысленно породнилась, но из какого-то суеверия не хотела вступать в ваши дружные ряды. Думала – вот напишу, и случится рецидив. Получилось все наоборот: рецидив произошел – и вот я пишу. История моя повторит некоторые ваши: 8 лет назад, когда мне был 31 год, – РМЖ TINOMO<sup>1</sup>. Левосторонняя мастэктомия<sup>2</sup> (хотели только резекцию, но я сама настояла, чтобы целиком убрали, – все равно оставили бы только огрызок, а тут с запасом оттяпают, думалось мне...), прохимичили красненькой<sup>3</sup>, тамоксифен в зубы на пять лет – и гуляй по холоду, считай, что отделалась легким испугом: при твоих исходных – 98% пятилетней выживаемости. Муж, с которым прожили 10 лет, сбежал, даже не успев увидеть, как выпали мои волосы, – но после всех, как теперь, увы, понимаю,*

<sup>1</sup> Рак молочной железы, 1-я стадия, метастазы отсутствуют.

<sup>2</sup> Удаление молочной железы.

<sup>3</sup> Наиболее агрессивная, т.н. «красная» химиотерапия.





смешных (тогда казавшихся фатальными) мучений я это восприняла чем-то вроде комариного укуса: думала, волосы отращу, новую сисю пришью – и опять невеста хоть куда. Все кругом, как заведенные, твердили про пятилетние почти гарантии, но никто не говорил, что дальше идет порог – десятилетний, и выживших там – только две трети... Пять лет пролетели, как пять дней, но я еще раньше расслабилась, только и слыша со всех сторон: победитель рака! победитель рака! На седьмом году ежегодные проверки бросила: ну, сколько можно в инвалидах себя числить! Имплантат прижился идеально, говорили, что новая грудь – краше прежней, волосы вообще кудрявые с тех пор росли, любовников меняла себе на радость. Низ, правда, полгода побаливал – так думала, от активного секса... А на прошлый свой день рождения – вдруг за столом закашлялась... Постучал меня друг по спине, водки дал... Но кашель проходить и не думал, через неделю прибавилась одышка... Сказали – пневмония, отправили на рентген... Дальше, думаю, вы и сами догадались. Из легких откачали три литра жидкости, на МРТ – *mts*<sup>1</sup> в костях таза, легких – и в печени уже два очага... 6 курсов химии сделали – так все зеркала дома завесить пришлось, будто при покойнике, потому что как гляну туда, – фонтаном рвет... Друга, конечно, и след простыл – я даже и не заметила. Так-то вот. Никакой я, оказывается, не победитель. Примите меня, пожалуйста, в вашу семью! Я теперь, пока дышу, уже никуда от вас не денусь, честное слово.

## Глава 5 ...и вавилонская блудница

Прости, Санек, прервался на побег: Алены сегодня, Божьей милостью, нет, отпросилась на наш медицинский корпоратив по поводу 23 февраля – я вчера чуть календарь от радости не поцеловал. У женушки, поди, целый день сердце не на месте: ну, как я тут, сердешный в прямом и переносном смысле, без крепкой женской руки в такой праздник обойдусь! Грозила пожертвовать собой и остаться на посту у моего скорбного ложа – я только на колени не встал, чтоб уговорить ее хоть на один вечер пощадить себя (подразумевалось, что меня, но разве такое вслух произносят?). Чуть она исчезла с гарантией, многократно

<sup>1</sup>Метагастазы.





*вздохнув, прослезившись в дверях и вернувшись разок с половины лестницы, вся в колебаниях, не проявить ли все-таки самоотверженность, чем чуть не довела меня до повторного инфаркта, – мы с мировым мужиком из палаты напротив, тоже оказавшимся в прошлом суровым балтийским матросом, немедленно набросили халаты на свои больничные олимпийки и, один другого прикрывая от дежурной медсестры, тишком пробрались на черную лестницу... Он-то воспринимал нашу тайную экспедицию вполне всерьез, за водкой шел, будто в разведку, по всем правилам блюда почти профессиональную конспирацию, – ну, а я радовался, как школьник, сачкующий контрольную! Я-то ведь знаю, как при попустительстве опытного персонала наши больные обоего пола, чуть сползая с койки, шитые-перешитые, гремящие гипсом, костылями и спицами, точно так же, как жирафы на водопой, тянутся к внушительному, многократно заделанному, но неизменно возникавшему вновь лазу в стене больничного сада, что граничит с бойкой рыночной площадью. Здесь, в реабилитационном центре, все обстоит точно так же: по широкой народной тропе, ведущей к столь же гостеприимному пролому, бороздя талый снег отнявшимися правыми и левыми ногами, ковляют в обоих направлениях целеустремленные инсультники, бодро топают выжившие жертвы обширных инфарктов... Мы с товарищем судьбу не искушали – я, как доктор, на том настоял: раздавили в его санузле по симпатичному «мерзавчику» и парой темного отполировали... Все хорошо. Бутылки выкинули в окно – там кусты. Жизнь продолжается. Пишу уже утром.*

*А теперь о вавилонской блуднице, вернее, о моем втором и главном в горле застрявшем крике «Неправда!». Сам посуди – ну, какие в моем возрасте и при моей профессии могут случиться сантименты? Рядом со мной шесть лет была женщина практически родная, до печенок мне преданная, известная до последнего сантиметра, не сулящая неожиданностей. Миловидная, на ощупь бархатная, как мне нравится. Если б я даже и хотел гипотетически под занавес надкусить что-то экзотическое, то профессия хирурга-травматолога этого попросту не позволяла, так как иногда цинично низводила меня почти до мясника. А что ты хочешь, когда на столе перед тобой подчас лежит просто куча неизвестно чего – но, вопреки здравому смыслу, она еще дышит и страдает, и твоя задача – собственными руками придать ей форму и вернуть функции, максимально близкие к тем, что име-*





лись у нее до, скажем, какого-нибудь производственного взрыва. Я стал серьезно уставать – физически и душевно – после того, как добрал до середины шестого десятка... Я много чего умел и предвидел в своей области, обзавелся надежной профессиональной интуицией, почти никогда не подводившей; я подходил к больному, смотрел его и никогда не ужасался; я с трезвой головой и холодным сердцем обдумывал, как ему помочь, принимал решение и прикладывал максимум своих обширных знаний и навыков...

Как священник, ты скажешь, что я должен сострадать каждому, – поверь, в этом нет нужды: мое дело спасать, а не соболезновать. Если случались на тридцать пятом году карьеры проблески человеческого соучастия, то они всегда оставались более умственными, чем исходили из глубины души. Для чего я тебе обо всем этом пишу? Да чтобы ты понял, что однажды со мной произошло нечто чрезвычайное.

Я просто вальяжно шел вечерком кофейку попить – на спокойных «сутках» да по коридорчику – мимо прикрытой двери смотровой, когда из-за нее донесся самый обыкновенный женский голос. И вот теперь я скажу тебе что-то необычное: я узнал его сразу, хотя в тот же миг понял, что никогда **на земле** не слышал. Нет, нет, ничего ангельского и даже особо красивого: нечто такое, знаешь, резковатое, на средних тонах... Женица спрашивала кого-то: «А он точно согласится?» – и у меня, битюга здорового, ноги на месте подкосились, и сердце зашло. Потому что там, за дверью, была – она. В этом коротком словечке самым таинственным образом заключалось все: мое веселье и горе, жизнь и смерть, и даже благополучие самого посмертного бытия... Там, за стенкой, могла ждать меня совершенная дура и крокодилица – я уже был и на такую согласен, потому что узнал ее сразу и всю, еще не видя, – и все клетки остро и сладко пронзила радость... Не похоть – заметь себе наперед. Я открыл дверь и вошел. Заплаканная женщина лет сорока пяти, осторожно поддерживая правой рукой шину, наложенную на беспомощную левую, ссутулясь, сидела на низкой оранжевой кушетке рядом с нашей тогдашней старшей сестрой, которая обнимала ее за поникшие плечи и что-то успокоительно бормотала. Коротко остриженная – а мне всегда нравились у женщин длинные волосы; рыжеватая блондинка с карими глазами – а я всегда предпочитал светлоглазых шатенок; с крупной грудью и широкими бедрами – а у меня только на хрупких тростиночек раньше стоял... Так вот, все это за считанные секунды сорвало,







*смяло и выбросило – так внезапный городской ураган расправляется с рекламными щитами и крышами жалких ларьков: передо мной во всю мощь сияло солнце – а какие на солнце могут быть пятна?*

*Ее и звали-то, как меня, но на женский манер: Виктория. Одноклассница нашей старшей медсестры, она позвонила той – прямо в ванную! – после того, как дома из-под ног вывернулась хлипкая табуретка... Когда кое-как поднялась с пола и, проведя ревизию сотрясенного организма, поняла, что ушибы не критичные, зато рука висит плетью и пальцы не шевелятся... Конечно, связываться с районным травмпунктом в здравом уме не захочет никто, а частный вполне способен выпустить пострадавшего под утречко да без итанов. Наша Юля не подкачала: из ванны вылезла, оперативно вернулась к месту работы, встретила там расстроенную товарку и доставила на починку в родное отделение, по дороге заведя в приемном на рентген, четко показавший самый простой, без роковых смещений, перелом лучевой и локтевой косточек... Случай для фельдшера – да и опытная сестра бы справилась...*

*Я кружил вокруг нее больше часа. Лично вытирал ей слезы, заговаривал зубы и тряся, как первокурсник, – не причину ли малейшей боли прикосновением; украл ради нее упаковку облегченного платного гипса и ампулу трамала, а когда сестра колола ей попу, – отвернулся! Позже, обманом заманив в комнату отдыха, отдал ей свой ужин и заставил съесть, записал номер телефона, чтоб заочно контролировать течение болезни, а потом довел до такси... У нее мог быть муж и пятеро детей – но это даже в мыслях у меня не промелькнуло. Ну, а Алена... Алена как раз похоронила незадолго перед тем своего многострадального супруга и, вроде бы, находилась в официальном отпуске и трауре, но для меня с той первой минуты и на целый месяц она просто исчезла с лица земли.*

*То есть, возникал временами смутно знакомый испуганный голосок в телефоне – но я каждый раз торопливо отделялся от него парой небрежных фраз, внутри себя знал, что она обо всем догадалась и страдает, обиженная, – но было мне, прости, друг Санек, глубоко плевать. Я даже не думал, как стану объясняться, – просто списал ее, будто просроченную колбасу в универсаме.*

*А там, в том единственном пригодном для Вечности месяце жизни, что была мне Господом милостиво отпущена, – многим и того подчас не достается – все шло так, как может идти*







*только настоящее. Июль прошлого года не был ни жарким, ни дождливым. Я бросал машину недалеко от метро, где мы встречались (ее рука под гипсом предсказуемо быстро перестала болеть, а гипс парадоксально даже шел ко всему ее облику), сразу вел ее и себя обедать в один полупустой по случаю лета и кризиса ресторанчик – и до уже далеко не перламутровой, а скорей, сиренево-бархатной июльской ночи мы шатались, видя только друг друга, вдоль каких-то полусонных каналов, мимо невнятных домов и размытых скульптур... На ней всегда были необычные, яркие платья и кофточки, каждый вечер разные: нарядная, зрелая женщина мегаполиса, дизайнер на вольных хлебах... Не замужем и без детей – но это ничего не меняло, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Думаешь, целовались по подворотням? Ни-ни, Санек, сам до сих пор удивляюсь: мы разговаривали. О чем?! Ни руки мои, ни ноги до какого ни есть изобразительного искусства так и не дошли серьезно – когда бы это?! – только мелькают в памяти какие-то насильственные школьные экскурсии, когда что-то пестрое по стенам было повешено, да разве Джоконду на картинке узнаю; в женатую бытность раз в полгода модный спектакль, вроде трудовой повинности, отбывал – только как шея, к воротничку непривычная, чесалась, помню... Да Вика в медицине, лучше, чем я во всем этом, разбиралась, – а ведь не замолкали же! В детстве одно и то же любили, те же книжки читали, в юности одним мучались, в молодости одинаково обожглись, в зрелости пришли к схожим выводам... Словарь у нас похожий – это когда один за другого договаривает, отцы у обоих почти одновременно умерли, а матери живы... Глубокой ночью до подъезда ее доводил и обе руки целовал по очереди: здоровую по-гусарски, больную, что из-под гипса выглядывала, – с братской бережностью... А чтоб на кофе какой-нибудь напрашиваться... да я бы при одной мысли от стыда сгорел! Закрывается за ней дверь – и я лечу в машине через весь город, торопя рассвет, – потому что новый день опять принесет встречу... И такие кульбиты на половине шестого десятка.*

*Я пишу сейчас тебе, а не ей, потому что заветный адрес с тех пор для меня таков: указанный ею правый, один из многих, если ехать от центра, поворот с Московского на тихую улицу; там уже метров через двести – левый, в зеленый дворик с детской площадкой – в центре еще синий коник стоит мозаичный! – и несколько разновеликих новостроек, вроде карикатуры на Стоунхендж. В крайней правой – вторая парадная, и на сем-*





*надцатый этаж лифтом... Но туда подняться не пришлось, и я даже номер квартиры не знаю. Да что там номер – я и фамилию не спросил!*

*О том месяце досказать осталось немного. Тут я уж скуп, потому что ведь сокровенное. Время пришло, конечно, – взрослые же люди, не век под ручку ходить. Привез ее к себе, потому что в берлоге своей любой самец себя уверенней чувствует, а в чужой – там еще обнюхаться надо. Гипс размочили и срезали, руку ее несчастную высвободили, и я сразу без всякого рентгена понял, что все срослось, как в учебнике, – благо четыре недели кальций в нее во всех видах запихивал... Если ты видел человеческую конечность непосредственно после гипса, то помнишь, конечно, что из-за временной атрофии мышц она выглядит тощенькой, как у дистрофика, и жалкой до невозможности... Я ее двумя пальцами обхватил – и они сошлись. Кто бы мог подумать, что так сексуально окажется травмированная женская лапка...*

*А под утро вступила в дело наша подлая мужская физиология: брюки на мужике или ряса – а знакомо это любому не понаслышке. Когда, наконец, добиваешься желанной женщины, то после всяких гормональных восторгов и соловьиных трелей почти неизменно приходит легкая пресыщенная разочарованность. И все те сомнения, что за ненадобностью были до поры отложены, вдруг дружно обступают тебя, как вражья сила одинокого витязя... Я лежал на спине, закинув руки за голову, и было мне страшно: что я тут наворотил? Какие такие крутые виражи в моем возрасте? Я, возможно, и влюблен в эту женщину, но с чего я взял, что с ней надо связать жизнь? Она ведь не одна в мире, у нее какие-то родственники, друзья – как я во все это буду вписываться? А она – в мое? Не станет ли для меня через пару месяцев попросту неприемлемым этот ее неуютный художественный мир, в котором она своя, а я чужой, хоть голову разбей? Мы далеко не юные – и ни одного из нас не перекроить уже по мерке другого! А с Аленой как быть – так вот взять и бросить? Наступил понедельник, она с дачи, наверно, еще вчера приехала, сегодня на работу выйдет – и что? Ей теперь из больницы увольняться? Был момент, когда я почти с неприязнью глянул на тихо спящую рядом женщину: правильные черты ее лица постепенно проступали в ненавязчивом утреннем полусумраке, и уже очевидно было, что возраст не щадит ее, как и всех. Машинально отметил, что у нее, должно быть, грядут серьезные проблемы с почками и давлением, потому что за ночь лицо довольно заметно отекло...*





*Скоро, пожалуйста, придется показывать ее нефрологу и кардиологу – а как ты хотел, дорогой: муж – врач, она что, в поликлинику пойдет? Я скрипнул зубами и осторожно тронул спящую за плечо: «Вика, пора вставать, я почти проспал на работу...».*

*В машине молчали – женщина была сонная, бледная и некрасивая, едва припудренная. «Конечно, – с легким раздражением подумал я. – С твоей божественной свободой ты, пожалуйста, раньше полудня вставать не привыкла!». Я подвез ее только до метро, предвидя нешуточные пробки, – на прощанье Вика подняла на меня неприятно вопросительный взгляд. «Сегодня не получится, сил не хватит», – вымученно улыбнулся я в ответ. «Конечно, не сегодня! – радостно застрекотала она. – Завтра! И давай не у тебя, а у меня, да? Надоели эти рестораны – я приготовлю праздничный ужин сама! Вино у меня есть! Не все же тебе... Ты во сколько приедешь? Номер моей квартиры...». «Созвонимся...» – перебил я.*

*До больницы полз, как обычно, большие часа, перебираясь из «красной» пробки в «желтую» и обратно. Руки тряслись на руле, я видел их, и отстраненно думал – как буду сейчас оперировать? Никогда еще не двигался так медленно нетерпеливый поток машин, никогда так долго не горел на перекрестках красный... Я должен был успеть. Успеть помешать повороту всей своей жизни на прямую дорогу в сомнительную неизвестность. Предотвратить легкомысленную утрату всего таким трудом нажитого, близкого и понятного, не подлежащего мгновенному пересмотру. Не допустить полный хаос вместо привычного и надежного порядка... Успеть, пока она вновь не проросла во мне ощущением жгучего счастья и боли. Пока не вернулся на губы вкус ее губ, пока не встали ее вопрошающие глаза перед моим смятенным внутренним оком... Спасись от всего этого, попросить помощи – сейчас, немедленно, пока не поздно!..*

*Я шел по больничному комплексу почти неприлично быстро, кое-где переходя на рысь в коридорах, потому что Виктория уже начала вновь победительно распускаться где-то внутри, как тугой пионовый бутон, постепенно являющий волшебную нежную сердцевину... О, счастье! – успел, конференция еще не началась, и наши доктора цепочкой тянулись в ординаторскую... «Алена Никитична, можно вас на секундочку?».*

*И, когда она подошла, на ходу просяив и вспыхнув, я с остановившимся сердцем без улыбки спросил в упор: «Теперь ты становишься моей женой?».*





## Глава 6 Умереть под пальмой

К тому времени, когда бурная осень, вволю натешившись над закаленными чувствами давно ничему не удивляющихся горожан, готовилась передавать права бесконечной питерской зиме, уже мягко подступающей на серебристых, как у породистого кота, лапах, Вика значительно расширила свои познания в области расплывчатой науки под коротким названием жизнь.

### **lancelot:**

*Как-то внутри это слово – «рак» – организм гармонично переложил на себя и мгновенно сросся с ним, словно ждал.*

В таком небольшом, едва за пределы ладони выходящим прямоугольничке смартфона обитали теперь живые люди, ничего о Вике не знавшие и, пожалуй, сильно удивившиеся бы, если бы узнали, с какой силой любви и сострадания думает о них каждый день не знакомая ни с одним из них лично немолодая женщина. Те, что сидели когда-то за соседним столом в третьесортном ресторанчике, – и другие, порой вступавшие в их зазеркальный, нетутошный диалог... В Викином арсенале неожиданно оказались новые и страшные знания, отражавшие привычную картину мира, словно в кривом зеркале, – но порой казалось, что именно это невероятное отражение и выдает истинную суть вещей...

### **mirey:**

*Боюсь, странный пост у меня сегодня получится. Знаю, что у нас на форуме не приветствуется всякая мистика, но ведь втайне каждый из нас думает об этом. Разве не правда? Знаете, у меня теперь ночью заснуть почти не получается: в плевре вода – хоть рыбок запускай, лежу на пяти подушках, как шамаханская царица, мешаю мужу спать своим пыхтением, да и вообще страшно... А днем – вырубает, то на два часа, то больше... Перекимарю – и, вроде, опять жива. А сегодня часа так в четыре дня... Вот честно – не знаю, что это было... Как будто понимаю, что в комнате у себя, завтра на Песочную, нужно собрать себя в кучу и подготовить скорбный узелок. Но одновременно стою посреди какого-то пляжа с серым песком, рядом залив не залив, а какой-то водоем, полностью замусоренный. И идет ко*





*мне от кромки ужасная женщина в отрепьях – вроде бомжихи. Это я только так пишу – женщина, а на самом деле просто карла какая-то, даже хуже. Кто картины Босха знает, – вот вроде такого персонажа. Роста пигмейского, ножки кривые, короткие, ручки торчат, как у сахарницы, прости, Господи... Голова и тулово слились, глаза навывкате, будто у старой жабы, сама сине-зеленая и скользкая, как падаль, волосы пучками по всей поверхности, а поперек во всю ширину – пасть с сальными губищами. А как она ближе подошла, так стало ясно, что это не пасть никакая, а... ну, она, в общем. Та, что у меня уж давно не работает – после всех прелестей РШМ(3)<sup>1</sup>-то... И говорит она – то ли ртом, то ли, ну, этим самым – и кокетливо так ко мне то одним, то другим бочком поворачивается: «Ну, как я тебе? Скоро свидимся...». И вдруг ручки свои тянет – а в них две карточки с цифрами, как в школе были... На обеих по единице нарисовано. «Ты кто?! – кричу. – Я тебя знать не знаю!». Она ухмыляется: «Ну, как же! Я душа твоя. Неужели не узнаешь?». И сгнула...*

*Девочки, я бы с удовольствием решила, что это кошмарный сон. Но это как бы и не сон, не знаю, как объяснить. С кем-нибудь бывало похожее? Я по квартире, как лунатик ползаю, все из рук валится. Завтра мне ехать воду в третий раз откачивать, и химика, наконец, дождму... Господи, неужели опять доцетаксел? У меня только ногти на руках появляться стали... Я не нытик по природе, вы меня знаете, но тут... Блин, а вдруг этот сон означает, что я из больницы вообще не вернусь? Ведь завтра десятое, а послезавтра как раз... Ну, те самые две единички... Или она одиннадцать дней имела в виду? Или месяцев? Ни то, ни другое не вдохновляет.*

*Девочки не смейтесь надо мной, я по жизни не суеверная, просто у меня впервые такое!*

**solnyshko1970:**

*Люся, успокойся, это она тебе одиннадцать лет обещала.*

**mirey:**

*Ну, ты-то ясное дело: «в гроб пойдет, пляша...»<sup>2</sup>.*

**solnyshko1970:**

*Ты в мой блог не заходила? Я тут вознамерилась умереть под пальмой и уже третий месяц лечусь в Израиле. Представляешь, когда в клинику химичиться в первый раз пришла – они на ре-*

<sup>1</sup> Рак шейки матки, 3-я стадия.

<sup>2</sup> Стихи М. Цветаевой.





*цепин сделали такие улыбки, что я начала озираться в страхе – не стоит ли у меня за спиной премьер Израйля...*

**Iapushka:**

*Зоя, а ты рассказы писать не пробовала? Зоценко нервно курит в сторонке...*

**godiva77:**

*Слушай, Люсь, ну, правда, вдребезднись давай! Это из-за воды ты такая квелая, а кошмары потому, что вода на мозги давит. У меня тоже было: живот такой вырос, что, когда брат с племянником меня на откачку в машину почти несли, консьержка спросила, кого я жду – мальчика или девочку. Полгода прошло, восемь раз химию прокапали, mтсы укротились чуток – так я даже вечернее платье себе сшила. Выйдешь, как огурец, а прокапают – на паричок канекалоновый<sup>1</sup> разорнешься и можешь замуж идти.*

**Angelina:**

*Ей нужен волшебный пендель от Заюни. Катя, ты где?*

**Zajuna:**

*Здесь я! Люся, встань раком и приготовься. Раз-два-три – мой волшебный пендель на удачу поднимет тебя с колен.*

**Mirey:**

*Спасибо, чувствительно. Дай Бог, чтобы помогло. Сама-то как?*

**Zajuna:**

*Как, как – как бездомная мышка: мне-то пенделей не давали. Я в хосписе вторую неделю. Отправили меня на симптоматику...*

**Angelina:**

*Где?!! Что случилось?!!*

**Mirey:**

*Слушай, Катя, – ты того... Дурак ты, боцман, и шутки твои дурацкие. Торпеды-то вон, где прошли...*

**Zajuna:**

*На этот раз не промазали. Кроме шуток. Я и сама не ожидала, что так скоро все кончится. И полтора лет с рецидива не прошло. Химичка как на анализ крови глянула – а там билирубин в 30 раз превышает норму. Вы, говорит, еще одной не перенесете. У вас и печени-то нет больше, один сплошной метастаз... Предложила хоспис, чтоб хоть как-то промыли, и мне б каждый день в ОД<sup>2</sup> не таскаться, – так ведь и по дороге откинуться недолго.*

<sup>1</sup> Изготовленный из особого вида водорослей.

<sup>2</sup> Онкологический диспансер.







**Lancelot:**

*Спокойно, милые дамы. С симптоматики возвращаются, я сам видел. У нас в ОД одного мужика с РЖ(4)<sup>1</sup> два раза отправляли. Три года прошло, он до сих пор на своих ногах и с новой женщиной.*

**Angelina:**

*Катя! Не смей, слышишь?! Не смей! А мы тут как все без тебя?! Ты о нас подумала?! Закогтись и не сдавайся! Вот назло! Катя, ты здесь?!!*

**Mirey:**

*Арсений вернулся!!! Где Вы были целый месяц?! Последний пост в конце сентября – и все. Я уж боялась...*

**Lancelot:**

*Я был в Иерусалиме.*

**Angelina:**

*Вот здорово, наша Зоя-Солнышко как раз там сейчас свой РМЖ(4)<sup>2</sup> лечит.*

**Lancelot:**

*Не знал. А то отыскал бы. Но я не лечиться ездил, я в паломничество. Зайди в мой блог, я только что запостил там что-то вроде отчета, а здесь другая тема. Люся, я тебе вот что хотел сказать: то, что у тебя было, – это называется страхование. Неужели сама не понимаешь? Это тебя пытаются деморализовать, показать, что все твои муки напрасны, что никакими покаяниями ты свою душу ничуть не очистила, и все напрасно, не трепыхайся, дескать. Уверяю тебя, дорогая, если б твоя душа была такая, как ты описываешь, на тебя никто – оттуда, снизу, я имею в виду – и тратиться бы не стал. У всех нас души раньше были похожи – да, на твою «бомжиху», но ведь не могли даром пройти эти месяцы и годы страданий. Давай же, вспомни про тех лягушек в молоке!*

**godiva77:**

*Слушайте все... Мне только что позвонил сын Ани. Которая nuta69... Она умерла вчера утром. Дома.*

Вика отложила в сторону смартфон. Нет, это невозможно – прямо камера смертников какая-то... Словно по одному уведят на расстрел... Вот кто-то обернулся в дверях, махнул шапкой:

<sup>1</sup> Рак желудка 4-й стадии.

<sup>2</sup> Рак молочной железы 4-й стадии.







прощайте, товарищи! И стучат, стучат по обшарпанным стенам, направо и налево – точка-тире-точка-тире – услышите хоть кто-нибудь, не забывайте меня! Не так ли оглянулась в дверях Ньюта? Ее последний прерывистый пост на блоге – как криво выцарапанная надпись на тюремной стене – «Братья и сестры, отомстите за меня!»:

**nuta69:**

*Девочки, родные, пишу, наверное, последний раз. Диктую мужу, потому что у меня уже нет сил держать айпад... Если обезболики – то плавать в нирване, а без них – мечтать о петле... Я не вижу ничего, все сливается, гадов в мозгу ничто не берет, зато они последние, кажется... Новым просто уже некуда ползти... Пишу, чтобы сказать всем спасибо, – без вас мне бы так долго не продержаться... Вы стали второй моей семьей, до последнего дыхания вас не забуду... Простите, если кому чем досадила или сказала что-то не так... Кто ходячий – подайте записочки за упокой Анны, а я вас и там буду помнить... Солнышку-70 отдельный респект... Пусть ее там вылечат, пусть все вы выздоровеете, вечной вам ремиссии... Если б мне обещали, что завтра найдут лекарство от рака, мне бы все равно не жаль было уходить сегодня, потому что лучшим подарком было бы знать, что вы победили проклятое зло... Это все. Простите... Прощайте... Вспоминайте иногда свою Нюту...*

Несколько месяцев Вика на форум не заходила, порой испытывая там неприятное чувство праздного любопытного, бесцельно стоящего на улице над покалеченной жертвой несчастного случая, которой уже кто-то оказывает умелую помощь в ожидании «скорой» – и вот-вот с осуждением оглянется на тебя: «Вам здесь что – кинотеатр?». Потому что сколько ни сострадай – а не переведешь же ты им деньги на лечение, хотя бы потому, что их просто нет, а если б были... У тебя кредит с ипотекой, как шерочка с машерочкой, солнечный зайчик-племянник, да мать надо на пенсию выталкивать... У тебя одиночество почти на чердаке и разбитое сердце – от него ведь тоже не придумали лекарства!.. Как будто вчера, а ведь почти полгода прошло...

**solnyshko1970:**

*Наклеила я ногти, ресницы прицепила, ногу пристегнула – и*





*парик напялила новенький с обалденной стрижкой. Оказалась местами даже красивая тетенька.*

Это она спустя три месяца прочтет, а в тот день...

Тот день после их первой и единственной ночи она весь, почти до вечера, проспала – тем глухим сном выздоравливающего, что целебен, как горный воздух, как пряный запах трав... Она не ждала тогда звонка от Виктора, а, наоборот, с жалостью, уже почти как жена, думала о нем: и двух часов, наверное, не проспал мужик – а ему же людей оперировать! Небось, еле до дома добрался и упал в кровать, как подрубленный... Упал, а там запах ее духов по всем подушкам... Ночью на одном дыхании Вика вдохновенно слепила чуть не всю серию заказанных плакатов – решения приходили стремительно, будто выстреливали, – и, встав из-за компьютера с ощущением хорошо поработавшего и заслужившего награду человека, успела еще сладко и тягуче вздремнуть до полудня... Ее подбросило: ужин! Виктор работает официально до трех – ну, полчаса накинуть на всякое разное, да час добираться...

**solnyshko1970:**

*Принимаю поздравления и подарки! Мой зацелованный до дыр анализ крови показал лейкоциты 3,7 – это значит: химия, химия, химия, сугубая химия!*

Вика рассчитала, что приедет он между половиной пятого и пятью, и, стало быть, звонка следовало ожидать после трех: он ведь по-прежнему не знал номер квартиры! Она улыбалась, наскоро собираясь на недалекий рынок: сегодня предстояло то, зачем вообще было упрямо и жестоко свито год назад это странное гнездо со спальней в кладовке и кое-как отгороженным кухонным закутком. Ужин! В собственном доме! Славная бутылочка доброго вина, лукавый взгляд поверх полупустого бокала, протянутая через узкий стол рука... Как просто – и как грандиозно, если вдуматься!

**lancelot:**

*Все пытаюсь донести до Кого-то наверху, что мне тут надо еще миллион дел доделать!*

Вика оперативно купила ляжку упитанного ягненка у знакомого дружелюбного дагестанца, он же досылком сунул ей в сумку с





продуктами пакетик специй – и на попытку достать деньги протестующее сверкнул страстными глазами и зубами: это подарок, как постоянному покупателю! Весело было выбирать тугие азербайджанские помидоры – один был разрезан напоказ, и сахарный налет на пунцовой мякоти напомнил какой-то особенный арбуз из детства... Яркие букетики южной зелени пахли остро и завораживающе, а кондитерском она чуть не заплакала от умиления, увидев и немедленно купив точно такой же – или очень похожий! – бисквитно-кремовый торт в стиле рококо, какой ее молодой папа каждый раз пунктуально приносил домой в день полочки, – и тогда в доме сразу начиналась радостная суета. Все виделось добрыми предзнаменованиями простого человеческого счастья...

**solnyshko1970:**

*Бабоньки, счастье в жизни, определено, есть, только я не там, где оно.*

...Засыпанная дареными специями, заботливо обернутая в несколько слоев фольги ягнчя ножка так вкусно, мирно и подомашнему благоухала на всю квартиру, ровные розоватые картофелины покоились на дне белой кастрюльки, почищенные и залитые водой, уютно гудел и подмигивал неуклюжий добрый кондиционер – вот сейчас зазвонит телефон, и тогда Вика поставит картошку на огонь, чтоб поспела к приезду Виктора... Сама она, с пушистыми одуванчиковыми волосами, в легком платье с рисунком из перепутанных роз, в меру подкрашенная, летала вокруг стола, поправляя и так идеально разложенные приборы. За час до того она специально пошла на ужасную, почти казуистическую хитрость: заранее кратко поболтала со всеми, кто гипотетически мог позвонить, – чтоб не вздрагивать понапрасну, когда в час настоящего ожидания они вдруг скопом, будто сговорившись, начнут добираться до нее, – и каждый раз придется хвататься за сердце. Она навек запомнила головокружительный аромат теплых специй, дружески пахнувший ей в лицо из духовки в тот момент, когда раздался звонок в самое подходящее время – в половине четвертого. Вика споткнулась с противнем в руках и с лязгом запихнула его обратно, схватила телефон – но на экране высветилось: Юля. Та самая, что работала старшей медсестрой и месяц назад, в тот незабываемый день, передала ее с рук на руки Виктору. Было бы приятно услышать ее когда угодно, но сейчас...





Не брать трубку. А вдруг – Виктор на срочной операции, и это именно он попросил ее позвонить от его имени?

**veruca:**

*Совсем не хочется писать о том, как я в очередной раз страдала!*

Юля звонила по собственной инициативе. Просто так. Обсудить новости – они ведь одноклассницы. Женька вернулась из Америки и проклинает ее так же рьяно, как год назад превозносила, – невкусными оказались тexasские хлеба. Таня и Митя развелись – жалко, да? – а казались такой классной парой... Алексеевы уехали в отпуск – совсем рехнулись, годовалого внука с собой в Тунис повезли... А с работы она с понедельника увольняется – хватит, напыхалась за копейки – ее взяли в новый перинатальный центр, должность та же, зато оклад в полтора раза выше и премии не на словах, а на деле...

Боже мой, Боже, пожалуйста, пожалуйста... Если она протрахтит так еще минут десять, то Витя просто не сможет дозвониться, и ему придется ломиться во все шесть дверей на площадке – по закону стержозности природы, в ее дверь он позвонит в последнюю очередь.

«...Ну, в общем, такие дела... Да, помнишь своего доктора? Ну, этого, Виктора Иваныча, еще гипс тебе накладывал, здоровый такой, седоватый... Так представляешь, он нашей докторице одной, ее Алена Никитишна зовут, вчера при всех предложение сделал, а сегодня у них тут что-то вроде помолвки было... Довольные оба, как венки... Она ничего такая, худенькая, нашего примерно возраста... Муж у нее недавно умер – раньше здесь на гинекологии работал – так и башмаков еще не износила...».

**skazka2012:**

*А вот вам, девочки, мой смайлик, утонувший в слезах!*

Господи, прости, ну когда же боль-то отпустит?! Полгода уже... Господи, я же не прошу Тебя – дай мне его. Я давно не прошу. Я прошу – отжени... И можно – пусть я сейчас зайду на сайт, а у Солнышка-Зои там, в Израиле, все это время – ремиссия...



### **solnyshko1970:**

*Миленькие люди, в меню фильм ужасов. Собралась со всеми своими силами и решила написать, объяснить, чего это я растворилась на блоге... Может, это неприлично, то, что я сейчас пишу, но ни думать, ни говорить про болезнь у меня теперь не получается. Так скажем, у меня в последнее время вообще мало чего получается – ни поесть, ни лечь, ни даже нормально дышать, последний ПЭТ показал, что угажены практически все органы. Опухоль пытались облучить, сама она подсохла, но тотчас полезла к левой груди, шее и поясу. В больнице лежать на облучении оказалось очень тяжело, потому что даже поднять чашку попить без посторонней помощи могу не каждый раз – только сильно обезболенная. До туалета, который прямо в палате, доползти еще как-то, но заканчивается плачевно, сразу в обморок, иногда с произвольным хождением в туалет по-большому, прямо уже на кровати. В таком вот состоянии я домой и прибыла. В химии мне отказано – ваш организм уже получил нереальную дозу химии, ну, я и сама уже чувствую, что врачи не врут. Тем более, что облучать пытались, с самим облучением тоже вышла нестыковка – опухоль так проела кости, что скелет развернуло, и спереди и сзади выросли два больших горба кошмарных и распялить меня на аппарате не удалось, вернее, удалось два раза, но, как доктор сказал, аномальными способами. Да и смысл, если шишки с гноем и кровью прут в левую сторону по всему телу, на голове только 20 штук, и самые смачные уже намекают на то, что скоро заколосятся. В общем, про все это, честно, даже говорить неохота. Стали приходиться ужасные психические состояния, кто не испытывал, тому не объяснишь. Я стараюсь держаться, расслабиться и пореветь не могу, задохнуться боюсь... Ночью так тяжело, что кажется – с ума сойду, мысли о смерти просто душат. Не теряйте меня. Я люблю всех, всем благодарна, и не только за помощь, а просто за то, что вы есть и я не одна, я это чувствую... Хотя последнее время что-то более сильное выпинавает меня от всего моего куда-то туда, где мне, отчаянной трусихе, совсем невыносимо и не хочется!!! Я целую вас всех, люблю, мои хорошие, пусть вам всем повезет!!! Ваша я.*





## Глава 7 Найди мне синего коня

*Собственно, это все, что я хотел написать, Санек. Наша вера православная, наша вера парадоксальная. За то и люблю, что не как у людей: родила Девственница царского рода, да не во дворце, а в хлеву, ждали царя – пришел Какой-то Дервиш, хотели благополучия – получили страдания – и радуются... И вполне допускаю, что осуждены будут не те, что осуждаемы, и оправданы не оправданные, а заклеянные. Откуда я знаю, отец ты мой Александр, что не поставит мне Бог во грех ни смятенный месяц, ни благословенную ночь, – а сурово осудит мой самый законный и праведный брак? А оттуда. В прямом смысле.*

*Пять недель, считая с памятного утра, я прогордился своей правильностью, с чувством победителя попирая покорную, как безответно влюбленная женщина, землю. Пять недель мне успешно удавалось справляться с рвущимся наружу, как невинно осужденный из острога, приговоренным чувством. Я успешно запретил себе обращать внимание на трещащую по ночам от глухой боли грудную клетку-камеру – и лишь крепче прижимал к ней сонную голову официальной невесты... Но все равно несласть изнутри далекая морзянка, как последний призыв о помощи с уходящего в пучину корабля... Я не отвечал. Я принял решение. Я не мальчик, я муж.*

*Сразу после нашей приятной и скромной свадьбы Алена взяла на работе три недели за свой счет – ну, а я, выйдя в законный отпуск, вознамерился отпустить нас обоих на волю каких-нибудь благодатных волн Средиземноморья, для чего мы однажды и решили отправиться с уважаемой супругой в сговорчивое турбюро за горящими путевками. Она пришла на место нашей заранее назначенной встречи – известный мостик через канал Грибоедова – минут за десять до меня, целый день прозанимавшись счастливым шоппингом: я уже знал по телефону о двух французских рубашках для себя и новых ее, невиданных босоножках – и вот ново-явленная супруга моя взхлеб щебечет в трубку об авангардном дамском романе, в поисках которого хищно рыщет по второму этажу Дома Книги... Я понял, что, чем нервно стоять у парапета в течение ближайшего тоскливого получаса и с презрением созерцать папуасский досуг резвящихся там и тут представителей очередного подросткового и вполне готового потребовать*





*неких прав поколения, я лучше поднимусь в прохладное святилище книголюбов и подберу себе непритязательную книжицу на сон грядущий.*

*Остро помню, как стремительно прошил человеческий поток, бурливший на кратком пути от входа до лестницы, как рассеянно ступил на нее, слепой ладонью нащупывая перила, как машинально поднял голову, обозревая недалекую вершину... Там стояла, нет, уже начала роковой спуск отвергнутая любовь моя – в нелепом сине-золотом пальто, двумя руками прижимавшая к груди местный фирменный пакет с книгами... Позади напирали – я не мог замедлить шаг; ее тоже несло общее озабоченное течение – в обратную сторону; прямо перед глазами с удивительным грохотом промелькнули вычурные дамские туфли, проплыли круглые, туго затянутые в темное колени, овеваемые сверкающими фалдами... Почти сразу я увидел каменно-голубоватый профиль с опущенными глазами и успел разглядеть только презрительно дрогнувший угол яркого рта. Не знаю, может быть, привычно исполненный нашей мужской самоуверенности, я полагал раньше, что при никогда не исключаемой внезапной встрече покинутая женщина обязана зарыдать, потребовать объяснений, осыпать горькими упреками? Вика ни разу не позвонила мне из глупой бабьей гордости (просвещенная, уверен, своей подлой товаркой, немедленно донесшей о моем трусливом вероломстве), но я знал, как много значили для нее наши отношения, – она не имела права оскорбить меня, не удостоив и взглядом! Но ни о чем таком я не подумал. Я внезапно понял, что очередному вдоху мешает тяжелая сквозная боль, – и вдруг мои слабеющие ладони оказались на верхней ступеньке. Уже видя, что кто-то бросается ко мне с испуганным лицом, я еще делал протестующе-успокоительные жесты, надеясь расстегнуть воротник и перевести дух... Это неправильно, я же врач, а не больной! Помню странные алые круги перед глазами, чудовищное нечто, проламывающее мне ребра изнутри, – и тишину, непроницаемо-ватную...*

*Здесь я пленник судьбы и Алены, но не могу ждать выписку, чтобы сделать все это самостоятельно, пойми. Ты не хуже, а лучше меня знаешь, что ни у кого нет гарантии завтрашнего дня: прошлым вечером я случайно выглянул не в то окно – и невольно пронаблюдал, как происходит изгнание из нашего реабилитационного рая: два хмурых санитаря шустро провезли по короткой бетонной дорожке каталку с навеки реабилитированным и в два*







счета свернули за угол, где, можно не сомневаться, притаился морг. Никаких особенных подвигов я не прошу: просто приезжай отпустить мне грехи – а я дам тебе ключ от своей квартиры и расскажу, где в ней найти мою старую записную книжку. Я мог бы попросить об этой услуге и Алену, но... знаю, что при этом у меня дрогнет и изменится голос, забегают глаза. Неважно, о чем она, проницательная, догадается, важно, что опять вступит в дело отвергнутая мной диалектика, – и я снова начну неуклюже составлять проклятый паззл из разнородных правд... В книжке есть мобильный нашей бывшей старшей сестры – той самой Викиной одноклассницы, что доставила ее полгода назад прямоком в мои, увы, ненадежные руки. Она, может быть, знает новый Викин номер: не сомневайся, по старому я звонил и звоню, но... там снова и снова говорят, что он временно не обслуживается. Они лгут: это навсегда – она сменила его именно для того, чтобы я не смог дозвониться и так и умер когда-нибудь подлецом. Ну, а если и эта ниточка обрезана, – и скорей всего, так и есть... Ты ведь найдешь для меня ту «квартиру на семнадцатом этаже во второй парадной крайней правой новостройки над зеленым двориком в двухстах метрах слева по одной из улиц направо от Московского, если встать спиной к Адмиралтейской игле»? А главная примета – не забудь, это очень важно! – синий конь посередине детской площадки. Не надо ничего объяснять – просто покажи ей это письмо. Она поймет.

Вот теперь действительно все. Остается надписать адрес и вытащить шоколадку из тумбочки – для нашей Светочки, славной девочки, есть тут такая трепетная сестричка с большими-большими глазами. Надо успеть перехватить ее в коридоре у сестринской: рабочий день закончен, и она там, должно быть, переодевается и прихорашивается. Девочка скушает шоколадку и в благодарность донесет письмо до почтового ящика – я бы и сам выскочил, да не знаю, где теперь искать такой раритет.

Ах, да, вот еще что. У тебя там, наверно, сейчас опять забурлили в ясной голове нехорошие сомнения. Выкинь их: ничто назад не вернется. Из Жар-Птицы давно сварен суп.

Теперь, если что, я помру спокойно, когда дело оказалось в твоих крепких – ох, и помню ж я твои щелбаны, когда мальчишый спор во дворе проигрывал! – и верных руках. Теперь ты еще научился ими благословлять – так представь, что свои я держу ковшиком, а седая голова моя повинно склонена перед тобою. Было бы письмо электронным – поставил бы смайлик...





## Глава 8 Полный стабилизец

Безответная любовь – это не когда, представляя собой большую опасность для машин и пешеходов, чем вдребезги пьяная представительница золотой молодежи за рулем «лексуса», ты истерически взнуздываешь свою лохматку и несешься на ней в ночи, закусив губу, чтобы просто посмотреть снизу на его темное окно, за которым он безмятежно спит с в обнимку с другой. Это не когда, комкая лист за листом и ломая паркеровскую сталь, ты от руки пишешь ему двадцатишестистраничное письмо, годное только на то, чтобы подшить его в историю болезни. Это не скотские горячечные представления о бесконечных совокуплениях с ним – и не сентиментальные мечты о безоблачных совместных завтраках после бурной ночи. Это когда ты его просто – любишь. Ты механически варишь ежеутренний кофе, идешь, как приговоренная, в детский театр с племянником, стеклянно пялишься в четыре утра на компьютерный экран, отсылая готовый заказ... Да мало ли что еще! – тоскливо ругаешься с сестрой, сплетничаешь со случайной подружкой, спешаешь на перспективный деловой обед... Бронируешь билет, чистишь зубы, заводишь машину... И просто любишь его. Он не с тобой, и ты знаешь, что вы никогда не будете вместе. Но он – внутри, прорастает во все клетки, как злокачественная опухоль, и поедает тебя то медленно, страшно медленно, постепенно, то вдруг делая огромный захватнический скачок, – как раз в те спокойные дни, когда тебе вдруг показалось, что начало отпускать, разжиматься... Ты со страхом смотришь в будущее и не знаешь, закончится ли все катастрофой – ты ведь тоже человек, и у тебя есть предел! – или все-таки любовь постепенно изживет сама себя, усохнет и распадется, как забытое на ветке яблоко...

Способов бороться с ней не существует. Можно безобразно напиться в одиночестве, или нахамить ему при встрече, или, наоборот, эту встречу коварно подстроить и сделать для него что-то очень хорошее, или заняться сексом с посторонним человеком... *Расхристаться, устроить истерику – или взять и уехать в Америку*<sup>1</sup> – о, да, стихи тоже на время помогут... Как ударная «химия» только на время приостанавливает рак и дает возможность еще чуть-чуть погулять на свободе в мире здоровых людей, при-

<sup>1</sup>Стихи И. Гандея.



творяясь перед ними и собой, что ты такая же, как они, и можешь строить планы, давать обещания, и вообще, с тобой можно общаться, как с равной!

А можно просто развеяться, пройдя ежегодную диспансеризацию, – бесплатно, потому что один из твоих благодарных заказчиков случайно оказался медицинской клиникой, которой понадобились рекламные щиты и проспекты, и он преподнес тебе в качестве бонуса свой годовой страховой полис, – разумеется, предварительно догадавшись, что ты практически здорова и особенно тратиться на тебя не придется.

По уютным, бежевой плиткой выложенным холлам, так густо уставленным кадками с изумительными растениями, что клинике, пожалуй, требовался штатный садовник, Виктория с любовью внутри и смартфоном в руках переходила из кабинета в кабинет.

**godiva77:**

*Только держись, еще чуть-чуть осталось, я уверена! Доцентасел поможет, не может не помочь, он всем помогает! Со мной в палате одна женщина лежала – так она после этого на четыре года в ремиссию вышла. А ногти новые наростут – и оглянуться не успеешь! Знаешь, когда доходишь до ручки, всегда протягивается рука с Небес.*

**mirey:**

*Я так долго жду, жду уже эту руку... Теперь я поняла. В том сне мне обещали одиннадцать не дней или месяцев, а недель. Я знаю. И по всем подсчетам так выходит...*

**prihozhanin:**

*Какой руки вы ждете, mirey? Что вы сами для этого сделали? Вас, godiva77, это тоже, между прочим, касается. Не тем вы лечитесь, напрасно только губите свой организм, проку не будет: травитесь химиями, сжигаете себя лучами – а стабилизация только временная! Посмотрите: у всех, у всех вас только краткие улучшения, и быстро становится намного хуже! Потом неизбежная смерть, а дальше что – вы думали? Считаете, как тут написал кто-то, «отмучаетесь»? Ничего подобного, там самое интересное и начнется. Потому что ни одна из вас не желает понять, отчего это с ней случилось. Только и читаю: «За что это мне? Я такая хорошая!» – и длинный список заслуг! А ведь рак – это болезнь непрощенных обид, которые вы в себе растите, болезнь зависти, болезнь ненависти к ближним, болезнь*





*осуждения, блуда и других грехов. Бросайте вы носить по так называемым врачам и убивать себя ядом, бегите, пока не поздно к Врачу Истинному – только Он исцелит вас.*

**zajuna:**

*Блин, это еще кто? Что это было, девочки? Уважаемый prihozhnin, Вы попали не по адресу. У многих из нас есть свои духовные отцы, с которыми мы советуемся насчет лечения!*

**prihozhnin:**

*Вы, Екатерина, уже в хосписе, насколько я знаю, – вам следует пребывать в постоянной молитве, а не шататься по форумам, смущая людей.*

**lapushka:**

*Я знаю этого @удака. Он не только на нашем форуме гадит, он и по другим шастает, уча больных не лечиться у врачей. Остановитесь, prihozhnin, вы ведь легко можете стать убийцей!*

**prihozhnin:**

*А вы сами неужели не стали им давно, уважаемая lapushka? У вас рак шейки матки третьей стадии – а сейчас, наверное, уже четвертая на химиях выросла, да? Рассказать, каким женщинам ставят этот диагноз? Или сами знаете? Задний проход вам на бок вывели – так может, вы его не по назначению использовали? Но вместо того, чтобы круглосуточно замаливать свои грехи, вы поддерживаєте на форумах таких же падиших женщин, как вы сами.*

**veruca:**

*Админы, вы где?! Как навечно забанить приличного человека, в сердцах не поставившего «собаку» на место и так всем известной буквы, – так вы тут как тут, а как надо – так вас нет! Ни один нормальный верующий не станет отговаривать онкобольных от лечения, да еще и измышлять над ними! Да срубите, же @лгать, наконец, этот гнилой сук! Неужели не видите, что это извращенец?!*

**prihozhnin:**

*Ни минуты не сомневался. Христа гнали почти теми же словами. В мире ничего не меняется.*

**mirey:**

*Девоньки, давайте закроем эту ветку. Его ведь так просто не остановишь, как «гадов»...*

*- Так, ну, что у нас тут, прекрасная Виктория... Кардиограмма... Хм, по возрасту... Приливы не мучают еще? Это хорошо.*





Ну, флюорография, само собой, без изменений... Уж, конечно, – заподозрить в вас туберкулезницу было бы странно. Анализы, анализы... Угу.... Надо же, гемоглобин какой хороший – наверное, гранатов много кушаете, да? Все в норме. Так, смотрим, что узисты нам тут понаписали... А ничего не понаписали – печень чуть-чуть великовата... Что он тут пишет... Ага. Ну, я вам таблеточки порекомендую – пропъете. Смотрите, в нашем киоске берите, у нас вам хорошая скидка выйдет, только полис предъявите... О, вижу, кардиолог вам отличный препарат назначил – только не забывайте принимать, как написано, тогда сразу двух зайцев убьете: и давление в норму придет, и лишнюю жидкость сгоните... Похудеть не думали? Пока полис действует, можно вас к нашему диетологу записать... Ну, потом так потом... Маммография... Первый раз делали? Так... Ничего критичного... Возрастная жировая инволюция плюс фиброаденоматоз – все стандартненько... Никакого лечения не требует – наблюдайтесь раз в год... Мазки на гистологию гинеколог брал? Через неделю будут готовы, наша лаборатория у черта на рогах. Короче, живите спокойно, а полис мы вам продлим – ведь наше с вами плодотворное сотрудничество только, можно сказать, начинается. Я вот о чем думаю: а нельзя нам в коридорах установить такую... ну, как раньше говорили, наглядную агитацию? Помните, в поликлиниках висели такие милые стенгазеты – их еще от руки энтузиасты рисовали? Ну, а мы с вами сделаем шикарные современные рекламные конструкции – на пользу больным... и клинике – что вы об этом думаете?

Виктория думала о Викторе. А не о нем – только когда читала форум. Потом выписывала оттуда рецепт сырного пирога из блога покойной Зои-Солнышка – полпачки замороженного маргарина натереть на терке, добавить стакан муки и три ложки сметаны с гашеной содой... – тщательно пекла его, чтобы удивить племянника, – и любила. Смотрела фотографии дивного пряничного терема, испеченного Зоей между двумя израильскими хосписами для трехлетнего сынка Герочки, – и любила. И непохоже было, что скоро перестанет.

### **skazka2012:**

*Мой химик сказал: какой вам еще Новый год? Вы не люди, а онкобольные, и должны радоваться химии, как празднику.*





**veruca:**

*А мой посмотрел в мою медкарту, как в свидетельство о смерти участника Куликовской битвы, и говорит: «Что вас побудило обратиться?»».*

**dekameron:**

*Не прошло и двух недель от начала, как волосы сбегали, а муж посмотрел и выдал: такой разнообразной женщины у меня вовек не бывало: то с сиськами, то без сисек, то с волосами, то без волос, то ходячая, то лежащая...*

**solnyshko1970:**

*Живем, как г... в бурном потоке: куда прибьет, туда и ладно.*

**skazka2012:**

*Зоя, я сейчас посмотрела фотки твоих кулинарных шедевров – ты волшебница! Внутрь пряничного дворца лампочки провести – это ж додуматься надо! Где бы ты ни была – обустройстваешь свое жизненное пространство так, что оно светится! У тебя что, волшебная палочка есть, признавайся!*

**solnyshko1970:**

*Была бы у меня волшебная палочка – мы бы завтра все здесь проснулись здоровыми. Нет. У меня только волшебная скалочка и волшебная духовочка. А миксер вчера в руках застрелился.*

**mirey:**

*Прости и прощай, Катя-Заюня! Нет, я не говорю «прощай» – до свидания... До скорого свидания.*

**lapushka:**

*Упокой, Господи, душу новопреставленной рабы Твоей Екатерины! Упокой ее в месте светле, в месте злачне, в месте покойне! Смотрите, какую мне вчера знакомая с другого форума молитву прислала: «Отче наши, пройди через мой дом и забери все переживания и болезни! И пожалуйста, оберегай мою семью! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Господи, люблю Тебя, нуждаюсь в Тебе, войди сейчас в мое сердце!».*

Господи, войди и в мое – пусть эта молитва и неправильная... Дай здоровья моей матери, утихомирь мою сестру, сохрани племянника – и забери из меня эту любовь, посели в кого-нибудь, кому она нужна, Господи. Да, и этим людям, которые тут, на моей ладони, борются и умирают, – пошли, Господи, то, о чем они тебя просят – все вместе и каждый по отдельности!







### **lancelot:**

*Этот опыт был изумительным и бесценным. Сам не знаю, как получилось. Знаете, не люблю громких и пустых слов: наитие... подсказка свыше... Просто взял и пошел с ними. До этого слышал в экскурсионном автобусе, что человек восемь из нашей группы ночью не ложатся спать, а пешком идут в храм Гроба Господня. А тут возвращаюсь из соседней кофейни, только вхожу в холл отеля – а они навстречу: хочешь с нами? У нас мужчин недобор, женщинам по лабиринту старого города с двумя мужиками ходить неудобно. Развернулся и пошел в обратную сторону... В старом городе грозная тишина, слышен лишь настороженный стук наших шагов. В эти минуты я вдруг понял, что там ничего не изменилось с тех пор – совсем ничего: узкие улочки и серый камень кругом, никакой цивилизации вообще, а все ночное освещение – лучи наших фонариков... У Камня Помазания разошлись, сверив время, как перед началом боевой операции. Три часа хватит? Я сначала удивился – зачем так долго, что тут делать? Но очень скоро понял, что времени мало, ужасно мало – как таким за три часа насытишься? В Кувуклии шла негромкая служба – и я отправился пока в обход храма по ротонде... Там и днем особого освещения нет, а уж ночью... Только свечи кое-где мерцают. Из мирян почти никого, иногда просто выступит из мрака сосредоточенная фигура, тихо минует тебя – и можно почти не сомневаться, что русский: у иностранцев режим и программа. Я уже писал в своем блоге о каждой святыне отдельно, но сейчас о другом хочу рассказать. Я шел и думал: как же повезло! Днем тут не протолкнуться, едва успеешь лоб перекрестить и к святыне приложиться – а сзади уж очередь возмущается... А сейчас вот, как служба закончится, я без спешки войду в Кувуклию, преклоню колени, уроню голову на белый мрамор... И внятно, спокойно, попрошу у Бога исцеления от моей ужасной болезни, пообещаю ходить в церковь, соблюдать посты и заповеди... А еще помолюсь, чтобы дети хорошо закончили Университет, создали крепкие семьи и чтобы тоже никогда ничем плохим не заболели... И чтобы жена моя успешно защитила докторскую, и ее бы взяли, наконец, в тот отдел, о котором она так мечтает... Да, и чтобы внуки обязательно родились, и мы бы их нянчили! Ну, что там еще... – чтобы у друзей и других родственников все было хорошо... Все говорят в один голос: о чем помолиться у Гроба Господня – то обязательно сбудется! У меня хватит*







*времени обстоятельно попросить обо всем – ведь ночью здесь нет никакого ажиотажа! Я ходил, потрясенный окружающим величием и торжественностью момента, благоговейно опустил руку в отверстие на Голгофе – и все это время заучивал список своих молитв наизусть, чтобы совсем уж неподобающе долго не задержаться внутри Гроба! Около двух часов служба кончилась, я чинно отстоял недлинную очередь, прислушиваясь к себе и прикидывая, проглотить ли обезболик сейчас – или уж после молитвы, – а там, может, и глотать не придется, если все так, как говорят. Когда подошла моя очередь, – я сделал, как собирался: вполз на коленях, легонько стукнул головой по белому мрамору и прошептал... Вот что я прошептал, дорогие форумчане: «Спаси, Господи, как Тебе угодно... Ими же веши судьбами спаси меня и всех, кого я люблю, Господи... Делай со мной, что хочешь, но там ли, здесь ли – а я буду верен тебе, Господи, до конца света...».*

- Узнали? Польщен, польщен... Как там наша с вами наглядная агитация, двигается помаленьку? Есть подвижки какие-нибудь?.. Ну, вот и ладненько. Я в вас никогда не сомневался, блистательная Виктория... Вы, может, выкроите как-нибудь на днях времечко, чтобы к нам в клинику подскочить? Да нет, какие эскизы-макеты, я ж понимаю, что такое дело в одну неделю не делается... Тут вот загвоздочка одна случилась... Как бы это сказать помягче... В общем, гистология ваша пришла из лаборатории. Вы только сразу не пугайтесь, это все еще проверять и перепроверять... Но только клетки там мне не очень нравятся... Даже очень, можно сказать, не нравятся. От слова совсем. Вы меня поняли?

**veruca:**

*Конец света уже был, Ланселот... У каждого из нас. А вы и не заметили?*

## **Эпилог Забери меня отсюда**

Маму свою Света не помнила, а папа ее не любил. Он работал массовиком-затейником: зимой перебивался по свадьбам, а летом пристраивался на речной круизный теплоход, где имел отдельную каюту. Унылое время с середины осени до середины вес-





ны Света ненавидела не за мрак и холод, как другие, счастливые люди, а за то, что почти каждый день, когда не было дежурства в клинике, она была папой бита – сильно и очень больно, а кроме того, несправедливо и обидно. На работе он вынужден был всегда казаться веселым и смешным, зато дома дочь уже девятнадцать лет видела его только злым и мрачным. Когда-то он сказал случайно залетевшей от него девушке: родишь наследника – женюсь, а если на УЗИ скажут, что там еще одна дырка растет, – то лучше уж сразу аборт делай. Девушка не послушалась, родилась Светочка, отца родственники засовестили – и он все равно женился; бабушка рассказывала, что даже в Загсе, когда папу спросили, хочет ли он взять в жены маму, он с ненавистью посмотрел на невесту, сплюнул прямо на ковер и ответил: «А куда я денусь-то?!». Когда мама, родителей давно уж похоронившая, и сама умерла молодой, бабушка, мать папы, взялась воспитывать внучку и умела как-то сдерживать вечную вспылчивую сварливость сына, как-то смягчала его жестокие выходки... Но вот уже полтора года назад, когда Света только-только закончила медучилище – почти на одни пятерки, между прочим, чуть-чуть не хватило до красного! – бабушки не стало в одночасье, и отец совсем озверел. Все кругом думали, что он колотит дочь спьяну, – ничего подобного: трезвенник был убежденный, а если пьяным порой казался, – так только потому, что какая-то странная, мутная, нутряная злоба вечно распирала его изнутри – и порой, как водка, бросалась в голову... Но на работе отца ценили, заказчики покатывались от смеху, слыша его оригинальные острооты, – и охотно передавали из рук в руки, рассовывая ему по карманам наградные сверх уговора.

После смерти бабушки хорошенькая сероглазая Света очень хорошо поняла, что спасение ее – только в удачном замужестве, и желание поскорей выйти замуж стало у нее таким навязчивым, так высвечивалось в ее глазах при знакомстве с любым симпатичным парнем, что все они рефлекторно отшатывались, чуя неминуемые серьезные проблемы в ближайшей перспективе. Ее готовность идти на все и сразу, чтобы задобрить сговорчивостью и покорностью предполагаемого супруга, обычно быстро и цинично использовали, не желая упускать удачный шанс, – и почти тотчас предусмотрительно сбегали, оставляя Свету то беременной, то попросту подвергнутой очевидному надругательству.

Сегодня вечером она снова убито ковыляла после смены на высоких каблуках по нескончаемому коридору их реабилитац





онного центра, где даже стоящих кавалеров среди больных было днем с огнем не сыскать: все сплошь козлы старые – инфарктники и инсультники, да еще сильно поломанные всякие – какой с таких прок... Слаще шоколадки от них ничего не видела – вот и сегодня дедок из отдельной – говорят, сам хирург, на работе сгорел – торжественно преподнес ей на выходе большую шоколадину с изюмом и орехами, взамен попросив опустить в почтовый ящик письмо. Ну, конечно, к компьютеру, небось, не знает, с какой стороны и подойти – неужели еще любовные письма строчит какой-нибудь климактерической развалине? Конь-то с яйцами оказался, скажите пожалуйста! Жена от него не отходит, а он еще на сторону зыркает... Мельком глянув на конверт, Света почти разочарованно убедилась, что у адресата мужское имя, заученно поблагодарила за презент и сунула письмо в глубокий накладной карман своего старушечьего зимнего пальтишка: что ей, жалко, что ли, – почта-то за углом направо, прямо напротив остановки... Поганое все-таки пальто, она бабушкино сама, как смогла, для себя перешила... Как бы это извернуться с деньгами и наскрести на легкий модный пуховичок... практичный какой-нибудь, черненький... Ага, пуховичок, как же! За айфон еще почти год выплачивать, и абонемент в фитнес-клуб – сплошное разорение, но без него никак: где еще с денежным парнем познакомишься? Еще раз кивнув оказавшемуся никаким не героем-любовником инфарктнику из полулюкса, она поплелась к вестибюлю, мысленно уговаривая себя выкинуть уже из головы Кирюху и заняться серьезными поисками нового ухажера. Обычно, в очередной раз покинутая, Света горевала недолго, лихорадочно ища и быстро находя столь же недолговечную замену неверному возлюбленному, но Кирюха, черт, зацепил ее чем-то не на шутку. Ласковый был, щедрый: вот золотой кулончик с фианитом подарил, сережки к нему обещал, если хорошо себя вести будет, – уж она ли не старалась! Специально порнуху ночами смотрела, хоть и с души от нее воротило, – не как забаву, а как учебное пособие: потом такие кренделя в постели выписывала, только держись! А Кирюха все равно пропал. Даже не позвонил ни разу, сам – вне зоны, хоть волком вой, – а с квартиры съехал... Другой бы с глаз долой – из сердца вон, а тут прям заноза какая-то, сил нет, как душа болит... Как вспомнит Света, какие у него глаза наивные, как у десятиклассника, руки большие, теплые и шершавые – в авто-сервисе компаньон, кузовщик классный, бабло особо не считает,



тачку даже не в кредит брал – так и сожмется у нее где-то там, в глубине... Трезвым никогда на нее руку не поднимал – не то, что папаша! Ну, а если выпивши, – так ведь не часто же... Зато потом всегда подарок дарил – из косметики, что она просила, или сумочку там, – и не скупердяйничал...

Втянув голову в плечи, Света шагнула в раннюю городскую темень – да не крути ты башкой, дура, нет там его машины, он про тебя и думать забыл! – и повернула направо, подставив спину хваткому колючему ветру.

«Би-бип!» – весело раздалось позади.

Казалось бы, все машины гудят одинаково – а ведь она узнала, узнала, узнала – как родной голос! – и уже летела, оскальзываясь и еле лоя равновесие, туда, где у распахнутой дверцы знакомого «Фольксвагена» цвета голубинового крыла, стоял, подбоченясь, Кирюха – ее Кирюха! – и призывно махал рукой...

Они встретились так, словно не расставались ни на день. Кирюха сыпал деньгами и поцелуями – «Гуляем, Светок, один раз живем!» – немедленно повез ее в стильный ресторан, где сразу красиво поставил на место нерасторопного халдея – «Совсем офигела обслуга!» – и заказал бадейку красной икры; потом самолично выбрал ей дорогие духи во французском магазине, изрядно погоняв по нему заносчивую консультантшу, – у той аж рожка вытянулась, вот была умора! После этого поехали в бутик верхней одежды, где Света весело перемерила все фирменные пуховики и, когда остановилась на скромном, сталистого цвета, – Кирюха самолично сорвал его с девушки и швырнул в продавщицу: «Яркое давай неси, лохудра, а не ватники для зэчек нам подсовывай!» – и застегнул на обомлевшей подружке обалденное пуховое полупальто, шелковисто-розовое, невесомое, о каком она и мечтать не смела. «Да не заворачивай ты нам обноски! Кому она нужна, эта рвань, в помойку выкинь... А сдачу себе забери!» – и, заплакав от счастья, Света выбежала из магазина вся красная. Они прошвырнулись вдоль заваленной осколками льдин Малой Невки – там он стащил подругу по обледелым ступенькам вниз, к спуску, и наскоро не по-детски прижал в темноте к гранитной стене – она даже лбом немножко ударилась – но перетерпела, ничего: сегодня-то уж он полное право имел, на что тут обижаться! – и снова повел в ночной ресторан, где хищно и весело уплетал кровоточащее мясо, отрезая куски и пихая их на вилке ей в рот, – она осторожно жевала, скрывая отвращение, но понимая, что это



– особая льгота, и благодарная за нее. Задавать Кирюхе вопросы про его безвестное долгое отсутствие Света, конечно, не посмела, благо суровый урок о том, что у мужчины могут быть свои неотложные дела, за которые он никому не обязан отчитываться, был вколочен в нее давно и не им, – потому он смотрел на спутницу благодушно и степенно рассуждал, откинувшись на мягкую кожаную спинку дивана:

- Больше ты туда не вернешься. Не хватало еще, чтобы моя баба горшки за старперами выносила. Рожать будешь. Парней, девок – все равно кого. Штуки три. Смотри: справишься – так и распишемся, чего там. Хазу я новую снял, увидишь сегодня, даже кондей есть. Барахло твое завтра от бати вместе увезем, чтоб граблями своими не размахивал... А если морду его видеть не хочешь, – в чем есть тебя заберу, делов-то...

Слезы давно уже струились из глаз Светы, как у голодного крокодила, лились в тарелку, капали с подбородка – от принудительно выпитой бутылки красного вина, от жалости к себе и от за себя же – радости... Размазанный ее рот помимо воли растянулся в некрасивое корытце и выдал тонкий, жалобный бабий вой:

- Забери меня отсюда, Кирюшенька-а... Ой, забери ты меня отсюда-а-а...

Он сочувственно перегнулся к ней через стол:

- Не вопрос. Только откуда забрать, Свето́к? Не понял – тебя откуда забрать-то?

P.S.

**Дорогие форумчанки...**

**victoria1971:**

*Дорогие форумчанки! Пишу вам первый раз, хотя уже больше года постоянно читаю ваш форум. А история моя такова...*

*6 сентября 2017 г.*

*Букино – Новый Иерусалим*

В произведении использованы материалы сайта:

[www.oncoforum.ru](http://www.oncoforum.ru).





## Синдром Амнона

Всего третье их свидание – а уже подступала четверть века знакомая скука. Раньше, по молодости, он еще покупался на коварную улыбку надежды: мол, уж на этот-то раз настоящее! Не может же такая сила влюбленности и безумия каждый раз растрачиваться впустую! Но прекрасно растрачивалась. Собственно, Михаил в женщин не влюблялся – он ими внезапно, как тяжелым токсическим гриппом, заболел. Никаких определенных критериев отбора он не знал и знать не хотел, даже и понять такого не мог: как это – один млеет от тоненьких глазастых брюнеток, другому подавай пышных блондинок в локонах, третий без ума от кукольных мордашек, четвертый ведется на классический профиль – и так далее, до бесконечности... Михаила же в каждой отдельно взятой женщине цепляла какая-нибудь лишь ей присущая деталь, заметив которую, он чувствовал легкий укол в непознанных недрах организма (наличие души последовательно и грамотно отрицал), и с той секунды на личном безмятежном существовании можно было ставить уверенный жирный «хер». Как филолог он знал, что это всего-навсего законный родитель буквы-раскоряки «ха», а глагол «похерить» в самом недавнем прошлом имел лишь прозаическое значение «перечеркнуть крест-накрест», и даже педантом-Набоковым использовался без всяких интеллигентских сомнений. Впрочем, в случае Михаила, буква «ха» тоже годилась на очередное перечеркивание его спокойной и правильной жизни – годилась в смысле «Ха-ха-ха, получи опять – а не опять, так снова». Со временем он привык и уже не роптал...

Итак, Мариночка слегка, совсем незаметно косолапила – но так очаровательно делала это на своих высоких замшевых каблуках, что у него горячая струйка бежала по позвоночнику от атлантова позвонка до копчика всякий раз, когда она вставала из-за своего стола и неторопливо шла по комнате; у Женьки две – и только две – прядки упрямо отмежевывались от основной массы густо налаченных пепельных волос и, слегка топорщась, заставляли зрителя предположить под ними наличие крошечных озорных рожек, а Михаил самым банальным образом мальчишески дурел, искоса поглядывая на ее отражение в экране своего компьютера; у Валюши все десять пухленьких пальчиков дружно заострились у верхних фаланг, из-за чего он не мог спать без снотворного дней





десять кряду; Алюня, в данную минуту копошившаяся где-то на заднем плане, еще несколько дней назад заставляла его тихо мычать от мысли о ее крошечном розовом шрамике сзади под волосами, шрамике, заметить который можно было только подавая ей пальто, когда она, изгибчиво влезая наугад в рукава, невольно наклоняла голову вперед, обнажая таким образом шею на сантиметр выше, чем всегда...

Сегодня Михаилу было уже наплевать на этот Алькин гутаперчивый шрамик точно так же, как до того на Маринкины тощие кривые ноги, Женькины жесткие и колючие от лака волосы, Валькины влажные цепкие пальцы. Потому что на первом же свидании под мышками у нее обнаружили россыпи серых папиллом, которые хотелось стряхнуть, как крошки со стола, выяснилось, что дыхание имеет странный металлический запах, а бритые ноги – шершавые и холодные... Он уже давно не удивлялся подобным открытиям, потому что так бывало всегда: после недели влюбленного бреда, проходившего для него как в тумане, следовало несколько дней скомканно-лихорадочных ухаживаний, ни разу не закончившихся для него унижительным отказом, и два-три, много – четыре интимных свидания, во время которых невыразимо привлекательная девушка или женщина стремительно превращалась из волшебницы-царевны обратно в болотную жабу. Зная наперед все грядущие метаморфозы, Михаил уже не допускал ошибок юности с бурными излияниями и восторгами перед расколдовавшимися принцессами, что быстро влекло скучные осложнения в виде истерических выяснений отношений с отчаянно квакающими со своих кочек обманутыми жабами. Опытный мужчина, он давно умел расставлять четкие вешки с самого начала: ну, во-первых, он женат, «и это навсегда», а во-вторых, любые попытки задушевности поначалу мягко, а потом и грубо, с плавным переходом в хамство, пресекались им в зародыше. Экклезиаст был не дурак, когда сурово советовал не открывать душу женщине, чтобы не давать ей власть над собою, – а они так и норовили окопаться именно там, словно тоже читали Ветхий Завет и знали, что ключик от мужчины отнюдь не тот, явный и осязаемый, который он им так настойчиво вкладывал в жадные их кулачки...

- Ну, ты идешь? – крикнула Аля из кухни.

Михаил нехотя поднялся в комнате из-за письменного стола, где, отодвинув компьютерную клавиатуру, убивал лишние в жизни минуты тем, что без особого любопытства разглядывал засу-







нутые под стекло семейные фотографии посторонних ему людей. Впрочем, некий будоражащий элемент все же присутствовал: он словно безнаказанно подглядывал в замочную скважину. Вот, например, этот несчастный мальчишка-кадет с вымученно бравой улыбкой и понятия не имеет о том, что на его детское непорченное личико глядит сейчас чужой недружелюбный дядя. А Михаил-то прекрасно знает от Альки том, что мать мальчика, Алькина подруга-разведенка, – невинная сводня, удобно живущая прямо напротив их издательства, сдала сына-подростка в кадетский корпус на казенный кошт, чтобы сбегать с рук на всю неделю и не особенно на него тратиться; зато свою и чужую подлую личную жизнь она может налаживать на освободившейся площади в любое время дня и ночи – плевать, что мальчишечка-то домашний, теплый, по мамке на жесткой солдатской койке плачет, сносит зуботычины от полувзрослых накачанных парней – у той никаких угрызений совести: она ведь не больше не меньше – любимой Родине защитника растит!

- Иду уже, иду, – почти злобно отозвался Михаил, появляясь на пороге кухни.

Это в первый раз (и последний, но она об этом не знала) Аля попыталась обставить их свидание как жалкую пародию на семейственность: подогрела в микроволновке какие-то домашние котлеты с клейким картофельным пюре, вывалила из банки в чужую салатницу собственноручно настроганный «оливье» и теперь судорожно давила на него из пакета жирный желтый майонез. Национальный салат из Алькиных рук был забракован Михаилом априори, без снятия должной пробы: все-таки не было на свете хозяйки, умевшей приготовить его лучше Жанны, вечной супруги, получившей недавно от мужа на серебряную свадьбу давно лелеемые тою в мечтах блескучие висюльки. У нее имелся унаследованный от бабки секрет, своеобразное «ноу-хау», ставившее именно ее «оливье» вне конкуренции: Жанна добавляла в уже готовый мясной салат – только с говядиной, никаких вам колбас-ветчин – банку крабов вместе с соком – и все...

- Сама... ешь, – буркнул Михаил Альке, с умильными глазами совавшей ему под нос хрустальную салатницу, причем лишь в последний момент, быстро одумавшись, смягчил глагол на нейтральный, успев заменить первоначально выскочившее на язык «жри»: больше она его сюда не затащит, но раз уж сегодня приволокла, так надо доиграть пристойно.





Он принялся деловито поглощать под ее одобрительным, исполненным вечной бабьей надежды взглядом деликатесные котлеты, неожиданно явившие под шубой коричневатых сухарей изумительное куриное филе с нежнейшей начинкой из протертой цыплячьей печени – только ради них одних стоило сегодня сюда притащиться с этой... Позавчера-то ни до чего было: прямо на пороге вцепились друг в друга не то в страсти, не то в свирепой драке, полетели какие-то пуговицы, шпильки и тряпки, и добратсья они сумели только до кресла в прихожей, словно специально для этого буйного дела предназначенного... А вчера он заметил, что, открыв белый бельевой комодик, Аля уверенно взяла синий шуршащий пакет откуда-то сбоку – отдельный какой-то пакет, знающий свое законное место в этом вроде бы чужом комодке, – лично ее, Алино место... Оттуда она извлекла две наволочки и простыню – все на вид чистое, но явно не вчера стиранное – и какими-то особенно ловкими и привычными движениями застелила бельем гладкую хозяйскую тахту... Перед уходом все отправилось в том же родном пакетике в уютный беленький ящичек. «Не впервые, – сразу понял Михаил. – Ну, еще бы, конечно: пустая квартира близкой подруги прямо у работы, когда дома мать-старуха и сестра-студентка. У воды – да не напиться?». И стало ему так противно, будто она была любимой женщиной, пойманной на измене. «А если бы была? Что бы я тогда почувствовал? – подумал он, и его отчетливо передернуло. – Нет уж, будем вечно придерживаться совета Экклезиаста...».

Весь Ветхий Завет он, конечно, не читал – как и Новый, и Псалтирь, по которым тридцать лет назад на первом курсе Универса они учились читать по-старославянски. Но в отрывках знал и то, и другое, и третье изрядно, а кое-что даже и наизусть – потому что препод по старославу был желчным пунктуальным старикашкой с козлиной бородкой, пытавшим и без того ошалелых от сигматического аориста студентов еще и длинными текстами из Священного Писания, раздавая на занятиях ксерокопии целых страниц и требуя гладкого, беззапиночного чтения и наиточнейшего, без всяких художественных домыслов, перевода.

- Ну-с, уважаемая, – блял он в набыченную от смущения голову толстой девочки, что с бесконечными спотычками и придыханиями уже четверть часа натужно переводила эпизод с Саломеиной пляской. – И на чем же, по-вашему, Саломея просила Ирода подать ей голову Иоанна? Что же это за таинственная «миса» такая?





- Большая миска? – с тоскливой надеждой вопрошала та (ну, конечно, если маленькая, то миска, а большая – так выросла до целой «мисы», следовало по ее убогой девичьей логике).

- Вы сами-то, уважаемая, гуся жареного гостям на чем подаете? – неумолимо дребезжал дотошный профессор.

- Блюдо! – трагически выкрикивала пытаемая, словно выдавая государственную тайну, и казуистический допрос продолжался до самого конца страницы, очень часто заканчиваясь жестяночным скрипом: «Садитесь, "плохо"!» – и так однажды наткнулись, помнится, на историю Амнона и Фамари.

Ее бойко перевела записная отличница Ирка – и на том пара успешно закончилась, поэтому горькая судьбина бедной Фамари не успела потонуть для студентов-русистов в дальнейших перипетиях высоких судеб древнееврейского народа, а была бойко обсуждаема в темноватом кафе за фирменными университетскими грибными пирожками, известными тогда многим городским гурманам восьмидесятых, незаконно посещавших со двора студенческий кафетерий. Злокозненный Амнон, поначалу аж заболевший от любви к Фамари, тем не менее, ничтоже сумняшеся заманил ее к себе, пробив на жалость, – и преспокойно изнасиловал. Самое интересное, что девчонки (а учились в группе, кроме Михаила, только они) именно за это не очень-то его и осуждали: дело житейское, влюбился парень да не сдержался, с кем не бывает! А вот за то, что после содеянного возненавидел обесчещенную им же девушку, да так, что «была эта ненависть больше его любви», и прогнал ее вон, велел слугам вытолкать взашей, – за то девчонки подвергли Амнона страшным женским проклятьям, и, думается, не в первый раз за человеческую ветхую и новую историю, – так что кости его, а потом и пыль, в которую они с тех пор превратились, должны были не то что регулярно переворачиваться, а просто смерчем носиться по миру. Этаким разрушительным тайфуном «Амнон», насланным вековой женской ненавистью. Под возмущенный шумок Михаил предусмотрительно выскользнул из кафе, пока не дождался лично в него нацеленного рокового вопроса: «А ты что об этом думаешь?». Потому что нельзя же было в эти двадцать прищуренных в половой солидарности острых глаз ответить прямо и честно, что Амнон ему милей и понятней, чем Фамарь. Кромешная, дремучая дура, на что она была еще мужику нужна? И никакую не ненависть испытал к ней Амнон – много чести, ненавидят врага, а не бабу! Простое отвращение у него по-





явилось, как у любого здорового самца к потребленной самке. А этим как объяснить? Ведь не скажешь же: хорошо, в жаркий день захотела ты мороженого. Съела одно, съела другое... Ну, ладно, третье... А при мысли о четвертом затошнит ведь!

Вот как сейчас, шестая котлета «де воляй» – или как там они называются – уже ни за что не хотела в него влезать. Тьфу, гадость жирная. А еще с голодухи вкусными показались...

Между тем до конца обеденного перерыва оставалось лишь около получаса, а успеть предстояло немало: во-первых, наскоро совершить то, ради чего, собственно, и существовала в природе эта конспиративная явка, и чем заниматься на сытый гастритный желудок, натужно принявший за переработку горелых сухарей, прогорклого масла и сомнительной курятины, не хотелось просто категорически. А потом предстояло лихорадочно одеваться, невольно наблюдая неаппетитные подробности чужого интимного туалета, и трусцой нестись по отдельности обратно в издательство... Бр-р... Михаила, вновь вернувшегося было к столу с фотографиями, передернуло от такой перспективы, и даже мелькнула немужественная идея вот прямо сейчас, пока Алька наскоро догромыхивает на кухне посудой, бесшумно сбежать навсегда из этой поганенькой квартиры... А с бабой можно потом хоть не здороваться: работают в разных отделах, никаких крючков, чтоб за губу его зацепить, у нее нет и быть не может – об этом он всегда с особой тщательностью заботился... Ну что – классический соскок? Он осторожно передвинул обратно клавиатуру, оперся ладонью о стол, тихо подымаясь, – и вдруг сквозь его же пальцы глянуло снизу вверх туманное женское лицо.

Михаил еще даже не взглянул на него как следует – а уже, словно варом обдало голову, а ноги согнулись сами, бережно возвращая хозяина обратно на хлипкий вертящийся стул. Впервые в жизни это произошло с ним наяву, четверть века случаясь только во сне, – и тогда он взвивался, задыхаясь и пища, как придавленная мышь, и в тысячный раз рассказывал сонной мятой Жанке, что опять, опять, опять тот растреклятый кошмар.

*...Он уверен в себе, потому что прыжок уже семьдесят первый, и привычная высота три тысячи – самая надежная, и бесподобно прозрачен зелено-голубой воздух, и дух захватывает радость от непередаваемого ощущения свободного полета, и так гостеприимно ждет мягкая, милосердная земля... Но вот уже вспыхивают слева и справа внизу круглые белые купола товари-*





*щей по аэроклубу, значит, пора и ему дергать послушное кольцо... Но в этот миг прямо под ним вместо далекого коричневого поля мгновенно вспучивается тугая белая ткань, и он беспомощно летит прямо в нее, она забивает ему разинутый в смертном крике рот, судорожно тянущие отсутствующий воздух ноздри, проникает во все поры, прошивая насквозь, – а он все еще жив, и мука эта никогда не кончится... И тут прямо перед глазами возникает искаженное ужасом и болью, словно любовной мукой, лицо... То самое лицо, что вот сейчас с улыбкой глядит сквозь мутное стекло из-под его похолодевшей ладони.*

Хмурая со сна Жанна приносила ему не мужской, а котовий напиток – валерьянку в стопочке – и, раздраженно поворачиваясь спиной, бормотала: «Ну, сколько можно, сто лет ведь прошло...». Не сто – двадцать пять. Он считал.

Дрожащими руками Михаил кое-как извлек фотографию и вгляделся пристальней в смутной надежде на ошибку. Надежда, разумеется, не оправдалась: будь это не Тамара, его бы так не встряхнуло – стало быть, узнал он ее другим, не обычным человеческим зрением еще до того, как рассмотрел. Счастье, что он не женщина, а мужчина: в свои сорок восемь чувствует себя полным сил привлекательным молодым человеком, у которого все впереди, а женщина «за сорок», как ни крути – а бабка. Как бы ни наряжалась, ни мазалась – бабка. То ли роды их уродуют, то ли дети все соки выпивают, то ли просто природа такая – а женщина после сорока заканчивается. Это была его твердая уверенность, ни разу ничем не поколебленная.

Тамара не стала исключением: черты, вроде бы, те же, даже мелкие кудряшки юности точь-в-точь такие же, как были, а кожа обвисла, вокруг глаз «гусиные лапки», брыли от носа к углам рта чуть не бульдожьки, взгляд потухший... И все равно он смотрел на это когда-то милое девичье, а теперь неумолимо стареющее, погасшее лицо с невольным трепетом, почти с умилением... Тогда, на тренировках, он не отводил от нее восхищенного взгляда – и вот чудо: не было у нее никакой обаятельной не то привлекающей, не то отталкивающей черты, из тех, что мгновенно цепляли его в других девушках, вот именно как рыболовный крючок раззявленную губу карася. Тамару он принимал безоговорочно всю: и ловкие ее движения, и тяжеловатую походку, и матовое не улыбочивое лицо, и чересчур низкий для женщины голос, и даже то, что она всегда его в чем-нибудь невольно обставляла: напри-



мер, укладка парашюта с самого начала была для него сущим наказанием, причем, любую помощь принимать категорически не допускалось: если разобьешься – виноват только ты. Так вот, он со своим парашютом справлялся в группе последний, а она – первая. Был бы на ее месте кто другой – возненавидел бы Михаил наглого выскочку лютой ненавистью, а в Тамаре – восхищало... Все, все восхищало: ее недамская в себе уверенность, недевичья основательность, светлый вдумчивый взгляд из-под строгих и четких каштановых бровей... Оглядываясь назад, он потом с изумлением вспомнил о том, что, несмотря на то, что девушка эта нравилась ему прямо катастрофически, он ни единого раза не посмел чувственно представить себе даже как целует ее, а уж обычные скверные фантазии с последующими грязными руками и чувством вины никогда не ассоциировались с ней... Ему, темно-волосому и синеглазому мускулистому парню, мечте поклонниц Алена Делона, было легче броситься в первый раз в бездну из свистящей квадратной дыры в грохочущем железном чреве, чем, пригладив непослушные вихры и судорожно облизнувшись, решиться пригласить ее в кино. В тот первый раз она отказалась. Но не с уничижительной усмешкой красавицы, отвергающей докучливого ухажера, а мягко и почти печально объяснив, что у ее лучшей подруги – день рождения, и поэтому кино придется перенести на другой раз... Она сумела своим глубоким контральто произнести все слова именно так, чтоб он не отполз в сторону побитым псом, а унес с собой в потеплевшей от разгоравшейся надежды груди ее новый, стремительно родневший образ. Он едва дождался обещанного «другого» раза, случившегося лишь на следующей неделе, и принял твердое решение повторить отчаянную попытку непосредственно после приземления – оттого и подгадал очередь так, чтобы выпрыгнуть прямо за ней и будто бы стремительно нагнать ее своей любовью и даже некоторой мужественной дерзостью.

Оба не знали, что практически одновременно почти такой же случай произошел с двумя незадачливыми парашютистами в Австралии. Там обошлось без серьезных последствий, поэтому виноватых и не искали. А в Советском Союзе виноват был именно Михаил – и никто другой, но, поскольку он-то и пострадал по настоящему, с него сурово не спрашивали...

Он сделал то, что не пристало и новичку, нарушил одну из важнейших заповедей парашютиста: никогда не хвататься за





кольцо, если под тобой кто-то есть. Но, охваченный совсем не тем волнением, какое предполагалось во время прыжка, он непроизвольно раскрылся, находясь прямо над Тамарой, – и, не зная об этом, она в ту же секунду раскрылась тоже... Ее купол с размаху ударил в еще раскоряченного лягушкой Михаила, и он своим телом смял его, перекрутив стропы, а сам, от неожиданности и довольно сильного удара соскользнув с мятого купола, повис без движения, как отпущенная кукольным марионеткой. Два парашюта спутались, закрутившись друг о друга намертво. Волей сорванца-случая Михаил застрял чуть ниже Тамары, попавшей в стропы, как в сети. Нескончаемо долгие минуты, что один парашют на двоих кое-как нес их к уже не гостеприимной и ласковой, а ощетилившейся тысячами острых камней беспощадной земле, он из тумана полуборморока беспомощно смотрел прямо перед собой на ее затертую меж тугих строп почерневшую руку, лишенную перчатки, а чуть выше видел сначала женское мученическое лицо, а потом – уже страдальческий оскал жестоко убиваемого хищника... И ни одного звука кругом... Потом страшный, потрясающий удар, во время которого он отчетливо услышал треск собственных костей, – и все надолго для него погасло...

В Универе пришлось брать академку перед самым дипломом – ну, да это была наименьшая из всех неприятностей, хотя и говорили вокруг, что повезло им обоим сказочно: Михаил отделался несколькими некритичными переломами – ребра без смещения плюс три конечности из четырех – а позвоночник и череп парадоксально не пострадали совсем. Тамара же и вовсе, как ему ребята из клуба рассказали в больнице, родилась в рубашке: в гипсе только одна рука, полтела – сплошной синяк, но зато этим и кончилось, через неделю уж домой обещают выписать... Он шепотом простонал: «Все». После такого, навечно во все анналы аэроклуба вошедшего полета, к ней путь-дорога заказана... И действительно, Тамару ему так больше увидеть в жизни и не пришлось.

Другие, гораздо более насущные заботы отодвинули на задний план так и не успевшие начаться терзания несостоявшейся любви. Сначала боль была, как искренне считал Михаил, адская. Когда на короткие минуты удавалось забыться тонким, как медицинская марля, сном, ему снилось, что на него напала и рвет на куски свора бродячих псов. Он отчетливо видел хищные окровавленные пасти, терзающие в грязи откушенные куски его увечных





конечностей, корчился среди рыка и воя – и просыпался с тем, чтобы встретиться наяву с грызущей, рвущей, выкручивающей, тянущей, выматывающей болью *везде*. Она была как живое существо без сердца, без разума – недоступное мольбам, не падкое на взятки, да и дать их было нечем. Делала, помнится, старая одышливая медсестра какие-то редкие уколы, притуплявшие страдания на некоторое, очень незначительное время, – и опять то бешеные собаки в мучительном полусне, то невидимая многоглавая гидра, впивавшаяся в него зубами, клешнями и когтями наяву... Кто мог бы облегчить его страдания? Уже лет десять как умершая мать – но не докричаться теперь до нее, не дохрипеться... Отец приходил в больницу после работы и сурово, нарочито «по-мужски» пытался взбодрить, убеждал «держаться», порываясь даже хлопнуть по плечу, – правда, хватало ума отдернуть вовремя руку, когда натыкался на отчаянный взгляд обездвиженного сына.

Но однажды, как солнечный зайчик в склепе заживо замурованного, появилась красавица Жанна, дочь отцовского товарища по рыбалке, – Михаил видел ее несколько раз, когда в добровольно-принудительном порядке мужики мобилизовывали летом обоих подростков чад для береговых нужд, – а может, и в тайной надежде на то, что те вдруг возьмут – и друг дружке понравятся. Жанна не понравиться не могла: высокая, грудастая блондинка со спокойными карими глазами и медлительной речью, она могла бы, конечно, украсить собой к тому времени уже внушительную Михайлову коллекцию, но под ободряюще-благожелательными взглядами обоих отцов сама мысль о каком-либо ухаживании не могла даже мимоходом сверкнуть у юного ловеласа в голове. Еще бы: тут и слезть с нее не успеешь, как марш Мендельсона заиграет!

Но, когда открылась обшарпанная палатная дверь и в проеме показалось знакомое, приятное и, главное, по-человечески сочувствующее лицо, Михаил обрадовался ему несказанно, точно только эту чудную девушку и ждал в своей жизни, только из ее рук чаял принять облегчение. И оно пришло.

- Бо-оже мой, что же они с тобой здесь делают! – простонала Жанна с порога и, склонившись над его пытошным ложем, добавила шепотом те самые слова, что героические медсестры говорили под пулями смертельно раненым бойцам: – Сейчас, сейчас, потерпи, миленький...

И он поверил, что скоро его вынесут из боя, уймут так измо-





тавшую его боль – да хотя бы просто дадут напиться и вытрут пот и грязь с испариной покрытого лба...

Она обтирала его влажными салфетками, пропитанными чем-то неуловимо душистым. Она с ложки поила его настоящим, золотым и ароматным, а не серым больничным бульоном. Она без всякой брезгливости выносила из-под него вонючее железное судно. А когда дело медленно и со скрипом повернуло на улучшение, то чесала принесенной спицей нестерпимо зудевшую кожу под гипсом, в залитом солнцем коридоре учила его ходить на костылях, подставляя мягкое надежное плечо, если он лишился последних сил, и, ни на секунду не возроптав, волокла в палату на себе, когда, позволяя себе вполне законный каприз выздоравливающего, он заявлял, что больше не может пошевелиться.

- Женись, дурак. Как за каменной стеной за ней будешь, – без всяких обиняков порекомендовал ему в палате матерый мужик с пробитой было, но быстро, как на боевом коте, заживавшей башкой.

Остальные зареготали, а Михаил озлобился и на следующий день встретил Жанну нарочито грубым:

- Приперлась?

Но она не обиделась, даже лицом не потемнела – и, все так же ясно глядя ему в глаза, начала, как ни в чем не бывало, спокойно рассказывать о каких-то своих студенческих пусяках...

Они расписались, на радость обоим своим рыбакам, вскоре после больничных мытарств, и ровно через девять приятных месяцев, жарким черномыльским летом Жанна без всяких мучений, легко и радостно подарила ему их первенца-наследника, отличного розового сына Вовку, а еще через полтора года точно так же, словно между делом, родила такую же крепкую дочку Катеньку.

Жанна оказалась из той, лет сто назад цены не имевшей породы женщин с экзотически-первобытным взглядом, для которых животное материнство является болезненной целью, на пути к которой до кровожадности жестоко сметаются все остальные человеческие чувства и стремления, включая сюда и любую другую любовь, кроме той, что жадно направлена на потомство. Роль мужа при одержимой великой целью жене походя низводится сначала до осеменителя, а потом – до вечно понукаемого добытчика и, по совместительству, исполнителя традиционно тяжелых и грязных работ. Сопротивляться такой жене невозможно в принципе, потому что все ее действия освящены вековой правотой создатель-



ницы и хранительницы очага – обязанность уважать ее доводится порой до культа, и спасения нет. По природе своей Жанна могла и хотела приносить ежегодный здоровый приплод, потому что обладала замечательной ветхозаветной способностью зачинать при каждом супружеском соитии, в любой день, попирая самые тщательные предосторожности, – а в суровые девяностые растить и двоих считалось делом неподъемным. Рыдая, она ходила на аборт по четыре раза в год, истерически обвиняя мужа, мужа, мужа, и только его, – и, в конце концов, Михаил стал попросту бояться торжественного супружеского ложа. Впрочем, Жанна и не настаивала: бесцельные сопряжения, не имеющие перспективы вновь наполнить младенческим теплом вечно тоскующие руки, не имели для нее ровно никакой самостоятельной цены.

Она знала, конечно, что муж ее периодически бывает гуллив, но проявляла похвально проникательную снисходительность. «А-а, не смылится. Лишь бы все в дом нес», – такова была ее несокрушимая в своей жестокой правде жизненная позиция. Сгубленная на корню его жизнь – да что там жизнь, крушение цивилизаций, потрясение исторических основ – все это ровно ничего не значило по сравнению с одним прохуdivшимся Катенькиным или Вовкиным башмачком. В прямом смысле – не в переносном. Когда в первые годы брака Михаил еще надеялся разбудить в жене какие-то человеческие чувства, она просто и невинно пресекла все попытки в навеки памятные дни августовского путча:

- Баррикады на Невском! – тогда еще юным корреспондентом несерьезного журнальчика вбежал он домой проведать семью перед грядущим, как втайне надеялся, геройским подвигом. – Чего ждать – неизвестно! Может быть, к ночи начнется стрельба...

- Знаю! Ужас! – взволнованно прервала его молодая жена, и он весь устремился к ней в ту минуту, решив, что горести страны могут теперь негаданно сблизить их, но она продолжала с досадой: – Там, прямо у баррикад этих дурацких, – хороший обувной магазинчик. Я ботиночки для детей присмотрела – загляденье. Ты посмотри, что у них с обувью делается – кошмар! Думала, с полочки твоей куплю, а теперь действительно неизвестно... Вообще неизвестно, скоро ли удастся достать им какую-то обувь! А в чем им осенью ходить?! В чем им ходить, ты подумай!

А у него и полной уверенности в том, что эта осень вообще наступит для них, в тот момент не было...





Так Михаил постепенно превратился в Амнона – и ничего, не жалел, приспособился. Так даже лучше: по крайней мере, ничего выдающегося давно уже не ждешь...

Сзади на плечи ему легли две жесткие руки с твердыми острыми ногтями, щеку обожгло противно-теплое металлическое дыхание:

- Ну, чего ты, у? Соскучился? Карточки Риткины разглядываешь? У? – Аля терлась увядающей напудренной щекой о его напряженное, исподволь уходящее вниз плечо. – Это кто тут у тебя? А, Томка, сестра Риткина, сухоручка... Ну, чего ты, милый, у? У-у? – Аля уже властно разворачивала его к себе, ласково бодеясь колючей стриженной головой.

Михаил замер на секунду, но вдруг сглотнул облизнулся:

- Сухо... что? Не понял...

Она нехотя отстранилась, досадливо выдохнула через нос и скороговоркой объяснила:

- Ну, рука у нее высохшая. Что-то там в молодости в парашютном клубе случилось, я толком не знаю... Запуталась, что ли, в парашюте этом, и сухожилия как-то перерезало... Вроде, оперировали несколько раз – без толку. Рука вся скрюченная и не шевелится... Старая дева, конечно, кому такая нужна... Короче, не спрашивала я подробностей... Мне-то какое дело... – Аля снова потянула его к себе, уже настойчивей, с обиженными нотками, мурлыча: – Ну, давай, ну, чего ты... Двадцать минут осталось на все... У? У-у?

За ее спиной уже пригласительно пестрело на тахте веселенькое цветастое бельишко.

Михаил быстро поднялся, грубо стряхивая с себя ее цеплючие, как у большой шелудивой кошки, когти.

- Да чтоб тебе... – процедил сквозь стиснутые зубы и, не разменявшись более ни на звук, зашагал к дверям, на ходу прихватывая сумку и куртку.

Когда-то в незапамятные времена Амнон находился в несколько лучшем, чем он сейчас, положении: «Встань, уйди», – с полным правом мог он сказать своей ненавистной Фамари.

*30 марта 2014 г.*

*Букино*





# Соломенный вдовец

## 1

Напротив, далеко за Академией Художеств, и еще дальше и правее – надо всей Петроградкой, в стремительно ярчавшем небе вдруг неведомым образом оказалась словно застывшая на лету со сложенными крыльями бессчетная стая огромных черных птиц. Вот только что они с Кирой шли к зловеще багровеющему в теплой светлой ночи Эрмитажу через площадь Урицкого<sup>1</sup> – и небо было волнующе перламутровым и высоким, без намека на что-то пугающе чужеродное, не идущее городу, как черная фетровая шляпа не пошла бы сегодня к голубому крепдешиновому платью его жены. Жены... Какое странное слово применительно к Кирочке! Подождите-подождите – а он-то ведь – муж, выходит! Кровь бросилась Борису в голову, потому что именно сейчас, на подходе к мосту лейтенанта Шмидта<sup>2</sup>, до него вдруг дошел неоспоримый факт, которому в одиннадцать часов утра наступившего воскресенья должно было исполниться ровно двадцать четыре часа: в субботу они действительно расписались в одном из районных Загсов и даже получили на руки кремовую бумажку с гербом. Фиолетовые буквы, торопливо написанные невыспавшейся служащей, подтверждали со всей несомненностью, что они двое, Борис Александров и Кира Зуева, вступили вчера в самый что ни на есть законный брак...

- Зачем эти аэростаты? – прозвучал рядом удивленный и даже словно обиженный Кирочкин голос, и Борис, очнувшись, вздрогнул. – Вот кому, интересно, пришло в голову в такую чудную, такую теплую ночь... Вернее, уже утро... Затевать какие-то учения по ПВХО? Ну, хоть бы сегодня...

- Они же не знали, что у нас свадьба, дурочка... – Борис осторожно приобнял ее, ощутив под рукой модный плотный подплечник. – Вот если б знали, – тогда, конечно...

- Иди ты! – Кира смущенно высвободилась и – закружилась по гранитным плитам, запрокинув голову, невесомая в своем первом «настоящем» платье и ловких черных туфельках. – Я – жена, я

<sup>1</sup> Дворцовая площадь.

<sup>2</sup> Благовещенский мост.





– жена, я – жена! – пропела она, размахивая крошечной, чуть побольше кошелька, сумочкой. – Как здорово! Правда?

– Конечно... – не совсем уверенно отозвался Борис и принужденно улыбнулся.

Бумажка о законном браке лежала в нагрудном кармане его нового пиджака; Кира хотела было положить в сумочку, но он решительно воспротивился – вдруг потеряет – и убрал в более надежное место. Свадебный ужин тоже состоялся, как тому и положено, – на Васильевском, где Кира жила с вдовой матерью-учительницей и двумя младшими сестрами – в комнате узкой и тесной, как тот зеленый троллейбус, что уж пять лет ходит, битком набитый гражданами, от улицы Красной до Красной<sup>1</sup> же площади... Его-то мама, да и он сам, понятное дело, хотели праздновать в Смольном, в их большой светлой комнате при хозяйственной части, да только не удалось достать необходимое количество пропусков для гостей – а упрямая Кира обязательно желала видеть на свадьбе целый букет из своих писклявых однокурсниц в одинаковых белых сарафанчиках с голубыми пуговицами и резиновых тапочках, заботливо натертых зубным порошком, и тоже – представьте себе – на голубых пуговичках! Они хохотали и ели, ели и хохотали, иногда спохватываясь и вспоминая, что давно не кричали «Горько!», – и тогда старинная пыльная люстра под высоким потолком звенела от их пьяненького, но дружного визга. Редкие баритончики и несмелые молодые баски приятелей Бориса безнадежно тонули в девичьем, будто галочьем гвалте – и все, неутолимо голодные, вновь жадно кидались на невиданную дотле еду. Это, конечно, мама расстаралась: она работала на раздаче в столовой северного, «секретарского» крыла Смольного, где питались, конечно, не секретарши, а именно секретари: Горкома и Горисполкома – ну, и начальники отделов, само собой. Секретарш – тех гнали в южное крыло для «аппарата», победнее и попроще. Да и не имело это значения, а важным было то, что даже в глухое, страшное и темное время войны с белофиннами, когда в ленинградских магазинах остались только хлеб и чай, да и за теми нужно было занимать очередь с ночи, в их с мамой уютно натопленной комнате всегда стоял меж оконных рам наваристый мясной суп, лежали свертки с ароматной колбасой, сливочное масло в красивой коричневой бумаге. По воскресеньям мама заставляла юного Борю съедать по два бутерброда с красной или

<sup>1</sup>Площадь Александра Невского.





черной икрой – он ненавидел и ту, и другую, но столовая ложка рыбьего жира, которой обычно грозила мать в случаях его «лома-ния», виделась гораздо более страшной, способной отвратительным послевкусием испоганить весь сияющий радостью выходной день... Но в день свадьбы эти бутерброды, к его удивлению, разлетелись раньше всего остального. «Ребята, имейте совесть, оставьте бутербродик жениху!» – трагически взывала, помнится, какая-то смутная «Людочка» – а он, смеша всех, скривил ужасную рожу и стал отмахивался обеими руками. «Борис, – в тот же миг на плечо ему со строгой лаской легла холодная, как у статуи в Летнем, рука тещи. – Возможно, это и не мое дело, но хочу напомнить вам, что вы – действительно жених. А в старое время жениху и невесте на свадьбе хмельного вообще не давали. В интересах потомства... Ну, вы меня понимаете...». Он покраснел так, что даже жарко стало, и тут же поймал испуганный Кирочкин взгляд: она, наверное, тоже подумала о неизбежном «потомстве» и успела представить себе заспиртованного уродца из Кунсткамеры. Они тогда вместе *это* увидели: просто завернули за угол и натолкнулись – и ему ли не помнить, какой ужас отражался в ее глазах, когда она пулей летела из музейного зала (он – следом) и бормотала на лету: «Это все он, отец его, пьяница проклятый, – откуда еще *такое* могло взяться...».

Борис засопел, дальше пил только сидро – и с каждой минутой ему делалось все больше и больше не по себе, к тому же, гости начали понемногу собираться и, оставляя щедрые белые следы зубного порошка на полу, уходили шумными кампаниями – а парни еще и показывали ему за спиной девушек очень неприличные, но легко читаемые знаки, призывавшие «не робеть» и, уж конечно, «не подкачать». Но не робеть он не мог, и вовсе не был уверен, что не подкачает. Бывая раньше в гостях у сокурсников он, разумеется, как и все они, прикидывался «бывальым», скромно, но убедительно играя роль небрежно-опытного товарища, которому приелись легкие красивые победы. Роль его оказалась нетяжелой – судьба подсобила: в их коммунальной квартире в хозчасти Смольного раньше проживало семейство шофера какой-то горкомовской «шишки», и старший сын, шалопутный Санька Тараканов, имевший само собой разумеющуюся кличку, учился на врача: «выучить» детей по-настоящему, чтоб вырвались из obsługi, считалось среди простого, но много видевшего люда делом особой чести. Таракан посчитал своим долгом свысока просветить сосун-







ка-соседа, одолжив ему как-то на ночь один из своих недоступных простым смертным медицинских учебников, снабженных вполне соцреалистическими иллюстрациями, где у хитроумно связанных и взнузданных простынями женщин, приготовленных «к малым гинекологическим операциям без хлороформирования», были педантично прописаны даже ресницы на туповато-спокойных лицах. Прячась от матери, ритмично всхрапывавшей за внушительным шкафом, Борис изучал дивную книгу с помощью не раз выручавшего и раньше фонарика в кромешной тьме одеяловой норы, изредка опасливо высовывая пылавшую голову, чтобы плотнуть свежего воздуха, а утром, вполне теоретически образованным молодым человеком, спокойно и крепко заснул на полчасика, спрятав сокровище под подушку... Было это давно, еще в школе, но плоды принесло изумительные: теперь в его бывалости никто из окружения и не думал сомневаться – ведь Борька умел при случае козырнуть такими ошеломительными подробностями, каких и представить не мог никто из действительно успевших наскоро надкусить еще зеленый запретный плод друзей – студентов Технологического института.

Но вся интрига состояла в том, что теория так пока и оставалась теорией: пусть Борис и убеждал себя день ото дня старательней, что «Байрон тоже был хромым – и ничего», но приблизиться с определенной целью к любой, даже наидоступнейшей девушке – своей ныряющей, словно заранее извиняющейся за несуществующие грехи походкой, – он не смог бы даже под угрозой немедленного расстрела как врага народа. Пусть уж лучше стреляют – только не увидеть еще раз такого же полупрезрительного, полужалостливого взгляда, какой кинула на него несколько лет назад серая мышка (специально выбрал неизбалованную!) Люд-ка Быкова, когда он, кругами прохоронив вокруг нее месяц, собрался, наконец, с духом пригласить ее на новую звуковую картину «Волга-Волга»...

Ему было пятнадцать, когда в бывшем Таврическом саду, ныне носившем гордое название Парка культуры и отдыха имени Первой пятилетки, торжественно открылся первый в Ленинграде роликовый каток, красиво именовавшийся «скетинг-рингом». Он и теперь, зажмурив глаза, мог в подробностях представить себе те дурацкие плакаты с толстой стриженной брюнеткой в красной кофте и на роликах, словно лягающей мощной «задней» ногой на колесах крошечную мужскую фигурку в белом... «Скетинг





радиофицирован, – сообщала черная надпись у «передней» ноги. – Буфет с прохладительн. напитками». Да, да – и такая смешная деталь навечно приклеилась к доверчивым мозгам: окончание «ыми» то ли не влезло, то ли посчитано было лишним... Обещали еще с каждой афишной тумбы и какие-то «всевозможные танцы и пр.» под руководством роликобежца-виртуоза Кочкурова... «Кроликобежца! – много лет слышал потом во сне Борис незамысловатый каламбур одноклассника. – Бегает, наверно, как кролик!». На бывшей Думе пробило восемь – «скетинг» как раз открывался – и в ту же секунду лихо подкатил новенький, только-только запущенный тогда по проспекту 25 Октября<sup>1</sup>, пахнувший свежим лаком скамеек угловатый зеленый троллейбус с белой крышей и добрыми глазами-фарами. Борька с товарищем сели и поехали – ненадолго, только примериться: завтра предстояла контрольная по неорганике... В школу он вернулся только через год – с правой ногой короче левой на шесть сантиметров, почти переставшим сгибаться коленом и толстой прокладкой в несчастливо измятом ботинке.

...Было несколько не больно, и в первую секунду он опрометчиво решил, что повезло – даже синяка не набил. Ехать на роликах после двух-трех несмелых попыток и мягких приземлений на пятую точку вообще оказались не труднее, чем на обычных коньках с черными ботинками, – а здесь и ботинок не требовалось: продеваешь ногу прямо в резиновом тапочке сквозь два ремешка – поперек стопы и через пятку – и гони себе по кругу, а хочется шика – крутись в обещанных танцах безо всякого руководства... Промчаться с ветерком, приноровившись по-настоящему, он успел только полтора круга, когда огромная тетка, остриженная «в скобку» и одетая точно, как на плакате, в кумачовую рубашу, с воем налетела на него откуда-то сбоку, будто отчаянно гудящий паровоз, смела, как котенка с рельсов, и грузно понеслась по одной ей ведомой траектории... А Борис, от неожиданности почти упавший, присев на левой ноге и неловко выставив пистолетом правую, отчего-то уже бесколёсную ногу, вихрем промчался к ограждению – и с удивительно громким хрустом врубился в него. Он сразу же вознамерился встать, почистить только утром наглаженные мамой и весьма уже испачканные брюки, разыскать упавший конек... И не понял, на что такое острое и твердое, как лыжные палки, натывается, отряхивая брючину, его удивленная

<sup>1</sup> Невский проспект.





ладонь, почему у одноклассника, конопатого Лёхи, так широко открыт в беззвучном вопле крупнозубый рот, а веснушки словно повисли в воздухе над посеревшими щеками, зачем трясет его за плечи, как жадную яблоню, незнакомая перепуганная девушка в белой с красным крестом косынке, и о чем она его так настойчиво спрашивает...

Боль пришла потом – когда лежал в больнице на вытяжке и сутками вопил не своим голосом, так что добрый старенький профессор с белой бородкой-клинышком даже постоял над ним однажды минутку, посочувствовал: «Ну, что, милый? Лечат тебя по методу Малюты Скуратова? Э-эх, бедняга ты, бедняга», – и ушел. Но появился, как по щучьему веленью, неслыханный морфий, ненадолго ту боль утолявший. Его просто и быстро обеспечил отец просветителя-Таракана – вернее, та еще не расстрелянная тогда строгая горкомовская «шишка», что ездила с ним на заднем сиденье замечательной черной «эмки». Расчувствовалась «шишка» от жалобного рассказа своего водителя, буркнула небрежно пару слов в эбонитовую трубку – и сразу к Борьке прибежала медсестра со стеклянным шприцем – и долго, между прочим, бегала, а не то бы совсем беда... Когда «шишку» расстреляли – и Тараканова-отца с семьей на всякий случай – сестра прибегать перестала, наоборот, глядела непроницаемо. Правда, боль к тому времени стала уже вполне терпимой и без морфия...

В институте Борис догадался с первых же дней принять вид особенный и загадочный. На чей-то наивный вопрос: «Это с рождения у тебя так?» сдержанно покачал головой и помрачнел лицом, оставляя воображению новых товарищей широкий простор для полета. Повезло, что в первые же дни принялись ребята горячо обсуждать в курилке гражданскую войну в Испании<sup>1</sup>, причем каждый отчего-то стремился привести абсолютно несокрушимые оправдания тому позорному факту, что сам в добровольцы не записался. Бориса деликатно не спрашивали – да он и не нарывался – лишь, охваченный мгновенным, какое бывает, должно быть, только у поэтов, озарением, с силой выдохнул через нос едкий дым дешевой «Звезды» и нервным движением смял тонкий окурок о край урны. «А некоторым... пришлось...» – прерывисто пробормотал, словно себе самому, – и тотчас вышел, никому не кивнув. Он ни на что не рассчитывал и почти не играл – само получилось, даже испугался слегка. Никто его потом ни о чем не

<sup>1</sup>1936-1939 гг.



расспрашивал, но в самом отношении новых приятелей с тех пор сквозило легкое, будто недоуменное уважение. Может, и правда, *это* – из Испании? И спрашивать нельзя – какое-нибудь секретное задание? Но в остальном парнем он оказался своим в доску, да еще, вдобавок, охотно подкармливал настоящей колбасой из Смольного тех, кто выглядел уж совсем обтрепанным и откровенно голодным, живя на одну студенческую стипендию. С девушками все годы учебы держался вежливо, но отчужденно, а в сугубо мужских кампаниях прозрачно намекал на страстные связи где-то на таинственной «стороне»...

Очередной Новый год встречали всей группой в полном составе на площади Урицкого. Подумать только – казалось, еще совсем недавно строгая учительница с высокой прической заставляла шестиклашек стройно скандировать в классе вовсе не шуточное двестишнее: «Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов», – а теперь вот не то что елка, а сама Александровская колонна украшена была не хуже: освещенная несколькими прожекторами, она, должно быть, символизировала советское изобилие, увешанная огромными «шоколадными» бомбами, устрашающих размеров картонными колбасами, сверкавшими бумажным серебром, бутафорскими консервными банками, пустопорожне гремевшими на ветру о гранит, и папиросными коробками «Герцеговина флор» размером с рояль. Борис, привыкший к сытной жизни бывшего института благородных девиц, воспринимал происходящее вполне серьезно и невольно раздражался, слушая опасно шутивших среди ушастой и глазастой толпы одноклассников. Один из них, то снимая, то надевая круглые очки, очень смешно изображал в лицах, как бегал минувшей весной рано утром из магазина в магазин, везде отстаивая очередь и покупая по сто разрешенных к отпуску в одни руки граммов еды, чтобы собрать к Первому продуктовую посылку «тетушке в Выдропужск<sup>1</sup>». Корчились от хохота все, включая и самых скромных девушек, стыдливо вытиравших платочками веселые слезы... «Война<sup>2</sup> же кончилась! – повторяли они сквозь смех, как по команде. – Теперь всё скоро будет, всё-всё-всё!». Никто и не спорил – молодежь целенаправленно веселилась.

Среди своих по рукам шла уже четвертая бутылка «Плодового-ягодного», когда боковым зрением Борис уловил неподалеку что-

<sup>1</sup> Город в Тверской области.

<sup>2</sup> Советско-финская война 1939-1940 гг.





то родное. Именно родное – так он определил для себя, еще не повернувшись. Там кто-то *хромал*. Причем, хромал именно так, припадая и вскидываясь, как и он сам, да еще и на ту же ногу. Сделав стремительный разворот на здоровой ноге, молодой человек увидел юную растерянную гражданочку в основательно потертой беличьей шубке и полудетском вязаном капоре. Тоненькие ножки, всунутые в несоразмерно объемные боты, тревожно топали по крошечному пяточку свободной от ликующих товарищей мостовой; судорожно, как подбитая утица, девушка ныряла на каждом шаге вправо, с усилием выпрямляясь... Борис не помнил, как оказался рядом с ней, знал только, что не чувствует никакой неловкости и униженности, а, наоборот, подлетает к ней кем-то вроде ангела-избавителя – если бы, конечно, таковые не являлись идеологически вредной сказкой:

- Гражданочка, вы, наверное, потеряли что-то?

Ее лицо как раз в ту секунду коротко лизнул прошедший по толпе прожектор, и хромой ухажер на миг увидел очень ясные, как летняя ночь, глаза.

- Это не я, а меня потеряли, – спокойно и доверчиво сообщила она. – Мама и сестренки. И теперь уж не найдут в такой толчее. Придется мне, видно, одной до дома ковылять...

- Не одной! – обрадовался Борис, снова ведомый в те минуты чем-то вроде вдохновения. – Мы вместе поковыляем! Я ведь – тоже – видите? – и он демонстративно прохромал перед ней несколько шагов туда-сюда: вовсе не стыдно показалось, потому что она была – своя, хроменькая...

- Бедненький! – пожалела девушка. – Упали?

- Да, на роликах... Много лет назад, – сознался он. – Глупо, конечно, вышло...

- На роликах – не глупо, – со знанием дела утешила она. – Глупо – это когда, как я: только поняла, что меня потеряли... то есть, я сама потерялась... Так и побежала сквозь толпу, не зная куда, как последняя дурочка... А у меня в эти боты-то – ноги прямо в туфлях вставлены. Тепло, но неудобно – вот и брякнулась! Нога подвернулась, ботик один улетел, еле нашла его – чуть не затоптали... Представляете – я тут ползаю на коленках, чулки новые порвала, боль ужасная – а они кругом прямо из горлышка вино пьют и хохочут... Потом нашла его – а лодыжка так распухла, что еле влезла... Вот и хромаю тут... В другой день давно бы заплакала, да нельзя – Новый год же! Бабушка говорит, как встретишь, так





и проведешь. Не хочется весь год рёвой ходить – вот и держусь как умею... А вы говорите – на роликах глупо... Да глупей, чем у меня, не бывает!

- Насчет того, что весь год – это предрассудки, плачьте себе на здоровье, если хочется, – авторитетно изрек Борис, только что одну за другой постигший две непреложные истины: во-первых, эта милая храбрая девочка хромает *не навсегда*, а во-вторых, хромая только временно, она вовсе не гнушается стоять тут с ним, хромым *пожизненно*, – и не только не гнушается, но даже и не думает смотреть на него страшным взглядом Людки Быковой, а смотрит светло и ярко, как лампочка Ильича...

Отрез голубого крепдешина на платье для Загса подарила Киричке Борина мама, пять лет горевавшая о том, что ее горячая мечта о внуках имеет мало шансов на осуществление. При вести о скорой женитьбе вечного сына – да не на замухрышке какой-нибудь, а на приличной девушке из трудовых интеллигентов, она воспряла духом настолько, что даже сама предложила жениху с невестой располагаться после росписи на Бориной половине комнаты, за книжным шкафом, сколь угодно привольно – а о разрешении на прописку она договорится: как-никак, с восемнадцатого года при Смольном, знакомствами обросла что твой корабль ракушками – вот хоть завтра с маникюршей из родного «северного» переговорит... Кожаные туфли со скрещенными ремешками – купленные еще у нэпмана, но вполне целые и с новыми набойками – пожертвовала молодая Кирина бабушка, а младшие сестры-двойняшки щедро скинулись со стипендии на настоящие фильдеперсовые чулки. Будущая теща несколько ночей подряд, проверив очередную стопку школьных сочинений, не разгибая спины, строчила на столетнем «Зингере» капризный небесного цвета материал, из которого постепенно, как статуя из мраморной глыбы, рождалось дивное платье с рукавами-«фонариками», с легким летящим подолом...

...Со своей свадьбы они ушли последними, через час после отбытия вполне довольной жизнью свекрови, объявившей, что ей завтра к шести утра на работу, – потому что люди «и по воскресеньям тоже жрать хотят». Рабочая смена в «секретарской» столовой Смольного длилась шестнадцать часов, зато работать приходилось через день; работы мать Бориса не боялась, привычная к





ней задолго до исторического Октябрьского восстания. Ей было что восемь, что шестнадцать – так и так наломаешься, зато всегда знаешь, что завтра выходной...

- На трамвай, смотрите, не опоздайте, – предупредила она, сосредоточенно приделывая себе перед трюмо ярко-красную шляпку – милую, дамскую – но совершенно лишнюю на ее крупной, ушастой, спокойно обходившейся вообще без шеи голове. – И, как в комнату войдете, не топайте там особо: мне в пять утра вставать, между прочим. Ты, Кира, пропуск-то не потеряла?

Но Кира все норвила остаться ночевать в родном доме, на каком-то историческом сундуке, где проспала всю жизнь – а мужу разложить посередине комнаты допотопную деревянную раскладушку:

- Мама, может, мы завтра в Смольный поедем, а сегодня уж и трамвай, наверное, не ходят... – умоляюще шептала она, прощально повиснув на шее у матери, словно уводимая в полон.

- Ты сама все решила, – сдержанно выдиралась та из отчаянных объятий. – Никто не неволил, что уж теперь-то... – и бросала непонятный, словно исполненный гнева взгляд на мявшего кепку в дверях зятя. – Ну, довольно, довольно... Последний трамвай тебя дожидаться не станет...

Трамвай и не дождался. То есть, если бы они побежали, крича и размахивая руками, как это сделала стайка свежее испеченных выпускниц, белыми бабочками взлетевших в конечном итоге на заднюю площадку, то усталый седоусый вагоновожатый, словно сошедший с плаката, где с мудрой суровостью обличал беспечного «летуна<sup>1</sup>», похожего на комара с портфелем («Хорошо – летаешь, где то сядешь?»), непременно помедлил бы на остановке, добродушно усмехаясь на «дело молодое». Но юные супруги дружно сделали вид, что до узкого гремящего и звенящего трамвайчика им нет ровно никакого дела – ни молодого, ни старого.

- Да-а, действительно не успели... – с деланным огорчением протянул Борис.

Жена его тоже облегченно выдохнула:

- Да, жалко... – и сразу оживленно прибавила: – А ты заметил, что когда едет трамвай, то это всегда как музыка? Ни у автобуса, ни у троллейбуса, ни, тем более, у грузовика такого нет. А трамвай – прямо музыкальная шкатулка на колесах. Тут тебе и звон, тут и деревянные ложки, и...

<sup>1</sup> Презрительное прозвище тех, кто часто менял место работы.







- Тебе надо было на учительницу не математики, а музыки идти, – улыбнулся «муж», к которому, как только выяснилось, что скоро попасть домой им заказано, вновь вернулась обычная уверенность «бывалого» дипломника из Техноложки. – Если этот красный гроб на колесах тебе музыкальной шкатулкой кажется...

- Как жаль, что ты не слышишь... – печально отозвалась Кира. – Впрочем, я тоже не всегда... Это бывает только когда во мне что-то такое обостряется... Не могу объяснить... Ты ведь не поверишь, если я скажу, что своя музыка есть даже в высшей математике... – (при мысли об этой заковыристой науке, Бориса, дважды передававшего ее на третьем курсе, слегка передернуло). – Вот, например, формулы... Тебе никогда не казалось, что они напоминают звезды? В смысле, когда вся черная доска в аудитории бывает исписана уравнениями, то, если прищуриться, – это, как созвездия на звездном небе: так же притягивают и страшат немножечко...

- ...и примерно так же понятны, – в тон ей протянул Борис и улыбнулся: – Фантазерка ты все-таки у меня... – и добавил бодрости в голос: – Ну что – к Неве? Как раз тут и выйдем к Крузенштерну... – и он начал горячо, с подробностями, рассказывать Кире, как мальчишкой тайком бегал сюда купаться, потому что за памятником – самое глубокое место Невы у берега, так что, ныряя вниз головой, почти не рискуешь свернуть себе шею; а мелкое, наоборот, у Сфинксов – там раньше можно было купаться, даже матери с детьми, бывало, у ступеней плавали, но потом милиция гонять стала – то ли из-за того что утопленники все же были делом нередким, то ли Академия Художеств напротив, иностранцы смотрят – неловко...

Невозмутимый Крузенштерн вырос перед ними на фоне старой притопленной баржи – и на Бориса снова непредсказуемо накатило:

- А что?! Сейчас, можно сказать, жарко. Эх, тряхну стариной!.. – и он решительно взялся за пуговицы пиджака, меж тем как в голове пронеслась неожиданная и, определенно, правильная мысль: «Вот она мою ногу и увидит заранее – при самых обычных обстоятельствах – ну, искупаться решил человек... Тогда *потом* не так страшно будет...».

Поэтому напрасно новобрачная цеплялась за руки неуклонно раздевавшегося в первую брачную ночь супруга, взывая к нему: «С ума сошел! Не позволю!» – он остервенело-весело со-





рвал праздничную рубашку, запутался в преждевременно упавших брюках, чуть-чуть попрыгал на здоровой ноге, высвобождая пострадавшую – и, зажмурив глаза, быстро заковылял по траве большим неуклюжим карлой. На краю он, как смог, сильно и отчаянно оттолкнулся – и неловко ухнул топориком в забыто холодную воду великой терпеливой реки. Мощное ледяное течение жестко зацепило его за ребра, ослепило неожиданной темнотой, туго сдавило на миг, будто гигантский змей, останавливая сердце, – и вдруг разжалось и выплюнуло на свет и воздух. Вернувшийся слух ухватил пронзительное, словно утиное кряканье: «Бор-ря! Бор-ря! Бор-ря!» – это надрывалась, стоя у самого края с подобранным юбкой, будто готовясь к прыжку, встревоженная Кирочка. Борис подтянулся на руках и уселся на травянистом обрыве:

- Ну что ты всё – «Боря, Боря»? Заладила. Уж и искупаться нельзя. И тебе советую. Очень освежает, между прочим... – страшное прошло, и теперь снова можно было говорить спокойно.

Они медленно дошли до Дворцового моста, обогнули Эрмитаж – надо же, еще и покрасить не успели, а бордовая краска уже слезает! – прошлись вокруг колонны по площади Урицкого. Борис сжал руку жены:

- Помнишь?

Она загадочно-счастливо кивнула:

- Да. Там еще под аркой еловый лес сделали. И Волк с Красной Шапочкой ходили под руку – смешно, да? И еще ворона была – та, с сыром, помнишь? А я пригляделась, смотрю – а это не ворона, а ворон, потому что парень. И сыр у него был картонный...

Они вновь повернули к набережной.

- Почему это все люди такие праздничные сегодня? – оглядываясь кругом, спросила Кира. – Все девушки такие нарядные, парни в костюмах... И взрослых почти нет – одни милиционеры – и те какие-то веселые. А вон – слышишь? – поют!

Откуда-то, действительно, вполне стройно грянуло: «Широка страна моя родная, много в ней лесов полей и рек...». Супруги разом обернулись и увидели идущих под руки неровной шеренгой парней и девчонок – к ним на ходу присоединялись другие и подхватывали: «Я другой такой станы не знаю...».

- Где так вольно дышит человек! – хором выкрикнули, поравнявшись с ними, Кира с Борисом и помахали ребятам.

- Вспомнил! – Борис остановился и шлепнул себя по лбу. – Сегодня же у детей – выпускной! Еще девчонки на Васильевском за





трамваем бежали! А ты уж, наверное, вообразила, что это в честь нас в городе праздник, да? Ну, признавайся – да? – он со смехом тербил ее. – А это всего лишь детский бал!

Он с таким удовольствием произнес это уничижительное «детей», что уже преднамеренно прибавил снисходительное «детский» вместо лояльного «школьный» – и стало все кругом легко и понятно: к нему это давно и окончательно не относится. Он теперь взрослый женатый человек – ну, прихрамывает немножко, какое это имеет значение! Он зимой защитит диплом и станет инженером, а жена его через год – учителем. Они станут честно трудиться, и вскоре государство выделит им хорошую собственную комнату, так что уже не надо будет прятаться за шкафом от мамы. И у них, конечно, родится здоровый крепкий сынишка, которого он будет водить за руку вдоль Невы, смотреть с ним на корабли, а еще года через три – кудрявая голубоглазая дочурка, и Кира станет повязывать ей на макушку пышный розовый бант...

Они перешли мост лейтенанта Шмидта, одобрительно глядя вперед и вверх на замершие в теплом небе аэростаты: это ведь тоже хорошо, что и в такую мирную ночь идут своим чередом военные ученья, это значит, что те, кто нужно, – не спят и несут свое вечное дежурство, охраняя воскресный покой трудового советского города.

Напротив Академии Художеств стоял с открытой дверью и опущенными стеклами казенный серый автобус – и туда весело запрыгивали один за другим ребята постарше – уже не школьники по виду, а студенты или молодые рабочие.

- Вы откуда и куда? – пританцовывая, крикнула им Кира.

- Из Москвы! – охотно отозвалась румяная девушка в белом беретике, бесшабашно сдвинутом на ухо. – На экскурсии здесь, белые ночи ваши посмотрим! Сейчас – на Острова едем! Айда с нами!

- Айда! – преувеличенно бурно согласился Борис, хватая Кирочку за руку.

Несчастливая нога его давно уже отчетливо ныла от долгой ходьбы, в чем он закономерно предпочитал не признаваться, и отрадной показалась мысль протянуть страдальцу под чье-то сиденье и тайком помассировать. Ему это вполне удалось, когда, проезжая вдоль Невы, песню про нее с ходу как-то не вспомнили и запросто переключись на другую, не менее известную реку:

- Красавица народная, – гремела их «музыкальная шкатулка»,





– Как море, полноводная,/Как Родина, свободная,/Широка, глубока, сильна!.. – а Борис, не участвуя в самодеятельности, старательно растирал место давнего перелома.

На Островах они от шумных москвичей отбились – хотя и там гуляющих было хоть отбавляй. Искося поглядывая на побледневшее личико жены, Борис вдруг понял, как же она устала за минувшие сутки: вся эта утренняя нервотрепка в Загсе, последующая суета со свадебным угощением, потом испытание бурным ужином, принудительным весельем... И, наконец, эта незапланированная прогулка – а все потому, что деваться молодоженам принципиально некуда, кроме как к матери за шкафом, – вроде бы, и у всех так, а только... Не по-людски как-то, вот что. Не сядешь, не поговоришь, не обнимешь...

- Давай на пляж... – тихо предложил он. – Хотя отдохнем немного, а там и трамваи пойдут... – поколебался и добавил: – До Смольного доберемся – мама уже на работу уйдет, никто не помешает... – все-таки запнулся, – выспаться...

Борис расстелил для Киры пиджак на холодном песке меж двух неизвестных кустов, а когда она осторожно прилегла, подсунул ей под голову свою кепку. Сам пристроился рядом, с локтем под щекой, поколебался – и нерешительно обнял обмякшую девушку:

- Ты подремли, я подежурю.

Она уютно поёрзала и тоже робко обхватила его за бок. Но подежурить Борису не удалось: беспомощно проваливаясь в бархатную бездну, он только успел услышать ее сонный шепот у своего лица:

- Какой счастливый день наступает... Вот стану я бабушкой, и спросят меня внуки... «Какой, бабуля, у тебя был самый счастливый день в жизни?»... А я им и скажу... Скажу: «Двадцать второе июня... Одна тысяча... девятьсот сорок первого года...».

## 2

Борис назывался теперь двумя безобидными по отдельности и страшными в своей неожиданной связке словами: «кухонный мужик». Как писалась эта странная должность в отделе кадров Смольного, он не запомнил, а неофициально звучала она, как ни крути, – оскорбительно, отдавая чем-то замшелое дореволюционным. Тесно спаянная команда «южной» столовой для «аппарата»,





по-семейному делившая военные тяготы, в начале ноября сразу приняла, как родного, единственного сына доброй Васильевны, по-прежнему трудившейся в противоположной «северной», заслужив эту привилегию без малого четвертьвековым беспорочным трудом. Ее миновали жестокие чистки тридцать пятого, безжалостно прошерстившие жировавшую обслугу, когда в расход пустили даже официанток, полотеров и уборщиц, обвиненных в том, что «могли слышать контрреволюционные разговоры», – нашла на них и такая заковыристая статья. А Васильевну не тронули, что, по мнению чуткого местного племена служилого люда, парадоксально доказывало ее незамазанность доносом: недолго торжествовавших сексотов преспокойно расстреляли сразу после тех, на кого они недальновидно доносили.

Все это Борис знал давно, и, в целом, не особо такими подробностями интересовался. Довольно с него было и теплой квадратной комнаты, сытной хорошей еды, ласковой нетребовательной матери – все равно он должен был скоро стать итээром, уважаемым инженером-конструктором, зажить другими, не приземленными идеалами... Так оно и случилось бы, если б не война.

«Если б не война... Если б не проклятое двадцать второе июня...» – остервенело отдирая специальным ножом толстую склизкую корку, налипшую внутри простоявшего весь день под паром котла, повторял про себя увечный «кухонный мужик» Боря, не взятый из-за хромоты даже в ополчение, куда прямо перед ним записали кривого парня, не приняв во внимание его неподвижный стеклянный глаз. «С одним глазом воевать еще лучше: когда целиться будет – прищуриваться не надо. А ты не то что в атаку побежать – тебя еще на марше самого, вдобавок к полной выкладке, на плечах нести придется», – так объяснил свой поступок пожилой лейтенант, подняв усталые, в частой сеточке красных прожилок глаза от длинного карандашного списка.

Борис, наконец, перевернул освобожденный котел, аккуратно вытряхнул на газету размякшую корку, собираясь нести ее в мусорный ящик.

- Ты чё, спятил? – рядом бесшумно возник пятнадцатилетний Валька, сынок раздатчицы тети Зины, тоже пристроенный мамой на подхват. – Это ж каша пшенная! На молоке! Кипяточком развести да вилкой помять – и все дела!

- Голодный ты, что ли? – удивился Борис.

В дополнение к общим продуктовым карточкам, превратив-





шимся теперь в главные семейные ценности для подавляющего большинства ленинградцев, в Смольном выдали, каждому соответственно рангу, еще и свои, местные карточки на завтрак, обед и ужин. Тот, кто отдал обычные, «голодные», карточки кому-то из родни в городе, лишился за обедом мясного блюда и вынужден был есть пустой гарнир – чаще всего вермишель без подливы или сухую картошку. Но они-то с Валькой сегодня съели по говяжьему биточку и каши с маслом и хлебом от пуза! А Вальке потом еще и суп почему-то не понравился, и он его красноармейцу из охраны отнес – а тот ему что-то в карман сунул... Да и матери их каждый день домой то мясо, то рыбу, то картошку приносят... А этот... Хотя, ведь расти, наверно, пареньку нужно...

- Тебя как ни корми – все не в коня корм. А в городе люди, говорят, даже кошек съели, – упрекнул он жадного пацаненка.

- Вот и я говорю – съели, – Валька по-свойски подхватил Бориса под руку, отвел чуть в сторонку и незаметно повертел головой туда-сюда. – А мать тут как-то на проспект Володарского к подруге своей ходила – так говорит, они там вообще на улицах мрут, честное слово. Обстрелы – это само собой, а больше от голода... Здесь у нас об этом говорить – сам знаешь. Только шепотом.

- Неужели прямо мрут? – усомнился Борис, «шепот», конечно слышавший не раз, но предпочитавший списывать его на бабы «страсти». – Я-то сам в городе с осени не бывал – идти не к кому. Друзья все на фронте, жена...

- Да знаю я... – хитро подмигнул ушлый парнишка. – Соломенный ты наш вдовец, жену из армии ждешь... – он было похабно хихикнул, но Борис нахмурился:

- Но-но, ты давай не очень, а то ка-ак...

- Ой, испугал! – в притворном ужасе закрывшись локтем, Валька недалеко отскочил. – Да ты слушай меня, чудило, я дело говорю – как раз и бабе твоей хорошо выйдет. Корку-то – пшеничную там или вермишелевую – не выкидывай. В газете под бушлатом с собой уноси. А дома – по банкам, по банкам ее, родимую...

- Зачем? – опять изумился тугодумный Борис. – Хотя правильно: красноармейцы эти с командиром, что на кухне всегда дежурят, одним армейским пайком живут. Я видел, как ты суп им носил – молодец. Я тоже иногда свой отдаю. А вот если кашу эту им вроде приварка... Ловко придумал, хвалю за сообразительность!

Теперь уже Валька воззрился на старшего товарища в полном недоумении – отсутствующие брови полезли вверх:





- Слушай, откуда ты к нам свалился такой правильный – хоть сейчас в ВКП(б)! Какие красноармейцы? Какой приварок? Паёк дают – и хватит с них! Я тебе про что толкую? Я тебе про ба... про жену твою говорю! Вот вернется она с фронта, а ты ей – подарок! Кольцо, скажем, золотое, или, там, серьги какие-нибудь...

- Зачем ей серьги, у нее и дырок-то в ушах нет, – все еще не понимал Борис.

- Да в ушах и не обязательно, главное, чтобы... Всё, понял, – он быстро поднял ладони в ответ на угрожающий жест Бориса. – Ну, горжетку тогда, как у Зойки-официантки. С лапами, глазами и зубами – видал?

- Не темни, говори прямо, – строго глянул «кухонный мужик».

- Прямо так прямо, – покладисто согласился Валька. – Литровая банка кашки такой на толкучке у Кузнечного на золотой перстенок тянет. А не то – на шевиотовый довоенный костюмчик с такими шкарами, что носы ботинок закрывают, – глядишь, и сам приоденешься. Верно говорю: сам туда раз сгонял, но одному страшно – видел, как блатные с бритвами по толпе шныряют. Вдвоем хоч. Один меняет, другой – прикрытые обеспечивает. Наглеть не будем, больше одной банки на рыло отсюда все равно незаметно не вынести. Какая смена на выходе добрая и без толку людей не шмонает – это я давно уже вычислил. А у нас с тобой у обоих – смена будет как раз вечерняя. Если не дрейфишь – так с утречка и прогуляемся. Ну, что – прояснилось?

Шевиотовый костюмчик с чужого плеча Бориса не прельстил – его собственный почти новенький бостоновый без дела пылился в шкафу с дважды памятного дня свадьбы. А вот колечко для Киры... Пусть хоть самое тонюсенькое, пусть хоть как проволочка... На свадьбу-то ведь и чулки шелковые ей сестры, помнится, вкладчину покупали... А он только раз пирожными угостил... Все думал – вот стану инженером, тогда уж... Но теперь она – бравый, наверное, сержант, а он тут незаменимый специалист... по обедкам.

...Двадцать второго июня до Смольного они так и не добрались – до позднего утра младенчески проспали под кустами, пригреваемые нежарким еще солнышком, – и, пыльные, помятые, виновато побрели на Васильевский, на ходу вытряхивая из обуви колючий песок. Добравшись до Большого к полудню, увидели небольшую группу людей, что нетерпеливо стояли, обмахиваясь







газетами и платками, под уличным репродуктором, испускавшим неблагозвучный треск. «Объявили, что будет передано важное правительственное сообщение, – вот и ждем. Только бы не карточки опять ввели...» – охотно поделился опасениями толстый дядька в очках, вытирая смешной пионерской панамкой обильный пот со свекольно-красного лица – и в этот момент громкоговоритель последний раз прочистил железное горло и торжественно разродился знакомым голосом Молотова:

- Граждане и гражданки...

В два часа дня они сидели рядышком на Кирином высоком обшарпанном сундуке, всю жизнь прослужившем ей скромной девичьей постелью, – матрас вчера еще был туго свернут тещей, и теперь, как наказанный, стоял в углу пустой жаркой комнаты, глядевшей в узкий двор на изнуренный серый тополь. Кира держала в руках только что извлеченную именно из прославленного сундука маленькую помятую бумажку с едва различимым машинописным текстом:

- Временное удостоверение Ворошиловского стрелка, – вполголоса читала она. – Дано настоящее товарищу Зуевой Ка Эн двадцать первого года рождения в том, что он сдал... сдала нормы Ворошиловского стрелка... ступени первой... двадцать восьмого ноября тридцать девятого года... Первое упражнение... сорок два... очка, второе упражнение... пять попаданий... Выдан значок за номером... сорок четыре тысячи четыреста тридцать шесть... Подпись... Ох! – она вдруг уронила лицо в удостоверение, как в носовой платок. – Я ведь, когда сдавала, и подумать не могла, что пригодится... Куда теперь с этим – в военкомат, да? Или в институт?

- Ты что, какой военкомат! – испугался Борис, хватая ее за руку. – Думаешь, мы с этим выскочкой Гитлером без девушек не справимся?.. – и жестоко запнулся.

Кира залилась мучительной краской, видимо, тоже оценив это невольное страстное «мы» – и не решившись добить стиснувшего от унижения зубы мужа. Она тихо сползла с сундука, одернула как-то поникшее на ней за сутки голубое платье:

- Не знаю... Я что-то такое странное чувствую... Ты отвернись... Мне переодеться надо.

Заложив руки за спину, он горько смотрел на старый потрепанный тополь, доживающий свой честный век в ленинградском дворе, на грязный пух, облепивший его бурюю усталую крону,





и безуспешно пытался наскоро обдумать ту бессмысленную нелепицу, что назойливо свершалась кругом – без всякого его участия. Это он должен сейчас в толпе суровых друзей решительным шагом идти в военкомат, где, наверное, стоит уже длинная очередь таких же, как он, крепких и смелых защитников, никогда не ломавших мощные упругие ноги на несерьезных роликовых катках... А не... – он обернулся – не пухленькая, как булочка с сахарной пудрой, девушка в белом холстинковом платье-халатике и сияюще-белых от зубного порошка резиновых туфельках. Ни разу он не заметил на ее тоненьких пальчиках ни одного, даже самого скромненького колечка...

- Вы только не вздумайте все меня отговаривать, – новым, не звонким девичьим, а вполне взрослым голосом волевой женщины сказала она. – Потому что все равно ничего у вас не получится.

В следующий – и последний – раз он видел Киру у Смольного в конце августа, когда она соскочила к нему с откинутаго борта грузовика, ненадолго вырвавшись из казармы перед отправкой в часть. Уже вплотную подступила к Ленинграду осень – и вместе с ней неудержимо приближался враг. Молодая жена его выглядела похудевшей, будто ее грубо обстругали, и новенькая х/б гимнастерка, выданная еще в самом начале двухмесячных курсов, с которых гордые Ворошиловские стрелки выходили неопытными младшими сержантами-снайперами, нищенски висела на ней, перетянутая жестким армейским ремнем, – но в петлицах скромно багровело по маленькому треугольнику<sup>1</sup>. Все это выглядело бутафорски-неубедительно, словно перед ним стояла девчонка-старшеклассница, вздумавшая сыграть в школьном театре красноармейца, – не хватало, пожалуй, только гуталином наведенных усов... Поверить в то, что она едет воевать по-настоящему, было невозможно по определению – или просто это само сердце отвергло такую возможность?

- Мы с тобой здесь сейчас простимся – ты на вокзал вечером не приходи. Меня мама придет провожать и девочки. Они эвакуируются завтра со своим институтом, а маму школа не отпустила... – Кира на секунду схватилась за голову: – Слез будет! Представляешь, мама до сих пор отговаривает, будто сейчас что-то от меня еще зависит... И на тебя, между прочим, злится – якобы, должен был мне запретить, муж все-таки... Ты вот что – пригляди

<sup>1</sup>Т.е. она имела звание младшего сержанта Красной Армии.





тут за ней немножко, мало ли что... Вдруг...

- Мы Ленинград не отдадим, – на сей раз нарочно напирая на это злосчастное «мы», отрезал Борис. – Тут тебе за нее волноваться нечего... А вообще – да, пригляжу, конечно, о чем разговор... – он помолчал. – Ты там это... не очень... Ты береги себя, слышишь? Я ведь ждать буду. И еще, сказать хотел... Раньше не получалось как-то, а теперь... В общем, я это... Люблю я тебя, понимаешь... По-настоящему.

- Да, и я. Я тоже – по-настоящему, – просто ответила она.

Грузовик за ее спиной хрипло и настойчиво прогудел.

- Идти мне надо, – Кира обхватила Бориса руками за голову, притянула к себе, и он почувствовал этот последний поцелуй, как первый, словно все те, из прежней жизни, были несерьезными, не дававшим им никаких прав ни друг на друга, ни на любовь...

Борис, разумеется, знал – и от матери, регулярно навещавшей с контрабандными гостинцами школьную подругу где-то на Охте, и от других, не запертых в Смольном на казарменном положении, а лишь связанных подпиской о неразглашении работников – и про трамваи, похороненные в сугробах до весны, и про вечно тлеющие руины некогда густозаселенных домов, и про закутанных во что попало человеческих призраков с отрешенными лицами, равнодушно бредущих по узеньким тропинкам среди снеговых завалов... Он понимал, что пойдет по неузнаваемому, прифронтовому городу, совсем другому – сурово-трагическому, но высокому в своем страдании – и все же был ошеломлен и подавлен, пробираясь вслед за шустрым Валькой, ловко находившим дорогу среди снегов, слежавшихся в нерастопляемые, казалось, глыбы, и огромных безмолвных развалин. Раньше он видел страдание только в фильмах и спектаклях – всегда сдержанно красивое, окрашенное героизмом допрашиваемых и расстреливаемых белыми революционеров или красноармейцев, непременно сохранявших на экране или сцене благородную бледность лица, огонь сверкающих презрением очей; а если и бежала какая-нибудь черная струйка крови – так обязательно сбоку, воровато, от виска по щеке, или пятном расплывалась по мощному непокоренному плечу. Теперь Борис был поражен уродством страдания, его подлым безобразием; тот самый *величественный* дух города, к которому он привык с рождения, дух официально провозглашенного «музея под открытым небом» – тот дух исчез безвозвратно, заменен-





ный другим, смутно ощущавшимся как *великий*.

- Всё, прищандыбали, и погода хорошая по дороге стояла – это я в том смысле, что под обстрел не угодили: так теперь в городе говорят, – обернувшись, доложил Валька, указывая вперед, на узкую улочку, где и правда у ограды высокой, в прошлом желтой церкви – без креста и с наглухо забитыми окнами – бесшумно колебалась черно-серая, как стая городских ворон, толпа.

«Действительно, – прошла отчего-то страшная мысль. – Ни одной вороны по дороге не видели... Ни голубя, ни даже воробушка...».

- Не зевай, – подтолкнул его остро оглядывавшийся Валька. – На старух старорежимных смотри, не на теток. Что стоящее – так это у них только. От народа в революцию по дырам попрятали, теперь вот вытаскивают. Потому что с карточкой иждивенческой и в магазин ходить нечего: сразу помирать ложись... Да шевели давай копытами своими, я пока вокруг погляжу, чтоб ничего такого...

Борис нерешительно побрел вдоль ограды, на каменном основании которой, очищенном от снега, на пожелтелых газетных листах разложены были нехитрые сокровища безвозрастных ленинградок, молча стоявших с иззелена-серыми лицами и глубокими провалами погасших глаз, очерченных зловеще темными кругами. Но одна из них вдруг встрепенулась при виде кого-то знакомого:

- Здравствуйте! И вы тоже здесь? А я – вот видите... Ну, как живете?

- И вам не хворать... Как живу? Да как трамвай четвертого номера... По Голодаю, по Голодаю – и на Волково... – ответил ей сиплый бесполой голос и, к немалому удивлению, Борис услышал сбоку что-то вроде короткого и слабого всплеска смеха.

До него не сразу дошел нехитрый каламбур: ведь верно же, что четвертый трамвай ходил до войны с острова Голодай через весь город до Волкова кладбища, и тащился так нестерпимо долго, что веселые пассажиры (может, прямо в пути!) сложили про него вполне приличную частушку: «Долго шел четвертый номер, на площадке кто-то помер...».

- По-го-ло-да-ю... – шепотом недоуменно протянул Борис. – Ох ты, Господи! Они еще шутят тут!

Он заковылял быстрее, невнимательно разглядывая все эти почерневшие серебряные ложки, никому не нужные эмалевые рю-



мочки, нежные отрезки замороженного крепдешина – и вдруг в чьей-то на миг разжавшейся шерстяной варежке что-то блеснуло. Кольцо. Не очень тонкое, гладкое, вовсе без камня. Он знал – обручальное, такие надевали до Октября в церкви жениху и невесте. У его мамы тоже раньше такое было, потому что с покойным мужем, погибшим под революционным поездом еще до рождения первенца, ее соединил навеки в скромной пригородной церквушке красивый седокудрый священник в начале веселого восемнадцатого года. Мать то кольцо от греха унесла в Тогрсин – просто чтоб не заметил никто и с вопросами лишними не пристал.

- Что вы за него хотите? – робко спросил молодой человек высокую, неуловимо надменную старуху с уже прозрачным, как капля воска, лицом.

- Что дадут, – со странным равнодушием ответила женщина.

- Вот, у меня тут... – он торопливо распахнул бушлат, стеснительно показывая голубоватую банку, набитую плотно спрессованной пшениной коркой. – Вроде как каша... Пшениная...

- Хорошо, – и она протянула кольцо, бросив на него последний, исполненный непонятного горя взгляд.

- Не надо! – неожиданно для себя отвел ее руку Борис. – Так берите... Мне не нужно... Что я – какой-нибудь... – Не глядя, он ткнул в ее сторону банку и, неловко наступив на короткую ногу, отчего его едва не мотнуло лбом об ограду, бросился прочь.

- Юноша! – каким-то образом она сумела догнать его и уже стояла рядом, быстро засовывая ему в рукавицу что-то маленькое и холодное; ее глаза словно прорезались на лице слабым сероватым светом: – Возьмите. Это не в обмен, это я вам просто... дарю. Все равно скоро... соседке достанется. Не хочу... А у вас, наверное, еще будет невеста...

- Я женат... – прошептал Борис и трудно сглотнул.

Между ними, юркий и верткий, как маленький ужок, возник вездесущий Валька, оттесняя его от женщины и радостно бормоча:

- Толкнул? Покажи! С почином тебя! Видишь, как просто? На той неделе опять наладимся. А я тоже не пустой... Хоть костюмчик и не выторговал, но клёши матросские, новые совсем, – смотри... – он взялся было за пуговицу своего ребячьего пальтунгана на вате, но в ту же секунду у них под ногами отчетливо дрогнула земля, а в уши врезался парализующий вой сирен, взревевших разом со всех сторон.





Толпа словно покачнулась и сразу начала странно быстро редеть, хотя секунду назад люди еле передвигались. Растерянного Бориса кто-то больно толкнул в ребро: это Валька, успев мгновенно сориентироваться на местности, разворачивал его, глупо торчавшего посреди улицы, лицом в другую сторону – туда, где на стене дома были крупно намалевано неровное слово «Бомбоубежище», и тянулась от него влево жирная черная стрелка.

- Бежим! – успел крикнуть мальчишка – и тут позади них жахнуло.

Оглушенный на миг Борис повалился ничком в бурый истоптанный снег – но земля вдруг оказалась ненадежной: она ходуном ходила под ним, будто хотела разверзнуться, сверху сыпалось что-то тяжелое, безболезненно и бесшумно ударяя его по спине, а потом глухую ватную мглу разорвало частыми округлыми ударами, словно небывалая гроза спустилась с небес на землю среди зимы: это снаряды тесно ложились на близкую площадь... Он ни о чем не думал, ничего не боялся, он был не он среди внезапно открывшегося ада, который, как оказалось, все это время спокойно существовал, невидимый, совсем рядом и вот теперь взял – и перешагнул неведомую границу...

Тишина обрушилась так же внезапно, как грохот. Это была относительная тишина – звуки разрывов постепенно удалялись куда-то назад, туда же, откуда пришли, словно откатывалась чудовищная, сокрушительная волна. Борис не трогался с места, охваченный невероятной, никогда не испытанной усталостью – такой, будто всю ночь ворочал упорные камни в грохочущем подземелье, выбрался наверх, упал – и теперь не мог пошевелиться. Каждая клетка мелко дрожала в нем, не было сил глубоко вздохнуть, повернуть голову, опереться на руки...

- Да нет, ничего, тут только двоих убило, – донесся до него, как из шахты, далекий человеческий голос. – А кто под оградой лежал, тех даже не ранило никого. – Голос приблизился и навис: – На проспект их, что ли, оттащить? Пусть полежат там на виду, может, заберут... Да погоди ты, посмотреть надо, вдруг у них карточки с собой. Ну-ка, помоги этого перевернуть...

Жесткие руки впились ему в плечо и бок, затрясли, потянули – Борис встрепенулся и открыл глаза: прямо перед ним скалился длиннозубый скелет в мятой барашковой шапке и круглых очках, отражавших двух крошечных черных человечков на мутном фоне.





- Ты чего, живой, что ли, парень? – вяло удивился скелет. – Ну, извиняй тогда. Ранен? Нет? Контужен, значит. Повезло. А вот малой, похоже, отмучился, – и он медленно указал очками куда-то вправо.

Борис кое-как повернулся всем корпусом, и сначала ему показалось, что он чего-то недопонял: лежал рядом с ним Валька как Валька, с обычным усмешливым прищуром смотрел в белое небо, и небо тоже смотрело ему в глаза, высветляя их и слегка туманя. Второй скелет, точно такой же, как первый, только без очков и в ушанке, слегка поддерживал мальчика под плечи, словно желая помочь ему подняться.

- Ему осколок прям под левую лопатку вошел. Во-от такой. Во-от настолько, – показал он желтыми косточками пальцев и стал неуклюже вставать с бордового снега.

Никто больше не обращал внимания на Бориса, и он так и остался сидеть рядом с постепенно застывающим Валькой, не чувствуя ни холода, ни страха, ни боли в своей неловко подвернутой злосчастной ноге.

Вновь по-соседству загрохотало железом – но негромко и неопасно: это подкатила дребезжащая полуторка, груженная кое-как сваленными бревнами. Открылась водительская дверца, высунулась очередная черная ушанка над острыми, туго обтянутыми скулами:

- Только один? – раздался зычный вопрос. – Ладно. Если б замерз – ни за что бы не стали выколупывать. Но раз свежий, то возьмем.

Борис, не понимая, наклонил голову.

- Так помогай давай, расселся тут! – крикнули ему.

Из кабины с обеих сторон без спешки вылезли два одинаковых человека в ватных штанах и валенках, так же неторопливо отвалили задний борт грузовика – и почти опомнившийся Борис помог им погрузить в машину легкого, еще гибкого Вальку. Только тогда он заметил, что суковатые бревна в кузове – это вовсе не бревна, а мертвые люди, наваленные друг на друга, как мороженая рыба, горой вытряхнутая из ледника на прилавок. Очень близко он увидел улыбающееся женское лицо в мелких кристалликах снежной крупы, а потом не мог оторвать рук от борта машины, заметив, что Валькины глаза словно подернулись пленкой, превратившись в слепые бельма.

- Братишка? – с неожиданным сочувствием спросил один из







мужчин и откровенно прибавил, понизив голос: – Может, есть чего на помин души?

- Есть, – Борис быстро расстегнул Валькин уже ледяной пальтун и извлек из-за пазухи черный сверток. – Клещи матросские. Хочешь – сам носи, хочешь – выменяй что-нибудь, – кивнул на ужасный груз: – Куда вы их теперь?

- На Ваську, – ответили ему. – У Смоленского там пока склады ваем. Земля оттает – похоронят, говорят... Ну... Бывай.

Смутная мысль вдруг заколотилась, как второе сердце:

- На Ваську? Можно мне тоже?

Мужички равнодушно переглянулись, и один сказал:

- Только в кабине места нет, *с ними* поедешь, если не боишься.

Борис молча кивнул и тяжело закинул большую ногу в открытый кузов. До войны Кира жила на девятнадцатой линии. А неясная поначалу мысль, теперь все ярче разгоравшаяся, была проста и невероятна: «А вдруг она вернулась?» – глухо стучало в нем, как безгласные попутчики друг о друга и о деревянные борта.

Выполнить обещание «приглядывать» за остающейся в полном одиночестве тещей, данное Кире в их последнюю скомканную встречу, Борису до сих пор не удавалось. Он смог навестить ее только однажды, еще до своего устройства на работу в Смольный (помнится, кончался октябрь, и умирающий клен за Кириным окном торопливо сбрасывал под хлестким ветром дырявую, как молью поеденную, грязно-желтую листву), – и нельзя сказать, чтобы ему был оказан уж очень теплый прием. Тогда он робко выложил на круглый стол, покрытый хоть и штопаной, но явно ценной старинной скатертью белую банку крабов «Чатка» из тех, что в конце первого военного лета можно было покупать Ленинграде безо всяких ограничений – словно раньше, благодаря очередному странному запрету, они лежали на каком-то таинственном складе и вдруг были разом выброшены в продажу. Мать Бориса запасла их тогда целый ящик, но сын ее даже от запаха всего «рыбного» упорно воротил нос еще с детства, и осенью тайком раздавал банки в подарок тем, кто пока так или иначе не покинул город. Теща, несколько осунувшаяся и потемневшая лицом, сдержанно поблагодарила за гостинец и поставила банку на старинный резной буфет, а разговор все не желал налаживаться. Нет, она тоже не получала письма от Киры... Да, девочки и бабушка здоровы, живут в Омске... Конечно, она сообщит, если будут известия...



Спасибо, ни в чем пока не нуждается... Несомненно, война скоро кончится, и Кириочка вернется...

Борис заметил, что женщина украдкой бросает взгляды на буфет с красовавшейся банкой, и стал прощаться, усмехаясь про себя: вот сейчас он уйдет, а она сбросит всю свою гнилую интеллигентность, накинется на этих вонючих крабов и, пожалуй, банку зубами прокусит... Он задолго до свадьбы чувствовал, что теща активно не одобряет выбор своей дочери – именно из-за хромоты жениха. Боялась, что злостно придумал ее коварный зять свой оскольчатый перелом со смещением, и на самом деле – колченогий он от рождения, а, стало быть, дети его такими же родятся, если не хуже...

В последних числах ноября он порывался к ней снова, хотел отнести хлеба, что пока ненормированно лежал на столах в южном крыле, – но нарвался на строгий материнский выговор: «Тащиться на Васильевский – чай, не ближний свет. Придешь к ней – а она эвакуировалась. Сейчас все они эвакуируются. И куда ты такой после этого денешься?».

Пройти метров восемьсот от Смоленского кладбища до знакомого дома оказалось нелегкой задачей. Прямой путь по линии преградила огромная воронка прямо посреди улицы, огороженная колючей проволокой (не досками: те давно бы унесли на дрова), с нацепленными по всему периметру объявлениями: «Осторожно! Неразорвавшаяся бомба!» – и пришлось искать проходные дворы. Борис помнил их достаточно ясно, ведь именно в них, во всех подряд, они целовались с Кирой весной теми самыми «ненастоящими» поцелуями. Но, уверенно свернув под первую же арку, почувствовал себя как на Марсе – только вот Аэлиты нигде не было. Снега во дворе стояли до окон второго этажа, тошнотворно воняло нечистотами, узкая натоптанная тропинка, отвратительно желто-коричневая, вела словно в никуда и, дважды упав по дороге в мерзкий сугроб, Борис еле выбрался обратно к затаившейся под землей бомбе. Не желая более рисковать, он пошел в обход через Малый, мучительно пробирался среди сугробов, падал, кое-как подымался и, наконец, зайдя с другой стороны, полностью измочаленный, выкарабкался на финишную прямую. До него уже дошло со всей несомненностью, что мысль, внезапно посетившая его у груженной трупами полуторки, была такой же безумной, как и всё, происходившее с ним сегодня: ведь если бы Кира вернулась – разве не побежала бы она сразу к нему? Но вот письмо от





нее прийти могло. А что! Она ведь за «кольцом» воюет, написала, наверное, и матери, и мужу, а до него просто не дошло. Бывает ведь? Сплошь и рядом! Он просто спросит и уйдет. Да, и еще отдаст теще свою «общегородскую» карточку. Наплевать, что без нее он лишится в Смольном битка на второе – да и не лишится вовсе, там свои люди, всегда подкинут калеке кусочек, голодным не оставят. А домой – в опрятную комнату, где стоит круглый стол, покрытый нарядной клеенкой с гвоздичками, где уютно трещат в «голландке» осиновые полешки, выписные маме еще в конце лета, где в углу, за занавеской, есть старая чудная раковина, куда из медного крана шумно бежит теплая белая вода, – домой мама из своего «северного» тоже приносит поесть, у них и сейчас между рамами грамм двести сыру лежит, и тушеное мясо в кастрюльке... Только бы благополучно добраться – а то вон, опять где-то, кажется, бахает, да и нога разболелась с непривычки.

«Ну, вот и он, кажется...» – день уже незаметно подернулся первыми сумерками, когда Борис в изнеможении прислонился к стене Кириного дома, снял шапку и вытер вспотевшее лицо. Ближнее окно первого этажа было заколочено дырявой фанерой – и что-то невнятно тревожное почудилось в этом. Он тупо пригляделся к фанере: почему в дырку просвечивает не кромешная тьма, а яркая белизна, словно за ней – заснеженная улица, а не комната? Ответ еще не пришел, но сердце уже остановилось: только эта, фасадная стена и уцелела от старого питерского дома. И фанера случайно осталась лишь на нижнем этаже. Все остальное превратилось в невысокую гору грязного мусора, вперемешку с вездесущим снегом, который, казалось, действовал той зимой в Ленинграде заодно с врагом.

И вовек бы ему, быть может, не увидеть больше родного Смольного, не услышать добрых маминых упреков, да и просто не согреться бы уже никогда, если б в армейской полуторке, медленно ехавшей по памятной набережной, где всего полгода назад он с храбростью отчаянья нырнул в ледяную пучину у памятника Крузенштерну (теперь заваленного мешками от пьедестала до макушки), не нашелся добрый, махоркой пропахший пехотный старшина, что углядел из кабины тяжело хромящего парня, что обреченно брел вдоль фасада Горного института. Он, скорей всего, принял его за отвоевавшего свое фронтовика:

- Эй, служивый! В ногах правды нет! Хочешь – полезай к бойцам в кузов!





А они уж и руки тянули, невесело балагурия на его счет. Борис от усталости и растущей боли даже не спросил, куда они направляются, но волшебным образом оказалось – на Охту. А там ведь только через мост перебраться как-нибудь... Лишь бы не обстрел...

...В столовую южного крыла он ввалился, ни жив, ни мертв, как сорок лет промыкавшийся по пустыне еврей на Обетованную Землю, за полчаса до начала своей смены – легкой, ночной: только тихий огонь в печи поддерживать, чтобы тех несчастных «аппаратовцев», которым до утра неумные «секретари» не дают покоя, могли тут в перерыве чайком напоить с пирожком горяченьким. В кухне еле доковылял до плиты, прислонился к ее теплоте, будто маминому боку, прикрыл глаза, стал было думать, как рассказать о Вальке... И чуть не заснул на месте – а когда потрясли, с трудом приподнял веки. Трясла его тетка Вера с раздачи – не по вине блокады, а по жизни худая, как швабра, – трясла и шипела:

- Рехнулся, что ли – на кухню в уличном, да еще в валенках! Господи, совсем с ума посходили! Хорошо, застоловой спать ушел, а то б ты кувырком отсюда сегодня же вылетел! – и вдруг осеклась, увидев его тяжелый отрешенный взгляд. – Случилось чего?.. Шапку давай, ватник тоже, уберу от греха... Сейчас халат тебе принесу, посиди тут покуда.

Сделав несколько шагов прочь, она обернулась, глянула исподлобья, поджав губы:

- Горе у нас – не слышал еще? Баба одна из той смены погибла. Увольнительная у ней сегодня была, к родне она в город бегала. Обстрел начался – и первым же снарядом... Прямо тут неподалеку, потому и знаем... Такие вот дела...

Она убежала и почти сразу вернулась с халатом на плече – а в руках принесла две дымящиеся тарелки:

- Кисель тебя, извини, не дождался. Биток вот ешь. Картошка, правда, сухая, подливку сегодня «аппарат» слопал... Зато супа зеленого полторы порции – и яичко тебе я туда порезала. Хлеба вон бери... Да не надо мне твоей карточки, мы и так спишем. Сметану эту маманя твоя передала нам из «секретарской» – только сегодня, говорит, из Мельничного доставили. Наворачивай! Оголодал, небось... По бабам, что ли таскался? Шучу, не боись. А хоть бы и так – дело-то молодое, не все же в соломенных вдовцах ходить.

- Под обстрел я попал, тетя Вера, – пробормотал Борис с набитым ртом: голод, как-то позабытый в городе от переживаний, теперь просто бурлил в нем, требуя немедленного утоления.





- А-а, – протянула она. – Наверно, под тот же, что и Зинка... Не повезло бедолаге... Сынок у нее тут остался – Валька, вертлявый такой пацаненок, с тобой ведь он в смене? Значит, прибежит сейчас... Круглый сирота теперь – на отца еще в июле похоронка была. Сообщить бы ему о матери – да как ребенку такое скажешь... – Вера рассеянно глянула на круглые часы, что висели прямо над ними на высокой стене, выложенной стерильным белым кафелем: – На десять минут опаздывает. В другой день так бы ему всыпала... А сегодня... Не знаешь, где носится? Не видал?

Борис медленно положил ложку на стол, справа от пустой тарелки, и кусок хлеба – по левую сторону. Коротко мотнул головой:

- Не знаю, – ответил. – Не видал.

### 3

Обручальное кольцо, подаренное старушкой, влезало ему только до второго сустава безымянного пальца. Борис изредка доставал его из дальнего угла обширного ящика в письменном столе и каждый раз примерял то на правую, то на левую руку, словно надеясь, что оно чудесным образом выросло и теперь возьмет – и наденется. Но это было Кирино кольцо. Оно ждало ее уже больше двух лет и все никак не могло дожидаться. Как и он до самого начала сорок четвертого не дождался ни собственноручного ее письма, ни хотя бы косвенной, недостоверной вести о ней.

Он уже не был в «южной» столовой презренным «кухонным мужиком», год назад получив неожиданное повышение до помощника повара – и под руководством степенной и правильной поварахи Варвары, гордо носившей, как корону, высоченный белый колпак, со странным азартом постигал премудрости правильного приготовления пищи. С начала года продуктовые ограничения у них почти исчезли – и Варвара вдохновенно изобретала новые, «невоенные» блюда, удивляя оживившийся «аппарат» позабытыми в блокаду сложными соусами.

Как больной после комы, город понемногу опомнился, начал поднимать голову, неуверенно вдыхал полной грудью и вскоре даже принялся решительно чистить золотые свои перышки. Модно стало среди постоянных жителей-«смолян» посещать активно заработавшие театры – особенно имени Кирова. Впрочем, его предпочитали называть не в честь убиенного первого секретаря обкома («Не к ночи будь помянут», – шутили самые смелые), а по-свойски ласково – Мариинка.





Настал однажды день – не по-февральски солнечный, словно март ненадолго забежал вперед и лукаво заглянул в их широкие окна. Борис ловко, уже привычными движениями, потрошил одну за другой упитанные куриные тушки, только что поступившие из бесперебойно снабжавшего Смольный всю войну подсобного хозяйства в Мельничном Ручье, и рассеянно слушал рассказ круглоглазой официантки Сонечки, приглашенной вчера одноруким, но бравым капитаном-летчиком в оперу:

- Слушай, ну, цены у них в буфете, доложу я тебе... Представляешь, одно яблочко – пятнадцать рублей, а плитка шоколаду – сто тридцать! А Коля мой мне целых три пирожных купил, каждое – пятьдесят рублей стоит! Сам бутерброд с колбасой съел – за двадцать пять... И конфеты...

- Борис, – перебила ее возбужденный стрекот раздатчица Марья Ивановна, – вас на вахте какая-то девушка спрашивает, военная.

Он впервые за многие годы забыл про свою короткую ногу и почти не сгибающееся колено. Обе ноги несли его по бесконечным коридорам, как равноправные, здоровые, дробный топот их заглушал удары сорвавшегося сердца. Пропуска при нем не оказалось, но на вахте Бориса знали и только кивнули – да и захотели они остановить пролетевшего мимо, как снаряд, повара в заломленном на затылок колпаке, вряд ли бы преуспели. Он выскочил на узкую улочку у служебного входа – и сразу увидел маленькую девушку в грязно-желтом армейском полушубке с сержантскими погонами, что ждала, притоптывая непропорционально большими валенками на веселом солнечном морозе. Она стояла в профиль, и опущенные «уши» форменной шапки не позволяли сразу увидеть лицо.

- Кира!.. – почти крикнул Борис со ступенек, но горло жестко перехватило.

Девушка быстро обернулась, оказавшись абсолютно незнакомой, черноглазой, смугло-румяной красавицей, и без улыбки направилась к нему:

- Вы ведь Борис? Здравствуйте. Я – Лиза. Вы ничего... обо мне не знаете?

Голос еще не вернулся, и он смог только отрешенно покачать головой. Румянец сошел с лица девушки – будто просто потух.

- Значит, не вышли... – прошептала она в сторону, и вдруг стало ясно, что это вовсе не юная девушка, а взрослая, много чего повидавшая женщина.





- Откуда?.. – хрипло вырвалось у Бориса.

Лиза помолчала с полминуты, кидая быстрые взгляды на трясшегося крупной дрожью молодого человека, и наконец, осторожно дотронулась до рукава его белого халата:

- Вы не замерзнете?

А он и не замечал, что стоит на морозе без теплой одежды, даже не понял, о чем она спрашивает, трудным оказалось только перевести дыхание:

- Вы воевали вместе? – спросил уже ровнее.

- Не успели, – криво усмехнулась она, – повоевать. Мы на сержантских курсах познакомились – еще здесь, в Ленинграде. А в эшелоне, когда на фронт везли, сговорились: если со мной что случится – она моих родных найдет, а если с ней... то я. Ну, моих-то родных... – ее руки в огромных брезентовых рукавицах отчетливо задрожали, но она справилась с собой. – Моих родных никто уже не найдет, а ее... На Васильевский я ходила, от дома только одна стена сохранилась... Тогда я – сюда, думала, может, вас разыщу. И точно...

- Да что вы тут мямлите! – вдруг грубо выкрикнул Борис. – Говорите уж сразу! Она погибла?!

Лиза не обиделась – только чуть сдвинула брови:

- Не знаю. До части так и не добрались – эшелон наш почти сразу разбомбили, и мы, кто уцелел, попали в окружение... Впрочем, тогда это немудрено было. Мне осколок угодил – вот сюда... – девушка ткнула рукавицей себе куда-то в бок. – Кира меня перевязывала на какой-то кочке, а кругом грохотало и свистело – это я еще хорошо помню, но уже, знаете... Я словно не там была, а из другого места смотрела... Потом Кира с девчонками – и бойцы еще какие-то к нам прибились – тащили меня на себе через лес по очереди. Дальше – отрывочно... На какой-то проселок выбрались – там грузовик с ранеными чинят. У кабины врачиха молодая плачет, а рядом – весь в бинтах лейтенант с пистолетом. «Только раненых, – говорит, – возьму, остальные не поместятся. На полном ходу прорываться будем, может, в нас и не попадут. Проскочим – наше счастье, а нет – так ведь все равно хана». Когда поднимали меня в кузов, Кира рядом стояла и пыталась улыбаться сквозь слезы, кажется...

- Проскочили? – потрясенно спросил Борис.

- Как видите, – пожалла плечами Лиза. – Воевала я после госпиталя на Большой земле, так что выяснить что тут, как... Сами понимаете. Да и столько я уже за два года... Кроме Киры... –







она на миг зажмурилась. – Здесь я не в отпуске – командировку у командования выбила. Идти пора. Дел еще невпроворот... – она качнулась было в сторону, но остановилась: – Слушайте, а как это – у вас жена «без вести», а вас из Смольного не выгоняют?

- Я не знал... – прошептал он. – И до начальства, наверное, не дошло еще...

- Теперь дойдет, не сомневайтесь, – вздохнула она. – Ну... приятно было позна... То есть... В общем, удачи вам, – она протянула крошечную жесткую руку, которую Борис автоматически пожал.

На кухню он не вернулся – там, наверное, подумали, что к Борису приехала жена, и готовились к большому празднику – а медленно прошел прямо в хозчасть, в свою золотую от неожиданного сегодняшнего солнца комнату. Двигаясь скупно и осторожно, словно боясь резким движением взвихрить в душе неведомую и страшную бурю, Борис сел за письменный стол и машинально достал из ящика кольцо. Ничего не изменилось на столе – все было точно так же, как он оставил утром. Так же сдержанно улыбалась ему Кира со своей единственной фотографии, которая от нее осталась, – зато художественной, с тщательной ретушью – такой, что девушка выглядела гораздо красивее, чем в жизни. Только если раньше Борису казалось, что снимок каким-то образом соединяет его с женой, будто готовый распахнуть дверь в тоннель, устремленный сквозь время и пространство, пусть длинный и узкий, но ведущий к ней, то теперь – он четко это понял! – эта дверь была захлопнута навеки. Но странное дело! Одновременно чувствовалось, что есть где-то и другой путь, более надежный, но который еще предстоит найти...

Перед тем, как убрать кольцо, Борис снова примерил его на левый безымянный палец, и, как всегда тугое, оно сначала дошло только до второго суставчика. Но то ли немые его пальцы еще сохранили жир выпотрошенных недавно кур, то ли случайно он подтолкнул кольцо сильнее, чем обычно, – только вдруг, причинив короткую боль, оно быстро проскользнуло через сустав и дальше оказалось совершенно впору.

*4 апреля 2015 г.  
Лазарева Суббота  
Букино*





## Милая Мила

Ночь долгая. Под одеялом у Бабушки густое и душное тепло. Они с Милой всегда спят на одном широком диване – так уж повелось с самого начала, с того дня, что Бабушка взяла Милу жить к себе. Того дня? Она едва ли понимает, что такое – *тот* день... Ну, *просто* день – что-то почти знакомое: это когда за окном становится светло-светло, и Бабушка – грузная, как узел с бельем, в одной длинной-предлинной рубашке, с растрепанной светлой косичкой через плечо, выбирается из уютной постели, пошире раздвигает тяжелые шторы и задумчиво говорит: «Ну, вот и еще один день пришел». Тогда Мила тоже выпрыгивает из постели, бросается к окну, тревожно смотрит в их скудный дворик, никого там не видит и начинает изо всех сил толкать Бабушку головой, вопросительно заглядывая ей в глаза:

- М-м? М-м? – громко стонет она.

Это Мила хочет спросить: «Кто? Кто пришел?» – но говорить ей так и не удалось научиться, сколько она ни старалась. Со временем она, правда, поняла, что «День пришел» – означает, что за окном стало светло, и он, этот День, будет здесь до тех пор, пока не стемнеет, – и тогда придет Ночь. И станет хлопотать от сквозняка вечно открытая форточка, а в тревожных ночных отсветах наискосок помчатся тучи больших белых бабочек. Миле их не достать, этих ледяных бабочек. Правда однажды, когда Бабушки не было в комнате, она ухитрилась взобраться на подоконник, оттуда кое-как дотянуться до форточки – и одна бабочка села ей прямо на нос! Села – и сразу укусила ее маленький носик мгновенным холодом! А потом пропала... Нет, это оказалась совсем не такая бабочка, которую однажды посчастливилось поймать, когда во дворе было тепло-тепло, как у бабушки в кровати, и Мила часами просиживала у открытого окна. Бабочка долго летала перед ней – жирная, белая – и дразнила, дразнила Милу своей наглой легкостью. А Мила не будь душой: напряглась и – хват! Сильными пальчиками сжала белую пленницу намертво и отправила в рот – даже не поняла, как это получилось: ведь хотела только рассмотреть... Она не успела оценить – вкусно ли ей, когда в комнате откуда-то появилась Бабушка, всплеснула руками и кинулась к Миле с криком:

- Что ты делаешь! Выплюнь! Плюнь сейчас же! Скажи: «Тьфу»!





Мила любила делать все наоборот – не по своей воле, а просто так выходило, поэтому она, как могла крепко, сжала челюсти – и тогда Бабушка принялась раскрывать ей рот насильно, запрокинув несчастной голову и зажимая ей нос.

- Какая гадость! – приговаривала она. – Какая гадость! Это же бабочка! Как ты только можешь! А если она какая-нибудь ядовитая?!

Зато так Мила узнала, что все белое и легкое, что летает днем и ночью, в жару и в холод, мимо их окна, называется «бабочка»...

Ночь скучная. Когда Бабушка спит, играть с ней нельзя, нельзя даже ее трогать: если ее разбудить, то она станет злая-злая и может даже больно и звонко шлепнуть Милу по голой попе. А Миле почему-то именно ночью не хочется спать. Она выпрастывает голову из-под одеяла и с тоской смотрит на недоступных бабочек, мчащихся в квадратике открытой форточки. Бойко и ритмично щелкает большая, злобная круглая штука под названием «будильник» – Мила его ненавидит и все время норовит бросить на пол, но в Бабушкином присутствии этого делать нельзя: сразу получишь «по попе». Зато когда Бабушки нет в комнате, и Мила сталкивается взглядом с хищной мордой будильника – она с наслаждением швыряет его на пол и топчет, топчет – а он все не замолкает. После этого главное успеть отбежать подальше и, как ни в чем не бывало, усесться в кресло перед телевизором, чтобы Бабушка не знала, что это Мила скинула противную штуковину, а подумала бы, что она сама спрыгнула на пол... Но та все равно откуда-то знает, что произошло, как будто стояла рядом и все видела. Мила совершенно не понимает, как такое возможно!

- Ы-а! – кричит она. – Ы-э! – ей хочется сказать, что это не она, не она, но, как всегда, стоит раскрыть рот – и оттуда вместо таких понятных ей человеческих слов вырываются странные гортанные звуки.

- Не ты, говоришь? – отлично понимает ее Бабушка. – А кто еще, интересно? Вот я тебе сейчас...

Мила стыдливо отворачивает голову, и женщина сразу смягчается:

- Ах ты, бедная моя девочка... И чем только тебе мой будильник не угодил?

Ее теплая ладонь ложится Миле на лоб:

- И какая же ты всегда горячая... Надо будет опять врачу показать тебя и спросить – нормально ли это? И ведь, вроде, здоро-





вая... Бегаешь, вон, дай Бог каждому...

Ночь тягостная. Звуки ее одновременно приманчивы и враждебны. Тысячи шорохов, стуков, вздохов, колебаний воздуха – все это слышит Мила, ведь она не умеет только говорить, зато все остальное делает лучше многих! Ей тревожно, сладко, мучительно, словно откуда-то доносится соблазнительный дремучий зов – пойти бы ему навстречу, но куда, куда? Да и страшно, тесно где-то внутри... Мила боязливо заползает обратно под одеяло, приваливается к теплему Бабушкиному боку. Тут безопасно, родной запах обволакивает чуткие ноздри... Спит Мила. Сладко спит, пока опят не приходит этот... которого зовут День.

Они с Бабушкой не всегда бывают только вдвоем. Иногда приходят другие Бабушки, и тогда все сидят за столом, едят, пьют и разговаривают. Мила тоже сидит за столом со всеми, у нее есть свой личный стул, который никто не трогает, – она внимательно слушает, стараясь уловить смысл слов: не опасно ли что-нибудь для нее? А может быть, наоборот, – хорошо? Другие Бабушки тоже иногда к ней обращаются, в основном, предлагая что-то съесть, и Мила иногда соглашается, а иногда – нет, по настроению. Но ни одна из Бабушек, кроме ее собственной, ее не любит – это очень понятно. Да они этого и скрывать не собираются! Вот одна – от нее нестерпимо несет цветами, почти как от огромного красного веника, который однажды принес Бабушке ее Друг (который вообще-то хороший, но в тот раз Миле было не дышать – даже все остальные запахи надолго пропали) – так вот, эта чужая Бабушка спрашивает Бабушку настоящую:

- Слушай, зачем она тебе? – и откровенно показывает на Милу.  
– Такой ужас...

- Действительно, – поддерживает ее другая. – Ради чего ты ее взяла?

- Очень жалко стало... – тихо говорит Милина Бабушка. – От нее племянница моя отказалась. Мужика себе нашла, а он ей – вот как ты сейчас: «Какой ужас!». Говорит, мол, либо она, либо я... В какой-то там приют ее сдать хотели... А я как в глаза ей посмотрела... Ей два годика тогда было уже, и такая домашняя... Ну, как ее в приют! Совсем с ума походили люди! Не позволила сдать – и ни разу не пожалела... Говорю ей: пойдешь ко мне жить? Буду твоей бабушкой... Уход за ней минимальный... Ну, шарахаются некоторые с непривычки... А потом – ничего... Привыкаешь ведь. Мы большие друзья, да, Мила?





- Кстати, насчет глаз – это правда, – неожиданно соглашается до того молчавшая самая маленькая Бабушка. – Просто васильки! И разрез такой красивый... Если б не всё остальное...

- Бр-р... Я лично никогда не привыкну, – упорствует та Бабушка, что вонючая. – Хотя она у тебя уже сколько? Лет семь, кажется? Ну, тогда недолго осталось – такие ведь, наверно, много не живут?

- Еще как живут! При хорошем уходе! – испуганно восклицает настоящая Бабушка, прижимая Милу к себе: – Не слушай ее, не слушай, хорошо? Ты проживешь еще долго-долго, ясно? Мы всегда будем с тобой вместе... – и к подруге: – Хоть бы при ней помолчала! Она же все понимает! И теперь начнет мучиться!..

- Иди ты! – принужденно смеется та. – Понимает... Какие у нее мозги... Она даже не понимает, что такое – жить... А уж умереть... – и машет огромной рукой с длинными коричневыми когтями.

Напрасно она так думает. Мила прекрасно знает, что такое жить. Это когда ты просто ешь. И рядом – Бабушка. И приходит День. Творог со сметанкой на тарелочке... Смешные непоседливые пятнышки на спинке кресла – ты пытаешься их поймать, но они всегда убегают. И еще ты обнимаешь Бабушку, когда вы вместе смотрите телевизор – это такое окошко в коробке, где все мелькает, мелькает... Интересно... Жить – это еще когда пахнет курочкой, и тебе сейчас дадут попить теплого бульону... А потом День куда-то уходит, и вместо него откуда-то появляется Ночь. И это тоже неплохо, только по-другому. Это тоже – жить. Волноваться. Хотеть чего-то непонятного. То проваливаться во тьму, то выныривать туда, где ровно дышит Бабушка и летят белые бабочки... Однажды вынырнуть – и увидеть, что День уже пришел... Без тебя. А умереть – это, наверно, просто не вернуться из тьмы... Нет, Мила хочет всегда возвращаться... Она обязательно будет возвращаться... Тьма никогда не возьмет ее себе навсегда. Ни ее, ни Бабушку...

Тот дворик, что только и виден из двух их с Бабушкой окон – кухонного и комнатного, – очень маленький, даже Мила это понимает. «Наш колодец», – называет его Бабушка – а вот, что такое колодец, не объясняет. Кругом высокие желтоватые стены, а посередине – будто бы диван, только жесткий (Мила однажды сбежала из дома через окно и попробовала на ощупь). Это – ска-





мья; хотя у нее и есть крепкие ноги, она никогда не бегает, всегда неподвижно стоит под огромным кривым деревом. А дерево это очень красивое. И умное. Гораздо умнее Милы. Та относится к нему с уважением и, когда окно в теплое время совсем открыто, пытается крикнуть во весь голос: «Эй, дерево! Слышишь меня? Я – Мила!». «Э-о-о! – вылетает из ее груди. – Э-э-а! А-ми-а!». Дерево не понимает Милу, но иногда машет ей своими мохнатыми руками. У него много рук, и всеми руками оно то ли приветствует Милу, то ли хочет схватить ее и съесть, и тогда становится шумно и страшно...

На другой стороне двора в желтой стене – два маленьких окошка. Когда приходит День – они темные, а если Ночь – светлые.

- Видишь те окна? – указывает иногда Бабушка, стоя рядом с Милой и глядя вместе с ней во двор. – Там живет наш с тобой Дима. Мой друг. Вон, вон его тень мелькает за занавеской!

Мила высвобождается. Она всегда так делает, когда совсем не верит в то, что говорит Бабушка. Когда ей абсолютно ясно, что такого не может быть. Например, те окна такие крошечные, а Друг – он же Дима – такой большой. Как он может поместиться в маленькое окошко? Вот она, Мила, сегодня хотела забраться в шкафчик на кухне – и не поместилась. А шкафчик-то ведь больше окошка!

- В том доме, за теми окнами, тоже есть небольшая квартирка, – втолковывает ей Бабушка. – Почти как наша с тобой, Мила. Только у нас одна комната, а там – две. Дима в них живет со своим внуком. Вернее, не со своим, а своей покойной жены. И они так плохо живут, Мила, – ты не представляешь... Он такой нехороший юноша, этот его Юрка! Так обижает моего Диму, так обижает... Ах, Мила, Мила, ничего-то ты не понимаешь, ничего не ответишь мне, не посоветуешь... А надо ведь что-то делать... Что делать-то, Мила?

Мила видит, что Бабушка расстроена, от всей души хочет ее развеселить, показать, что не нужен им никакой Друг, и дела нет ни до какого непонятого плохого «юноши», им вдвоем так тепло и сытно, а когда Друг приходит – он столько съедает, что вдруг потом им с Бабушкой не хватит еды? И не будет ни творога, ни сметанки, ни курочки, ни тушеной рыбки? Но как донести это до нее, до глупой? Зачем она все время кормит ненасытного Диму, от которого пахнет... Ах, как странно пахнет от него! Когда Мила осторожно подойдет и прижмется к его плечу, то запах – нюхала



бы и нюхала! Хочется головой тереться – если б только он позволял! Зато когда вытащит вдруг свою противную игрушку... Мила прекрасно знает это мерзкое слово: «Опять ты за сигарету! – кричит Другу Бабушка. – Только в ее сторону дымить не вздумай: ты же просто убиваешь этим девочку!». Друг послушно выпускает вбок одну за другой тугие серые струи, но Миле все равно становится тошно и муторно, она отсаживается как можно дальше от них обоих, но совсем уходить не хочет – слушает... Она откуда-то знает, что Бабушке очень нужен этот Друг. Может быть, даже больше, чем она, Мила... И если он ей однажды скажет: «Или она, или я»... Но он не скажет, чувствует Мила.

- А она у тебя, кстати, не такая уж и глупая... – однажды замечает Дима. – Взгляд, между прочем, почти осмысленный... Ну, страшенькая... Но ведь не совсем же до безобразия... Вон какие глаза красивые – надо только разглядеть... И что лысая – тоже можно привыкнуть... Мы ведь подружимся с тобой, Мила, да?

«Если ты не будешь есть столько курочки», – хочет ответить Мила, но молчит, потому что уже знает, что у нее это не получится. Ну, ладно, пока у них есть еда: «Переводы меня кормят, не жалуюсь», – со смехом говорит иногда Бабушка. Ага, сейчас кормят, а потом передумают и перестанут. Лично Мила никогда не видела этих Переводов. Наверное, они приходят и дают Бабушке еду, когда Мила спит. А вдруг однажды не придут? Или они будут приходить и кормить ее всегда, как приходят День и Ночь?

Тянется ночь, тянется... Спит Мила и не спит... Но там, где кружат белые бабочки, становится неумовимо светлее. Значит, к ним опять идет День...

Последнее время он остается надолго, он почти всегда здесь, а Ночь... Она стала какая-то странная, почти не темная. Мила узнает, что она пришла, только когда Бабушка говорит: «Ну, все Мила, спать пора. Видишь – давно уж ночь на дворе». Мила тотчас подбегает к окну и осматривает двор: нет Ночи. День кругом, только другой... Непонятный: звуки, запахи и чувства, как когда Ночь, а по виду – День. Тогда Миле становится так беспокойно, что спать она не может вовсе. Только дождется, пока громко задышит рядом Бабушка – и украдкой выбирается из постели. До утра она бесшумно бродит по квартире – прислушивается и тайно страдает. Ей хочется, чтобы все встало на свои места. Она ждет, не придет ли настоящий, знакомый День, а не этот, который только притворяется Ночью...







Зато когда долгожданный длинный День здесь, Мила часто остается одна. Бабушка снимает с себя легкий, пестрый халат, который носит дома, если никто, кроме Дня, к ним не приходит. (Мила знает это слово, потому что, когда ей иногда хочется особенно приласкаться и она буквально повисает на Бабушке от любви, та испуганно кричит: «Осторожно! Халат мой порвешь!»). Сняв халат, женщина надевает красивые гладкие платья («Как тебе мое платье, Мила?») – и готово: еще одно слово поселилось в голове у Милы навсегда). Потом Бабушка исчезает, оставляя Миле попить молока для утешения и выключая «верхний» свет. Она знает, что с Милой без нее ничего плохого не случится, Мила будет тихая-тихая, никогда не набедокурит, когда одна в квартире – а сразу ляжет спать. Иногда встанет, попьет молочка – и опять спит, пока не придет Бабушка. Она не знает – долго ли спит; иногда Ночь, похожая на день, приходит раньше Бабушки, а иногда – нет. Но, услышав, как открывается дверь, Мила вмиг просыпается и легко соскакивает с дивана. Она мчится в прихожую, подпрыгивает высоко, как только может, стараясь дотянуться до Бабушкиного лица, поцеловать ее покрепче, обхватить, прижать к себе... Мила не бывает точно уверена, вернется ли Бабушка вообще, но, когда это происходит – счастьем ее нет предела...

- Только не висни на мне, пока я не надену халат! – сердито кричит Бабушка, отталкивая Милу. – Это платье – из бутика! Ты даже не представляешь, сколько я за компьютером горбатилась, чтоб его купить!

Про компьютер Мила прекрасно знает – это такой маленький не то телевизор, не то книжка, с которым Бабушка играет долго-долго, щелкает, постукивает, и от этого по его белому окошку бегают черненькие маленькие штучки, которые не позволено трогать – а вот про платье уж и вовсе не понятно – что с ним не так? Она недоуменно смотрит бабушке за спину: спина вовсе не горбатая. Это у нее, Милы, горбатая, она много раз слышала, как про нее говорили:

- Смотри, какая горбатая спина! А ноги – длиннущие! Жуть!

- А мне даже нравится! – храбро отвечала тогда Бабушка.

- Не придумывай. Чему тут нравится? – отмахивались от нее.

- Но, раз уж ты взяла ее... Вот сама и любуйся...

Бабушка надевает такой знакомый, пахнувший ими обеими халат – и только тогда позволяет обнять себя. Она осторожно похлопывает Милу по боку, сидя на диване, и тихонько рассказывает ей:





- Знаешь, где мы с Димой были? На выставке...

Мила сердито трясет головой: ей непонятно – на чем они были? Она знает, что такое – «на диване», «на столе», «на подоконнике»... А вот – «на выставке»? Получалось, что Бабушка и ее Друг сидели или стояли на чем-то, чего Мила не могла даже вообразить, – и это ее сердило.

- Н-ны? – уточняет она.

- Ах, да, тебя кормить пора! – спохватывается Бабушка и тотчас встает.

Мила опрометью мчится за ней на кухню, даже забегает вперед от нетерпения: сейчас будет весело и вкусно! Бабушка положит Миле на тарелку теплой вареной телятины, нальет попить... А еще Мила любит сгущенку, Бабушка иногда наполняет ею маленькое блюдечко и говорит:

- Вот хоть и знаю, что вредно тебе, а не могу не побаловать...

Но сегодня нет никакой сгущенки, и телятины тоже нет – Бабушка быстро кладет в Милину тарелку что-то не очень вкусное, жесткое, а себе тарелку не достает, за стол не садится – не получится, значит, поесть с ней за компанию... Мила все равно начинает быстро и жадно насыщаться – потому что не знает наверняка, удастся ли поесть в следующий раз... Может, этого никогда уже не получится! А бабушка отстраненно стоит у окна, совсем не смотрит на свою девочку, взгляд ее устремлен туда, во двор, где в не черной и не белой ночи только горит далекое маленькое окошко. Она думает, что там ее Друг, и никак не возьмет в толк, что ему туда ну никак, просто никак не поместиться! Бабушка быстро-быстро постукивает по подоконнику своими блестящими маленькими коготками и коротко, тревожно вздыхает.

- Ах, Мила! – наконец-то говорит она. – Нельзя нам дальше бездействовать, надо что-то делать! Ведь он же уморит его! Самым настоящим образом уморит!

Она тихонько стонет, сжав кулаки и припав головой к раме, – и Мила пугается: Бабушке больно?

- Господи! – уже в голос зовет Бабушка. – Хоть Ты подскажи мне, научи, что делать! Ведь Ты-то знаешь, как я люблю его, как хочу помочь – а он такой глупый, такой наивный, как все мужчины! – она спохватывается: – Ой, прости меня, Господи, я не Тебя имела в виду!

Вот это Мила понимает: Бабушка обращается к Кому-то, Кто главнее ее, Кого не видно и не слышно, но Сам Он всех видит и





слышит – всегда. Его можно только чувствовать, но не все это умеют. Бабушка – умеет. И Мила тоже. Даже лучше, чем Бабушка. Только она не может Его ни о чем попросить, но ей это и не нужно, в отличие от Бабушки. Потому что Мила убеждена: ты Его еще и не попросишь, а он уже и Сам знает, чего ты хочешь. Только не всегда дает. Но Ему виднее. И с Ним не поспоришь. Не то, что с Бабушкой...

А та сжимает голову обеими руками и замолкает, изредка всхлипывая. Мила давно уже оставила свою тарелку, и стоит рядом, изо всех сил прижимая голову к ее плечу:

- М-м... М-м... – утешает она. – Уни-и-и... Уни-и-и...

- Звони? – переспрашивает Бабушка, серьезно глядя на Милу. – Молодчина. Всегда подашь хорошую идею...

Она стремительно идет к телефону, Мила – трусцой – за ней. Вот еще одна вещичка, которой ей никак не постигнуть. Держит человек такую маленькую коробочку около уха и говорит, говорит... Никого перед ним нет, а он отвечает, как будто кто-то что-то спрашивает... Странно... Это называется «позвонить» ему или ей. Вот Мила никогда никому не звонит. И ей тоже. А вдруг однажды позвонят? Как она будет разговаривать, если не умеет? Она пристально смотрит на Бабушку и ловит каждое ее слово:

- Вот, Мила посоветовала позвонить тебе... Ты улыбнулся?... Да, я специально сказала так, чтобы ты там улыбнулся... На самом деле я хотела тебя спросить... Тебе, случайно, не нужно о чем-нибудь со мной поговорить? Я имею в виду – о важном... О самом важном... Нет, не по телефону... – она долго молчит, но Мила не мешает, понимая, что Бабушка слушает. – Конечно, можно... – наконец, говорит Бабушка. – Ну, какое там сплю... Ты ведь отлично знаешь, что мой рабочий день в это время только начинается... Приходи сейчас, я жду, очень жду!

День? Мила с сомнением смотрит на окно: давно уже пришла Ночь. Правда, похожая на День, но все-таки Ночь. А когда она приходит, то в доме никогда никто не появляется. Может быть, Бабушка ошиблась? Или она, Мила? А может, кроме Ночи, прийти кто-то еще?

И правда, скоро появляется Друг. Мила встревожена нарушением обычного порядка вещей, бежит из кухни в комнату и обратно, вопросительно смотрит то на Бабушку, то на Друга – но явно не до нее:

- Если не хочешь ложиться спать, – на ходу бросает ей Бабуш-





ка, – то просто сядь и сиди тихо, не мешайся тут...

Но ничто не может заставить Милу уйти в комнату и покорно забраться под их с Бабушкой одеяло. Она остается на кухне и, как ей велено, устраивается на своем собственном стуле с мягким ковриком, сидит прямо и, вытянув длинную розовую шею, напряженно смотрит на обоих людей за столом. Они пьют ужасную гадость под названием «кофе» – Мила один раз тайком попробовала из бабушкиной кружки – так потом никакая вода не могла смыть мерзкую горечь! – а Друг еще и пускает вонючие серые струи дыма. Без перерыва! И Бабушка не просит его не пускать свой дым в сторону девочки! Но Мила все равно не сердится на Друга. Она откуда-то знает, что он хороший, и от него иногда приятно пахнет, и он один умеет погладить Милу по ее лысой голове так, что ей это нравится, не хочется голову отдернуть, а его – ударить, как некоторых... У него белые волосы на голове и лице, низкий успокаивающий голос... С ним Миле уютно. И Бабушке, наверное, тоже. На ней уже нет яркого халата, а есть платье – такое не красное, а немножко потемнее... Мила не очень разбирается в цветах. Они все для нее похожи, кроме белого, серого, желтого и красного... Ну, еще она немножко отличает синий – такого цвета дерево во дворе и еще небо иногда... «Смотри, какое небо сегодня синее!» – сказала когда-то Бабушка, показав вверх за окно, – и Мила поняла и запомнила. А волосы у Бабушки не пойми какие – темнее Дня и светлее Ночи; это все что знает про них Мила, но ей очень нравится...

- Ты еще совсем молодая женщина, – грустно говорит между тем Друг. – Тебе и пятидесяти, кажется, нет... Ведь нет? Есть? Никогда бы не подумал... Ты яркая, эффектная... Талантливый переводчик... Самодостаточная... На что я тебе сдался, скажи на милость? Ты ведь через год локти себе кусать начнешь... А меня вообще возненавидишь... Ты хоть знаешь, сколько мне лет? Да я пень старый – в отцы тебе гожусь! И нищий, кстати... Всю жизнь – «кушать подано», пенсия минимальная... Сейчас вот эпизод в сериале обещали – так от счастья покраснел на кастинге, как мальчишка!

«Кушать подано» – это Мила понимает очень хорошо! Так говорит Бабушка, ставя перед ней полную тарелку, когда бывает в хорошем настроении. Девочка вздрагивает, но своей тарелки нигде не видит: наверное, опять что-то не так расслышала!

- Я тебя люблю и никогда не возненавижу, – отвечает Бабушка,





и голос ее дрожит. – И мне все равно, сколько тебе лет. Я хочу жить и умереть с тобой, всего хочу с тобой... Но у меня сердце разрывается каждый вечер, когда я ложусь здесь спать в безопасности и думаю, что ты там в одной квартире с чокнутым наркоманом, и тебе некуда деться! Что он в любой момент может просто зарезать тебя – и даже не понять, что натворил!

- «Всего» со мной может и не получиться... – мрачно произносит Друг и делает большой глоток их ужасного кофе. – Машинка моя – того... Не очень уже и работает... А тебе еще нужно – в твоём возрасте...

Ну, положим, машинка, у них с Бабушкой есть и своя, думает Мила, – обойдемся. Большая, белая, с круглым окошком, которое открывается, чтобы можно было запихнуть туда разные тряпочки. А потом тряпочки крутятся там со страшным воем и шумом, Миле немножко боязно, но она все равно стоит прямо перед окошком и упорно смотрит на мелькание тряпок, напрягшись всем телом и готовая сразу убежать, если машинка вдруг сорвется с места и поскачет по коридору. «Расшалилась наша машинка... – смеется тогда Бабушка. – Что, Мила, страшно тебе?».

Но сейчас она не смеется, а робко улыбается Другу:

- Ничего, я почию ее, машинку твою... А если и не почию – невелика беда... Главное, что кончится этот твой ежедневный кошмар... А он там пусть как хочет... Кстати, на расстоянии бороться с ним легче – найдем управу, будь спокоен! И выселить его можно через суд, и на принудительное лечение пристроить... Главное – вдвоем... Слышишь, Дима? Да ответь же ты что-нибудь, не мучь меня!

Дима поднимает голову и пристально, словно бы с последним колебанием смотрит на собеседницу – Мила улавливает то, чего не понимает Бабушка: он хочет ей что-то сказать, но боится...

- Он убьет тебя когда-нибудь, понимаешь – у-бьет!

- Убьет, говоришь? – усмехается Друг, и делает это как-то так неуютно, что Мила съеживается от его голоса и взгляда. – Может, и правильно сделает. Вот послушай, чувствительная ты моя, расскажу я тебе одну историю...

Глупости, думает Мила. Друг же не комар, чтоб его можно было так легко убить – вон какой большой! Убить – это когда ты его – хлоп! – и он не шевелится больше, и не живет... И Бабушка так поступает с комарами, и она, Мила... Убить легко. Но только если тот, кого ты убиваешь, – очень маленький. Чтобы убить





Друга, нужен кто-то настолько большой, что и не представить... Мила начинает задремывать, голову клонит вниз, жмурятся глаза... Голос Друга гудит, как далекий шмель, – такой, как залетел однажды к ним в комнату через окно – а Бабушка поймала его в полотенце и выпустила...

Мила и слушает, и дремлет – все равно ей ничего, ничего не понять...

- Как могу я строго судить этого охламона, когда сам... Знаешь, тому уже больше полувека – а будто вчера... Мать снимала нам с сестрой дачу у залива, на южном берегу... Это сейчас там гнилое болото, а тогда ведь о дамбе и не слышал никто... И вода была, как хрусталь, – представляешь, захожу в воду по горло и отчетливо вижу собственные ноги и разноцветные камушки на рясом песке... Островок там имелся – метрах так в пятистах от берега, а у хозяина – лодка, за судаком ходить... Сынок его, одноклассник мой и приятель, лихо с ней управлялся, так что ходили мы, бывало, аж до самого Кронштадта. Чуть не утонули вместе однажды – ну, да это уже другая история... А сейчас я тебе рассказываю совсем не о том, а об одной нашей забаве, почти безобидной... До поры до времени...

- По крайней мере, колеса вы, я думаю, не глотали... – вставляет Бабушка (Мила озадаченно приоткрывает один глаз: она прекрасно знает, что такое колеса. Это такие круглые черные штуки, что крутятся под маленьким столиком, за которым Бабушка пьет кофе, когда одна; конечно, Друг их не глотал – они бы даже в рот ему не поместились). – И не кололись...

А вот Мила укололась однажды – ужасно! Наступила на что-то на полу, и вдруг все тело пронзила острая, яркая боль! А как Бабушка тогда испугалась, даже закричала! Все обнимала, целовала жалобно стонущую Милу и приговаривала: «Ах ты, девочка, девчоночка моя бедная! Синеглазка! Что ж ты укололась-то так сильно! Это я виновата, прости меня, глупую: уронила кнопку и не заметила!». Конечно, она теперь переживает, чтобы и с Другом ее такого не случилось...

- Лучше бы кололись, – неприятно усмехается он. – Может, подошли бы – и вреда от нас никакого...

- Что ты говоришь! – пугается Бабушка. – Мне страшно!

- А я пока ничего и не сказал. Это, Ляля, только присказка была, сказка и не начиналась еще.

Миле тоже страшно, хотя и неясно, отчего. Она уже не спит –





слушает, силясь поймать знакомые слова.

- Так вот, о забаве нашей невинной. Ну, почти... Ну, короче, мы знакомились на пляже с приезжими девушками – скажем так, не совсем строгого поведения – то да сё, разговорчики, шуточки... Слово за слово, приглашали покататься на лодке... Те девчонки, что были попримичнее, отказывались плыть с незнакомыми парнями в открытое море, ну, а те, что соглашались, – их уж точно было не жаль... Так вот, привозили мы их на свой островок...

Бабушка вскрикивает, глаза ее округляются – но Друг досадливо машет на нее рукой:

- Да нет, нет – не делай таких больших глаз... Дураки были, конечно, но не до такой же степени! Все по обоюдному согласию... Если какая артачилась, то дальше поцелуев не заходило. Кроме того, я ведь тогда уже в артисты нацелился, красавчик был хоть куда, девки сами на меня кидались, как на сахар... А я и правда походил на конфету... На этого... Ну, сладкого мальчика из Голливуда. Как его... Склероз, короче... Дожил... Нет, забава наша в другом состояла. Когда веселье подходило к концу, мы с приятелем моим перемигивались и под каким-нибудь предлогом уходили в кусты – обычно под самым, так сказать, банальным... Ну, а там быстро прыгали в лодку – и ходу. А девчонок бросали на острове, в чем были. Однажды удалось унести купальники, и девки вообще голяком там остались... Иногда они видели, как мы отплывали, выскакивали на берег, визжали, ругались... Ну, а мы в ответ хохотали, конечно, и похабные жесты им делали. Страшного с ними ничего случиться не могло: кругом болтались рыбачьи лодки, и, в конце концов, какая-нибудь их подбирала... Нам это ничем не грозило: о такого рода своих похождениях девушки в те годы предпочитали помалкивать. Рады были, что выбрались, – ну, а урок мог и на пользу пойти... Странно подумать – теперь им всем уже под семьдесят... А ты тогда только родилась еще... – он замолкает и надолго задумывается.

Бабушка осторожно дотрагивается до руки Друга:

- Неприятная, конечно, твоя история, Дима... Но ведь, в конечном счете, это подростковые шалости, не больше... Не стоит так себя из-за них...

Он вскидывается и смотрит на нее в упор, так что Бабушка начинает обиженно моргать, а Мила вся дрожит, хотя взгляд и не ей предназначен: она чувствует, как Другу больно, может быть, даже большее, чем наступить на кнопку.







- И это, Ляля, представь себе, тоже все еще присказка, – шумно вздохнув, говорит он.

Бабушка хочет что-то сказать – и молчит. Она смотрит на Друга уже с настоящим испугом – таким, что Мила потихоньку сползает с собственного стула и бесшумно перебирается на другой, тот, что стоит прямо рядом с Бабушкиным. Она сразу ощущает рассеянную теплую руку у себя на плече, и ей становится поспокойнее.

- Ты даже Милу напугал, – вымученно улыбается Бабушка. – Говори уж все, раз начал...

- Между прочим, – пристально смотрит на нее Друг, – я давно уже подозреваю, что твоя Мила понимает гораздо больше, чем ты ей разрешаешь... Это я так, к слову... Да, ну вот. Привезли мы туда однажды двух девчонок – черненькую и беленькую. И, знаешь, интересные такие девахи попались, неглупые даже, с филфака обе. Поэтому провозились мы с ними дольше, чем с другими – в качестве прелюдии разные умные разговоры пришлось разговаривать. А и без того не рано было – уж народ с пляжа расходиться стал, волна поднималась, прилив обозначился... Небо заволочло... Хотя бы один из нас мозги включил и сообразил, что лодки-то давно к берегу идут, шторма боятся. Нет, выиграло ретивое... В общем, все как всегда: отпросились «в кустики», к лодке бегом – и на весла... А девчонки и не заметили, кажется: сидели себе на полянке – там полянка такая укромная была, как специально сделанная, – бутерброды, наверно, жевали. И, главное, на берегу уже друган мой смотрит на меня с сомнением, да и предлагает – мол, может, смотаемся, заберем их? Дескать, штормит сильно, лодки сегодня могут больше не выйти, тогда нашим шалавам ночевать там придется... А если еще дождь... Но я злой был – на черненькую ту. Такой казалась аппетитной, опытной, глядела многообещающе... А лежала, извиняюсь, бревно бревном... «Ничего, – говорю, – пусть попрыгают. В другой раз умнее будут»... С тем и домой пошли.

- И что... – шепчет Бабушка. – Так никто и не подобрал их?..

- Нет, – хрипло отзывается Друг. – Я бы и не узнал об этом – да и интереса особого не было. Только разговор услышал – случайно, на автобусной остановке, когда мать в Ломоносов на рынок послала. Одна тетка другой рассказывала, что у соседей их – большое несчастье. Приехала внучка из Ленинграда – хорошая такая девушка, Валея звали, в университете училась – да и пошла с подружкой на пляж купаться. А там два каких-то подонка – и





носит же земля! – их в лодку заманили и на остров в море отвезли. Хи-хи, ха-ха – да и бросили там одних. Шторм начинался, лодки ни одной не было на воде. До берега далеко – не доплыть, да еще в грозу. Девушки в одних купальниках, плакали, звали – никого; только волны плещут и ветер воет. Так бы, может, и ничего – ну, страху бы натерпелись или простыли в крайнем случае... Да только у Валечки диабет был ужасный – утром и вечером сама себе инсулин колола... Стало ей плохо, а к утру – кома... Пока подружка до помощи докричалась, пока подобрали их, пока довезли, да нашли, откуда «скорую» вызывать, – день уж настал... Так в машине и скончалась, бедняжка... Теперь соседка, вся черная от горя, собирается в Ленинград на похороны внучки... Тут автобус подкатил, тетки уехали, а я как стоял на месте – так и ноги приросли... И ведь, главное, не знал я – и не узнал никогда – откуда! – которая из них была Валечка. Моя или другая... Их звали – Валечка и Алечка – это я хорошо помнил, но какую – как... На острове недосуг было разбираться, а потом... А-а! – Друг машет рукой и замолкает надолго, обхватив свою склоненную над столом белую колючую голову.

Молчит, откинувшись на стуле, и Бабушка. Мила тревожно переводит взгляд с одного на другого, ей жутко, хочется спрятаться – почему? Убежать? А как же Бабушка? Друг внезапно смотрит на нее в упор и зычно рявкает:

- Клянусь – она понимает! Да еще, пожалуй, и получше, чем ты! – он с угрозой, как кажется Миле, оборачивается к Бабушке: – Ну что, трепетная моя? Передумала, небось, меня в сожители звать?

Бабушка ничего не отвечает, но крепко-крепко прижимает Милу к себе, словно они теперь вдвоем – против него, этого совсем не хорошего сегодня Друга...

Он встает:

- Мне пора. Считаю, что я бросил вас с Милой на острове. Ляльку и Милку. Ждите – шторма-то нет: глядишь, и подберет кто-нибудь...

Друг с грохотом отталкивает пустой Милин стул, словно живого врага, заступившего путь, и широким шагом направляется к двери. Это уже слишком! Мила с жалобным ревом бросается в комнату, ныряет в их с бабушкой постель, прячет голову под подушку... Ничего, ничего... Сейчас Бабушка придет и ляжет рядом, и не нужен им никакой противный Друг, который так страшно гудит и грохочет...





Ночь либо давно ушла, либо в этот раз и вовсе не приходила, а Бабушка и Мила все еще лежат рядышком под одеялом – но нет ни одной из них покоя. В комнате светло, в открытой форточке – светло-синий ломтик неба. Обе бодрствуют, не могут найти себе удобного места, хотя Мила изо всех сил старается успокоить Бабушку: она то кладет ей голову на плечо, то гладит лицо, то пристраивается у теплого бока... Но Бабушка не обнимает ее, не целует, как обычно, когда Мила ласкается, а с досадой отталкивает свою девочку, раздраженно бормоча:

- Спала бы уже. Надоела до смерти, – и добавляет сокрушенно: – Надо же, какой козел. Нет, ну, какой козел, а? – она еще немножко ворочается, но вдруг садится и громко, удивленно произносит: – Мила, мне нечем дышать... Совсем нечем! Мила!

Обеими руками, царапая себе шею, Бабушка оттягивает ворот ночной рубашки, громко, бурно тянет в себя воздух и сипло кричит:

- Мила! Задыхаюсь! Что это?! Мила!! А-а!!!

Словно чья-то невидимая огромная рука вырывает ее из постели и бросает к окну. Часто и жутко дыша, Бабушка силится открыть его, но заедает шпингалет – и она начинает сипло выть, дико глядя перед собой и судорожно тряся гремящую раму, – а Мила уже рядом с ней, пытается заглянуть в ее мутные от смертного страха, словно подернутые сизой пленкой глаза, и тоже в запредельном ужасе повторяет:

- Что с тобой?! Что с тобой?! Что с тобой?! – на самом-то деле у нее выходит: «А-ой!! А-ой!!! А-ой!!!».

Но вот окно распахнуто, со двора, уже вполне светлого, врывается тугая волна прохлады – но Бабушке не легче. Она теперь держится за грудь:

- Да это – сердце... Это сердце, Мила... – замирающим шепотом свистит она и вдруг вся тяжелеет, цепляется за подоконник.

Мила не впервые слышит это слово – Бабушка часто говорила раньше, обнимая ее: «Ух, и колотится же у тебя сердце, Мила! И как только не выскочит!» – и прижимала теплую ладонь туда, где внутри у Милы трепыхалось что-то маленькое и неустанное, которое всегда играет и бежит в ней, даже когда Мила спит... Еще это сердце как-то дает о себе знать, если Мила чему-то очень радуется – там так сладко-сладко ноет, как будто ешь сгущенку, и так пусто становится, когда обидно... или страшно... Да, Мила очень хорошо понимает, что такое сердце. Она и Бабушкино серд-





це не раз слышала, когда прижималась к ней: оно стучало ровно, гулко, надежно... Должно быть, оно такое крупное, горячее... Мила почему-то видит его красным... Но что оно сейчас делает в Бабушке – это большое сердце? А вдруг оно выскочит и – убежит? Что тогда будет? Мила сразу решает, что если сердце сейчас выскочит из Бабушки, то она его поймает. Это просто: хватъ – как бабочку. Но не съест его, а сразу вернет, потому что у нее уже есть внутри одно. Должно быть, она когда-то давно его проглотила...

Но Бабушкиного сердца нигде не видно, а сама она всем телом лежит на подоконнике, и Мила замечает вдруг, что и лицо ее, и губы, и даже глаза – все это точно такое же белое, как и рубашка... Она отталкивается руками от рамы, еле слышно стонет:

- Нет уж, дудки, Мила... Я не умру – так... Одна... Слишком глупо... Не хочу... Не позволю...

Она делает шаг к кровати, шатается, прислоняется к шкафу... Ее надрывное дыхание заполняет всю комнату – Мила бросается на помощь...

- Не путайся под... ногами... дай... дойти... – хрипит Бабушка и делает еще рывок, упирается локтями в спинку кресла...

Там она судорожно переводит дыхание, тянется к тумбочке... Телефон! Она хватает телефон, и ее мотает с ним к двери. Бабушка ушибается о косяк, но он же и служит ей опорой... Черная коробочка у ее уха...

- Дима... – голос Бабушки не похож на ее собственный, и вообще на человеческий. – Вызывай «скорую»... Мне... Сердце... Сейчас попробую... открыть... Если... не смогу – ломай... – коробочка летит на пол, Мила кидается к ней, оттуда горит белый свет, и еще слышны какие-то звуки.

- А-я-а! – громко зовет Мила. – У-и-и! У-и-и!

А Бабушка уже в прихожей, она всем телом прислонилась к входной двери, что-то гремит – и дверь вдруг подается наружу. Бабушка сползает по ней, опускается на колени, руки ее уже там – в той Другой Жизни, куда Миле ходу нет. Там иной цвет и чужой запах, там опасно, оттуда приходят незнакомые люди, к этой двери Миле и подходить запрещено! Но Бабушка стоит на коленях, упираясь ладонями в пол, как раз поперек заветного рубежа, голова ее опускается все ниже, ниже, вместо дыхания вырываются слабые всхлипы... Но Мила не убегает. Подвывая от страха, она стоит рядом с Бабушкой и ждет, сама не зная чего...

Но вот поблизости раздаются быстрые шаги и знакомый го-





лос. Это Друг, понимает Мила и отступает в квартиру. Он знает, что делать, сейчас опять все окажется, как прежде... Давай же, Бабушка, вставай, вставай! Но, увидев Друга, Бабушка не поднимается, а, наоборот, падает вниз лицом...

- Ляля-а!!! – басом зовет Друг. – Лялечка, ты чего это?!!

В их маленькой квартирке происходит такое, чего раньше никогда не бывало... Вдруг появляются совсем незнакомые мужчины в синей, как дерево во дворе, одежде, они что-то делают с лежащей на диване Бабушкой, витает страшное, корявое слово «инфаркт», звенит стекло и железо, отвратительные запахи заполняют комнату... Но не это пугает Милу, забывшуюся в кресло и всеми позабытую. Ее пугает Тьма... Она не видит ее, но чувствует, как она нависает над Бабушкой, растопыривается уродливым облаком над их безопасным диваном и набухает, набухает чернотой...

- Она выживет? Она выживет? – беспрестанно спрашивает Друг у всех мужчин по очереди.

А они рассеянно отвечают:

- Вроде, должна...

И снова звякает железо и стекло, что-то падает на пол, и вдруг раздается Бабушкин короткий мучительный вдох.

- Лялечка, я здесь! – кидается к ней Друг, расталкивая мужчин, но они отстраняют его и мрачно спрашивают Бабушку:

- В больничку поедете?

- Поедет! – поспешно отвечает за нее Друг. – Еще как поедет! А носилки у вас есть?

В комнате оказывается странная узкая кровать на высоких блестящих ногах с колесами, мужчины вместе поднимают Бабушку и кладут сверху. Мила мельком видит ее неузнаваемое маленькое лицо, повернутое к Другу:

- Мила... Ты – Милу... Нужен уход... Кормить... Там, в холодильнике... Ей нельзя одной... Ключи... – шелестит она.

Он машет на Бабушку обеими руками, будто ловит белых бабочек:

- Да разберусь я! Ничего с твоей Милой не сделается! Ты, только, ради Бога не волнуйся! Тебе нельзя волноваться!

И все. Одна Мила. Нет Бабушки. И никого нет. Только День. Но он никогда ничего не говорит.

Друг возвращается нескоро, только когда снова пришла и ис-





чезла короткая, совсем светлая Ночь. Ждала-то Мила, конечно, Бабушку. Она не могла представить себе ее лицо, но в целом образ в голове получался ясный: что-то большое, доброе и родное... Мила положила голову на Бабушкину подушку и так пролежала долго-долго...

Но вот дверь в прихожей кто-то открывает, слышится звяканье ключей... Мила не кидается, как всегда, навстречу, а наоборот, прячется поглубже под одеяло, потому что знает, что это не Бабушка. Точно так же, как раньше, когда бабушка шла домой, Мила узнавала об этом задолго до того, как та подходила к двери. Так, ниоткуда. И было ей радостно.

- Мила! – слышен знакомый голос-шмель. – Где ты прядешься?

Ах, вот кто это! Мила выбирается из постели и резво соскакивает с дивана навстречу Другу. Она надеется, что он ее покормит, – и действительно, Дима сразу направляется к холодильнику.

- Вот такие дела у нас с тобой печальные, милая Мила... – говорит он, разрезая ей курочку на куски. – Инфаркт хватил нашу Лялю...

Она поднимает вопросительный взгляд. Лялю? Ах, да, этот глупый Друг почему-то так называет Бабушку. Значит, все-таки Инфаркт схватил ее? И унес? И не отпустит? И что делать?! А если взять его и – пор-рвать?!

- Рр-ра? – спрашивает Мила.

- Рад? – усмехается Друг. – Да уж, конечно, теперь даже ты вправе обо мне так думать... И, главное, еще сказал, урод, что бросаю вас на острове... Но, Мила, – я пошутил! Неудачно, разумеется... Почти, как тогда... Но хоть ты меня мерзавцем не считай, ладно? Я вот что думаю: ты, хотя и молчишь, но нас, как облупленных, знаешь... И о каждом имеешь свое особое мнение... На вот, кушай, наголодалась, поди...

Мила опасливо ест, все время прерываясь и оценивающе поглядывая на Друга... Какой он необычный... Вот Бабушка никогда так длинно с ней не говорила... Он тоже откровенно изучает Милу:

- Все-таки страшна ты, конечно, как смертный грех, – прости уж меня, старика... Но глаза... Любого за душу возьмут... Надо же, какая синь... Просто сапфиры... А сколько ума в них! И чувства! Только за них по гроб жизни влюбиться можно... Так что понимаю я Ляльку, ох, понимаю... Я вот что, Мила... Я обещал Ляле, что здесь с тобой проживу, пока она не вернется... Могу я





надеяться, что ты меня во сне не прикончишь? Могу, наверное: Лялька говорит, ты не буйная... Да и мне от моего Юрки-наркоши отдохнуть не мешает, а там... Вот отпустят ее из больницы... Звала ведь она меня жить здесь с вами – а я ей... А я ей – инфаркт... Вот такое я дерьмо... Вот такое я дерьмо, милая Мила...

Это слово тоже давно в Милином словаре. «Я не нанималась за тобой дерьмо выгребать!» – кричит Бабушка, когда Миле случается покакать мимо туалета. Она озадаченно смотрит на Друга: какое же он дерьмо? Он человек. И она его почти любит.

– Что, удивляешься моей велеречивости? – спрашивает Дима и гладит Милу большой прохладной ладонью по голове, задевая ее мягкие уши. – Привыкай: я артист – люблю монологи. Хотя... Не так уж и часто за мою карьеру приходилось мне их разучивать. «Что будете заказывать?.. Икорки к водочке не желаете?.. Приятного отдыха... Вашу даму просят к телефону... Прикажете такси вызвать?» – вот тебе, милая Мила, и вся моя нынешняя роль... Так что монологи теперь ты будешь слушать... Раз уж великий мой талант Родине не пригодился...

Мила совсем не против. Ей даже нравится этот гулкий рокот, а пуще нравится сам Друг. Она чувствует в нем такое же вечное смятение, какое постоянно ощущает в себе, – среди непонятных явлений, шумов, фраз... Она не такая, как окружающие, и он – не такой. В ней – тайна, и в нем тоже... И Бабушка... Которая их одинаково любит и не понимает – тоже одинаково. И которая одинаково им необходима...

Приходящая Ночь постепенно становится похожей на саму себя. Во всяком случае, она все темней и ощутимей. Друг часто появляется позже нее, но, когда кругом День, он почти всегда с Милой. Гудит и рокочет – она привыкла. Иногда они даже едят из одной тарелки. Так даже вкуснее. Спят они тоже вместе, как с Бабушкой, только во сне Друг иногда начинает громко рычать – и тогда Мила бесшумно перепрыгивает через него, забивается в кресло и испуганно смотрит оттуда, пока рычание не прекращается. Тогда Мила снова прокрадывается в постель и притуляется за спиной Друга. Она спит и ждет. Даже во сне.

Однажды, когда День давно уже пришел, а Друга все нет и нет, Мила просыпается от странного чувства. Сначала она никак не может вспомнить, что это такое, но внезапно понимает: Бабушка! Это Бабушка! Она близко! Милу будто сдувает с постели, она







бросается в прихожую, взад-вперед мечется у двери. Ну, скорей! Скорей! Неужели она ошибается?!

Нет, Мила может ошибиться в чем угодно – только не в этом. За дверью раздаются голоса, звенят ключи...

- Ва-у-фа!!! – визжит Мила и с размаху бросается Бабушке на грудь. – Ва-у-фа!!!

- «Бабушка»? Ты сказала – «бабушка»?! – смеется и плачет та. – Дима, ты что, тут без меня научил ее говорить?! Ах, деточка, деточка моя...

Они целуются и обнимаются на пороге, а Друг с двумя большими сумками в руках смущенно стоит в сторонке и внимательно на них смотрит... Бабушка, наконец, отстраняет Милу и рассеянно взглядывает на него:

- Туда, в комнату, поставь, я потом разберу... Ну, спасибо тебе... – голос чуть срывается, но это заметно только Миле. – За Милу... За все.

Она медленно кивает – и высоко вздергивает подбородок.

- Мне уходить? – говорит Друг.

- Да-да, иди, конечно, – не смотря в его сторону, отвечает Бабушка.

Но Друг почему-то не уходит сразу, а с виноватым видом топчется на коврик у двери. Миле его, вообще-то, жалко, но сейчас ей не до него, когда Бабушка вернулась.

- Так я пошел? – зачем-то переспрашивает он, как будто и так не понятно.

Но бабушка не оборачивается.

Их жизнь продолжается, как раньше. Нет, наверное, не совсем так, потому что Бабушка теперь не такая, как прежде. Она редко шутит с Милой, и сама никогда не бывает веселой. Она теперь не стрекочет бойко, сидя у своего компьютера и гоня маленькие черные штучки по белому, а долго-долго сидит без движения, уставясь в его большое светящееся окно и обхватив голову руками. Когда Мила робко подходит и утыкается носом в Бабушкино плечо, она рассеянно кладет ей на спину ладонь и вздыхает. Иногда Бабушка стоит за белой занавеской на кухне – тоже подолгу, только обязательно выключив перед этим свет. Мила знает: в узкую щелку она смотрит туда, на маленькое яркое окошко Друга. Может быть, он все-таки там? – думает Мила. Но застрял – такой большой в таком крошечном – и теперь не может выбраться, что-





бы прийти к ним? Вот застряла же она недавно за диваном и не смогла выйти... Звала, пока Бабушка не пришла на помощь. А то так и стала бы там совсем неживая...

- Дура старая... – шепчет Бабушка, глядя на единственное светлое пятнышко во дворе. – Раскатала губу... Уж и до богадельни недалеко, а туда же...

Она возвращается к компьютеру и какое-то время, сжав губы и став такой строгой с виду, что Мила боится к ней приблизиться, упрямо и яростно щелкает, щелкает, щелкает... Но вдруг щелканье прекращается, и Бабушка с протяжным стоном роняет голову на стол. Мила в ужасе: бабушкино сердце снова хочет убежать?! А Бабушка поднимает голову, и Мила поражена: все ее лицо мокрое! Где она взяла воду?

- Поделом мне, поделом! Вся жизнь моя – ничемная! – громко говорит Бабушка; взгляд ее падает на Милу: – Вот, послушай, послушай! – она смотрит на горящее окно компьютера и протяжно произносит: «Глаза-а Сью-узан зажглись, как две-е голубые звезды-ы. Вильям прибли-изился к ней и заключил ее в пла-аменные объ-а-тья. Бурная стра-асть подхвати-ила их на свое крыло-о – и они начали безу-умный танец любви-и...». Здорово, да?! – она, вроде бы, и смеется, но так, что Миле становится страшно при виде такой неправильной Бабушки; она понимает, что смех – это другое, а тут... тут боль? Или даже что-то больше, чем боль?

- Почти тридцать лет занимаюсь этой чухой! – кричит-хохочет Бабушка. – С тех пор, как иняз закончила! И, представь, мне все завидуют! «Везет же тебе – так удачно вписалась в рынок! И на работу таскаться не надо! Такую нишу захватила, счастливица!». А жизнь-то – псу под хвост! Шелудивому псу! Всё любовнички, любовнички... Один раз могла ребенка родить – не стала, сдрейфила! «Эх, ты, – врачиха сказала, – ведь у тебя девочка была...». Сейчас она уже взрослой стала бы... Уж и внуков бы, наверно, мне родила... Приходила бы, навещала старуху... Говорила бы: мама!

- Мм-аа... – силится повторить Мила.

- Вот-вот! – зло смеется Бабушка. – Дожила до девочки, нечего сказать!

Теперь Мила видит, что вода льется прямо у Бабушки из глаз... Что это? Разве так бывает? Вода на кухне, в кране... И в ванной... Откуда она в глазах?





Люди приходят к ним все реже и реже. Часто бывает только одна посторонняя Бабушка – та, что самая маленькая из всех, знакомых Миле. Они с Бабушкой сидят в комнате за низким столиком, пьют, к счастью, не кофе, а что-то светлое, в высоких прозрачных стаканах на длинных ножках.

- Слушай, а тебе после инфаркта не трудно с ней? – показывает она на Милу. – Ну, за ней ведь уход какой-то там нужен, готовка... А ты, вон, еле двигаешься, да еще переводы на тебя навалились... И вообще... Может, действительно, отдать ее пока?

- Что ты! – пугается Бабушка. – Она мне сейчас больше нужна, чем даже я ей! Без нее я бы уже, наверное, подохла тут, а она меня только и держит... И какой такой особый уход? Она у меня чисто плотная, сама за собой ухаживает... А готовка... Да мы с ней почти одно и то же едим...

Мила тем временем подозрительно оглядывает Бабушку со всех сторон: где они, эти Переводы, что на нее навалились? Так обычно делает только сама Мила – во сне. «А ну, отодвинься, – отталкивает ее иногда Бабушка. – Ишь, навалилась на меня!». Никого на Бабушке не видно, и она успокаивается, но вдруг вздрагивает, услышав:

- А что этот Дима твой, друг так называемый? Взял и бросил тебя в таком состоянии? Так и «покинул на острове»? Хорош, нечего сказать...

- Не хочешь о нем говорить, – Бабушка вяло отставляет стакан. – Не состыковалось. Всё. Проехали.

- Конечно, кому охота оказаться с такой уродицей под одной крышей... – бормочет себе под нос Маленькая Бабушка, неприятно косясь на Милу, когда настоящая Бабушка уходит на кухню за сыром. – Разве только глаза...

Миле тоже дают пахучий кусок вкусного сыра, и она ревниво уходит с ним к окну, взбирается на подоконник и смотрит во двор.

Уныло машет ей многорукое синее дерево под синим же небом среди желтых стен, кто-то выходит из противоположной стены и идет через двор. Мила подсказывает: это Друг! Отчетливо видна его белая, даже на вид шершавая голова. Мила часто замечает его в последнее время – и каждый раз, проходя мимо нее, он с улыбкой кивает ей. Приостанавливается, грустно смотрит в сторону их квартир и вздыхает, а потом быстро-быстро исчезает с Милиных глаз. Иногда он, должно быть, что-то произносит, Мила не слышит, но догадывается, что он зовет ее по имени. «Р-ру! – от-





вечает она всякий раз, утыкаясь носом в стекло. – Рр-уу!».

- Клянись, Лялька, она говорит «друг!» – смеется Маленькая Бабушка. – Может, он сейчас у тебя под окном стоит и плачет. Ромео хренов...

- Перестань, – морщится Настоящая. – Не смешно.

В этот раз у Димы в руках большая корзина – точно такая же стоит у Бабушки высоко под потолком в странной норе под названием «антресоли». Она однажды свалилась оттуда и чуть не зашибла Милу – та едва успела отпрыгнуть, а Бабушка подняла упавшую штуку и отругала: «Надо же, какая мерзкая Корзина – едва не угробила мне Милу!». Мила не понимает, для чего Корзина нужна Другу – такая большая и некрасивая... Она и Бабушке-то ни на что не нужна, просто живет зачем-то на антресолях, и Бабушка ее не гонит, потому что добрая...

Маленькая Бабушка прощается, когда друг со своей Корзиной уже прошел через двор обратно и опять на ходу улыбнулся Миле. В Корзине у него что-то лежало, прикрытое синими листочками... Непонятно... А тем временем Милина Бабушка ложится спать. Раньше она никогда не спала, пока не появится Ночь, а сейчас... Другая, совсем другая стала ее Бабушка. Миле спать не хочется: за окном так ярко, тепло, интересно... Хотя чувствуется, что День уже собирается уходить... А что, если... Она внимательно смотрит на Бабушку: та дышит сильно и ровно, лицо ее спокойное и белое... Тогда Мила на цыпочках, очень тихо, но решительно идет на кухню. Дело вот в чем: Бабушка забыла закрыть там окно. И решетку тоже не задвинула: лила зачем-то воду из чайника на свои цветы в узком деревянном ящике, а потом позвонил в комнате телефон, она оставила все как есть, и больше в кухню не вернулась. Значит, можно вылезти во двор и успеть добежать до дерева – давно уже хотелось посмотреть на него поближе и потрогать, если позволит. А то они только машут друг другу, машут – и никакого толку. И вообще посмотреть, что там есть интересного... Вот, например, голуби... «Гуль, гуль, гуль!» – зовет их иногда бабушка и сыплет за окно крошки. Голубей сразу становится много-много, они давят друг друга во дворе на полу и булькают, как вода в раковине... А Мила неизвестно отчего начинает волноваться, и во рту становится мокро-мокро... Однажды она уже сбежала из дома – но Бабушка не спала и поймала ее. Вот когда Мила узнала, что такое «получить по попе!» Такой сердитой она бабушку не видела ни до, ни после, а уж как больно было! Но сейчас Бабушка





спит, значит, ничего не узнает, а Мила успеет вернуться, до того, как она проснется...

Мила – храбрая девочка. Бабушка часто ей это говорит. Храбрые девочки не боятся. Но Миле все-таки не очень уютно. Во дворе странно пахнет: не то приятно, не то противно – ей так сразу не разобраться... Спрыгнуть вниз – не проблема, окно совсем не высоко над полом. Надо же, какой жесткий здесь пол, совсем не такой, как в их квартире... Она опасливо идет прямо к дереву, залезает на скамейку... Подходит и осторожно прикасается к нему подушечками пальчиков, хочет погладить... Но оно холодное и твердое, неприятное на ощупь. Неживое! – понимает Мила. Надо же, а так приветливо махало руками... Слегка разочарованная, она хочет идти дальше – но тут из той желтой стены, в которой обычно исчезает Друг, выходит высокий парень с лохматой головой. Мила не раз уже видела его во дворе – это Ублюдок. Когда Друг еще ходил к ним с Бабушкой, он не раз показывал в окно на парня, быстро идущего через двор, чтобы пропасть все в той же стене: «Опять, кажется, ширнулся, ублюдок», – говорил Друг и отворачивался от окна. Мила ясно видела на его лице такое же выражение, какое было у бабушки, когда она вытаскивала неживую бабочку у Милы из рта...

Мила на всякий случай прячется за дерево, потому что ей и близко не надо рассматривать Ублюдка, чтобы понять: он злой. И опасный. Он может сделать так, что она станет неживая – как это дерево. Или та бабочка. Или как она сама делает неживыми комаров. Он садится на скамью и достает откуда-то такую же черную коробочку, как у Бабушки, – телефон. Держит его у щеки и говорит: «Ну, где ты? Далеко еще? Он уже чистит свои грибы! Ладно, быстрее давай копытами шевели...». Мила подглядывает из-за дерева и дрожит. Ей хочется убежать, быстро залезть в свое окно и смотреть уже оттуда, из недостижимого места, – но страшно показаться Ублюдку: вдруг он успеет схватить ее? А Ублюдок тоже дрожит: дрожит его большая нога, закинута на другую, дрожат руки на спинке скамьи, дрожат большие синие губы... Неужели ему холодно? Кругом ведь так тепло – даже для Милы, которая обычно мерзнет! Но во дворе откуда-то появляется незнакомая женщина – не из Бабушек, молодая. Такая, как Ублюдок. Озираясь, словно ожидая, что кто-то на нее набросится, она быстро идет к скамье – и Ублюдок вскакивает ей навстречу.

- Принесла? – отрывисто спрашивает он. – Дай сюда!





Мила хорошо знает это слово («А что я тебе принесла, девочка моя! Смотри, какая вкусняшка!»), оно всегда означает что-то очень-очень вкусное в руке у Бабушки. Неудивительно, что Ублюдок с таким нетерпением кидается к Женщине. Миле хочется увидеть, чем она его сейчас угостит, – она почти вся высовывается из-за дерева. Женщина отшатывается и вскрикивает:

- Это еще что за каракатица?!

Ублюдок нетерпеливо отмахивается:

- Не обращай внимания. Она ничего не сделает. Безобидная и тупая, как пробка. Только выть умеет гнусным голосом – и все. Именно из той квартиры, куда мой лох полгода пробегал. Я уж надеялся, что та баба его к себе заберет. Как бы не так – отшила по полной... Сидит он теперь на кухне, курит и страдает... Юный Вертер, блин... Смотреть противно. Ну, показывай!

Женщина протягивает Ублюдку что-то маленькое и белое. Приглядевшись, Мила с удивлением понимает что это – гриб. Похожий на те, что приносит иногда домой бабушка в прозрачных коробках, готовит на сковородке и ест горячими. Мила один раз попробовала («Это гриб, Мила, но тебе, наверное, не понравится» – и точно, не понравился). Вкуса никакого. И запах отвратительный.

- Чуть не чокнулась, пока по лесу моталась. Думала, не найду уж – редкость, все же, большая в наших широтах, – рассказывает Женщина. – Плюнула было, домой собралась не солоно хлебавши и тут смотрю – растет себе... Как на картинке в справочнике грибника: аманита фаллоидес.

- Чего? – удивляется Ублюдок; Миле тоже непонятно.

- Бледная поганка. Как и обещала. Одним грибом целую свадьбу угрохать можно, а не то что одного старпёра, – гордо говорит его знакомая.

- На вкус – точно не горькая? – деловито спрашивает Ублюдок.

- Точно. У нее вообще нет ни вкуса, ни запаха. И, когда ее съедешь, поначалу кажется, что у тебя только легкое несварение желудка, поэтому к врачу никто не обращается. А зря. Потому что второй – и последний – раунд начинается через несколько дней, когда спасти человека уже нельзя. Почки, печень – все разом накрывается. Белая Смерть – в чистом виде. Покруче Гёрыча<sup>1</sup>! А если сам собирал и сам готовил... Какое тут убийство... Любой ошибиться может. Никто не застрахован. Кушайте, дедушка

<sup>1</sup>Гёрыч – героин (жарг.)





Дима, лучший наш друг... И хватит, наконец, вонять на нашей площади...

Мила вздрагивает: Дима, Друг... Так это ему, выходит, принесли гриб, чтобы угостить? Эта Женщина так любит его, что носит вкусняшки? Мила бесшумно крадется вдоль скамейки, чтобы получше рассмотреть гриб: вдруг, действительно, вкусный, и ей перепадет от него кусочек? Хоть самый маленький!

И тут она словно натывается на стену. Она не видит ничего нового, но ее будто прошивает насквозь противная тягучая дрожь. Тьма – вот что это. Бесформенная, безжалостная, она невидимо зависла над этими двумя, что шепчутся на скамейке, не чувствуя ее. Точно такая же, как висела тогда над Бабушкой, когда сердце ее почти выскочило... А выходит она – из маленького белого гриба, с которым они что-то делают... Тьма растет, растет, накрывает их, вот-вот дотянется до нее, Милы... Проглотит всех – и ее, и Ублюдка с его Женщиной, и Друга, и Бабушку... Но они совсем ничего на замечают:

- Я не хотел до такого доводить, вот этой дозой клянусь! – шепчет Ублюдок, быстро показывая Женщине что-то маленькое и блестящее.

- Тогда точно верю, – легонько усмехается та, внимательно на него глядя.

- Но сколько ж можно! – горячится Ублюдок. – Поселился в чужой квартире и живет, живет... И в ус не дует! А ведь он мне – посторонний! Бабка когда-то вышла за него и сдуру прописала – свою квартиру он, видите ли, первой жене оставил из благородства... А я здесь с младенчества прописан, между прочим! Потом бабка возьми да помри в одну минуту – а он нет, чтобы убраться! Если б благородный был – так бы и сделал! Впаривает мне: куда, мол, я пойду – в подвал? А мне-то какое дело! За тридцатник перевалило, а все у родаков тусоваться должен?! Вот и мечусь меж двух квартир, как придурочный. Ни тебе ширнуться нормально, ни кирнуть, ни с шоблой посидеть по-человечески... Ни с бабой поселиться... Надоело! Надоело! Надоело! – взвизгивает он тонким противным голосом, а по лицу у него бежит вода, как недавно у бабушки.

Женщина хватается Ублюдка за локти, мгновенно сует ему что-то в рот:

- На, проглоти. Иначе руки трястись будут. И давай, отправляйся уже – чуешь, как грибами с луком из окна тянет? Значит, тушит







их всю... Только тихо смотри, не буянь там хоть сегодня. На кухню к нему спокойно зайди – вроде, воды попить. Он тебя терпеть не может и сразу уберется... А ты очень быстро поднимаешь крышку и бросаешь в сковороду кусочки поганки. И главное – не забудь, понял? – руки сразу вымой средством для посуды! Чтоб скрипели, ясно? Не то оближешь их, сдохнешь – и никакого тебе больше ширялова. И кира тоже. Дотумкал, горе мое? Повтори!

- Что я – конченный?! Простых вещей не секу?! – истерично возмущается Ублюдок. – Лапы убери от меня, невеста!

- Да, невеста! – с нажимом говорит она. – Обещал расписаться – значит, распишешься. Долг платежом красен. Откуда ты знаешь, может, я тоже хочу в замужних дамах походить, как твоя бабка на старости лет... Шучу. Лети давай, сокол.

Они расходятся в разные стороны – Женщина бросается в какую-то щель между высокими стенами – и нет ее; Ублюдок исчезает там же, где раньше пропал и Друг. Тьма еще немножко висит над скамейкой, словно раздумывает, а потом незаметно тянется вослед...

Мила одна во дворе. И сердце ее, кажется, сейчас выскочит и убежит – как собиралось и не сделало Бабушкино... Бабушка! Вдруг она уже проснулась и увидела, что Милы нет?! Тогда уж «по попе» не избежать – проверено... Мила оборачивается на свое настезь распахнутое окно – странно! Окно теперь, кажется, сильно уменьшилось – как она пролезет в него, когда будет возвращаться? А окно Друга, наоборот, выросло – может, заглянуть туда? Оно тоже открыто, а решетки и вовсе нет... Мила вертит головой туда-сюда, не зная, на что подвигнуться... Вдруг она опять замирает и вся холодеет: снова эта Тьма! Ее, как обычно, не видно, но Мила знает: она там, за окном Друга! И стала еще плотнее и гуще, чем когда висела во дворе. Тьма пришла за Другом, отчетливо понимает Мила в какой-то момент. Пришла и заберет – вместо Бабушки, ведь ее-то забрать не удалось! Тьме помешать нельзя – она такая. Она обхватит Друга черными лапами и вытащит из него что-то важное, без чего он станет неживой. Как комары. Как дерево. Как бабочка. Как вон тот голубь, что валяется под ближней стеной... И Друг больше не станет ходить через двор со своей большой белой головой и улыбаться Миле... Мила такая маленькая, глупая и некрасивая – что она может против Тьмы? Надо бежать домой, прижаться к Бабушке – и все снова станет хорошо... Но Мила решительно поворачивает к окну Друга. Вот



оно какое, оказывается, громадное! Теперь понятно, как Друг туда помещается. И забраться легче легкого. Только Мила хочет подпрыгнуть, чтобы уцепиться за подоконник, как рядом что-то грохочет, и она в ужасе прижимается к стене. Это опять Ублюдок. Ах, вот откуда он взялся! В стене, оказывается, тоже есть дверь! Но напрасно Мила так пугается – Ублюдок даже не смотрит в ее сторону. Обдав ее химическим смрадом, он наискось мчится через двор и пропадает. Отлично, путь открыт! Прыжок – зацепиться – подтянуться... Еще легче, чем казалось, – и вот Мила уже на подоконнике, осторожно заглядывает внутрь. С первого взгляда ей ясно: это кухня. Почти такая же, как у Бабушки. Этот большой белый ящик – холодильник. А вот и кран с водой. Мила осторожно ступает на стол – и чуть не падает с него: Тьма прямо здесь, рядом! Ее не видно, но она – живая! Она тоже сейчас смотрит на Милу и решает: схватить ее или нет? На миг девочку парализует от ужаса, но сейчас же она вспоминает: Тьма пришла не за ней. Пока не за ней... Злое темное облако висит над большой серой коробкой, что стоит на полу и называется «плита». На плите, как и на такой же Бабушкиной, горит маленький синий огонь, а на нем тихо булькают в глубокой сковороде грибы. Это и проверять не нужно – невкусный запах, хорошо знакомый Миле, заполняет всю кухню... Тьма торжествует. Она как-то связана с этим запахом, чувствует Мила.

Надо ее убить. Как убила бабочку. И могла бы убить голубя. Правда, Тьма гораздо больше – ну и пусть...

Мила больше не думает – она с размаху бросается на сковороду, та с грохотом летит на пол, Мила – на нее. Она поскальзывается в склизких кипящих грибах, падает боком в эту зловонную дымящуюся кашу – и тут оскорбленная Тьма нападает сверху. Бежать некуда – дверь закрыта! Мила катается по полу, воеет и визжит от нестерпимой боли, о которой даже не знала, что такая бывает – красная, невероятная! – случайно опирается о перевернутую сковороду – и этого уже нельзя вынести... Она слабо хрипит последний раз, успевает услышать голос Друга – «Мила, ты?!! Господи!!!» – и Тьма накрывает ее разом...

У Бабушки в комнате светло от длинной рогатой люстры, висящей над круглым столом. У Милы еще саднит все тело, больно пошевелиться – но эту боль уже вполне можно терпеть. Бока, грудь, плечи, ладошки – все туго обмотано какими-то узкими бе-





лыми тряпочками, из-под которых струится странный дурмящий запах, и все время хочется содрать их и отбросить в сторону. Но охота сразу пропадает, как только Мила натывается на строгий бабушкин взгляд. Впрочем, строгий он только, когда хочется сорвать тряпки, а так – Бабушка только и делает, что улыбается, хвалит Милу и говорит ей ласковые слова:

- Милая! Умница ты моя! Героиня!

- Красавица наша синеглазая! – подхватывает Друг. – Сколько в тебе грации! Хм... Просто нужно суметь увидеть ...

Он сидит за столом, и Бабушка наливает ему в чашку отвратительный кофе. Ну и пусть. Мила все равно любит их обоих. Она вытягивает шею, осторожно кладет голову на стол, прислушивается и всматривается, иногда щурясь от удовольствия просто видеть их и слышать их голоса.

- Ну, продолжай, продолжай, – теребит Бабушку Друг. – Все-таки дал, значит, показания... И что – вот прямо так и признался? Сам?

- А куда бы он делся, – поводит плечом Бабушка, садится рядом с Другом и берет себе другую чашку. – Сутки без дозы. Тут и... этот... допрос с пристрастием... не нужен.

- И как ты только догадалась отправить на анализ те грибы с полу! Я бы просто выбросил их – и дело с концом, – восхищенно смотрит на нее Друг.

- Ага... И эти сволочи отравили бы тебя в другой раз... – мрачнеет Бабушка. – Видишь ли, я знаю, что Мила моя – не хулиганка. Она не могла просто так взять и нашкодить – не тот характер. Пусть она не говорит – но мне иногда кажется, что разбирается в этой жизни лучше, чем я... И раз она ни за что не хотела, чтобы ты ел те грибы... Ты же сам говорил – она вопила от боли и каталась в них – но не убежала, когда ты открыл дверь! Значит, она знала, что там – опасность, и хотела показать тебе это. А может, видела, как твой Юрка сунул что-то плохое в сковороду... Не допросишь же ее в полиции... А жаль, право... Ну, а потом, когда я позвонила Катьке...

- Я так и не понял, Катька – это которая? Дылда такая, от которой духами французскими разит? – спрашивает Друг.

- Да нет, Дима, – морщится Бабушка. – Которая дылда – та физик-ядерщик. Мы все тут с одного двора и школу вместе окончили... А Катя, наоборот, самая маленькая. Ну, помнишь, мы еще ее весной в Мариинке встретили?





- Это та вот... Дюймовочка в шляпке... Вся в колечках каких-то, бусиках... Пол-ков-ник по-ли-ции? – весь подается вперед Дима. – Ты чего – шутишь, да?

- Нисколько! – выпрямляется Бабушка. – Больше четверти века оперативной работы. Только последние годы на руководящую должность перевели – тоскует... Раскрытым убийствам счет потеряла. А тут... и раскрывать нечего... Экспертиза сразу показала: яд бледной поганки. В том лесопарке, где ты шампиньоны свои собираешь, она отродясь не водилась. Значит, подложили... И шансов у тебя не было. Так что, если б не Мила...

Бабушка и Дима дружно поворачивают головы в ее сторону.

- Я опять забыл, – виновато говорит Друг. – Как эта порода называется?

- «Сфинкс петерболд». Если по-русски – «Петербургский лысый сфинкс», – улыбается Бабушка и нежно смотрит на Милу; та благодарно шевелит кончиком своего длинного голого хвоста и настраивает огромные уши-локаторы так, чтобы лучше слышать любимый голос. – «На лицо ужасные, добрые внутри»... Разновидность сиамских – а ведь это еще и самые умные кошки в мире!

Друг берет руку Бабушки и подносит к своим губам. А Бабушка склоняется над его колючей белой головой и отважно ее целует.

*26 марта 2016 г.*

*Букино*





## Норковый тулупчик

*Его благородие жалует мне  
шубу со своего плеча.  
На то его барская воля...*

*Господи Владыко (...). Заячий  
тулуп почти новешенький!*

А.С. Пушкин, «Капитанская дочка»

Что теперь станет с Марсиком? Эта мысль как впиалась с утра в ее мозг, будто тонкая колючка в пятку, так и цепляла – при каждом невольном вздроге сознания. Только усыпить. Другого выхода Нинон не видела – да и не было его, как ни изворачивайся... Вот так прямо взять и усыпить здорового пятилетнего немецкого овчара с дремучей золотой бездной в чуть прищуренных, всегда на хозяйку жадно устремленных глазах. Сделает это, конечно, зять. И на минуту не задумается, а она не посмеет возразить. Она теперь вообще никогда ничего не посмеет: вспять время не повернешь... Это когда-то, десять лет назад, было ее гнездо, которое она маниакально украшала, словно ласточка, принося туда в клюве по травинке: то коврик в ванную, то полочку под локоток у кресла – чтоб и чашка, и книжка... Даже вспоминать странно... Восемь лет назад Нинон оставила квартиру дочке с ее семьей, и теперь только гостевала там иногда – очень редко и недолго. В бывшем своем доме, незаметно ставшем необратимо чужим, а иногда почти скатывавшемся во враждебность.

Марсика – шерстистого, всегда готового на рык и непривычного к паркету – туда привезти с собой невозможно: в маленькой брежневке, где в меньшей, десятиметровой комнате теперь спальня Людочки с мужем, а в большей – аж четырнадцать метров! – размещены внуки-близнецы Петя и Паша со своим двухъярусным спальным местом, неразлучной, как и они, парой секретеров с компьютерами, несколькими спортивными снарядами и одним на двоих неожиданно ласковым и безответным, похожим на белую акулу бультерьером по кличке Беляш... Куда уж там Марсику, самой-то куда-нибудь примоститься! Ну, положим, Людочка маму если не любит, то хоть пожалеет иногда, и, когда муж ее, го-





ре-художник, ночует в мастерской, будет класть мать рядом с собой на супружеский раскладной диван, на свою половину, а сама переберется на мужнину... Ночует супруг вне дома часто и охотно, потому что жену давно разлюбил, а дети ему и вовсе мешают: так, появится, прикрикнет для порядку, чтоб показать, кто хозяин в доме, доведет мелочными придирками и неявными, но гнусными оскорблениями действительно подурневшую за последние годы Люду до крика и слез, после чего обзовет истеричкой, на которой «знал бы – не женился», благородно вознегодует и вновь исчезнет на полнедели. Девочка ее знает, что в мастерскую муж регулярно приводит женщин – для вдохновения, даже если наскоро ляпает трафаретную халтуру, вроде эмблемы спонсора на форменные майки и куртки детской спортивной команды... Но она давно махнула рукой на мужа – и на себя. Других в сорок – и пятьдесят, кстати! – называют на улице «девушка», а Людочка... Нинон так больно теперь видеть эту – еще чуть-чуть – и да, можно будет сказать «опустившуюся» – старообразную тетку с жалким трепаным пучочком давно не крашенных волос, в вечных унылых шерстяных кофтах и прямых юбках неопределенной длины, вроде бы и новых, в магазине купленных, а все равно будто раскопанных в бабушкином сундуке. «Покрасилась бы, может, дочка, стрижку какую сделала...» – робко советовала, приезжая раз в месяц, Нинон. «Ой, мам, сил нет...» – вяло отмахивалась Люда и заправляла за ухо посекущуюся прядку... Но с мужем она никогда не разведется – будет тащить его до смерти, нелюбимого и нелюбящего, зато требовательного и полного амбиций... Люда сейчас «оператор» частного копи-центра. Проще говоря, она двенадцать часов в сутки сидит в стеклянной коробке, приткнувшись в недрах торгового-развлекательного центра, и распечатывает клиентам тексты на принтере или делает им дежурные черно-белые ксерокопии документов, где лица на фотографиях откровенно страшны, как случайно проявившиеся изображения привидений... Нет, когда-то была благополучно закончена традиционная «Корабелка», что-то инженерское прописано в синих корочках... Но куда уж теперь! Хоть какая-то работа есть с регулярной зарплатой – и то счастье, так-то вот... В свободное время Люда пытается – деловито, но почти всегда неудачно – искать каких-то недостижимых и почти мифических олигархов, готовых оплатить банкет «для нужных людей» на очередной мужниной выставке в окраинной библиотеке, мечтает выбить ему какие-то фанта-



стические «гранты», подает его документы на премии, которых он никогда не получает, потому что средства, гранты и премии распределены еще задолго до того, как на них кто-то «подал» – и всем это понятно, кроме Люды и ее мужа... Но ничего, зато деньги, вырученные за пропечатанные спины спортивных маек, он несет именно жене – почти до копейки. «Со своими девицами разве что бутылку шампанского разопьет», – радуется Людочка... И все длиннее ее юбки, все серее и коричневее кофты... Ладно, когда зять будет приходиться с ночевкой, придется ложиться на кухонный диванчик. Он, правда, коротковат, ноги свисают, но можно низенькую такую табуреточку... с подушечкой... Не выгонят же на улицу – мать все-таки родная и бабка! И с детьми поможет, кстати: как они из школы придут – она им борщика горяченького, чтоб сытенские перед секциями своими спортивными...

Господи, как страшно...

Снова больно цепляет колючка по имени «Марсик». Не пустят его в квартиру, не пустят... Тем более что своя собака у них не маленькая, да и Марс никого, кроме Нинон, не признает – даже детей. Все другие для него – потенциальные враги, и он их лишь милостиво терпит до гипотетически возможной команды «фас» – и ждет ее даже во сне, чутко поводя острыми бархатными ушами. Окрас у Марса совсем волчий, серо-черный, называется «зонарный», кто в поселке его не знает, не осведомлен о низкой овчарочьей осадке кзади, – тот опасно косится: не волка ли ведет на поводке эта сумасшедшая тетка? Хм... Тетка... Хорошо, если так, а то ведь, наверное, думают «бабка»... Она сама в лечебницу не поедет, а Марсик зятю в руки не дастся... Придется вызывать ветеринара-усыпителя на дом – за ее деньги, разумеется; она и уйти не сможет, потому что Марс без нее всех в доме перервет, включая детей и врачей. Значит, никуда не денешься: подарить его некому (хорош подарочек, сожрет счастливого обладателя и не подавится), придется не просто как-нибудь душераздирающе проститься, но и присутствовать... Давным-давно она видела, как усыпляли собаку ее школьной подружки – та не смогла, умолила пойти с песиком в кабинет десятиклассницу-Ниночку... Несколько лет не забывалось то, что пришлось увидеть тогда в лечебнице! Но спаниель подружки был старый, плешивый и неизлечимо больной, весь в устрашающе огромных опухолях; он твердо знал, что пришла его собачья пора, кротко смотрел абсолютно человеческими всепонимающими глазами и нервно, прерывисто взды-







хал: вы, дескать, поскорей уж, девчонки, устал я... А Марсик... Нет. Она не сможет. Лучше уж в приют ответет, скажет, нашла на улице... Нет, нет. Пусть хоть режут ее, хоть на улицу выкинут! А может, отдать его пограничникам, пусть несет военную службу? Поступает же так кто-то, она сама читала... А-а-а! Да что же это делается-то на свете, Господи! И как же ты допускаешь такое! Меня – наплевать – но Марсика-то за что?! Он же тоже тварь Твоя, Боже, мы-то тут, на земле мыкаясь, ко всему привыкли, но его не мучь – серого, злого, преданного, ничего не понимающего!

Чувство беспомощности захлестнуло Нинон, она покачнулась за столом, едва не закрыв лицо руками, но вовремя глянула вперед, наткнулась взглядом на монументальную фигуру женщины-судьи в складчатой мантии – над квадратным черным пятном маячило расплывшееся, сероватое, презрительно-равнодушное лицо в тяжелых прямоугольных очках. Такая не пощадит. Это тебе не Марсик.

«Вы же знаете, что бедному с богатым не судиться... – шепнул ей в ухо, мягко поддержав за спину, молодой и бойкий адвокат Илья. – Но раз уж решились... Давайте хотя бы проиграем с высоко поднятой головой... Ну... Соберитесь... Может, еще и ничего, кто знает...» – Илья чуть слышно вздохнул. Он-то как раз знал – и предупредил честно, еще до самого первого заседания: «Эти – *занесут*, можете не сомневаться, – кивнул в сторону надменной девчонки, представительницы истца. – Не судье – так в нужные организации. А там неудачницы-недоучки сидят, которые айфон только во сне видели, и пенсионерки, чья пенсия равна прожиточному минимуму... Продолжать мне или сами поймете, Нина Алексеевна?». Она, конечно, понимала.

- Я протестую! – с протяжным воем подскочил вдруг рядом с ней адвокат. – Протестую против приобщения этого чертежа! Его происхождение...

Грохнул, будто выстрелил, деревянный молоток:

- Протест отклонен. Суд постановил удовлетворить ходатайство истца о приобщении к материалам дела плана дома и участка.

- Ваша честь! – против всяких правил взмолился Илья. – Там цветной тушью нарисовано! В пятидесятых годах прошлого века! Неизвестно кто, что и где рисовал, там и вокруг все тогда другое было! Непонятно даже, та ли местность вообще, о которой речь-то идет! А надписи...

- Ваш протест отклонен, вам неясно, представитель ответчи-





ка?!! Еще раз – и вы будете из зала – удалены! – судейская мини-кувалда вновь обрушилась на кафедру, и легко было предположить, что если б суровый закон давал судье право молотить не по столу, а по головам участников процессов, то их мозги давно бы уже были размазаны тут по стенам во устрашение всем последующим.

«Где-то я ее видела...» – неясно мелькнуло у Нинон в эту ужасную секунду.

Илья потупился и сел.

- Кремень баба, – тише шепота поделился он с клиенткой. – Точно – *скушала*...

Нет, она определенно идиотка... Причем тут Марсик?!! Кто думает о собаке, когда под откос летит – жизнь?!!

\*

Истца своего Нинон видела единственный раз, поздней весной. Однажды, жмурясь от удовольствия (эту привычку она за собой знала и считала ее обаятельной), будущая ответчица пила на крыльце утренний кофе со сливками, вытянув вдоль теплых крашенных досок свои длинные, все еще стройные ноги и заголив их выше колен, – и вдруг в щели между землей и глухим железным забором промелькнули и замерли у калитки мужские ярко-белые кроссовки. Тотчас раздался стук, Нинон мгновенно натянула юбку на колени и крикнула: «Кто там?». Приятный тенор ответил: «Сосед, на минуточку!» – и она впустила во двор невысокого симпатичного мужчину с приветливым взглядом и вежливой улыбкой. Незнакомого, но совершенно неопасного... Ох, и «минуточка» же оказалась!

Соседей справа и слева Нинон прекрасно знала в течение вот уже полувека, поэтому еще до того, как мужчина объяснился, стало очевидно, что он не кто иной, как владелец заброшенного участка, располагавшегося позади, и древнего, уже в землю врастающего дома без окон без дверей, который давно не виден был среди буйно разросшихся колючих кустов с несъедобными ягодами и зарослей гигантского борщевика, похожего размерами и формой на тропические деревья... Хозяином всей этой роскоши был когда-то сослуживец отца тогда еще маленькой Ниночки; оба они обзавелись участками и строились одновременно, а детей их связывал особый вид дружбы – летний: это когда ты с приятелем на даче – не разлей вода, а вот случайно встретиться зимой в го-





роде, где-нибудь в театре или на детском празднике, показалось бы странным и неловким... Отпрысков у соседней имелось двое: старшеклассница Марина, открыто презиравшая «мелюзгу», и вихрастый пионер Лешка, смысленный кареглазый толстячок с льяными волосами, что запомнилось необычностью, потому что либо глаза сами собой напрашивались васильковые, либо волосы – шоколадные; он и принадлежал к той ватаге ребятишек, с которой бегала подросток Нинка... Махнувшая за шестьдесят Нинон пытливо глянула в лицо своему ровеснику-соседу: нет, не карие глаза – серые, как и положено при светлых с проседью волосах. Не Лешка... А кто?

- Меня зовут Константин... Можно без отчества... И я племянник... – он назвал имя, ничего Нинон не сказавшее, давно из памяти ускользнувшее. – Бывшего хозяина того участка. Теперь я его унаследовал, поэтому...

Такое простое слово, а в ней – ёкнуло, вырвалось:

- А Лешка... Марина...

Красиво погрузнев, мужчина кивнул:

- Марина эмигрировала, давно уже, прислала отказ, я покажу вам, если требуется, – (Нинон помотала головой: ей-то что до этого?), – а Леха... Ну, тут дело обычное: пил как лошадь; пока жена жива была – сдерживала как-то, потом умерла, а он – по наклонной... За год человеческий облик потерял, через два – сгорел во сне до углей вместе с квартирой... И шестидесяти не было мужику. Такие дела.

У Нинон смутно пронеслось: сладкие гороховые стручки в чужом саду, черепаха размером с детскую ладонь, бойко плывущая в открытое море, букетики с ягодами земляники, собираемые на валу вдоль железной дороги, – и все это как-то связано с тем смешным пузанчиком, от которого, как оказалось, теперь остались только черные угли, как от средневекового еретика, казненного на костре... Она встряхнула головой:

- Да вы проходите в дом – что на жаре-то стоять, голову напечет! У меня там и кондиционер есть – муж успел, незадолго до смерти... Теперь вот спасаемся в жару...

Он и от кофе не отказался – приятный человек – и удивился, как такой вкусный получается, и вежливо хмыкнул на ее фирменный ответ: «Еврей, не жалейте заварки...».

За кофе сосед, человек, как сам признался, состоятельный, рассказывал о своих планах участок расчистить («Но вот те чуд-





ные бронзовые сосенки – видите? – непременно сохраню»), построить там замечательный двухэтажный особнячок со скромной башенкой («Так дочка хочет, сам бы ни за что: уж больно вкусом какого-нибудь краснопиджачника отдаст, но как не потрафить любимице, она же у нас единственная»), а меж тех пяти плакучих березок («Вам из-за борщевика не видно, но просто как девицы-красавицы хоровод водят, честное слово!») поставит миниатюрную беседку... Еще жена его мечтает об оранжерее, чтобы по древнерусским летописным рекомендациям самой выращивать и лимоны, и апельсины, и даже ананасы («А вы и не слышали? Как?! Вы не знали, что в Древней Руси все это было прекрасно освоено?»), кроме того, она очень любит разводить разные экзотические цветы («Такая утонченная женщина, необычная, понимаете?»), и он построит ей для этой надобы другую теплицу, самую современную; она, Нина, еще удивится, когда увидит те чудеса, которые они здесь сотворят... Да, кстати, насчет теплицы: очаровательная Нинон («Как это красиво, на французский манер!») знает, конечно, что ее отец случайно – а может и нет, он лично покойного старикана, пусть земля ему пухом, не знал – захватил целую полосу от его участка, шесть с лишним метров шириной и пятнадцать в длину – сотка все-таки, не кот начал, между прочим – именно те сто квадратных метров земли, которые требуются для вышеозначенной постройки...

Нинон все еще продолжала улыбаться и кивать, пододвигая гостю тарелочку с нарезанным магазинным кексом, – и нельзя было не улыбаться в его ясные глаза и чарующую, мальчишески-застенчивую улыбку, в его открытость, в ненаглую уверенность в себе, в безопасность его и дружелюбие... Он показывал невесте откуда вдруг явившиеся планы и чертежи, со знанием дела вычерченные на пожелтевшей от времени бумаге («Вот здесь ручей, а это дорога – кстати, не только дом ваш, но и колодец тоже на моей территории оказался»), с четкими фиолетовыми печатями и петлистыми подписями людей, явно ставивших их когда-то со всей возможной торжественностью... Давно умерших людей, которые уже никогда ничего не подтвердят и не опровергнут.

Она, и провожая соседа, еще не смахнула улыбку – потому что и он дружески сиял, глядя ей в глаза и говоря вещи, которые ничем, кроме шутки, оказаться по определению не могли:

- Ну, что делать, что делать... Перестраиваться! Переносить как-то дом ваш, что ли, не знаю... Проще, конечно, быстро снести



его и потом новый отстроить... Подальше там – вон, кустарник тот вырубить, что ли... А колодец в наши дни – это же вообще архаика... Ну, как невозможно... Все возможно в этом мире... Вы же видели документы. И планы свои я вам озвучил – что тут неясного? Потому что сами же понимаете – на чужой земле живете... Конечно, не виноваты: это старики пятьдесят с лишком лет назад намудрили с документами... Тогда, знаете, вообще проще все было, не заморачивались люди, а зря... Как, вы и сами межевание не делали? Ну, это вы, душенька, напрасно... Сразу видно, в папочку пошла дочка, ха-ха, без обид... Так вы подумайте на досуге, как разбираться будем, а я заскочу на недельке...

Но через несколько дней у калитки остановилась огромная, как бульдозер, черная машина, из которой легко выпрыгнула миниатюрная девушка с грацией косули – и оказалась адвокатом вежливого соседа. Она приехала только уточнить, когда именно планируется снос мешающего планам ее клиента строения, и дружески посоветовала, не заходя в обреченный дом:

- Знаете, Нина, э-э... – заглянув в бумажку, – Алексеевна... Я вам просто по-человечески говорю, из сочувствия, так сказать: не доводите вы дело до суда, честное слово: сколько денег, нервов, здоровья, потратите, а конец все равно один: документы я изучила – судье, собственно, даже колебаться не из-за чего, настолько там все ясно... Нет, я понимаю: обидно, и всякое такое... Подставил вас отец ваш – что тут скажешь... Трудно его теперь осуждать – время другое было... Но вы и сами о современных документах не позаботились. А начали бы процесс межевания – так и всплыли бы все эти факты...

Тогда Нинон предложила выкупить несчастный спорный кусок земли: посоветовавшись с зятем и дочерью, она уже успела прийти к выводу, что не так уж это и дорого, и вполне по силам им поднатужиться да и наскрести по сусекам стоимость сотки здешней не самой дорогой земли...

- Да ну, что вы! – махнула рукой девушка из бульдозера. – Это не обсуждается. Моему клиенту не копейки ваши нужны, а земля, которой, как он считает, у него и так маловато окажется. Поэтому он, может, и остаток вашего участка за бесценок прикупит, если вы новый дом строить не надумаете, – так что вам еще и прибыль какая-никакая выйдет, не грустите очень уж... В любом случае, закон на его стороне, так что...

Так что «Долой Нинон, Нинон, Нинон, / Долой Нинон Ланк-





ло...». Она сама переделала так свое имя из простенькой, как ей девчонкой казалось, Ниночки – когда, лишь прочитав в отрочестве рассказ Эдгара По, еще не знала, кем была на самом деле та Нинон, о которой пелось<sup>1</sup>.

Долой, Нинон.  
Время умирать.

\*

А судью эту она, несомненно, раньше видела. Неподвижное лицо женщины казалось не высеченным из мрамора – а грубо вытесанным из тусклого камня, но нет-нет и проступала в нем будто некая странная прозрачность, и тогда в глубине, как лик прекрасной утопленницы под грязной водой, обозначались очень знакомые, даже чем-то милые черты... Песочница, соседская девочка, какой-нибудь подаренный или отнятый совочек? Не то, не то... бери выше – обеденный стол в детском садике, ты давишься сухим крупитчатым творогом, а напротив – золотистые кудряшки? Нет, почти всех детсадовских Нинон помнила, да и фотографий много осталось... Что тогда? Что?

- Ответчица, а закон о необходимости межевания вас не касался?! – два стальных буравчика свирепых глаз впились в ее лицо, пронзительный голос полоснул по сердцу – и вопрошаемая уже торопливо и угодливо вскакивала со стула, как не выучившая урок школьница, вызванная к доске, как ее собственный гневный окрик, случалось, во время оно выдергивал из-за парты нерадивых учеников.

- Я... Мне... – точно так же, как и они, мемекала Нинон, не поднимая глаз. – Мне просто не казалось, что это так срочно...

Если честно, она и вовсе об этом не задумывалась, привыкнув, что всей скучной документацией сначала ведали родители, а потом муж, – поэтому даже счета с трудом оплачивала, вовсе не вглядываясь в заведомо непонятные цифири, – и с восторженным недоумением думала о тех храбрых своих знакомых, которые не только заново перемножали их, но еще и подавали какие-то протесты и требования итоговые суммы – пересчитать! Нинон же родилась с почти недееспособным левым полушарием, пригод-

---

<sup>1</sup>*Нинон де Ланкло* (1615-1705) – французская куртизанка, писательница, хозяйка литературного салона; в рассказе Э. По «Очки» упоминается только в куплете игривой песенки, напеваемой одним из персонажей.



ной исключительно к гуманитарным наукам, и все, что касалось подсчетов и замеров, вызывало в ней настоящий мистический страх. Но и отец, и муж у нее оказались с головой и руками, причем, второй, как она довольно нескоро додумалась, был подсознательно выбран ею под стать первому: такой же основательный, сосредоточенный молчун и добытчик, мастер на все руки и твердое плечо – несокрушимое, предназначенное служить вечной опорой... Инженер, который настолько любил свою работу, что и дома все время высматривал объекты, требовавшие основательного доведения не только до ума, но и до совершенства... Оттого и в детстве ее, и в юности, и в зрелости дома у них все идеально работало, повсюду тархтели и жужжали какие-то дополнительные моторчики, семью не страшило ни летнее отключение горячей воды, ни зимнее, всегда предательское, – отопления. На даче сооружен был собственный водопроводик на связи с колодцем, отведена почти городская канализация, установлен паровой котел в подвале, под зимние нужды (на Новый год, например, приехать – чем не счастье?) переоборудован второй этаж, да и весь дом, изначально деревянный, со временем оделся добротным желтоватым кирпичом, обзавелся зеленой железной кровлей... А когда молодая еще Нинон заикнулась мужу о том, что жаль, дескать, в плохую погоду нельзя пить кофе на балкончике с видом на залив и далекие кораблики, то балкончик был немедленно превращен в утепленную лоджию... Он крепко любил свою очаровательно слабую, вечно нуждающуюся в защите и наставлении жену, этот ее немногословный муж, так и не сумевший оплодотворить ее, но принявший, как родную, дочку от раннего, горького и недолгого институтского жениного романа – любил и старался сколь возможно облегчить обеим жизнь. Последним, что он сделал десять лет назад, перед тем, как молодым, только полтинник разменявшим, умереть «от сердца», никогда прежде не болевшего, – был тот самый кондиционер, далеко не у всех в те дни на даче имевшийся, сидя под которым спустя десять лет, незванный гость сообщил ей, что дом придется снести.

Даже теперь, когда суд уже шел полным ходом, Нинон большей частью оставалась ужасающе спокойной, потому что знала – да и все кругом говорили – что исход дела предрешен. Несколько жалких бумажек, представленных суду ее адвокатом, ровно ничего по существу не решали, а ходатайства о паре очень желательных запросов судья отклонила парой же ударов своего беспокойного







молотка. Зато ходатайства противоположной стороны о приобщении, запрашивании и назначении только удовлетворялись – хотя с такой же неистойвой злобой. Было совершенно ясно, что судья ненавидит всех фигурантов без исключения, и не только их дела, но и прочих, больших и малых. Действительно, с высоты судейской кафедры – чем должна была казаться пожилой измотанной женщине вся эта нечистоплотная и подлая возня с квадратными метрами, очернением ни в чем не повинных покойников, мелкими предательствами и грандиозными обманами? Какое ей дело было до протечек на чьи-то тупые головы и горбом нажитый бедный скарб, до невыплаченных грабительских кредитов и незаконных вселений в убогие жилища всех этих маленьких, жадных, обвиняющих друг друга в чудовищных злодеяниях никчемных человечков? И до чужих, никогда не виденных домов, полных неприятных запахов тлена? Какая ей разница, порушат завтра один из них или нет?!

Нинон и хотела бы переживать, рыдать по ночам, до утра не спать перед заседаниями, но... Но в ней словно что-то запеклось – и это был грозный признак крушения. Так уже происходило – три раза. И всегда несло с собой смерть. Сначала, когда позвонили с работы отца: он, главный инженер цеха, получил тысячевольтный удар тока, но умер не сразу – она ехала в больницу, твердо зная в душе, что в живых его уже не застанет, и не могла ни молиться, ни плакать... Спустя четыре года она сама звонила в эту больницу – и там буднично сообщили, что недавно прооперированная мама снова переведена в реанимацию; и опять Нинон ехала туда же точно на таком же троллейбусе того же маршрута, снова бесповоротно зная, что это конец, – и сидела бетонно-спокойная. Ну, а третий раз – это когда в дверь позвонил мальчишка-сосед по лестнице и через заевшую цепочку взволнованно протараторил, что муж «Нины Алексеевны», помогавший вешать в их квартире люстру, «вдруг упал и не шевелится» – и надо было только сделать три шага по площадке; она помнила, как спокойно сделала их, а сердце меж тем превратилось в сгусток запекшейся крови... Точно таким же оно ощущалось и теперь, что значило: волноваться не о чем. Волнуются ведь, когда не знают, чем кончится...

\*

Сколько она себя помнила – там всегда было солнечно, на их даче. Даже странно – ведь пасмурных дней в году случалось не





меньше, а больше, как и всегда на Балтике! Но даже ненастные дни виделись отсюда, с этого края жизни, полными света, вот в чем дело! Прямо от их дома, через засыпанную хвойными иголками дорожку, открывался пологий спуск к дикому песчаному берегу Финского залива – здесь, за Кронштадтом, его воды остались такими же чистыми и прозрачными, как в прежние времена, когда еще не построили дамбу, погубившую севернее все живое в некогда кристальной воде... Детьми они на бегу срывали одежду, сбрасывали сандалики – и с размаху плюхались на мелководе, где меж полосато-розовыми ракушками брызгали в разные стороны перепуганные мальки.

На участке у них давно уж отвели особое, торжественное место для костра, и теплыми июльскими вечерами все окрестные дети пекли под руководством Нининого папы картошку в раскаленной золе – какое там теперешнее барбекю, тогда и слова такого не знали! – и в свои упорно округляемые шестьдесят Ниню все еще была твердо уверена, что вкуснее тех черных снаружи и рассыпчато-желтоватых внутри картофелин, посыпанных крупной солью и достававшихся каждому строго по одной (больше – это уже превратить праздник в обычный ужин!) нет и не может быть ничего на свете!

А ее первый и единственный охотничий трофей! Поздней осенью, уже, наверное, на пороге декабря, папа, неустанный ходок по лесу, знаток языка растений, повадок грибов и лесных примет, взял с собою на дачу в выходные семилетнюю Ниню, обещая показать ей, как засыпает лес... Но Нина, всегда, вообще-то, послушная, на сей раз с чего-то решила напроказничать – и в знакомом, казалось, перелеске, тишком удрала от родителя, занятого осмотром свежего лосиного следа. Она тихонько потрусила прочь, зажимая ладошкой трепещущий на губах смех и представляя себе, как беспомощно начнет озираться ее большой неуклюжий папа, когда заметит, что дочка рядом нет, – и случайно отбежала на такое расстояние, что папиного тревожного зова («Где ты, проказница? Зачем пугаешь папку?») не слыхала, хотя, по ее расчетам, он давно уже должен был оглашать собою весь лес. «Папа... – нерешительно позвала тогда девочка, сдаваясь без боя. – Я здесь!.. Я никуда не делась!..». Она тотчас с облегчением услышала, как отец продирается к ней справа через густой непроницаемый осинник – и стремглав дунула в ту сторону, чтобы не успеть испугаться лесного одиночества. С громким треском





они рвались друг другу навстречу, вот уже большая темная тень видна сквозь частые ветки – «Папа!!!» – но вместо родного лица недостижимо высоко над головой Ниночки неожиданно возникла огромная и длинная звериная морда! Коричневая! Шерстяная! Зажмурив глаза и зажав ладонями уши, первоклашка завизжала так, что ей показалось, будто голова ее сейчас взорвется от этого пронзительного вопля – и, перекрывая его, животное тоже страстно, истерически вострубило – а потом, ломая ветки, давя плашмя падавшие тонкие деревца, бросилось восвояси, оставляя за собой в чащобе широкий пролом... «Нина-а!!! Нина-а!!!» – как только, истратив весь воздух из легких, девчонка замолчала, раздался стремительно приближавшийся голос отца... Когда он достиг места недоразумения, ему и объяснять ничего не потребовалось. «Лось, – констатировал папа, быстро оглядевшись. – Они сейчас как раз рога сбрасывать начинают. Занят был сохатый – вот и не сразу тебя заметил... Постой-ка...» – и он уверенно направился по следу удравшего зверя. «Так и есть! – послышался веселый крик буквально через пару секунд. – Ну-ка, ну-ка...». И, когда Нина подбежала к отцу, он уже шел по тропе обратно, со смехом протягивая ей два огромных, похожих на деревянные крылья лосиных рога: «Сразу оба выломал! Ну, ты, дочь, – сила! Так зверя шуганула, что он оба рога за раз потерял, когда спасался! На, держи! По праву твои трофеи – можешь гордиться!». Она схватила было один – но сразу уронила: такой тяжелый оказался! Трофеи домой нес папа, то и дело начиная смеяться на ходу... Скоро он приделал рога на лакированную дощечку, и они много лет висели в их городской квартире над входной дверью, а гордый хозяин дома всякий раз сообщал тем гостям, которые случайно не знали: «Это Нина лося завалила. Личный ее трофей – я ни при чем...».

\*

Он умер двадцать один год назад, мама – семнадцать, муж – десять, и только тогда дочка Люда вышла, наконец, замуж. Тридцатилетней, застенчивой, безнадёжной. Зять Нинон не нравился категорически (постоянной работы нет, все время какие-то ненадежные халтурки, дома то густо то пусто – что за мужик?!), и она постоянно ловила себя на мысли: «Все равно разведутся». Но не развелись, Люда как-то притерпелась – вернее, желая подольше оставаться в уважаемом замужнем положении, безропотно содер-





жала благоверного всякий раз, как он сидел без заказов, – хотя, надо сказать, был он поначалу нетребовательным – просто никаким. Тогда смирилась и Нинон, в свою очередь, додумавшись до того, что второй брак дочке ее заказан, а этот совсем уж неудачным не назовешь: все так живут, невелика печаль. Тем более что родились близнецы, требовался отец и кормилец... Сначала Нинон охотно нянчилась с карапузами, но вскоре теснота стала раздражать и мучить всех пятерых, а там и лето всевыручающее пришло, переехали, как обычно, на дачу... Дочь с детьми пробыла до осени, а Нинон, к тому времени уже молодая пенсионерка, все медлила возвращаться домой: по вечерам с удовольствием топила хворостом свой нарядный, расписными изразцами выложенный камин (на него в свое время крупно потратились строго ради романтики – отопление не он, конечно, обеспечивал, а котел в подвале), читала что-нибудь спокойное, укрыв ноги мягким пледом, иногда подолгу заглядывалась на огонь, опустив книгу на колени, в полдень бродила меж сосновых стволов, прислушиваясь к высокому гуду ветра в кронах, – и отправилась в город только испугавшись первого снега. А в Петербурге вновь начались мелкие пакости и подставы со стороны вкусившего без нее воли, малопомалу распускаявшегося зятя, что влекло слезы детей и горькие слова дочери, а Нинон, видя очевидные нестроения, не могла не вмешиваться... Словом, снег еще лежал под деревьями в низинах, как выпотрошенная из старого одеяла вата, когда она снова уехала в свой дом на заливе и, пережив дочкин летний приезд с сыновьями, становившимися месяц от месяца все голосистей и неуправляемей, всерьез задумалась о возможной зимовке...

Так случилось, что зимовали уже вдвоем. Осенью она случайно разговорилась в любимом «верхнем» (имелся еще и не такой уважаемый «нижний») магазинчике с вполне приличной дамой-ровесницей, чье лицо за годы примелькалось: то загорающей на пляже ее видела (варикоз и слишком закрытый купальник – мастэктомия?), то на вокзале (проводжала толстую тетю с оравой дошколят – богатая бабушка?). Выяснилось, что дама снимает здесь комнату у подруги вот уже лет восемь, а однушку в Питере, наоборот, сдает, потому что у залива жить – здоровее. (Нет, не замужем, не была и не стремилась – носки по всему дому, да еще и пристаивания грязные терпеть – б-рр; грудь – да, оттяпали одну, когда еще молодая была, тьфу на нее; детей нет – все равно благодарности не дождешься; толстуха с выводком – племянница,



дура круглая.) А теперь подруга собралась замуж – ну, и попросила ее, конечно... Испугалась, что отобьет драгоценного... И вот она судорожно ищет новое жилье, но чтоб с комфортом, не как-нибудь... Нинон, назначив плату весьма умеренную, пригласила Викторию Петровну пережить с ней зиму – для пробы, так честно и сказала: мол, если стерпимся... И не только стерпелись, чуть к весне не сроднились! Обе учительницы, только Нинон – бывшая «историчка», а Вика оказалась – «француженкой», но, слава Богу, – гуманитарии, хоть поговорить могли по вечерам – о течениях в искусстве и белых пятнах истории... Кроме того, у ново-явленной квартирантки оказался жесткий, почти мужской ум и крепкая рука – так что те мучительные обязанности, что когда-то исправно несли отец и муж Нинон, как-то сами собой, постепенно перешли к новой жилище – и вдруг волшебным образом едва ли не на четверть сократились коммунальные траты, почтительно кивали и споро делали свое дело вызываемые то по тому, то по другому поводу работники – а не болтались развязно и требовательно по дому и участку, заставляя хозяйку униженно им прислуживать, как то бывало в пору ее неумелого правления... Даже Марсик, почуяв рядом нешуточную силу, быстро передумал очериваться! Все кругом вновь четко и слаженно заработало, предметы, словно матросы, слушаясь бывшего и спуску не дающего бодмана, вдруг оказались каждый на своем месте, готовые немедленно заступить на вахту... Любо-дорого было взглянуть! Постоялица обосновалась внизу, в двух смежных теплых комнатах, а Нинон, поколебавшись, все-таки предпочла жить со своим псом наверху – все из-за той утепленной лоджии, где за десятилетия привыкла, встав поздним утром и даже еще не умывшись, постепенно пробуждаясь и обретая ясность ума, пить крепкий кофе с сахаром и густыми сливками, щуриться на далекий кусочек горизонта, то бирюзовый, то стальной, то жемчужный – и с ни разу не изменившимся сердечным трепетом ждать, когда важно пройдет по нему корабль, загадывая, будет ли то белый пассажирский красавец или всего лишь трудовая черно-серая баржа... Так, особо друг-другу не докучая, но незаметно спасая от ночных страхов и вневременного одиночества, просуществовали бок о бок девять осеней, зим и весен – а на лето Вика неизменно уезжала к родственникам на Кубань, освобождая место Пете с Пашей, а также их матери, уже почти сходящей в своих одноцветных бесформенных одеяниях за ровесницу Нинон... Ну, что ж – Вика вернется, и ждет ее дур-



ной сюрприз: опять придется искать себе квартиру. Такую идеальную, понятно, найти заказано, но... ничего незаменимого не существует. Бывает только не замененное вовремя... Ну, а дочка с внуками пусть теперь ездит летом на теплые моря...

Какие там моря, Господи! Нет... Все-таки совсем спокойной оставаться никак не получалось.

\*

Конечно, черная судейская мантия безжалостно превращала эту усталую, некрасиво постаревшую женщину в зловещий монумент. Нинон уже ни минуты не сомневалась, что это надежно забытый персонаж из прошлого – ах, увидеть бы ее без этой странной драпировки, без узких прямоугольных очков... Если бы недавно встречались – она бы поднапряглась и вспомнила, но нет – значит, искать следовало в глубоких подвалах памяти, уже доверху забитых ненужными образами... Ну, вот зачем, скажите на милость, ей этот молодой человек, стриженный «под пажа», губастый и длинноносый, который лет тридцать тому назад, не поднимая головы, читал толстую, завернутую в газету книгу, сидя в метро напротив нее? А ведь словно сегодня видела! Или тот невидный дядька в рваной тельняшке, протянувший: «Ё-олки зеленые...», когда Нинон, выходя из «нижнего» магазина позапрошлой весной, споткнулась, и, задев фонарный столб пакетом, разбила банку маринованных огурцов?.. Никогда ведь не всплывут больше в ее жизни, ничемные, пустые фантомы... А судья... Где, где, где они в этой жизни встречались? Понятно, что были тогда моложе, стройнее, морды глаже, а волосы – так и вовсе другой длины и цвета... Вот что-то совсем близко, уже брезжит, как рассвет после долгой мучительной ночи... Соседка по номеру в гостинице? По столику в санатории?.. Близко, горячо! Ну же!!! Нет, не достать... Зовут ее Анна Владимировна... Фамилия все равно какая: женщина сколько угодно раз может ее сменить... Анна? Анечка? Не было в ее жизни ни одной Ани. Ошибка? Нет. Потому что глубоко внутри – твердое, осязаемое знание. Только подцепить его, но... Надо ли цеплять? Ну, вспомнит она, что с этой женщиной, тогда какой-нибудь смешливой кудрявой хохотушкой, ехала, допустим, в год московской Олимпиады на юг в одном купе скорого поезда – и что? Подкараулить у служебного входа, поведать сию страшную тайну и на этом основании попросить решить дело в свою пользу? Мол, по старой памяти... Толь-





ко представив себе такую сцену, Нинон внутренне скорчилась.

«Судебное заседание объявляется закрытым», – и только мантия мелькнула. Как вороново крыло птицы смерти. Осталось последнее заседание, на котором будет объявлено решение – глаз не поднимает адвокат Илья. Хороший мальчик: хотя и знает, чем кончится, а бьется, как маленький смелый зверек с ядовитым змеем. Прямо Рики-Тики-Тави, даже жаль его...

Себя пожалей, дура старая.

И сразу так стало жалко – до слез, до мгновенной истерики! Ничего не видя и не желая обдумывать, чтоб не перерешить не ходу, Нинон вдруг грузно метнулась вслед розовому пиджачку представительницы истца, уже легко, вприпрыжку одолевшей пол-лестницы:

- Пойдите! На пару слов... – и задохнулась: не молоденькая, все же, за газелями длинноногими гоняться.

Та терпеливо ждала, пока прыткая крашенная бабка продышит-ся, лишь раздраженно вздрагивала беспокойная жилка справа на тонкой шейке... Полоснуть бы ножичком.

- Послушайте... Я понимаю, что от вас – ничего не зависит... – сгорая от унижения, не своим, глухим голосом заговорила Нинон. – Но человек же вы... Поэтому просто – скажите ему, чтобы он понял... Ведь эта сотка для него – ровно ничто... Ровно! Потому что теплицу куда угодно можно... Куда угодно... А у меня – вся жизнь... То есть, просто хоть топиться иди... Мне ведь некуда – совсем, понимаете? В квартире – маленькой – дочь с семьей, зять... Ненавидит... Мне хоть на вокзал, хоть в подвал, понимаете? В бомжихи!.. А вашему клиенту – без разницы... Вы только скажите! Может быть, он вспомнит, что мы – люди, что нельзя так – с людьми... Явиться ниоткуда и всю жизнь искалечить! И вообще... Он ведь только ради принципа судится... А мне – умирать? Нет, скажите, – умирать, да?

- У меня – работа, – спокойно и даже мягко сказала девушка. – Работа, за которую мне платят деньги. Ра-бо-та, понимаете? Адвокат нужен для того, чтобы суд – выигрывать... Это понятно? А вы хотите, чтобы я уговорила клиента забрать заявление накануне заседания, на котором будет объявлено, что он выиграл дело. Вы понимаете, что именно вы просите меня сделать? И, надеюсь, не обидитесь, если я этого – не сделаю? – она смотрела мимо, видимо, все-таки наблюдая отдаленные всполохи совести, но больше ничего не сказала.







Да и порыв у Нинон прошел, внутри как отпустило. Рядом оказался печальный Илья, и ей подумалось, что он ее сейчас отругает за малодушие, за бесполезную и, в конечном счете, смешную выходку – но парень по-взрослому пожевал губами и тихо сказал:

- Может, и правильно... Во всяком случае, теперь вы знаете, что сделали абсолютно все, что могли. И с юридической стороны и, так сказать, с гуманистической... Ну, что ж, получим на руки решение, а там будем дальше думать... В конце концов, обжалование никто не отменял.

- Не будем, – пробормотала Нинон, – думать. Уж больно мысли ужасные...

\*

На последнем заседании после знаменитого: «Встать, суд идет!» неизменная секретарша – сонная мышь в вечнозеленом – садиться уже не предлагала. Фигура судьи возникла над кафедрой, словно сама собой, черные крылья мантии дрогнули, выпустив на свет божий две крупные неженские руки, державшие тощую пачку бумаги. Не поднимая глаз от текста, вершительница судеб, распорядительница жизни и смерти заговорила неожиданно тихим и тусклым голосом, без малейшего предисловия, а также выражения, пауз и запятых: «Оглашается решение... Именем Российской Федерации... Двадцать третьего июля, две тысячи...». Одна из многих обнаружившихся за последние пару месяцев внутренних Нинон, коренным образом друг от друга отличавшихся, ни за что не хотела напрягать слух, чтобы разобрать едва слышную скороговорку, а другая вдруг остро подумала: «Это не только Марсику и мне конец, но и Людочке – тоже. Ведь дом-то, в сущности, единственное, что было у нее до этой минуты...». «...в составе председательствующего судьи... при секретаре... рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело номер... по иску... о признании собственности... установил...» – как сквозь вату, доносилось тем временем до Нинон основной и главной. Странные мысли прерывисто мелькали у нее... Кто бы теперь поверил, что Людочка после школы хотела стать дизайнером... Отец запретил ей тогда – да и мать поддержала: что за профессия такая? В начале девяностых это вообще дичью какой-то казалось... Они и выступили, как благоразумные родители, единым фронтом: «Сначала получи нормальную специальность, а потом занимайся, чем хочешь!». Еще бы: страна только





что распалась на части, казалось, надежный диплом – единственный шанс остаться на плаву... Кто ж знал – провидцем надо было быть... И муж этот ее – урод, прости, Господи... А что, лучше было бы, если б она студенткой, на третьем курсе, за того одногруппника выскочила, как там его... Еще патлы до плеч носил, стихи писал дурацкие и на гитаре бренчал – хором сказали тогда с отцом, даже не сговаривались: «Несерьезный юноша, не пара тебе. Поддержки от нас не жди». Ослушаться не посмела, потому что всегда тихая, домашняя была... А может лучше, если б вышла за него... Нет, нет – не враг же она родной дочери... С раздолбаем что за жизнь? Но погасла после этого Люда, к двадцати пяти годам уже совсем погасла, и дальше жила, словно по инерции... Потом, когда дети появились, показалось, что вот он, смысл жизни: сейчас посвятит себя им – и наладится... Но и дети у нее шли будто через силу, как тяжелая обязанность... Срывалась, визгливо орала на них, щедра была на подзатыльники... И мужем особенно заниматься не хотела – тоже из последних сил по его делам носилась, лишь из страха, что иначе совсем не нужна ему станет, да и бросит на раз-два... Вся в болячках не пойми откуда, вечно врачи какие-то, обследования, желчью рвет, кожа шелушится, ноги опухают... А вот летом на дачу приедет, толстые вязаные кофты свои снимает, наденет сарафан – ярко-оранжевый с синими-синими колокольчиками... Щеки начинают золотиться, сквозь легкий загар проступает что-то похожее на румянец... Плавает с мальчишками – да азартно так, Нинон даже несколько раз слышала, как смеялась... Грибов, бывало, полные корзины притащат: смотри, смотри, красавец, да?! а этот?! Все. Единственную отдушину ей теперь перекроют... А если совсем без отдушины жить... То это значит и не жить вовсе. У кого отдушины нет – те быстро умирают. Так и они с Людой умрут. Неважно от чего. На самом деле – от неизбывной печали...

Нинон очнулась: усталый голос судьи все так же монотонно и равнодушно сеял слова: «...заслушав стороны и допросив свидетелей, проверив письменные доказательства, суд приходит к следующему...».

Она, конечно, вспомнит, где встречала эту тетку, – но потом, когда это уже не будет иметь никакого значения – как, впрочем, не имеет и сейчас. И окажется, что они когда-нибудь стояли каждая за своим килограммом колбасы в одной очереди в девяносто первом, когда отоваривали растреклятые карточки, поочередно





бегая в изгаженный подъезд греться у чуть теплой батареи... Или вместе выгуливали собак на пустыре – много лет назад у них в семье жил бестолковый розовый пудель... Или... Как же много этих «или», оказывается! Да может, просто дорогу она этой женщине когда-то показала, прошла с ней рядом сколько-то по зимней грязи, весеннему льду или сквозь оглушительную пургу, как Вожатый с Гриневым... При этой мысли Нинон вдруг как кипятком окатило: не горячо – жжет! Горит! Вот сейчас! Но не успела.

- ...Никаких иных доводов в обоснование своих требований истец суду не предъявил. Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении иска, – в тот же миг четко услышала она.

Одновременно адвокат непроизвольным движением резко и больно стиснул ей запястье – и остаток судейского спича потонул для Нинон в попытках высвободить попавшую в железный капкан руку. «Что это... Что это... Как... Как такое может быть... Ослышалась... Не поняла чего-то... Сейчас Илья объяснит... Не может же быть... Невозможно же...» – трепыхалось в ней что-то маленькое и щекотное, будто она ненароком проглотила живую бабочку.

\*

Напротив здания суда меж двух внушительных банков нахально втиснулась крошечная кофейня из разряда дорогих и невкусных. Но заведение уверенно процветало за счет наскоро перекусывающих канцелярских крыс, заедающих поражения проигравших истцов и ответчиков и облегченно выдыхавших за чашкой кофе победителей. Таких, какими негаданно оказались адвокат Илья и его опешившая клиентка, которую он еле довел под руку до столика, побаиваясь всерьез, как бы с этой молодящейся бабулей не приключился на радостях инфаркт.

- Не посмеют! – в сотый раз втолковывал он. – Да и не даст это обжалование ничего! Потому что судья их, можно сказать, поймала на взятке! Ну, и баба, а?! Кто бы мог подумать! Такой пофигисткой казалась замотанной... А взяла – и послала запросы. Свободно могла этого не делать, свободно! А вот сделала же! До сих пор не могу понять, что ею двигало...

- Точно нельзя ничего переиграть? – как заведенная, продолжала выпытывать Нинон.

- Да они не рискнут даже попытаться, потому что это же статья – уголовная! – вскричал, исходя юношеской радостью, адвокат.





И вновь он принимался растолковывать подопечной: мол, гадавшись, что часть доказательств истец, решивший для верности подстраховаться, попросту купил, судья отправила в соответствующие учреждения официальные запросы, призванные подтвердить или опровергнуть происхождение документов. Поступили ответы, заставившие призадуматься – а вернее, признать ключевые доказательства «недостовверными», что и позволило решить дело в пользу уже голову на плаху положившего ответчика... Попытаться обжаловать решение? Ну, уж нет – не самоубийца же истец, чтобы из-за ничтожной спорной сотки, которую попытался схватить наудачу с лету, теперь рисковать получить себе на голову уголовное дело! Нинон может жить спокойно и ничего не бояться: ее отец не перевернется в гробу, дом когда-нибудь, как он и мечтал, любовно кладя один кирпичик на другой, перейдет к родным внукам и правнукам! Ну, а Марсик... Тот останется с обожаемой хозяйкой весь свой короткий собачий век – сколько там доброй судьбой ему отпущено... Даже не знает тварь Божья, чего избежала, не радуется, живет себе и живет...

– И все-таки не понимаю, – после паузы пожал плечами Илья. – Другой судья и глазом бы не моргнул: раз приобшил – достоинно. А уж как добывали – не его дело. Странно. На оголтелую правдолюблицу, вроде, не похожа, а вот поди ж ты... Вы не знаете?

– Это вы деликатно спрашиваете, не дала ли я ей потихоньку взятку? Или, как у вас говорят, не «занесла» ли, да? – тихо сказала Нинон. – Нет. Мне бы и в голову такое не пришло. А и пришло бы – не умею я этого... Да и где денег взять... – она бесчувственно отхлебнула остывший кофе.

Нежно звякнул колокольчик у входной двери, и в кафе вдруг появилась зеленая секретарша с круглыми мышиными ушами и мелкими, вперед торчащими зубками. Она сразу же деловито устремилась к их столику и, вплотную приблизившись, быстро положила на стол перед Нинон вчетверо сложенный лист бумаги. «Вам просили передать. Сказали, вы поймете», – глядя в сторону, прошелестела она и тотчас же скорым шагом отправилась восвояси. Илья и Нинон в замешательстве переглянулись; она все не решалась развернуть послание.

– Смелей, – шепнул он, косо улыбаясь. – Там не может быть ничего страшного. А вы – прямо как... Как бомбу, как ежа, как бритву... какую-то-там-острую<sup>1</sup>... Читайте, не бойтесь.

<sup>1</sup>Искаженная цитата из стихотворения В. Маяковского «Стихи о советском паспорте»; в оригинале: «Как бритву обоюдоострую».





Но читать оказалось почти нечего. В центре страницы было неумело нарисовано что-то вроде детской шубки с мохнатым воротником, к рисунку тянулась жирная стрелка с надписью печатными буквами: «Норка». Илья изумленно пялился на картинку:

- Бред... – пробормотал он. – Тулуп какой-то... Норковый...

Нинон не знала, что можно заплакать – вот так: только что не было ни одной слезы, и вдруг – целый водопад. Прорванная плотина.

\*

Почти сорок один год назад в самом рядовом и оттого страшном ленинградском родильном доме в послеродовой палате их оказалось пятеро. Первой поздно ночью привезли на каталке Нинон, обессилевшую и еще полубезумную от пережитой нечеловеческой боли, и, как бревно с телеги, скатили на продавленную койку, привычно покрыли – сначала тощим одеялком, а потом – беззлобным матерком, необидным, даже ободряющим... Она все тщетно пыталась вызвать в памяти образ своего новорожденного ребенка – но там мелькало только что-то неожиданно бордовое и несимпатичное, с толстой желтой коркой на огромной неровной голове... «Девку родила, девку! А ну, повтори – чего пялишься, малохольная!». Интересно, у той акушерки вообще не было детей, или она в первую минуту после родов уже в пляс пустилась?

Дверь в палату открывалась в ночи еще четыре раза, и с железным грохотом, разрывая самый сладкий в жизни, мужчинам неведомый послеродовой сон, вкатывались лязгающие каталки. Сквозь ресницы Нинон наблюдала, как няньки сваливали родильниц на кровати, точно так же уютно поругивая их за беспомощность, но последнюю снимали с осторожностью, в постель укладывали вдвоем, и витало странное слово «кесáрка»... Уже утром выяснилось, что таково в этом заведении было милое «домашнее» прозвище женщин, перенесших кесарево сечение. Днем знакомились, обживались; те, кто уже сумел подняться, подносили остальным сырой воды из-под крана, по стеночке добирались до уборной в дальнем конце коридора... Порадовало, что в палате подобралась ровесницы, все студентки-старшекурсницы: Нинон-училка, Наташка-журналистка, Ленка-инженерша, Катька-музыкантша, а «кесáрку» звали Ануш, и она заканчивала юридический...

- Армянка ты, что ли? – поразилась, помнится, Наташка, из-



умленно оглядывая золотистые кудри юристки.

- Да нет, какое... – лежа, махнула рукой та. – Муж у меня армянин, вот и зовет на свой манер. Ануш да Ануш – привыкла...

Так все они и стали называть новую знакомую. Жизнь в послеродовой палате тяжелая – только кажется, что свежеиспеченные мамы купаются в солнечном счастье и полны радужных мечтаний. Ничего подобного: здесь царит, прежде всего, страх. Любая вменяемая женщина знает, что в тот же миг, когда рождается первенец, в сердце вступает животный страх за него – и остается с матерью до конца дней. Этот страх – самое неожиданное, что приходит после родов, когда ждешь – облегчения... Как он там, в огромной детской палате – один, без мамы? Хорошо ли смотрят за ним, не проспит ли какой беды беспутная или пьяная медсестра? Принесли кормить – почему красное пятнышко на щечке – заразили уже чем-нибудь? А почему молоко не сосет, спит – заболел? Кричит-надрывается благим матом, грудь не берет – умирает?! Замотан туго, на голове белая тряпка, сам похож на батон в пакете – почему нельзя распеленать и посмотреть ручки-ножки: а вдруг там не все пальчики?! А эта стерва-сестрица, как смеет ходить на каблуках, неся по свертку с ребенком на каждой руке, – здесь же линолеум скользкий и протертый – вдруг оступится, упадет и детей уронит?! Страх, страх, страх... Вот утром заходит в палату педиатр – пять пар пронзительных глаз впиваются ей в лицо: ничего с моим не случилось за ночь?!

Следующая за страхом – боль. Унизительная физическая боль, у каждой своя. Сразу же начинаются проблемы с грудью: у кого-то она твердеет и не дает молока, в попытку превращается кормление, у кого-то – невыносимое жжение, когда малыш берет грудь – тоже пытка, почти у всех – наложены довольно грубые швы на самые нежные и сокровенные места: не перевернуться, не сесть, в туалете кусаешь губы...

Сон – поверхностный, потому что страх и боль делают свое дело, разговоры – отрывистые, редко кто успевает или хочет выворачивать душу такой же усталой и больной, своим встревоженной соседке...

У Ануш, например, начинались нестерпимо болезненные схватки в животе во время кормления – она вскрикивала, насильно отбирая грудь от своего мальчика, сразу чувствовала себя виноватой, закусывала губы, возвращала ее – и, оскалившись, запрокидывала голову, скрежеща зубами и едва сдерживая стоны;





слезы сплошь заливали лицо. Нинон несколько раз в день видела это, потому что Ануш лежала прямо напротив – ужасно жалко было ее! Врача, забегавшего утром, словно ветром на мгновение занесенного, спрашивали, конечно, – всей палатой, но... «После кесарева – в порядке вещей» – вот и весь ответ...

Ануш последняя начала подниматься с койки – ничего удивительного, с заштопанным-то брюхом! – еле ступала, согнувшись, иззелена-бледная... Но, с некоторой завистью замечала Нинон, эта девушка в благополучные свои времена могла считаться красавицей – просто чудом! Волосы ее отливали тусклым золотом, вились упругими крупными локонами, черты лица были одновременно тонкими и мягкими, что создавало волшебное впечатление красоты и доброты, редко на одном лице соседствующих, а тут вполне уживавшихся... Глаза с густыми русыми ресницами являли, как и положено у обладательницы золотой гривы, прозрачно-голубой раек – никакого диссонанса... Неудивительно, что армянин ее замуж взял: именно такая красота цепляет южных мужчин, это уж проверено... Тихая-тихая была Ануш, все больше лежала, иногда приподнимаясь и более-менее безуспешно взбивая комковатую казенную подушку, особенно не разговаривала – верно, просто измоталась и мучилась очень. Понятное дело, ей не докучали: сами тоже долгих разговоров не вели – так, о мужьях немножко, об институтах... Нинон, например, своего – того, первого не-мужа – кляла на чем свет, обещала, смеясь, когда-нибудь во сне подушкой придушить... Пережидали тяжелые эти дни кто как умел, а вообще считали часы до выписки...

Накануне того дня, как выписаться четверым, Ануш только еще сняли швы: понятно, что несчастных «кесáрок» держали в больничке на пару дней дольше. За ней приехало в палату огромное черное кресло на колесиках, под управлением громкоговорящей неохватной бабы, – и увезло на гремучем грузовом лифте в какую-то полумифическую «вторую перевязочную»... Стоял весьма морозный январь, но в палате шел сухой жар от батарей, слишком часто проветривать – из-за малышей – боялись, поэтому все сидели в одних рубашках, так и отправили ее, безропотную, в неизвестность – в рубашке же... Такая худенькая была, что в громоздком кресле смотрелась котенком, забившимся в угол. Отправили и забыли: привезут, когда нужно будет... Сами лихорадочно терли общим розовым обмылком головы над палатной раковиной, наивно охорашивались, готовясь к завтрашней встрече





с родными и любимыми... И понадобился Нинон для какой-то цели кусочек бинтика – подвязать, что-то припала охота или еще зачем-нибудь – теперь, сорок лет спустя, разве вспомнишь... Она помыкалась по этажу, натываясь всюду на запертые двери и, запахнув халат поплотнее, вышла на лестницу... Правда, то, что по инерции называли они в этом недоброй памяти учреждении халатом, на самом деле являлось странной полуверхней-полудомашней одеждой универсального размера и длины (кому до пят, а кому только-только до коленок); в одеяние, выданное после родов Нинон, свободно поместились бы еще две такие же, как она, и ниспадало оно до худых ее щиколоток. Поясов (как, впрочем, и вилок, и ножей, чтоб друг дружку невзначай не перерезали) родильницам не позволялось, будто заключенным в тюрьме: считалось, что в припадке послеродового психоза женщины могут повеситься, так что приходилось придерживать полы руками... Тапки полагались кожаные, без задников и не менее сорокового размера, тоже по-своему универсального: у кого нога меньше – заведомо поместится, у кого больше – пятка чуть свесится, не проблема... Нинон тогда носила обувь тридцать пятого номера, и трудно теперь даже представить, насколько неудобно ей было идти тогда вверх по лестнице, в надежде добраться как раз до той запасной перевязочной, куда увезли несчастную Ануш.

Дверь оказалась незапертой и, деликатно стукнув по ней кулачком, Нинон скользнула внутрь... Да, теперь, стоит лишь прикрыть глаза – и легко вызвать в памяти это высокое, настезь распахнутое окно без занавески, в которое веяло ледяным ветром и мелко редкими стеклистыми снежинками. Под потолком гудели, как стратегически важный завод, три длинные лампы дневного света, а у стены, на рыжей клеенчатой кушетке, скрючившись и прижав напряженные руки к животу, лежала Ануш, все в той же проштемпелеванной ночной рубаше, давно и навечно серой от бесконечных прожарок в больничной «вошебойке». Спотыкаясь, Нинон бросилась к ней:

- Что с тобой? Где все? – подо «всеми», подразумевались, должно быть, какие ни есть медики.

- Все нормально... – выдавила Ануш и подняла искаженное болью личико.

Потрясенная Нинон увидела, что оно пепельного цвета; Ануш еле слышно продолжала:

– Швы сняли... Так больно! Я заплакала... Они и сказали...





Сказали – полежи немножко, пока проветривается...

- Ладно... Поехали в палату, ляжешь в постель... Кормление скоро! – быстро приняла единственно верное решение Нинон. – Где это дурацкое кресло?

В коридоре его не оказалось, как не оказалось дежурной – и какой-нибудь другой разновидности – сестры. Вернувшись в перевязочную, Нинон первым делом прикрыла окно – ничего себе проветривание! – потом решительно сдернула с себя темно-серо-коричневый теплый халат и накинула на Ануш:

- Грудь застудишь, молоко пропадет! Подымайся! Нельзя тебе здесь долго...

Она подпихнула больную под спину и осторожно приподняла – та была легкая, словно детский скелетик. Только прикоснувшись к ней, Нинон почувствовала, что Ануш вся закоченела и держится еле-еле – только на остатках той удивительной силы воли, что непременно дается каждой матери в нагрузку к первому же ребенку. Тогда она закутала тощенькое тельце товарки в свой халат поплотнее и повлекла ее вон из ледяного помещения, в теплый коридор... Кое-как, с частыми остановками, они добрались до железного лифта – но у дверей горел неугасимый красный глазок: там, в шахте, что-то долго грохотало и гулко дергалось, но вызвать кабину все никак не получалось:

- Пойдем пешком по лестнице, – как умела, твердо сказала Нинон, покрепче прихватывая валковую дрожащую Ануш. – Это не так трудно, как кажется.

На лестнице откуда-то снизу ударил жестокий зимний сквозняк, и Ануш слабо засопровтивлялась:

- Ниночка, твой халат... Ты теперь сама в одной рубашке остаешься... Ты тоже – застудишь... Молоко...

Одной рукой Нинон стянула ворот рубахи:

- Ничего, потерплю: авось, пронесет. Тебе больше досталось, вообще в одних носках по бетонной лестнице идешь. Креста на них нет, гадах...

Четверть часа они шли в палату тем путем, который даже в ужасных безразмерных тапках Нинон недавно пробежала меньше чем за минуту... В палате девочки заохали, всполошились, принялись спасать обеих пострадавших... Наташка стала совать вилку контрабандой раздобытого кипятивника в розетку, намереваясь наскоро сварганить строго запрещенный «вольный» чай, Катька бросилась к дверям «на шухер», Ленка укладывала





и утешала вконец обессиленную Ануш... В эти минуты, когда уже подходило время расставаться навсегда, они как раз и почувствовали ту товарищескую сплоченность, которая, останься они вместе подольше, могла бы сдружить их, раскрыть сердца... Когда волнение немножко поулеглось, Наташка-журналистка взяла злополучный тяжелый халат Нинон, кое-как брошенный на спинку чьей-то кровати, понесла его через всю палату законной владелице – и вдруг в задумчивости остановилась на пути, прижав к груди эту мерзкую бурую тряпку:

- Слушай, Ануш... А ведь это – почти такой же тулуп, какой, помнишь, спас от петли Петеньку Гринева... Вот станешь ты какой-нибудь... – она усмехнулась, – крупной шишкой в погонах, а Нинка не выдержит – и придушит, наконец, своего козла-осеменителя... И приведут ее к тебе – в наручниках... А ты возьмешь – да и отпустишь ее на волю, потому что вовремя вспомнишь про этот заячий тулупчик...

Девчонки расхохотались было, но Ануш даже не улыбнулась. Она медленно подняла голубоватые веки, остро глянула из-под них.

- Норковый... – чуть слышно прошептала она. – Норковый твой тулупчик, Нина...

\*

- Опять ничего не понимаю... – озадаченно пробормотал Илья. – Она что, норковую шубу за это хочет, что ли? Странность какая... Да у нее же их наверняка с десятков наберется, всех цветов и фасонов... – Он помолчал, потом решительно вскинул голову: – Странность или не странность – да купите вы, в конце концов, и не плачьте! Она вам, можно сказать, жизнь спасла!

Нинон тщательно вытерла слезы салфеткой, медленно и осторожно сложила листок с рисунком, раскрыла сумку, аккуратно спрятала его, щелкнула замком, все это время сбивая адвоката с толку своей загадочной, внутрь обращенной улыбкой.

- Уже, – наконец, ответила она.

И ничего не стала рассказывать.

*2 февраля 2017 г.  
Санкт-Петербург*



## Боль

Она пришла в утренних сумерках. Несильная, но равномерная и точная, как маятник. Болела левая стопа с наружной стороны. От этой боли Лидия проснулась и поначалу, еще в полусне, попыталась изменить положение ноги, решив, что всего лишь «отлежала» ее. Лидия ни за что не хотела сосредоточиться на неприятном ощущении, а потом не заснуть до звонка будильника, до семи часов. Но боль не уходила, она по-прежнему накатывала правильными волнами и отступала: ра-аз – накат, раз-два-три – перерыв... ра-аз – раз-два-три...

Лидия вынуждена была сесть. Осторожно, боясь разбудить мужа, она стала растирать больной участок пальцами: боль не усилилась и не ослабела.

«Что за глупость, интересно?!» – обиделась Лидия. Ей стало ясно, что сон отлетел надолго. После таких вот ночных просыпаний никогда не удавалось снова заснуть раньше, чем через два часа – а в это время уже нужно быть на ногах и готовить завтрак. Значит, весь день на работе ей предстоит засыпать за компьютером и пытаться перебить навязчивый сон непрерывным черным кофе, от которого станет колотиться сердце; а к вечеру, когда начнется ее второй рабочий день – дома – она вообще перестанет соображать от усталости... Между тем, боль и не думала проходить. Как и раньше, ритмичными накатами она вступала в одну-единственную точку, как раз под косточкой щиколотки, на секунду захватывала ее словно горячими щипцами и отпускала – раз-два-три.

«Может, я днем ушиблась и не заметила? – логично рассудила Лидия. – Раз уж все равно не заснуть, так хоть помажу чем-нибудь...».

Она бесшумно выскользнула из постели, накинула халат и на цыпочках прокралась в кухню, где в холодильнике, она помнила, должен был лежать тюбик мази от ушибов. Тюбик нашелся, и Лидия густо намазала больное место вонючей желтой мазью, предварительно придирчиво изучив свою ногу. Никаких следов травмы: ни синяка, ни кровоподтека, ни припухлости. Ровная розовая кожа, абсолютно безболезненная при касании. Боль казалась внутренней, но болела явно не кость, а мякоть, что порадовало Лидию: значит, не трещина, а беспорядок с маленькой мышцей или сухожилием.





«Столько времени потерять из-за такой нелепости! – по настоящему рассердилась Лидия. – И так уже не помню, какую ночь больше шести часов спала! С ума сойти можно!».

Она поставила чайник, решив, что остатки сна придется прогонять с помощью того же кофе, села и прислушалась к своим ощущениям: ничего не изменилось. Ра-аз... раз-два-три... Ра-аз...

- Тьфу, – вслух сказала Лидия.

Это была хитрая боль: не настолько сильная, чтобы заставить застонать, но и не настолько слабая, чтобы можно было о ней не думать. Как раз между тем и этим.

- Бред, просто бред какой-то, – раздраженно бормотала Лидия, не в силах отвлечься.

Она вспомнила, что очень давно, когда ей было лет двадцать пять, у нее среди бела дня заболела грудная клетка – ровно посередине. Создалось впечатление, что спереди воткнули нож, он вышел меж лопаток, где и остался. На третий день Лидия побежала к врачу. Она очень любила их старенького участкового доктора, проработавшего в поликлинике со дня ее открытия до самой своей смерти (через год после того случая). Доктор, как всегда, серьезно отнесся к ее жалобе и послал на обследование. Сняли кардиограмму, просветили легкие и желудок, ощупали косточки со всех сторон... Результаты оказались нулевыми: причину недуга установить так и не удалось. Тогда старый доктор выписал ей обезболивающее и, протягивая рецепт, сопроводил его умными словами – их Лидия запомнила на всю жизнь: «Не беспокойтесь ни о чем. Я уже сорок лет сижу в этом кабинете и могу вас уверить: у любого, я подчеркиваю – у любого практически здорового человека когда угодно может появиться сильная боль в какой-нибудь точке организма. И она может ничего не значить. Ровно ничего. Тайна. Лечить причину невозможно, потому что она неизвестна. Можно только назначить обезболивающее и ждать, когда все пройдет само собой...».

Таблетки Лидия принимала две недели, а потом боль и правда сошла на нет – совсем незаметно – и никогда больше не возобновлялась. Но тот случай навсегда отучил ее от мнительного внимания к сигналам о неполадках в организме: она поняла, что тело – это такое совершенное устройство, которому лучше всего просто не мешать самому устранять мелкие поломки. К неприятным сегодняшним ощущениям Лидия решила подойти точно с таким же отношением: поболит – пройдет, и нечего заикливаться. Но напрасно она пыталась отвлечься – черным кофе, приготовлени-





ем горячего сытного завтрака для всей семьи, мыслями о грядущей аудиторской проверке на работе – навязчивый счет – ра-аз... раз-два-три – ра-аз... – проникал в самую сердцевину мозга, не давал ни на чем сосредоточиться, заставлял мотать головой и стискивать зубы – не от силы боли, а от ее неотступности.

Тем не менее Лидия приготовила обильный завтрак, успела сама без спешки выпить три чашки кофе, но ни на секунду не могла забыть про пульсирующий счет в мозгу...

В половине восьмого один за другим на разный манер провистели, протрещали и продребезжали три будильника: сначала у дочки, потом у мужа и, наконец, у сына. Муж, хотя с трудом и проклятиями, но всегда поднимался сам. Дочь-жаворонок легко вспархивала с кровати, сразу начиная по-птичьи напевать, а вот сына каждый раз приходилось едва ли не вытряхивать из постели, прибегая к таким крайним мерам, как поливание холодной водой из кувшина.

И сегодня он ныл, зарывался головой под подушку, норовя не-сильно лягнуть мать в живот, и бормотал нечто вроде: «Плевать, пойду ко второму...». Лидия стервенела, стягивая своего оболту-са на пол, где он еще долго и упрямо продолжал изображать из себя невинно спящего карапуза...

Дочка действовала иначе. Она весело мелькала по квартире между своей комнатой, ванной и кухней. Полуодетая, хватала куски со стола, размахивая в такт своей легкомысленной внутренней музыке зубной щеткой с выдавленной на нее пастой; потом, стоя в одной туфле и балансируя босой ногой, быстро-быстро выхлебывала чай и неслась в комнату вроде бы краситься, но появлялась на кухне еще несколько раз: то поклевать прямо со сковородки, то опять глотнуть чаю или сока, то стянуть конфету из вазочки...

Пока сын тяжело ухал и шумно плескался в запертой ванной, успевший умыться муж, как всегда по утрам тихо ненавидевший весь мир и оттого бессловесный, угрюмо и бесчувственно поедал завтрак, отгородившись вчерашней газетой.

Когда муж мрачно поднимался из-за стола, на его место плюхался до сих пор не проснувшийся сын и начинал вяло жевать, морщась и раздраженно грохая чашкой о стол.

А Лидия всем подавала, за всеми убирала, на ходу, как и дочь, приводя себя в порядок и ни на секунду не отвлекаясь от пульсирующей боли. Сообщать кому-нибудь о своей неприятности она сочла излишним: ничего серьезного не происходит, а до мелочей





никому нет дела, особенно по утрам...

Как Лидия и предположила еще в пять часов утра, на работе она начала засыпать. Глаза закрывались, она часто моргала и трясла головой, словно в уши попала вода. А боль и не собиралась стихать. В том же ритме, как прилив и отлив, она приходила и уходила, мучительно-неотвязная. Если бы боль держалась постоянно, то к ней, пожалуй, можно было и привыкнуть, но именно прерывистость и не давала возможности с ней сродниться.

То и дело опускала она глаза на свою стройную ногу, затянутую в серебристую лайкру и утвержденную на высоком каблучке. Боль несколько не мешала ходить на каблучках, не заставляла даже прихрамывать, ничуть не усиливалась от напряжения и не ослабевала в покое...

«Нет, это кошмар какой-то, надо с ним заканчивать», – твердо решила Лидия и, налив себе воды, отправила в рот две таблетки анальгина.

- Голова болит? – посочувствовал кто-то.

- Ага, – соврала она: не признаваться же было, что – нога!

Лидия не помнила, как дожила до конца рабочего дня – словно плавая в тумане полусна, где назло всему работал насмешливый метроном: раз-два-три... ра-аз... Наплыв – перерыв – наплыв...

«Что же это такое? Неужели к врачу придется?» – испугалась Лидия по дороге домой.

С семи часов и едва ли не до полуночи для нее обычно начиналась хозяйственная свистопляска. Еще мама, жена известного профессора и по этой причине домохозяйка, приучила Лидию к неукоснительному соблюдению неких незыблемых правил ведения дома, и как-то само собой вышло, что если подобный уклад жизни вынужденно прерывался, то Лидия чувствовала, как земля уходит у нее из-под ног. Ей казалось, что она уже видит, как рушатся надежные стены домашнего очага – и в глазах темнело от ужаса...

Лидия никогда не могла допустить, чтобы ее близкие перехватывали на ужин что попало, какую-нибудь канцерогенную пищу, вроде подозрительных сосисок и пельменей или, еще хуже, вываливали себе в тарелку готовый засушенный яд, заливая его сверху кипятком. Поэтому при любых обстоятельствах, придя с работы, Лидия надевала передник и занимала прочную позицию на кухне: следовало быстро приготовить основательный ужин, потом – суп на завтра, чтобы дети, придя днем домой, не дай Бог, не стали жевать какие-нибудь хот-доги, – но ведь сколько супа ни сварил, при







их аппетитах больше, чем на два дня не хватает! Одновременно следовало помыть, почистить и порезать продукты для завтрака – непременно горячего и обильного. Лидия намеренно не привлекала детей к работе: жалко их, все-таки – дети ведь, успеют еще в жизни наработаться... Потому и гору посуды перемывала и перетирала сама.

- Мам, да чего ты ее трешь – сунь в сушилку, и все дела! – советовала дочка, аппетитно хрустя яблоком.

Но мама когда-то однозначно сказала Лидии:

- У сушилки еще одно название есть: лентяйка. Поэтому у ленивых хозяек тарелки всегда в потеках.

Нет, Лидия ни за что не хотела, чтобы у нее были тарелки в потеках и мутные вилки-ножи: последние она неукоснительно чистила мелом каждую субботу...

После кухни наступал черед стиральной машины: в ней следовало выстирать сегодняшнее белье со всех, плюс носки, плюс рубашки, плюс блузки – по очереди...

- Как чисто ни мойся, – произнесла, помнится, приговор ее гениальная по части хозяйства мама, – а от вчерашней одежды хочешь, не хочешь, а – припахивает.

И Лидия определенно чувствовала, что да, припахивает, и стирала, а потом еще и гладила к вечеру как раз высохшую вчерашнюю порцию.

Как и всегда, сегодня, идя домой, она думала о том, что предстоит еще длинный изнурительный вечер дома, но когда вошла и скинула плащ, то вдруг поняла: она ничего делать не станет. Она сейчас пойдет и ляжет. Спать. Потому что перед глазами все плывет.

Не сказав никому ни слова, Лидия почти моментально сбросила одежду, наскоро ополоснула лицо и с удовольствием растянулась под одеялом. Она закрыла глаза, намереваясь уплыть в приятной дреме туда, где нет никаких волнений и печалей, но, как только вокруг не осталось ничего, кроме нее, Лидии, и принадлежащего ей тела, то внимание снова сфокусировалось на болезненной пульсации в ноге: ра-аз... – раз-два-три... Эти толчки разрывали дремоту, не позволяли думать ни о чем, кроме злосчастной ноги, и Лидия начала метаться по постели, пристраивая больную ногу и так, и этак. Но ни тесно прижатая к матрасу, ни свободно покоящаяся на подложенной подушке, нога не переставала болеть, и скоро для Лидии вообще ничего не осталось в мире, кроме приливов боли. К этому прибавилась почти дурнота





от желания спать – и невозможности заснуть...

- Просто пытка какая-то... – шептала, ворочаясь, страдальца.

– Неужели что-то серьезное?

В дверь для проформы легко стукнули, и явилась дочка Ася, грызя неизменное яблоко: она и часа не могла прожить без яблока.

- Лежи-ишь?! А ужин? – такова была ее непосредственная реакция.

- Вместо «А ужин?» я бы спросила: «Что с тобой?»! – резко крикнула озверевшая к тому времени Лидия.

- А что с тобой? – хрустко откусила фрукт дочь.

- Нога болит.

- Ушиблась? – жуя, спросила Ася; у нее вышло «уфыблась».

- Может быть, – уклонилась Лидия. – Так что ужин сегодня тебе готовить. В холодильнике все есть, разберись уж...

- Здравсьте! – оскорбилась Ася и немедленно исчезла, не посмев хлопнуть дверью, но весьма шумно закрыв ее.

Только тут впервые за день Лидия вспомнила, что ее дочь в это воскресенье выходит замуж. В воскресенье. А сегодня – среда.

Училась Ася плохо, отличаясь исключительной, патологической ленью. Еще до того, как она окончила школу, всем стало ясно, что никакой институт ей не светит никогда. Но Ася и не расстроилась, случайно поступила в медицинский колледж и теперь через пень колоду училась на фельдшера. Лидия не очень горевала по этому поводу: не найдя в дочке никаких талантов, мать видела ее теперь просто счастливой женщиной в уютном доме, под крылом заботливого ответственного мужа, в окружении румяных толстеньких деток. Не в дипломе счастье. А если уж начистоту, то в дипломе, как раз, и горе: сколько примеров того, как заброшенный муж и сам бросал жену, слишком углубленную в любимую работу или научную карьеру! Асеньке не во что будет особенно углубляться, кроме собственной семьи, а стало быть, шансов на удачный брак у нее куда больше, чем у любого кандидата наук. Но этот жених ее, Борик... С кем угодно могла представить себе Лидия счастье дочери – но только не с этим бритоголовым качком – «пальцы веером». Хотя Ася и говорила матери, что Борик – бизнесмен, оттого имеет такие большие деньги, но с каждым днем Лидии становилось все понятнее, что дочь собралась замуж за обыкновенного бандита, по которому тюрьма плачет, и который непременно там скоро окажется, если его не подстрелят раньше свои же. Она деятельно препятствовала этому нелепому браку до сегодняшнего дня, но сейчас, когда за Асей захлопнулась дверь,





вдруг зло подумала: «А и выходи за кого хочешь! Сама потом локти кусать будешь! Дура!».

В коридоре послышался щелчок замка, скрип двери, и раздалось дочкино неизменное «Вау!» – значит, явился с работы некормленный муж и отец. Асино короткое восклицание заставило Лидию пропустить один болевой толчок. Эта американская мода выражать таким образом восхищение или удивление, была подхвачена обоими детьми, заменив тысячу лет имевшееся в русском языке на такие случаи простое и понятное «О!». По мнению Лидии, звук «Вау!» пристало производить лишь разъяренному коту, а в устах человека надрывное междометие звучало, по меньшей мере, непристойно.

Дверь в спальню открылась, и муж Петя, всей своей большой фигурой выражая недоумение и растерянность, протопал в ботинках по паласу к постели. Конечно, ковер же не он пылесосит, почему бы и не натоптать?

- Привет. Аська говорит – ты ногу повредила? Как тебя угораздило?

- Никак, – созналась Лидия. – Я вообще не уверена, что я ее повредила. Просто болит и болит, с ночи еще. Таблетки не помогают. Я думала, пройдет, а не проходит. И спать не могу.

- Покажи, где болит, – безоговорочно велел супруг.

Лидия покорно высунула ногу из-под одеяла:

- Прямо под косточкой, снаружи, там, где мякоть...

Деловито, будто играя на сцене хирурга, Петя помял и потискал больное место:

- Так болит? А так? – и постановил: – Ерунда.

- Ерунда или нет – а болит! Прямо, как зуб дергает! – пожаловалась Лидия.

- Ерунда, – повторил Петя. – Пройдет. Ты так и намерена валяться?

- Да не из-за этого я валяюсь! – попыталась втемяшить Лидия. – А потому, что я и так мало сплю, а сегодня часа три только спала! У меня аж голова кружится!

- Ладно, тогда спи, – разрешил он и сменил тему: – А Стас где? Опять шляется? Дождемся когда-нибудь...

- Он опять к Людке своей помчался! – доложила из-за двери старшая сестра. – Она только позвонила, и он сразу, как собачка, за дверь...

- Та-ак, – протянул муж. – Теперь раньше часа не зайвится, – и оборотился к жене: – Воспитала сыночка, нечего сказать!





- Оставьте вы все меня в покое! – со слезами выкрикнула Лидия, отворачиваясь к стене.

Она долго слушала, как на кухне перебранивались муж с дочкой, потом раздался громкий треск и звон: разбили тарелку или даже что-то покрупнее. Лидия впервые застонала: дочка – неумеха, что с нее взять! Но Петя-то – взрослый мужик, месяц, как сорок пять исполнилось! А при полном холодильнике, кастрюле с борщом на плите и котлетах в духовке – голодом помрет, если не подать на стол! У него тоже мама домохозяйка и обо всем заботилась. Поэтому взгляды на семейную жизнь у Лидии с мужем изначально совпали: муж – глава семьи и добытчик; жена – на хозяйстве, и оно должно быть образцовым. Но ведь она-то не домохозяйка! Она работает! И семью кормит тоже, можно сказать, она. Потому что о деньгах, доставляемых мужем, и говорить смешно: слезы, вот как это называется! Преподает в техническом вузе дисциплину с непроизносимым названием, защитил кандидатскую, теперь девятый год вымучивает докторскую. Нет, Лидия далека от тех кумушек, которые сказали бы: «идиотская дисциплина», «никому не нужная докторская». Она знает, что все это очень нужно и важно и для общества, и для страны, но вот только пока общество и страна осознают, что им это нужно, ее муж успеет выйти на пенсию. Или даже умереть. А пока – жить приходится. Вчетвером. И этих четверых содержит почти полностью Лидия. Вся зарплата уходит целиком на семью, на свои нужды она тратит самый минимум, чтоб уж совсем бомжихой не выглядеть... Да она не против – долг он и есть долг. Мужа сама выбирала, детей рожать тоже никто не заставлял. Но ведь и предел должен быть какой-то! Почему, придя с работы, муж ложится отдыхать, чувствуя за собой это неотъемлемое право, а она вьется, как птица над гнездом – присесть некогда! А стоит на один день выйти из строя, как кругом – полная беспомощность, даже тарелки бьются... Потом они их горой в раковину свалят – дожидаться маминого выздоровления... Кроме того, у мужа есть женщина. Или женщины, кто знает. Потому что если здоровый сорокапятилетний мужчина снисходит до жены не чаще раза в три месяца, то это может означать только одно: он все, что ему нужно, получает на стороне...

- Терпи и делай вид, что ничего не замечаешь, – наставляла мама. – Потому что если только заговоришь об этом – в два счета семьи как не бывало. Храни семью, храни... Увлечения его пройдут, а семья останется.





И вот уже двадцать лет, как Лидия хранит. И, кажется, удается на славу: никаких скандалов, все тихо, прилично, все ночуют дома, дети при деле. Детей она никогда не запускала, думала не только о том, чтобы были сыты-одеты-обуты, обо всем позаботилась: чтоб и музыкальная школа, и репетитор по английскому, и теннис, а для Стасика – карате, хоть за себя постоять сможет... А толку чуть, прости, Господи...

Лидия в десятый раз перевернулась в постели, укладывая дергающую болью ногу. Ра-аз... раз-два-три... Ра-аз... Она только начинала проваливаться в сон, как с последнего рубежа яви ее выдергивал этот назойливый, как будильник, счет...

Когда Асеньке было пять лет, она однажды потерялась. Ее выпускали с подружкой Аленкой во дворик, на скамеечку под окнами – играть в куклы. Очень было удобно: мамы, каждая в своей квартире, заняты делом, а дочери под контролем. Только однажды Лидия выглянула – а зеленая скамеечка пуста... И сразу раздался звонок: прибежала Аленкина мама Юля, самая близкая подруга Лидии. Муж ее был моряком, чуть не по году пропадал за экватором, поэтому Юля билась в одиночку.

- Девчонки, где девчонки?! – с порога закричала она.

А у Лидии уже был Стасик, на годик младше, и он как раз болел свинкой – тяжело болел, не отойти! Но она отошла, воспользовавшись тем, что он уснул, и вдвоем женщины долго безрезультатно бегали по всем окрестным дворикам. Через час заявили в милицию. Примчавшийся с работы Петя рухнул в кресло и обхватил голову руками.

- Мы ее больше не увидим, – бормотал он, раскачиваясь. – Когда так пропадают дети, то это – навсегда...

Все время он так и просидел в кресле – серый, как камень, и такой же неподвижный. А она металась, каждые полчаса звонила в отделение, еще раз обежала с Юлей прежние дворы и закоулки... В девять часов зимнего вечера Юлю увезла с сердечным приступом «скорая», и через две минуты после этого в дверь позвонили. На площадке стояла абсолютно незнакомая девушка, держа за руки обеих присмиривших девчонок – Асю и Аленку...

Оказалось, Ася подбила подружку самостоятельно ехать в Петергоф «на фонтаны». Они всей семьей ездили туда летом, и впечатления оказались для Аси неизгладимыми. Может, она считала, что в Петергофе вечное лето, кто знает... Ася помнила, что нужно сесть в электричку на Балтийском вокзале – через улицу – и ехать до конечной станции. У них тогда, летом, так получилось,





что электричка шла только до Петергофа, и Ася это запомнила. И вот, зимой дети сели в поезд. Только конечной станцией у него оказался Сосновый бор, куда они приехали через два с лишним часа. И, пока питерская милиция искала их трупки по подвалам и чердакам, они тоже терпеливо искали свое лето: золотые статуи и невиданные фонтаны. Потом, сделав основательный круг, они случайно вновь оказались на вокзале, где сели и заплакали. Там и нашла их та девушка – ополоумев от счастья и засуетившись, Лидия не догадалась спросить ее имя, как, впрочем, не позаботилась пригласить гостью в дом и хотя бы напоить чаем. Девушка заподозрила неладное, увидев двух одиноких малышей, и расспросила их. Глотая слезы, дети все честно выложили. Более того, Ася даже знала свой домашний адрес: еще давно Лидия заставила дочь на всякий случай заучить его, как считалку, наизусть. И девушка решила не связываться с милицией, чтоб детей там не потеряли окончательно. Она просто дождалась очередной электрички – а ходили они очень редко – и доставила детей по указанному адресу... В тот день у Лидии появились первые седые пряди. И ради чего? А ради того, чтобы эта самая найденная Ася спустя тринадцать лет снисходительно втолковывала матери:

- Что ты понимаешь? Какие там еще интеллектуальные запросы? Не хочу больше жить в дерьме. Не-же-ла-ю, понятно? Хочу – как человек, как женщина! Чтоб и шубы, и бриллианты, и Карибское море – да не в восемьдесят лет, когда пора уж гроб присматривать, а не шмотки! А сейчас – с самого начала и навсегда! Он отморозок, говоришь? Нет, мамуля, отморозки это те, которые до пятидесяти лет вкусней карамельки ничего не пробовали и пробовать не хотят из принципа...

«Может, лучше было бы, если б она тогда совсем потерялась?» – вдруг пришла Лидии страшная мысль. «Ра-аз... раз-два-три... Ра-аз...» – отозвалась нога.

Говорят, женщина не может без любви. Чепуха. Вот она, Лидия, живет же – и ничего.

- Нашла, о чем думать! – упрекала мама. – Такие муки для тех, кому заняться нечем, кто дурью мается. А у тебя муж, дом, дети – знай, поворачивайся! Станешь трудиться по-настоящему, так и страдать некогда будет!

Это оказалось правдой: Лидия всю поворачивалась, и времени не оставалось не только страдать, но и задуматься! А если задуматься, то у нее не хуже других: вон, хоть ту же Юльку взять! У нее муж как из плавания вернется – и сразу ну с женой сканда-



лить! Ревнует, видите ли. Так орут, что через два этажа слышно. И это называется – любовь? Нет уж, пусть лучше, как у нее, Лидии: тихо, спокойно, никто на нервы не действует... Правда, есть на работе Игорь Игнатьевич, но...

- И думать забудь! – категорически приказала мать. – Муж на сторону ходит – это еще ничего. Натура у них такая кобелин... тьфу ты, полигамная... А вот если жена – то все. Прощай, семья...

Конечно, прощай, согласилась про себя Лидия. А как же без семьи? Поэтому в тот далекий теперь зимний вечер, когда вдвоем с Игорем во время аврала им пришлось засидеться в офисе за компьютером допоздна, и он сказал, что давно любит ее, что всю жизнь ждал именно такую женщину, – она мягко, но решительно дала понять, что с ней такое не проходит: у нее семья, и это все... А ведь как нравился ей Игорь! Да что греха таить – и по сей день нравится. Но она устояла и еще устоит, сколько потребуется, потому что семья – главное. Самое главное, что бы ни случилось. И лучше не думать том, каким взглядом провожает ее каждый день Игорь, в то время как муж смотрит в телевизор или газету с гораздо большим интересом. А она для него вроде стенки. Хоть и банально, но лучше не скажешь. И зовет он Лидию не иначе, как «Мышь». Девичья фамилия у нее была Мышина. Сначала Петя называл ее «Мышонок» или «моя Мышка». Все правильно – она была молоденькая и хрупкая – его Мышка. А теперь повзрослела, заматерела и постепенно превратилась в Мышь. И уже не его – зачем ему мышь? – а так, вообще, ничья мышь. А Игорь называл Лидушкой, верней, порывался называть, но она сразу пресекла: зачем? Только раны разъедать.

С новым стоном Лидия села в кровати и принялась яростно крутить стопой во все стороны, изо всех сил растирать ее. Но несмотря ни на какие манипуляции, неумолимо, как ледяная вода, каплющая на темя (была, говорят, такая казнь в Китае), умеренная боль приходила и уходила: ра-аз...раз-два-три...ра-аз... Но зато Лидии хотелось теперь есть. Есть – не спать, тут ей боль не помешает. Она встала и, пошатываясь, отправилась на кухню. Петя и Ася уже ушли оттуда смотреть телевизор, но в раковине, как и предполагала Лидия, в беспорядке громоздились грязные тарелки и чашки, вперемешку со сковородками, вилками и ножами. Все было покрыто жиром. В Лидии сработал было инстинкт хорошей хозяйки: вымыть – вытереть – расставить – немедленно!!! – и, подчиняясь ему, она рефлекторно рванулась к раковине. Но застыла, положив руку на кран. Ее вдруг охватило туманное







безразличие ко всему: да пропади она, эта посуда... Рушьясь все, она хочет только спать... И стучит уже не только в ногу под косточкой, но и в висках, и, кажется, в затылке... Когда людей пытаются бессонницей, они теряют сознание. Хорошо бы и ей потерять сознание и хоть сколько-нибудь времени не чувствовать эту проклятую боль. Вот отпустило: раз-два-три... Вдруг навсегда? Нет, вот опять, неуклонно, как рок: ра-аз... Говорят, в застенках теряли сознание через пять дней после начала пытки. Неужели и ей придется ждать пять дней, чтобы забыться?! Но она же не в застенке – она пойдет к врачу! Завтра – обязательно!

В прихожей опять защелкал замок, что означало появление сына Стасика. Через минуту, в куртке и грязных кроссовках, он ввалился в кухню и, не обращая никакого внимания на бессильно привалившуюся к столу мать, широким движением распахнул холодильник, извлек оттуда кастрюлю с супом и грохнул ее в центр кухонного стола. Мурлыча что-то невообразимое, он ухватил первую попавшуюся ложку и, как ни в чем не бывало, принялся хлебать холодный суп прямо из кастрюли, жадно причмокивая и утираясь рукавом. Он усиленно делал вид, что ничего сверхъестественного не происходит, и возвращаться домой без пяти минут полночь для него дело вполне обычное, а предкам давно следовало бы привыкнуть к подобной самостоятельности сына.

Лидия наблюдала за ним сквозь легкий туман, который начал образовываться вокруг нее еще в середине рабочего дня, и теперь был уже почти заметен на глаз, как ей казалось. Она натужно соображала, как сейчас должно поступить. Накинуться на сына с упреками, как же еще – но до чего же не хотелось!

- Где ты был? – с усилием начала она, мучительно ожидая следующего укуса боли.

- Там меня уже нет, – весело ответил Стас.

- Ты что, совсем, что ли, с ума сошел? – Лидия говорила глухо и медленно, по обязанности, не вкладывая чувства. – У тебя выпускные через месяц... Вступительные через два... Неужели ты не способен думать ни о чем серьезном?... Вот провалишь, загремишь в армию...

- Да не загремлю я ни в какую армию, – отмахнулся сын от мамы, продолжая шумно хлюпать над кастрюлей. – Надоело, достала...

- Да ты же ни одного экзамена не сдашь с таким трудолюбием! – слабо отбивалась Лидия.

- Ну, на платное пойду.





«Ра-аз... – нахлынуло в ногу. – Раз-два-три...» – отпустило.

- Для этого тебе нужно было родиться в семье новых русских, – хмуро пошутила она.

- А-а... – опять махнул рукой сын. – Извернешься... Ты этой армии боишься больше, чем я сам. Ну, продашь что-нибудь и либо отмазу мне купишь, либо на платноестроишь. А я что – лох, что ли? В школе надрывайся, потом в институте пять лет... Жить-то когда? Ладно, все, я спать пошел...

Лидия поникла, почти упала головой на стол. Стас сказал абсолютную правду. Родители уже приняли бесповоротное решение продать несколько доставшихся в наследство ценных фарфоровых статуэток и дать взятку – не на платное отделение, а за поступление на бюджетное. Лидия даже озаботилась узнать «черную таксу» в выбранном институте и пришла к выводу, что сумма ей по зубам. Посвящать сына в детали данной комбинации родители считали преждевременным: он мог расслабиться вконец и сбросить последние, весьма условные оглобли... Но семнадцатилетний юнец походя раскусил родительскую хитрость, как гнилую семечку, – и со спокойным цинизмом довел это до сведения матери. И ничто не дрогнуло в нем, не шевельнулось. А чего ради и шевелиться-то? Ведь он давно и очень просто скинул мать со счетов... Неужели она вырастила такую сволочь? А может, это теперь норма, все так живут, а она просто отстала и плетется, так сказать, в хвосте истории? А будущее как раз за такими, как Стас, – самоуверенными, безжалостными, готовыми мать родную перешагнуть? Господи, что же это тогда за будущее такое? Уж лучше и не дожить до такого будущего!

Все эти мысли могли тяжело ранить Лидию, но – вчера. Сегодня, отупевшая от неразрешимой усталости, вынужденная постоянно повторять про себя в навязанном болью ритме: «Ра-аз... раз-два-три... Ра-аз...» – она могла только горестно прошептать: «Боже мой, да что же это такое?!» – и уронить голову на руки...

В раннем детстве Стасик часто, серьезно и подолгу болел. Особенно страшна была одна двусторонняя пневмония, схваченная им в три месяца отроду... Он лежал под капельницей в реанимации – крошечный на казавшейся огромной детской кровати – и бутылка, из которой переливалась в него жизнеподдерживающая жидкость, казалась сама больше его бледного тельца. Врач написал на бумажке название редкого по тому времени антибиотика и сказал – твердо и безнадежно:





- Достанете – возможно, спасем. А если нет, то... – и он опустил глаза.

Лекарства не было во всем городе, более того, во многих аптеках даже не слышали о его существовании. Трясущейся рукой вертела Лидия диск телефона, и везде слышала одно и то же – нет, нет, – а убегали драгоценные минуты, и каждая уносила с собой частичку маленькой, в мучениях кончавшейся жизни.

- Знаешь, куда позвони? Катьке Нечаевой! – взволновано посоветовала одна из бывших одноклассниц. – Она в Москве теперь живет, замужем. Так вот, свекор у нее – в Кремлевке заведделением. А если уж и там нет, то... – и на другом конце провода она тоже опустила глаза, почувствовала Лидия.

Одноклассница дала телефон Катьки. И хотя с этой Нечаевой Лидия никогда особенно близко не сходилась в школе, таинственные узы, навсегда почему-то роднящие бывших соучеников и однополчан, не подвели и на этот раз:

- Сейчас спрошу... – Лидия услышала и навечно запомнила, как далеко, в Москве, трубка легла на твердую поверхность... Несколько жутких минут слышался лишь слабый хруст. – Да, есть такое, конечно... Только как передать тебе? Посылать ведь долго, наверное?

- Я прилечу сама! – дрожащим голосом крикнула Лидия. – Прямо сейчас еду в аэропорт!

В Москве в зале прибытия стояла почти неузнаваемая Катя Нечаева, ярко иллюстрируя своей персоной концовку сказки о гадком утенке. В руках она держала две коробочки нужного лекарства.

- Я, наверное, должна... – заторопилась Лидия. – Сколько я должна?

Она на всякий случай прихватила с собой, кроме денег на дорогу, и всю оставшуюся на тот момент в семье наличность: идеально новую сторублевку.

Катя перевернула одну коробочку и ткнула пальцем в цену. Лидия увидела: одиннадцать копеек. Лекарство за одиннадцать копеек могло спасти жизнь ее ребенку, и его нигде нельзя было купить ни за какие деньги...

- Вот так-то... – прошептала Катя. – Чтобы сюда добраться, я потратила на такси в десять раз больше, чем стоят три такие коробочки...

Она спешила, отдала лекарство, поцеловала Лидию в щеку и пошла к выходу, а Лидия – к кассам, покупать обратный билет. А





там ей сказали, что на сегодня все билеты проданы, и надеяться можно только на бронь. Вон за бронью очередь. Лидия глянула и почувствовала, как ноги быстро слабеют: там стояло человек сто, не меньше... Но объявили посадку на самолет, следующий рейсом на Ленинград, и она ринулась к другой очереди – счастливец. Выбрала милостивую женщину в зеленой куртке, подскочила к ней и, отчаянно глядя в глаза, выпалила:

- Я вас умоляю, помогите мне! У меня в Ленинграде умирает ребенок, ему нужно срочно передать это лекарство, а билетов нет! Прошу вас, пожалуйста, возьмите лекарство с собой! В аэропорту вас встретит мой муж, я сейчас позвоню ему! А если вдруг вы разминетесь, то я пишу – видите – на коробке наш телефон... И телефон соседки... Отдайте, я умоляю вас, отдайте! Ведь он умрет, мой мальчик, если вы и сами мать, то поймите меня! – так лепетала Лидия, а симпатичная женщина стояла перед ней незыблемо, как закон природы, и молчала.

- Христа ради! Богом прошу вас! – атавистически прорыдала Лидия на виду у нарочито равнодушной очереди.

Много лет вспоминая потом эту душераздирающую сцену, она всегда удивлялась: почему ни один из свидетелей ее бурного горя и молчания женщины не сделал к ней шага со словами: «Давайте, я передам!»? Чем так были испуганы люди? Неужели все еще опасались каких-нибудь шпионов, боясь стать невольными контейнерами для секретного донесения? Или подозревали, что в коробочках наркотики? Почему они все стояли, как истуканы, и отводили глаза?

Видя, что женщина по-прежнему глуха и нема, Лидия прибежала к последнему средству – она словно испытала мгновенное озарение: воровато сунув незнакомке в кулак заветную сторублевку, шепнула:

- Пожалуйста, я вас очень прошу, здесь сто рублей...

Приятное лицо ничуть не изменилось, но его обладательница едва заметно кивнула.

- Ладно, – это было единственное слово, услышанное от нее Лидией.

Она чуть было не отдала обе коробочки, но чудным наитием удержалась: врач говорил, что одной вполне хватит, а вторую Катя прихватила на всякий случай. Если б только она знала, что это окажется за случай!

Примчавшийся сломя голову в аэропорт Петя никакой женщи-





ны в зеленой куртке в зале прибытия нужного рейса не обнаружил. Напрасно он дежурил в аэропорту еще два часа, встречая все подряд рейсы, хоть краем зацепившие Москву: тщательно описанная женой по телефону женщина так и не появилась. Никто не позвонил и по написанным на коробочке телефонам... Об этом Лидия узнала шесть часов спустя, когда сама чудом добралась до дома. Некогда было удивляться и рассуждать, оставалось немедленно доставить в больницу уцелевшую коробку... Трехмесячный Стасик дождался ее в стабильном состоянии комы, а врач благоговейно положил лекарство за одиннадцать копеек на ладонь и принялся разглядывать его, как восьмое чудо света.

- Нашли... Где ж вы его нашли... – растерянно бубнил он.

Стасик выздоровел. Но до сего дня Лидия так и не смогла поверить в то, что миловидная пассажирка сознательно – с какой целью? – не отдала ее мужу лекарство и вышла в зал прибытия, сняв свою зеленую куртку. Разве мог нормальный человек, зная, что умирает ребенок, украсть нечто, предназначенное для его спасения? Да еще и прикарманив перед этим сравнительно большую сумму, полученную от убитой горем матери? Такое не укладывалось в голове, и Лидия предпочитала лучше думать, что с той женщиной в самолете случился, скажем, инфаркт, и она умерла, чем считать ее такой беспросветной нелюдьо...

Но вот Стасик вырос, переболев, не так, правда, страшно, еще много-много раз... «Если б я отдала тогда обе коробочки, то одним негодяем на свете было бы меньше», – хотя и сквозь пелену дурноты, но очень ясно подумала Лидия.

Ночь оказалась еще хуже, чем день и вечер. Несчастливая не могла даже толком понять – удалось ли ей забыться на час. Она, казалось, задремывала, плыла в сером тумане без мыслей, ощущений – но не прекращавшиеся ритмичные приходы и уходы боли опять и опять насильственно возвращали ее в мучительную полуювь. Она ворочалась, ненароком толкая мужа. Несколько раз он в раздражении подскакивал и рывком спросонья:

- Да прекратишь ты когда-нибудь вертеться или нет?!!

Уже перед самым рассветом, в очередной раз разбуженный, он резко сел и сбросил одеяло:

- Можешь ты мне объяснить, наконец, что происходит?!!

- Болит нога. Болит, не могу. Сил моих нет, – упадочно сообщила жена.

- Так сильно? – усомнился Петя. – Значит, ушибла все-таки, – и постановил: – Сегодня ты с работы давай отпрашивайся и дуй к





хирургу. Там, наверное, трещина, или нерв какой защемило. А то это не жизнь, а...

Последнее относилось явно к его, Петиной «не жизни».

В девять часов утра в поликлинике талонов к хирургу не оказалось.

- А вы когда пришли? – удивилась нарядная дама в регистратуре. – Бесплатные талоны бывают в восемь утра. И то не на этот день, а вперед на две недели. Люди с ночи очередь занимают. А вы в девять приходите. Смешные какие люди, просто поразительно!

- А у кого сегодня болит? – спросила Лидия, превозмогая второе приплюсовавшееся час назад неудобство: голову стянуло будто тугим железным обручем, что, правда, нимало не перебило нерезкую, но злобную боль в стопе.

Дама пожала томным плечом:

- Платные номерки есть всегда. Двести.

- Долларов?! – испугалась, но не удивилась Лидия.

- Пока еще рублей. Записывать вас? – сделал каменное лицо, осведомилась служащая.

У кабинета хирурга очереди не было. Вероятно, бесплатные больные раскидывались на значительном временном отрезке, а желающих раскошелиться набиралось не так уж много. Хирург, здоровенный дядька, по виду – грузин, прервал свое откровенное безделье и оказал относительное внимание платной пациентке. Мяс, тискал и крутил он, на непосвященный взгляд, добросовестно. Выпрямился и важно изрек:

- Ничего не нахожу, – но, столкнувшись с полным тоски взглядом Лидии, добавил: – Рентген можно сделать.

- А когда будет готово? – робко спросила она.

- А как сами захотите. Если бесплатно – то в следующий вторник в регистратуре. А заплатите – через полчаса выдадут на руки.

Через полчаса с мокрым еще снимком больная вбежала в по-прежнему свободный кабинет. Доктор долго щелкал языком, качал головой, а съжившаяся в ожидании приговора жертва поедала его затравленным взглядом, внутренне готовая к тому, что у нее, по крайней мере, саркома. Грузин еще немного поцокал и постановил:

- Все в порядке.

- Да-а? – она не знала, радоваться или огорчаться.

Конечно, хорошо было, что не нашлось ничего ужасного. Но боль-то – вот она, тикает, как ни в чем не бывало, и никто, похоже,





не собирается ее ликвидировать.

- Но у меня же болит! – почти взмолилась Лидия.

- Поболит и перестанет, – впервые улыбнулся врач. – Боль, скорей всего, невралгического характера. Ничего страшного, спите спокойно.

- Да вот спать-то я как раз и не могу! Вторую ночь! И голова из-за этого раскалывается! Я не только спать, я жить не могу!

- Вах... Жить не можете? – заинтересовался большой грузинский мужчина.

На всякий случай Лидия приняла неприступный вид. Доктор, по всей видимости, устыдился. Все-таки, если больной заплатил деньги за прием, то как-то не очень удобно отпустить его совсем ни с чем. Надо подыскать ему болезнь хоть для приличия, даже если перед тобой всего лишь хорошенькая истеричка.

- Раз голова болит, давайте тогда давление измерим, – предложил он.

Врач начал было невнимательно следить за стрелкой тонометра, но вдруг его толстые брови сползли над переносицей в одну изумленную гусеницу.

- Двести двадцать на сто шестьдесят... – прошептал он и, не доверяя себе, перемерил. – Точно... Милая вы моя, вам не про ногу, а про голову думать нужно! У вас же настоящий гипертонический криз! В старое время я бы вас прямо отсюда в больницу на «скорой» отправил!

- А в новое... куда? – хрипло шепнула Лидия.

- Только в процедурный – делать укол. Вот. Это – внизу, в кювете, купите. И еще шприц, одноразовый. И в девятнадцатый кабинет, мухой.

- Это от бессонницы у меня давление... – тихо заплакала больная. – А бессонница от боли в ноге проклятушей...

- Ладно, – сдался врач. – Укол идите делайте, а чтобы могли спать... – он слегка подмигнул, – и жить... Рецепт вот на снотворное возьмите, в аптеках должно быть... Эффективное и недорогое...

Когда Лидия добралась до своей постели, Петропавловская пушка как раз грохнула. В квартире было непривычно безлюдно, стояла благодатная тишина. Она уже не помнила, когда в последний раз оставалась дома одна, но сейчас это не имело значения. Страдалица вытряхнула таблетку из коричневого пузырька на ладонь, поразмыслила немного, прибавила к ней вторую и про-







глотила обе. Она думала, что снадобье подействует через какое-то время, дав ей возможность выпить пока чаю, но оно подействовало немедленно. Лидия едва успела откинуть одеяло и повалиться на подушку...

Ей снилось, что у нее болит нога. Она шла по длинному коридору с мягкими розовыми стенами, а ногу все дергало, подурному, накатами. Но она знала, куда идет: если ей суждено добраться до конца, то у выхода она встретит Игоря. Он прекрасно знает, как прогнать ненавистную боль, как прекратить жестокую пытку... Лидия должна только выбраться из коридора – и тогда боль обязательно отступит...

Она проснулась в семь часов вечера, когда в спальню бесцеремонно вступил вернувшийся с работы Петя и, растормошив, принялся расспрашивать. Лидия все честно рассказала.

- Ну, так я и думал! – бодро вскричал муж. – Ничего особенного, просто женские нервы. Или... Тебе уже сорок два, так что вполне возможно... Хотя, может, и рановато...

- А нога-то причем?! – испугалась Лидия.

- Климатерический психоз. Или невроз. Называй, как хочешь, – с невозмутимым профессорским видом пояснил супруг. – Тебе просто кажется, что у тебя что-то болит. А на самом деле это у тебя в мозгах. Гормональная перестройка. Короче, чтобы нога не болела, надо о ней не думать. Забыть и все тут. Не обращать внимания.

- Да не могу я не обращать внимания! – взвилась Лидия. – Сам бы попробовал!

Петя посмотрел на нее скептически:

- Да-а... Мы тут с твоим климаксом еще хлебнем горюшка... Ты еще нам нервы потреплешь... А что, ужина и сегодня нет? Хорошенькое дело...

С этого дня жизнь Лидии протекала как в бреду. Она быстро привыкла оглушать себя теми же таблетками не только на ночь, но и среди дня. Благодаря этому она теперь постоянно находилась в состоянии безразличной заторможенности, и ее единственным занятием стало напряженное прислушивание к ритмичной пульсации в совершенно здоровой – Лидия знала это! – ноге.

В ресторане на свадьбе Аси она сидела напротив молодых во главе стола и упорно пялилась остановившимся взглядом в одну точку, забыв про наклеенную на равнодушное лицо улыбку.





- Да не переживай ты так! – утешала подсевшая сбоку верная Юлька. – Ну подумаешь, через полгода разведутся. Лишь бы ребенка не слепили...

Лидия хотела повернуться и ответить, что ей глубоко плевать, разведется Ася или нет, зарежут зятя или пока подождут, и думает она только об одном: прекратится ли когда-нибудь эта никому не нужная, непонятная, беспричинная дергающая боль... Но она не наскребла в себе сил даже произнести несколько фраз, только тупо кивала в ответ...

Лоб, виски и затылок давно уже, будто раз и навсегда, сдавило как бы тугим ремнем, голова даже не болела, просто ощущалась пустой, чужой и... квадратной. Поначалу таблетки еще могли вырубить Лидию если не из боли, то хоть из мира на несколько беспросветных часов, но теперь не приносили ничего, кроме ровного оцепенения... За сутки она не забывалась более, чем на три часа, – но ведь невозможно было не ходить на работу, не суетиться по дому, не разговаривать с людьми – и Лидия автоматически, как во сне, выполняла все это, вдруг утратившее живой смысл и высокую цену. Потом она перестала и мечтать о том, что боль когда-нибудь кончится, и желала одного: заснуть хоть раз основательно, глубоким оживляющим сном, проснуться освеженной и легкой, готовой бороться с болью на ясную голову...

- По-моему, Мышь, ты скоро совсем помешаешься, – сказал ей муж как-то наутро, дня через четыре после свадьбы Аси. – Нельзя же заикливаться: так и спятить недолго. Говорю же тебе – не думай. Отвлекись. И сама не заметишь, как пройдет.

Лидия вспомнила, как в каком-то известном произведении герою разрешили думать о чем угодно, но предупредили, о чем именно нельзя: об обезьяне. Естественно, что после такого предупреждения он и помыслить не мог ни о чем ином. Вроде бы, тот герой был отпетым мерзавцем, но она сейчас почти породственному любила его: они оказались в одном плачевном положении.

- Не могу я не думать... – не в силах даже заплакать, прошептала Лидия. – Особенно ночью...

- Тогда скоро сбрендишь, – вынес вердикт Петя. – Знаешь, тебе, наверное, психолог нужен. Если еще не психиатр.

Он не мог найти в шкафу свежую рубашку и в раздражении громко хлопал дверцами. Лидии казалось, что ей стреляют в голову.

- Голым мне, что ли, сегодня лекции читать! – гаркнул, наконец, Петя. – Чем дурью маяться – взяла бы да постирала!





- Не могу... – еле выговорила Лидия... – Ничего не могу...
  - Мам, ну чем завтракать-то?! – без стука влетел в комнату сын.
  - Чем хочешь, – без выражения отозвалась она.
- Дверь закрылась, из коридора она услышала:
- Совсем дом в бардак превратила...

В психодиспансере очереди не оказалось, и денег платить не заставляли. Очевидно, желающих добровольно записаться в сумасшедшие находилось весьма ограниченное количество. У кабинетов сидели только рослые, явно здоровые парни с мамами, и цель их прихода была как на ладони: шел очередной призыв. Нет уж, сюда она Стасика не приведет!

Психиатром оказалась тоненькая, беленькая и кудрявая, как березка, девушка с высоким голоском.

- Доктор, я, наверное, сошла с ума, – без предисловий выложила Лидия. – Мне кажется, что у меня болит нога.

Девушка озадачилась:

- Так кажется – или болит?

- Болит. Так болит, что я ни спать не могу, ни работать. Но хирург говорит, что болеть там нечему. И все говорят, что это психоз. Климактерический.

- А она болит. Как болит? – уточнила девушка.

- Вот так: ра-аз – заболела, раз-два-три – отпустило. Потом опять: ра-аз... И так днем и ночью, без отдыха, уже больше недели. Но все говорят, что мне это кажется. А у меня жизни нет... Давление скачет... Господи, доктор, да сделайте же что-нибудь!!!

- Лидия бурно разрыдалась и затряслась, утирая щеки ладонями.

- Хирург что сказал, конкретно? – спросила доктор.

- Он сказал – ничего! Совсем ничего! Рентген сделали – тоже ничего! – всхлипывала больная. – Я сошла с ума, я с ума сошла, доктор!

- Так. Для начала все-таки посмотрим ногу, – решила та. – Давайте-ка перейдем сюда... Так... Садитесь... Ногу вытяните... Где болит?

Лидия показала пальцем. Докторица внимательно взгляделась, потрогала. Конечно, ничего. Абсолютно здоровая нога. Классический случай невроза. Транквилизаторы, транквилизаторы и еще раз транквилизаторы. И ее озарило. Почему бы не попробовать? Чем черт не шутит! Она озабоченно склонилась над красивой стройной ногой. Сделала сколько смогла серьезное лицо и показала головой:





- Во, дают, хирурги! Тоже мне – ничего! Я – и то вижу! С первого взгляда!

Пациентка встрепелулась:

- Да?! А что там?!

- Да как вам сказать... Были у меня уже такие случаи. И как только ваш хирург не заметил? У вас там две вены одна за другую зацепились. Кровоток нарушен, оттого кровь и бьется так... толчками. Ну, ладно, сейчас поправим... Будет немножко больно... Расслабьтесь... – и она изо всех сил ущипнула указанное место.

Больная взвизгнула. Девушка выпрямилась. Детская радость озарила ее нежное личико:

- Получилось, получилось!

Лидия недоверчиво перевела взгляд с доктора на многострадальную ногу. Под косточкой образовалось пурпурное пятно, но под ним ничего не дергало. Боль ушла.

Она бежала по улице, как на первое свидание. Еще не веря в такое чудо, постоянно прислушивалась к ноге и каждый раз радостно убеждалась: кончилась! Ее пытка кончилась! Можно жить нормально, дышать глубоко, спать по ночам! Ах, если б только так не гудела голова! Но это пустяки, это просто от бессонницы и переживаний. Она сейчас придет домой, выспится от души, проспит десять, нет, пятнадцать часов и проснется молодая и здоровая! И начнет совсем новую жизнь! Дети, муж... Аська теперь и сама замужем, взрослая... Что посеяла, то пусть и пожнет, и нечего ей, матери, из-за этого убиваться. Стасик в институт провалит – и Бог с ним. Не станет она больше тянуть за уши этого наглого недоросля, давать взятки, унижаться, чтобы он еще пять лет пробездельничал и получил дармовой диплом. Зачем ему диплом, на нем воду возить можно! Больше он ни на что не годится. В армию? Очень хорошо, там ему самое место, там ему мозги вправят, рога пообломают – хлебнет дерьма – может, одумается... Итак, решено: пусть идет в армию.

Теперь Петя. Посторонний, равнодушный, жестокий. У него другая женщина – великолепно! Пусть собирает манатки и к ней выкатывается. Завтра же. Квартира принадлежит ей, Лидии, – от бабушки досталась. Муж здесь даже не прописан: держит еще и другую жилплощадь, говорит – для Стасика. Ничего, Стасик жениться надумает – она для него свою квартиру разменяет. А Петечка пусть собирается, а то хорошо устроился: одна ублажа-





ет, другая обслуживает... Фигушки! Поездили на ней – и хватит. Она еще молодая, у нее вся жизнь впереди. И в этой жизни есть Игорь... Почему она так упорно боялась сбросить проклятую сбрую и шоры, так покорно и понуро волокла непосильный воз?! Ничего, вовремя одумалась. И зачем откладывать в долгий ящик? Не домой спать она сейчас поедет, а на работу, там как раз перерыв кончился. Она прямо вот так сразу подойдет к Игорю и скажет: ты знаешь, я долго думала, думала и решила...

Что ж голова-то так трещит, сил никаких нет терпеть... Вон аптека на той стороне, стоит купить анальгин, а то кончился... И Лидия стала переходить дорогу. В голове, казалось, полыхало белое пламя, но вдруг там словно что-то обрушилось, как балка в горящем доме, – и перед глазами стало красно...

«Надо посидеть, надо посидеть... На остановке скамейка, дойти туда и отдохнуть... Нет, не дойти... Придется прямо на асфальте... Здесь машины, нельзя... Нужно хотя бы на середину... Дотянула... Не торопиться, сначала на колени... Можно даже прилечь... Вот так... Не шевелиться... Главное – не шевелиться...».

Спустя два месяца Лидию, у которой после инсульта отнялась речь и левая сторона тела оказалась парализованной, привезли домой дочь с зятем и, как чурку, положили на кровать. Из ее теперь единственного открытого правого глаза текла слеза. У постели на стуле сидела незнакомая женщина.

- Это, мама, твоя сиделка, – терпеливым сладким голосом, каким говорят с малыми детьми, выжившими из ума стариками и труднобольными, растолковала Ася. – Это Борик ее пригласил через агентство. Он ей и будет платить, пока ты не выздоровеешь. Борик тебе и лекарств купил. Много и самых лучших. Видишь, какой у тебя хороший зять. А ты еще не хотела, чтоб я за него выходила. Надеюсь, когда мы вернемся, ты уже встанешь на ноги.

Единственный подвижный глаз округлился.

- Ну да, мы уезжаем, – голосом диктора продолжала Ася. – На Кипр, в отпуск. Но ты не волнуйся, денег мы оставили. На хозяйство и лечение. Они у папы.

Зять, у нее теперь богатый зять. И, может быть, даже не очень плохой: заботится, в беде не бросил. А ну, как у них с Асей и сладится...

Вечером объявился и Петя. Он резко помолодел, загорел и плохо скрывал свое великолепное настроение. Еще бы: два ме-





довых месяца с кем-то провел, пока ее в больнице с того света вытаскивали.

- Ты уж извини, Мышь, но разговор у меня к тебе серьезный. Насчет Стаса. В общем, провалил он все, что можно было провалить. Ему восемнадцать, так что сама понимаешь... Короче, спасти нужно парня. Я вот что придумал. Тебе ведь инвалидность дают, нетрудоспособную группу. Так? Так. А если у парня одинокий родитель инвалид, то ему полагается отсрочка. Но ты не одинокая. Значит, нам нужно срочно развестись. Так? Так. Поэтому завтра я приведу нотариуса: нужно заверить твое согласие на развод. Правая рука у тебя работает, подписать сможешь. Так? Так.

Глаз прикрылся. Лидия была на все согласна. Конечно, разве можно ее мальчику в армию? Там будут измываться, каждый день бить, унижать... Разве он сможет такое перенести, он же домашний... У него душа хрупкая... А что грубит – так это он самоутверждается. Все через это проходят...

Легок на помине, примчался и Стас:

- Мам, ты как, нормально? А я уезжаю. С Людкой и ребятами. На байдарках. Клёво так, вниз по Вуоксе...

Лидия начала проваливаться в сон: «Каких дров чуть не наломала... Спасибо инсульту... Все в порядке, все на месте, я выздоровею...».

В квартире слышались осторожные шаги, тихие голоса: боялись потревожить. Семья о ней заботилась – как же иначе, ведь это ее семья, и она всегда рядом... Левая сторона тела ничего не чувствовала. Поэтому и нога больше не могла заболеть.

*Август 2002 г.  
Мартышкино*





## СОДЕРЖАНИЕ

*Дом, где я умер 5*  
*Освобождение Агаты 78*  
*Умереть трижды 222*  
*Морзянка из камеры смертников 347*  
*Синдром Амнона 400*  
*Соломенный вдовец 414*  
*Милая Мила 445*  
*Норковый тулупчик 476*  
*Боль 503*

